

собрания в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nekrasovnikolai.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856.  
Николай Алексеевич Некрасов

Повесть о бедном Климе\*

Добродетель никогда не остается без награждения, а порок без наказания.

С детской прописи

I

Комната в нижнем этаже деревянного дома. В ней никаких затей прихоти, ничего лишнего, скорее, по-видимому, можно встретить недостаток в чем-нибудь необходимом. Однако ж она не слишком пуста. Кроме письменного стола и кресла, в ней есть три стула, на которых, по выражению одного остряка, не стыдно сидеть и в годовую праздник; есть в ней и шкаф, отделанный под красное дерево, в котором легко может поместиться незатейливый гардероб одного человека. Есть и библиотека, устроенная очень замысловато: так должно назвать расстояние между стеною комнаты и боковою сторонкою шкафа, поставленного в некотором отдалении от стены. Книг очень немного, все они помещаются на нижней полке, которую, как вы догадываетесь, образует самый пол; более ни книг, ни полок в библиотеке нет. На стене против двери небольшое зеркальце; под ним опять проявление изобретательной фантазии бедности. Как бы вам объяснить его? Возьмите два четверугольные куски картонной бумаги, соедините их по углам бечевками, на расстоянии полутора четверти один от другого; концы бечевки, которые сойдутся над верхним куском картона, свяжите вместе, сделайте из них петельку и наденьте ее на гвоздь, прибитый под зеркальцем, таким образом вы получите что-то вроде висячей этажерки в два этажа, на которой можете класть разные мелкие вещи. В комнате еще есть диван, служащий вместе и постелью; портрет какого-то старика в генеральском мундире и в правом углу небольшой образец. Вот и всё...

На столе горит свеча; в креслах сидит молодой человек; он хорош собою, но на лице его уже заметны следы бурь и страданий. В настоящую минуту он задумчив и грустен, глаза его подняты кверху, в руке он держит перо... по всему видно, что он думает крепкую думу... Не бойтесь, однако ж, он не поэт, даже не сочинитель, — избави бог, чтоб я избрал героем своего рассказа сочинителя! Он просто чиновник или, правильнее, кандидат в чиновники. Об чем же, кажется, думать чиновнику? Что за неволя ему нудить голову, которая может поседеть и покрыться преждевременно морщинами от думанья? Конечно, в сущности, не для чего, но бывают в жизни такие минуты, в которые и чиновники, а особенно кандидаты в чиновники, задумываются. Но вот молодой человек начал писать. Покуда он пишет, я познакомлю вас с ним покороче...

Имя его самое незвучное, самое нероманическое — Клим; фамилия... но зачем вам знать его фамилию? Она еще некрасивее имени, она и не громка; вы незнакомы с ней ни по истории прошедшего, ни по современным событиям... Отец его был чиновником особых поручений у одного губернатора, он служил, служил и наконец умер, не оставив своему сыну ничего, кроме худого фрака и доброго имени. Клим тогда было девять лет. Губернатор взял его к себе на воспитание, полюбил и, оставив службу, увез с собою в Петербург, где обещал заняться им как родным сыном... С тех пор вот уже более десяти лет Клим не видал ни своего родного города, ни своей матери. Привязываясь всё более и более к Климу, опекун его и благодетель не жалел ничего для его воспитания; будучи бездетным вдовцом, он посвящал всё свое время на развитие в Климе добрых качеств и наклонностей, так что в пятнадцать лет Клим был образцом целомудрия и кротости, а в двадцать, когда уже оканчивал университетский курс, к стыду и изумлению XIX столетия, имел все качества добродетельного человека... Опекун был человек старого времени и имел о добродетели совершенно отсталое, превратное понятие, которое, к сожалению, вполне усвоил своему питомцу. Последствия, от того происшедшие, составляют предмет моей повести. Замечу еще, что она не принадлежит к самому новому времени. Происшествия, в ней описываемые, случились в начале второй четверти нынешнего века... Рассказ основан на истине.

По окончании курса Клим располагал съездить в \*\*\* губернию повидаться с матерью, которой он не видал так давно и которая, как можно было заключить по ее письмам, любила его нежно и пламенно... По возвращении из дома опекун хотел ехать с ним за границу... Клим, разумеется, был счастлив; надежды его были светлы и радостны. Вдруг опекун умер скоропостижно — и все они разрушились. Опекун давно решился

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не смог передать свое имение Климу, но смерть нечаянная, как бы сговорившись с наследниками, помешала его планам, завещания не было. Однако ж... Здесь должно несколько остановиться на событии, которое имело влияние на всю остальную жизнь нашего героя.

Тихо и темно было в спальне покойника. Он лежал недвижно на смертном одре своем с ясной, безмятежной улыбкой, которая играла на устах его в последнюю минуту жизни и осталась на них вечно... У изголовья стоял Клим, вперив грустные очи в лицо благодетеля; в ногах стоял камердинер генерала, слуга старый и верный, которого покойник любил как друга. Оба, и господин и слуга, были глубоко поражены, не говорили, не плакали от избытка горя. Но вот глаза старика заблестели слезами, и громкие рыдания огласили комнату... Он целовал ноги своего барина, бил себя в грудь и был в совершенном отчаянии. – Что будет со мною? – говорил он всхлипывая... – Что будет с вами? Куда вы денетесь?... у вас ничего нет... покойник всё хотел отдать вам, да кто теперь поверит... Горькая, горькая наша участь!

Старик плакал навзрыд; Клим молчал.

– Послушайте, барин! – продолжал слуга. – Здесь никого нет... в шкатулке у покойника лежит шестьдесят тысяч... всем известно, что он назначал вас наследником... возьмите их... Греха никакого нет... Они ваши... Об них же никто не знает... знаю я... да кто меня заставит сказать... Возьмите, утешьте душу покойника...

Старик достал из-под подушки умершего ключ от шкатулки и, подавая его Климу, продолжал:

– Исполните его желание... Вы будете счастливы... деньги великое дело.

Клим назвал камердинера бездельником, с гневом оттолкнул его от себя и, рыдая, упал на грудь покойного благодетеля.

Послышались шаги за дверью, в комнату вошел доктор.

– Легче ли ему?

Клим молча указал на покойника...

– Умер! Ну, я того и ждал... Не было никакой надежды...

Вскоре после погребения опекуна Клим тихонько ушел из его дома, не желая быть предметом насмешек или обидной благотворительности новых владельцев. Он ничего не взял, кроме платья, которое было на нем, и некоторых безделок на память о своем благодетеле. Всё, что он имел, принадлежало опекуну, а потому он считал несправедливостью завладеть тем, на что не имел законного права. Наследники сказали, разделив дружелюбно его имущество, что он должен быть большой дурак... А вы как думаете? Скажите по совести... не бойтесь... я никому...

«Великое несчастье наслал на нас господь, – писала к Климу мать его, получив известие о смерти генерала, – умер его превосходительство, отец и благодетель наш... Не удалось мне и спасибо-то сказать на сем свете голубчику... царство ему небесное! Добр был до нас покойничек! Вот, дитячко мое, правду сказано: человек предполагает, а бог располагает... Не довелось-таки мне видеть тебя, а уж как я ждала, как надеялась!.. Десять лет не видала, шутка – десять лет! Чего не натерпелась, чего не передумала! Только и живу, чтоб еще хоть разок взглянуть на тебя, дитя ты мое, радость моя! Как ты, чай, вырос, похорошел, поумнел; мне, бедной старухе, и не узнать тебя! Сама бы приехала к тебе, последние крохи собрала бы, да не могу: хворость одолела... А кабы прежние годы!..» Много еще писала старушка, и в каждом слове ее проглядывала душа добрая и простая, любовь к сыну неограниченная. В заключение в приписке было сказано: «Ты ничего не пишешь, Климата, оставил ли тебе что покойник-то, как сулил. Не бедняешься ли ты, голубчик мой! Сохрани бог! Пиши ко мне, я еще не так бедна, чтоб не могла уделить для своего кровного... Домишко наш хоть и ветх, да, спасибо, добрые люди не обегают: верх нанимают красильщики, хорошие деньги дают, внизу сама живу».

Действительно, Клим скоро узнал нужду. Долго бился он с копейки на копейку, наконец необходимость заставила его прибегнуть к помощи матери... Он, впрочем, надеялся, что, получив место, будет иметь возможность сейчас же возратить ей

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не крас... деньги... Иначе он никогда бы не решился беспокоить ее и скорей согласился бы умереть с голоду. Такая уж странная натура была у него!

И вот он, получив аттестат, стал искать места. Счастье, казалось, полилось на него. Первый важный человек, к которому пришел он, принял его ласково, обнадежил и просил навещать его в ожидании места. Важный человек был средних лет, прекрасной наружности, говорил так сладко и увлекательно: Клим был. от него в восторге! Важный человек был себе на уме. Когда они довольно коротко ознакомились, он однажды сказал Климу, дружески взяв его за руку:

– Послушайте, молодой человек, от вас зависит сделать себе блестящий карьер... надеюсь, вы позволите мне быть с вами откровенным...

– Говорите, ваше превосходительство! Я готов на всё, что не противно чести и моим убеждениям.

– Нисколько... Я вам хочу сделать предложение, которое, напротив, очень приятно... Вот видите, у меня есть любовница, дама хорошей фамилии, прекрасная собой... Но я хочу жениться. Она мешает моим планам... нужно разорвать нашу связь... Понимаете?

– Нет, ваше превосходительство...

– Я доскажу... не удивляйтесь моей искренности... я хочу дать вам ход... Вы молоды, хороши собой... я введу вас в общество, познакомлю с ней, дам вам средства часто видеть ее... Если нужно, буду давать вам деньги, чтобы вы могли поддержать себя в свете и в глазах ее... понимаете?..

– Не понимаю, ваше превосходительство... Важный человек несколько удивился, но потом продолжал тем же тоном:

– Вы можете успеть, только примитесь за дело искуснее, настойчивее... Да и стоит похлопотать: красавица! То, что сделалось для меня в тягость, для вас будет очень приятно... Последствий не бойтесь: муж старый, недалекий, урод; вечно сидит за вистом... Место же вам я уж нашел... Итак, вы поняли?

– Понял! – сказал наш герой таким голосом, что важный человек вздрогнул... Клим наговорил ему грубостей и скорыми шагами вышел из кабинета, считая себя жестоко обиженным.

– Вы сумасшедший! С таким глупым характером вы век не найдете никакой должности!  
– гневно воскликнул вслед ему важный человек, считая себя в свою очередь обиженным еще более...

– Я не хочу купить счастья бесчестным поступком! – шептал про себя сердитый мечтатель, быстро сбегая с великолепной лестницы, и долго еще заревом вспыхнувшая краска горела на молодых щеках его, как горит она на щеках свежей душой девушки, при которой с уст отца-хозяина сорвалось неосторожное слово...

Прошло около четырех месяцев. Клим всё еще искал места. Истязания, которым он подвергался по случаю своих поисков, значительно уменьшили запас его терпения. Он почти отчаивался...

Завтра последняя попытка. После долгих отказов он наконец получил позволение явиться к какому-то директору, у которого в департаменте есть вакансия. Что-то будет?... А между тем денег у него нет, платье доносилось, так что скоро стыдно будет показаться в люди. В таком, к несчастью автора, очень обыкновенном положении были дела нашего героя, когда мы увидели его сидящего и думающего крепкую думу с пером в руке. Он писал письмо к матери. Размышления о крайнем положении, о долгах, о сроке платить за квартиру заставили его снова прибегнуть к ее помощи, хотя он уже потерял надежду скоро возратить ей деньги, которых в разное время выпросил довольно много. Жестокая борьба происходила в душе его, когда он писал. Ему мерещилась больная бедная старуха, которая продает последнее имущество, чтоб удовлетворить просьбу сына...

Вот он вскочил и начал ходить по комнате. Взор его случайно упал на образ, которым благословила его мать. Ему кажется, что образ смотрит на него укорительно, а прежде он смотрел на него всегда так умильно, так кротко...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Клим схватил со стола письмо, которое написал, и разорвал его на мелкие части...

Дверь скрипнула, вошла хозяйка: женщина лет под сорок, с немецкими ужимками и чисто русским дородством. Лет пятнадцать назад она, верно, была красавица, еще и теперь остались в лице ее следы прежней миловидности. Сердце нашего героя вздрогнуло...

– Здравствуйте, – сказала она, ставя на стол свечку, которую принесла с собою...

Он кивнул головой.

– Я смотрю, мне всё жаль вас; думаю, как бы вам поправиться; что за причина, что вы так бедняетесь!

– Я, кажется, вам говорил...

– Вот за вами довольно уже накопилось за квартиру, а между тем чем вам платить...

– Бог милостив, скоро отдам...

– Ох! вы уже давно так говорите... Да и к чему торопиться, когда обстоятельства не позволяют... Послушайте-ка, у меня просят вашу квартиру... Уступите...

– А мне-то как же?..

– Вон там подле моей спальни есть комната, вы будете получать и стол и чай...

– Ну?

– И свечи... всё... понимаете...

Клим с изумлением взглянул в лицо своей хозяйки, желая найти там разгадку ее странным словам, и он нашел ее: глаза хозяйки светились каким-то подозрительным пламенем, от которого героя нашего бросило точь-в-точь в такую же краску, как от слов важного человека...

С гневом объявил он хозяйке, что не далее как через две недели оставит ее квартиру, потому... потому... Он сказал причину довольно резкую, которую мы не хотим повторять...

– А деньги? – сказала раскрасневшаяся, как пион, хозяйка и с чувством обиженной гордости повторила: – А деньги?

– Деньги вы получите через две недели непременно... Прощайте!

– Так через две недели наверно?

– Да, прощайте.

– Смотрите же...

Она ушла. С стесненным сердцем герой наш взял бумагу и стал опять писать письмо к матери, с просьбой о деньгах... Тут я мог бы снова произнести философскую истину: «Обстоятельства сильнее всякой решимости!» Но, повторяю, я пишу повесть, а не моральную проповедь, и никакие обстоятельства не заставят меня резонерствовать.

## II

Приемная. Кругом стулья, на стенах картины, на двух столах по два подсвечника со стеариновыми свечами, на третьем столе два подсвечника и бронзовые часы.

Маленький человек в форменном фраке с пряжкой за 20 лет, с физиономией умной или только лукавой, доброй или только искусной в притворстве – как решить с первого взгляда! – беспрестанно кланяется и говорит «да-с», «может быть», «непременно». Дама лет под пятьдесят, в утреннем наряде, не чуждая, по-видимому, некоторых претензий на красоту, говорит важно, даже с некоторою повелительностью в тоне, говорит часто и бойко...

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Я лишаюсь терпения... я терзаюсь беспрестанно... мне нет покоя... надо скорей всё кончить. Вы меня понимаете?

– Отчего не кончить, – можно, очень можно, ваше превосходительство; нет ничего невозможного...

– Так вы беретесь?

– Берусь, берусь, ваше превосходительство; как я осмелюсь...

– Вы уже полгода тому назад обещали, а между тем она всё у нас на шее... Смотрите же, чтоб и теперь не было того же... Вы не останетесь внакладе...

– Помилуйте, ваше превосходительство, я и так очень доволен. Извольте знать... Я давно служу... еще в прошлом году генерал посулил... вам известно... служу беспорочно... формуляр не подскоблен... даже в отпуску восемь лет не бывал... Вам стоит только напомнить...

– Понимаю, всё будет... Только смотрите, сдержите обещание... Да нельзя ли не откладывать?..

– Постараюсь, ваше превосходительство...

– Чем скорей, тем лучше для вас... Да смотрите, чтоб был не урод.

Она кивнула головой и пошла к двери, ведущей во внутренние покои; маленький человек отправился в прихожую, но, подойдя до нее, воротился и спросил:

– Молодой?

– Лучше бы молодой... впрочем, как хотите, только скорее... Она сделалась для меня несносна...

Они разошлись... В приемную вошел Клим. Маленький человек во второй раз воротился из прихожей, остановился посреди комнаты и начал рассматривать ново-пришедшего. Казалось, его озарила какая-то мысль... казалось, он составлял план...

Клим ему поклонился; он подошел к Климу и сказал:

– Садитесь, генерал выйдет еще не скоро... А что, вы имеете к нему дело?

– Да.

– По департаменту или лично до его превосходительства?

– Я пришел просить о месте...

– О месте! – сказал с улыбкою маленький человек. – А что, вы где-нибудь служили?..

– Нет, но я имею университетский аттестат...

– У вас есть протекция?..

Клим посмотрел на него сухо, как бы желая узнать, какое право имеет он входить в такие подробности.

Маленький человек догадался и сказал:

– Я экзекутор; свой в доме генерала. Передо мной секретничать нечего. Может быть, помогу...

– Покорнейше вас благодарю, я не нуждаюсь... Маленький человек улыбнулся.

– Так у вас нет протекции? – повторил он.

– Нет.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Плохо!

– Напротив: я очень рад, что буду обязан за все только себе...

Маленький человек опять улыбнулся.

– А много вы сами сделать надеетесь?..

– Я хочу служить царю и моему отечеству, сколько силы и способности позволят мне. Хочу служить честно, совестливо, усердно; хочу идти путем прямым и хочу за всё быть обязанным только себе...

Молодой человек был не только жалок, но даже смешон. «Новичок! сумасшедший!» – подумал экзекутор, стараясь удержаться от смеха.

Вдруг он переменял тон, ухватки, самое выражение лица, дружески схватил нашего героя за руку и сказал с чувством:

– Молодой человек, вы «благородных правил», я вас уважаю... Нынче немного, очень немного таких людей как вы... сначала я даже не поверил; простите... долго ли ошибиться... наш век так искусен в притворстве... располагайте мною; я ваш...

«Он наш!» – думал в то же время экзекутор.

– Так вы думаете, что я получу здесь место? – спросил Клим, тронутый его участием...

– Конечно, – отвечал экзекутор, – нет ничего невозможного; но место месту розь; опять каков ход: согласитесь, что ведь не всё равно ехать на водовозной кляче и на почтовых, а?

– Правда.

– Водовозная кляча – служба без протекции; почтовая тройка – служба с протекцией... Вот хоть бы «наш» долетел до директора на почтовых, а другой товарищ его на своей водовозной кляче и теперь еще не дотащился до начальников отделения...

– Но я бы желал...

– Знаю, знаю, вы другая статья, я понимаю вас. Но всё, знаете, протекция не мешает... И я сделаю, я постараюсь... для вас не жаль... таких людей немного... сам директор похлопочет о месте для вас... на почтовых поскачете, только, я вам скажу... Да приходите-ка ко мне на днях; вот адрес, там поговорим покороче. Я всё улажу. Будете довольны, будете счастливы...

Экзекутор остановился.

– Что ж далее? – спросил наш герой.

– Узнаете, узнаете, – отвечал экзекутор, значительно улыбаясь. – Прощайте, нужно забежать в департамент до генерала.

Он ушел. Клим на досуге принялся доискиваться таинственного значения слов, намеков и загадочных улыбок своего нового знакомого.

Вдруг в комнату вбежала молодая девушка, с голубыми глазами, вся из мечты, воздуха и поэзии, хорошенькая, как роза, свеженькая, как персик, только что сорванный с дерева...

– Мама, – кричала она вбегая, – полноте толковать с Степаном Глебычем... будет, натолковались... пойдёмте, я вам покажу... ах, чудо!

Только теперь заметила девушка, что в комнате нет ни ее матери, ни Степана Глебыча, а стоит и пристально смотрит на нее какой-то незнакомец с черными огненными глазами, открытым лбом, прекрасным профилем...

– Я здесь, Marie! – отвечал ей женский голос из другой комнаты.

Девушка смешалась, покраснела и, как бабочка, упорхнула назад...

Клим хорошо рассмотрел ее и, разумеется, замечтался. Он не влюбился, но был рад-радехонек, что нашел пищу для своей праздной мысли; прежде ни одна женщина не оставалась в его памяти более пяти минут, теперь девушка с голубыми глазами не выходит из его головы вот уж целые полчаса... Слава богу, есть об ком мечтать, не скучно дожидаться...

Дверь отворилась; вошел его превосходительство, на почтовых доскакавший в звание директора, и очень сухо и очень важно спросил:

– Что вам угодно?

По принятому обычаю нужно посвятить несколько строк описанию его превосходительства. Но так как он в рассказе играет неважную роль, то постараемся характеристику его сделать как можно короче. Имя его – Сергей, отчество – Иванович, фамилия – Таковский, Приметами он: от роду пятидесяти двух лет, росту среднего, лицом бел, рябоват, глаза карие, нос и рот прямой, подбородок круглый. Особых примет не имеется. Кажется, всё.

Клим объяснил ему, в чем дело.

– Я буду стараться, – прибавил он, – приносить пользу по службе, сколько от меня будет зависеть...

– От вас тут ничего не будет зависеть! – возразил «генерал», почему-то несколько обиженный его последними словами. – Умничать вам не позволят... Департамент не университет, заметьте, государь мой. Новостей вводить не требуется... без вас всё сделано... Нужна только с вашей стороны исполнительность. А действовать должно по примеру прежних образцов... Вот всё. Поняли вы меня?

– Понял, ваше превосходительство...

– Ну так теперь ступайте домой; я не могу вам дать места, я его уже отдал другому...

– Благодарю за ваши отеческие наставления! – сказал Клим в досаде. – Я не премину ими воспользоваться...

И он ушел...

Таковский с самодовольствием понюхал табак и прошелся по приемной, говоря про себя: «Если я не могу служить кому помощи, служу советом, и все благодарят меня! Слово мне ничего не стоит, а между тем отказ для несчастных не так огорчителен...»

Вошла дама, которую мы видели в начале главы. Она окинула взором комнату и сказала:

– Его уж нет.

– Кого, душенька?

– Молодого человека. Вы его прогнали?

– Помилуйте, как прогнал, я обошелся с ним как отец: дал ему наставление, за которое он так благодарил... Жаль, что вы не слышали!

– Вы, сударь, только и знаете давать наставления, а сами ничего не понимаете... Вы ему отказали?..

– Да ведь вы сами просили за того молодого человека...

– Прошу покорно! Тут некогда, сударь, думать о посторонних...

– Что вы, да разве он наш родня?..

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Не нам, не мне, а вам мог бы быть родня...

– Что такое, я не понимаю...

– Прогнал, отказал!..

– Да на что же он нам?

– Как на что! Да он хотел жениться на Маше...

– Что такое?

– Сейчас прибежал ко мне в кабинет экзекутор и говорит: «Видели ли вы того молодца, что в приемной? Вот, может быть, мне удастся уладить свадьбу...» Я и побежала сюда... А вы!

– Да что вам так хочется выдать ее поскорей?

– Вот вопрос!.. Она, сударь, мешает моим планам, она мне надоела, она компрометирует нас...

И так далее. Генеральша до того закидала словами своего супруга, что он не мог ничего отвечать; по счастью, вошел экзекутор и вывел его из затруднительного положения. Он успокоил также и генеральшу, сказав, что герой наш обещал прийти к нему и, следовательно, дело можно еще поправить, на что генеральша отвечала ему с весьма ласковой улыбкой:

– Ваша примерная служба не останется без награждения...

Здесь автор намерен остановить внимание своих читателей на обстоятельстве, которое едва ли не столько же раз служило содержанием для разных повестей, рассказов, сцен из частного быта, сколько повторялось на самом деле. Несмотря на то, автор ни за что не решится исключить его, потому что оно тесно связано с прочими событиями предлагаемой повести, которая, как уже было сказано, основана на истине. Притом у автора есть своя задушевная цель, которая, ему кажется, не вполне выразилась бы, если б он исключил обстоятельство, о котором теперь намерен распространиться... На первый план становится на некоторое время хитрый, изворотливый, честолюбивый, приземистый экзекутор, с которым мы уже несколько знакомы. Картофельная душа этого почтенного чиновника не представляет ничего особенного. Сначала единственной целью его были деньги, но с некоторого времени, именно вскоре после кончины его супруги, в сердце экзекутора закралось другое желание. Вдовствующий Степан Глебыч не был одинок на своем одиноком ложе: вместо жены, которая мучила его ровно двадцать три года, его стал мучить демон честолюбия, не отходивший от него ни на минуту. Владимир третьей степени снился ему от семи до двенадцати раз в ночь. Понятно, с какою радостью ухватился он за надежду достигнуть предмета своих желаний. Вообще он был человек ума довольно ловкого и в особенности чуткого: он за версту слышал, из чего можно извлечь выгоду, и, как хорошая гончая собака, скоро попадал на горячий след, то есть находил слабую сторону человека или животного, с которым имел дело. Клима он понял с первого раза, но не думал, чтоб его правила были непоколебимы. «Молодость, ветреность!» – думал он. Клима пришел к нему и рассказал прием генерала, совершенно противоречивший обещаниям экзекутора. Степан Глебыч извинялся и обещал всё скоро поправить. Осторожно и обдуманно начал он действовать на свежую душу нашего героя хитрой логикой своих положительных понятий о жизни; однако ж доводы его подвигали дело вперед очень медленно. Прошел месяц. Клима не получил денег от матери, не получил даже ее ответа, что его очень огорчало и удивляло; однако ж он сдержал слово, данное хозяйке: ровно через две недели он переехал, заплатив ей долг сполна. Экзекутор дал ему денег взаймы, экзекутор всячески старался привлечь его к себе, горевал вместе с ним, прикидывался добродетельным и при конце всякого свидания говорил вздыхая:

– Уж как я хлопочу, чтоб достать вам местечко... да нет... нынче места не легко достаются! Надо поощрять. – Наконец, достаточно приготовив Клима, вытеснив из души его малейшую надежду добиться места, он однажды сказал ему:

– Я вижу одно только средство устроить карьеру вашу.

– Какое?



– Женитесь.

Клим совершенно потерялся от такого предложения.

– Я имею совсем другой взгляд на женитьбу, – сказал он.

– Э! молодой человек! Кто ищет счастья, тот не должен пренебрегать ничем. Я люблю вас, желаю вам добра... – и прочее. Степан Глебыч довольно широко начал распространяться в излияниях привязанности, которую питает к нашему герою, и потом присовокупил, что он всеми силами постарается сосватать ему чудесную невесту, которая доставит не только протекцию, но и лихое приданое.

– Нет, не хочу, не хочу... Не беспокойтесь, – отвечал герой наш, краснея и запинаясь.

– Ну, не хотите, так как угодно... Я только на всякий случай сказал... С одной стороны и хорошо, что вы так тверды... Может, бог даст, через год, через полтора и сами найдете место...

– Через год... Помилуйте! Да мне жить нечем.

– Ваше дело... Жалею, но пособить не могу... Конечно, ваша решительность похвальна, но от женитьбы на воспитаннице нашего генерала едва ли бы кто отказался в вашем положении... Сами на себя пеняйте...

– На воспитаннице вашего генерала? Да я не видал ее!

– Ха-ха! увидите... будет время, насмотритесь... Марья Ивановна девушка добрая...

– Ее зовут Марьей? – перебил Клим с необыкновенною живостию.

– Что с вами... Имя не нравится? Поэзия, молодой человек, поэзия! Выкиньте ее из головы!

Здесь в воображении нашего героя невольно мелькнула девушка с голубыми глазами...

– Она живет у генерала? – быстро спросил он, не обращая внимания на слова экзекутора.

– Да, жаль, что вы упускаете такую невесту. Охотники скоро найдутся...

– Погодите... я подумаю... дайте несколько дней сроку! – сказал герой наш в волнении. – Где бы мне увидеть со поскорей?..

– Да если вы согласны, то я скажу генеральше; расхвалю вас в пух; авось она не будет противиться! Чудная партия!.. Если дело пойдет на лад, то отправимся к ним сегодня же к чаю...

– Нет, нет, слишком скоро, дайте одуматься, дайте успокоиться!

– Ну хорошо... Да вот, чего лучше: в воскресенье будет у генерала бал... я за вами заеду... или приходите ко мне, вместе отправимся... там насмотритесь вдоволь...

– Бал! Но у меня нет порядочного фрака... Совестно...

– И, полноте... Деловой человек никогда не должен обращать большого внимания на свой костюм...

Пускай на платье нашем пятна,  
Была бы совесть в нас чиста! –  
произнес экзекутор с комическою важностию... – Притом, – продолжал он, – гостей будет немного, и почти все свои...

– Хорошо, – отвечал герой наш, пожимая ему руку, – буду, непременно буду...

### III

Бал как бал; даже не стоит описывать. На диване сидит генеральша, подле нее у

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
стола стоит и весело улыбается девушка с голубыми глазами; по другой стороне  
сидит в креслах какая-то старушка, которой что-то шепчет на ухо девушка весьма  
некрасивой наружности.

К Климу подошел экзекутор.

– Видите? – сказал он, указывая в ту сторону, где сидела генеральша с причетом.

– Вижу, вижу! – отвечал герой наш, не переставая смотреть на девушку с голубыми глазами. – Как она хороша!

– На красоту не смотрите... У нее доброе сердце! – произнес экзекутор с важностью и исчез...

Загремела музыка; танцуют...

Большую часть вечера герой наш исключительно был занят девушкой с голубыми глазами, которая танцевала с каким-то стройным офицером в адъютантском мундире, до прочих ему не было дела. Он, к прискорбию автора, был похож совершенно на всех героев чувствительных романов: смотрел только на нее, видел только ее, думал только о ней... решительно нечем блеснуть новым... На беду автора он так же точно узнал мучительное чувство ревности, как и все, без малейших особенностей. Вкрадчивые, обольстительные слова адъютанта, которые она слушала, казалось, не без участия, долетая до слуха нашего героя, раздирали его сердце... Вот они несутся мимо... Взор ее упал на Клима... «Какой красавец!» – сказала она своему спутнику... Адъютант посмотрел на героя нашего с приметной досадой, и они пронеслись далее...

Слова ее не ускользнули от жадного слуха влюбленного; они привели его в восторг, бросили в краску... Мимолетный взгляд адъютанта произвел совсем другое действие: бешенство закипело в груди юноши, он едва усидел на месте.

Климу стало жарко... Он вышел в галерею, отворил окно и стал вбирать в себя холодный осенний воздух... Тут был совершенный контраст с залой: там шумно илюдно, здесь пусто и тихо; там глаза искрятся огнем надежд и страстей, уста кипят фразами и улыбками; здесь молчаливые портреты смотрят строго и холодно; здесь нет места мысли о будущем, всё говорит о прошедшем; там жизнь, здесь смерть... Много ощущений прошло через душу Клима, много мыслей, много планов пронеслось в его воображении... Долго стоял он у окна, устремив глаза – о горе мое! – на луну, которая тусклым пятном пробегала по горизонту... Недостает только, чтоб он произнес к ней стихи, но он, к счастью, не поэт! Вдруг послышались шаги; Клим повернул на минуту голову... В галерею входило несколько молодых людей, между которыми был знакомый ему племянник хозяина и известный уже адъютант... Клим стал снова смотреть на луну...

– Поскорей затянуться, ради дружбы! – сказал адъютант племяннику хозяина, который набивал трубку...

– Изволь.

– Скажи, пожалуйста, – продолжал адъютант, – что у вас за новое лицо явилось на бал?

– Кто такой?

– Да вот из статских... Высокий ростом, худощавый. Говорят, красавец, а по мне, так дрянь...

– Не понимаю... Да на что тебе?

– Представь... Я давно интересуюсь... одной особой... Уж сколько я вздыхал, любезничал, кажется, начал успевать... и что ж? Давеча танцую с ней. Она увидела его и говорит мне, что он очень хорош... Каково?..

Клим стал прислушиваться...

– Так что же? – спросил генеральский племянник.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Как что! Я полгода ухаживал за нею, да не слыхал от нее такой похвалы... Я бы дорого дал за нее... А он, выскочка!

– И тут еще большой беды нет. Похвала ничего не значит.

Ничего! Да я готов обрубить ему уши, если она когда скажет опять на его счет что-нибудь подобное.

Клим вспыхнул, задрожал, переменялся в лице; он хотел выскочить из своего угла, хотел наговорить дерзостей, вызвать на дуэль адъютанта... Но вспомнил, что сам не совсем прав, потому что случай привел его подслушать чужой разговор, чего, по его понятиям, не должно делать... Он удержался...

– Мало того, – продолжал адъютант, – она, кажется, просто влюбилась в него, вдруг стала со мной холодна: отвечает не по-людски, смотрит в лес.

Последние слова адъютанта чуть не свели с ума нашего героя.

Загремела музыка; молодые люди ушли. Клим остался один и долго предавался со всем жаром юношеского увлечения самым чудным, самым упоительным мечтам, которых автор не приводит из опасения насмешить читателей... Когда Клим возвратился в залу, мазурка уже приходила к концу; по невозможности пробраться на место, он стал у двери и начал, как говорится, «пожирать глазами» «предмет своей страсти», который танцевал по-прежнему с адъютантом.

К Климу опять подскочил экзекутор.

– Что, – спросил он, – решились?

– Но что думает она? Ее мысли, ее мысли! Если б я был уверен... Я не согласен ни на какое принуждение... Мне нужно прежде всего ее личное согласие...

– Только-то? Так и хлопотать не о чем! Завтра же к генералу... увидите, поговорите – и кончено... а?

Клим схватил руку экзекутора и крепко пожал ее...

– Ну, слава богу... теперь и мне любо... и какое место мы бережем для вас... А о приданом...

– Ничего не нужно...

– Как ничего... девять тысяч назначено... довольно?

– Очень благодарю...

– Дайте слово, что больше не будете требовать, хоть бы и можно...

– Извольте...

Экзекутор потер руки от удовольствия и стал пробираться к дивану, на котором сидела хозяйка...

Клим опять принялся созерцать свою красавицу. Вдруг он заметил, что лицо ее побледнело, глаза помутились; она пошатнулась.

– Вам дурно? – спросил адъютант.

– Воды, – прошептала она едва внятно и почти повисла на руке адъютанта; глаза ее закрылись...

– Обморок! – сказала стоявшая в соседней паре девица весьма некрасивой наружности и приняла ее на руки от адъютанта.

– Воды! – закричал встревоженный адъютант, опрометью бросаясь к двери...

Клим, пользуясь расстройством танцев, в то время пробирался во внутренность залы...

– Воды! – повторил адъютант, обращаясь прямо к нему.

Клим посмотрел на него с изумлением.

– Что же ты стоишь, болван! – сердито закричал адъютант. – Что вытаращил бельмы!.. Слышишь ли, подай стакан воды!

Клим замахнулся; вдруг откуда ни взялся экзекутор; крепко схватил за руку нашего героя. Адъютант отскочил. Клим, уходя, шепнул ему что-то на ухо...

– Эх, что вы наделали! – говорил климу экзекутор, догнавший его в коридоре. – Стоило затевать историю.. Он просто принял вас за лакея: ошибка, больше ничего. И за что было сердиться.. Посмотрите, как вы одеты! Последний официант его превосходителства наряднее вас.. Фрак вытертый, на лацканах заштопан, рукава засалены..

– Замолчите, пожалуйста!

Но экзекутор не унимался и продолжал бежать за ним, крича громко:

– Жилет! Срам посмотреть – кашемировый! Хоть бы у меня давеча взяли плисовый.. Может быть, обошлось бы без всякой истории.. Нет ничего невозможного!

– Да ведь сами вы сказали – нужды нет!..

– Я думал, что вы будете сидеть смирно.. А вы всё испортили.. Что вам стоило сказать: «Я не лакей!» Ему можно бы и спустить, он свой в доме генерала, он погорячился, он ее любит..

– Что?

– Послушайте, не деритесь с ним.

– Невозможно!

– Ну, как хотите; генерал вас и на глаза не пустит к себе.. Да и мне, право, охоты нет мешаться в такое дело.. Кончите сами, как знаете.. Прощайте.. Надо бежать успокоить генерала, генеральшу, да и бедная Марья Сергеевна, я думаю, в страхе.

– Марья Ивановна! – поправил клим, но экзекутора уже не было, он бежал в обратный путь и торговался с извозчиком.

#### IV

Эту главу следовало бы начать так: «Часу в осьмом утра за \*\*\* заставой из мрака утренних туманов показалась карета; за нею ехала невдалеке другая. Наконец оба экипажа остановились; из первого ловко выскочил..» и пр. Еще приличнее было бы поговорить сначала о суете мира, о близком родстве жизни со смертью, где можно было разбросать множество глубоких истин. Хорошо бы задать читателю несколько психологических вопросов: что такое честь, что такое жизнь, что такое пощечина? Посудить бы, потолковать обо всем, а потом уже приступить к описанию дуэли.. Нет, сперва бы рассказать еще, что делается в душе соперников пред роковым часом, как они встретились, как поклонились друг другу (соперники в романах всегда обходятся между собою очень почтительно), как шибко бились сердца их и отчего и для чего и почему. Тут по обыкновению очертить бы характеры секундантов, одного сделать воинственным и непреклонным, с геройством в душе, с солдатскими остротами двенадцатого года на языке; другого с миролюбивыми наклонностями и поговорками для контраста.. Заставить бы, для усиления страха в читателях, первого острить, а второго трусить. Наконец уж поставить на барьер героев, подать бы им пистолеты, скомандовать – раз, два, три! «Раздались два выстрела. Клим упал, кровь хлынула из его плеча; адъютант с зверским восторгом смотрел на страдания соперника.

– Можете ли вы еще стреляться? – спросил он, улыбаясь, как крокодил над замученной жертвой.

– Вы живы, вы не ранены? – радостно спросил умирающий слабым голосом.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– жив, не ранен! – отвечал торжествующий адъютант насмешливо.

– Слава богу! – простонал несчастный, вздохнул, поднял глаза к небу, трижды произнес: „Мария!“, протянул руку в ту сторону, где жила она, и испустил дух».

Постойте! Кто вам сказал! Ничего подобного не было... Клим точно ранен. Но он и не думал «испускать дух», даже не произнес ни одной пошлой фразы, какие говорят романтические герои пред смертью... Мы скоро с ним увидимся...

В Петербурге есть особый класс промышленников, который живет доходами от квартир, не имея своих домов. Какой-нибудь промотавшийся купец, чаще проторговавшийся мещанин снимает на год по контракту деревянный флигель, верхний этаж или подвал, разделяет его по отделениям и отдает их помесечно бедным чиновникам, старым вдовам, поэтам, кому попало... Лучшее отделение оставляет для своего семейства и квартирует себе даром на счет своих жильцов... Вот для образца дрянной флигель на дворе, одноэтажный. Окна кривые и маленькие, без ставен, вместо стекол наполовину заклеены бумагой; сени темные; в них чан воды, связка дров и кадка из-под капусты, от которой кругом разливается необыкновенное благовоние. Весь флигель состоит из двух комнат, перегороденных пополам; из первой составилась кухня и спальня – жилище хозяев; из второй, в которую ход через кухню, – две небольшие конурки – обитель постояльцев... Но остановимся покуда в первом отделении...

Около белого деревянного стола с работой в руках сидят три пожилые женщины: хозяйка и две ее компаньонки – постоялки. Одна из них – девица, другая – вдова. Как они попали сюда – объяснить нетрудно... У вдовы умер муж, бедный ремесленник; что было, она прожила и теперь кормится работой и живет за пустую плату у хозяйки деревянного флигеля. Судьба пожилой девы гораздо сложнее и запутаннее... Она любит рассказывать о каком-то старом «счастливом» времени, о каретах, богатстве, о «нем», который так любил ее, так лелеял... Но он уехал... Она ждала его, ждала – не дождалась и переехала к той же доброй хозяйке, которая берет так дешево и у которой всегда такая приличная компания... Все три – старые особы, суровые, безвыразительные физиономии, на которых господствовало постоянно выражение досады и злости... Вдова, впрочем, иногда улыбалась, девица вздыхала. Все они беспрестанно между собой разговаривали, перебивая одна другую... Поодаль у окошка сидела племянница хозяина, молодая девушка милой и скромной наружности, которая составляла совершенный контраст с сухими лицами старух. Она, прилежно занятая работой, вовсе не вмешивалась в разговор, даже не слушая его. Нужно еще упомянуть о пятом лице, которого присутствие доказывалось храпением, по временам выходявшим из-за перегородки...

Из первой комнаты второго отделения раздался болезненный стон...

– Опять застонал! – сказала с неудовольствием хозяйка.

– Я не могу слушать его воплей без содрогания, – жеманно произнесла дева, которая в счастливую эпоху своей жизни читывала Поль де Кока...

– И я! – прибавила вдова. – Как заслышу, так покойничек мой сейчас передо мной и стоит, и стоит, как живой... Свет ты мой, Лукьян Силуяныч, на кого ты покинул меня, вдову горемычную!

И она готова была залиться слезами.

– Ох! мне всех тошней! – сказала хозяйка. – Вам что, вам он чужой...

– А вам-то!.. Что вы, матушка Аксинья Федоровна! Какой же он вам родной, голь забубенная, онуча истрепанная, прости господи!

– Тем-то и хуже, – отвечала хозяйка. – Уж пусть бы родной, пропадай добро, да хоть бы совесть не мучила! Всё бы спокойнее: совесть не ела бы... А то подумаю: живет у нас человек, как в своем доме, за квартиру не платит, уход за ним... А что он нам? Добро-то в кого? А черт знает!.. На прищепте нашли... с улицы подняли... ни брат ни сват; ни брат ни сват... кузнец двоюродный нашему слесарю! Ека их совесть, совесть замутила!

– Но он в несчастье, а несчастные достойны сострадания; на кого же и надеяться им, как не на добрых людей! Бог вам заплатит! – с чувством сказала дева, третий

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
месяц уже не платившая за квартиру.

– Бог вам заплатит! – повторила вдова, находившаяся в таком же положении, и обе они взглянули на хозяйку взором, вызывавшим на сострадание...

– Заплатится сторицею, – продолжала дева, – потому что добродетель никогда не остается без награждения!

– Добро – так и есть добро... Уж человек без добра, – начала вдова, но дева, которая была покресноречивее и вообще сильнее обладала способностью убеждения, перебила ее:

– Вот намеренно умерла Власьева-то – сказала она, – и у нее нашли в сундуке сто тридцать восемь рублей да билет... Кто бы мог ожидать?... Старушонка оборванная... Христа ради, можно сказать, приютили... Ведь это вам за добродетели ваши, Аксинья Федоровна!

– А известно, за добродетели! – подхватила вдова.

– Власьева была мне должна, да и похороны стали в копейку! – сказала хозяйка с неудовольствием. – Нечего тут и толковать про билет!.. Конечно, – продолжала она смягчаясь, – отчего и не потерпеть, да вот что: первого числа нам срок платить за треть по контракту домовому хозяину, а в деньгах нехватка...

Вдова и дева переменились в лице.

– Потому, – продолжала хозяйка, посмотрев на них значительно, – я думала поступить иначе... Уж полно нам совеститься с ним, когда сам не знает совести...

– А что и в самом деле, – с живостью перебила вдова...

– И точно, – подхватила дева.

– Но он болен; он в таком положении, – робко заметила молодая девушка, в лице которой с самого начала разговора обнаружилось какое-то тревожное беспокойство.

Хозяйку явно удивило и раздражило такое дерзкое вмешательство.

– Болен?... – закричала она сердито. – Так не подождать ли, куда умрет...

– Тише, тише! – невольно воскликнула Фекла, дрожа и бледнея. – Он может услышать!

– А пускай его слушает! Не твое дело!

Фекла потупила глаза в свою работу...

– Так я думала, – продолжала хозяйка, обращаясь к своим собеседницам, – поговорить с ним наотрез. Не отдаст ли хоть вещи, какие у него есть, – всё чего-нибудь стоят.

– Конечно, конечно! – отвечали вдова и дева в один голос...

– Помедлишь, и того лишишься! Он сам все выпродаст да проплет на поганых лекарствах. То и дело пристаёт к Федотычу: рубашку продай, книгу продай, – ну, книги, черт с ними! – сапоги, то, другое...

Из второго отделения снова раздался болезненный стон.

– На! уж не кончается ли? – воскликнула хозяйка изменившимся голосом. – Хрипи! хрипи! – злобно закричала она через минуту, овладев своим ужасом. – Слыхали уж мы от тебя такую песенку! Вот что-то ты завтра запоешь!..

– У меня все кишки перевернулись от его стона, – заметила дева.

Вдова только перекрестилась.

– Хоть бы записочку, – продолжала хозяйка, – дал, что всё какое у него есть

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовское имение оставляет нам за долг... А то угораздит его нелегкая умереть – не поверят...

– А что у него есть? – с беспокойством спросила дева. – Останется ли хоть на уплату вам да на похороны?

– Ради бога, тише... – сорвалось у молодой девушки, на которую передаваемый нами разговор производил, казалось, впечатление беспокойства, ежеминутно возраставшего. – Он, кажется, проснулся!

И она, сама не зная, что делала, подбежала к столу и устремила умоляющий взор на тетку.

Тетка со всего размаха толкнула ее рукой в грудь, топнув ногою и прикрикнув, как на собаку:

– На место!

Девушка села... На глазах ее были слезы.

– Куда! на уплату, на похороны! – начала хозяйка, успокоившись. – Хоть бы половину... Что у него? – какая-то старая шинелишка, кажись...

– Сюртук, – продолжала вдова, – суконный, да уж куда стар!..

– Фрак, жилет и штаны, – dokonчила дева, в которой надежда выпутаться из затруднительного положения совершенно подавила на сей раз врожденную чопорность и претензию на хороший тон, составлявший лучшую мечту ее жизни.

– Штаны-то обтрепанные! – заметила вдова.

– Всё тряпье, дрянь, ветошь, грошовая амуниция? Грош заплочено да пять раз ворочено! – воскликнула хозяйка. – Вынести на базар – четвертак дадут да полтинник сдачи попросят... Ну, шинелька-то туда и сюда. Шинель я, пожалуй, сама в деньгах возьму. Верх-то на чуйку Федотычу изгодится, ему таковское носить да носить! Не по гостям ходить.

– А подкладку мне уступите, – подхватила вдова. – Что она – кажись, шелковая?

– Как же, шелковая, – отвечала хозяйка. – Ведь вот дрянь голоногая, а туда же – шелковая подкладка!

– Я сошью из нее капот. А с вами сочтемся, матушка. – Разумеется.

– А мне шарф, мне шарф! – кричала дева. – Он такой длинный: я буду носить его вместо хвостов!

– Хорошо, хорошо! – отвечала хозяйка. – Да всё это пустяки... этим квартиры не окупишь...

– У него я наведни мельком в дверь видела какую-то шкатулку, – заметила дева. – В ней нет ничего?

– И не то! Что там взять... Верно, пусто... Да вот Федотыч знает: он каждый день при нем... Федотыч, а Федотыч!

За перегородкой раздался густой, продолжительный зевок и потом вопрос:

– Что, голубушка?

– Спишь, голубчик?

– Сплю, матушка, сплю...

– Проснись на минуточку... Скажи-ка нам, что в шкатулке-то у него?

– У кого?

– Да вот у жильца-то. Ты, чай, видел...

– Как же... Не раз заставлял: сидит перед ней дурак дураком и плачет, а она открыта...

– Что же в ней?

– Бумажки, – отвечал впросонках хозяин.

– Бумажки! – повторили в один голос супруга, вдова и дева... Но заблуждение было непродолжительно.

– Какие? – недоверчиво спросила хозяйка.

– Вестимо, не ассигнации; вздор: письма! Да что вам за охота пришла спрашивать? То-то бабье неразумное! Об чем ни толкует, а время-то идет да идет... Ей-богу, ей-богу, давно пора спать!..

– Ну и спи себе с богом...

Слышно было, как счастливый хозяин перевернулся на другой бок...

– И больше ничего! – сказала дева со вздохом. – Плохо!

– Плохо! – повторила вдова.

– Нет, не совсем еще плохо, – отвечала хозяйка таинственно...

– А что?

– Видели вы образок, что лежит около него на столе?

– Тетушка, тетушка! – начала молодая девушка укорительно. Но так грозно взглянула Дурандиха и такое сделала движение рукою, нагнувшись к ней в то же время всем корпусом, что ужас отнял у нее язык. Она замерла неподвижно с открытым ртом, и в глазах ее выражение страданья совершенно подавил страх.

– Видела!

– Видела!

– Как жар горит, – заключила хозяйка, давая вес каждому слову. – Оправа-то, должно быть, не ме-дна-я...

У вдовы и девы глаза засверкали; хозяйка смотрела на них с торжеством, которому глубокое удивление к ее пронизательности, может быть не без умысла отразившееся на лицах двух слушательниц, доставило обильную пищу. С минуту длилось молчание.

– А портрет видели? – спросила она еще торжественней...

[Старая вдова сделала вопросительную гримасу, старая дева хотела что-то отвечать; вдруг дверь из комнаты второго отделения отворилась, и страшный призрак, похожий более на скелет, чем на человека, неподвижно остановился в дверях...

Лицо его было бледно и безжизненно, глаза мутны. Дико и грозно смотрел он на злых сплетниц...

Как ни уверены были старые ведьмы, что призрак – не кто иной, как их больной постоялец, однако нечаянное его появление заставило их вздрогнуть... Они смутились, уткнули головы в свои работы и хранили молчание...]

– Что ж вы остановились! – сказал больной. – Продолжайте ваш а<у>кционный осмотр... Или вы думаете, что пересмотрели, рассортировали, оценили всё мое имущество?... Ошибаетесь, у меня еще есть крест на шее, вы, верно, об нем забыли... Оцените уж и его, решите, кому он должен достаться, а то чтоб после моей смерти не поссориться... Долго ли: наследство такое завидное!

И больной, окончив напыщенную речь свою трагическим хохотом, устремил на



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
сплетниц взгляд, который, казалось, говорил им: «Казните! казните! Вы заслужили свою казнь, и я не вправе щадить вас!» Те молчали по-прежнему и, казалось, смутились сильнее. Молодая девушка уже не могла владеть собою и плакала громко. Такой успех, очевидно, ободрил больного: торжественно протянув одну руку вперед, а на другую, локтем которой упирался он в косяк двери, положив голову, он готовился продолжать и, без сомнения, наговорил бы много прекрасных и сильных вещей, но прошла минута – хозяйка успела овладеть своим безотчетным смущением, глаза ее налились кровью, в которой кипела и сверкала злость. Она грохнула кулаком по столу и закричала нагло:

– А что ж, батюшка, третий месяц даром живешь, храним и холим тебя, да уж и слова не скажи! Не по деньгам спесь! Больно заважничал! И что такое мы говорили?

– Я всё слышал, – отвечал больной.

– А хоть бы и всё! – воскликнула хозяйка. – Беда не велика: рта никому не зажмешь... Правду всегда скажу, отцу родному скажу...

– Я еще жив, – продолжал больной, – а вы уже делите мое достояние... в судорогах страданья перемог я силу пожиравшей меня болезни, и какое было первое слово, коснувшееся моего слуха, моего только что воротившегося сознания?... Не задушаемый радостными рыданиями голос матери, не нежный лепет обрадованной сестры, друга, – но... боже мой! боже мой! За что столько страданий на одного меня, на одного? Нет! моя бедная природа не в силах снести так много! Нужды нет... вы правы... вы бедные люди...

– Так о чем же тут и толковать, коли сам согласен...

– Не за себя, не за свое имущество больно мне: хороните меня заживо, делите мои вещи; я стерплю, но...

– Что, батюшка?

– Ради бога, не говорите вперед, по крайней мере громко, о том, что дорого моему сердцу... Вы меня напугали, моему больному воображению представилось, что вы уже входите ко мне, хотите разлучить меня с образом, которым благословила меня мать, с портретом второго моего отца. Нет, нет! Я не отдам их вам; я хотел бы унести их с собою в могилу.

Больной весь дрожал, произнося последние слова, и заключил пламенную речь свою трагическим жестом, который чуть не стоил ему падения. С трудом удержался он на ногах, ухватившись за дверь, и долго, обессиленный напряжением, стоял неподвижно, собираясь с силами. Наконец возвратился он в свою комнату шагом нетвердым и медленным, но всё сохраняя ту особого рода торжественность, которая не покидает иных людей и тогда, когда они повязывают галстук.

– Вот новости! – сказала злобно хозяйка, захлопывая за ним дверь. – Федотыч, а Федотыч!

– Что, матушка?

– Встань, старый хрыч!

– Иду.

– Слышишь ли, чтобы его, – закричала она тоном, предупреждающим возражения, указывая на дверь, куда скрылся больной, – чтоб его завтра же не было!

– Да помилуйте, матушка, что же мне... как же я с ним... На улицу, что ли, я его выкину? ходить не может!

– Ну, уж как знаешь.

– Нельзя, совсем нельзя... Вот кабы ему полегче... начал бы выходить, прогуляться, что ли, бы вздумал – тогда... ну тогда... сами видели, матушка, – знаю уж как, не в первый раз!

Он улыбнулся слабо, но в глупо самодовольной улыбке его было столько

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов некрас уверенности, что молодую девушку, не перестававшую следить за разговором, кинуло в дрожь.

– Болен! болен! а сегодня так горланил, – сказала хозяйка, – что куды твой здоровый. Видно, выздоравливает... Смотри же, как только поправится... Надо будет взять и записочку...

– Ну уж еще говоришь – не бывало, что ли! Уж знаю я как – небось, не останется долго на месте... Не в первый раз!

– А уж, ей-богу, и спать пора... – продолжал он. – Ей-богу, пора! Чай, уж не рано...

– Час первый.

– Вот как. До двенадцати! Ох, ох-оох! что мы за господа такие, чтоб сидеть до двенадцати! – сказал старик, зевая протяжно...

Улеглись.

– Вы, батюшка, вчера изволили поругаться с женой. Осмелюсь вам доложить: баба глупая, ничего не понимает. Плюньте на нее, дуру! Извините за ее простоту!

– Ничего, не беспокойтесь...

– Вот, слава богу, здоровье ваше поправляется... Уж как я рад, как я рад за вас. А то, право, – дело прошлое – недалеко было и до того... Лица на вас не было: осмелюсь вам доложить – изволили выть, метаться как угорелым, даже раз песню изволили затянуть, а голос у вас такой странный, точно, осмелюсь вам доложить, порют вас или гонят сквозь строй... Уж что я принял с вами страды: верите ли богу, спать не спал, лежу да только и думаю: «Ну, угодить ему сердечному к Волкову в гости». [1] Только засну, глядь – феклушка бежит: «Дядюшка, а дядюшка! поди к жильцу-то. Слышишь, как стонет? Голубчик, поди!» – «Да, дура ты, легче, что ли, будет ему, что я пойду, чем я ему пособлю?» Таки нет, она всё свое: «Поди да поди! Голубчик, такой, сякой», плачет, ластится, целует меня, старика, и ведь не отстанет, пока не пойдешь... Просто глупость такая – так жаль ее станет, что не можешь ей отказать... Да вот, слава богу, теперь вам хорошо. Вы, осмелюсь вам доложить, долго еще изволите прожить на квартире?

– Покуда куплю свой дом, всё буду жить на квартирах...

– Так-с... Отчего же... Оно конечно... человеку надо где-нибудь жить. Только... осмелюсь вам доложить, у нас вашу квартиру берут.

– Хорошо, пожалуй, я хоть сейчас перееду. Только не знаю, выгодно ли вам будет: денег я теперь отдать не могу.

– Ничего-с, ничего-с, помилуйте, время терпит...

– Вы честнее своей жены...

– Что она! Осмелюсь доложить – баба... в ней, сказать, чувства никакого нет... Когда будут, тогда и отдадите.

– Я не хочу пользоваться вашим великодушием! Я отдам завтра же, а если не получу денег, у вас останутся в обеспечение долга мои вещи и мебель: добра хоть не много, а сорока рублей ваших оно стоит!

– Точно-с. Один стол письменный – пару целковых дадут. Так оставите?

– Ну да...

– Безо всего-с?

– А что еще надо?

– Вы уж пожалуйста и записочку, что вот де я, нижеподписавшийся, должен такому-то отставному унтер-офицеру Егору Федотову Дурандину столько-то и в обеспечение предоставляю мебель и вещи... Да, ваше благородие, не поленитесь: черкните теперь

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов же – успокойте глупую бабу, оно и мне и вам лучше: не ворчит окоянная!

Поэт по диктовке хозяина написал требуемую записку и ушел со двора. Где он был и что делал, мы объяснять не будем, потому что все такие подробности нейдут к нашему рассказу, довольно знать читателю, что было уже довольно поздно, когда он направил шаги к своей квартире, Там ждал его новый удар.

– Что вам надо? – грубо спросил дворник, загородив фигурой своей отпертую калитку, как скоро узнал нашего героя.

– Здесь моя квартира.

– Квартира! Будто?.. Убирайся, любезный, подобру-поздорову. Теперь ночь. Нечего по чужим домам шататься: как раз угодишь в будку! У нас все жильцы дома.

И дворник хотел захлопнуть калитку. Но поэт, оттолкнув его, вскочил на двор и скорыми шагами пошел к флигелю..

– Напрасно изволите беспокоиться, – кричал вслед ему дворник... – Отставка!

С ловкостью, которую сообщает привычка, взбежал поэт наш по темной лестнице, ощупал дверь и начал стучаться.

– Кто там? – спросил женский голос.

– Я, отворите.

– Федотыч, а Федотыч!

Нескоро ленивые шаги и тяжелое сопенье возвестили о приближении к двери нового лица.

– Что вам угодно? – спросил мужской голос.

– Отоприте, я здешний жилец.

– Жилец! – закричал женский голос. – У нас жильцы все дома!

– Вы с ума сошли!.. Говорю вам, что я ваш жилец. Сегодня поутру оставил квартиру и теперь возвращаюсь,

– Осмелюсь вам доложить, – перебил мужской голос с необыкновенною кротостью, – вы изволите говорить справедливо. Вы точно нанимали у нас квартиру, но изволили от нее отказаться, и я отдал ее другому...

– Вздор! Я не отказывался.

– Как угодно.

– Вы не имеете права согнать меня в такую пору таким бесчестным образом с квартиры, завладеть моими вещами! Я буду жаловаться!

– Вся ваша воля! Осмелюсь вам доложить: вы сами изволили дать записочку, что вещи оставляете под залог, а квартире не стоять же пустой... Дело мое чистое: уж и надзиратель известен...

– Бездельник!

И юноша, полный благородного негодования, удалился быстрыми шагами, но, как ни скоро шел он, до него не мог не долететь торжествующий смех, раздавшийся во флигеле; ушел, взбешенный до крайности, и яростно пробежал мимо предусмотрительного дворника, который поджидал его с ключами у ворот и, запирая за ним калитку, пустил вслед ему замечание:

– А туда же, еще называется барин!

Так кончилась небольшая комедийка, разыгранная отставным сонным солдатом с опрометчивым нашим героем, – комедийка, доказывающая, что если Федотыч и точно

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не был глуп, как утверждала жена его (а на такое свидетельство мы не можем не обратить внимания), то всё же обладал значительною долей того особенного плутовства, которого нет в редком русском человеке и которого не выколотишь из него никаким чубуком.

– Ну, дурак, ты сегодня отличился! – сказала Дурандиха и налила мужу стакан водки.

Он, не исторгнутый из обычной апатии своей даже удачею своего умысла, – может быть, потому, что уж не раз случалось ему откалывать такие коленца, – выпил молча и ушел спать. А Дурандиха долго еще толковала со своими компаньонками, необыкновенно повеселевшими, пила вино и на сон грядущий оттащила за косу феклушку за то, что она не только не принимала участия в общей радости, но даже казалась грустнее обыкновенного...

Герой наш, полубольной, полный бессильной ярости, очутился на улице в глухую осеннюю ночь без пристанища...

Тяжело человеку смотреть на пестрый, бесчисленный ряд громадных зданий, которые в состоянии вместить десятки тысяч семейств, и знать, что ни в одном из них нет для него приюта, нет тесного уголка, где бы он мог согреться, отдохнуть от забот и усталости, успокоить душу и тело... тяжело, мучительно-обидно! Клим не плакал, не роптал: судьба уже обрушила на главу его множество гораздо важнейших несчастий, так что последнее скорее можно было принять за шутку ее, чем за обиду... Но не менее того и оно было важно. Едва только несколько оправившись от болезни, еще слабый телом, растерзанный душою, Клим принужден был провести ночь на улице; вместо спокойствия, которое так нужно было ему, мелькнула в перспективе голодная смерть, на мостовой, в виду множества добрых людей... Тут есть о чем подумать, есть о чем вздохнуть... Машинально ходил Клим из улицы в улицу, из переулка в переулок... Вдруг он остановился против одного дома. Здесь жила его прежняя хозяйка. «Зайди, – шептал ему тайный голос. – У нее, может быть, не занята еще комната подле спальни; ты беден, ты без приюта – она отогреет тебя, укроет от непогоды...»

– Нет, нет! – громко воскликнул Клим и опрометью бросился далее. «А вот дом того франта, который некогда просил тебя отбить у него любовницу. Может быть, он еще от нее не избавился; попробуй, он богат, силен и щедр!» – продолжал тайный голос, но Клим не слушал и бежал далее... «А вот здесь живет экзекутор, – заговорил опять тайный голос, когда Клим прошел несколько улиц, – согласись на женитьбу... Что нужды, что жена будет дурна, не по сердцу, за ней дают десять тысяч, а теперь у тебя нет десяти копеек...» Но добродетельный герой наш еще шибче побежал прочь от дома экзекутора, как будто чем испуганный, а дождь между тем лил ливнем, а пронзительный ветер пробирал до костей. Согласитесь, что надобно иметь большую твердость, чтоб устоять против явных искушений и остаться верным добродетели в такую дурную погоду...

Клим дрожал всем телом; глаза его горели болезненным огнем, голова была горяча, как раскаленное железо, а по всему телу пробегал судорожный холод; вследствие душевных потрясений и продолжительной прогулки на сыром воздухе недавняя болезнь, очевидно, начала возвращаться. Он уже не мог идти далее и присел на лесенке какого-то магазина. Тяжело, тяжело было ему. Видеть неминуемую погибель, близкую смерть – и от каких причин! О, вы не испытали! Вы не можете судить, как убийственно обидно для человека подобное положение. Не мучительно, не неприятно, а именно обидно! Весело погибать в честном бою с врагом, в борьбе с карающим роком – лицом к лицу, грудь с грудью... о, весело! Но погибать под гнетом каких-нибудь ничтожных обстоятельств, которых влияние мог бы разрушить первый глупец, первый бессмысленный бродяга, у которого есть в кармане несколько рублей... о, смешно, смешно!

Вдали по проспекту раздавались шаги, которые всё становились ближе и ближе. Клим поднял голову... При свете фонарей ему удалось рассмотреть двух человек, идущих к нему; один был старый, другой молодой; одежда их была почти одинакова, и у обоих одинаково бедна, с заплатами, за плечами их было что-то вроде походных котомок; в руках старика палка. Приближаясь к тому месту, где сидел Клим, они о чем-то очень жарко разговаривали и, казалось, были навеселе.

Вдруг молодой, заметив Клим, быстро забежал вперед, подскочил к нему, протянул руку и жалобно произнес:

– Христа ради! на бедность! грошик! барин добрый!

Герой наш захохотал дико и напыщенно, потому что так уж были построены его мысли, что он не мог пропустить столь прекрасного случая, чтоб не принять его за новую бесчеловечную насмешку судьбы.

– У меня! – воскликнул он. – Просят денег. У меня!

И он опять захохотал. А нищий еще жалобнее повторил свою просьбу. В то время, запыхавшись, нагнал его старый товарищ, кричавший ему еще издали:

– Пстой! пстой! Я постарше тебя!

И старый нищий, по примеру молодого, протянул руку к нашему герою и уже начал ту же беззаветную фразу, но вдруг на половине остановился и пристально посмотрел в бледное лицо продрогшего юноши.

– Ба! ба! ба! никак, нашего поля ягода! – сказал он. – Что с тобой, господин?

– Я ничего не могу вам дать, добрые люди, – отвечал наш герой. – Ступайте своей дорогой!

И он плотней завернулся в свою легкую шинель и сел снова на лесенку.

– Пойдем! – шепнул молодой нищий старому. Но старик не трогался с места.

– Озяб? – спросил он.

– Озяб.

– Так что ж ты уселся тут?.. Не лето, брат... Чем глубже ночь, то холодней будет... Ночевать негде, что ли?

Во всяком другом случае герой наш, верно, распространился бы с той высокой и гордой иронией, к которой столько был способен, об удобствах и приятностях ночлега на улице под открытым небом, где вольно дышится во всю грудь и сладок сон, навеваемый пронзительным гуденьем осеннего ветра и охраняемый добрыми светилami ночными. Но теперь, когда холод сковал ему даже самый язык, он мог отвечать только:

– Ночую и здесь.

– Пойдем! – шепнул опять молодой нищий, потянув старика за рукав. Но тот рассердился.

– Пойдем! пойдем! – возразил он. – Небось, как тебя полуживого вынимали из сугроба, никто не кричал: пойдем! Бросить бы тебя, подлеца! Замерз бы, как крыса... А вот здесь, как надо другому помочь, – так пойдем!

Услышав, что нищий хочет ему помочь, герой наш горько усмехнулся.

– Плохой ночлег на улице, – продолжал старик, обращаясь к нему. – Слышь, как ветерок–от гудит – ветерок–то с моря: проберет хоть кого... Вишь, ты как дрожишь... До утра так окостенеешь, что тебя штофом пеннику не справишь... Пойдем к нам... у нас не больно красиво и просторно, зато тепло... переночуешь, а там куда хочешь ступай себе... А?

– Мне нечем заплатить вам за ночлег, – отвечал наш герой.

– Не о плате речь! Какая нам с тебя плата! Вишь, ты весь дрожишь как осиновый лист, и лица на тебе нет, а туда же, спесь. С богатым спесивься – богатый скорей тебя осмеет и куском попрекнет. А мы сами, брат, пробовали всего; наш кусок в горле не станет. Толком тебе говорю; нам тебя что пустить на ночь, что не пустить, один расчет! ни убытку, ни прибыли! у нас квартера большая на счет всей артели. А стыдно тебе ночевать с нами, пожалуй и особую комнату дадим наверху, – она у нас пустая стоит. Живи сколько хочешь. Только холодна, окаянная.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Хорошо, я иду, – сказал наш герой голосом человека, решающегося на великую жертву.

Пошли...

<V>

Государь ты наш, государь, Сидор Карпович, –

А много ли тебе от роду лет? и пр.

Знаете ли вы, где укрываются на ночь от бурь и моровое те бледные страдальческие тени, в лохмотьях, с сухими желтыми физиономиями, с вечно приветной улыбкой на лице, с вечно просьбой на языке, с вечно протянутой рукою, которые днем на всех перекрестках города стерегут вашу благотворительность? Они разделяются на множество партий, из которых каждая имеет свои обычаи, но нам, к несчастью, некогда подробно их рассматривать...

Для помещения своего обыкновенно нанимают они на общий счет домишко в каком-нибудь отдаленном квартале поближе к кладбищу, совершенно отдельный, всего чаще такой, из которого давным-давно бежали жильцы от страха, чтоб не приплюснуло к полу каким-нибудь гнилым неучтивым бревешком, а пуще от крыс да от холоду. Бежал и хозяин, оставив на воротах билет, но сколько ни бегало тут голодных собак, ни одна не обратила внимания на билет с надписью: «Сей дом продается», и хозяин уже переставал находить даже утешение в мысли, что у него есть дом и земля, как вдруг однажды, заглянув туда, заметил в доме своем признаки обитаемости. Дождлся вечера. Ба! ба! ба! с разных сторон находят в дом к нему люди, и вот уж сквозь щели ставней, которые никогда не открывались, показался огонь. Стой! Что за люди? По какому праву? Вон! Тотчас вон! Сумочники! Подоконники! В полицию!.. Не пошел хозяин в полицию, не выгнал незваных жильцов, а потолковал с ними мирно, заломил – не дурак был – сначала цену высокую, сошелся на половине и уехал себе доволен и весел, а сумочники стали жить да поживать в его доме, никому не здравствуя. Нужды нет, что дом холоднее: им не век вековать в нем, он нужен им только по ночам; их много, – стало быть, в тепле недостатка не будет. Ничего, что и потолок того гляди упадет, может, упадет, а может, ведь и не упадет, а если уж и точно случится такой грех, что упадет, то ведь старуха-то надвое сказала: либо будет, либо нет, либо дождик, либо снег; может, всем разможит голову, а может, и никого не тронет...

В одну из таких квартир, называемых артельными, судьба привела нашего героя... Войдя в нее, он увидел множество стариков, старух, пожилых людей, детей женского и мужского полов в ветхих, полураздранных рубищах. Перегородки были все сломаны и весь дом превращен в одну большую комнату, походившую от несоразмерности вышины с длиной и шириною на сарай или кирпичный завод. Над тою частью дома, где, вероятно, была прежде кухня, простирались полаты. Сквозь дым крепких солдатских корешков и освещавшей комнату лучины герой наш увидел мужчин и женщин всевозможных видов и возрастов в лохмотьях и рубищах. Особенно много было детей.

На поперечном бруске, на котором, вероятно, утверждалась перегородка, восседало несколько маститых нищих, перед ними хлеб и штоф; лица их красны, и пот градом катится с их лбов и лысин. Другая <группа>, расположившаяся на том же бруске, вся состоит из старух-тараторок, на лицах которых присутствует выражение полного счастья: они пьют кофе. Неподдалеку от них сидел старик, целый штоф вина стоял перед ним, но никого не приглашал он в соучастники праздника, который задавал себе: он пил один, пил молча и медленно и по временам глубоко вздыхал.

Кто стоял, кто сидел, кто лежал; разговор был шумен. Около большого деревянного стола, на котором стояло вино, восседало несколько маститых нищих, которые пили и говорили без умолку. В правом углу неистово спорили о чем-то две женщины; одна была старуха, сухая, безобразная; другая в полном цвете бальзаковской молодости, с исполинскими формами, с наглым сверкающим взором... Крику их вторил младенец, почти нагой, брошенный на голом полу близ места жестокой брани. С полатей по временам раздавался стон больного, протяжный, раздирающий. На лесенке, ведущей на полаты, сидело несколько оборванных мальчишек, которые громко пели; почти посередине комнаты около лучины, освещавшей комнату, на обломанном стуле сидел старик; казалось, он был погружен в тяжкую думу; лицо его было мрачно и сурьезно; он не принимал участия в разговоре, даже неохотно отвечал на вопросы; все внимание его обращено было на серый, довольно новый армяк, на который он нашивал в разных местах лоскутки грубого, истасканного холста; мальчишки по

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовым  
временам подбегали к нему, протягивали руки и насмешливо произносили: «Барин добрый! Христа ради! на бедность!» Старик сердито взглядывал и грубо отталкивал их от себя, не говоря ни слова... Зрители хохотали и подзадоривали мальчишек-шалунов к подобным подвигам... В углу подле двери сидела старушонка в медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салоп, она тяжело вздыхала... Но то была еще только одна половина картины, даль которой закрывал густой <дым от> крепких солдатских корешков и в разных местах освещавшей комнату лучины. Герой наш мог только различить, что и там тоже сидят и движутся люди, и слышал долетавшие оттуда крики и песни.

При входе наших знакомцев на миг всё стихло; даже ссорившиеся женщины замолчали и с любопытством обратили глаза к двери; только ребенок кричал по-прежнему...

– А, Никита! Откуда так поздно? – закричал один красный старик.

Никита перекрестился, подошел к скамейке, отвязал деревяшку, снял с левой ноги ветошки, в которые она была обернута, и очень твердо стал на обе ноги.

– Бог на помочь! – сказал он.

– Кого ты привел с собой? – спросил тот же красный старик вполголоса.

Никита рассказал встречу с нашим героем и прибавил вздыхая:

– Вот какие нынче времена! Трудно хлеб доставать не только что нашему брату, так и почище нас... Хлеба нет, пристанища нет, а барин-то ловкой, кажись, грамотной...

– Грамотной! – повторила про себя с какою-то особенною радостью старуха в драдедамовом салопе. – Слава богу!

Мальчишки обступили нашего героя и с диким любопытством его рассматривали. Несколько голов из разных групп тоже вытянулось посмотреть на гостя.

– Садись, приятель... Не хочешь ли поесть?

– Нет.

– Не хочешь ли винца?

– Нет, благодарю...

– Да не чинись, – сказал Никита. – Пей, ешь; уж коли я привел, я за тебя и отвечу.

Никита между тем подсел к красным старикам, выпил вина и принялся ужинать.

– Где ты пропадал до сих пор? – спросил его один из товарищей. – Уж ты и по ночам-то милостину собираешь!

– На похоронах был, – отвечал он.

– На похоронах! – повторили все в один голос. – Где?

– Да вот чертенок Матвейко пристал – пойдем да пойдем на Выборгскую, там больше наберем... Вот и пошли...

– А, – закричала старуха, недавно ссорившаяся с пожилой женщиной, кидаясь к столу, – я говорила тебе, старый мешок, пойдем на Выборгскую... не послушал, подлец!

– Да что за беда; мы и так довольно набрали, – отвечал смиренно тот, к кому относились ее слова.

– Довольно! на винище набрал ты, лопнуть бы тебе с него, а я... трех гривен не собрала, право слово, нет!

– Ну полно, старуха, завтра наберешь больше: с ребенком пойдешь...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– С ребенком! Как бы не так! – закричала, подскакивая, женщина в полном цвете бальзаковской молодости. – Не уступлю, ни за что не уступлю... Моя очередь!

– Нет, моя! – запальчиво перебила старуха. И они опять принялись ссориться.

– А хорошо было угощение на похоронах?

– Хорошо, – отвечал Никита. – Не то чтобы очень, а так, как следует в купечестве: обед важный, сколько хочешь ешь; пироги, говядина, по стакану вина.

– Ну а деньгами?

– Три целковых, говорят, было дано на всех, да меди рубля с два... не знаю, как кому, а мне три пятака только досталось...

– Три пятака, кроме угощения! – раздалось в разных концах комнаты.

– Эх, кабы прежние годы, – произнес Никита, качая головой, – то ли бы досталось мне... Бывало, семь раз руку протяну... каждый раз выпадет. Замечу доброго человека, так сплю Лазаря, что сердечный расплачется, глядишь – полтинник или четвертак в кармане! К другому подскочу... Ну рассказывать свои несчастья... Каких историй не выдумывал! И жена-то сгорела, и мать-то в реку бросилась, и родной-то отец ограбил меня; откуда речи брались... Вывожусь, выклянусь... добрые люди слушают да утирают глаза. Глядишь – всем по грошу, а мне либо пятак, либо гривна. А теперь... теперь... в другое место и не продерешься...

Никита вздохнул.

– Да, кабы прежние годы! – с чувством повторили старики.

– С похорон, – продолжал Никита, – зашли на радостях выпить, там и позамешкались... Матвейко угощал: он, постреленок, побольше моего пятаков захватил... Куда боек становится: из рук рвет. А как пьет, так – у! Куда нам, старикам!

– Да, будет прок: молодецват не по летам! Матвейко, о котором шла речь, подошел к столу, налил

большой стакан вина и разом выпил его.

– Смотри, постреленок! Было бы чем заплатить... У нас складчина...

– Будет, будет! – отвечал Матвей, вынимая из кармана несколько серебряных монет и побрякивая ими.

– Вишь, сколько у него денег!

Глаза мрачного нищего, чинившего армяк, засверкали; он вскочил со стула и воскликнул с досадой:

– Ах, молокосос!.. Сколько набрал! А я вот шестой десяток хожу, да у меня постольку не бывало... А всё проклятый армяк!

И мрачный нищий еще с большею заботливостью принялся нашивать заплатки на свой новый армяк...

Мальчишки обступили его и принялись щипать, приговаривая: «Барин добрый! на бедность».

Старик, выведенный из терпения, схватил одного из них и швырнул к двери так, что тот заревел благим матом...

Все, за исключением пяти или шести человек, громко захохотали.

– Ай да «новый армяк»! Славно, славно! – закричал старик с рыжими усами...

– И всем то же будет! – грозно сказал «новый армяк», принимаясь опять за свою работу...



Мальчишки с ропотом отхлынули прочь и только уж вполголоса продолжали смеяться на его счет. В правом углу было еще шумнее.

– В среду ходила с ним ты, – кричала старуха, обращаясь к своей противнице, – в четверг ты же... Стало быть, теперь мне.

– Не ты ли, – возразила женщина в полном цвете бальзаковской молодости, – на прошлой неделе таскала его четыре дни сряду... забыла! На старости память отшибло...

– Я его носила, я и кормила его... Не бывать по-твоему. Завтра и послезавтра – я хожу с ним, да, вот с ним-таки, что хочешь толкуй... Не видать тебе его как ушей своих!

– Хорошо же... Няни же его, корми его... мне больше его не надо, слышишь, не надо... Возьми его.

И пожилая женщина с силой толкнула ногой плачущего ребенка к старухе; ребенок завопил еще громче...

– Ах ты, воровка окаянная... бога в тебе нет!

– Воровка? Сама ты воровка... Я знаю, я видела... Ты украла самовар намедни...

– Кто видел, кто сказал?... Вот ты украла салоп... все знают... пинками с лестницы провожали тебя...

– Врешь, врешь... тебя – не меня...

– Меня? Типун тебе на язык... Двадцать лет хожу по миру, да никогда не случалось такого сраму.

– Сплошь да рядом... полно хвалиться...

– Ах бессовестная, ах ты негодная... что ты вздумала!

– Не вздумала, а правда...

– Правда... так вот же тебе...

И старуха бросилась с кулаками на свою соперницу...

– Полно, полно, жена! – закричал нищий, которого называли «старым мешком». – Нехорошо; ну за что вы друг другу рожи расцарапаете? Так, ни за копейку...

И он силился разнять их; мальчишки хохотали, крича: «Браво, браво!»; старики, прихлебывая вино, делали остроумные замечания и улыбались... Только «новый армяк» был важен по-прежнему...

Вдруг с полатей раздался болезненный, тихий стон, невыразимо тягостный, стон души, расстающейся с телом,

Минута смерти имеет для всякого в себе что-то ужасное, равно поражающее души грубые и изящные. Предсмертный стон больного произвел электрическое действие на присутствующих; все вздрогнули, все как-то невольно оробели и с минуту остались неподвижными в том положении, в каком застиг их невольный страх.

– Он умирает! – воскликнуло несколько голосов после долгого молчания.

– Надо быть, так, – подхватили остальные.

– Видно, так богу угодно!

– Умер, не дохнет! – закричал Матвейко, который, взобравшись на полаты, успел уже осмотреть покойника и даже пошарить в его карманах...

– Напрасно беспокоишься, дитячко мое, – сказал Никита, знавший расторопность своего товарища, которого, прося милостыню, называл обыкновенно своим сыном,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов единственную свою подпору, – ничего нет: покойник в последнее время ел мой хлеб!

– Толкуйте тут, а я знаю свое! – прошептал про себя Матвей и начал распарывать зубами и пальцами воротник ветхого армяка, которым был накрыт покойник.

– Как бы не так, – говорил между тем старик с рыжими усами, – ел твой хлеб... Вот что сказал! Я на всех сошлюсь, что я покупал на свои деньги хлеб для больного, и он мне должен...

– И мне...

– И мне...

– И мне...

Кредиторов набралось довольно много. Все они шумно принялись доказывать свои права на ветхое наследство покойника, назначая за свои услуги всякий себе, что кому более нравилось. Клим, который с каким-то бесчувственным равнодушием смотрел до сей поры на всё, вокруг него происходившее, теперь вздрогнул невольно: ему пришел на мысль разговор его хозяйки с ее компаньонками!

– Я правду говорю, – сказал Никита, – покойник точно ел мой хлеб, но мне ничего не надо за то. Берите всяк себе, что любо... Только надо ведь похоронить на что-нибудь...

– Да, похоронить... в самом деле! – воскликнули спорщики, пораженные нечаянным ужасом. – Кто же возьмется похоронить?..

– По, мне, тот, кто возьмет его вещи.

– Да все-то они четвертака не стоят, а он мне должен полтинник... да тут еще и хорони, спасибо! Мне лучше вещей не надо. Я не берусь.

– И я.

– И я.

Все отказались.

– Хуже будет, как дойдет опять до надзирателя, – сказал Никита, – дороже станет! По-моему, что осталось после покойника – продать, а чего не хватит – сложиться, чем наживать хлопоты.

Все с ним согласилось. Между тем Матвей распорол воротник; радостным огнем засверкали глаза оборванного корыстолюбца. Он нашел там две золотые монеты, которые были крепко завернуты в несколько тряпичек. Поспешно спрятал он их в сапог.

– Кто же купит, – продолжал Никита, – одежду покойника лишнюю: полушубок, рубашонки, сумку... Армяков у него два было, оба худехоньки, в один его оденем, другой кому надо – купи!

– А где он, покажите-ка, – произнес с некоторою живостью мрачный нищий, всё еще продолжавший свою работу.

Матвей кинул требуемый армяк на голову покупщику, слез с полатей, сел на лешенке и запел песню...

Мрачный нищий с каким-то особенным удовольствием принялся рассматривать несметное количество дыр и разноцветных заплат армяка и после долгого осмотра сказал с важностью:

– Я дам пятиалтынный; авось, в нем мне посчастливит.

– Что ты, Касьян, как можно: чай, больше стоит, – сказал Никита. Он взял в руки армяк и начал с вниманием его рассматривать. Восклицание изумления вылетело из уст его, когда он увидел распоротый воротник и посредине стеганой веточки его

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов кружок в грош величиною, как бы чем продавленный. Многие подскочили к нему и начали рассматривать воротник. Знакомые по опыту с подобным родом сохранения денег, нищие тотчас поняли причину таинственного круга.

– Матвейко! – грозно закричал Никита.

– Матвейко! – повторили его товарищи и бросились к похитителю.

Матвейко захохотал и выбежал вон.

– Держи! держи! – закричали нищие и кинулись за ним, но через минуту воротились, унылые, взволнованные...

– Улизнул! – сказал один.

– Ловок, бестия! Через забор махнул! – подхватил другой.

Отчаяние овладело обманутыми нищими; долго еще они проклинали похитителя и горевали о потерянных деньгах; наконец вино мало-помалу возвратило им веселость; совещание насчет похорон было кончено; армяк остался за мрачным нищим, который тут же с торжеством надел его на себя и был чрезвычайно доволен. Он присоединился к толпе пирующих; попойка сделалась шумна чрезвычайно... Послышался стук в ворота, и чрез минуту явилось новое лицо: пожилой мужчина с небритой бородой, в фризовой шинели, называвший себя дворянином, штаб-ротмистром в отставке и просивший милостыни по «документу», который начинался так: «Благороднейшие господа! Милостивейшие благодетели! Воззрите и пр.».

Все обратились к нему с большим почтением.

– А, батюшка Кондрат Гаврилыч, наше глубочайшее...

– Здравствуйте, здравствуйте, что скажете новенького?

– Где нам знать что-нибудь... Вот разве вы что скажете...

– Скажу, скажу...

– Совсем забыли нас... Где так долго вас бог носил?

– Да так, – отвечал Кондрат, с важностью расхаживая по комнате, – случайно встретился с одним приятелем, сослуживцем; он меня зазвал к себе, угостил шампанским; вот я у него и замешкался...

Предание говорит иначе: Кондрат, – не отставной штаб-ротмистр, а выгнанный из службы копиист, – набрав несколько гривен, по обыкновению зашел под вечер в харчевню, где и оставил их все сполна.

Вышед из храма веселья, он почувствовал, что ноги отказываются служить ему, сел на первую случившуюся скамейку, заснул и проспал на ней до полуночи...

Нищие обомлели от удивления, неизвестно, притворного или искреннего, небритый дворянин еще с большей важностью продолжал ходить по комнате...

– Что, – сказал он, чуть не наступив на знакомую уже нам старушку в драдедамовом салопе, – образумилась ли, припасла ли мне целковый за «аттестат»? Такой напишу, что, кому ни покажи, все расплачутся, расчувствуются... А ты только не зевай; меньше гривенника дадут, так обижайся... я, мол, благородная: вот аттестат!

– И, батюшка, где мне взять целковый; велико дело целковый! – отвечала старуха, тяжело вздыхая.

– Ну так вечно будешь собирать по грошу, вечно будешь без аттестата.

Старуха посмотрела с какою-то надеждою на дремлющего героя нашего, как бы говоря взором: «Авось!» В то же время и Кондрат заметил его и обратился к нищим с расспросами, кто он и как попал сюда. Никита рассказал ему, что знал...

– А, надо познакомиться! Должно быть, чиновник! По крайней мере теперь есть

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
приличная для меня компания.

Небритый дворянин приосанился, подошел к Климу и сказал с важностью, протягивая руку:

– Честь имею рекомендоваться: отставной штаб-ротмистр Кондрат Гаврилыч Гаврилов...

Клим, утомленный тревогами дня, был погружен в какую-то лихорадочную дремоту, похожую на бесчувствие или совершенное опьянение... Он поднял голову, открыл глаза, мутно, безвыразительно оглянулся кругом, так же точно взглянул на небритого дворянина и опять закрыл глаза, опять опустил голову...

– Что же вы, милостивый государь, шутить, что ли, изволите? – воскликнул с неудовольствием Кондрат. – Благородный человек вам делает честь своим знакомством...

– Оставьте его, – перебил Никита, – он болен, да и устал, сердечный; спать хочет...

– А, так бы и говорил. А то я не научился еще владеть саблей, особенно где дело идет о чести...

«Где бы его положить?» – думал между тем Никита.

– Федька, – сказал он, – уступи ему место: ты помоложе.

– Как бы не так! – отвечал впросоньях толстый мальчишка, к которому относились слова старика. – Я такую же долю плачу... Вон на полатах просторно: пусть спит вместе с покойником!

Кого ни просил добрый Никита, все отвечали почти то же...

Старушка в драдедамовом салопе вскочила с живостью, наскоро постлала постель в углу, который принадлежал ей по праву найма, подбежала к Климу и сказала:

– Ложитесь, батюшка, постелька готова, не побрезгуйте...

Клим лег, не раздеваясь, на жесткие «нары», покрытые рогожей и лохмотьями...

– Спи, голубчик! – проговорила старуха крестясь и пошла на полаты в компанию покойника...

Кондрат подсел к столу и принялся пить вино, говоря, что ему хочется узнать, каков вкус в сивухе после шампанского.

– Ну что, каков?

– Хорош... Налей-ка еще...

– Изволь... А что же ты обещал сказать?

– Завтра похороны! – произнес небритый дворянин торжественно.

– Похороны! похороны! – повторилось во всех концах комнаты; даже спящих разбудило это магическое слово... Похороны для нищих то же, что свадьба для жениха, влюбленного в свою невесту, запутанное дело для взяточника, страсбургский пирог для обжоры... Тут их кормят, поят на убой да, кроме того, дают еще деньги...

– Где, где? – раздалось со всех сторон. Торжествующий дворянин назвал улицу и описал приметы дома.

– Богатые? богатые? – закричали нищие...

– Такая крышка стоит у ворот, что одна тысячи рублен стоит!

– Знатно! знатно! Будет пожива!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Я нарочно спросил: говорят, генерал умер... Будет обед нам, вино и выдача...

Чужое горе водворило веселье в грязном пристанище рыцарей медной монеты. Все с удовольствием думали о предстоящем дне я заснули спокойно... Позже всех улеглась собеседники, окружавшие белый стол: на радостях они выпили еще по несколько стаканов вина, которое развязало их языки до пределов возможности.

<VI>

К «артельной квартире» принадлежал и мезонин, состоящий из одной низенькой комнаты, которая не была занята. Читатель помнит, что добрый Никита предложил ее Климу еще на улице при встрече с ним. Клима, полубольного, оглушенного шумной оргией пирующей братии, на другой день перенесли вверх. Там он пролежал в постеле два дня, в продолжение которых старушка в драдедамовом салопе неусыпно пеклась об нем. Когда Климу стало легче, он тотчас отправился к хозяину своей прежней квартиры. Угрозами ему удалось вытребовать от него портрет благодетеля и шкатулку, в которой были письма, краски и несколько дорогих безделок, единственных памятников его благодетеля. Только драгоценного образа не мог он возвратить: хозяин объявил, что денег, вырученных от продажи вещей, недостало на уплату за квартиру, а потому образ он удержит у себя, пока ему не будет доплатена недостающая сумма. Уступая крайней необходимости, Клима продал свои дорогие безделки и тем обеспечил на несколько дней свою квартиру... Он умел довольно хорошо рисовать, и это доставило ему средство к существованию. Старушка в драдедамовом салопе по целым суткам стояла на Невском проспекте, держа в руках его картинку: иногда какой-нибудь прохожий, как бы по внушению свыше, останавливался, разглядывал их и давал ей за товар ее несколько серебряных монет. Тогда с радостным лицом бежала старушка домой, благословляя доброго покупателя... Клима предлагал ей половину выручки, но она почти всегда отказывалась, говоря:

– Не мой, батюшка, труд, – твой... Мне ничего не надо... Ты вот только сделай мне, что я тебя попрошу...

– Всё, всё сделаю...

Так прошло несколько дней. Клима усердно работал для поддержания своей жизни, не зная сам, для чего он ее поддерживает. Судьба довела его до крайней степени нравственного уничтожения. Ничего не было у него впереди; страшно было оглянуться назад, трудно представить, в каком мучительном положении постоянно была душа нашего героя... Сначала он почти никуда не выходил, ему как-то стыдно было показаться на улицу... Он проводил время, запершись в своей маленькой комнатке, сам-друг с своим горем; иногда нестерпимый холод его квартиры заставлял его сходить вниз, и там с каким-то диким восторгом любовался он картиной униженного человечества. Каждый раз в «артельной квартире» разыгрывались какие-нибудь новые сцены, всегда ужасные, возмутительные. Много людей, по нет человека, нет существа, которое могло бы чувствовать и понимать по-человечески, – и Клима уходил оттуда вверх, не утешенный, но растерзанный, жестоко уязвленный близким сходством своего положения с положением «нищей братии». Нестерпимая тоска одиночества заставила его наконец прибегнуть к развлечению так называемых «прогулок». Он стал ходить по городу ежедневно по несколько часов.

Однажды часу в третьем Клима шел по Невскому проспекту. С лестницы одного из магазинов сходила дама, великолепно разряженная, а за нею молодой офицер вел под руку девушку, разговаривая с ней очень жарко и беспрестанно улыбаясь, по-видимому, в избытке счастья... Клима почти наткнулся на даму, оглянулся, вздрогнул и опрометью, как безумный, бросился бежать в противную сторону...

Дама, офицер и девушка переглянулись между собою с каким-то смущением...

– Ах, какой грубиян... И представьте... Это тот... вы его узнали? – сказала дама, садясь в карету.

– Помню, помню, – отвечал офицер, – странно, что он еще до сей поры не в сумасшедшем доме.

– Да. Он давно готов туда...

– И будет там, я уверен.

– Даже очень скоро! – хладнокровно прибавила девушка, умильно смотря в глаза офицеру.

Карета поехала.

Клим увидел ту, которая ни на минуту не выходила из его головы; сердце его возмутилось, оболочка бесчувственного равнодушия, в которую так долго были закованы движения его духа, распалась; буря хлынула наружу. Он плакал, он рвал на себе волосы, он был ужасен. Ярое бешенство палило его внутренность; ему хотелось силы тигра, чтоб разорвать собственными руками грудь свою; власти падишаха, чтоб уничтожить тех, которые стали на пути его счастья; жизни вечного жида, чтоб долше мстить человечеству за испытываемые страдания... «Крови, крови!» – готов был <он> воскликнуть и, подобно дикому мавру, вонзить кинжал в грудь целого мира...

Я не шучу, я даже не преувеличиваю...

Любовь, ревность, жажда мести, сознание собственной ничтожности, чувство конечного унижения – о, тут довольно материалов, чтоб завязать драму в душе самого холодного человека!

Был уже вечер, когда герой наш воротился домой. Волнение его возросло до высочайшей степени. Напрасно хотел он успокоиться, напрасно силился превозмочь прилив отчаяния; оно безраздельно владело его душой, оно разрушало всё, что создавал разум, оно громко призывало его к роковой развязке жизни...

Клим испугался самого себя... Черная мысль являлась с такими заманчивыми, очаровательными обетами! «Страшно! страшно!» Клим быстрыми шагами сошел вниз – Там всё было по-прежнему. Мальчишки пели, старухи ссорились; старики сидели за длинным столом, на котором стояло вино. Они пили и играли в карты. Кучки медных денег переходили от одного к другому; с живым вниманием следили игроки за малейшим изворотом своей грошовой игры, которую замедляли нередко шумные споры... Несколько любопытных стояло вокруг стола. Денежная игра как-то неприятна даже для тех, кто ее любит; но здесь, в кругу жалких нищих, которые старались выиграть один у другого последнюю копейку, добытую ценою слез и унижением, она была отвратительна! Климу стало еще тошнее...

– Не хочешь ли, господин, «примазаться»? – сказал ему один из нищих. – Знаешь, чай, три листка с подходцем... Грош темных, а там ходи сколько карман позволит...

Клим отказался.

Вошло несколько запоздалых рыцарей медной монеты; между ними была и старуха в драдедамовом салопе.

– Ну что, старуха, много ли гривен набрала? – спросил нищий, знакомый нам под именем «мрачного».

– И где мне набрать, батюшка! Где мне поспеть везде! Что и пошлет бог, и то перебьют! А в дома никуда не пускают...

– Вот я, – сказал «мрачный» весело, – не могу теперь пожаловаться: как надел армяк после покойника, с тех пор, что день, то полтина!

– Счастье, батюшка, счастье... А, и ты здесь, кормилец, – продолжала старуха, увидев Клима. – У тебя, чай, холодно... Вишь, ты какой бледный... Да что с тобой... ты больно скучен... уж не захворал ли опять?

– Ничего...

– То-то же, родной мой! А я тебя всё собираюсь попросить... да, право, боюсь потревожить... Ты свободен сегодня, кормилец?

Между играющими разгорелась жестокая ссора. Они вскочили и принялись кричать друг на друга изо всей мочи. Кулаки некоторых были уже наготове. Клим ушел наверх, засветил свечу и начал ходить по комнате. Волнение его не проходило: мыслей было много, но ни одной утешительной, спокойной, все черные, убийственно

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов мучительные. Предаваясь им, герой наш дошел до того страшного состояния, в котором человек решает иногда на самые безумные побуждения... Лицо его горело, глаза сверкали диким огнем, походка была неверна и отрывиста... Он шел к двери с намерением бежать на улицу, когда на пороге встретила его старушка в драдедамовом салопе. Он воротился.

– Что с тобой, батюшка? – воскликнула она, испуганная страшным выражением его лица.

– Ничего. Что тебе надо?

Вопрос Клим, против воли выраженный довольно грубо, еще более напугал старушку; она долго не могла произнести ни слова...

– Я пришла было насчет той просьбы-то, – наконец сказала она отрывисто. – Да теперь вам некогда...

Клим опомнился; старушка была единственное существо, которое приняло в нем бескорыстное участие: обидеть ее было бы грех...

– В чем твоя просьба? – спросил он как можно ласковее.

– В другое время когда, батюшка! Извините... И старушка пошла к двери...

– Говори, говори теперь! – закричал Клим, удерживая ее. – После, может быть, уж будет поздно!

Старуха воротилась; голос, которым были сказаны последние слова Клим, заставил ее невольно вздрогнуть. Робко посмотрела она на него и опустила глаза...

– Говори же! Что ты остановилась?

– Я всё гляжу на тебя, кормилец... Отчего ты сегодня такой страшный?..

– Ничего, старуха, я болен...

– Так ляг в постельку, родимый... Я мятки налью...

– Не надо, я здоров. Говори же, в чем дело?

– Вот видишь, кормилец... Я давно хотела просить, да всё боялась беспокоить тебя... Теперь, коли велишь, скажу... Напиши мне аттестат, родимый; по гроб обяжешь!

– Что такое?

– Аттестат, батюшка: я и сама грамотная... да слепа стала, не вижу, опять же тут надо по-книжному, почувствительней... где мне, старухе! Так уж побеспокой себя...

– Какой же аттестат?

– Я, видишь, хоть бедная, а из благородных. Просить на улице милостыню стыдно, да и много ли наберешь?.. четвертую неделю рубашонки не переменяла, вот как бьюсь. Так вот кабы у меня был аттестат, я бы могла господам его подавать, в дома входить. Авось бы трогались моей жалкой участью...

Клим наконец понял, что дело идет о «свидетельстве бедности и несчастья», с которым просят милостыню нищие так называемого «благородного происхождения».

– Что ж я напишу? – спросил он.

– Опиши, батюшка, мою бесталанную долю, мои несчастья.

– Я их не знаю.

– Я расскажу, кормилец... Так напишешь?..

Клим чувствовал, что всякий труд в положении его был бы жестокою пыткой; но, желая хоть чем-нибудь отблагодарить старухе за ее усердие, он взял лист бумаги и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов перо, намереваясь во что бы то ни стало исполнить ее просьбу...

– С чего же начать?

– Ну уж как знаешь... Только сделай милость, пожалостливей...

Климу, как, вероятно, и всякому, не раз случалось видеть подобные прокламации голодной бедности, и он начал, подражая им, четко и крупно: «Милостивейшие господа и госпожи! Великодушнейшие благотворители!»

– Так ли? – спросил он, прочтя заглавие.

– Так, точно так! – воскликнула старуха с непритворной радостью. – Ах ты, голубчик мой!

– Что же дальше?

– А вот послушай, что я скажу, да и переложи по-своему... Вот видишь, я вдова горемычная, живу без мужа вот уж больше десятка годов... понимаешь?

– Понимаю.

И Клим написал: «Воззрите на слезы злополучной вдовы, лишенной уже более десяти лет супруга, единственной опоры...»

– Есть у тебя дети? – спросил он, дописывая фразу.

– А кто знает, батюшка... был сын здесь... да пропал... вот уж четвертый месяц ничего не знаю о нем...

Клим опять написал: «оставленной единственным сыном, которого она вскормила и воспитала, без куска насущного хлеба...»

– Хорошо ли? – спросил он, прочтя вслух написанное.

– Хорошо, родимый... Да последнее-то не совсем так... Сынок-то мой воспитан не на моих руках... Добрый человек, царство ему небесное, по десятому году взял его; опять же он и не то чтобы по злобе оставил меня; нечего греха на душу брать!

– Можно поправить.

– Поправь, батюшка.

Клим переделал последнюю фразу так: «страдающей в неизвестности о судьбе единственного сына».

– Вот так по правде будет. Уж как я страдаю, только богу известно! Всё хочется увидеть его, сердечного... Да, видно, не приведет бог. Не утешусь я на старости, не обниму своего дитятка.

Старуха, растроганная воспоминаниями, горько заплакала.

– А уж как я маялась... Чего не претерпела я... сколько нужды испытала, пока добралась сюда, – продолжала она всхлипывая.

– Разве ты не здешняя?

– Нет, кормилец, я из В \*\*\*.

– Из В \*\*\*! – невольно повторил герой наш.

– Да, родной мой! Там у меня свой домишко был... остался после покойника... вот я и маялась в нем кое-как... Вдруг божья немилость: у соседа загорелся сарай, а там, глядишь, и вся улица выгорела, и мой дом сгорел... осталась я без хлеба, без пристанища... сирота горькая... Тяжело, скучно стало мне на белом свете... Дай пойду к сыну... авось дойду: не дойду – всё равно – чужие люди в землю заруют... Соседи говорили: не ходи, век не дойдешь! Не послушалась... Сердце рвалось к нему, голубчику... Кой-как добрела... Уж как я радовалась-то! Вот, думаю, найду его, вот



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не увижу красавчика... Словно ожива, кормилец; бегом бежала по городу, ног под собой не слышала... Он, видишь, писал, где живет... Вот я туда... спрашиваю... Хозяйка говорит – съехал... – Куда? – Не знаю! – захлопнула дверь да и ушла... Сердце у меня так и обмерло... Я ну бегать по домам да спрашивать – никто не знает! Жутко стало мне, ноги подкосились... Я занемогла, думали, что уж богу душу отдам... И кормиться-то нечем и больна-то, а всё пожить хотелось: всё думала увидеть его, ненаглядного... да, видно, не приведет господь!

Старушка заплакала навзрыд; Клим в продолжение рассказа смотрел на нее как-то странно и страшно... при каждом слове ее он вздрагивал, как будто на него лили холодную воду.

– А давно ли ты рассталась с своим сыном? – спросил он.

– Одиннадцать лет не видала его сердечного, ровно одиннадцать! – отвечала старушка всхлипывая.

Клим схватил себя за голову...

– Как звали его? – спросил он голосом, который бы мог напугать самого храброго слушателя.

– Климуской, батюшка. Да что с тобой?

– Кто же ты?

Клим дрожал как в лихорадке, в лице и голосе его отражалась новая, ужасная буря, готовая разорвать его сердце.

– Губернская секретарша, кормилец, – отвечала старуха. – Да что ты так страшно на меня смотришь? – продолжала она, изумленная его волнением...

– Как зовут тебя?

– Анна Петровна Мотовилова, родимый...

– Матушка! – закричал герой наш и упал без чувств на пол...

Есть потрясения, есть открытия, которых не в состоянии выносить душа человеческая. Клим почувствовал какое-то болезненное, мучительное содрогание в мозгу, рассудок его помутился...

– Ты лжешь, ты жестоко лжешь, старуха! – воскликнул он, вскакивая с полу. – Ты не мать мне!

Старуха долго стояла неподвижно, в совершенном оцепенении. Казалось, чувства ее умерли, тело превратилось в камень. Тупым, безвыразительным взором смотрела она на своего сына. Вдруг глаза ее заискрились, лицо оживилось, она кинулась на грудь сына. В первую минуту он по какому-то безотчетному влечению горячо обнял ее, потом отскочил, усмехнулся и закричал:

– Прочь, прочь! Ты не мать мне... Не может быть, чтоб мать моя была в таком положении!

Старуха силилась что-то сказать, но произносила только невнятные звуки, простирая руки к сыну.

– Ты хотела обмануть меня... У тебя есть какие-нибудь замыслы... Ты подслушала мою тайну во сне, в бреду.

Старуха достала из-под салопы какой-то конверт и молча положила его на стол...

Клим схватил конверт, вынул из него несколько писем, взглянул на них и задрожал всем телом.

– Мои письма! Письма, которыми я грабил тебя, мать моя! И ты бережешь их, ты не кинула их в огонь вместе с памятью о бесстыдном сыне. Матушка, матушка!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Клим зарыдал и бросился на грудь старухи... Долго судорожно сжимала она его в своих объятиях, лепеча какие-то бессвязные слова, заливаемые слезами.

Вдруг он отскочил в противную сторону, как бы отторгнутый невидимой рукою...

– И я смею называться твоим сыном! Ты плачешь, ты несчастна! Кто же виной твоего несчастья? Я отнял у тебя последние деньги, обещая тебе золотые горы в будущем; для меня покинула ты родную сторону; чрез меня ты в рубище, в позорной нищете, кормишься подаянием... Всё, всё потому, что я бесстыдно лгал, что я тебя обманывал.

– Я не виню тебя, не виню! – проговорила старушка сквозь слезы.

– Вместо того чтоб утешить тебя собою, обеспечить твою старость, я приготовил тебе нищету на всю жизнь... Да, на всю... И у меня, ты знаешь, ничего нет... Мало того, скажу тебе, матушка, больше: я чиновник, выгнанный из службы, я человек, которого умные люди называют сумасшедшим. Каков твой сын? Он умрет с голоду в главах твоих, потому что не умеет ничего делать, как надо, так говорили люди, которые отказали ему в куске хлеба... Правда, правда! И ты умрешь с голоду, умрешь, когда в какой-нибудь день ни одному прохожему не придет на мысль похвастать своею благотворительностью... Не правда ли?

Мать отвечала ему рыданиями.

– Пстой! – вскрикнул он, озаренный внезапною мыслию. – Я еще могу загладить свою вину... погоди проклинать меня... Ты не умрешь в нищете. Ты будешь счастлива, ты будешь богата... клянусь тебе, матушка... Скорей, скорей, может быть, есть еще время...

И Клим опрометью побежал вон из комнаты...

– Куда же ты, куда? Пстой, дитя мое! – кричала вслед ему старуха. – Я умру без тебя... Закрой мне глаза... Мне тяжело, мне душно...

Но ответа не было. Старуха кой-как дотащилась до кровати и упала на нее без чувств...

<VII>

Один из домов \*\*\* улицы был освещен великолепно. У подъезда беспреостанно останавливались экипажи, из которых лакеи высаживали мужчин, дам, девиц, вдов и сирот... Виноват, сирот, может быть, не было... но я так привык слышать их непосредственно следующих за вдовами, что не могу произнести одного слова без другого. Так, вспомнив какую-нибудь знаменитость, вы иногда невольнo вспоминаете другое лицо, которое ставили с нею рядом современники или услужливые приятели... Привычка! Зала наполнялась народом... Таковский – надо вам знать, что мы у него в доме, – как-то необыкновенно сиял. На днях Марья Сергеевна, дочь его превосходительства, сочеталась законным браком с известным нам адъютантом, по обоюдному их согласию, как было сказано и в обыске... Ныне бал по случаю их свадьбы. Было людно и, кажется, весело. Молодые, по обыкновению, открыли бал, и танцы пошли своим порядком. За вистом сидело множество сослуживцев хозяина, начальников разных департаментов и отделений. Степан Глебыч был тут же целиком, то есть с дражайшею своею половиною. Владимир третьей степени красовался на его беспорочной манишке; играя в вист, он беспреостанно поглядывал то на него, то на свою милую супругу, которая сидела подле него и заботливо подбирала его взятки. Самое приличное занятие для супруги чиновного человека.

Сам хозяин играл также в карты; партнерами его были три генерала. Один со звездой и с лысиной; другой со звездой, без лысины; третий без звезды и без лысины. Хозяйка не сводила глаз с своих милых детей, то есть зятя и дочери; в промежутках танцев подходила к ним, целовала их в голову, в губы, в усы, во что попало.

– Ах, – говорила она со слезами, – желание мое исполнилось... Брак по любви – истинное счастье.

– Счастье, большое счастье! – говорил в то же время в другой комнате хозяин, выигравший три роббера кряду.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Несчастливая партия! Я погиб! – говорил тогда же экзекутор, которому шли дурные карты.

Вдруг все смутились, замолкли, стали прислушиваться.

– Пустите, пустите... мне непременно нужно! – кричал кто-то в прихожей нечеловечески громко, неистово... Затем послышалось какое-то отчаянное усилие, падение сбитого с ног человека и потом скорые неровные шаги в танцевальном зале...

– Сумасшедший! сумасшедший! – раздалось там во всех углах. Игроки вздрогнули и переглянулись между собой; экзекутор вскочил и бросился к двери, но в то же время в комнату, где сидели игроки, быстро вошел герой наш. Огонь дикого отчаяния горел в глазах его; он, очевидно, был в припадке безумного самозабвения...

– Сумасшедший, сумасшедший! – повторилось со всех сторон.

– Ваше превосходительство! – кричал он. – Я согласен, я женюсь... только скорее, скорее...

И он искал глазами генерала...

Экзекутор смекнул, в чем дело; он схватил его за руку с намерением вывести вон...

– Опомнитесь, опомнитесь!

Клим оттолкнул его, сделал несколько шагов вперед и обвел глазами комнату; испуганный хозяин сидел как окаменелый на своем кресле, закрыв картами лицо...

– Сударыня! – закричал Клим, увидев Марью Ивановну. – Я люблю вас, я согласен... где они? – скажите, скажите им... я согласен...

Экзекутор опять с силой схватил его за руку...

– Вы помешались! – воскликнул он. – Что вы делаете... Вы компрометируете мою жену!

– Вашу жену... а? я опоздал, опоздал...

Клим бросился вон; собравшиеся лакеи хотели остановить его, но он растискал всех и исчез.

Несколько минут длилось глубокое молчание. Первая опомнилась генеральша; она ужасно бесилась на лакеев и откомандировала Степана Глебыча в прихожую с каким-то секретным поручением. Потом подошла к мужу, шепнула ему, что он дурак, и велела опомниться. Таковский отнял карты от лица, робко взглянул кругом и сказал, будто рассуждая сам с собою:

– Сумасшедший, решительно сумасшедший!

– Кто он?... мне кажется, я видел его где-то, – произнес генерал с звездой и лысиной...

– И мне лицо его как будто знакомо, – подхватил генерал со звездой без лысины.

– Странно, господа! и я как будто помню его, – дополнил генерал без звезды и без лысины.

– Кто же он!.. вы его знаете?

Все трое обратились с вопросительным взглядом к хозяину.

– Не знаю, господа, право, не знаю... Он был у меня только раз... приходил просить места.

– Ах, позвольте! вспомнил! Он и ко мне приходил за тем же!

– И ко мне!

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– И ко мне!

Все трое вспомнили, что действительно видели героя нашего по одному и тому же случаю...

– Что же вы ему сказали?

– Мне, признаться, было тогда не до того... дело было перед крестинами... Я вышел к нему. Он заговорил что-то о бедности, о усердии. Я сейчас заметил, что он человек ненадежный... у него какие-то странные идеи...

– И я тоже заметил...

– И я.

– И я.

– Он и тогда уже сбивался в речах...

– Осмелюсь доложить, – смиренно произнес экзекутор, недавно возвратившийся из экспедиции. – Он еще тогда уж был не в своем уме, я сейчас догадался... Я ему предсказал – сумасшедший дом!

– Справедливо, и я заметил, что он был немножко помешан...

– Ну вот, право, и я тоже заметил.

– И я.

– И я.

– И потому я отказал ему наотрез.

– И я отказал...

Все повторили: «И я».

– И хорошо мы сделали, что все отказали ему... Что бы мы стали делать с сумасшедшим... Он бы только портил всё... и никакого толку от него не было бы... Служба бы от него ничего не выиграла, да и он от службы тоже...

– Справедливо, справедливо! – подхватили все...

Был тут человек, который думал иначе...

Клим прибежал домой...

Толпа нищих наполняла его комнату...

– Зачем вы здесь? – закричал он...

– А вот она тут – всё стонала, так мы и пришли к ней... а теперь она умерла.

– Умерла!

Клим бросился к постеле; старуха была мертва...

Невозможно вообразить вопля, который вылетел из груди несчастного сына; то был вопль, вместе с которым разум навсегда вылетел из головы его!

– Я убил мою мать! Да, я убил ее! Бегите отсюда, а то... я злодей... Я могу убить вас...

Он захохотал...

– Или нет, поспокойнее... Давайте играть в карты... Нищие смотрели на него с изумлением...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Что же вы молчите? Чего разинули рты... Думаете, что у меня денег нет... А вот...  
хоть на платье покойницы... она моя мать... я докажу... я ее наследник...

– А что ж, пожалуй, – сказали некоторые.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клим в сумасшедшем доме, вы можете его видеть там ежедневно в положенные часы без всякого опасения: он не бранится и не кусается...

Когда его вели туда, он неистово рвался из рук проводников и дико кричал:

– Зачем я не украл шестидесяти тысяч у моего благодетеля, зачем не отбил любовницы у одного важного человека, зачем не женился на побочной дочери другого... зачем, зачем?

И эхо вторило: зачем, зачем?

– Может быть, я тогда был бы счастлив, не голодал бы по суткам, не шатался без дела и без имени, не довел бы до нищеты мою мать, не убил бы ее... Так?... а?

И он с силой схватывал за плечо одного из своих проводников.

– Только иди смирней, – отвечал проводник, удерживая его, – а то всё правда, всё правда.

И эхо вторило: правда!

1843–1848

Жизнь и похождения Тихона Тростникова\*

<Часть I>

Глава II

Итак, после долгих размышлений отец мой решился отправить меня в Петербург. Я был чрезвычайно рад такому намерению, но сколько можно умерял свою радость, чтобы не пробудить в душе отца каких-либо невыгодных для меня подозрений, к которым он в последнее время сделался очень склонен. Прикидываясь равнодушным при посторонних и в особенности при отце, я наедине сам с собою смеялся и прыгал, как человек, получивший неожиданно огромное наследство. Тысячи предположений, которые были одно другого несбыточнее или, просто сказать, глупее, но в то время казались мне очень возможными и разумными, не давали мне ни днем, ни ночью покоя: поминутно я был в каком-то напряженном состоянии, в жару. В то время как отец мой, приготавливая меня к скромной доле чиновника, рассуждал со мною о средствах попасть в какое-либо учебное заведение, которое дало бы мне права на занятие порядочного места, я, наружно соглашаясь с ним, смеялся внутренно, думая о той высокой и завидной доле, которую назначал себе. По приезде в Петербург, не более как через десять дней, я надеялся иметь кучи золота и громкое имя. Здесь время сказать, что ко всем дурным наклонностям, которые волновали мою бурную, необузданную юность, с некоторых пор присоединилась еще одна – именно страсть сочинять стихи. Чтение романов не имело на меня такого влияния, какое имеет оно над большею частью молодых, неопытных голов: я не сделался ни безотчетным мечтателем, который живет на земле только для того, что бренное тело его приковано к этой «юдоли плача». Я не сделался пламенным идеалистом, которые за множеством выпренных идей и высших взглядов забывают даже обедать; нет, романтическое настроение, к которому несколько настроило меня чтение романов, не заглушало во мне голоса жизни положительной; я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель; фантазия моя, как бы широко и свободно ни разгулялась она, никогда не загашивалась в «туманной дали» долее того срока, который нужен человеку для сварения пищи: желудок напоминал ей очень исправно свои потребности, – и фантазировать натошак мне казалось делом до крайности неблагоприятным. Однако ж чтение романов развило во мне идеализм настолько, что одних ежедневных житейских мелочей мне казалось недостаточно для наполнения пустоты жизни, и я скоро почувствовал стремление к невещественным интересам: с детской доверчивостью к собственным силам принялся я писать стихи... и, боже мой!.. чего не писал я... и сатиры, и элегии, и поэмы... и драмы... и повести... и... и всё это, не имея понятия ни о сатире, ни об элегии, ни о повести, ни о драме. На что я ни жаловался в своих стихах: и на любовь, которой я не чувствовал и не мог по молодости лет чувствовать; и на измену друзей, которых не

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не имел и настоящего значения их не понимал; и на холодность и жестокость «братии», которые обращали внимания на меня столько же, сколько на собаку, бессознательно лающую; и на «милую», которую подвергал проклятиям; мало того: я пел даже «деву неги», «восторги сладострастья», которых не чувствовал; я приглашал ее (милую, которой у меня сроду еще не бывало):

Прийти под сень развесистых дубов

(NB: дубов в окрестности нашей усадьбы по крайней мере на тысячу верст не было),

Где, заковав в горячие объятия,  
Тебя, о дева неги, буду лобызать я  
и пр.

Я пел «утраты», когда важнейшею из них во всей моей детской жизни была потеря мячика; я пел «страдания», когда самое высочайшее из них было – розги. И... увы! всё это было, как ниже увидит читатель, напечатано! Широко зеваю я и судорожно краснею, перечитывая стихотворные грехи моей юности. Я не понимал, да и не мог тогда понимать высокого и святого значения поэзии, но смело и громко говорил себе и близким приятелям: я поэт! Мячик, кубарь, поэзия – имели для меня совершенно одинаковое значение, и я играл ими совершенно с одинаковым чувством. И не было человека, который бы остановил меня от моих святотатственных порываний (учитель словесности хвалил меня), не было руки, которая бы удержала меня.

О юноши! О вы, недавние гости мира, принимающие необузданное кипение крови в молодых жилах ваших за вдохновение; сильную жажду деятельности высшей и обольстительно-увлекающей – за талант; голос слепого и еще бессознательного самолюбия, влекущий вас к избранию блестящих поприщ, – за призвание неба, за голос свыше, – упражняйтесь в чем вам угодно ваши молодые силы, но, ради неба, ради искусства вечного и святого, – оставьте поэзию, оставьте и не касайтесь ее до той поры, пока сознаете в себе силу понимать ее высокое и святое значение! Умоляю вас счастьем и спокойствием вашей будущности, потому что я не знаю на моей совести преступления, которое казалось мне более сильным, которое сильнее бы меня мучило и чаще возмущало мои сновидения, как преступление против искусства, против поэзии! Но ничем не искупаются грехи против искусства. Человек, однажды осквернивши искусство, или навсегда лишается способности понимать его, или боится к нему приблизиться, чувствуя себя недостойным его. Раз попранное ногами, оно навсегда отвращает чело от своего осквернителя, и нет ему святых даров его, нет ему капли из вечно живого источника утешений, которые почерпают в искусстве люди, подходящие к нему с трепетом и благоговением!

Собираясь в Петербург, где должны были осуществиться мои надежды, я тщательно переписал все мои стихи в особую тетрадку, приписав к каждому из них замысловатое и самое модное заглавие. Тут было всё, что воспевали наши поэты. И «Тройка» и «Колокольчик», и «Она», и «Водопад», и «Пляска», и «Луна», и «Мечты», и «Горе». На заглавном листке надписал я крупными литерами: «Стихотворения Т. С. 18\*\*...» Я крепко задумался, мечтая о том вожделенном дне, когда увижу имя свое крупно напечатанным. Это казалось мне высочайшим благом, какое только могло встретиться в моей жизни. Отец мой, ничего не читавший и вовсе не занимавшийся литературой, однажды застал меня за переписыванием стихов. Прочитав несколько строк: «Вздор какой-то – стихи, – заметил он. – Охота тебе заниматься такими пустяками; я думал, что ты теперь по крайней мере выкинешь эту дурь из головы, – лучше бы я советовал тебе взять печатный высочайший титул да переписывать для навыку – будешь служить, понадобится; ошибешься в титуле – как раз и вон из кармана рубль или полтина: прошения с ошибкою в высочайшем титуле возвращаются с надписью!» Переписывать, мне переписывать!.. Я чуть не захохотал невежеству моего отца; но, чтобы не рассердить его, обещал заняться после обеда титулами.

Весьма много беспокоился мой отец о том, что не имел в Петербурге никого знакомых и что я должен буду жить там один-одинехонек – без помощников и покровителей. Я уверял его, что мне никого не нужно, что сам я найду везде дорогу. Однако ж отец мой, сказав: «Попытка не мушка, а спрос не беда», – отправился к губернатору, который его очень любил, просить рекомендательного письма. Губернатор принял такое сильное участие в сыне своего любимого чиновника, что пожелал меня видеть, и я был ему представлен. Отец мой, строго преданный подчиненности, с час учил меня, как стоять пред его превосходительством, как говорить и так далее. Губернатор обласкал меня так, что я вообразил, что приобрел в нем, подобно Горацию (такое сближение себя с древним певцом греческим нисколько не казалось мне смешным или странным), своего

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов мецената, от щедрот которого польется на меня золотой дождь. Вследствие того я решил поднести ему свои стихотворения; в одну ночь переписал я другой экземпляр и написал вступление, в котором называл губернатора отцом города, любимцем муз и просил его дозволить посвятить первые плоды моей неопытной музыки высокому имени его превосходительства, прибавив, что они оттого получают вдвое ценности.

Губернатор был в восхищении от моих стихотворений и в особенности от посвящения. Он сказал моему отцу, что даст мне такое рекомендательное письмо, которое, может быть, составит счастье всей моей жизни: нужно только, чтоб я понравился человеку, к которому оно будет адресовано. На другой день, возвратившись домой от службы, отец мой был в таком восхищении, в каком я давно уже его не видывал: он держал в руке обещанное письмо, которое адресовано было его превосходительству Игнатию Степановичу Закобьякину. Прочитав столь торжественную надпись, отец мой более уже не сомневался в волшебном действии письма на мою будущность. Почитая эту особенную милость губернатора не столько наградою своей усердной службы, сколько следствием поднесенных мною его превосходительству стихов, отец мой был очень доволен мною и со слезами на глазах сказал мне: «Теперь я вижу, Тиша, что и стихи могут быть на что-нибудь пригодны; только ты не заносись там бог знает куда, не трать по-пустому таланта, данного тебе господом, а береги на важные, вот на этикие случаи, где можешь какую-нибудь получить пользу. Ваша братья сочинители (я улыбнулся от удовольствия; в первый раз услышал я от человека близкого мне, которого мнением я не мог не дорожить, такое лестное название) большею частью люди беспокойные, можно сказать, даже вредные; ты не будь таким, Тиша; иначе я – отец твой – первый отрекусь от тебя и проклянущу – ей-же-ей, проклянущу! – а старайся в самых стихотворениях своих выказать себя с хорошей стороны, снискать расположение начальства».

Я решительно не понимал тогда, каким образом можно снискать «стихотворениями расположение начальства», и потому не обратил на совет моего <отца> никакого внимания, хотя я обещал им воспользоваться. К чести своей, однако ж, прибавляю, что я не воспользовался этим советом и тогда, когда очень хорошо его понял: на совести моей нет ни одной патриотической драмы, ни даже небольшого стихотворения, наполненного возгласами и восклицаниями, очень хорошо известными господам, упражняющимся в изделиях такого рода.

Окончив приготовления к моему отъезду, которые были непродолжительны, отец мой взял отпуск и повез меня в деревню, отстоявшую от города в 200 верстах, проститься с матерью.

Несмотря на титул поэта, которым мысленно давно уже наделил себя, я очень мало был расположен к мечтательности, – и, однако ж, сердце мое забило сильно и неправильно при последнем взгляде на ветхий дом наш и окрестности бедной деревеньки, в которой я родился и провел первые годы жизни. Каждый кустик, каждый клочок земли, каждое здание – всё это, знакомое мне как мои пять пальцев, останавливало надолго мое внимание и выводило ряды воспоминаний, которые, цепляясь одно за другое, представляли передо мной полную картину моего детства. Вот вправо луг, по <...>

<...> брал на палец, растирал, нюхал и даже пробовал на язык. Когда я заметил ему, что брат в рот деготь едва ли не вредно, он посмотрел на меня, как человек, сожалеющий о невежественном заблуждении ближнего, и сказал с расстановкою, обращаясь не столько ко мне, сколько к ямщикам, окружавшим телегу: «Малолеток – так и есть малолеток!» Затем он красноречиво и с большим жаром рассказал всей компании, как в 18\*\* году был при смерти болен; долго, несмотря на пособия врача, не чувствовал никакого облегчения, наконец решился на последнее средство: выпил залпом три стакана чистого дегтя и надел рубашку, обмокнутую в лагунку, – болезнь как рукой сняло, «С тех пор, – заключил мешанин, – случится ли дрожь какая со мной, ломота ли в пояснице или в ноге, зубы ли заломит, жар ли в голову вступит – тотчас и знай, что недаром: утроба дегтю просит; выпьешь – и здоровехонек! А рубахи другой я и не ношу – у меня вечно смочена дегтем!» В доказательство своих слов почтенный мешанин расстегнул две верхние пуговицы своего сюртука и показал часть своей рубахи: она была в дегте, отчего пошла такая ужасная вонь, что я принужден был зажать нос; тогда-то мы поняли причину ужасного запаха, который преследовал нас во всю дорогу.

Путешествие наше было весьма неудобно. Надобно было проехать около 800 верст, вылезая на каждой станции из телеги и переключиваясь в другую. Из всех зданий,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
сооружаемых человеком, самое непрочное, бесспорно, то, которое на скорую руку  
громоздит себе путешественник, едущий на перекладных. Едва успеешь уложить  
пожитки и обжиться на них поудобнее, едва найдешь положение, в котором тряскость  
телеги не слишком чувствительна, – как уже пространство, отделявшее станцию от  
станции, исчезло: надобно опять вылезать из телеги, перекладывать вещи, платить  
прогоны, ссориться с смотрителем и внимательно присматривать за теплым народцем,  
с подозрительным любопытством осматривающим ваши пожитки. Теплый народец! Мы  
подвержены были всем неудобствам подобного путешествия: троим нам было  
невыносимо тесно в телеге, и при каждом толчке нужно было схватиться за  
что-нибудь и держаться изо всей силы, опасаясь упасть с высоты собственного  
своего достояния. К счастью, на одной станции, когда мы с поручиком, полусонные,  
едва могли перелезть в другую телегу, а пропитанный дегтем мещанин, при котором  
совершалась перекладка наших пожитков, был крепко пьян, подрезали самый большой  
чемодан поручика ж вытащили из него всю старую рухлядь, которою он был наполнен.  
Это несчастное обстоятельство значительно улучшило наше положение: сиденье  
спустилось гораздо ниже и стало просторнее. Зато сожалениям и жалобам поручика  
не было конца: они раздирали мое сердце в продолжение всего следующего дня и  
даже не дали мне покоя ночью. Поручик бредил старыми вицмундирами, мундирами,  
рейтузами и темно-серой шинелью на гроденаиле: весь этот хлам он забрал было с  
собою, чтобы перешить из него платье своему сыну. «Иной сюртук мне узок стал, у  
иного вытерлись рукава либо лацканы, ну а Ванюша мой поменьше – ему бы из  
всякого выбрался сюртучок хоть куда: не надо бы и нового шить! Канальи!  
Разбойники!» – и так далее. Я показывал, что разделяю от всего сердца несчастье  
поручика, а внутренно, признаюсь чистосердечно, радовался и благодарил Бахуса,  
так кстати отуманившего голову пропитанного дегтем мещанина. Этот мещанин, не  
имевший ни при себе, ни на себе ничего, кроме дырявого сюртука да обмокнутой в  
деготь рубашки, во всем, что не касалось дегтя, был до крайности беззаботен; на  
козлах в сидячем положении он спал так крепко и так спокойно, что нередко я ему  
завидовал. Иногда он, сонный, качался в разные стороны, так каждую минуту было  
страшно, что он свалится и попадет в колесо. В таких случаях я имел привычку  
придерживать его или будить, за что поручик на меня постоянно сердился: «Стоит  
этот вонючий плут, чтоб вы об нем беспокоились! Стыдитесь!..» – «Да ведь он  
убьется!» – говорил я. «Не уьется, а и уьется, так велика беда: ведь он мужик,  
– и сам знает, что душонка его гроша не стоит!» Несмотря на такие увещания,  
мещанин во время сна так часто был в опасности, что сам я потерял способность  
сна, беспрестанно думая, как бы он не убился. Глаза мои невольно почти каждую  
минуту открывались, и я смотрел, тут ли еще мещанин. Наскучив наконец таким  
мучительным состоянием, я предложил мещанину условие спать поочередно:  
выспавшись, я уступал ему свое место и сам садился на козлы. Когда поручик узнал  
такой размен, он не в шутку на меня рассердился, а мещанину прочел целую лекцию  
о том, что спать подле своего брата мужика и подле благородного офицера большая  
разница и пр. Принужденный проводить половину ночи на козлах, я старался убивать  
время в разговорах с ямщиком.

До сей поры мы ехали сносно. Но положение наше сделалось гораздо хуже, когда, по  
совету мещанина, мы решились взять вольных лошадей, польстившись тем, что таким  
образом дорога обойдется нам несколькими рублями дешевле; По приезде в деревню,  
где следовало переменять лошадей, мы ждали по крайней мере по три часа: русский  
ямщик, занимающийся вольной гоньбою, когда ему не дашь зуботычины или  
гривенника, обыкновенно удивительный флегматик, – он ходит как черепаха, мажет  
телегу нехотя, беспрестанно останавливается, чешет затылок или зеваает; помазавши  
телегу, – в чем пройдет, верно, не менее часа, – он уходит и не является по  
крайней мере полтора часа; проезжающий выходит из себя, сердится, поделать  
нечего: вольная гоньба – не почтовая, – нет ни смотрителя, ни жалобной книги.  
Наконец вдали вы видите ямщика, ведущего тройку тощих клячонок в недоуздках, без  
хомутов и без шлей; вы бросаетесь к нему с гневом и проклятиями, спрашиваете:  
где он пропадал? Он чешет за ухом и хладнокровно отвечает, что лошади были в  
поле. Вы бранитесь и требуете, чтоб он скорее запрягал. «Сейчас», – отвечает он  
и тем же медленным, выводящим из терпения шагом, ворча что-то про себя и  
почесываясь, ведет лошадей к колодцу – поить. Потом он опять пропадает на  
полчаса или более, после чего является уже с лошадьми, одетыми в хомуты и прочую  
сбрую. Пока он запрягает, вы смело можете отойти пять верст в противную сторону  
в твердой уверенности, что не представится надобность вас дожидаться. Заложив  
лошадей, он влезает на телегу, в которой вы приехали, и кидает оттуда без всякой  
осторожности ваши чемоданы и вещи на ту, в которой вы поедете. И всё это делает  
он один-одинехонек, несмотря на-<то> что около вас толпятся десятка два ничем не  
занятых его товарищей и родственников, которые с диким любопытством смотрят на  
вас и ваши пожитки, рассказывают друг другу сальные анекдоты, расточают самые



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы  
отборные ругательства, – хотя бы в числе проезжающих были дамы, – иногда в знак  
особенной нежности и любезности, иногда в гневе, борются и дерутся, – и на все  
ваши сетования и просьбы помочь товарищу отвечают диким и глупым смехом,  
которого значение для вас решительно непонятно. Попробуйте бросить им четвертак  
или двугривенный, и вмиг картина переменится: ленивые, неповоротливые парни  
превращаются в расторопных и вежлив<ых> слуг, и лошади в минуту готовы. Но здесь  
еще не конец. И когда только что сердце ваше после мучительных ожиданий вкусит  
сладость надежды вырваться наконец из проклятой деревни – вдруг раздается с  
противоположного конца тройка «с работой», из той станции, на которую вам должно  
ехать. Ямщики обступают вас и начинают просить подождать полчаса. Сопротивления  
не поведут ни к чему: ямщик, приготовившийся везти вас, спокойно выпрягает  
лошадей и уводит на свой двор, ругая вас себе под нос, как ему вздумается. Вы  
должны прождать еще несколько часов, пока «обратный» ямщик выкормит лошадей,  
после чего пожитки ваши снова перекаладываются в телегу «обратного», лошадей  
запрягают, и вы наконец едете. Если «обратный» уже уехал, прежде чем вы приехали  
в деревню, где назначена перемена лошадей, то вас снаряжают и везут с  
чрезвычайною скоростью, чему, впрочем, вы не должны радоваться: ямщик ваш  
торопится нагнать «обратного», которому непременно «спихнет» вас, перекинув ваши  
несчастные пожитки в его телегу. Нельзя перечислить всех проделок, через которые  
придется пройти человеку, которому придет несчастная охота прокатиться на  
«вольных». Особенно памятна мне из них одна, которая не столько рассердила меня,  
сколько насмешила. Я спал крепким сном, так что не слышал даже, как голова моя  
стучала об деревянный край телеги, что, вероятно, было не без боли и отчего,  
проснувшись, я ощупал на голове две огромные шишки; просыпаюсь; тройка наша  
стоит среди дороги, напротив нее стоит другая; ямщики выпрягают лошадей;  
расспрашиваю, не без некоторого страха, о причине такого странного действия и  
узнаю, что ямщики решились разменяться своими пассажирами, находя в том большую  
выгоду: каждый из них, вместо того чтобы «забываться» в чужую деревню, поедет  
домой. Я пожал плечами и предоставил себя и своих спящих товарищей на волю рока  
и ямщиков, которые очень скоро перепряглись и поехали каждый в свою сторону.  
Когда я рассказал поручику об этом размене, он был очень сердит и говорил, что  
никогда бы не позволил ямщику променять себя черт знает на кого.

### Глава <III>

О том, какое действие производят рекомендательные письма, о которых так много  
хлопочут провинциалы, отправляющиеся в Петербург

После семидневного путешествия мы наконец завидели Петербург. Расспросив ямщика,  
в какой части города дешевле квартиры, мы приказали ему ехать в Ямскую. Здесь  
заняли мы общую комнату в доме коллежского асессора Завитаева и перетасили в нее  
пожитки свои. Мещанин бросился в дегтярный ряд, поручик отправился в баню, а я  
завалился спать на единственной ветхой кровати, покрытой дырявым матрасом,  
который к тому же издавал какой-то неестественный запах. Мне было не до того,  
чтоб добиваться, чем именно пахнул матрас: глаза мои, красные от пыли и долгой  
бессонницы, невольно слипались, со лба, щек и носа кусками лупилась кожа, все  
члены мои болели и громко просили успокоения. Я спал осьмнадцать часов. Думаю,  
что я проспал бы и двадцать четыре, если б не одно обстоятельство: среди самого  
сладкого сновидения я вдруг почувствовал чрезвычайную жгучую боль во всем теле,  
как будто в мое тело воткнули тысячу иголок самых тонких и вострых; сначала я  
стал кататься на своей постели, всё еще стараясь удержаться в приятном  
самозабвении, в котором находился; наконец вскочил с нее и тотчас же опять сел  
на нее, страшно вытаращив глаза, чем напугал и чуть не отправил на тот свет  
поручика, который в ту самую минуту разжевывал огромный кусок бифштекса,  
чрезвычайно твердого. Проснувшись наконец совершенно, я, кроме сильной боли,  
почувствовал дрожь, – что обыкновенно бывает после продолжительного путешествия  
на телеге, – шея моя тряслась, как у столетнего старика, зубы стучали; во всем  
теле заметно было постепенно затихавшее колыхание, подобное тому, какое бывает с  
деревом после бури. Эта дрожь была мучительна и заставила меня на минуту забыть  
боль, от которой я проснулся. Но когда она затихла, с ужасом увидел я по всему  
телу своему большие красные пятна; на лице, на руках и ногах моих в большом  
количестве ползали вонючие красные гадены, подушка, на которой я за минуту  
лежал, была усеяна теми же гадинами и покрыта пятнами свежей крови... увы! моей  
собственной крови, которую я, может быть, собственными губами выдавил из  
зловонных отвратительных гадин!

Иван Софронович утешал меня, как умел, но без успеха. Известно, что бывают  
несчастья, которые выше всяких утешений, и к числу-то этих несчастий  
принадлежало то, которое встретило меня на пороге петербургской жизни. Стыдись

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не крас показаться на свет божий, с облупившимся загорелым лицом, покрытым красными пятнами, с носом, который от долгого трения во время сна об жесткое сукно шинели был коричневого цвета и, кроме того, как-то необыкновенно увеличился в объеме, я просидел дома три сутки, только по вечерам высываясь из своего заключения, чтобы полюбоваться петербургскими диковинками.

Наконец лицо мое пришло в порядок, нос принял свою обыкновенную форму, – я встрепенулся, причесал голову, надел лучшее свое платье, которое состояло из нанкового фрака и таковых же брюк, красного кашемирового жилета и голубого платка, взял рекомендательное письмо, данное губернатором, и отправился к важной особе, которой оно было адресовано.

Рекомендательные письма, которыми с избытком наделил меня почтенный родитель мой, не принесли мне никакой пользы. Один генерал очень серьезно заметил, что высшие учебные заведения есть не в одном Петербурге, но и в Москве, – и даже во многих губернских городах русской империи; что мне бы гораздо ближе было бы ехать, например, в Казань, где издавна существует университет, чем в Петербург. «Удивляюсь, – заключил он, – как родители ваши, бедные люди, не взяли в расчет такого обстоятельства. По-моему, бедные люди должны бы всё брать в расчет». Другой генерал принял меня очень ласково и расхвалил до небес человека, от которого я подал ему письмо. «Превосходнейший человек! редкая душа; мы двадцать три года служили с ним по одному ведомству – я для него готов что угодно; только уж на сей раз прошу извинить». И затем генерал рассказал мне, как он, бывало, никому ни в чем не отказывал, но как один случай научил его быть осторожнее. «Раз, – продолжал он, – пришел ко мне человек, вот так же, как и вы, молодой, из провинции, – нанковый сюртучок, поверите ли? сюртучок просто, по всему видно – проситель, не важная спица, я было скоро вышел к нему, да встретил тут же в приемной управителя, заговорился с ним, занялся счетами, ну, думаю, птица не важная и подождет. Прошло так, я думаю, в час, много два. Вижу, молодой человек стоял, стоял да и сел прямо против меня, да еще и развалился, будто гость какой-нибудь, точно равный мне. Мне, знаете, стало досадно: человек, как бы то ни было, молодой садится при мне, ну, знаете, – нехорошо. Однако ж думаю: провинциал не знает обычаев, приличия, – смолчал! Так что же, государь мой? Прошло еще так, я думаю, с полчаса. Вижу, молодой человек вынул из кармана сигарку, закурил и опять сел; сидит себе, точно какой-нибудь гость... Тут уж, признаюсь, меня взорвало... и не такие люди, думаю, передо мной не сиделись; весь департамент встает, когда я вхожу: на что же и начальник; постой же, думаю, я тебя прочую! Промешкал так, полагаю, еще около часа, сходил к жене, поиграл с болонкой да и подхожу к нему; думаю, опомнился: извинится; куда! С важностью встал с места... поверите ли?... точно генерал какой-нибудь... ха! ха! ха!.. но, как бы то ни было, мне и опять обидно... на что же я служил!.. Подает письмо. Читаю: от короткого моего приятеля; убедительно просит определить „подателя“ к месту, выхваляет его на чем свет стоит – прекрасная душа, честные правила, благородный характер... Место тогда у меня было, да нет, думаю, не для тебя: молоденец! Отказал наотрез да, знаете, кстати и заметил ему насчет его невежества, – думал для его же собственной пользы... Что ж, государь мой?... Он посмотрел на меня как-то странно, до сей поры забыть не могу, сердито – не сердито, смешно – не смешно, а просто сказать глупо, пожал плечами, покачал головой да и говорит: „Понимаю... Я, – говорит, – весь век прохожу без места, но не соглашусь купить его унижением пред кем бы то ни было... Найду, – говорит, – бог поможет, доброго человека, который не потребует от меня за милость такой низкой платы!“ Хлопнул дверью да и ушел. „Ступай, – кричу вслед ему, – ступай, голубчик! Ищи такого начальника, чтобы посадил себя рядом с собою“ воткнул бы тебе в зубы сигарочку, говорил бы с тобой как с равным! Счастливого пути! Найдешь, скоро найдешь!.. Нет, послужи-ка с мое: потри ляжку-то, посиди в прихожих с лакеями, подежурь в приемных навтыжке, послужи, поклоняйся... да тогда уж... Знаю ведь я: дураков не делают генералами!» Прошло, я думаю, – продолжал генерал, стараясь удержаться от смеха, возбужденного в нем воспоминанием забавного события, которое он рассказывал, – около двух месяцев. Однажды выхожу в приемную. Ну, обыкновенно, как всегда: толпа просителей; кланяются; говорю с тем, с другим. Вдруг замечаю лицо точно знакомое, только так бледно, так бледно – волосы перепутаны, лоб сморщен, глаза впали, – что, кажется, такого страшного лица отроду я не видывал. А человек молодой, в сюртуке. «Кажется, – думаю, – у меня в нынешнем году уж кто-то был в сюртуке... точно?» Вглядываюсь и, что ж, государь мой?... узнаю того самого молодого человека... ну, знаете, который сидел; даже сюртук тот же самый... у меня глаз на такие вещи чудесный: раз взгляну – и довольно на весь век!.. Только уж гораздо-нагораздо повыношен, даже в дырах... Самая жалкая фигура!.. Продолжаю, государь мой, заниматься с другими просителями, а на него и внимания не обращаю.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Прошло часа два – стоит; прошло еще с полчаса – стоит, не шелохнется. «А-га!» – думаю себе. Наконец все разошлись, остался один; делать нечего: я к нему. Он чуть не в ноги: «Есть, – говорит, – нечего, с голоду умираю; будьте благодетель, такой-сякой, подайте руку помощи, ваше превосходительство, да, ваше превосходительство», – ну, словом, совсем узнать нельзя, говорит, как и всякий. Только, знаете, от робости ли, а может быть и так от чего-нибудь, беспрестанно краснеет, слова чуть слышны, глаза потуплены... «Много, – говорит, – ночей не спал, много слез пролил, прежде чем решился прибегнуть к вашему превосходительству...» Ну, знаете, и так далее, да всё так вежливо: видно, что знает приличия. Жалко стало мне, да нет, думаю, надобно проучить: «Садитесь, – говорю, – не прикажете ли сигарочку?» Он так и вспыхнул, весь переменялся в лице: ну, знаете, совестно стало, вспомнил старое; а сам стоит по-прежнему в струночке. Подставляю стул – не садится, даю сигару – куда! «Смею ли я курить перед вашим превосходительством», ну и так далее. Вижу, малый исправился; надо помочь. Место, которое было, я уж отдал, нашлся человек очень хороший: раньше всех придет в департамент – уйдет позже всех; всегда первый навстречу мне выбежит, и шинель подаст, и калоши пособит надеть, и в карету, пожалуй, посадит; аккуратен, опрятен, вицмундир всегда застегнут сверху донизу, на все пуговицы, пишет, как бисером шьет. Только задумаешь что-нибудь сказать ему, а уж он сейчас и вскочил; право, точно чутьем слышит, – и не сядет, покуда не скажешь: «Садись, Владимир Иваныч!» На улице встретится – где еще шапку снимает, чуть только завидит, а остановишься, вздумаешь спросить о чем-нибудь – так без шапки перед тобой и стоит; право, точно мой крепостной человек! Такое к начальству внушено ему уважение, а человек еще молодой, почти мальчик! «Накройся, Владимир Иваныч!» – скажешь ему. «И, ваше превосходительство, мы люди молодые, постоим и так: по крайней мере кто пройдет, видит, что начальник говорит с своим подчиненным; мне же лучше: всякий по вам и меня будет знать». Вот какой чиновник, редкий – чиновник!

Я разделял умиленный восторг, с которым его превосходительство отзывался о своем новоопределенном чиновнике, и спросил, чем же кончилась история с молодым человеком.

«Да вот чем, государь мой. Места, как я уже сказал, у меня не было... да что мне место?... тьфу!.. плюнуть... только стоит написать к кому-нибудь из товарищей по другим департаментам... определяют в один день. Хорошо, говорю, приходите недели через две: я приищу для вас место. Расклянлся и ушел. Приходит через две недели; опять говорю: приходите через неделю, мне недосуг... И так, знаете, морил его месяца полтора; придет – говорю: погодите, место непременно будет, только еще срок не пришел, а сам между тем за ним замечаю и каждый раз приглашаю садиться, понимаете, потчую сигарочкой... ха! ха! ха! Наконец, видя чистосердечное его раскаяние и крайнюю нужду... поверите ли? сюртук просто сделался ни на что не похож, на локтях дыры... жалость смотреть! – пишу письмо к начальнику \*\*\* департамента – дают ему место. И что же? Чем бы, вы думали, он возблагодарил меня?... С тех пор ко мне ни ногой, – продолжал его превосходительство после некоторого молчания, – верите ли, даже поблагодарить не пришел! Встречу где-нибудь на улице – поклониться порядком не хочет, кивнет – да и бежит поскорей, как будто я ему враг какой, как будто стыдно ему смотреть в лицо благодетеля. Мало того, стороной слышу, распускает про меня разные неблагоприятные слухи, что я и гордец-то, и справедливости-то нет у меня: только тех и люблю, кто низко мне кланяется. Вот как! За мои же благодеяния да я же и виноват вышел! С тех пор слуга покорный – проси хоть отец родной: прошу не прогневаться – откажу, наотрез откажу; ни для кого – ничего; клятву дал себе, поверите ли? дал клятву... Так уж вы меня извините: своего слова не преступлю; конечно, чужая душа потемки, вы, может быть, совсем не такой человек, и я совершенно уверен в благородстве ваших правил, но для меня слово – закон, что однажды сказал – свято! Если мы, начальники, не будем держать своих слов, то какой же пример подадим подчиненным?»

Я слушал рассказ его превосходительства с большим вниманием, стараясь придать своей физиономии как можно более глубокомыслия, иногда улыбался, иногда дожимал плечами и даже раза два или <три> сообщал своей физиономии выражение ужаса и негодования в тех местах рассказа, где дело касалось невежливого обхождения молодого человека к его превосходительству; все эти маленькие подлости (я очень понимал, что это подлости) я позволял себе в надежде выиграть расположение генерала, но когда дело дошло до развязки, я с сожалением увидел, что труды мои пропали напрасно, и впервые ощутил чувство человека, сделавшего подлость, которая не принесла ему ни малейшей пользы: не совсем приятное чувство! Однако ж

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов рассказ его превосходительства не вовсе был для меня бесполезен: это было что-то вроде лекции о том, каким образом должен действовать проситель. Благодаря ей я вел себя в прихожих и приемных так, что если б кому-нибудь из людей, к которым я имел рекомендательные письма, вздумалось помочь мне, то в моем поведении он пошел бы никуда, что бы могло удержать его. Но, как я уже сказал, помочь мне никому в голову не пришло. От генерала, прочитавшего мне лекцию, я пошел к графине, у которой сын командовал уланским полком, а родная сестра содержала в нашем городе женский пансион наполовину с мужским: в провинциях такой обычай (от нее-то я и получил рекомендательное письмо). Графиня была крепко стара; как теперь помню, она сидела на стуле у окошка неподвижно, как бы составляя часть мебели; ноги ее покоились на скамейке, в руках она держала чулок, который при моем появлении перестала вязать; на коленях ее был постлан белый платок, напомиравший мне времена невозвратного детства. Приглядевшись попристальней, я скоро увидел, что он постлан был почти с такою же целию, с какой прикрывают коленки детей во время обеда: графиня нюхала табак. Графиня долго смотрела на меня с выражением детски бессмысленным, взяла письмо, прочла – и, казалось, поняла из него только, что оно от сестры, потому что тотчас спросила меня: «Чего же ты, батюшка, хочешь?» Я объяснил ей мою просьбу. Графиня опять не поняла, ибо посмотрела на меня точно так, как и прежде, долго молчала и наконец повторила вопрос о здоровье сестры, на который я уже отвечал ей два раза. Разговор умолк и возобновился чрез несколько минут опять тем же вопросом. Графиня, очевидно, забывалась. В дальнейшем разговоре, который был до того несвязан, что третий едва ли бы что понял из него, и касался семейных дел графининой сестры, графине непременно хотелось называть меня по имени, и она беспрестанно обращалась ко мне с вопросом: «Как, бишь, зовут тебя, батюшка?» С самоотвержением, поистине удивительным, я каждый раз громко произносил свое имя и, несмотря на то, только однажды удостоился услышать его из уст графини в неискаженном виде. Насилу мог я добиться от нее, что сын ее в полку, за тысячу верст, что она одна-одинехонька, живет уединенно и очень скучает, будучи всеми забыта. Мне, признаться, только того было и нужно, но старушка разговорилась и на придачу к означенным сведениям сообщила мне, что ей восемьдесят четвертый год, что в молодости она была и красавица, имела большой вес при дворе и могла действием одних глаз своих составить счастье человека. «В молодости!» – подумал я, торопясь от нее отделаться.

Выходя от графини, я невольно усмехнулся, вспомнив одно наставление, которое давал мне отец мой. «Вот, – говорил он, вручая мне письмо, адресованное графине, – вот письмо, на которое я больше всех надеюсь: говорят, в Петербурге женщины значат вдвое больше мужчин, – делают, что хотят! Береги его и надейся: как бы то ни было – графиня, родство, связи – чего она не сделает!»

От графини я прошел по соседству к одному коллежскому советнику, который, как носились слухи у нас в провинции, играл не последнюю роль в Петербурге, имел знатное родство и связи. Я застал его за полуштофом простого вина, которое он пил с большим усердием, подливая по временам гостю, который был одет весьма неизящно, имел небритую бороду и сапоги до того худые, что, кажется, он носил их больше для приличия, чем для существенной пользы. Над столом, около которого сидели два достойные друга, носились густые тучи табачного дыма, которого крепкий и душливый запах напоминал казармы; на стуле лежала гитара, которую по временам брал господин в худых сапогах, ударял несколько раз по струнам, – причем коллежский советник пел, – и тотчас же с гневом клал ее на прежнее место, очевидно сердясь на глупый инструмент, который не слушался его неповоротливых рук. На полу единственной комнаты, которая составляла квартиру советника, заметил я грязную босую девочку лет четырех; в руках ее был измятый и замусленный кусок белого хлеба, крошками от которого она по временам кидала в лицо коллежского советника; при каждой такой нежности коллежский советник улыбался, выпивал стакан ерофеичу и выплескивал остатки в лицо девочки; господин в худых сапогах смеялся и приговаривал: «Уж что ты ни говори, братец, дело твое: меня обмануть трудно. Вся в тебя: и нос, и губы, и лоб; возьми – лоб: теперь же настроит отношение». «Полно, барин, стыдились бы говорить! – заметила кухарка, которая привела меня. – Ха-ха-ха!» – и убежала за ширмы к своему очагу, откуда слышался запах жареной баранины.

Я остановился в раздумье перед картиной семейного счастья, которая явилась передо мною так неожиданно, и задумался. Письмо, которое я готовился вручить коллежскому советнику, замерло у меня в руке: мне хотелось как можно скорее убежать вон; но уже было поздно: прочитав письмо, коллежский советник захохотал во всё горло и, обратись к своему собутыльнику, сказал: «Прочти, братец, да не

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов некролог со смеху!» Будучи уже довольно пьян, коллежский советник не считал нужным маскироваться передо мной: откровенно объяснил он мне, что сделать для меня ничего не может, а если у меня есть охота выпить стакан вина, то с большим удовольствием. Проговорив это, он схватился было за полуштоф, чтоб налить вина, но увидел, что полуштоф пустехонек, – что, как можно было заметить, привело его в ужас. «Сергеевна, Сергеевна, Сергеевна!» – закричал он тихим, протяжным голосом, в котором было всё, кроме голоса человеческого. Вошла Сергеевна, плотная и толстая краснощекая баба, каких можно нередко встретить в услужении у титулярных и других советников. «Вина!» – закричал хозяин. Кухарка подошла к столу, – причем коллежский советник не упустил случая потрепать ее по плечу и ущипнуть, кажется, за щеку, – взяла опорожненный полуштоф и остановилась, поглядывая в каком-то раздумье то на меня, то на хозяина. «Ну, что стала? – закричал хозяин. – Успеешь еще наглядеться на гостя. Поворачивайся!» – «Денег-то припасли ли?» – сказала грубо кухарка, обидевшись. Крайний ужас изобразился на лице советника: видно было, что он не ожидал такого оборота разговору. Он пошарил в своих карманах и посмотрел на господина в худых сапогах; господин в худых сапогах пошарил в своих, свистнул и посмотрел на меня. «Были два двугривенных, – сказал он, – да сплыли: карман-то худой». Затем оба господина обратились к кухарке и начали убедительно просить ее «купить на свои»; она упорствовала; от просьб дело дошло до угроз, от угроз чуть не до драки. Чтобы утешить вражду, я вынул из кармана полтинник и предложил его хозяину. Восторг хозяина и товарища его был неизобразим, они вполне дали мне почувствовать сладость доброго дела (так они звали мой поступок), они целовали, обнимали меня до того, что я чуть не кричал. Особенно господин в худых сапогах был от меня в восхищении. «Мы, – говорил он, обнимая меня, – люди простые, живем нараспашку: есть деньги – кути! нет – прошу не прогневаться! Я человек добрый», и так далее. Вино принесли; господин в худых сапогах выпил залпом два стакана и начал плясать, причем разорвал полу своего сюртука; советник играл на гитаре и поил вином грязную девчонку, приговаривая: «Заправляйся, дурочка, смолоду: лучше под старость хмель не возьмет»; девчонка страшно чихала и ревела. Выпив стакан вина, я спешил уйти, извиняясь множеством дел...

#### <Глава IV>

##### Родственница и ее постоялки

Окончив посещения важных и неважных особ, к которым я имел рекомендательные письма, я пошел к одной бедной дальней родственнице, которая издавна жила в Петербурге и в письмах к моим родителям нередко осведомлялась об моем здоровье и посылала мне свои поклоны, когда я еще жил в деревне. Муж ее когда-то был землемером в одном из губернских городов, но по неосторожности попался в одном слишком явном плутовстве и был отдан под суд; с тех пор он перевез семейство в Петербург и посвятил себя ходатайству по делам; он также брался частным образом у богатых помещиков приводить в известность количество их земель и составлял планы их владений; такие занятия могли бы с избытком обеспечить его семейство, но, к сожалению, Иван Иванович (имя отставного землемера) крепко любил зашибаться хмелем. Когда я посетил старушку в первый раз, она мне горько жаловалась на беспечность своего мужа и объявила, что бот уже больше года, как он уехал в\*\*\* губернии: с тех пор об кем ни слуху ни духу, ни сам не возвращается, ни денег не шлет. «Чем же вы живете?» – спросил я с участием родственника и простодушием провинциала, незнакомого с петербургской жизнью. Старушка смутилась и ничего не отвечала. Я понял, что сделал глупость, и спешил переменить разговор. Через полчаса подали кофей; я выпил чашку и взялся за шляпу, но старушка убедительно просила меня остаться обедать. Я остался. Неопрятная кривая женщина, при появлении которой в комнате тотчас распространился запах поджаренного масла и луку, накрыла стол серо-желтого цвета салфеткой и поставила четыре прибора: три – с серебряными ложками, четвертый – с деревянного. «Мы будем обедать вчетвером?» – спросил я у моей родственницы. «Да, – отвечала она протяжно, как бы обдумывая каждое слово, – квартира, которую я нанимаю, заключается не в одной комнате, которую вы видите; есть еще две комнаты, каждая с особенным ходом: в одну ход – через кухню, в другую – прямо из сеней. Когда жил со мною Иван Иванович да еще племянник Алеша (он теперь в Горном корпусе), мы занимали все три комнаты; но когда я осталась одна, трех комнат стало для меня много; две я отдала внаймы. Благодаря бога нашлись очень хорошие постоялки: одна – дочь ювелира, сирота, очень хорошая девица! Другая – жена какого-то англичанина, который уехал на родину; кто говорит, по торговым делам, кто – просто-запросто от жены. Ну да мне что за дело; жила бы она честно у меня да деньги исправно платила, а там какая она себе – мне что за дело! Женщина тоже очень хорошая, вот увидите; никогда я за ней худого ничего не замечала, даже слова от нее не слыхала дурного, только очень крепкий чай любит...

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Из-за чаю у нас с ней всегда ссора: поверите ли, горсть положу – всё не крепко!  
Иногда поворчу, а иногда просто отдам ей чайницу в руки: клади сколько хочешь!»

За несколько минут до обеда пришла одна из «нахлебниц», молодая девушка, та самая, которая указала мне дверь в комнату родственницы. Я сейчас узнал ее, и сердце мое забилося сильнее обыкновенного. Ей было, по-видимому, осьмнадцать лет; глаза у ней были голубые, чрезвычайно острые и подвижные, волосы русые, зачесанные кверху и сплетенные назад в несколько небольших кос, которые прикреплены были к голове маленькими гребенками в самом живописном виде; на лице ее было несколько тех интересных ямок, которые не только не портят хорошо устроенного лица, но даже придают ему особенную прелесть; по моему мнению, нос в изображении красавицы должен занимать такое же место, как и прочие ее принадлежности: потому я намерен посвятить несколько строк описанию носа молодой девушки, которая – очень важное для меня обстоятельство – была первой моею любовью. Нос ее, строго пропорциональный со всеми частями физиономии, был несколько вздернут кверху; руки ее были белы и прозрачны; ножки уютные, обутые в очень красивые башмачки. Она была одета в белое простое платье и в бархатный лиловый спенсер, который (пошлая фраза!) живописно обрисовывал ее талию и придавал молодой девушке какой-то ребяческий вид. Она обошлась со мною как с человеком уже совершенно знакомым, наделала мне кучу вопросов, на которые я отвечал очень неловко, краснея и смущаясь при каждом ее взгляде, и заключила поток своей невинной болтливости жалобой на нестерпимую скуку.

Потом она села к окну и начала говорить более сама с собою, чем с нами. Что она говорила? «Какая ужасная скука!.. Право, в Петербурге, кажется, никогда не будет хорошей погоды!.. Поутру дождь, в полдень град, к вечеру снег... а ночью, как на смех, тепло, тихо, ни дождя, ни снега, ни граду... Я нынче почти целую ночь сидела у окна – ехал какой-то пьяный чиновник на извозчике... ха! ха! ха!.. и упал прямо против моего окошка с дрожек... Я хохотала ужасно! А теперь мне хочется спать! А-аха-а! (она зевнула). Если бы я была мужчиной, я бы всё гуляла по ночам... Потом прошел нищий, также, кажется, не очень твердым шагом; прежде шел очень скоро, а увидя меня – начал хромать и стал просить милостыни... ха! ха! ха! Я бросила ему недокурную пахитоску! Потом прошел офицерик такой хорошенький, черные усики, белый султан; остановился против окошка и стоит, я воротилась – а он всё еще тут... кланяется... делает ручкой... Я и не смотрю на него, а он всё стоит. Я рассердилась и ушла спать... Завтра гулянье в Петергофе. Вы не пойдете, тетенька? (так она звала мою родственницу). И я не пойду... Все гуляют, а я должна сидеть дома... Если б у меня был муж, я бы взяла его под руку... и потащим гулять... Вчера я проходила через Щукин двор; сколько там разных фруктов: яблоки, дыни, арбузы, вишни... поверите ли, тетенька? такие огромные вишни, что вы не поверите... чудесные... так бы все и купила. Какой-то толстяк накопил всего целую корзинку... так бы и отняла у него... Тетенька, пойдите сегодня покупать вишни...»

И так далее. До самой той минуты, как суп был поставлен на стол, она говорила без умолку, хохотала, хлопала рукой об руку и с необыкновенной живостью вертелась на своем стуле, по временам бросая на меня взоры, в которых человек более меня смелый и опытный непременно увидел бы, говоря романическим слогом, зарю будущего блаженства. Я слушал с жадным вниманием невинные глупости, которые она говорила, и находил в них неизъяснимую прелесть: дело понятное! Я ничего подобного не видел.

Анна Ивановна послала кухарку доложить англичанке, что обед подан.

Пришла женщина чрезвычайно высокого роста, необыкновенно прямая, стройная, с голосом грубым и резким, со взором постоянно угрюмым и однообразно спокойным. Она была бы недурна собою, если б умела сообщить своей физиономии некоторую живость: черты лица ее были правильны и выразительны, зубы белы как жемчуг; волосы не до такой степени рыжи, чтобы их нельзя было назвать русыми. Когда мы уселись, родственница моя, занявшая место на диване против прибора с деревянной ложкой, нагнулась и достала из-под дивана полуштоф с водкой. Она выпила рюмку и попотчевала меня; я отказался. Обед был очень веселый. Англичанка сохраняла во время обеда важный и спокойный вид и сказала одно только слово: «перцу», зато мы говорили без умолку. Матильда Александровна (так звали молодую девушку) была по-прежнему весела и говорила преимущественно со мною, продолжая смотреть на меня с большею, как мне казалось, нежностью, чем на англичанку и свою хозяйку. Я также с своей стороны осмелился бросить на нее «пламенный взгляд», улучив удобную минуту, когда англичанка и «тетушка», занятые были разрезыванием жареных, немножко пригорелых грибов, которыми заключился обед. Заметив, что она несколько

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не рассердилась, я почувствовал себя на седьмом небе и чуть было в восторге не проглотил пары мух, которые прилипли к грибу, доставшемуся на мою долю, и очень сочно вместе с ним обжарились. Матильда Александровна предупредила меня быстрым движением, которое сопровождалось восклицанием: «Не ешьте! У вас на грибе мухи!» Таким образом ее предусмотрительностью я был спасен от ужасных последствий одного из тех неприятных случаев, которые Жюль Жанен называет «маленькими несчастьями человеческой жизни». Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство закрепило уже начинавшийся союз наших сердец и как-то необыкновенно нас сблизило; с той минуты обхождение наше сделалось свободнее и глаза мои стали гораздо послушнее моему сердцу, которое беспрестанно заставляло их пылать огнем благодарности... Между тем как совершалась маленькая драма, которую я сейчас рассказал, сковорода опустела; грибы перешли в желудки. Анна Ивановна опять налила и выпила рюмку водки, говоря, что после грибов, которые были очень жирны, непременно нужно что-нибудь крепкое, и советовала мне сделать то же. Я начал отказываться. «Выпейте!» – сказала Матильда Александровна своим ангельским голосом, и я не смел противиться. Что касается до англичанки, то она в продолжение обеда пила водку раза четыре...

К вечеру пришел студент Медицинской академии, ветеринарного отделения, – что можно было заметить по его одежде. Он поцеловал руку у хозяйки и спросил ее о здоровье. Она стала жаловаться на частые головные боли и беспрестанно возобновляющуюся икотку. Студент посоветовал ей пить какую-то траву и обещал при следующем посещении принести с собою лекарство. «Константин Васильевич, – говорила мне хозяйка, рекомендуя своего доктора, – хотя и по другой части, однако ж я всегда доверю ему свое здоровье охотнее, чем какому-нибудь знатному медику: он меня, могу сказать, несколько раз поднимал из гроба. Притом же, как хотите, лекарь – всё уж лекарь. Разве мы не такие же животные, как и все прочив? Всё тот же прах, суета; из одной земли сделаны и в землю все возвратимся». Анна Ивановна глубоко вздохнула.

Студент самодовольно улыбнулся и сказал: «Э! матушка! Что ваши знатные медики... Ведь не боги горшки – то обжигают: такие же, как мы, грешные люди. Если хотите, так сами вы, матушка, отличнейший медик, не хуже тех, которые разъезжают на парочках да дерут за визит по два да по три целковеньких! Знал бы человек грамоту – вот он и медик! Ведь не сами они лекарства выдумывают: в тех же книгах вычитывают! Еще я вам скажу, наше-то дело потрудней, чем ихное; человека можно расспросить, что у него болит, в каком месте, жар ли у него, холодно ли ему; он всё тебе скажет... а лошадь, к примеру, или корова – стоит, понурив голову, да глядит в землю; ничего от нее не добьешься. Скотина так и есть скотина! Иное дело засечка, опухоль или, например, сап; тут сейчас видно: глаза гноятся, сопли текут ручьем – давай ей антимонии, да серы горючей, да девясильного корня, авось и поправится. А бывают такие болезни, что, хоть будь семи пядей во лбу, не узнаешь. Да и тут лечим!.. Нет ли у вас, матушка Анна Ивановна, водки?»

Анна Ивановна нагнулась и достала водку. Выпив рюмку, студент убедительно просил хозяйку последовать его примеру: «Лучше, матушка, – говорил он, – головную боль вашу разгонит. Икотки тоже не опасайтесь... возьмите сахарку кусочек да пососите... У вас, должно быть, что-нибудь такое на желудке... Правда?... Видите, я сейчас угадал! Завтра я принесу вам лекарства – у нас в казенной аптеке даром отпустят – выпишу на себя... Всё как рукой снимет... Только вы уж дайте мне волю: лошадиный прием закачу! Ха! ха! ха! Ей-богу, закачу лошадиный!»

Студент залился страшным хохотом; успокоившись, он хотел запить свою остроумную шутку водкой, но прилив смеха возвратился к нему в ту самую минуту, когда он нагнул рюмку, поднесенную ко рту; брызги полетели во все стороны, и часть их попала мне в лицо и на платье Матильды, несмотря на то что мы сидели довольно далеко: в стороне у окошка. Студент сильно закашлялся и кашлял около пяти минут так громко и пронзительно, что окна нашей комнаты тряслись и звенели.

«Преловкий молодой человек! – сказала Матильда, обтирая свое платье. – Вечно чего-нибудь наделает! Фыркает, как лошадь! Точно сейчас из конюшни! Замарал мне всё платье... Ах, да и на вас попало!» – воскликнула она, заметив на моем лице капли красноватой жидкости, и тотчас же, приблизившись ко мне, начала вытирать мое лицо своим белым платочком. «Бедненький!» – продолжала она, смотря прямо мне в глаза и ударив в заключение легонько по моей щеке оконечностями своих пальчиков. – «Вы не хотите пить водки, так они вас обливают!» Я был как в лихорадке; огонь пробежал по моим жилам.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов Благодетельное действие, произведенное надо мною историею с грибами, которую я рассказал выше, еще более усилилось после истории с кашлем: я сделался необыкновенно смел. В то время как достойный представитель скотоврачебной науки, выпивая рюмку за рюмкой, рассказывал своей собеседнице, – щеки которой горели алым румянцем, доказывавшим, что она строго держится советов своего доктора, – разные удачные эпизоды из своей практики, где главными действующими лицами были большею частью коровы и лошади, – между нами происходил совершенно другой разговор, хотя столь же бессвязный, но имевший тогда для меня неизъяснимую ценность. Не знаю, который разговор сильнее заинтересовал бы постороннего слушателя, но твердо уверен, что я не взял бы тогда тысячи анекдотов о лошадях, коровах, собаках, на которые почтенный «доктор» был большой мастер, за десятую долю того, что мы говорили в тот вечер. А между тем, как теперь припоминаю, мы говорили сущие пустяки!..

Но полное торжество мое было еще впереди. После чая, к которому куплен был полуштоф французской водки, мы сели играть в вист. Мне досталось место против Матильды; сначала мы сидели довольно спокойно, вдруг нога Матильды случайно коснулась моей ноги; я весь вспыхнул и спешил отодвинуться назад, устремив на Матильду взор, умоляющий о пощаде за невольную дерзость. Но, к изумлению и радости, не заметил в лице ее ни малейших признаков гнева: оно, казалось, сияло необыкновенным счастьем. Ободренный, я протянул ноги несколько вперед; спустя четверть часа я снова почувствовал толчок в правую ногу и вслед за тем нажатие в левую; я осмелился отвечать тем же, протянув ноги как можно далее, – и таким образом между нами завязался живой и красноречивый разговор, от которого меня бросало то в жар, то в холод. С час пробыл я в таком мучительно-сладком положении; наконец я не мог долее терпеть; нужна была хоть капля на взрыв пожара, который кипел в моем сердце: я умышленно уронил карту под стол, нагнулся за ней и поцеловал одну из маленьких ножек Матильды. Усевшись, я взглянул на нее, всё еще с некоторым страхом. Она сложила свои розовые губки в поцелуй и улыбнулась...

Я обезумел от радости. В бедной низкой комнате, тускло освещенной сальным огарком, озарявшим картину подгулявшей бедности, – старые карты, полуштоф с зеленой печатью и пестрой виньеткой, закапанной сургучом, четверть фунта икры и кусок хлеба на лоскутке грязной бумаги, щипцы, из которых поминутно дымилось смрадное испарение свечного нагара, да испещренную мухами рюмку с выбитым краем, – среди жалкой и бледной действительности, окружавшей меня, я был счастлив так, как не бывал счастлив уже никогда впоследствии.

Целую ночь я не спал. Любовь моя, в один день достигшая полного своего развития самыми простыми и естественными путями (грибы, водка, сальные карты), отсюда приняла характер чисто романический: в голове моей закружилось множество планов безумных и несбыточных или до того ребячески простодушных, что впоследствии при одном воспоминании об них я краснел и горько сам над собою смеялся; вздохам и воззваниям к ней не было конца и умолку; к утру явились даже стихи. Я их не приведу здесь, потому что они очень глупы.

Каждый день начал я посещать тетушку. Заметив, что у нее не всегда доставало денег на водку, которую она очень любила, я однажды без церемонии предложил ей свой кошелек; с тех пор она начала очень исправно им пользоваться. В то время как она распивала с неизменным спутником своим, долгоносим студентом, вино, купленное на мои деньги, мы болтали с Матильдой в уединенном углу или уходили гулять. Прогулки наши были очень забавны: осмотревшись кругом, через каждые десять минут мы останавливались, пожимали друг другу руки, целовались и продолжительно обнимались. Иногда заходили в кондитерскую (самую уединенную), ели мороженое, пили кофе, читали журналы (Матильда была большая охотница до стихов); Матильда играла моими волосами, приговаривая «плуттик», «душка» и другие нежные имена; потом она брала афишку и хвалила пиесы, назначенные на следующие представления; на другой день я спешил к ней с билетом. Иногда, проходя мимо женского магазина, Матильда засматривалась на какую-нибудь безделку, которую я спешил тотчас купить. Когда погода не позволяла ходить, мы брали извозчика и разъезжали по улицам без всякой цели.

Во время наших прогулок Матильда очень часто спрашивала меня, был ли я влюблен прежде. Сначала я молчал, но наконец однажды откровенно рассказал ей все мои детские шалости и порывания, имевшие отношение к предмету ее вопроса. Матильда бросилась обнимать и целовать меня с необыкновенным жаром и говорила смеясь: «Только-то? И больше ничего, Тиша, ничего? Признайся!» – «Ничего», – отвечал я и



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов был совершенно прав, ибо до встречи с нею короткость моя с женщинами действительно не заходила далее пожатия руки, поцелуя или невинного объятия...

Однажды, когда мы были в кондитерской, Матильда шепнула мне, что ей хочется шампанского. «Так, что-то страшно! – прибавила она. – Я никогда не пью, а сегодня бы выпила». Я велел подать полубутылку. Матильда выпила четыре бокала, а только два. Потом мы сели в карету (Матильда проговорила, что она давно не ездила в карете). «Куда же теперь?» – спросила Матильда. Я понимал, что следовало отвечать: «Ко мне», но язык мой не двигался: на меня напала ужасная робость. Матильда прижалась лицом к моему плечу и засунула горящую руку свою мне под жилет. «Куда же?» – повторила она шепотом над самым моим ухом, на котором в то же время отразился горячий след ее поцелуя. Я сделал усилие над собою, и уста мои произнесли невнятный звук, который Матильда перевела очень удачно. «К тебе, душенька?» – сказала она с живостью. «Да!» – отвечал я протяжным шепотом. Робость моя наконец уступила место другому чувству, более сильному, которое она доселе заглушала. С каждой минутой нетерпение мое увеличивалось; во всем теле я чувствовал боль и дрожь.

Выскочив из кареты, я прямо бросился к колокольчику и начал звонить изо всей силы; когда калитка была отворена, я взял Матильду за руку и через темный коридор ввел в свою комнату. В то время как она переходила из угла в угол, вероятно отыскивая стул, на котором бы могла сесть, я ощупал лежавший на окне ящичек со спичками и шаркнул одну из спичек об стену. Спичка вспыхнула, разгорелась и озарила четыре голые стены желтого цвета, разостланный среди полу ковер и на нем подушку и одеяло, расшнурованный чемодан, из которого торчали разные принадлежности мужской одежды, в правом углу узел грязного белья, на котором покоилась хозяйская кошка, в левом – худые сапоги и замаранные засохшей грязью калоши; на одном окошке чайник, с поврежденным носом, без крышечки, чашку и блюдечки, бутылку, в которой торчала свеча, щепоть чаю на крышечке от чайника, обернутой кверху, и кусок сахара, выглядывавший из лоскутка синей бумаги; на другом – две банки: с помадой и ваксой, сапожную щетку, гребенку, три сальных свечки и несколько русских романов; на третьем и последнем – умывальник, коротенькую трубку и горсть табачной золы. Около ковра – единственный предмет роскоши – стоял деревянный трехногий стул, обтянутый кожей, из которой выглядывала мочала; на стуле стояла чернильница и лежал лист бумаги с недописанными стихами; подле стула на полу валялось несколько тетрадей и листов стихотворного содержания. Такова была комната, в которой я жил. Торопясь выехать из гостиницы, где за каждые сутки нужно было платить не менее двух рублей, я нанял первую попавшуюся комнатку в твердом намерении на другой же день купить несколько необходимой мебели (так как я намеревался пробыть в Петербурге, я мог бы нанять квартиру и с мебелью, но за мебель нужно было платить дороже по крайней мере пятью рублями в месяц), но русский человек предполагает, а случай располагает; на другой день мне было недосуг, на третий – я очень устал, дежуря в приемных важных людей, на четвертый – влюбился! Таким образом случилось, что я спал чуть не на голом полу, пил чай из худого хозяйского чайника и писал стихи на трехногом хозяйском стуле, подогнув под себя ноги по-турецки.

«На что же ты засветил свечу? – сказала Матильда с улыбкою, которую старалась скрыть удивление, возбужденное в ней неустраиванием моей квартиры. – Неужели ты спишь при огне? Или ты думаешь делать что-нибудь вместо того, чтобы спать?..»

Она задула свечу и попросила меня расстегнуть ее платье; с непривычки я очень долго копался над верхним крючком, который никак не хотел уступить моим усилиям; наконец верхний крючок был побежден; Матильда очутилась передо мной в одной белой юбочке; я припал устами к полуобнаженной груди ее в сильном порыве страсти. «Что ты со мной делаешь, Тиша? Ты хочешь погубить меня! Ах! Боже мой! Как я дрожу! Как мне страшно чего-то! – шептала она голосом невинности, которой угрожает опасность. – Отпусти меня, я уйду домой... Ах, боже мой! Я не знаю, что делаю... я так молода... так неопытна!..» Я отскочил в ужасе в противоположный угол комнаты: слова Матильды показались мне голосом, исходящим из глубины души, возвратившейся к добродетели. Роль обольстителя, которою я так часто гнушался в романах, предстала передо мной во всей черноте своей. «Клянусь, Матильда! – сказал я трагическим голосом. – Ты здесь вне опасности! Завтра рано ты уйдешь отсюда столь же чистою, как вошла сюда. Я более к тебе не приближусь...»

Но Матильда вдруг переменяла тон и сказала очень весело: «Ах, боже!.. у меня есть до тебя еще просьба: ты расстегнул мне платье, а о корсете-то я и забыла! Вот Тут-то ты помучишься!»

Я действительно расстегнул корсет с большим усилием; мне было не до того. Матильда села на ковер и стала снимать с себя башмаки. «Что ж ты не раздеваешься? – сказала она. – Или ты хочешь простоять целую ночь на одном месте? Раздевайся же, Тиша! Мне холодно без тебя!» Она подбежала ко мне и начала теревить меня за рукав, приговаривая: «Раздевайся, раздевайся, раздевайся!» Через минуту я лежал рядом с нею. Через полчаса...

Около двух месяцев я был занят одною любовью; позабыл совершенно цель, для которой приехал, и не писал даже ни строчки к отцу. К счастью, одно обстоятельство меня образумило.

Однажды я пришел по обыкновению к тетушке и застал ее немного навеселе, в сильной ссоре с Матильдою. Матильда при моем появлении тотчас ушла в свою комнату, говоря, что всеми мерами постарается переменить квартиру как можно скорее. Я спросил тетушку о причине размолвки.

Анна Ивановна вместо ответа на мои слова после некоторого молчания сказала с важностию:

– Послушайте, Тихон Александрыч, вы человек молодой, неопытный, очень еще неопытный. Я хочу нас предостеречь. Матильда девушка очень хорошая и честная, но она вам не пара; поверьте мне, можно найти девушку, которая будет гораздо меньше вам стоить. Здесь, в Петербурге, такого товара не занимать стать (тетушка усмехнулась). Можно найти, пожалуй, и лучше.

Язык, которым говорила тетушка, был для меня дик и странен. Я решительно не понимал, каким образом можно найти девушку лучше той, которую любишь; однако ж удержался от возражений, нетерпеливо желая узнать, к чему поведет тетушкино вступление. Она продолжала:

– Я говорю с вами как родственница, много вас любящая и желающая вам добра. Матильда избалована богатыми любовниками, и ваших денег ей надолго не станет. (Я ведь знаю, что вы небогаты.)

– Как, тетушка? – воскликнул я с запальчивостию. – У Матильды были любовники?

– Не только были, но даже есть и теперь, мой друг.

– Не может быть, – возразил я с жаром, и глаза мои засверкали. – Вы клевете или шутите. Не сами ли вы называли ее честною девушкою и хвалили как образец добродетели?.. Впрочем, – продолжал я, спохватившись, гораздо спокойнее, – зачем я так горячусь: ведь она мне не родственница! Право, не понимаю, с чего вам вздумалось говорить со мною об ее поведении.

Тетушка усмехнулась и сказала с упреком:

– Грех вам, Тихон Александрыч, я говорю с вами как добрая родственница, а вы от меня «скрываетесь». Как будто я не вижу, что вы и ко мне-то ходите для нее только; каждый день водите ее по гуляньям да по театрам, покупаете ей разных нарядов, водите ее по кондитерским...

Тетушка говорила целый час без умолку. Она описала мне Матильду самыми черными красками; божилась, что у нее есть два любовника: один – военный, очень хороший человек, нанимает для нее квартиру и, благодаря бога (тетушка умиленно подняла глаза кверху), каждый месяц очень аккуратно расплачивается; другой – купец, находится теперь в Нижнем на ярмарке, откуда еще недавно прислал цибик чая. «Если вы не верите, – заключила тетушка, – моим словам, то я их могу доказать. Пробудьте только у нас когда-нибудь часов до двенадцати: вы услышите за стеной в Матильдиной комнате мужской голос и стук сапогов со шпорами».

Глава <V>

О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются  
Когда отчаяние мое несколько поутихло, я взглянул на тощий свой кошелек, на голые стены квартиры, с которою сердце мое предчувствовало скорую разлуку, на сапоги, которым угрожало скорое разрушение, и крепко призадумался о своем положении. Я был один-одинехонек в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды. Горькое раскаяние

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не овладело мною. Я упрекал себя в беспечности, глупости и расточал себе множество неприличных названий, на которые так щедр человек, недовольный собою. «Если бы, – говорил сам себе, – у меня было побольше рассудка, я никогда бы не дошел до такого положения, потому что мог бы его предвидеть. Если б я не нахвастал тетушке своим богатством, она бы никогда не попросила у меня денег взаймы, а если б и попросила, то мне нисколько не стыдно было бы ей отказать. Матильда также была бы гораздо поумереннее в своих прихотях, да и мне не было бы никакой нужды исполнять их беспрекословно. Таким образом небольших денег, которые я привез с собою из дому, стало бы мне еще по крайней мере месяца на два, а между тем я мог бы приискать себе какой-нибудь источник доходов. Теперь мне ничего более не остается, как идти по миру или наняться к кому-нибудь в лакеи!» При этой последней мысли дрожь пробежала по моим жилам: древняя дворянская кровь заговорила в моих жилах, и я дал себе слово, что никогда не буду лакеем. Целый день лежал я среди полу на ковре, в крайней задумчивости, окруженный совершенною темнотою. Надобно знать, что квартира моя была в нижнем этаже, окнами на улицу. В первые три дня, когда ставни были отворены, прохожие останавливались и с диким любопытством продолжительно рассматривали мою комнату, совершенно пустую, в которой среди полу лежал человек. Однажды даже заметил я, что какой-то человек, по-видимому наблюдатель нравов, в коричневой шинели и небесно-голубых брюках, очень долго стоял у окошка, пристально разглядывая мою квартиру, и по временам что-то записывал. Мне сделалось стыдно: я велел запирать ставни и с тех пор их не отпирал. Наконец я вскочил с необыкновенною быстротою, достал огня и, засветив единственный бывший у меня огарок, присел, поджавши ноги по-турецки, к трехногому стулу и начал вписывать в тетрадь стихи, сочиненные в Петербурге... Я писал до тех пор, пока огарок догорел совершенно и в комнате распространилась прежняя темнота; другой свечки не было (да и купить ее было не на что), и потому я принужден был лечь спать. Но мне не спалось: луч вспыхнувшей надежды осветил дотоле темное мое будущее; я вспомнил все прежние мечты мои и надежды на поэтическую известность и снова предался им безотчетно. Нетерпеливо ждал я наступления дня; наконец свет мелькнул в щелях ставен; я вскочил и начал одеваться; я пошел к хозяйке, выпросил у нее нитку с иглою и начал зашивать дыру, бывшую на правом моем сапоге; потом я закрасил белые нитки шва чернилами, налил немножко чернил в крышечку коробочки, в которой находились спички, и принялся чистить сапоги (все это я делал у довольно большой щели средней ставни), ваксы у меня не было; затем тою же щеткою я вычистил платье, причесал голову, предварительно смоченную водою, и начал одеваться. Одевшись, я взял тетрадь с своими стихотворениями и пошел на Невский проспект. Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения, но везде получал один и тот же ответ: «Не надо-с». Некоторые спрашивали меня, имею ли я какую-нибудь известность и к которой партии принадлежу и на покровительство какого журнала я имею надежду. Я отвечал, что решительно ее имею сношения ни с каким журналом и думаю, что моя стихи, если я не ошибаюсь, заслужат равное от всех журналов одобрение. Приказчики двусмысленно улыбались и советовали мне предварительно напечатать несколько своих стихотворений в журнале, назначая каждый своего журналиста и жестоко порицая всех остальных. Наконец я пришел в один великолепный магазин с библиотекой для чтения, занимавший целый этаж на лучшем месте Невского проспекта. Хозяин этого магазина, довольно толстый человек невысокого роста с телячьим простодушием в физиономии, осмотрел меня с ног до головы каким-то полупрезрительным, полусожалительным взглядом, взял мою тетрадь, повесил ее на руке и сказал, что он покажет ее редактору. Я оставил ему тетрадь и через три дня явился за ответом. Но тетрадь еще была у редактора. Едва в три недели я успел вытребовать у него назад тетрадь мою, которая провалялась у него в магазине. Он с гневом бросил ее на прилавок и сказал: «И не такие литераторы у нас ждут по месяцу! У нас такого хламу валяется целая кладовая!» и пр. Я опять начал ходить с моей тетрадью по книжным лавкам, однако ж без успеха. Только один книгопродавец, торговавший в Гостином дворе, которого я сначала никак не мог застать дома, польстил меня надеждою. Это был человек среднего роста, не слишком тонкий и не слишком толстый, с острым, как у бекаса, носом, серыми глазами, которые бегали с удивительною скоростью от предмета к предмету, с моргающими бровями и лошадиной походкой. Когда после долгих неудач я наконец застал его в лавке, он был окружен множеством посетителей, из которых каждый с нетерпением на него поглядывал, ожидая вождельной аудиенции. Книгопродавец, подобно министру, с важностью подходил от одного посетителя к другому и расспрашивал о причинах их посещений. Некоторых он уводил с собою в задние отделения своей лавки и там продолжительно с ними беседовал, потчывая их чаем из медного чайника. На меня он, казалось, не обращал никакого внимания, и я, верно, бы прождал понапрасну, если б не одно обстоятельство. Какой-то господин очень плотно пристал к Линеvu и начал требовать от него денег. Линеv,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не знавший, как увернуться от настоящего кредитора, подбежал ко мне с вопросом: «Что вам угодно-с?» Я показал ему свою тетрадь и сказал, не хочет ли он купить мои стихотворения.

– Сти-хо-тво-рения, – произнес книгопродавец, принимая от меня тетрадь и прочитывая с расстановкою заглавный лист. – Сти-хо-тво-рения Тихо-Тихо-Тихона Мотовилова... Так-с... Мотовилова-с... Стало быть, вы-то и есть Мотовилов-с?

– Так точно, – отвечал я.

– У меня был знакомый-с... Мотовилов... Павел Петрович Мотовилов-с... даже немножко похож на вас, право, ей-богу-с... не роденька ли-с?..

– Нет, – отвечал я. – Отца моего зовут Антоном, а больше родных у меня нет. Должно быть, однофамилец...

– Должно быть, однофамилец-с, – повторил книгопродавец. – А прекраснейший человек-с Павел Петрович-с... Всегда книжки у меня забирал... право, ей-богу-с, звание двадцать вдруг возьмет-с... и деньги все тут же на прилавочек выложит. «Смотри, – говорит, – Василий Абрамыч, лишние насчитаешь – пришли обратно»... ха-ха-ха! Такой шутник был, прости господи... да вот... умер... и какой здоровенный был... Все – люди, все – человеки. Сегодня, то есть, хлопчешь, горюешь, как бы рублик или полтинку достать, ну, дело житейское... а завтра растянулся, прости господи, и ничего не надо...

Книгопродавец вздохнул.

– Так вам угодно продать свои стихотворения? – сказал он, ковыряя в носу и прищуривая один глаз.

– Да. Купите и напечатайте.

– Напечатать-с. Конечно-с, долго ли напечатать-с... Тут листиков семь-с печатных, больше не будет-с... Да что толку-то-с напечатать. Стихов нынче никто-с не читает... ей-богу-с!.. Пушкин да Жуковский-с только у всякого и на уме-с! А как-с думаете напечатать, с именем или так-с?..

– Думаю на первый раз выступить под каким-нибудь псевдонимом...

– А что... страшно-с? Хи! хи-хи! псевдоним-с, конечно-с, не так опасно... А какой думаете-с псевдонимчик прибрать-с?

– Не знаю еще. Впрочем, тут думать нечего: какую-нибудь фамилию, какая первая покажется.

– Возьмите-с – Ершов... Вот недавно вышла маленькая книжоночка «Стихотворения Ершова».

Книгопродавец взял с прилавка небольшую книжку в голубой обертке и подал мне.

– Издал Свистунов... такой-с разбойник, перебил... у меня... право-с! Знатно идет-с... Экземплярчиков сотенки Три-с у меня разошлось... Хвалят да спрашивают, не будет ли еще книжечки... Так вот-с, понимаете... Вы уж не бойтесь... Я отвечаю-с...

– Помилуйте, как можно, – такой подлог...

– Ничего-с. Я и все так-с! Ей-богу-с! Какой тут подлог-с... и совсем одинаковые фамилии бывают... не только так-с... Ежов – Ершов – какое тут сходство, а я бы вам сотенки полторы отвалил.

– Нет, я не согласен на такой бессовестный поступок, да притом и цена, которую вы... слишком ничтожна.

– Можно прибавить-с. Право-с. У меня и теперь лежит с полтораста требований от господ иногородных – все просят стихотворения-с Ершова-с... Я бы в три дня откатал-с... У меня бы во все типографии. Возьмите-с двести рубликов...

Я решительно отказался от такого подлога и просил книгопродавца взять у меня

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов стихи за предлагаемую цену. Он отказался.

– Сколько же вы дадите? – спросил я.

Книгопродавец поворочал мою тетрадь, рассмотрел оглавление, взвесил на руке и сказал:

– Да как-с... ей-богу, не знаю... что вам и посулить... Ведь вот-с вы совсем неизвестны-с в литературе... напечатаешь, да потом и свищи в кулак, с позволения сказать... хи! хи! хи! попадешься в такую беду, что не роди мене маты на свит... ей-богу-с! Да еще, знаете, этак немножко, то есть извините, ей-богу-с, отхлещут-с в журналах... Рубликов-с пятнадцать можно бы дать-с...

Я пришел в ужас и поспешил уйти из лавки книгопродавца...

Я решился последовать совету невысокого книгопродавца и отправился к журналисту. Я решительно не имел тогда никакого понятия о журнальных партиях, отношениях, шайках – я думал, что литература, говоря словами одного почтенного сочинителя, есть семейство избранных людей высшего сорта, подвижных бескорыстным стремлением к истине и единодушно действующих на пользу родного образования; я думал, что литераторы (виноват – сочинители! – тогда еще слово «литератор» употреблялось весьма редко), как члены одного семейства, живут между собою как братья, и если возникают между ними порою споры и противоречия, то не иначе как за святость и чистоту прав науки и жизни, которым они служат в пользу. Я думал... мало ли что я думал?.. Потому, нисколько не думая, я пошел к первому журналисту, который жил ближе от моей квартиры.

Я позвонил в колокольчик. Меня встретил мальчик лет тринадцати – сын журналиста – и тотчас же проводил в кабинет отца, куда вступил я с сильно бьющимся сердцем; по телу моему пробежал трепет благоговейного умиления, и ноги мои едва ступали. Кабинет журналиста был убран очень просто: кругом трех стен в два ряда полки, загроможденные книгами и рукописями; у четвертой стены турецкий диван, обтянутый зеленым талоном; среди комнаты два письменных стола, составленные рядом вдоль и также заваленные книгами и бумагами; на столе, кроме книг и бумаг, чернильница, несколько десятков очиненных перьев, несколько корректурных листков и стакан воды. Журналист, человек среднего роста, в зеленом халате, зелено-серых чулках и старых калошах, из которых проглядывали голые пальцы (чулки были тоже худые), при моем появлении вскочил с своего места и начал низко раскланиваться, как купец из-за прилавка; при каждом поклоне он делал несколько шагов в правую сторону и на половине четвертого поклона очутился наконец подло меня. Лицо его было желто как воск и худо, как скелет крысы; волосы, средней величины, были всклокочены, а глаза сверкали, как мне тогда показалось, огнем байроновского отчаяния. «Прошу покорнейше садиться, почтеннейший!» – сказал он, снова кланяясь, когда я объяснил ему причину своего посещения. Я сел, он отправился на прежнее место. Он попросил меня садиться и продолжал начатый уже до меня разговор с чрезвычайно толстым господином, который говорил с чрезвычайным жаром, – так что из уст его летели во все стороны брызги, – размахивал руками и беспрестанно вскакивал с места, схватывал какую-нибудь книгу, развертывал и опять клал на прежнее место, переходя к другой и продолжая говорить. Разговор, сколько я мог понять, касался какого-то журналиста; они ругали его, как говорится, на чем свет стоит; рассказывали про него друг другу разные анекдоты, в которых важнейшую роль играли всякого рода подлости литературные и нелитературные. Разругав его как писателя, они принялись разбирать его частную жизнь. «Живет как барон, – говорил толстяк, – померанцы на кухне, квартира в шесть тысяч, лошади, люди, балы беспрестанно – а всё из чего?.. Обманом, происком, надувательством... Разорил несколько книгопродавцев. Вот погодите, и Стуколкин скоро будет банкротом! Помните мое слово – он его упечет! Лупит с него по 15 тысяч за редакцию. Сам ничего не делает, выправит чужую статью, подпишет свое имя и сдерет вдесятеро! Все у него друзья-приятели. Чтоб угодить иному, купит дрянную какую-нибудь да и напечатает в журнале. А бедный Стуколкин отдувайся!.. Дрянно хвалит, сочинения образцовые – ругает... Шут, гаер, скоморох, а не литератор!..» – «Низок, подл, самолюбив, – перебил журналист, – пишет пошлости и воображает себя гением... Я это очень хорошо знаю... Этому месяца два... вот когда мы были еще с ним приятелями... он так расхвастался, что сам себя пожаловал в русские Бальзаки, Жюль Жанены, Дюма!.. Жюль Жанен! Далеко ему до Жюль Жанена!.. Он разве только и похож на него тем, что обворовывает его в каждой статье!..» – «Проповедует, – с жаром перебил толстяк, – превратные правила, развивает ложное направление, коверкает русский язык... развращает

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некое молодое поколение, производит ересь в литературе. Да я нарочно, да я назло ему употребляю все выражения, которые он осмеивает, все слова, которые он гонит; вот увидите!» И так далее.

Я, и не подозревавший, чтоб мог существовать такой литературный злодей, слушал с большим вниманием и любопытством разговор двух ученых мужей, усмехаясь по временам остроумным выходкам журналиста, и очень жалел, когда он кончился и толстяк ушел. Журналист сказал: «Извините, почтеннейший. Я вас немножко задержал. Это человек очень хороший, известный наш; сочинитель, автор „Красной ермолки“ – чудеснейший человек! Ну-с, теперь займемся вашими стихотворениями». Журналист взял мою тетрадь, развернул наудачу и начал читать про себя. Сердце мое сильно забилося; я думал, что от приговора журналиста будет зависеть судьба всей моей будущности. «Прекрасно! прекрасно!» – сказал наконец журналист и начал читать вслух одно из моих стихотворений, где описывалась ночь, озаряемая полной луной, и пр.

– Хорошо, почтеннейший, а сколько вам лет?

– Шестнадцатый год, – отвечал я.

– Очень хорошо. Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений.

Ради ли одного приличия, или в самом деле из участия, журналист подробно расспросил меня об моем положении и, узнав, что я приехал в Петербург учиться, очень хвалил мое намерение. Он также вызвался помочь мне в средствах содержания и предложил было мне сделать опыт перевода. Но со стыдом и сожалением отвечал я, что очень плохо знаю французский язык.

Итак, стихи мои будут напечатаны. Это несколько развеселило меня, но несколько не улучшило моего положения. В продолжение двух недель, в которые я носился с своими стихами, обстоятельства мои сделались очень худы; в кармане моем не было ни копейки, и – что всего ужаснее – сапоги мои совсем развалились! Я мог бы похлопотать, поискать кого-нибудь из нашего города, сходить к тетушке, но сходить было не в чем! Стыдно было показаться на улицу. Три дня лежал я на ковре своем, обдумывая свое положение, и в душе моей было столь же темно, как и в комнате. Не было табаку, не было свеч, не было даже хлеба. Содержательница стола, к которой я ходил обедать с самого приезда в Петербург, однажды пришла ко мне за долгом, увидела бедность, окружавшую меня, и с тех пор отказала мне в кредите. Впрочем, прежде того случилось следующее обстоятельство: Марья Самойловна, женщина лет 45, с лицом немножко желтоватым и неприятным, однажды, когда я посетил ее, говорила со мной очень долго, сожалела о бедственном моем положении, хвалила мою скромность и наконец, поглядывая да меня с какою-то необыкновенной нежностью, сказала, что у нее есть подле спальни порожняя комната. «Переходите-ка в нее: будете у меня жить, и стол, и кофе поутру и вечером, и всё, что вам надобно, – я не скупа для того, кто мне мил». Она заключила свое приглашение таким взором, что я не мог не понять его. Однако ж не согласился... Иной читатель, пожалуй, скажет, что я сделал глупо. Что делать! Простите, по молодости!

«Лучше, – сказал я сам себе, – буду терпеть нужду и голод, но сохраню к себе уважение», – и затем я отправился на свою прежнюю квартиру и лег. Сидеть было не на чем да и не для чего: не было ни огарочка, в комнате была глубокая тьма. Не могу, однако ж, сказать, что я скучал. На сердце у меня было довольно легко и весело... Я знал, что когда-нибудь выйду из такого положения, и никак не хотел верить очевидной и близкой истине, что могу умереть с голоду. Не имея возможности писать стихов, я складывал их в уме, громко повторял каждый придуманный стих и потом прибирал к нему другой, потом свистал, потом задумывался о своем положении и нечувствительно переходил к блестящей будущности, которая ждала меня впереди; так проходил час за часом; не имея никакого мотива, я ел очень мало; обед мой состоял из куска хлеба; два дня я лежал; на третий мне сделалось невыносимо тяжело; мне захотелось выглянуть на свет божий; думаю, что за трубку табаку я, несколько не задумываясь, отдал бы год лучшей своей жизни. Всячески старался я преодолеть себя, с минуты на минуту мне становилось тошнее; я чуть не плакал. У меня было несколько спичек. Наскучив беспрестанною темнотою, я по временам начал зажигать их; спичка вспыхивала, озаряла на минуту бедную мою комнату, я с жадностью спешил дать пищу бесполезно дремавшему зрению – и опять погасала. Опять наступала тьма и скука. В последний раз уже зажег я трубку, набранную из окурков, дотянул два раза – ничего нет!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов Мочи нет, тяжело! Я схватил свои сапоги, иголку, нитку и подсел на корточки к среднему окну. Зашив сапоги, я тщательно зачистил швы чернилами; но все-таки они были крайне безобразны – стыдно идти! Надобно дожидаться вечера. Наступил вечер. Я оделся и выбежал на улицу. Солнце только что село, деятельность города была еще в полном разгуле; впереди и позади меня шли люди веселые, беззаботные; навстречу мне бежала босая девочка с корзинкою, наполненную сухарями: видно, господам к чаю!.. «Как давно уже не пил я чая! Впрочем, чай мне вреден; у меня грудь от чая болит!» За нею шел мужик, таща за собою ручную тележку... Боже мой! на тележке всё сапоги... Сколько пар сапогов!.. А у меня нет и одних... Я вздохнул и поднял голову вверх... В окне большого каменного дома, во втором этаже, сидит господин и курит трубку... «Как бы я теперь затынулся!» Думаю, что я тогда без размышления отдал <бы> год жизни за трубку табаку. Я бежал из улицы в улицу, вдыхая в себя полным ртом свежий воздух и по временам заботливо взглядывая на сапоги: один шов лопнул, другой начал уж распарываться. Я добежал до бульвара, около Зимнего дворца, сел на железную скамейку. По бульвару ходило множество народу; все одеты так щегольски, иные с крестами, должно быть важные, богатые люди. Мне стало ужасно грустно, я заплакал и закрыл глаза платком. Мне пришло на мысль, что какая-нибудь из этих дам увидит меня, подойдет и расспросит с участием. Я откровенно расскажу ей мое положение и перелю ей в сердце мое горе, которое так меня мучит. Но дамы ходили вокруг меня, весело разговаривали с своими кавалерами, улыбались, и ни одна не подходила ко мне. Я ушел с бульвара последний. Пришел домой и бросился, не раздеваясь, на ковер, только пощупал руками сапоги: они были опять худехоньки. Я вздохнул ужасно глубоко. Наутро срок моей квартире; завтра я лишусь и этих четырех стен, в которых прикрывал свой позор, свою нищету! Боже мой, не побегать ли мне завтра к книгопродавцу, не продать ли ему своих стихов с псевдонимом, который он сам назначит?.. Нет! Лучше умереть с голоду! Или не отдать ли их за шесть карбованцев?.. Но что я с ними буду делать... надолго ли мне будет их?..

В таких мыслях я заснул. Поутру пришел хозяин и объявил, что решительно не хочет, чтоб я жил в его доме. «Мне, – сказал он, – и так довольно досталось. Как это вы целые два месяца живете и окна у вас всё заперты? Беспреданно ходит народ, спрашивают: не отдается ли комната внаем?» Хозяин наговорил мне много грубостей, я простил ему всё, потому что в жару разговора мне удалось нечаянно взять у него из рук трубку и затянуться. Я обещал ему к вечеру переехать; он ушел.

Переехать? Куда же я перееду? На улицу, на площадь... Боже мой!.. Я опять схватил сапоги и начал их зашивать, потом я начал укладывать вещи и шнуровать чемодан, всё еще не зная, что буду делать. Вдруг слышу под моими окошками хриплый, подозрительный голос: «Старого меху, старого платья продать!» Счастливая мысль озарила меня. В одном халате, без сапогов и без шапки я выбежал на улицу и зазвал к себе торгаша.

У меня было очень много белья. Белья всегда бывает много у провинциалов, приезжающих в Петербург, потому что в деревне это очень мало стоит; был у меня также ковер, без которого я легко мог обойтись; был мех, который предусмотрительный отец отпустил со мною, чтоб я подложил им шинель на зиму. На что мне мех!.. Обойдусь и без меха! Бедному человеку тепло и в шинели. Разживусь – енотовую шубу куплю!

Я продал торгашу всё, что считал лишним, и получил от него около сорока рублей. Сорок рублей! Как давно у меня не было такой суммы! Теперь я опять воскрес! Только как я выберусь из квартиры?.. Как куплю сапоги?.. Вдруг... опять счастье... неожиданное счастье... Торгаш вывалил из своего мешка разную мелкую рухлядь, чтоб удобнее уложить вместе с нею новоприобретенные вещи. Чего тут нет! Обломки меди, старые и новые ножи, чанные ложечки, манишки, гвозди, чулки, сапоги... Я схватился за сапоги и начал их рассматривать! Сапоги, совсем еще крепкие, только подошвы немножко подпоролось... да у одного нос прошиблен. Ничего! Всё лучше моих! Я выменял у торгаша сапоги и придал два двугривенных...

Торгаш ушел, довольный своею покупкой, и опять затянул: «Старого меху, старого платья продать!» Кричи, кричи, любезный! Может быть, в Петербурге найдется еще не один бедняк, которому голос твой покажется голосом свыше...

Я принялся укладывать свои вещи в чемодан. Потом оделся, вычистив сапоги, и пошел искать себе квартиру. Нужда научила меня осторожности: я рассудил, что мне нужно жить как можно экономнее, и решил на все неудобства и неприятности,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не только бы выгадать цену. Пройдя несколько улиц, я остановился у огромного каменного дома, очень ветхого, весьма неопрятной наружности, и прочел следующий ярлык, написанный очень плохим почерком: «Атдаеца внаймы угал, а цене спрашивша у фатерной хозяйки, войдя навадвор во вторые ворота, впадвали».

Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностью, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Брагадини; пансион; Александров, в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру, и что-нибудь, поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Способ пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было. Наконец, в угловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная женская фигура лет тридцати, которую я сначала принял тоже за вывеску; может быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:

Полно, барыня, не сердись,  
Вымой рожу, не ленись!

Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги в хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше середины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице, и, оставив в покое окраины двора, пошел серединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я по предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов – и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел... или, правильнее, поехал, – разумеется, вниз, – в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице: сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени. Ищу двери. Наткнулся на лоханку – пролил; наткнулся на связку дров – чуть опять не упал. Что-то скрипнуло, чем-то ударило меня по лбу – ив сенях стало светлей. В полурастворившейся двери я увидел женскую фигуру. Кривая и старая баба гневно спросила, что я тут делаю, потом, не дождавшись ответа, объявила мне, что много видала таких мазуриков, да у ней нечего взять, и что она сама бы украла, если б не грех да не стыдно.

Вы меня покуда еще не знаете, но, узнав хорошенько, увидите, что я человек щекотливый: принять меня за вора значило нанести смертельную обиду моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху душой. Есть много людей, которые равнодушнее перенесут название мошенника, чем дурака; старуха, вероятно, была из таких: при слове «дура» она как-то страшно содрогнулась и взвизгнула; ямки рябых щек ее налились кровью.

– Дура? – вскричала она запальчиво. – Я дура? Нет, молод еще, чтоб я была дура... Когда я жила в Данилове... весь Даниловский уезд знает, что я не дура... Пономарица ко мне в гости хаживала... Дура, я дура!

Старуха принялась доказывать, что она не дура, не забывая называть меня дураком и мазуриком. Из уст ее летели брызги мне на лицо и на платье. Вообразить положение, в котором она находилась, может только тот, кто видал бешеную собаку.



Я сначала хотел усмирить старуху, но, сообразив, что мне время дорого, а между тем она, верно, пойдет жаловаться квартальному надзирателю, и нужно будет дожидаться в конторе, а может быть до окончания дела и в арестантской, рассудил за лучшее поскорей уйти подобру-поздорову. Я уже прошел больше половины первого двора, как вдруг долетели до меня следующие слова, которые заставили меня воротиться:

– Ну... зачем ты пришел?.. Коли ты не вор, докажи, зачем ты ко мне, дуре, пришел?.. В гости, что ли, пришел? Я тебя не звала... Ну, скажи, зачем ты пришел?

Я объяснил старухе причину моего прихода, и она вдруг смягчилась. Нет, она сделала больше: вынула из кармана медный пятак и советовала мне потереть им почищенное место на лбу. Я не противился – из благодарности. Сердце мое таково, почтенные читатели, что оно не может долго питать ненависти: я простил старухе ее минутную запальчивость и отправился с нею смотреть квартиру, в которую вход был через дверь, противоположную ударившей меня по лбу.

Старуха ввела меня в довольно большую комнату, в которой царствовал матовый полусвет, какой любят художники; полусвет выходил из пяти низких окошек, которые снаружи казались стоящими на земле, а внутри были неестественно далеки от пола. Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах. Налево от двери огромная русская печка с вывалившимися кирпичами; остальное пространство до двери было завалено разным хламом; пол комнаты дрожал и гнулся под ногами; щели огромные; концы некоторых досок совсем перегнули, так что, когда ступишь на один конец доски, другой поднимается. Стены комнаты были когда-то оштукатурены: кой-где сохранились крестообразно расположенные дранки, какие обыкновенно приготавливаются под штукатурку; некоторые из сохранившихся дранок, переломившись, торчали перпендикулярно; но главное украшение стен состояло не в дранках и не в остатках штукатурки: его составляли продолговатые кровавые, впрочем невинные, пятна, носившие на себе следы пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв, да густые слои расположенной по углам и под окошками, в виде гирлянд и гардин, паутины, которая тонкими нитями в разных направлениях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо. Одна из досок потолка, черного и усеянного мухами, выскочила одним концом из-под среднего поперечного бруса и торчала наклонно, чему, казалось, обитатели подвала были очень рады, ибо вешали на ней полотенца свои и рубахи; с тою же целию через всю комнату проведена была веревка, укрепленная одним концом за крюк, находившийся над дверью, а другим – за верхнюю петлю шкафа; так называю я продолговатое углубление, с полочками, без дверей, в задней стене комнаты; впрочем, говорила мне хозяйка, были когда-то и двери, но один из жильцов оторвал их и, положив в своем углу на два полена, сделал таким образом искусственную кровать. Старуха была очень недовольна самоуправством жильца, но вообще отзывалась о нем весьма хорошо.

– А кто он такой? – спросил я.

– А кто его знает, кто он такой. Хороший человек: с паспортом. У меня без паспорта никого; я уж такая: хоть два целковых давай. Мало ли? Пожалуй, есть всякие... у иной кто хочет за гривну ночуй... а наутро ушел, глядь: у кого сапоги, у кого рубашку, голицы... в баню идти – мыло пропало... Хороший жилец. Дома почитай никогда не живет, а домой придет – спит либо пауков я: учит. «Что, – скажешь, – Кирьяныч... охота тебе... с этакой дрянью... да еще и в руки берешь!..» – «А что, – говорит, – я душеньке враг, что ли, своей, – говорит, – жука увижу да не раздавлю». – «Ну дело, дело, Кирьяныч, коли не мерзит: и душе во спасенье, и жильцам хорошо, и дом простоит дольше». Уж как я ему благодарна: всех пауков перевел; скажи на лекарство – за рубль не шйдешь! Словно в палатах княжеских... Да вот одним нехорош: за эту дрянь не люблю.

Старуха указала на небольшую, пепельного цвета, полуобритую собачонку, которая в то время вылезла из-под нар, расположенных в правом углу от двери, и, перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротою, безжалостно кусала свои грязные ноги.

– Добро бы одну держал, – продолжала старуха, – а то в иной раз вдруг пяток соберется... поднимут вой; известно: есть хотят. Кормить не кормит, а любит; жить, говорит, не могу без собак... Шутишь! Ну да что говорить! я уж такая... Из избы сору

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не выношу. Вот сами увидите: у меня... я ничего не знаю... ничего не вижу...

Старуха сделала рукою выразительный знак, на который я считал нужным отвечать ей уверением, что я не занимаюсь собачьей промышленностью, и продолжала:

– А что до чего дойдет – всякий за себя, бог за всех. Паспорт есть – я не ответчица. Махнула рукой... пусть, говорю, будут собаки; мне из-за них хорошему жильцу не отказывать. Да и что худого в собаке? Такая же, прости, господи, мое прегрешение, тварь, как и человек. Еще человек иной хуже: греха на нем больше; сами извольте знать: язык... А на собаке какой грех... Ученые собаки бывают: поноску подаст, ползает, ей-богу... всё совершенно как человек; веселей с ними. Вот вы не извольте брезговать (я гладил серую собачонку), а иные... право, разуму, что ли, в них нет?.. Просто дрянь, механик какой-нибудь, выжига забубенная, а туда же: стану я, говорит, вместе с собаками в собачьей конуре жить... Собачья конура!.. Известно, иной фанфарон: на грош амуниции, на рубль амбиции... Квартирка чем не квартирка; летом прохладно, а зимой уж такое тепло, такое тепло, что можно даже чиновнику жить, и простор...

– А почему вы берете?

Началась рья и состоялась по четыре рубля в месяц. Старуха божилась, что никто так дешево не живет, и просила не сказывать остальным жильцам настоящей цены.

– Всякое вам уважение сделаю. У вас ничего... Где! Молодой еще человек: верно, уж ничего...

Я хорошенько не понимал, к чему относились слова старухи, но смело отвечал: «Ничего».

– А нельзя и без мебельки; на полу уж какое спанье; разве от бедности. Кроватку поставлю... кипятком выварю... широкая – хоть вдвоем... (старуха усмехнулась) покойно, очень покойно; только подальше от стены... ну да уж я сама и поставлю...

Я дал задатку и отправился за вещами. Перевозка стала мне в гривенник.

Когда, сопровождаемый извозчиком, я вошел с узелком и чубуками, в шинели, надетой в рукава, в мое новое жилище, кровать уже была на своем месте: в левом углу, образуемом стеною, противоположно окнам, и тою, в которой находился известный шкаф. Старуха немного прихвастнула насчет ее удобства, ибо постель была такова, что на ней двое могли спать разве по очереди; зато перед нею стоял небольшой только что выскобленный стол с отверстием в боку, доказывавшим, что в столе был когда-то и ящик. Подвал, которому поутру как будто чего-то недоставало, представлял полную, совершенно оконченную картину.

Есть обстоятельства, невольно располагающие к задумчивости при всей лени ума и беспечности характера; Новый год, день рождения, нечаянно встреченные похороны, день переезда на новую квартиру – я знаю, что в таких случаях задумываются даже головы, которые в остальное время ни о чем совершенно не думают. Было часов около девяти; начинались светлые петербургские летние сумерки, а в подвале становилось темно. Мухи, собираясь роями, словно добрые пчелы, с шумом и визгливым жужжанием отправлялись к потолку для ночлега. Сверчок пел за печкой; что-то ползало у меня по лицу, что-то иголкой кололо в руку, – я сидел неподвижно на голых досках кровати...

Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.

Я вздрогнул и поднял голову.

Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.

Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой:

– Дратва скверная... ну да и ходьбы много... а толку хоть бы на грош... даже, кажется, мозоли натер... А что вы, то есть, здешние?

– Здешний.

– Тэк-с! А чья фамилия?

– Тростников.

– Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту... промаха ли по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить – подскочет да так прямо с лошади. А заехал сюда – здесь и побывшился... после смерти, говорят, сердяга и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников... как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?

– Я не знаю никакого Тростникова, я сам Тростников.

– Тэк-с!.. Извинтите-с... а я думал, что и вы тоже господский человек... просто с глупости... Я три недели только еще из деревни... Не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня... «Собаки и люди, – говорит, – душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька, – говорит, – покуда будут у нас в доме собаки». Спорили, спорили, да наконец и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку... фффить (дворовый человек засвистал), катать-валяй в разные города и селения Расейской империи от нижеписанного числа сроком на один год... Вот я сюда и махнул... водой на сомине... осымнадцать дён плыли... всё пели... вперемежку гребли... Да вот что станешь делать! – и сел здесь как рак на мели: нет как нет места! Продаюсь на своих харчах, за квартиру плачу... сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.

Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом; вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про барыню. Русский человек любит петь про барыню.

Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения – всё обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «Молчи, пришибу!» Потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные, при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и с полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком: «Господи, помилуй! господи, по...ми...милуй!»

– Да денег дай! – сказал дворовый человек, отпущенный по оброку.

– Денег у черта просить, – проворчал сердито бородач. Разговор прекратился.

– А что, Кирьяныч, – сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, – кабы этак тебе вдруг тысяч десять... а... что бы ты стал делать?

– Ну а ты что?

– Десять тысяч! Много десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян да глаза подбиты, и важно... хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.

– Ну а барин-от?

– Барин, что барин? Оброк отдал, да я и знать-то его по хоту... а и не отдал, бог с ним... Побьет, побьет, да не воз навьет... Десять тысяч! Горячо хватил – десять тысяч. Нечего попусту бобы разводить... четвертачок бы теперь – и то знатно... ух! как бы знатно! На полштофчика, разогнать грусть-тоску...

– Ку...а...а...а... Господи, пом...ми...луй... купи.

– купи? да где куплево-то? в одном кармане пусто, в другом нет ничего... есть, правда, полтинничек... одий, словно сиротинка, прижался, да ведь, знаешь сам, голова, надо и на харчи. с голоду умереть неохота. иное дело, кабы место найти... а то вот и сегодня у пятерых попусту был... ну уж только и господа, с самого с испода! одна вышел худенькой, тощенькой... и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре... «у меня, милейший мой, – говорит, – главное дело, что человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал...» – «зачем, – говорю, – воровать... хорошее ли дело воровать, сударь? дай господи своего не обозреть, кто чужому не рад. а много ли, – говорю, – жалованья изволите положить?» – «пятнадцать рублей», – говорит. меня инда злость пробрала... пятнадцать рублей! «тэк-с», – говорю... (а туда же, «не пей, пе воруй»... да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) шапку в охапку: «много довольны... мы не из таких, чтобы грабить нагих»... поклон да и вон... к другому пришел... толстый, рожа лопнуть хочет, красная... «мне самому, – говорит, – почитай что и человека не нужно... поутру фрак да водки подать приду из должности – к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться – сапоги снять да водки подать – вот и всё. да вот, – говорит, – у меня, видишь?» – и показывает черта такого... человек не человек, черт не черт... глаза пялит, облизывается. «я, братец, вот посмотри», – говорит, – и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо... рожи строит, кукиш показывает... «так уж любит меня, – говорит. – будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь... и жалованья тебе ни гроша, да еще, – говорит, – и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть». – «покорнейше благодарим, – говорю, много довольны... за господами за всякими хаживал, а за чертями, нечего сказать, не случилось». – «это, братец, не черт, – говорит, – аблизияна». кирьяныч страшно зевнул.

– эх ты, ежовая голова! спишь, а деньги есть... далась тебе даровщинка. развязывай мошну-то. на том свете в лазарете сочтемся.

– толкуй, – сказал кирьяныч и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом: – согрешили мы, грешные; прогневили господа бога... совсем дело дрянь! на табак гроша нет... даве на шах останную гривну в харчевне проел... совсем в носу завалило...

– табачку-свету нигде нету! – сказал дворовый человек горестно. и потом, после некоторого молчания, прибавил: – а и то сказать, какие у нашего брата деньги. известно наше богатство: кошла не на что шить – по миру ходить. иное дело у барина.

мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. день тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.

– ан пять! – сказал кирьяныч.

– семь, ежовая голова!

– пять, едят те мухи с комарами! я как теперь помню, что пять! – и между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.

– ну да сколько бы ни было, – заключил дворовый человек. – я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено, иначе и счастья на новой квартире не будет.

– и господь того человека не забудет, кто должное исполняет; – заметил кирьяныч.

– послушай, брат, – сказал я.

дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.

– чего изволите, сударь?

– на вот, братец, – купите себе вина.

– слушаю-с. штоф, что ли, брать прикажете?

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Бери штоф.

Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побегал. Через пять минут вино было на столе пере? моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверкой нюхального табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.

– Начин с хозяина, – сказал дворовый человек наливая.

Я отказался.

– Вона! – воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге. – Гусь, и тот нынче пьет... И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей – прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей, что ли, добра не желаете?

– Да вы бы в самом деле протащили немножко, – прибавил флегматически Кирьяныч. – У вас лицо такое словно обожженный кирпич.

Но я опять отказался.

– Нечего делать, – сказал дворовый человек, хитро усмехаясь, – и не хотел бы, да надо пить. – Выпил, подержал с минуту стакан над лбом и произнес протяжно: – Пошла душа в рай на самый на край! Ну, Кирьяныч!

Но Кирьяныч ничего не слышал. Он глядел в пол, топал ногою, перескакивая с места на место, и кричал: «Посвети! посвети!» Наконец он в последний раз страшно топнул ногою, восторженно крякнул и возвратился к столу. Лицо его сияло торжественно.

– Полно тебе пауков-то губить. Лучше бы вон что по стенам-то ползают; спать не дают... Пей, пока не простыло!

– Не грех и выпить теперь, – сказал Кирьяныч самодовольно. – Прибавь, господи, веку доброму человеку!

Перекрестился и выпил.

Когда было выпито по другому стакану, дворовый человек взял балалайку, заиграл трепака и запел:

В понедельник  
Савка мольник,  
А во вторник  
Савка шорник.  
С среды до четверга  
Савка в комнате слуга,  
Савка в тот же четверток  
Дровосек и хлебопек,  
Чешет в пятницу собак,  
Свищет с голоду в кулак,  
В день субботний всё скребет  
И под розгами ревет;  
В воскресенье Савка пан –  
Целый день как стелька пьян.  
Послышался страшный стук в двери, сопровождаемый странным мурныканьем.

– Ну, барин! – воскликнул дворовый человек. – Будет потеха: учитель идет!

– Что за учитель?

Дверь отворилась настезь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки; так называю я на первый случай господина в светло-зеленой, в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами – огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях, и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частью тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай (в нормальном состоянии), Гофмановы капли, пеперменты, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах – как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой запах распространился при появлении зеленого господина – я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всмотриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания с надписью «Богоявленский питейный дом». У входа, растянувшись во всю длину, навзничь лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты; он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди... Долго с тяжким чувством (вы уж знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старше. Кроме шинели, разорванной сзади по середнему шву четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими завившимися в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые; волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седины; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если бы не две-три небольшие, в грош величиною, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собой актер в жизнь от любимой, хорошо затверженной роли, которую он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнести во всеуслышание, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.

Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:

– Здравствуй, нос красный!

Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:

– Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!

Дворовый человек украдкой налил стакан водою из стоявшей на столе глиняной кружки и подал зеленому господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке, и наконец начал сильно ругаться.

– Ты, брат, со мной не шути! Кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие люди знают, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был... Действительный, брат, и кавалер... слышишь ты, кавалер... тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя, – говорит, – Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчужгой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина, – говорит. – Не того, – говорит, – я от тебя ожидал... Садись, – говорит, – потолкуем о старине... и графинчик велел принести... Вот я и заговорил... Знаю, о чем говорить: с Измайловым был знаком... к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал... Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и, водку-то пили... Да и сам я: ты, брат, со мной не шути... у меня, брат, знаешь, какие ученики есть... вот один... у, какой туз!.. А мальчишкой был... кликну, бывало, сторожа, да и ну... никаких оправданий не принимал... Вот мы все с ним вспоминаем, смеемся... «И хорошо, – говорит, – вот оттого- я теперь и в люди пошел, – говорит, – что вы меня за всякую малость

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некрологи... пороли... я вас, – говорит, – никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак... «Смолоду, – говорит, – человека надобно драть, под старость сам благодарить будет»... Знаешь, как мне, братец, платили... А ты... ты... вот поди ты служить: по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день... Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул по берестяной табакерке). – Золотая была... да было и тут... один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А всё ни за что; так – за стихи!.. Я, брат, какие стихи сочинял!

Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом... что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и деле свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, во от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени при появлении зеленого господина в классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстука и, вместо того чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек, занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом: «А какие глаголы принимают родительный падеж?.. А, не знаешь? А вот я тебя на колени!»

Его отставили, и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную: не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от тревожных, неразлучных с холостой жизнью. Зеленого господина отставили, но по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему небольшой пенсией. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину, и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за несколько дней до первого числа каждого месяца хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей по службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец, всех, кого знал в лучшую пору жизни, – везде давали ему по рюмке вина, инде и по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов, то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в русском государстве все пишут или писали стихи и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строку заглавной страницы, говорил торжественно:

– Видишь, видишь, видишь... а?... видишь ли?

Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:

– Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте не умею. Какая грамота нашему брату? Грамоту будешь знать – дело свое позабудешь... А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось потерял али подарил кому?... Ты ведь добрейший... Сам не съешь, да другому отдашь. Знаю я... кто наемни у меня ситник-от съел?

– Продал, так и нет, – отвечал зеленый господин с меланхолической грустью. – Где нюхать нашему брату из золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!

Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.

Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них была на всерадостный день

имений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некро- тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и поэт обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; за то его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал тростью за то, что Тредьяковский не изготовил оды на какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того, во время его походов, всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и «милостивцами». В начале XIX столетия этот род литературы начал заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом «подлому стихотворству». Так изменяются нравы! Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленною и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку, перстенок, табакерку, 50 или 100 рублей денег – и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, всё было лучше, чем теперь.

– Ерунда[2], – сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался. – Охота вам руки марать!

– Ерунда! – повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо. – Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть... Я читал, а он нюхал табак и говорит: «Понюхай». – «Не нюхаю, – говорю, – да уж из табакерки вашего превосходительства...» – «Нюхай, – говорит, – ученому нельзя не нюхать», и отдал мне табакерку... С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить к обеду... посмотрел бы ты, как меня принимали... всякий гость обнимал... а какие всё гости... даже начальник его превосходительства поцеловал... я после и ему написал... Напились я пьян... говорю как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает... Ерунда!

И что-то похожее на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина, и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения: «Налей, брат, мне, Егорушка, пожалуйста, рюмочку!»

Дворовый человек налил стакан вина, подозвал зеленого господина и выкинул новый жестокий фарс: поднес стакан к губам зеленого господина и вдруг, когда уже тот вытянул губы и совсем приготовился пить, отдернул стакан и выпил сам. Но зеленый господин уже не рассердился: чувство собственного достоинства, окончательно побежденное запахом сивухи, коснувшимся обоняния, замолчало. Он стал униженно просить дворового человека «не шутить»...

– Попляши, поднесу...

И зеленый господин без отговорок начал плясать. А дворовый человек, приговаривая: «Еще! еще! лихо! лучше вчерашнего! ну, немножко еще!», – накапал в стакан сала из ночника, всыпал щепоть табаку и целую горсть соли, долил вином и пальцем всё размешал. Мне стало страшно.

Я просил не давать холеному господину этого страшного эликсира, говоря, что он уже и так сильно пьян.

– Пьян! вот те раз – пьян! Слышал я от умных людей и от девок, – отвечал



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов дворовый человек, продолжая размешивать, – падает человек – не пьян, языком шевелит – не пьян; двое ведут, да третий ноги переставляет, вот пьян!

– И лежит да не дышит – тоже пьян, – отозвался Кирьяныч, разбуженный пляскою зеленого господина. – А-а-а... Го-спо-ди, по-ми-луй!

Зеленый господин выпил и похвалил. Вслед за ним выпили дворовый человек и Кирьяныч. Сделалось шумно. Зеленый господин добровольно вызвался еще поплясать, но только под музыку. Дворовый человек заиграл на балалайке и запел, пристукивая ногами и даже по временам откалывая небольшие плясовые коленцы. Кирьяныч, которому удалось раздавить еще паука, необыкновенно развеселился и каждый прыжок зеленого господина сопровождал трагическим хрюканьем, вроде хохота, а зеленый господин прыжки свои сопровождал икотой и бранью, непосредственно следующей у русского человека за каждым разом, когда икнется, да еще дикими вскрикиваниями... Но всего интереснее была тут песня дворового человека:

Лет пятнадцати не боле  
Лиза в рощицу пошла  
И, гулявши в чистом поле,  
Жука черного нашла, –  
Жука черного с усами  
И с курчавой головой,  
С черно-бурыми бровями –  
Настоящий милый мой!  
Завяжу жука платочек,  
Понесу его домой,  
Дам я сахару кусочек –  
Кушай, кушай, милый мой!  
Злая тетка увидала –  
Разворчалась на него,  
Лизе строго приказала:  
«Выбрось жука за окно!»  
Я не слушалась приказу –  
Брошу жука под кровать,  
А на будущее лето  
Разведу жуков опять.

.  
.

Вот вам, девушки, наука!  
Не ходите в лес гулять,  
А найдете того жука –  
Не кладите под кровать.

Как ни шумно пировали мы, однако ж пронзительный, нечеловечески дикий крик, раздавшийся вне комнаты, был тотчас нами услышан и в минуту сковал наши языки и движения. Это был крик, какого я уже не слышал во всю остальную жизнь, – крик, в котором отзывалось всё: и противное карканье почувшавшей непогоду вороны, и токующий глухарь-тетерев, и молодой, бодрый конь, спущенный с аркана и весело заржавший, почувяв свободу и поле, и поросенок, которого палят живьем, и человек, которого вешают. Не успели мы переглянуться, к нам вбежала старая баба, с лицом до того испуганным, что я едва узнал в ней хозяйку. Она ломала руки и кричала: «Ах батюшки!»

– Что такое? – спросил я в недоумении.

– Ничего, – отвечал дворовый человек хладнокровно. – Видно, опять напилась?

– Напилась... ей-богу, напилась, пена у рту... схватила нож: зарежусь, говорит, и всех перережу. Батюшка Егор Харитоныч!

– А пускай бы ее резалась.

– Оно так. Туда ей и дорога, коли лучшего конца себе не надеется, да ведь никогда не случалось... и для жильцов нехорошо... Надзиратель приедет. Деньги все, поди, пропила, и за шубу полсотни давали... а уж где шуба? Сама своей души не жалеет, на саван не оставляет. Батюшка Егор Харитоныч, ведь похоронить не на что будет!

Дворовый человек и Кирьяныч отправились за хозяйкою. Любопытство заставило меня

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не последовал за ними. Через дверь, с которой уже, если помнят читатели, я был хорошо знаком, мы вошли на половину хозяйки. То была точно такая же комната, как и наша, но убранная несколько иначе и лучше. В двух углах стояли кровати, а два остальных были загорожены ширмами, с которыми соединено было то удобство, что можно было заниматься чтением «Северной пчелы», которую ширмы были оклеены. На пол-аршина от потолка во всю длину стен были прибиты, как в крестьянских избах, узенькие полочки, на которых стояла деревянная и черепяная посуда. Посреди комнаты происходила сцена, достойная точного и возможно искусного описания. По полу каталась женщина в полном цвете бальзаковской молодости, с красными, как бурак, одутловатыми щеками, и задыхающимся, визгливо-пронзительным голосом кричала: «А... а... а... ой... батюшки!.. а... ой... умру!.. умру!.. умру!.. а... а... а!» Как у разгоряченной лошади, изо рта била клубами пена, которая клочьями падала на пол и размазывалась по лицу; руки беснующейся были в крови: в беспамятстве она их кусала. Ее окружали три женщины – две старые и одна пожилая, все беременные, которые при каждом повороте кликуши боязливо отскакивали и при каждом новом порыве ее бешенства вскрикивали в один голос: «Ай!» Нужно еще упомянуть об одном обстоятельстве: из-за ширм (влево от двери) раздавался тоненький голосок, напевавший с совершенной беспечностью немецкую песенку, которую очень любят все петербургские немки:

Mein lieber Augustin,  
Alles ist weg! [3]

Вдруг кликуша оглушительно визгнула, простонала: «Ой тошно! Ой батюшки, тошно! Отпустите душу на покаяние! Нож!.. нож!.. нож!..» – и вскочила на ноги.

Нож лежал на полу, и кликуша несколько раз через него перекатывалась, но ни у которой из женщин не доставало смелости поднять его. Дворовый человек выступил вперед, заступил нож, насупил брови и закричал грозно:

– А на что тебе нож, проклятая ведьма? На что тебе нож? Вот я дам тебе нож... Кирьяныч! а Кирьяныч... тыфу! ты какой! да поди же сюда... Надо бешеную бабу...

Но Кирьяныч в ту минуту страшно стучал сапогами, подпрыгивая, чтоб настичь рукою паука, уходившего к потолку, и ничего не слышал.

Дворовый человек плюнул, не торопясь развязал ремень, которым был подпоясан, и, устремив на кликушу невыносимо свирепый взгляд, произнес со всею силою и энергиею голоса: «Вязать!»

И вдруг кликуша задрожала всем телом, и бешеное выражение в лице ее в минуту уступило место кроткому и молящему; как сноп повалилась она к ногам дворового человека и жалобно напросила пощады...

– На место! – закричал торжествующий укротитель, делая трагический жест рукою. – Цыц! пряничная форма! (Кликуша была рябая, – метко выражается русский человек.) За работу! – прибавил он, топнув ногою. – Только пикни, свяжу, да так в помойную яму и брошу!

Хозяйка усадила кликушу, дала ей работу, и укрощенная беспрекословно принялась шить, страшась поднять глаза на дворового человека, который с минуту еще смотрел на нее, как говорится, сычом и на разные тоны повторял: «Цыц! цыц! цыц!»

Чтоб объяснить сколько-нибудь эту сцену, я должен рассказать здесь то, что узнал уже впоследствии. Терентьевна не была в самом деле кликушей, как зовут у нас на Руси всех одержимых какою-нибудь дурью баб, но была весьма склонна к белой горячке, которая периодически возвращалась к пей после каждых десяти суток беспробудного пьянства. Дворовый человек уже неоднократно, по вызову хозяйки, являлся на выручку из беды и каждый раз при помощи того же простого и крайне дешевого средства, какое употребил за минуту, возвращал бешеную бабу к покорности и даже вышибал из нее хмель. Происходило ли то в самом деле от необычайной дикости его голоса и свирепости взгляда, как думали старухи, или была на то особенная воля судеб, или просто так хотел случай, – как бы то ни было, но дворовый человек пользовался за магнетическую способность свою большим уважением хозяйки и ее постоялок. Впоследствии он придумал даже способ извлекать из влияния, которое имел на кликушу, пользу существенную: усмирив кликушу, он отдавал ей в починку худое белье свое, оставаясь в таких случаях в том, в чем оставалась левая нога его, когда он чинил сапог, – и кликуша не смела тронуться с места, покуда работа не была кончена...

На возвратном пути я мимоходом заглянул за ширмы, откуда раздавался тоненький голосок, и увидел молодую милостивую женщину, которая также, подобно прочим жилицам подвала, отличалась полнотой неестественной.

– Отчего они все беременны? – спросил я, когда мы пришли в комнату.

– Известно отчего, – отвечал дворовый человек. – Ну вот хоть бы у вас жила кухарка... горничная... мамзель какая-нибудь, замужняя или так. Вдруг господь прибыль дает... сами знаете – держать не станут... Куда?... Не пойдешь среди улицы: не такое дело. Федотовна баба добрая... сальных свеч не ест... «Поживи, мать моя! Поживи, голубушка! Я тебя не обижу!» Вот на время и к ней. А там – дело уладилось – и опять место найдет... Всякий видит – талия с перехватцем. А умрет, не вынесет – Федотовна и того вдвое рада... Вор-баба! Без мыла в душу влезет... изойди весь свет, другой не найдешь! В Москве есть, говорят, две, да те похуже... хоть кого окалячит... У отца родного крест с шеи снимет... Намедни умерла роженица... Она инда в слезы; охает, ахает... до ниточки всё прибрала... дряни набила в сундук... «Куды! – говорит, – у покойницы ни роду ни племени! Нищим надо отдать!.. Пусть, – говорит, – за покойницу молятся... ничего себе не возьму, ничего, не пойдет впрок чужое добро!» Позвала нищих; всё мальчишки, девчонки... мал мала меньше; ну уж какое вино?... только два старика. Пообедали... напоила, да у них же и украла платок... вот сейчас не сойти с места... Вчерась в ном в церковь ходила, рублев десятка стоит. Известно, тоже у господ украден: нищему где платок покупать! А что, Кирьяныч, дерябнем-ка еще по стакану!

Он подошел к столу и ахнул от ужаса: штоф был пустехонек. Выругавшись, дворовый человек принялся пинками будить зеленого господина, заснувшего сном невинности среди полу, но зеленый господин не шелохнулся и только отвечал на пинки и проклятия стихами из брошюры на тезотментство, полными благословений и радостных пожеланий. Впрочем, я думаю, что он бредил: к подобному великодушью – человек в здравом рассудке едва ли способен.

– Нечего собаке делать, так хвост лижет! – сказал дворовый человек с трогательным состраданием; взял в одну руку шайку, в другую штоф. – Вот одолжил, как уж кабаки заперлись!

– Что ты, голова? Лучше же завтра будет у нас на что пообедать.

– Была не была! Уж неужто так и не выпить?... Авось.

– И то сказать, – заметил Кирьяныч, внутренне обрадованный, – голенький ох, а за голеньким бог.

За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым – заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим – побранились; за четвертым – последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались...

Путру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.

– Собаки есть?

– Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами...

– Крапины серые?... левое ухо прорезано? на хвосте черное пятнышко?

– На хвосте черные крапинки, ушки выстрижены...

– Она-то и есть! – воскликнул господин в белой шляпе с явною радостью. – Давай ее сюда.

Кирьяныч нагнулся и начал кликать из-под своих «нар» собачонку, принесенную два дни тому назад, приманивая ее куском хлеба и разными ласковыми именами. Но собачка забила в самый угол и, казалось, совсем не думала исполнять желание своего хозяина. Кирьяныч разгневался, выругался и хотел уж было разрушить место своего успокоения, чтобы поскорей достать гадкую собачонку, но господин в белой

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в шляпе удержал его.

– Постой, – сказал он и, заглянув в бывший у него в руке листок, закричал: – Розка, Розка, Розка!

Собака тотчас выскочила и, весело махая хвостом, бросилась к господину в белой шляпе, но, увидав его, снова жалобно застонала и воротилась к «нарам». Кирьяныч поймал ее и подал господину в белой шляпе.

Господин в белой шляпе несколько минут пребывал в молчании, то взглядывая на собаку, то погружаясь в чтение листа, – и наконец сказал:

– Точно, она; я возьму ее с собою. На тебе за труды, – прибавил он, вынув из кошелька какую-то монету, – дам больше, если точно она.

Кирьяныч принял монету, поморщился и сказал:

– Только-то! Прибавьте, ваше благородие. Не поверите: сколько я муки с ней брал. Целую неделю своим хлебом кормил: вот ей-богу! дай, господи, в светло Христово воскресение первым куском подавиться! Да еще хлеба-то и не ест окаянная; молока покупал.

Господин в белой шляпе вынул еще монету из кошелька и вручил ежовой голове.

– Мочи нет, как бьюсь, – продолжал ежовая голова, – просто есть нечего, хоть с голоду умирай... Хотел уж сам нести к вашей милости...

– Избави бог! – возразил господин в белой шляпе с каким-то страхом. – Когда мне нужно, я сам, братец, приду к тебе; ты ко мне не ходи. Слышишь, не ходи; прогоню, и уж тогда не пеняй: хоть с голоду околей, не дам ни копейки.

Господин в белой шляпе ушел.

– Уж будь бы я грамотный, – проворчал вслед ему ежовая голова, – не стал бы тебе кланяться, сума переметная, душа беспардонная! Полтора целковых, только полтора целковых, и то чрез великую силу выпросил, а сам, поди, чай, и двадцать рублей сдерет!

Глава <VI>

Потеряв, как уже сказано выше, всякую надежду поступить на казенный счет в какое-нибудь учебное заведение через покровительство людей, к которым у меня были рекомендательные письма, я, однако ж, чувствовал необходимость учиться, и только недостаток средств удерживал меня. Я решился во что бы ни стало поступить на следующий год в университет и стал всеми силами заботиться о средствах приготовиться к экзамену. С утра до вечера в продолжение пяти дней шатался я по рынку, скупая у букинистов и разного рода бродяг книги, нужные для моей цели; мне удалось купить их за весьма дешевую цену, и я с жаром принялся читать историю, географию, грамматику. Тут только увидел я, что учиться не так трудно, как мне казалось, когда я был в губернском учебном заведении. Я очень скоро почувствовал, что довольно уже силен во всех предметах, доступных человеку без постороннего указания. Оставалось узнать латинский язык, без которого нельзя было обойтись, и французский, который, впрочем, я несколько знал. Случай помог мне как нельзя более.

Господин в темно-зеленом фраке с белыми пуговицами, в шляпе без доньшка и в грязных манжетах, Григорий Андреевич Огулов не всегда был таков, каким читатели видели его в предыдущей главе. История его, которую он рассказал мне в одно утро, когда болезнь не позволила ему уйти, очень трогательна и поучительна. Двадцать пять лет он занимал место учителя в одном из петербургских духовных училищ и наконец был отставлен за неумеренное пристрастие к вину с небольшим пенсионом. Одиночество и бездействие скоро усилили в нем страсть к вину, и наконец эта страсть дошла до крайнего своего развития: старик не мог пробыть часа без рюмки вина и готов был на всё, только бы удовлетворить своей страсти. Получив первого числа месяца свое небольшое жалованье и отдав часть его хозяйке, которая в этот день неотступно следовала за ним, он тотчас отправлялся в харчевню и пропивал остальное, не являясь домой по несколько суток. Когда жалованье истощалось, он бродил к своим прежним товарищам по службе, к ученикам, которые уже были взрослые люди, наконец, ко всем знакомым, которые вели с ним

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не красавца, дружбу в цветущую пору его жизни, – везде выпивал он но рюмке и более, смотря по радушию хозяина, и к вечеру возвращался домой совершенно пьяным. Такова была жизнь этого человека, который был совсем не глуп, и по утрам, когда хмель выходил у него из головы, показывал признаки некоторого образования. Это заставило меня несколько сблизиться с ним, и мало-помалу он стал обходиться со мною без церемонии. За полуштофом вина он раскрыл мне всю свою душу. Это был один из тех оригиналов доброго старого времени, которых в Петербурге уж совсем нет, но которые встречаются еще иногда в Москве, он был без ума от всего старого, ругал на чем свет стоял всё новое; Сумарокова называл первым драматургом и читал с большим одушевлением плохонькие вирши из «Хорева», называя их превосходными; в Ломоносове видел Шиллера и, как будто какое-нибудь необыкновенное о бытие, со слезами на глазах рассказывал, что имел счастье присутствовать у Измайлова в ту самую минуту, когда «великий баснописец» написал первые строки своей басни, начинающейся словами:

Павлушка, медный лоб,  
и пр.

В похвалах его старой литературе встречалось много диких и странных суждений, однако ж беседы наши не были для меня совсем бесполезны. Он знал наизусть большую часть не только Державина и Кантемира, но даже Сумарокова, Петрова и других темных стихоплетов старого времени и беспрестанно говорил тирадами из их высокаторжественных сочинений: слушая его, я несколько ознакомился с духом старой нашей литературы, с которою ознакомиться другого средства не имел, ибо их творений покупать мне было не на что.

Странностям его не было границ. Вольтера и Руссо называл он чертями, из которых один заставлял хохотать, другой плакать; оба были непримиримые враги общественного порядка и враждовали между собою во всё течение жизни и соединились но смерти в системе разрушения. С ужасом видел я, что он уже состарился навсегда в отношении к науке, мысли его остановились, для него был свет тот же, что двадцать лет назад; что не было уже живой души в этом гнилом трупе, пропахнувшем водкой, и пр.

Я старался вставать как можно ранее, чтобы захватить отставного учителя дома; садился с книгой у его кровати и неотступно просил объяснения непонятных для меня латинских оборотов, обещая ему тотчас после урока порцию водки. Память еще не совсем изменила старику: он знал довольно хорошо латинский язык и заменял мне лексикон, ибо помнил значение всех слов, встречающихся в Корнелии Непоте и Саллюстии, которых переводом я занимался. Я спешил записывать переводимые им слова и заучивал.

Около месяца продолжались мои занятия почти каждый день непрерывно. Я был спокоен и внутренне радовался своим успехам. Но, увы! небольшая сумма, которую я имел, начала истощаться; мне уже не на что было покупать вина, и неумолимый профессор мой, несмотря на все мои просьбы, начал обращаться в бегство. Скоро дело дошло до того, что мне самому нечем было жить, и я принужден был бросить все свои занятия, чтобы приняться за какой-нибудь способ к существованию. Я делал корзинки, для хлеба, детские игрушки, подносы и передавал их Кирьянычу для продажи. Кирьяныч, сам крепко бившийся деньгами, великодушно делился со мною последними крохами, пока было возможно. Наконец и его карман истощился. Отставной учитель уже третий день не являлся домой. Дворовый человек был уже давно при месте. В квартире оставались только мы с Кирьянычем да собака, которую Кирьяныч привел уже около недели, но за которой, против обыкновения, не явился господин в белой шляпе, навещавший прежде Кирьяныча довольно часто. Мы были в положении людей, ожидающих голодной смерти...

– Я завтра пойду по миру или залезу в карман кому-нибудь, – сказал Кирьяныч, – и как-нибудь буду сыт... а вы-то что, барин, будете делать?

– Не знаю, – отвечал я.

– Хотите ли, у нас будут деньги завтра? – спросил он.

– Каким образом?

– Попытка не мушка, а спрос не беда: только, мне кажется, тут нечего и раздумывать, – произнес с расстановкою Кирьяныч. – Вы, может быть, и

изменений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
рассердитесь, что я вам скажу, только уж всё скажу – мне вас жаль, да и самому с голоду умереть неохота... У меня тоже есть жена, дети... дочь... Ах, что-то они теперь делают?... Далеко они, давно я их не видал, да вряд ли увижу. (В голосе Кирьяныча слышались слезы, которым я немало удивился.)

– Ну, что же ты хочешь сказать?

– Знаете ли, барин, чем я кормлюсь? – спросил он.

– Не знаю, – отвечал я, хотя и догадывался.

– А хотите узнать? – спросил он после некоторого молчания.

– Пожалуй, скажи.

Несколько минут продолжалось молчание, в продолжение которого ежовая голова вздохнул несколько раз.

– Уж коли говорить, так уж всё говорить! – сказал наконец Кирьяныч. – Послушайте, барин, что я вам расскажу.

– Говори, брат. Да ты что-то очень печален. Полно крушиться. Бог милостив!

– Не для нас! – сказал Кирьяныч. – Ну, слушайте.

И затем Кирьяныч рассказал мне историю, которую я передаю читателям без всяких изменений...

История ежовой головы

– Вы не подумайте, – начал Кирьяныч, – я не всегда был таким замарашкой, серокафтанником, как теперь. У меня дом первый во всем селе: ставни крашенные, ворота резные; сам барин ездил ко мне в гости по праздникам, и уж всякого вина заморского и яства вкусного было вдоволь. У нас уж такой обычай: крестьяне летом в деревне не живут, а ходят на чужую сторону оброк добывать. Я ходил в Питер лет пятнадцать, по каменному мастерству. Деньжонок у меня скопилось немало: сотни три, четыре каждый год оставалось; набрал я артель и сделался подрядчиком; синий кафтан стал носить; сам уж и не работал: только подряды снимал да похаживал с палочкой около рабочих; там присмотришь, тому покажешь, на того покричишь; известное дело. Господь благословил меня в первый год: я получил после дувану (дуван – дележка общей заработной) тысяч пятнадцать барыша чистоганом. Пришел домой крепостной, а на другой год в Питер воротился – человек вольный: шесть тысяч барину внес за себя; откупился со всем семейством. Набрал артель человек в шестьдесят; каждому задатку дал по сту и больше рублей; снял работу – казармы поставить.

Поставили – всё как следует, только бы кончить да деньги получить; прихожу к полковнику – деньги прошу. «Нет, братец, денег; не вышли еще». Жду месяц, другой – и опять иду: тот же ответ – подожди. Я, знаете, и говорю: «У меня артель не ждет, ваше высокоблагородие; зима наступает; рабочие домой собираются, просят расчету, будьте отец родной, не задержите!» – «Пошел вон! – ~ закричал полковник. – Смеешь еще говорить! Коли стал умничать – нет тебе ни копейки; жди», – говорит. Я всё прошу, пристаю, ну, знаете, нужда приспичила. А он пуще сердится. «Бездельник, – говорит, – еще грубить стал; коли так – нет тебе ни копейки! Работа, – говорит, – твоя никуда не годится. Печи скверные... – и пошел, и пошел! – Завтра же, – говорит, – на твой счет всё велю переделывать. Да еще в тюрьму тебя засажу». Ну, думаю, пропала моя головушка – не видать мне моих денежек. Заплакал и пошел вон. А дома рабочие проходу не дают: напасть, да и только! Гляжу: работу мою ломают; другого подрядчика наняли; рабочие подали на меня жалобу; платиться нечем; посадили меня в тюрьму. Просидел шесть месяцев, словно колодник какой, – выпустили: ни денег, ни одежки; кто ни встретится на улице – стыдно в глаза взглянуть: не должен ли де ему, думаешь! Хотел идти домой – совесть не подняла; был подрядчик, а теперь приду гол-голехонек, хуже нищего. Стал работать поденщиной; что заработаю в день, то и пропью вечером, погляжу, а уж мне и работы не дают: ненадежен, говорят, шибко больно хмелем зашибается! Есть нечего; жить негде; стал на мосту, прошу милостыни, как нищий; ну, всякий стыд потерял, наберу гривны две – и в кабак; ну, разумеется, горе берет: с горя надобно выпить. Так, бишь, месяца два; мимо мосту, где я стоял, часто ходил господин, вот вы его, может быть, у меня видели – в белой шляпе; каждый раз

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не подавал мне пятак либо грош и всё так жалостно на меня смотрел, расспрашивал. Раз идет мимо меня; я уж был впропьяни. «Батюшка, подайте гривенку, Христа ради!» – говорю ему. Он стоя против меня, посмотрел в глаза и говорит: «Хочешь ли, Кирьяныч, целковый рубль получить?» – «Отчего не хотеть, как не хотеть, – отвечаю ему, – я и гривне рад бы теперича, не токмо что целковому». – «Ну так ступай за мной», – сказал он. Я пошел. Пришли в Гороховую, к большому богатому дому. «Видишь этот дом?» – спросила белая шляпа. «Вижу». – «Тут, – говорит, – выбегает к воротам собачка небольшая, коричневая, с курносым носиком, – моська, что ли, – он назвал ее, – ты, – говорит, – подстереги собачонку, поймай, чтобы никто не видел, да ко мне и представь; право, целковый получишь, вот и задатку гривенник». – «А где вашу милость найти?» – говорю ему. «Стой, – говорит, – где всегда стоишь: я уж тебя найду сам». Украл я собачку, отдал барину, целковый получил. На другой день белая шляпа опять ко мне. Опять указал дом, поставил на месте: «Стереги, – говорит, – выбежит – поймай и тащи ко мне». Исполнил и опять целковичек получил. Белая шляпа мной не ухвалится. «Чем по миру-то тебе ходить, лучше, – говорит, – промыслом заниматься. Где ты, братец, живешь?.. Я к тебе стану сам заходить, только ты не зевай; как где у богатого дома заметишь – высунулась собачонка, – хватай и в кошель; или за господином каким идет да отстанет; я тебе по целковому за каждую буду давать». С тех пор я только тем и занимался; кучу собачонок перетаскал; белая шляпа иную возьмет, а иную и нет. Долго я думал, на что барину собачонки, да наконец один человек – тоже из наших, забулдыга такой, – надоумил меня. «Есть, – говорит, – господа, которые собак держат и очень любят. Ну, разумеется, пропадет собачонка, он рад и двадцать рублей, и больше дать, только бы нашлась... что богатому человеку двадцать рублей – плевое дело! Объявит тотчас через газеты – глядь к нему и несут». Так вот, барин, этот господин-то больно меня обижает – мало денег дает, да вот уж теперь и совсем не ходит, да и придет, так не пушу – лучше же это вам пойдет; что вам стоит газеты пробежать, приметы сличить, – а между тем на хлеб-то нам и будет. Ну что же, барин, идет, что ли?

Мне ничего более не оставалось, как умереть с голоду или согласиться на предложение. Я колебался недолго...

– Идет! – сказал я шутливо и громко, стараясь ободрить тем свою совесть...

– Идет! – повторил Кирьяныч и, встав с своего места, прибавил: – Надобно, как водится, начать дело с молитв. Вставай, барин, садись вот тут...

Мы сели против небольшого образка, бывшего над постелью Кирьяныча, и несколько минут пребывали в Молчанов. Кирьяныч встал и начал креститься; я последовал его примеру. Потом Кирьяныч подал мне руку, и мы обменялись уверениями в точном исполнении нашего договора...

Дела мои пошли очень удачно. На другой же день я побежал в кондитерскую, отыскал газету, в которой, между прочим, помещались объявления о разного рода пропажах, – от билета сохранный казны в 200 тысяч до черной собачонки, – и к величайшей радости очень скоро нашел точное и подробное описание того пуделя, который уже с неделю гостил у Кирьяныча; в заключение было сказано: «кто оную доставит (туда-то), дано будет пятьдесят рублей ассигнациями в награждение». Я чуть не запрыгал от радости; записал с точностию адрес владельца собаки и побежал домой. К вечеру мы уже разделили с Кирьянычем по тридцати рублей на брата, ибо владелец собаки в припадке восторга дал Кирьянычу десять рублей лишних, и праздновали наше торжество полуштофом французской водки. «Ну, барин, – говорил Кирьяныч, – пошло дело на лад. И вам-то приятно, да и хозяину весело! Посмотрели бы вы, как все в доме обрадовались. Барыня чуть не бросилась мне на шею; целовала пуделя, гладила, кормила сахаром; а люди-то, люди: поверите ли? точно воскресли все. Барин, он, слышь, их всех пересек, как пропала собака, и обещал внять пересечь, если на днях не найдется! Ну что? Правду я говорил: худа не будет. Да и греха, право, нет: ведь другой же украл бы всё равно и деньги бы получил, а мы бы хоть с голоду умирай. Какой тут грех! Не правда ли, барин; рассуди сам, ты грамотный, ты лучше моего понимаешь...» – «Конечно, – отвечал я, наливая себе четвертый стакан пуншу. – Какой тут грех!..»

Первый успех ободрил меня, и с большим жаром принялся я сличать приметы приводимых ежовою головою собак с приметами тех, о которых публиковалось в газетах. Редко проходил день, чтобы мы не сбывали с рук собаки; за иную получали мы десять, двадцать, тридцать рублей, была даже одна, за которую получили мы полтора рубля. Только те объявления, в которых не обозначалось награды, а

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не красноречиво говорил: «дано будет приличное награждение», вводили нас в заблуждение, так что однажды вместо награды Кириянычу надавали пинков. Вследствие того собак с «приличным награждением» мы перестали водить к их хозяевам, а выгоняли на улицу на волю божую.

Ученье мое пошло опять своим чередом. Отставной профессор снова возвратился к своей обязанности – ежедневно читать мне лекции латинского языка и выпивать в заключение по несколько стаканов водки. Я значительно повеселел. Сшил себе новый сюртук, зимнюю шинель и начал даже позволять себе некоторые прихоти. Я прежде обедал большею частью, как в просторечии говорится, «всухоежку», закупая припасы уже готовые в мелочной лавке. Теперь я стал ходить обедать к одной немке, которая содержала «кухмистерский стол», ценою от рубля до пятиалтынного с персоны. Я брал стол в пятиалтынный.

Марья Самойловна – содержательница кухмистерского стола – была женщина лет сорока, дородная и краснощекая. Она очень ласково со мной обходилась и однажды, когда я пришел обедать, подала мне рублевый обед и поставила на стол бутылку красного вина. Как все люди, которым мало встречалось случаев удовлетворять свои прихоти, я не очень долго церемонился и очень исправно опорожнявал стакан за стаканом. Марья Самойловна неотступно меня потчевала, по временам бросая на меня пронзительные взоры. Она расспрашивала меня о моем житье-бытье, о средствах, которые я имею к существованию, коснулась, наконец, квартиры, в которой я живу, и, узнав, что она весьма неудобна, сказала после некоторого размышления, кротко потупив очи:

– У меня вон там, подле спальни, есть небольшая комнатка; совсем с мебелью; для холостого человека ее очень довольно; если б я сама была женщиной, то, право, лучше бы не желала. Переходите-ка ко мне; у меня будете иметь и стол, и чай, и всё нужное, право?

При последних словах кухмистерша взглянула на меня с такою нежностью, какую только можно сообщить лицу, заплывшему жиром и подернутому толстым слоем искусственного румянца. Я уже был столько догадлив, что тотчас понял значение ее страстного взгляда в связи с ее предложением... Посидев еще с полчаса у кухмистерши и отпустив ей, на всякий случай, несколько любезностей, я ушел домой, сказав, что подумаю об ее предложении.

В самом деле было об чем подумать. Житье в сером подвале начинало уже мне надоедать. Будучи от природы довольно слабого сложения, я чувствовал, что сырость, постоянно господствовавшая в подвале, очень вредно действует на мою грудь. Кроме того, как ни выгоден был промысел, которым мы занимались, призвания посвятить себя мошенничеству я не чувствовал. Следовательно, вырваться из такого положения для меня было чем скорее, тем лучше. Случай, хоть, правда, тоже не весьма благовидный, наконец представился. Оставалось только решить, что лучше – пользоваться ли любовью некоторых господ к собакам или благосклонностью кухмистерши. При мысли о собачьем промысле душа моя возмущалась и совесть вопияла громко и гневно; при полном и точном представлении мясистых прелестей жирной кухмистерши волосы становились дыбом на голове моей, холодный пот градом катился со лба и по телу пробегали мурашки. Дорого бы я дал тогда тому, кто разрешил бы мне трудный вопрос, – в котором из представлявшихся мне двух случаев менее страдало мое человеческое достоинство?

Наконец после долгих размышлений я решился пожертвовать, как тогда сам сказал себе, «выгодами тела выгодам духа», то есть, говоря проще, переехать к кухмистерше.

Я жил у нее около трех месяцев, продолжая заниматься приготовлением к экзамену. Не имея уже более руководителя в латинском языке, но узнав уже первые основания его довольно порядочно, я начал посещать университет в качестве вольного слушателя и с большим нетерпением ждал экзамена, время которого с быстротой приближалось. Поступить в студенты – сделалась единственною моею целью: с завистью смотрел я на каждого юношу, одетого в студентскую форму. Меня и одушевляли мечты, что наконец вырвусь же я когда-нибудь из бедственного моего положения, что дадут мне наконец теплый угол и кусок хлеба, который я буду есть не краснея, в твердой надежде заплатить со временем благодетельной руке, подающей мне этот кусок, трудами всей грядущей жизни моей, всем, на что подвигнет меня развитой наукой разум и благодарностью полное сердце...



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
И вот наконец наступил вожделенный день экзамена. Я оделся с большею чем когда-либо тщательностью и очень рано вышел из дому, чтобы не опоздать (я жил близ Малоохтинского перевоза).

Увы! Надежда моя не сбылась: я не был принят. Я очень плохо отвечал из физики и математики и получил из этих предметов по единице. В русских университетах существует постановление не принимать в студенты молодых людей, получивших на экзамене больше одной единицы.

О мудрые!

Если бы вы знали, сколько пожертвований, слез и тревог, скольких душевных борений и самопожертвований желудка стоил мне небольшой запас сведений, который со страхом и трепетом принес я на суд ваш в памятный для меня день моего испытания! Если б вы знали, что у меня не было другого наставника, кроме толкучего рынка, на котором я покупал старые учебные книги... Если б вы знали... Впрочем, всё это я некоторым из вас говорил...

Через неделю после несчастного оборота моих дел случилось происшествие, которое очень странно и неправдоподобно, но за действительность которого я ручаюсь.

Кроме меня у кухмистерши в двух отдельных комнатах жили еще два постояльца. Один – актер французской труппы, средней руки, который являлся домой только спать и обедать, и то не всегда; другой – картежный игрок, тоже средней руки, который большую часть дня проводил дома, посвистывая и с трубкой в зубах поглядывая на улицу из окошка, на котором лежала совершенно новая сафьянная красного цвета подушка, а ночью дома никогда, как выражалась хозяйка, «не держался». Кухмистерша была очень довольна своими нахлебниками-постояльцами, но с особенным чувством отзывалась о последнем и даже, когда он проигрывался, давала ему денег «на разживу», находя в том особенную выгоду. Однако ж, несмотря на ее похвальные отзывы, игрок попался наконец в плутовстве и был захвачен полицией). Это мы узнали от квартального надзирателя, который явился делать опись имению виновного и нашел, между прочим, в потайном ящике целую дюжину поддельных карт. Через неделю игрок как-то выпутался из беды, но был гол как сокол и удовлетворить хозяйку не имел никакой возможности; вследствие того у них произошла ссора, и, говоря слогом наших романистов, «двери дома г-жи Эльметри для него затворились». По просьбе кухмистерши я очень красиво и четко написал на лоскутке бумаги: «Здесь отдается комната со столом и прислугою», и этот ярлык был прилеплен к воротам нашего дома. На другой же день поутру пришел господин с черными усами и бакенбардами, осмотрел комнату игрока, сторговал ее и объявил, что тотчас отправляется за своими пожитками. Хозяйка была очень рада такому постояльцу, потому что он нисколько не торговался и дал ей 25 рублей задатку. Через час к воротам подъехали два ломовых извозчика и под непосредственным надзором господина с черными усами перенесли и расставили в комнате игрока несколько стульев, стол, диван и чрезвычайно огромный шкаф, какие обыкновенно делаются для платья. Господин с черными бакенбардами запер комнату, положил ключ в карман и ушел, сказав, что придет не ранее вечера.

Не прошло получаса, как в комнате, занятой пожитками черного господина, послышался болезненный стон. Не доверяя своим ушам, я подошел к самой двери: стон повторился гораздо явственнее. Кухмистерша с испуганным лицом подбежала ко мне и начала нашептывать слова какой-то немецкой молитвы, дико и робко поглядывая на дверь таинственной комнаты. Но когда стон еще раз повторился, она вскрикнула и всю тяжесть тела рухнула на меня. Я не знал, что делать. К счастью, обморок ее не был продолжителен: она вскочила, опрометью бросилась к дверям своей комнаты и через минуту воротилась с ключом, произнося скороговоркою: «Посмотрите, что там такое. Вот ключ – замки во всех дверях одинаковы – он подойдет!» Я отворил дверь, оглядел комнату и, к изумлению, не нашел ничего, что бы могло оправдать странные звуки, которые мы так явственно слышали. Я уже хотел идти вон из комнаты, думая, что принял за действительность мечту, как вдруг в углу, где стоял шкаф, снова послышался стон, но уже гораздо тише, чем прежде. Я опрометью бросился к шкафу и остановился в раздумье: он был заперт. Стон повторился. Дрожь пробежала по моему телу. Ключ, которым я отпер дверь комнаты, был у меня в руке. Я засунул бородку его в отверстие замка и всею силою дернул к себе: дверь с шумом отворилась...

Заглянувши во внутренность шкафа, я увидел картину, которая меня ужаснула и поразила: держась за одну из вешалок, которые были укреплены в верхней половине

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасова  
шкафа, передо мной стояла женщина, которую я тотчас узнал, хотя рассудок мой долго не хотел верить глазам моим. Лицо ее было бледно, губы сухи и сини, глаза закрыты, она более походила на труп, чем на живое существо, и только легкое колыхание груди да невнятные стоны, по временам вылетающие из полужакрытых уст ее, доказывали в ней присутствие жизни. С сильно бьющимся сердцем прикоснулся я к ней и осторожно перенес ее на диван и начал расстегивать ее платье, призывая на помощь хозяйку.

– Ах, боже мой, – воскликнула хозяйка в ужасе. – Женщина... Мертвая женщина... Что мы наделали?.. Ну, теперь будет беда... Это всё вы виноваты... Нужно было лезть в комнату к жильцу без его позволения... да еще шкаф разломали... Вместо того чтобы объявить в полицию, вы сами... Как хотите, я тут не виновата. Я хотела, я говорила, что нужно дать знать полиции.

– Помилуйте! – отвечал я. – Когда тут дожидаться полиции, когда от одной минуты промедления зависит, может быть, жизнь человека...

– По крайней мере мы были бы в стороне: пусть бы квартальный как хотел ломал чужие замки, на то он квартальный.

Я успокаивал ее тем, что женщина эта жива и что, следовательно, дело может обойтись и без полиции; таким образом, и задаток, который она получила от господина, который нанял ее квартиру с таким недобрым умыслом, останется у нее. Это несколько утешило кухмистершу.

– Ну, хорошо, – сказала она, уходя в свою комнату, – делайте что хотите, только я ни во что не мешаюсь. Мое дело сторона. Сами затеяли – сами и отвечайте!..

Я был очень рад, что она оставила меня наедине с моей находкою. Во время нашей перебранки девушка открыла глаза, и сомнения мои исчезли: я уже не сомневался, что это была она. Я опрыскал лицо ее холодной водою и поднес стакан к ее губам: она с жадностью выпила целый стакан.

– Это ты, Тиша, – сказала она слабым голосом. – Как это случилось, что мы с тобой встретились... Ты меня спас... Я бы умерла в этом шкафе... и теперь я еще очень слаба...

– Не послать ли за доктором? – спросил я.

– Нет, – отвечала она, – я чувствую себя хорошо... Я теперь совсем здорова... только слаба... Лучше вели дать мне чего-нибудь поесть. Я ужасно проголодалась: целый день не ела... и стакан портеру... Я ужасно люблю портер!..

Через час Матильда была совершенно здорова. К концу своего обеда она уже начала шутить. Я увидел, что теперь нечего уже опасаться, и разом предложил ей все вопросы, которые нетерпеливо волновали меня от самой встречи с нею...

– Ты спрашиваешь, куда я вдруг пропала? Удивляешься, как я очутилась в шкафе? Чтобы отвечать тебе, надо сказать всю правду, – сказала она, – ты уже теперь не такой мальчик, как был; тебя не обманешь, да я и обманывать не хочу: ты меня спас от неминуемой смерти. Я это вечно буду помнить... и ни за что не соглашусь тебя обмануть. Я и тогда хотела признаться тебе во всем, да ты всегда так странно говорил о любви, видел в тогдашней нашей «дружбе» что-то священное, неземное, как пишешь в своих стихах; мне жаль было тебя образумить. Теперь ты стал такой умный; верно, не рассердишься, что я тебя тогда обманывала, и не будешь винить меня.

– Говори всё! – сказал я. – Что старое вспоминать!

И Матильда начала свой рассказ.

Глава <VII>

История Матильды

Отец мой – уроженец небольшого немецкого городка – в молодости был отдан в ученье к одному ювелиру. Когда ученье его кончилось, он в продолжение нескольких лет у того же ювелира служил подмастерьем и составил себе своею бережливостью и чрезвычайным прилежанием небольшой капиталец. На эти деньги он завелся разными инструментами, необходимыми в его мастерстве, купил несколько товаров и сделался

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов сам хозяином. Но дела его пошли плохо: работы было мало, так что он один-одинехонек едва мог ею кормиться. На беду около того времени отец мой влюбился в такую же бедную девушку, как был сам. В один вечер, когда молодые люди нашего городка весело танцевали под открытым небом, а старики курили кнастер и пили пиво, отец мой откровенно объяснил отцу своей любезной, с которою только что перестал танцевать, свои чувства. Старик, бывший уже навеселе, тотчас перешептался с своею дочерью и, подняв над головою кружку пива, тут же поздравил отца моего женихом своей дочери. Вслед за тем поздравления посыпались со всех сторон; все радовались неожиданному событию и заранее предсказывали счастье будущим супругам. Будущий тесть моего отца на свой собственный счет угощал всех собравшихся в тот день на празднике, и веселье было такое, какого уже не было в нашем городке до самого дня моего рождения. Отец мой целый вечер танцевал с своею любезною, которая была украшена цветочным венком и провозглашена царицей праздника. Я очень помню всё это, потому что отец мой всегда с большим удовольствием припоминал этот вечер и очень часто о нем рассказывал. С женитьбой расходы значительно увеличились, а между тем доходы с каждым днем становились менее. Пробившись несколько лет с копейки на копейку, отец мой решился попробовать счастья в России, где, как слышал, очень хорошо жили многие его земляки; он продал небольшое свое имущество и на вырученные деньги переехал в Петербург. Мне было тогда около трех лет. Надежды на большие выгоды, которыми обольщал себя отец мой, сбылись только вполнину: работы прибыло, но зато и расходы увеличились. Только необыкновенная аккуратность моего отца и экономия матери делали нашу жизнь несколько сносною. Когда я стала подрастать, отец мой стал трудиться вдвое против прежнего; мать моя учила меня грамоте и рукоделию. Мне было четырнадцать лет, когда мать моя умерла. Это было самое ужасное время в моей жизни. Я плакала несколько дней, не отирая слез ни на минуту. Отец мой сделался болен и три месяца не мог ни за что приняться.

Наконец всё пришло в прежний порядок. Отец мой по-прежнему с утра до вечера начал работать, согнувшись над своим станком и по временам покрикивая на своего подмастерья, по будним дням и распивать по воскресеньям с своими друзьями, сапожником Хирс и медником Страут, по несколько бутылок пива. Я по-прежнему начала заниматься рукоделием и записывать расход: «За кувшин молока, за три фунта хлеба, за десять огурцов», ну, как обыкновенно пишется расход. Я жила спокойно, но очень скучно. Мне завидно было видеть на других платья богаче и лучше моих, однако ж делать было нечего, я терпела. Единственное развлечение мое составляли прогулки в Летнем саду и по Невскому проспекту, куда ходила я с моим отцом.

Мне минуло шестнадцать лет, когда меня поразило новое несчастье, которое я едва перенесла. Отец мой умер. Я осталась круглою сиротою и решительно не знала, что делать. В первые дни я только плакала; наконец, когда горечь моя утихла, я задумалась о своем положении. Мне нельзя было жить одной, а между тем я не имела никого, кто бы меня любил и к кому бы лежало мое сердце. По необходимости я принуждена была переехать к одной старой немке, содержательнице женского магазина, которую знала потому, что иногда брала у нее работу. Мадам Шриттер была ужасно хитрая женщина и очень хорошо воспользовалась моею простотою (я была тогда очень проста!). Она украла половину моих денег, которые выручила от продажи вещей, оставшихся мне после отца; остальные взяла с меня за квартиру и вдобавок еще через три месяца насчитала на меня такую кучу долгу, что я просто испугалась. Кроме меня у нее в другой половине магазина жило еще несколько девушек, которые целый день сидели у окошек с работой в руках и ничего не делали. Я очень удивлялась, что мадам нисколько на них не сердилась за такую ужасную лень, и сама работала очень прилежно. Иногда, по вечерам, когда я сидела в своей комнате за работой, в других комнатах слышался большой смех, громкий говор, скрипенье сапогов и бряцанье шпор. Мадам Шриттер в таких случаях обыкновенно говорила мне, что к ней пришло несколько добрых знакомых, и звала меня в «залу», приводя в пример прочих девушек, которые без всякой застенчивости просиживали там целые вечера. Несмотря на смертельную скуку, которой я предавалась, сидя одна-одинехонька, какое-то странное чувство, которое я не умею назвать, долго удерживало меня в моей комнате; наконец в один вечер мне сделалось до того скучно, что я решилась во что бы то ни стало победить свою застенчивость и войти в «залу». Я была там только одну минуту и тотчас убежала с сильно бьющимся сердцем и покрасневшими щеками. Я вся дрожала и, кинувшись головою на подушку, горько заплакала: мне сделалось так страшно, что я убежала бы сейчас от Амалии Федоровны как можно дальше. Я была совершенный ребенок. Амалия Федоровна пришла вслед за мною и начала меня уговаривать воротиться в «залу», называя мой поступок ребяческим и обидным для ее гостей. «Полно,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов дурочка, – говорила она, – чего ты боишься; ты всем очень понравилась, а господин, который, когда ты вошла, закричал: „Ах, какая хорошенькая!“ – да еще что-то прибавил по-французски, просто в тебя влюбился. Ты бегаешь от своего счастья: у него три тысячи душ, он может тебя на всю жизнь обеспечить!» Много еще говорила Амалия Федоровна, но я ее не слушала и решительно отказалась идти в залу, после чего она ушла, называя Пеня капризною и советуя образумиться. Через час Амалия Федоровна опять пришла ко мне и опять начала меня упрашивать. «Если тебе стыдно туда прийти, так он, пожалуй, прядет сюда, – говорила она, – обойдись с ним поласковее; говорю тебе не шутя, он может тебя осчастливить! Теперь же – вот досмотри, дал сто рублей тебе на шляпку и обещает завтра принести материи на салоп». – «Не надо мне ничего, – отвечала я, – оставьте меня в покое!» Хозяйка ушла, хлопнув дверью. Я вскочила и бросилась к двери с намерением запереть ее; но – о ужас! – ключа не было в замке: видно, его вынула хозяйка! Дрожь пробежала по моему телу от этой догадки, которая тотчас подтвердилась. Я услышала шаги, которые показались мне незнакомыми: не было сомнения, мужчина шел к моей двери. В отчаянии я схватилась за ручку замка и держалась изо всей силы; но один порыв сильной руки – и предосторожность моя осталась бесполезною. Кто-то так сильно рванул дверь снаружи, что она тотчас отворилась; в то же время мужчина, о котором говорила хозяйка, схватил меня за руку, которую я всё еще держалась за ручку, и вошел в мою комнату. Это был человек высокого роста, лет сорока, с небольшой лысиной, которая тщательно была закрыта волосами с висков и затылка, щегольски завитыми; он был одет чрезвычайно пышно, не без вкуса; в лице его, смуглом и грубом, в приемах, в походке и даже в голосе было что-то неприятное, жеманное, чем он очень много походил на лакея. Особенно он был смешон, когда говорил: каждое слово он произносил нараспев и приправлял сладенькою улыбкою, которая казалась мне отвратительною.

– Честь имею рекомендоваться, – сказал он, коверкая последнее слово весьма неприличным образом и приторно улыбаясь, – отставной корнет Чумбуров, Василий Петрович Чумбуров... впрочем, вы можете называть меня просто Васильем или даже, пожалуй, Васькой: по мнению вашего покорнейшего слуги, из уст прекрасного пола всякое название прекрасно...

Он глупо засмеялся и потрепал меня по плечу. Я отскочила, и он чуть не рухнул на пол со всех ног, на которых постоянно качался, потому что был сильно пьян. Потом он начал ловить меня, стараясь поцеловать; несколько времени я очень ловко увертывалась, наконец он схватил меня за руку и уже готов был исполнить свое намерение. Помню, голова моя горела огнем, и сердце шибко стучало, я вся дрожала при одной мысли, что пропахнувшие вином губы этого уroda могут коснуться моих, на которых еще не было чужого поцелуя. Но когда это готово было исполниться, я вдруг почувствовала необыкновенную силу и как будто выросла, глаза мои загорелись гневом, рука сама собою размахнулась, и я дала громкую, полновесную пощечину моему обожателю... Потом я опять стала тою же робкою, слабою девочкою и с ужасом ждала последствий своего поступка.

Это, однако ж, его не остановило. Несколько минут он молчал, потом, смотря прямо мне в глаза и покачиваясь, сказал: «Вот что-с!», потом подошел к столу и задул свечу. Я вскрикнула от ужаса и бросилась к двери – дверь была заперта.

По счастью, у двери мне попала под руку половая щетка. Я схватила ее, вскочила на стол и сказала твердым голосом: «Вот только подойдите, так вас, ей-богу, и тресну!» Он увидел, что дело плохо; стал на колени и начал плакать. «Я, – говорит, – застрелюсь, зарежусь, брошусь в Неву!» – «Сделайте милость, – отвечала я, хохоча во всё горло, – я не заплачу, хоть удавитесь!» Страх мой прошел, мне вдруг сделалось очень весело, я мучила его с полчаса на коленях и наконец, чтоб отвязаться от него, сказала: «Хорошо, я сжалюсь; не буду бить вас ни рукой, ни щеткой; только приходите послезавтра, а завтра целый день не показывайтесь мне на глаза... Слышите?... Зато послезавтра я вас поцелую!» Он ужасно обрадовался, вскочил и ушел, повторив несколько раз: «Послезавтра!»

«Дождись», – подумала я и легла спать...

На другой день, проснувшись рано, я собрала все свои пожитки и объявила хозяйке, что решительно не хочу оставаться ни минуты в ее квартире. «С богом, моя милая, – сказала Амалия Федоровна, – только заплати прежде деньги, которые ты должна за квартиру». – «Какие деньги? – спросила я с испугом. – Деньги я вам заплатила вперед!..» Амалия Федоровна молча показала мне счет, по которому с меня следовало, по крайней мере, рублей полтора. Я ужаснулась. «Слава богу, –

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
сказала Амалия Федоровна, – ты здесь не одна живешь: все знают, что вот уже три  
месяца я с тебя не получаю ни копейки ни за комнату, ни за стол, ни за кофе. А  
работаешь ты еще не так много, чтобы могла заплатить одними трудами!»

Я увидела себя, подобно многим неопытным девушкам, обманутою и лишенною свободы самым бесчестным образом. К вечеру того же дня пришел господин черной и неприятной наружности, у которого были седые волосы и серая шляпа. Он принес несколько дорогих безделок и, пошептавшись несколько минут с хозяйкою, разложил их передо мною, сказав, что они присланы от Василия Петровича, который с нетерпением ожидает завтрашнего дня. «Скажите ему, что я шутила! – отвечала я. – Если он придет, я завтра приму его так же точно, как приняла вчера!» Седой плут в серой шляпе начал меня уговаривать и ужасно надоел мне своими рассказами о том, как я буду гулять под ручку с Василием Петровичем, одеваться по самой последней моде, жить в великолепных комнатах и кататься в чудесной карете. Я бросила ему в рожу подарки, которые он принес, и заперлась в своей комнате думать и плакать. Прошло две недели, в продолжение которых господин Чумбуров ежедневно бывал у Амалии Федоровны, но никогда не видал меня, потому что я всегда держала свою дверь на замке. Хозяйка неотступно меня уговаривала «не бегать от своего счастья», но, видя, что ни к чему не ведут ее увещания, наконец оставила меня в покое. Чумбуров также перестал ходить в наш магазин, и только седой господин в серой шляпе изредка заходил и шептался по нескольку часов с Амалией Федоровной. Так прошло еще две недели. Думая, что они наконец отступились от своих замыслов, я перестала употреблять предосторожности и сделалась спокойнее. Но это было только хитростию, которую подлая женщина придумала для моей гибели. Однажды за ужином Амалия Федоровна была особенно весела и по случаю какого-то праздника потчевала шампанским своих пансионеров. Я также выпила бокал и тотчас почувствовала влечение ко сну. Едва я успела дотащиться до своей комнаты и раздеться, как тотчас же заснула.

Я проснулась в объятиях ненавистного моего обожателя, и когда догадалась о гнусном умысле, который эти подлые люди придумали для моей гибели, – всё было уже кончено. Василий Петрович утешал меня очень глупыми и курчавыми фразами, которые даже в моем ужасном положении невольно меня сместили. Я отвергла все его предложения и объявила, что он мне ненавистен. Он ушел, оставив на столе бумажник, в котором, как сказывал, заключалось тысяча рублей. Три дня я не прикасалась к нему, на четвертый я вынула деньги, пересчитала и спрятала в ридикюль. На пятый день пришел седой господин в серой шляпе с поклоном от Василья Петровича и принес целый короб разных нарядов. Между тем как я любовалась ими, седой господин беспрестанно кланялся, улыбался, поздравлял меня с каким-то счастьем и высчитывал по пальцам все выгоды, какие я получила от содействия его в этом деле. Я долго не могла понять, к чему клонятся его рассуждения, наконец, когда он сказал, что он бедный человек, обремененный большим семейством, я достала из ридикюля пятьдесят рублей и дала ему. Он принял их с большою благодарностию, поцеловал мою руку и сказал, что готов хлопотать из последних сил, только бы мне угодить.

Я жила на квартире, нанятой для меня седым господином по поручению Чумбурава и убранной очень красиво, около трех месяцев. Чумбуров ездил ко мне почти каждый день. Но, несмотря на внимательность его и беспрестанные угождения, на роскошь, которою он окружал меня, мне было невыносимо скучно. Я ненавидела его от всей души и чувствовала, что ненависть моя к нему с каждым днем возрастает. Кроме неприятной его наружности и низкой души, в чем удостоверил меня поступок, которым он овладел мною, он был ужасный ревнивец, часто приезжал ко мне пьяный и приходил от своих подозрений в такое бешенство, что я не знала, как его усмирить. Как ни велика была любовь моя к нарядам, вкусным обедам и ужинам, однако ж я охотно согласилась бы жить в бедности, только бы не видеть отвратительной рожи моего лысого обожателя. Как-то в припадке отчаяния и сильной скуки я со слезами рассказала это всё седому господину, который жил в одном со мною доме. (Нанимая мне квартиру по поручению Чумбурава, он «прихватил» комнатку и для себя, с особенным ходом. Семейства у него никакого не было; он всё налгал.) Седой господин крепко задумался, посмотрел на меня с видом сострадания и наконец сказал:

– Конечно, я всем обязан Василию Петровичу: он мне, можно сказать, второй отец – даром, что моложе меня летами. По милости его я и сыт, и одет, и обут, иногда даже кой-что имею и лишнее. Однако ж я готов, сударыня, вам служить. Конечно, будем говорить (это его любимое словцо, которое он употреблял очень часто), Василий Петрович хоть бы уж человек немолодой: какое вам с ним веселье!

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Разумеется, как не скучать – ваше дело молодое.

– Я его ненавижу, – сказала я, – и пожертвовала бы бог знает чем, только бы от него отвязаться!

– Зачем? – заметил седой господин. – Василий Петрович сам по себе, а такое же дело, что-нибудь такое, будем говорить, само по себе. Вам скучно? Положитесь на меня, я сейчас найду для вас приличное развлечение. Я всегда наперед знаю, в какой день Василий Петрович будет к вам, в какой – не будет... Понимаете?..

Я очень обрадовалась предложению седого услужника, потому что видела в нем средство досадить ненавистному обожателю. Ни до чего другого мне не было дела. Седой господин, которого звали Григорьем Александровичем, доставил мне знакомство с несколькими молодыми людьми. Каждый вечер, когда было известно, что Чумбуров не будет, я беседовала с каким-нибудь молодым человеком, и время проходило незаметно. В числе моих посетителей был один молодой офицер, которому я очень понравилась и который казался мне очень любезным. Страсть наша скоро возросла до того, что мы не могли прожить дня в разлуке. Между тем частые свидания были невозможны. Чумбуров с каждым днем становился подозрительнее и Почти безвыходно сидел у меня. Однажды, когда его не было, я убежала к моему офицеру и, не думая о последствиях, пробыла у него три дня. Образумившись, я увидела, что сделала очень худо и что возвратиться к прежнему обожателю было уже поздно. Офицер был небогат, однако ж решился жертвовать для меня небольшою частью своего дохода. Он нанял для меня небольшую квартирку со столом и мебелью у одной бедной старушки, которой тайно поручил присматривать за моим поведением. Эта старушка была твоя тетушка. Она сначала обошлась со мной очень важно и так много говорила о скромности и стыдливости, которыми должно отличаться поведение девушки, что я испугалась и готова была на другой же день убежать от нее. Однако ж я скоро увидела, что она проповедовала такие строгие правила единственно из угождения офицеру. Стоило только перевысить несколькими рублями ежемесячную прибавку, которую майор делал ей к квартире за особенные попечения об моей нравственности, и из нее всё можно было сделать. Привыкнув к нарядам и пышностям, которыми окружал меня Чумбуров, я не могла довольствоваться небольшими деньгами, которые давал мне майор, и нечувствительно сделала глазки одному богатому купеческому сынку. Через неделю тетушка твоя уже распивала самый лучший цветочный чай, какого прежде никогда и в глаза не видала, а я шила себе платье из отличной материи, которую сама выбрала. Каждый день у нас пошел пир горюю! Но купчик уехал на ярмонку, и все мы повесили носы, в особенности тетушка и студент: не на что уже было покупать не только французской водки и рому, но даже сивухи! В то время – как нельзя больше кстати – явился ты; мы тотчас перемигнулись с тетушкой и составили план, который нам очень хорошо удался: ты был, душенька, так прост, что даже вспомнить смешно, – всему верил и считал меня, как пишешь в своих стихах, какою-то неземною, чудною девою! (Матильда улыбнулась и потрепала меня по лицу.) Всё пошло как нельзя лучше: у Анны Ивановны опять явилась водка, а с нею и студент, в котором она души не слышала; я опять могла разгуливать по театрам и по кондитерским, кататься на извозчиках, закупать нарядов и лакомств. И вдобавок ко всему у меня был такой свеженький, курчавенький мальчик... чудо! (Матильда приложила руку к губам и поцеловала.) Сказать правду, я никогда не была так счастлива, как в то время. Я тебя очень любила. (Матильда сделала невольное движение ко мне, я к ней: чмоок! чмооок! чмоооок!) Теперь ты стал такой бледный, такой серьезный. Не могу без смеха вспомнить твоей тогдашней квартиры, в которой мы были так счастливы... помнишь?.. (Чмоок! чмооок! чмоооок! Я спрятал лицо на груди Матильды.) Когда я увидела твою квартиру, я поняла, что ты беден, и мне стало совестно, что я тебя разоряла. Помнишь, я стала гораздо умереннее в своих прихотях и непременно требовала, чтоб ты поменьше покупал тетушке водки и перестал водить ее в театр с долгоносым студентом. Я также стала удерживать и ее от беспрестанных обращений к твоему кошельку. Это нас поссорило. Тетушке вздумалось, что я поступаю так из жадности; выпивши несколько рюмок водки, она мне без церемонии высказала свое подозрение, грозила рассказать мои шалости майору – и мало ли что?.. Дело кончилось ссорой, которую ты застал в самом разгаре. Я ушла в свою комнату, очень скоро оделась и побежала к тебе, решившись дожидаться: мне так хотелось обнять тебя, поцеловать, поиграть твоими кудрями (Матильда исполняла всё, что говорила). Мне даже хотелось кой в чем признаться тебе. Но вдруг пришло в голову, что старушка со злости наговорит тебе на меня всякого вздору, что ты придешь домой очень сердит и что лучше поговорить с тобой в другой раз; я воротилась...

– Напрасно, – сказал я, – тетушка, точно, наговорила мне на тебя много правды и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не краснел от неправды, но я ничему не поверил. Тебе нечего было бояться!

– Какой же ты был душка!

Чмоок! Чмооок! Чмоооок! Чмоооок! Здесь бы следовало поставить несколько строк точек, потому что разговор прекратился по крайней мере на четверть часа...

– Поссорившись с Анной Ивановной, – продолжала Матильда, подкрепив свои силы стаканом портера и затянувшись из трубки, которую я курил, – я уже не могла больше надеяться и на майора: он, думала я, верно, уж знает мои проказы. На тебя я не могла надеяться, потому что видела твою бедность. Что же мне было делать? Я шла в раздумье, не зная, на что решиться, вдруг навстречу мне попален старинный приятель мой – плут в серой шляпе. Он пес под шинелью белую собачонку и шел очень скоро. Я насилу могла остановить его. Я откровенно объяснила ему свое положение и обещала ничего не жалеть, если он меня выручит из беды. Он великодушно предложил мне пристанище в своей квартире и сказал, что ничего не потребует от меня до той поры, покуда я опять не буду «счастлива», о чем он всячески похлопочет.

На другой день я переехала к нему и нарочно дала Анне Ивановне фальшивый адрес, чтоб меня нельзя было найти. У седого плута было очень много знакомых молодых богатых людей, которым он оказывал за деньги всякие услуги. Он тотчас представил меня одному из таких приятелей, которому я очень понравилась. Он тотчас сделал мне предложение, которое совершенно могло обеспечить, мою жизнь. Но прошло две недели – и мне опять стало скучно! Верность к человеку, которого любишь за стой, квартиру и наряды, – самая мучительная верность! Она не могла быть продолжительна. Тайно от моего главного друга, который был ревнив до бешенства, Григорий Александрович начал рекомендовать мне еще некоторых своих друзей. Он был очень жаден к деньгам и находил в том большую выгоду. Что касается до меня, то я решительно довольствовалась тем, что проводила время весело, предоставляя седому плуту все выгоды. Так мы жили с полгода. Седой господин набивал карманы деньгами; я была весела и счастлива; обожатель мой разорялся на меня, ничего не подозревая и надеясь на Григорья Александровича, которому давал за присмотр особенную плату. Никто не ожидал такого ужасного конца. Однажды – именно вчера вечером – Григорий Александрович, уведомленный, что обожателя моего в этот вечер не будет, привез ко мне одного из своих «приятелей», очень милого молодого человека, с которым я всегда проводила время с особенным удовольствием. Мы шутили, пили шампанское, смеялись и не замечали, как летело время. Было уже 12 часов ночи, и я хотела ложиться спать, – вдруг у подъезда послышался шум; седой плут вбежал к вам с испуганным лицом и не успел выговорить трех слов, как в комнату вошел мой записной обожатель.

Мы все оцепенели. Чумбуров был сильно пьян. Казалось, он всё понял в минуту и так страшно посмотрел кругом, что я задрожала. Это был человек буйный и чрезвычайно горячий, ревность его была ужасна; я поняла, что нечего ожидать хорошего. Вдобавок ко всему он был пьян.

Из уст его излетел град самых страшных ругательств. Прежде всего он бросился на седого плута, одним ударом кулака сбил с ног и начал топтать ногами. Он отступился не прежде, как Григорий Александрович перестал дышать, и мы подумали, что он умер. Но тем временем, как он управлялся с стариком, молодой человек вышиб раму и выскочил на улицу. Это еще более усилило его гнев, который весь должен был излиться на меня: он кинулся на меня как зверь и дал мне несколько пощечин; потом он начал таскать меня по комнате. Я упала без чувств на пол и с той минуты ничего не помню...

Я рассказал Матильде, каким образом попал к нам шкаф, в котором находилась она, и прочая мебель, и описал подробно человека, который нанял эту квартиру. Матильда тотчас узнала в нем седого господина, которого называла Григорьем Александровичем.

– Вероятно, – сказала она, – он счел меня мертвою и выкинул такую хитрую штуку, чтобы избавиться от неприятностей, какие могли произойти, если б в его квартире нашли мертвое тело! О, я знаю, он ужасно хитер!

Не нужно прибавлять, что догадка Матильды была справедлива. Прошло два дня, а господин, нанявший комнату, не являлся. Очевидно было, что он уже и не явится. Кухмистерша была очень рада такому обороту дела, потому что ей ни за что ни про

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не крас что (как сама говорила) досталось 10 рублей задатку, шесть очень порядочных стульчиков, диван, шкаф и несколько мелкой рухляди. Мы с Матильдой также не упустили случая извлечь пользу из странного приключения, которое так неожиданно свело нас после долгой разлуки.

Матильда дала мне адрес седого господина, и я отправился к нему рано утром. Он жил в заднем фасаде огромного каменного дома, на одной из лучших петербургских улиц; вход в его квартиру был грязен и неопрятен, но самая квартира была довольно обширна. Меня поразила чрезвычайный беспорядок, господствовавший в приемной, в которой я дожидался около часа. Мебели в ней было очень немного, и то весьма посредственной. Зато в ней стояло несколько огромных шкафов с глухими дверьми, на которых стояло около дюжины великолепных столовых часов, обвешанных карманными; один угол был занят огромным трюмо красного дерева, в другом навалена была куча книг одинакового формата и в одинаковой бумажке; среди полу лежало несколько тюков, зашитых в рожи; на стене против письменного стола висели за стеклом, в рамках красного дерева, три документа, которые очень достаточно знакомили с хозяином всякого посетителя. Один был – грамота, выданная хозяину из В\*\*\* депутатского собрания, в том, что род его действительно значится в дворянской шнуровой книге того собрания и что, следовательно, представитель ее – дворянин; другой, с двумя красными печатями, высчитывал заслуги, оказанные хозяином какому-то Экономическому обществу, которого хозяин был членом, и оканчивался благодарностию и уверением в преданности общества; третий заключал в себе аттестат об отставке, из которого видно было, что хозяин служил двадцать три года, в штрафах и под судом не бывал и в таком-то году по домашним обстоятельствам от службы уволен с производством в следующий – титулярного советника – чин. Словом, тут был весь хозяин налицо, недоставало только для полной его биографии свидетельства о крещении. Но кто же усомнится, что хозяин крещеный?.. Иное дело свидетельство о дворянстве, показание чина, лестный отзыв начальства, – всё это может расположить посетителя к уважению, запугать и в ином случае предостеречь даже от пощечины (с этой целью, как мы впоследствии увидим, и были развешены у предусмотрительного хозяина его аттестаты). Над средним аттестатом висел портрет человека средних лет, с совершенно седой головою, в синем форменном фраке, с пряжкой за двадцать лет в петлице; внизу довольно четкою рукою было подписано: «Иван Осипыч Кирличов», год, месяц, число и фамилия художника с витиеватым росчерком. Хозяин был представлен с важным, несколько улыбающимся лицом и взором, внимательно устремленным на левый рукав фрака, с которого правая рука снимала небольшую соринку. Налюбовавшись портретом, я опустил голову, и глазам моим представился не менее любопытный предмет: письменный стол хозяина. Прежде всего я увидел засаленную расходную книжку в осьмушку, раскрытую на последней странице, и не мог устоять против искушения заглянуть в нее. Я читал:

23-го августа

- Соли... 2 коп.
- Корюшки... 6 к.
- Хлеба 3 ф...13 к.

24

- Селедки... 10 к.
- Хлеба... 12 к.
- Чаю... 14 к.
- Сахару... 20 к.

25

- Квасу...1 к.
- Корюшки... 9 к.
- Луку...2 к.



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов насытив свое любопытство такими вкусными яствами, я готов был перенести зрение на другой предмет, как вдруг посыпались шаги в соседней комнате. Я быстро поднял голову, сообщив своей физиономии глубоко внимательное выражение, и погрузился в чтение аттестатов. Вошел хозяин.

Портрет бессовестно лгал. Иван Осипыч совсем не имел той важной осанки, того значительного лица и той замечательной улыбки, которыми щеголял портрет. Это был человек с физиономией крысы, обнюхивающей сальные свечи, завернутые в бумагу, которую она готовится прокусить. С первого взгляда я узнал в нем таинственного наемщика комнаты игрока. С первого слова мне показалось даже, что я вижу перед собою именно того самого посетителя сырого Подвала, которому неумышленно я сделал значительный подрыв по части собачьей промышленности.

Мы раскланялись, и я приступил к изложению причины моего посещения. С равнодушием опытного и стародавнего плута выслушал Кирпичов мои предположения касательно участия его в деле, за которым я пришел, и начал выпираться душой и телом, клятвенно уверяя, что решительно не понимает, о чем я говорю, но когда я назвался двоюродным братом Матильды, подробно объяснил ему все обстоятельства и сказал, что Матильда жива, хотя и находится при смерти (это я счел нужным прибавить для большего эффекта), – он побледнел и смешался.

– Я бедный, неимущий человек, обремененный большим семейством, – сказал он со слезами на глазах (да, со слезами!), – не погубите!

Он кланялся и рыдал. Но я был непреклонен; голосом твердым и грозным требовал я у него отчета в поступке его с Матильдой, которую назвал своею двоюродною сестрою.

– Чего же вы хотите? – спросил он, дрожа всем телом.

– Удовлетворения! – отвечал я, сверкая глазами и делая жесты отчаяния. – Теперь она, может быть, уже мертва!

При последних моих словах старого господина забила лихорадка.

– Мертва? – сказал он с ужасом. – Что ж вы намерены делать?

– Мстить убийцам ее! – отвечал я еще сильнее и громче, ободренный первым успехом в трагическом напряжении голоса...

Испуг Кирпичова достиг крайней степени. Если б я пожелал, то он упал бы передо мною на колени и облобызал подошвы ног моих. Но у меня была совсем другая цель.

– Посудите сами, – сказал Кирпичов жалостным голосом, – за что вы меня погубите? Я не виноват ни в чем, совершенно ни в чем. Меня самого чуть не отправил на тот свет бешеный господин Чумбуров. Он и должен отвечать за всё. Если б вы захотели... я уверен, он не пожалел бы ничего, только бы замять это дело. Он очень богат...

Мне только того и хотелось. Я нечувствительно смягчился, и к вечеру Кирпичов был уже у нас с пакетом от Чумбунова, в котором заключалось три тысячи – «на излечение Матильды». Мы очень обрадовались и дали Кирпичову, который не упустил случая напомнить нам, что он бедный, неимущий человек, 25 руб. ассигнациями...

Старые привязанности возобновляются очень скоро. В первый же день свидания мы (как, вероятно, заметил читатель) были уже снова так коротки между собою, как будто разлуки и не существовало. Хотя Матильда утратила уже половину своих прелестей, – щеки ее были уже не так свежи, глаза не так быстры и живы, а в бровях я даже заметил следы того вещества, которым военные люди фабрят усы, – однако ж она всё еще была довольно привлекательна, особенно в сравнении с толстой кухмистершею, на которую мне уж и смотреть не хотелось. Ревнивая кухмистерша не могла не заметить перемены в моем поведении и очень скоро поняла причину моего охлаждения. Начались ссоры, слезы, заклинания, и дело кончилось совершенным разрывом.

Я нанял другую квартиру и жил с Матильдой очень весело. Мы каждый день ходили в театр, ездили на все гулянья, пили портер и опомнились только тогда, когда уже не на что было ни пить, ни кататься, ни ходить в театр. Я опять увидел в перспективе голодную смерть и принялся за уроки. Это новое средство к

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов пропитанию, которое доставил мне кирпичов, было очень тяжело и совсем не по моему характеру, однако ж делать было нечего. Дебюты мои на этом поприще начались с преподавания российской азбуки босоному рыжевату мальчишке лет четырнадцати, который с удивительным искусством, надевши родительскую шубу шерстью вверх, ходил на четвереньках медведем и пел петухом. За обучение этого сорванца, который был сыном хозяина моей квартиры, я получал каждый день стакан кофе, обед, состоявший из вареного картофеля, хлеба и щей, и небольшую комнату, с ходом чрез хозяйскую кухню. Вместе с этим уроком я имел другой. Но здесь я учил не столько из выгоды, – ростовщик был скуп, как жид, и платил за урок по двугривенному, – сколько из другой, более важной причины, проистекавшей прямо из сердца: у ростовщика была дочь Любинька, лет пятнадцати. Бывало, когда я приду к ее папеньке изнуренный и бледный, с отчаянием в душе, с пустотою в желудке, с небольшим узелком под мышкой, она смотрит на меня с таким нежным участием, с такою тихою, глубокою грустью! Старик наденет очки и погрузится всем существом своим в умственную оценку шпели или фрака, жилета или брюк (случалось, что я закладывал даже и брюки!), а между тем глаза мои нечувствительно перескочат с его суровой, бесчувственной физиономии на томное и свежее личико молодой девушки. Мешковатый ситцевый капот серо-желтого цвета портит ее талию, худые неуклюжие башмаки безобразят ее чудную ножку, – образчиком которой выглядывает из чулка маленький пальчик, голый пальчик! – голова ее дурно причесана, волосы сухи, без глянца, около ушей какие-то странные косички, закрученные к бровям, – признак неразвитости вкуса, – на шее тяжелый шерстяной платок, напоминающий горлицу в крыльях вороны... но что нужды?..

Я объявил ростовщику, что согласен брать с него за урок по двугривенному, которым он давно уже меня потчевал, – и не был внакладе. Впрочем, двугривенный ходил тогда значительно больше, чем ныне. От ростовщика попал я к одному инженерному офицеру, занимавшемуся приготовлением юношей в военно-учебные заведения. Офицер был благородный и очень умный человек, который предложил мне у себя за мои труды квартиру, стол и прислугу и, кроме того, небольшую ежемесячную плату, которой мне достаточно было на одежду и небольшие прихоти. Вообще выгоды, которые я приобрел чрез это знакомство, были неисчислимы. Во-первых, я попал в общество порядочных людей, между тем как со времени прибытия в Петербург был только в соприкосновении с людьми низкого класса и даже мошенниками, – отчего нечувствительно привилось ко мне много грубых и неловких привычек, которые я едва мог впоследствии искоренить. Во-вторых, я был, как уже сказал, совершенно обеспечен и даже имел кой-что на так называемые прихоти. В-третьих, к достижению цели моей (поступить в университет), от которой я еще не отказался, здесь я имел все удобства, ибо по необходимости повторял с моими учениками всё, что мне нужно было самому, и, кроме того, вместе с ними учился у офицера математике и физике, и, наконец, в-четвертых, в числе учеников был осьмнадцатилетний долговязый детина, армянского происхождения, черный, как жук, и, как говорится, при-глуповатый. Он очень завидовал способности моей писать стихи и сам сделал несколько очень плохих попыток в поэзии, которые возбудили против него насмешки товарищей. Тогда он пристал ко мне с просьбою научить его сочинять стихи. Как ни забавна была такая просьба, однако ж я по привычке извлекать пользу из глупостей человеческих выслушал ее очень серьезно: я знал, что долговязый профан очень богат. Мы купили «Руководство к пиитике» господина Греча и принялись за уроки, которых положено было четыре в неделю. За каждый я получал 10 рублей; кроме того, в самом начале уроков черный детина влюбился, понадобились стихи без малейшего промедления. Я настроил мою послушную лиру на завывательный лад и произвел стихотворение, за которое получил с долговязого обожателя прекрасного пола такую плату, какой, вероятно, от сотворения мира не получал ни один поэт за лучшее из своих стихотворений. Юноша выдал приобретенное таким образом признание в любви за свое собственное и был обласкан надеждою. Между прочим, он похвастал предмету своей страсти, что имеет счастье быть одним из первоклассных русских поэтов и что его стихотворения можно встретить в любом русском журнале. Бывший тут же офицер путей сообщения, с явным намерением уличить поэта во лжи, объявил, что он с самого выхода из корпуса поставил себе за правило заучивать стихотворный отдел каждого журнала и, однако ж, несмотря на строгое исполнение однажды принятого правила, никогда не встречал стихов господина Курыханова (фамилия долговязого юноши). Надобно опровергнуть такую ужасную ложь! Мало того, нужно еще было отплатить дерзкому сопернику... эпиграммой! Любовное объяснение было переписано рукою поэта, – причем он измарал по крайней мере десять листов бумаги, – и отослано к издателю какой-то газеты при письме, в котором издатель именовался путеводною звездой, озаряющею робким молодым дарованиям путь к вниманию публики. Вероятно, потому стихотворение и было напечатано, впрочем с выноскою, в которой журналист-издатель просил у поэта извинения, что дозволил

наний в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некролог себе в его произведении некоторые поправки. Поэт не рассердился, да и не за что было сердиться: поправки ограничивались переменою в двух местах союза «и» на «уж» и заменением прилагательного «огнепалый» каким-то другим в том же роде. Такой легкий способ сочинения стихов очень понравился Курыханову, и деньги его нечувствительно переходили в мой карман. Когда не ставало денег, он дарил мне часы, перстни и даже лучшие вещи из своей одежды, которая, как нарочно, приходилась на меня как раз впору. Мне было совсем не до того, чтоб разбирать, извинителен ли способ «благоприобретения», который так неожиданно и так кстати попался мне под руку: я спешил им пользоваться. Поэтическое увлечение долгового юноши имело, впрочем, трагическую развязку: когда наступил экзамен, он в первый же день стал в совершенный тупик; отец его, уставший высылать ему беспрестанно деньги, от чего не видел ни малейшей пользы, вытребовал его наконец к себе и посадил за прилавок своего магазина...

Время экзамена нечувствительно наступило и для меня. Я выдержал экзамен благополучно и был объявлен студентом. Впрочем, то, к чему я в особенности стремился, опять от меня ускользнуло. Я не был принят на «казенный счет»: не было вакансии.

Итак, источник пищи духовной наконец предо мною раскрыт. Я могу черпать из него сколько угодно, но где же ты, возделенный источник пищи телесной?.. Ужели еще и долго ли суждено мне скитаться в «непочатом, углу дураков», благодаря которым я еще существую? Или опять должен я разбудить в себе те задремавшие силы, которые руководили меня в связи с Кирьянычем и кухмистершей? То ли думал я, когда, вырвавшись из горячих объятий плачущей матери, садился в небольшую тряскую тележку?

В таких мыслях, понутив голову, шел я с торжественного сборища, на котором был объявлен студентом. Вдруг слышу легкий толчок в плечо, оглядываюсь.

– Иван Софронович!

– Тихон Петрович!

Мы обнялись и поцеловались.

– Сколько лет, сколько зим не видались? Я уж думал, что вы совсем запропали. Клянусь честью благородного офицера! Всё ли подобру-поздорову? Как вас господь милует?

– Ничего. Слава богу. А вы как? Здоровы ли?

– Погода хороша, так и я хорош. Только вот кашель одолевает: так слова и захватывает!

Старичок закашлялся и уткнул губы в носовой платок, покрытый табачными пятнами. Мы продолжали идти.

– Ну что? Нашли вы своего сына? – спросил я, вспомнив, как сильно занимала старичка мысль о сыне.

– Не застал в живых, только семь лет не застал, – отвечал старик со слезами. – Умер, трех лет от роду умер. Вот и выписка из книги, которую мне дали в Воспитательном доме.

Старик расстегнул свой темно-зеленый, сильно вытертый вицмундир и достал из бокового кармана небольшую бумажку.

– А уж, говорят, и ходить начинал, – продолжал он, подавая мне выписку, – такой карапузик был! Право, клянусь честью благородного офицера... Я долго со зрителем разговаривал... такой ласковый человек, должно быть из благородных. Умел уж и говорить; всё кричал: «Папа, папа, где папа?..» – кх, кх, кх... право, как будто кто научил его... Ну да уж как хотите – врожденное: молод, молод, а человек... Дурак! Вишь, глазищи-то вылупил, не видишь, что благородный человек идет, офицер!

Последние слова сказаны были с гневом и относились к рыжему парию в овчинном полушубке, который мимоходом чуть не сбил с ног старика.

– Ну уж только народец здесь! – воскликнул он после долгого кашля, от которого лицо его уподобилось красному канту воротника. – Никакого уважения к старшим. Точно равный мне! Будто какой-нибудь генерал!.. Видно, не пробовал коку с соком... кх, кх, кх... Кабы прежние годы – в роту бы его ко мне!

Старик опять закашлялся и, прокашлявшись, спросил:

– Куда вы идете?

– Домой.

– Зайдемте ко мне. Я так обрадовался вам, точно родному, клянусь честью благородного офицера! Никого знакомых; скука такая, хоть беги из города! Уж хотел ехать домой: думаю, хоть косточки положу подле отца... Да, говорят, через месяц маневры, остался, не вытерпел! Только и отвожу душу – что парад да маневры да смотр какой: здесь часто. Ну, так идете?

– С удовольствием. А где вы живете?

– На Козьем болоте.

Конец первой части

## Часть II

### Похождения русского Жилблаза

#### Глава I

Раскрывая перед читателями внешнюю сторону моей жизни, мне хотелось бы раскрыть пред ними и внутреннюю.

Я не принадлежал к числу людей, удовлетворяющихся положительными житейскими целями. Несмотря на горячность, с которою бедность заставляла меня им предаваться, я чувствовал, что стремления к ним недостаточно для наполнения моей жизни и что в достижении их я не обрету того счастья, которого темное чувство постоянно жило в душе моей. Когда голос безотвязной нужды, побуждавшей меня к беспрестанной мелочной деятельности, на минуту смолкал, я чувствовал внутри себя страшную пустоту. В те минуты святого сознания как мелок, как ничтожен казался я в собственных глазах своих! С ужасом спрашивал я самого себя, для чего с таким жаром, с такою неусыпною заботливостию хлопочу о поддержании жизни, когда сам не знаю, для чего ее поддерживаю? И весь я исполнялся грустью о чем-то неведомом, безотчетною, но глубокою и мрачною грустью, страшною тревогою, стремлением к чему-то, чего сам я не знал...

Сердце мое переживало свою эпоху, эпоху романтизма, которая есть у всякого человека. Мне хотелось какой-нибудь цели выше тех, которые обыкновенно поглощали мою деятельность, но какой именно – сам я не знал. То было в моей жизни время безотчетной тревоги, бессознательных порываний, время аскетического кружения в сфере отвлеченных идей, когда я жил жизнью сердца и думал, что одной жизни сердца довольно для человека. Если б я развернул пред вами, как теперь перед собою, несколько бледных и жалких стихотворений, которые я писал тогда, вы очутились бы в мире духов и призраков, скелетов и привидений; в мрачной пустыне, заваленной гробами и трупами, оглашаемой стонами сердца, бог знает чем разорванного, жалобами на утраты, бог знает в чем состоявшие, сожалениями о прошедшем, проклятьями настоящему и мольбами к будущему о счастье, бог знает какого рода, наконец, тут же вы услышали бы всех громче раздающийся голос любви, любви неопределенной и неподвижной, питающейся вздохами и непременно несчастной, любви, отрешающей все другие цели жизни, осуждающей человека на вечное бездействие... Таков характер стихотворений, о которых я говорю. Ни тени жизни, ни малейшего признака действительности, ровно ничего, решительно могущего по крайней мере напомнить, что тот, из чьей груди излетело столько раздирающих душу диссонансов страдания, так же как и все мы, грешные люди, живет на земле, каждый день пьет и ест, заглядывает под шляпки хорошеньких и поигрывает в картишки. Вот романтизм так уж подлинно романтизм!..

Были у меня тогда и другие стремления, более определенные, более действительные, о которых я не могу вспомнить без смеха и грустного чувства. Всеми помыслами души стремился я к литературной славе, к той славе, которая, по тогдашним понятиям моим, заключалась в громких похвалах, расточаемых тому или другому

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов сочинителю в книжных лавках и кондитерских, да в торжественных вызовах, которые мне иногда удавалось подслушивать из театральные райков. Другого рода славы тогда я не знал. С завистью также смотрел я на красивые и удобные квартиры сочинителей, у которых мне случалось бывать. Иметь такую же квартиру, с письменным столом и этажеркой, с красивой библиотекой и полками, на которых бы в небрежном беспорядке разбросаны были раскрытые книги и рукописи, – словом, со всеми кабинетными принадлежностями записного литератора, казалось мне верхом блаженства. Я мечтал, что тогда уже никто не откажет мне в названии литератора, которое чрезвычайно льстило моему семнадцатилетнему самолюбию. И что ж, вожделенному желанию моему суждено было исполниться гораздо скорее, чем я надеялся.

Ровно через три месяца после сцены, описанной в конце первой тетради моих записок, я прохаживался в франтовском утреннем халате и в малиновой ермолке с золотым ободочком по довольно обширной и красиво убранной квартире с неизъяснимо сладостным чувством человека, не привыкшего еще к мысли, что у него за пазухой 25 тысяч. То подходил я к зеркалу и долго, внимательно любовался игрою своей физиономии, которая казалась мне чрезвычайно умною и даже не чуждою привлекательности; закидывал назад курчаво-завитые волосы и погружался при помощи указательного пальца в измерения своего лба; пристально вглядывался в глаза, придавая им попеременно разного рода выражения, – глубокомысленное, беспечное, меланхолически-здумчивое; трепал себя по лицу, приговаривая... – но о том, что я приговаривал, да позволено будет мне умолчать. То садился я за письменный стол, на котором лежало недоконченное стихотворение «Праздник жизни» и в беспорядке разбросано было несколько дружеских записок от сочинителей, с которыми я свел знакомство, брал перо, наморщивал брови и по нескольку минут просиживал в совершенном бездействии физическом и моральном, с видом человека, глубоко размышляющего. Потом с детским любопытством принялся я рассматривать безделки, которыми был уставлен мой письменный стол; заводил часы, рассматривал их внутренность с любопытством человека, отроду не видавшего часов. Девять часов давно уже било; вот уж скоро и <...>

Она скрылась в одной из дверей, ведущих в подвальные квартиры...

– У нас дома, судырь, не совсем благополучно, – сказал мне человек, снимая с меня сапоги, – пропали две серебряные ложки да часы, что были в гостиной...

Но я не обратил никакого внимания на эти слова. Черные глаза молодой девушки и несчастное положение, в котором она находилась, поглощали всё мое внимание...

### Глава III

Само собою разумеется, что одною из первых глупостей, сделанных мною по получении наследства, было издание моих стихотворений. К чести своей, однако ж, скажу, что к этому необдуманному поступку, в котором я доньше не перестаю раскаиваться, подвигло меня не столько собственное самоослепление, которое, впрочем, было довольно сильно (в ту счастливую эпоху моей жизни я почитал себя поэтом), сколько похвалы приятелей, в особенности издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. Дмитрий Петрович был в моих глазах тем же, чем в глазах всех поклонников своего высокого дарования: я считал его одним из умнейших и остроумнейших людей XIX столетия и верил слепо в непогрешительность его суждений. Обедая или завтракая со мною (на мой счет) почти каждый день в лучших ресторациях Петербурга, он постоянно раздувал мое самолюбие похвалами самыми обольстительными... И вот наконец я читаю корректуру моих сочинений. Знаете ли вы, что значит читать корректуру первого своего произведения? Если б меня тогда спросили, что значит быть счастливым, что значит жить вполне, я отвечал бы: читать корректуру своих сочинений!

И вот наконец корректура прочтена, исправлена, подписана (какое блаженство подписывать корректуру!); вот наконец прочитана и подписана «сводка». Завтра великий день в моей жизни: завтра выходят мои стихотворения!

Вышли. Взгляните на груды желтых, синих, розовых, оранжевых, фиолетовых книг, лежащих на полу моего кабинета. Это мои стихотворения! Ступайте осторожнее! Вы можете замарать, примять, разорвать каблуком которую-нибудь из этих прекрасных книг, которые завтра же явятся в книжных лавках, а послезавтра разлетятся по всему Петербургу, побывают и в розовых ручках красавиц, и под мышкой любителя литературы, и в черствых, неловких лапах журнального рецензента...

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Журнальный рецензент. О, как тяжело, как мучительно больно бьется сердце при мысли о журнальных рецензентах! Что-то скажут они?..

– Журналисты наши, – говорит издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, прихлебывая шампанское, которое в день торжественного выхода моих стихотворений лилось рекою, – журналисты наши, – если только их можно назвать журналистами, – не найдут в ваших стихотворениях ничего для своих придирок, кроме опечаток да каких-нибудь двух-трех недосмотров.

Но, несмотря на такие утешительные уверения, я дрожал и смущался при мысли о том, что скажут журналы об моей книге. С трепетом ждал я первого числа. Опасения мои за судьбу моей книги увеличивало еще равнодушие, с каким она была встречена публикою. Несмотря на громкое, устричными буквами напечатанное объявление, в котором книгопродавец, которому поручена была исключительная продажа стихотворений, истощил в похвалах мне всё свое красноречие, ни одного экземпляра моей книги не было продано, а уж прошло две недели. Друзья утешали меня тем, что публика обыкновенно покупает книги по выходе рецензии, но я был неутешен...

И вот наконец наступило первое число. Но, прежде чем я опишу встречу моей книги журналами, скажу несколько слов о состоянии литературы и журналистики русской в торжественную эпоху вступления моего в звание сочинителя...

Журналистика русская представляла странное и горестное зрелище. На первом плане ее фигурировало несколько человек более или менее даровитых или бездарных, которые смертельно враждовали между собою не за мнения, не за вопросы науки и жизни, наконец, даже не за парадоксы, нет! просто за число подписчиков. Подписчики – вот цель, к которой стремились журналисты наперерыв, один перед другим, из-за которой возникало ежедневно несколько чернильных битв, которая заставляла иных делать подлости, других прикидываться честными людьми – и всех вместе обольщать публику в начале каждого года громкими обещаниями, которые постоянно оказывались ложными. Боже мой, каких масок ни надевали они, каких средств ни употребляли, чтобы отбить друг у друга подписчиков! И всё это под видом стремления к пользам «родной» литературы, до которой им не было дела, и всё это во имя науки и истины, которых они были чужды! Каждый – почти каждый – русский журнал той эпохи можно было сравнить с лавочкою толкучего рынка, где развешаны разные приманки и безотходно стоит ловкий парень с широким горлом, зазывающий покупателей, нагло выхваляющий гнилой товар своей лавчонки и осуждающий товар соседа. Приманки были различны, и зазывы производились на разные тоны... Один, высуня язык и надев шутовской колпак, кривлялся пред публикою скоморохом и кричал так: «Сократ, Платон, Вальтер Скотт и все эти люди, которых ученые медведи называют пред вами, почтеннейшая публика, великими, – шарлатаны, такие же невежды, как вы. Вы, почтеннейшая публика, совсем не хуже их, не глупее; вы не читали их, не знаете – и прекрасно! Вам не для чего и знать их. Вы сами, почтеннейшая публика, умнее их во сто, в тысячу, в миллион раз. Вы не знаете грамматики – и прекрасно! Грамматика – вздор, у всякого человека есть своя грамматика. Вам трудна философия – зачем вам учить ее?.. Если б она была дело, вы понимали бы ее, потому что вы обладаете удивительною способностью понимать всё, что умно! Вам говорят, что для образования эстетического вкуса, для приобретения способности понимать людей, которых дикие фанатики называют великими, нужна наука! Вздор! Человек одарен природным вкусом. Хохочите над тем, что смешно, браните то, что вам кажется глупо, – вы совершенно правы, – и вы не ошибетесь. Наука – вздор! Философия – сказка! Сократ – шарлатан!» Другой, положив руку на сердце, с кротким и смиренным видом человека, постившегося пять дней, говорит: «Наши нововводители, либералы развращают поколение молодых людей толками о стремлении к какому-то совершенству, о старании достигать той степени образования, которой достигли наши западные соседи! Помилуйте! Пощадите! Не верьте этим врагам отечества, которые унижают всё русское. Что нам заимствовать у иностранцев? Разве русские в любви к богу, царю и отечеству отстали от других земель, от гниющего и буйством знания омраченного Запада?» И так далее в том же роде. Третий, наконец, ненавидя, по причине столь же гнилой и стоячей природы своей, Запад, беспрестанно движущийся, работающий для будущего, недовольный настоящим, пробует задеть в своих соотечественниках чувствительную струну религиозности и вопит пискливым педантически-напыщенным голосом: «Отечество гибнет! Литература падает! Святые основания истины и религии подкапываются. Представьте, есть люди (недоучившиеся студенты), которые утверждают, что русские до Петра существовали не по-человечески, а как-то иначе, толкующие о какой-то гуманности, не уважающие памяти Ломоносова и державина и утверждающие, что сих колоссов российской литературы ныне читать уже скучно; люди, которые утверждают,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не краснотам что Запад учение нас, – сей гнилой и омраченный буйством знания Запад, – где совершается уже страшное предсказание Иоанна Златоуста: люди будут <...> ибо там уже человеки приемлют названия животных и так далее». Наконец, четвертый не старается даже прикрыть своего шарлатанства какую-нибудь благовидною целию подобно трем предыдущим. Он просто держится сплетнями и потворством вкусу публики. «Почтеннейшая публика! – кричит он. – У нас всё лучшее, мы твои любимцы, мы от тебя, матушка, капиталы нажили! Не читайте того и того – там».

А публика?

Публика смотрела на всё с чувством, с которым смотрели древние римляне на бой гладиаторов. Ей не было дела ни до литературы, ни до жалкой и унижительной маски, в которую одевали ее люди, именовавшие себя ее представителями. Публика понимала литературу как средство убить время, остававшееся от других более приятных забав, каковы, например, балы, маскарады, танцы и карты. Ее забавляли петушинные драки журнальных витязей, и, не входя в разбирательство, кто прав, кто виноват, она отдавала преимущество тому, кто ее больше смешил или кто удачнее умел льстить ее самолюбию.

Было, впрочем, несколько человек, которые горячо и неумолимо воевали против такого странного понятия о литературе, люди, которые прямо и грозно укоряли литературных барышников в дурном направлении, которое давали они вкусу только что формировавшейся русской публики, пытались даже поселить в публике настоящее понятие о значении литературы в жизни народа, свергнуть ложные авторитеты, низложить кумиры, недостойные славы и удивления, которыми пользовались единственно по давности времени, и на развалинах старой промышленной письменности, ложных авторитетов, недостойных кумиров и узеньких взглядов основать здание новой литературы, литературы сознательной и благородной в своих стремлениях; но голос этих людей тогда только еще начинался и был едва слышен, заглушаемый голосом промышленников, в то время державших в своей длани бразды литературного правления... Чтобы перемочь этих крепко утвердившихся в литературе витязей, нужны были труды неусыпные, самоотвержение безграничное и, кроме того, нужны были ум и деньги. Дальнейшее развитие моих записок покажет, успели в своем благородном стремлении.

Разнохарактерность журналов имела, разумеется, влияние на писателей и даже на читателей. Те и другие были разделены на партии. Каждый журнал имел свой приход, то есть людей, которых он хвалил; все остальные были его врагами. Сотрудник одного журнала не мог быть терпимым в другом. Всякий судил, как ему вздумалось, руководствуясь личным вкусом или корыстными расчетами. Можно сказать наверно, что прочесть правду в тогдашнем русском журнале было такою же редкостью, как встретить среди пестрой и обширной фаланги тогдашних сочинителей человека с умом и незапятнанною репутациею...

И вот наконец передо мною журналы, в которых произнесен суд моей книге...

Боже мой! какого дурака, уроды, невежду и негодяя сделал из меня рецензент «желтой обертки»! По всему видно, что ему нужно было шутить, шутить во что бы ни стало, шутить длинно, остроумно и колко. И вот он избрал предметом своей шутки мои бедные стихотворения и написал об них целые десять страниц.

Послушайте! Вот что он пишет. <...>

Читаю один журнал, другой, третий – везде одно и то же – брань, брань и брань!

В одном журнале упрекают меня в незнании грамматики, орфографии и стихотворного ритма; в другом – бранят за употребление старинных, вышедших из употребления слов и оборотов; в третьем, напротив, обвиняют в подражании неистовой французской школе и в удалении от родных образцов – Ломоносова, Державина, Сумарокова, Мерзлякова; в четвертом – доказывают мне, как дважды два, примерами из моих же стихотворений, что я урод, невежда и дурак первой руки.

Я бросал поочередно разбранившие меня журналы под стоя, произнося с чувством оскорбленного достоинства: «Дураки! Я им покажу!»

Но всех более огорчила и оскорбила меня критика журнала, в котором участвовали люди, недовольные настоящим порядком вещей и стремившиеся к идеалу какой-то другой, более истинной и плодотворной литературы. Здесь без шуток, отечески

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовым увещательным топом было высказано, что писать звучные стихи без идеи и содержания не значит еще быть поэтом; что люди с истинным призванием к поэзии смотрят на свой талант как на дело святое и великое, как на достояние всего человечества и не расточают его на воспевание личных своих интересов и страданий, действительность которых к тому же подвержена еще большому сомнению; что содержание поэзии истинного поэта должно обнимать собою все вопросы науки и жизни, какие представляет современность; что прошло то время, когда за песенку или романс к Хлое можно было прослыть великим поэтом; что поэт настоящей эпохи в то же время должен быть человеком глубоко сочувствующим современности; что действительность должна быть почвою его поэзии и так далее. Статья заключалась выпискою одного из моих стихотворений, посредством которой очень удовлетворительно было доказано, что я совсем не за свое дело взялся, и оканчивалась стихами:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  
А сапоги тачать пирожник!

Эта статья меня взбесила сильнее других, потому что в ней было более правды и меньше насмешек.

Я сидел, повесив голову, и думал, какое бы средство избрать, чтоб отомстить журналистам,

Не успел я ничего придумать, как квартира моя наполнилась приятелями, которые являлись один за другим с необычайною быстротою, имея плачевный вид, ясно доказывавший, что всё уже им известно.

Пошли утешения. Каждый сказал что-нибудь в порицание разругавших меня журналистов. Х.Х.Х. рассказал анекдот, ясно доказывавший пристрастность журнальных суждений; водевилист-драматург прочел куплет, в котором были «отделаны» журналисты.

– После бранной рецензии, – сказал долговязый поэт, – лучшее дело выпить водки и засвистать. Я это знаю по опыту: мне уж не в первый раз хлестану быть.

И затем он прочел известный сонет:

Поэт, не дорожи любовью народной,  
Восторженных похвал пройдет минутный шум,  
Услышишь суд глупца...  
и пр.

– Вас в особенности огорчает брань этих недоучившихся выскочек, – говорил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – которые то и дело толкуют о философии: наплюйте на них! Это люди, помешанные на каких-то нелепых философских теориях, европейских взглядах. У них только и на языке Гегель да Шлегель. Примутся критиковать Грибоедова, а заговорят о сотворении мира; поверьте, в их индивидуальностях, единичностях, в их нормальностях и абстрактностях просто ничего больше как бессмыслица, грандиозная (как говорят они) бессмыслица. Можцо ли на их суждения полагаться?

– Совершенная правда! – подхватили приятели. – Это сумасшедшие, которые бог знает что толкуют. Их бы пора на седьмую версту.

Таково было мнение нашего круга о людях, замышлявших переворот в русской литературе. Справедливость требует заметить, что и я разделял это мнение.

– Знаешь ли что, братец? – сказал актер. – Мне пришла чудесная мысль, напиши, братец, водевиль: выведи всех этих философов, отдели их хорошенько. Я возьму в бенефис, для меня рольку. Уж посмотри, как мастерски я скопирую этого Буку!

– Bravo! чудесная мысль!

– А скоро ли твой бенефис? – спросил я.

– Недель через пять.

Мы ударили по рукам. Мысль о мщении несколько развеселила меня. Мы позавтракали и отправились в кондитерскую, которая была сборным местом нашей партии...



Бильярдная, куда мы обыкновенно сходились, была уже полна. Тут был и тот молодой рябоватый человек, который с удивительным искусством умел передразнивать русских актеров от первого до последнего; был в Париже и с энтузиастическим жаром рассказывал об удивительном впечатлении парижской итальянской оперы; тут был и тот невысокий, кругленький человек в коричневом пальто, который беспрестанно напевал арии, то тихо, то во весь довольно обширный и резкий голос, смотря по количеству стаканов, выпитых в тот день; тут был и задушевный друг его, поручик Хныков, переходивший в продолжение дня из кондитерской в кондитерскую, жаловавшийся на кровохаркание и выпивавший после каждой партии рюмку «швейцарского абсента»; тут были и те два юноши, в полном цвете сил и здоровья, с длинными, красиво завитыми кудрями, – юноши, которые хвастались удивительною способностью пить и не напиваться, довольно хорошо играли на бильярде и иногда к концу вечера заводили жаркий спор с поручиком о том, кто больше выпил «абсенту»; справедливость требует заметить, что победа очень часто оставалась на их стороне; тут был высокий, стройный актер, не любивший шуток и сопровождавший каждый неудачный удар трагической гримасою, от которой многим из посетителей делалось страшно; тут был франт чрезвычайно красивой наружности, любивший иногда между делом перекинуть словца два-три о литературе и похвастать дружбою с Булгариным; наконец, тут были несколько сухих, подозрительных лиц, которые к каждому новичку подходили с предложением: «Не угодно ли... так, для препровождения времени... по маленькой... не больше как по полтинничку... партийку?», держали пари между собою по чрезвычайно огромному кушу и по временам перешептывались; в числе их был высокий, несколько прихрамывавший на одну ногу господин в синем сюртуке и белом жилете, которого маркер называл полковником. Когда я вошел, играли двое, принадлежавшие к шайке подозрительных. Один был высокий, плотный мужчина лет тридцати пяти в черном фраке, другой – старичок среднего роста с ленточкой в петличке. Высокий три партии кряду оставался победителем.

Вошел небольшой старичок в черном довольно длинном сюртуке, держа в одной руке начатую бутылку шампанского, а в другой – старую, измятую шляпу. Подошед к бильярду очень нетвердым шагом, он поставил свою шляпу на сукно и начал пить из бутылки.

– Полноте, полковник! – сказал высокий господин в черном фраке, принимая шляпу с бильярда и подавая ее новопришедшему...

Господин, которого называли полковником, надел шляпу на голову и сказал голосом пьяного:

– Пойдите! Я хочу держать пари!

Он бросил на бильярд пучок ассигнаций.

– За кого вам угодно? – спросил один из присутствующих.

– За кого хотите! Мне всё равно!

– А сколько вы держите?

Старичок взял свои деньги, помял их в руке и опять бросил на бильярд, сказав:

– Двести, триста, четыреста рублей. У меня еще есть, если мало...

Он бросил на бильярд еще пучок ассигнаций, потянул из бутылки и затянул на голос «Чем тебя я огорчила»;

В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик...

– Держите за меня! – шепнул мне господин в черном фраке. – Я с вами в третьей доле...

Я объявил желание держать сто рублей за черного господина, и партия пошла своим чередом. Высокий проиграл; невысокий выиграл...

– Есть! – вскричал пьяненький старичок и спросил: – Хотите еще?

Я оглянулся кругом и увидел на всех лицах какую-то странную, двусмысленную

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не крас улыбку. Франт красивой наружности не выдержал и расхохотался.

– Чего ты смеешься? – спросил я.

– Не держи больше, душа моя...

Я понял, в чем дело, и сам принялся хохотать. Господа, которых наружность теперь только показалась мне подозрительного, взяли за шляпы.

– А что же ваша третья доля? – шепнул я, когда господин черной наружности проходил мимо меня.

– Да разве вы согласились? Ведь вы ничего не сказали!

И он удвоил шаги...

Мы играли и пили; потом стали обедать. В комнате, которую мы заняли, стоял, как говорится, стон от шелканья пробок и беспрестанных острот. Это было в субботу. Когда стало смеркаться, приятели мои стали расходиться к франту чрезвычайной наружности, где еженедельно по субботам были вечера, на которых играли в карты, пили и курили до утра другого дня. Франт звал и меня, но я отказался и ушел домой. Несмотря на хмель, который начал овладевать мною, я чувствовал себя в чрезвычайно дурном расположении духа: мысль о разругавших меня журналах не выходила из моей головы. План водевиля был уже готов.

Я пришел домой, очинил перо и погрузился в глубокое размышление, придумывая журналистам, которые должны были действовать в моем водевиле, фамилии, которые бы напоминали их собственные. С важностью, приличной предмету, я по временам потирал свой лоб и глубокомысленно взглядывал на потолок, степы, окошки моего кабинета и, наконец, на дверь, которая вела в квартиру, смежную с моею, и была наглухо заперта...

Вдруг за этой дверью послышался разговор, сперва тихий и прерывистый, потом громче, громче и громче. Говорят двое: один голос, по-видимому женский, дрожит и отзывается страхом и смущением; другой, мужской, как-то странно расплывается, как будто хочет тоже казаться женским.

Кому бы, кажется, разговаривать? Неугомонный сосед мой, слава богу, на днях съехал... Или уже на место его нашелся другой?

Разговор становится громче; я могу уже явственно расслышать некоторые слова. Мужской голос говорит что-то о брильянтах, карете и счастье; женский – произносит междометия, выражающие отчаяние, гнев, отрицание.

– Ай-ай! что вы делаете! Я подошел к самой двери...

– Вы разорвали мою косынку!

– Я тебе подарю десять, резвушка, шалунья, упрямица...

Звук поцелуя и затем стук, похожий на беготню двух человек, из которых один старается убежать, а другой догнать убегающего...

– Пустите меня! Я закричу!..

Опять беготня, нежный, умоляющий шепот мужского голоса, и вдруг – звук пощечины.

– Ну так ты от меня не уйдешь. Беготня.

– Я закричу!

– Кричи.

Крик ужаса и отчаяния.

Я вспомнил Матильду, вспомнил историю ее невольного падения, и волосы стали дыбом на голове моей.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Крик повторился громче и продолжительнее...

Дверь, у которой я стоял, как все двери, состояла из двух половинок, запиралась нутряным замком и имела, в подкрепление замку, сверху и снизу задвижки, которые, по счастью, находились на наружной стороне двери и именно на той, которая выходила в мой кабинет.

Крик опять повторился...

Медлить было невозможно. Я отодвинул задвижки и так сильно дернул за ручку двери, что едва удержался на ногах.

#### Глава IV

##### История Параша

Вы в довольно обширной комнате, выкрашенной зеленою краскою; она совершенно пуста, как все отдающиеся квартиры; на карнизах ее слоями лежит паутина, от которой идут отростки во все стороны комнаты, пересекая ее длинными нитями, которые попадают на лицо, на руку и на брюки; на потолке нарисован петух, слетающий в виде крылатого гения поэзии на голову рослого парня, держащего в руке самовар, похожий на лиру, и дева, в натуре, держащая венок над головою парня; стены испещрены множеством дыр, доказывавших, что прежний хозяин квартиры был человек расчетливый до того, что вытаскал даже гвозди, которые вколачивал для своих потребностей; наконец, нижний карниз, выкрашенный желтою краскою и обгибавший комнату в виде каймы, был испещрен белыми полосками, доказывавшими, что со стен текла сырость. Я удивился нерадению, совершенно противоречащему той заботливости, с которою петербургские домовладельцы стараются сбыть квартиры, и получил о своем дворнике весьма невыгодное понятие...

Я увидел старика и молодую девушку. При взгляде на старика я не мог не расхохотаться: кроме разных других беспорядков, о которых здесь умалчивается, голова старика была совершенно лысая, что составляло разительный и в высшей степени забавный контраст с франтовским, изысканным нарядом его. Но при взгляде на девушку сердце мое мучительно сжалось...

С радостным криком бросилась она ко мне и доверчиво схватила меня за руку.

– Заступитесь за меня! – сказала она. – Ах; боже мой! Боже мой!

– Не бойся ничего, – отвечал я тоном защитника угнетенной невинности. – Я беру тебя под свою защиту. Тот, – прибавил я, обращаясь к старику, который, отворотившись в противную сторону и несколько нагнувшись, занимался в то время приведением в порядок одного очень важного беспорядка, – тот, кто вздумал бы оскорбить эту девушку, отныне будет иметь дело со мною.

– Стыдно... бы... благородный человек... мешаться не в свои дела... девчонка... дворничиха... – пробормотал «неизвестный» и при последнем слове обернулся лицом ко мне.

Я увидел сухое, желтое лицо старика, щегольски разодетого, – и не мог не расхохотаться. Теперь только заметил я, что он был без парика, который лежал на полу под моими ногами...

Девушка теперь только увидела недостаток парика <i> также расхохоталась.

– Смейся! Смейся, бесенок! – сказал старик язвительно. – Отольются кошке мыши слезки!

Он бросил на нее взгляд, вооруженный той степенью зверства, на какой был способен. Девушка задрожала и робко прижалась ко мне. Я счел нужным прочесть старику моральную сентенцию, приличную настоящему случаю, которая была довольно длинна. Молодые люди всего охотнее читают наставления старикам.

Старик ушел, не дослушав моей сентенции...

– Тебе холодно? – сказал я девушке, заметив, что рука ее дрожит. – Войди в мою комнату, там потеплее.

Девушка ничего не отвечала.

- Отпустите меня домой, – сказала она. – Я буду за вас молиться.
- Хорошо. Но как ты пойдешь? Страшный холод. Тебе надобно обогреться.
- Я живу недалеко. Здесь в доме.
- Как здесь?
- Да. Там. Внизу. Мой батюшка – дворник.
- Как же я тебя не видал никогда прежде?
- Днем меня не бывает дома. Я хожу торговать.
- Войди же ко мне. Мне хочется узнать, как ты попала сюда.

Она колебалась и молчала.

- Вы мне ничего не сделаете? – спросила она робко.
- Ничего, душенька.
- Хорошо, – сказала она. – Я вам верю.. О, вы меня не обманете, я вам верю, потому что вы похожи на того доброго барина, за которого я всё молюсь.
- Кто этот барин?
- Не знаю. Я видела его один только раз и с тех пор не забывала ни на минуту. Он такой добрый. Раз – это было давно, очень давно! года два! – я бежала с вином для батюшки, запнулась за столбик, поскользнулась, упала и разбила полуштоф.. Он мне дал денег...

Я всмотрелся пристально в черты девушки и узнал ту самую девушку, которой помог в день переезда из дома господина Ерофеева в угол сырого подвала. Два года времени и значительная перемена, происшедшая в моем положении, помешали ей узнать меня, и я не считал нужным до времени открываться ей.. Я ввел Парашу в свой кабинет, посадил ее в вольтеровские кресла, укутал, и мы продолжали разговор.

- Ах, какие у вас хорошенькие картинки! – сказала она, увидав на столе две картинки дамских мод из полученных мною поутру журналов.
- А ты любишь картинки? – спросил я.
- Очень люблю. Я их каждый день продаю, и мне так жалко, так жалко с ними расставаться.
- Где же ты берешь их?
- Братец дает. Он сам рисует. Батюшка его отдал к мастеру, вот уж другой год он учится. По воскресеньям он ходит ко мне и приносит картинок на целую неделю; мы всё плачем с ним, долго плачем. Поутру встаем чуть свет, опять плачем, братец идет к мастеру, а я на проспект.
- Где же ты стоишь со своими картинками?
- Где? Разумеется, у подъездов, где побольше ходит господ, у магазинов, у кондитерских.
- Разве у вас нет другого средства к пропитанию?
- Как не быть. Батюшке месячина идет.. и деньги выдают на одежду.. жильцы на водку дают..
- Так что же? Не стает?

– Не стает! – сказала девушка с глубоким вздохом. – Не стает! Когда была жива матушка, ставало, да еще и оставалось! Мы жили как дай господи всякому: у меня

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов было опрятное и всегда чистое... чистое платье. Поутру я умывалась и бежала в церковь – молиться за матушку и за тятеньку... и за нашу добрую госпожу... мне было так весело; потом я приходила домой, надевала передник и помогала матушке стирать белье; батюшка считал на счетах и писал расходную книгу. После обеда он отдыхал, а мы с матушкой ходили гулять или в гости. Вечером батюшка учил меня грамоте.

– Ты знаешь грамоте? – спросил я.

– Знала, – отвечала она, – немножко, да теперь, я думаю, уж забыла. Батюшка с тех пор перестал учить меня, как матушка умерла...

– Что ж сделалось, как матушка умерла?

– Батюшка стал ужасно скучать; ходил как больной, не ел; только плакал. Я купила ему вина; он выпил – и стал повеселее. Я так обрадовалась, что побежала молиться ко Владимирской. Службы тогда не было... Я стала на коленях у часовенки, что у церкви; народ ходил мимо меня, дрожки и кареты стучали, извозчики смеялись, но я ничего не замечала и не слыхала: так я молилась и всё плакала, плакала. Благодарила бога, что батюшка стал веселее. Прихожу домой, а он опять плачет, – еще скучнее, чем был. У меня так душа и обмерла: рвет на себе волосы, кричит и плачет. Я опять купила ему вина – он выпил и опять стал веселее. С тех пор я всякий раз покупала ему вино, как только он начинал плакать. Так всё и шло, куда были у меня деньги; деньги все вышли, батюшка скучает и уж сам просит вина. Я продала платок и купила полштофа. Дошло до того, что я всё продала... нет вина и купить не на что, а батюшка просит. Я говорю: «Нет»; батюшка схватил нож и говорит: «Ой! тошно, зарежусь!» Я стала на колени и начала со слезами просить его усмириться. Но он час от часу становился неугомоннее. Ему не верилось, что у меня нет денег, и он то просил меня, то ругал; наконец он схватил ключи и начал меня бить по голове и лицу, крича во все горло: «Давай вина, проклятая девчонка, давай вина!» Я вырвалась и выбежала на улицу. Постояла, поплакала и задрожала всем телом, когда подумала, какой грех сделала. Надобно воротиться... да как? Батюшка опять примется колотить. Я побежала в кабак, купила «косушку» на последние тридцать копеек, которые берегла на завтра на хлеб, и принесла батюшке. С тех пор, как только не было вина и денег, батюшка тотчас начинал бить меня... Я побледнела, высохла и начала кашлять. Братец заметил, что я чахну, и я во всем ему призналась. Мы долго с ним плакали; у него также ничего не было, как и у меня, кроме картинок, которые он рисовал в праздники и очень любил показывать мне.

– И ты стала продавать картинки? – спросил я.

– Да. Я стала на Невском проспекте в дверях кондитерской, куда беспрестанно ходили господа, с картинкой, которую подарил мне братец в мои именины и которую я очень любила... – Девушка, такая хорошенькая, глядит на цветы и смеется! – Прошел какой-то молодой господин, пристально посмотрел на меня и дал мне двугривенный. Он не взял картинки, но я догнала его и отдала, хоть мне очень жаль было расстаться с ней... Я не нищая! С того дня я каждый день с утра до вечера проводила на Невском проспекте и всегда приходила с выручкой. Батюшка пил и обходился со мной очень ласково. Только раз, помню, один раз я пришла домой без копейки. В тот день я собрала больше рубля; иду домой и рассчитываю, сколько останется денег, если купить полштофа. Вдруг попадается мне Надежда...

– Кто эта Надежда? – спросил я.

– Девушка, такая же бедная, как и я... Она шьет мячики и продает их на Чернышевом мосту. Надежда плакала. В тот день ей не удалось продать ни мячика, а у нее дома больная мать без куска хлеба... хозяин гонит с квартиры... холодно! сыро!.. Я поплакала вместе с Надеждой и отдала ей мои деньги...

– Добрая девушка!

– Надежда принялась целовать мои руки... Я убежала от нее и бежала до самого дома. Вхожу домой, вижу: батюшка уж крепко пьян; только вошла, он тотчас спросил про вино.

– Вина нет, нет! – сказала я. – Сегодня у меня ничего не купили...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Батюшка прибил меня так, что я три дня хворала...

– И ты всё терпишь? Бедная девушка!

– Терплю и молюсь богу, – отвечала она. – Молюсь, чтобы образумил батюшку!..

– Он всегда пьян? – спросил я.

– Всегда. Раз только, недель пять назад, он не был пьян целый день и потом другой день до самого вечера. Я была тогда очень больна. Целую ночь не спала; мне было очень холодно; я вся дрожала; братец ушел домой в одной курточке и оставил мне свою свитку: я едва могла под нею согреться. К утру я заснула. Просыпаюсь, гляжу – батюшка стоит на коленях у моей постели и целует мои руки.

Я соскочила, заплакала и начала его обнимать... Он зарыдал так громко, так громко, как в тот день, как умерла матушка.

– Не плачь, батюшка, – сказала я. – У меня есть еще немного денег; я побегу, принесу вина!

– Вина? – закричал батюшка со страхом, как будто чего испугался. – Не говори мне про вино... Вино погубило мою головушку! Не хочу вина! Полно! Довольно ты от меня потерпела...

Батюшка упал мне в ноги...

– Ты сердисься, Параша?

– Нет, батюшка, полно, за что сердиться! Я не сержусь. Встань, батюшка.

Я подняла его и посадила.

– Ты сама виновата, Параша, – говорил он, – зачем ты даешь мне драться? Зачем ты сама не бьешь меня?.. Ты бы побежала к приказчику, к барину, к жильцам... упросила бы, чтобы меня связали, заперли, привязали на цепь. Я шальной, ведь я шальной... Вот уж, чай, скоро три года, как я рехнулся ума... Где тебе с шальным жить, этакой голубке...

Батюшка опять зарыдал и начал пролить меня, чтоб я не сердилась. Целый день он ухаживал за мною: не брал вина в рот и говорил, что никогда не будет пить. На другой день тоже. Я встала через силу с постели и уговорила его пойти со мною за обедню: помолиться богу, чтоб он наставил его на разум.

– Молись за меня! – сказал батюшка в церкви. – А мне, видно, уж не молиться. Иконы как будто от меня отворачиваются!

Мы пришли домой. Я надела новое платье, которое прежде прятала от батюшки, башмаки, косынку. У меня был точно праздник: мне было так весело и все казалось таким радостным! Я поминутно целовала батюшку, он пристально глядел на меня и говорил:

– Ах, какая же ты красоточка!

Ударили к вечерне. Я пошла в церковь. Батюшка пошел показывать квартиру какому-то барину...

Прихожу домой. Батюшки нет. Мне было очень холодно. Я закуталась в братнину свитку и заснула. Слышу шум. Вскочила и вырубилась огнем. Вижу, батюшка идет и шатается из стороны в сторону... Опять пьян! Новый жилец дал ему на водку, и он напился! Батюшка просит вина. Я закуталась в свитку, легла и молчу...

Батюшка стал страшно ругаться, бить посуду, стучать кулаками по столу и ломать скамейки. Я всё молчу, дрожь так меня и берет. Авось, думаю, угомонится. Не тут-то было!

Батюшка стащил с меня братнину свитку и ушел в кабак.

С тех пор не проходило дня, чтоб он не был пьян. Я пробовала уговаривать его,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов молилась богу, давала ему в вине какие-то травы – ничто не помогло! Видно, так богу угодно!

Параша набожно перекрестилась. Принесли чай...

– Чай! – сказала она. – Как давно я не пила чая! С тех пор как умерла матушка, у нас ничего не бывает, кроме гадкого вина!

– А ты пила вино? – спросил я.

– Батюшка иногда насильно заставлял меня пить; если я не хотела, он бил меня и грозился зарезать.

– Какой страшный негодяй! – сказал я невольно.

– Не браните батюшку! – возразила Параша. – Не его вина; он был добрый, когда не пил вина. За него надобно молиться!

– Как же ты попала сюда с этим старым господином? – спросил я.

Параша задрожала и вся вспыхнула при мысли об ужасной сцене, которую я ей напомнил. Успокоившись, она отвечала:

– А вот как. Однажды, когда я стояла на проспекте и плакала, – наступал уж вечер, а у меня еще не было ни копейки, – ко мне подошел барин, – этот самый старик, – спросил, о чем я плачу, и дал мне целковый. Я было не брала, да он показался мне таким добрым... подумала и взяла. На другой день он опять прошел мимо меня, опять дал мне денег, потрепал по щеке и хотел поцеловать, я вся вспыхнула и убежала; почти каждый день он проходил мимо меня, разговаривал, расспрашивал; я так привыкла к нему, что рассказала ему всё; он притворился таким жалостливым и звал меня к себе; я не пошла; на другой день опять звал; я опять не пошла. Он спросил, где я живу. Я не сказала. Он рассердился и целых три дня не говорил со мною ни слова. Раз иду домой; оглядываюсь – он идет за мной. Мне стало так страшно! Я пустилась бежать. Слышу, дрожки едут за мной, оглядываюсь – он! Я в ворота – и он в ворота; вошел за мной следом в подвал и спрашивает тятеньку, какие отдаются квартиры. Тятенька показал ему все, какие были; старичок дал ему на водку полтинник и ушел. На другой день он опять пришел смотреть квартиры – и опять дал на водку тятеньке; до сегодняшнего дня он заходил, я думаю, раз пять – всё толковал про квартиры и давал каждый раз тятеньке на водку. Тятенька за то хвалил его на чем свет стоит и сердился на меня, зачем я неласкова к доброму старику. Сегодня я пришла домой, как всегда, купила батюшке вина и села шить; вдруг приходит старый барин; разговорился с тятенькой, который был уже очень пьян, послал еще за вином, напоил тятеньку так, что он едва на ногах стоял, и говорит: «Покажи-ка мне еще квартиру, которую я наемни смотрел!» Тятенька и рад бы, да ноги не служат. «Ну так пошли вот ее!» – говорит старый барин.

– Не пойду! Не пойду! – закричала я. – Тятенька, голубчик, сходи сам! Я боюсь. – Я и вправду очень боялась: сама не знаю, отчего мне стало так страшно; лучше, думаю, тятеньку прогневолю, а уж не пойду. Тятенька было и ничего, взял ключи, засветил фонарь и хотел сам идти, да старый господин стал смеяться: какой, говорит, ты отец – дети тебя не слушают; что тебе, старина, себя беспокоить, она помоложе! Тятенька и послушал; напал на меня, ну ругать: лентяйка, мерзавка, соня! Я молчу: думаю, авось сам пойдет; так нет; бросил в меня ключами – так вот и теперь шее больно – и кричит: «Пошла! Не то я тебя научу слушать отца!» И хотел меня бить. Нечего делать! Я взяла фонарь и ключи и пошла с старым господином, отперла квартиру – он вынул ключ и взял с собой; как только мы вошли, запер дверь и загасил фонарь... Не знаю, что бы со мной было, если б вы не пришли: я бы, кажется, умерла!..

– Бедная девушка! – повторил я. – Как ты много страдала. И ты никогда не роптала, не старалась улучшить своей участи?

Параша посмотрела на меня с изумлением. Она не поняла моего вопроса. Страдание обратилось для нее в привычку, в необходимое условие жизни.

– Я прошу у бога одного, – сказала она, – чтобы он образумил батюшку! Тогда я была бы счастлива. Да еще... еще мне хотелось бы увидеть того доброго барина, что

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов помог мне, когда я разбила полуштоф...

– Ты его любишь? – спросил я.

– Как же мне его не любить? – отвечала она. – С тех пор как умерла матушка, я не видала человека, который бы пожалел меня. Только он... да вот теперь вы... Я помню, он даже заплакал, когда я рассказала ему мое житье... Каждый день я думаю об нем и молюсь; иногда я даже вижу его во сне. Раз, с год назад, мне показалось, что я его видела, только уж совсем в другом платье: на нем был вицмундир с светлыми пуговицами, с голубым воротником... Я побежала за ним, хотела остановить, сердце мое так билось... да вдруг подумала: «А если не он?» – и воротилась...

Я взял с Параша слово, что она зайдет ко мне завтра, перед тем как идти «торговать», и мы простились. Я проводил ее до самого входа в дверь подвала, ведущую в комнату дворника, и возвратился в свой кабинет обдумывать водевиль, задуманный поутру...

Но водевиль не шел мне на ум. Я всё думал о Параше и об удивительном терпении этой девушки, с которым она переносила свою участь. Я заснул, и мне приснилась Параша, дрожащая от страха, с заплаканными глазами и лицом, окрашенным кровью, которая текла из свежей, только что прошибленной раны. В двух шагах от Параша стоял пьяный старик с всклокоченными волосами, с сверкающим животного яростью безумным взглядом; он грозил своей жертве огромною связкой ключей...

Этот сон так испугал меня, что я уж не мог заснуть. С нетерпением ждал я утра и минуты, в которую придет Параша. Припоминая ее кроткое и доброе личико, покрытое страшною бледностию, но прекрасное, ее покорную и беспредельную веру в провидение, наконец, самоотвержение, с которым она служила безумному, мучившему ее отцу, – я с каждым часом более и более очаровывался ею.

Такие натуры, такие феномены редки в том классе, к которому принадлежала Параша, редки особенно в русском обществе, где низший класс груб и невежествен до дикости, часто лишен даже человеческого понятия о чести в ее высшем значении, но они есть, и почему же Параше не принадлежать к числу их? Ей, которая среди нищеты и разврата, среди невежества и обратившейся в привычку подлости умела сохранить чувство чести и чистоты, ей, которая с таким самоотвержением, с таким терпением переносит тяжкую свою участь, и не подозревая великости своего подвига?

Источник этой силы, этого чувства чести и чистоты – в душе молодой девушки.

Душа ее высока и прекрасна...

Но боже мой! Ей только шестнадцатый год, она еще только вступила в тот возраст, где люди так мало похожи на то, чем были некогда и чем будут впоследствии; возраст, где детство и юность, как два прекрасных ручейка, мешают свои воды один с другим; тот возраст, где всё заставляет нас мечтать, задумываться – и птица, и цветок, и книга, которую читали, и звезда, которая светит над нами. В эти годы жизнь кажется нам исполненною благодати и милосердия, а впереди столько светлых надежд в мир и бога! Сердце делается невольным источником добра...

Но что будет с ней через три, через пять лет, если она останется окруженная той же страшной и мрачной действительностию, в сферу которой бросил ее неумолимый жребий?

Она погибнет.

Эта мысль привела меня в ужас...

К утру я уже составил план для предупреждения ужасной участи, которую готовила судьба бедной девушке...

Чтобы вселить в ней более смелости, более доверия ко мне, я счел нужным открыть ей, что я именно тот, о ком она вспоминала с такою горячею благодарностию. Для этого я отыскал свой старый, давно заброшенный сюртук, жилет – словом, всё платье, в котором был тогда, – и оделся, как тогда, просто, бедно и опрятно. Я даже при входе Параша сообщил своей физиономии тот робкий, полубоязливый отпечаток, который кладут на человека бедность, неуверенность в себе и



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
несчастья. Волосы мои были причесаны, как тогда.

Эта несколько романическая, но несколько не противоречившая тогдашнему моему характеру выходка произвела действие, какое я ожидал.

Параша взглянула и вскрикнула от удивления и радости. Потом она вся покраснела и потупила глаза, вероятно вспомнив простодушную откровенность, с которой говорила со мной о таинственном своем благодетеле.

## Глава V

### Почтеннейший

Бенефис актера, отличавшегося необыкновенной любезностью, приближался: оставалось только две недели до того великого дня, в который должен был предстать на суд образованной публики первый опыт моего драматического гения. Актер каждый день навещал меня и, кроме того, присылал по несколько записок: «Скоро ля, душенька? Ты меня срежешь, только на тебя и надеюсь!»; «Вот уж только десять дней до бенефиса, а пьеса еще не готова: этак, брат, артисты не делают! Вспомни, ты дал честное слово!»; «Ты говоришь, осталась одна только сцена; присядь, братец, – наваляй, долго ли тебе!»; «Душенька, ради бога! Завтра в цензуру!» – и тому подобное. Хотя я неоднократно хвастал, что «написать водевиль для меня ничего не значит», однако ж я еще вовсе не имел того навыка, при помощи которого опытные драматические писатели творят водевили, комедии и даже патриотические драмы с точно такою же быстротою, как искусные кухарки пекут блины. Потому дело подвигалось вперед очень медленно. Наконец актер вышел из терпения. «Ты дал мне честное слово, – говорил актер с настойчивостью, по обыкновению всех актеров, которые в таких случаях опираются очень твердо на честное слово, – а теперь на попятный двор. Ты поставишь меня в дураки перед публикой; лучше бы сказал прямо, что не хочешь. Я бы знал, что делать! Я объявил, что у меня будут в бенефис „Закулисные журнальные тайны“, и будут! Ты не напишешь – напишет другой. Я сейчас побегу к Межевичу, к Строеву, к Булгарину, расскажу им сюжет – тот сцену, другой сцену, третий – и пьеса в два дни будет готова. Они люди благородные; любят меня не на одних словах!.. Только уж, брат, не пеняй: что они напишут, то и будет; я ничего не вымараю!» Актер ушел, хлопнув дверью. Угроза его меня напугала: люди, к которым он хотел обратиться, действительно были способны исполнить его просьбу, и так как они были мои враги, то и не было никакого сомнения, что одна из жалких и смешных ролей, которые я назначал им, придется на мою долю. Попеняв на себя за то, что имел неосторожность выболтать преждевременно сюжет, придуманный для водевиля, я увидел, что мне более ничего не оставалось делать, как покориться обстоятельствам. Я послал к актеру первую картину, которая уже была готова давно, и уверял его честью, что вторая поспеет на другой день... Актер тотчас же прибежал ко мне и бросился меня целовать; любезность его, которую он вообще отличался, на сей раз не имела границ.

Наконец водевиль был готов, переписан и отдан в цензуру. Я сидел в своем кабинете, размышляя о неведомой еще участи моего первого драматического детища, как вдруг послышался в прихожей короткий разговор и затем тяжелые чьи-то шаги.

Обернувшись, я увидел перед собою одну из тех литературных особ, которые в печатных обращениях друг к другу давно уже усвоили за собою почетное звание любимцев публики и титул почтеннейших. Почтеннейший, который стоял передо мной, был среднего роста, имел красноватую физиономию, вечно гноящиеся серые глаза без ресниц, короткую, несколько согнутую шею и волосы, которые, по остроумному замечанию издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, составляли разительный контраст с его душою: они были белые.

Почтеннейший обругал мою книгу на чем свет стоит, и в водевиле, который я написал актеру, отличавшемуся необыкновенной любезностью, ему была дана самая гнусная роль, основанная на некоторых проделках его, известных всему городу.

Не успел я опомниться от изумления, возбужденного во мне в высшей степени его неожиданным появлением, как он бросился обнимать меня и, несмотря на мою уклончивость, успел напечатлеть на щеках моих несколько поцелуев своими отвислыми и мокрыми, как у легавой собаки, губами...

– Я не в вас, я не в вас, – бормотал он резким, несколько сипловатым баритоном. – Рассердились, вспылили... молодость! молодость!.. Разругали ваши стихотворения... прекрасные стихотворения... украшение литературы... поэзия, чистая поэзия!.. Разве я

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не виноват, разве я?.. Вы знаете, мошенник Хапкевич пишет у меня критику... Хапкевич пишет... у нас с ним условие: я не имею права вымарывать, что он напишет... Впрочем, беда не велика, не велика... можно поправить, сказать: по ошибке... написать другую статейку... Похвалить... публика дура... публика дура!..

Почтеннейший произнес последние слова с выразительным жестом, доказывавшим, что он твердо уверен в том, что говорит, и в то же время выражавшим немую, но красноречивую благодарность...

– Я по нуждаюсь в ваших похвалах! – отвечал я с достоинством.

– Гордость! Гордость! Прекрасное качество, прекрасное... И видно, что поэт... ха! ха! ха!.. Да я-то уж никак не могу вас не похвалить... Хоть сердитесь... талант хвалить должно... должно хвалить... Вы написали водевиль... чудеснейший водевиль... вот посмотрите, как я его похваляю... да чего... уж и похвалил... на днях... завтра же будет статейка... театральные новости и слухи... увидите, с Мольером нас сравнил, ей-богу, с Мольером!

– Да ведь вы не читали моего водевиля?

– Не читал?.. не читал?.. кто вам сказал!.. А хоть бы и не читал... Вы не можете написать ничего дурного, не можете...

– Если похвала, о которой вы говорите, действительно явится в печати, я на другой же день объявлю, что вы не читали водевиля, который хвалите...

– Явится, непременно явится... пишите что хотите... Только... знаете что... говорят, вы там вывели журналистов... хорошее дело, хорошее... злоупотребления обличать должно, первый долг... первый долг добросовестного писателя.

– Я не выводил никого, – отвечал я сухо, – а представил некоторые гнусные проделки людей, осмеливающихся называть себя литераторами...

– И меня тут вывели, и меня? ха! ха! ха!.. признайтесь... я не рассержусь... ей-богу, не рассержусь.

– Я не выводил никого, – повторил я.

– За что тут сердиться?.. Вы не знали меня... не знали моих правил... думали, что я вас разругал... Теперь видите сами... я не виноват... За что же клеветать на невинного... грех, грех и грех, почтеннейший. Можно переменить... сделать еще лучше... я сам помогу... посоветую...

– Я не перемену в моем водевиле ни одного слова, – отвечал я с твердостью, которая возрастала во мне по мере того, как почтеннейший становился смиреннее...

– Не перемените? Не перемените? – возразил почтеннейший с негодованием, которое показалось мне не совсем искренним. – Ну так я вас зарезу!

Я захохотал...

– Смейтесь, смейтесь, почтеннейший, – отвечал почтеннейший с жаром. – Вы еще не знаете меня, не знаете хорошенько... я служил... провел пятнадцать лет на коне... теперь я старик... что мне жизнь?.. Будь что будет!.. Только одно – не один я погибну... не один... жена, дети...

Почтеннейший хотел казаться тронутым и за неявкою слез отирал гной, которым постоянно были наполнены окраины его глаз...

– С чего вы взяли, – спросил я, – что в моем водевиле выведены вы?

– Все говорят, все... Теперь же идут слухи по всему городу... Бенефициант трубит нарочно: ему выгодно – всякий захочет меня посмотреть... У меня много врагов, много... Добросовестные литераторы всегда имеют много врагов... Ему хорошо, билеты все разойдутся... а мне-то каково?.. мне-то...

– Если вы действительно добросовестный литератор, каким себя называете, то вам нечего бояться. В водевиле моем выведен страшный негодяй и бездельник, который

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не красноречиво торгует своими мнениями, обманывает публику, обирает портных и сапожников, пишет за деньги похвалы кондитерам и сигарочным фабрикантам, гонит талант, поощряет бездарность... Неужели это вы?..

– Не я! сохрани бог! сохрани бог!.. Я не злодей... Спросите... На свете нет людей ни оклеветанных, ни ограбленных мною, – жалобно простонал почтеннейший.

– Очень верю, – отвечал я. – Таких злодеев ссылают, секут плетью... а с вами, как мне известно, не случалось еще подобных несчастий... Ну так теперь сами видите, что ваши опасения напрасны... Роль может остаться...

Почтеннейший содрогнулся.

– Конечно... – сказал он тоном ниже, – у меня так много врагов... всё в другом виде... самые лучшие намерения... самые лучшие... слухом земля полнится...

– Я не руководствовался никакими слухами... Ну так, кажется, дело кончено: это не вы, и говорить больше нечего.

Я обернулся к столу и взялся за перо. Почтеннейший молчал; серые глаза его странно светились; он придумывал развязку.

– А если я? – спросил он после долгого молчания. – Если я?

– Вы? Не может быть!

Я улыбнулся, как человек, заметивший, что его хотят обмануть, и опять обернулся к столу.

Почтеннейший молчал и дышал тяжело и неровно, как лошадь, одержимая сапом...

– Извините, – сказал я, вставая и смотря на часы, – теперь уж одиннадцать часов... Мне нужно еще одеться: опоздаю на репетицию.

– Сейчас, – отвечал почтеннейший. – Только одно слово, одно слово...

– Говорите...

– Если б это в самом деле был я – что бы вы стали делать тогда?

– Мне пришлось бы проститься с лучшей ролью моего водевиля, – отвечал я рассеянно. – Но, слава богу, этого не может быть... Это не вы!

– Я! – сказал почтеннейший тихо и нетвердо.

– Не может быть!

Я улыбнулся, как человек, заметивший, что его хотят обмануть, и продолжал чистить зубы.

– Я, право, я! – повторил почтеннейший.

– Не может быть!

Почтеннейший начал клясться женой, детьми и всем, что ему приходило в голову. Несмотря на то что я ожидал подобной развязки и сам ее приготовил, я не мог не расхохотаться.

– Грех, почтеннейший, грех смеяться над сединою! – произнес он жалобным тоном с ужимкою угнетенной невинности, которая невольно увеличивала мою веселость. Нахотавшись досыта, я позвал человека и без церемонии начал одеваться; одевшись, я опять повторил извинения, что время не позволяет мне более пользоваться приятностью его беседы.

– Пойдемте, пойдемте по крайней мере вместе под руку. Чтоб все видели, что мы друзья! – сказал почтеннейший и так крепко ухватился за мою руку, что я уже долго не мог ее освободить. Когда мы проходили Невский проспект от Аничкина моста до того места, где следовало повернуть в театр, он несколько раз

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не останавливался, обнимал меня и покрывал поцелуями.

– Я, право, не понимаю, к чему такая комедия? – заметил я.

– К чему, почтеннейший, к чему? Публика увидит, что мы друзья, и слухи, которые распространяет актер, уничтожатся сами собою. Завтра я тисну статейку об вашем водевиле, залихватскую статейку, – и дело поправлено! Так, что ли, почтеннейший, так? И за что нам ссориться? Вы человек молодой, вам нужно жить в ладу с литераторами, которые пользуются доверием публики... Нашу газету вся знать читает, вся знать... Не то что какого-нибудь Краевского... В каждом номере я вас буду хвалить... на чем свет стоит хвалить... всех приятелей ваших, кого вы только скажете... всех буду хвалить... ей-богу, право! Публика дура! Публика дура! Ну так по рукам, что ли?..

Я уклонялся от решительного ответа, но мнение мое об моем драматическом детище возрастало по мере того, как почтеннейший выражал более боязни увидеть его на сцене. Я возмечтал, что водевиль мой положит блистательный конец усилиям, которые употребляли многие порядочные люди к низложению почтеннейшего. К счастью, недалеко у театра мне попало несколько знакомых, и почтеннейший должен был ретироваться...

Но, уходя, он отвел меня в сторону и шепнул:

– Смотрите же... а если не так... берегитесь... почтеннейший... я приму другие меры... сильные меры приму... вот увидите... со мною бороться тяжело... тяжело...

– Он пойдет жаловаться в полицию! – сказал мне высокий, тощий актер, подслушавший последние слова почтеннейшего.

– А я думал, вызовет меня на дуэль!

Актер захохотал.

## Глава VI

Невыразимое наслаждение доставляют начинающим сочинителям явления, предшествующие вожделенному дню, в который новая пьеса наконец представляется на суд публики. Оно так заманчиво, так много доставляет своего рода мелких выгод и преимуществ, что я знал людей, которые, – не будучи одарены от природы даже тою степенью дарования, которая нужна, чтобы попасть в сочинители Александрийского театра, – заказывали на свое имя пьесы другим, более расчетливым и опытным сочинителям. Представьте себе, что вы пишете пьесу: за вами ухаживает актер; вы каждый день у него обедаете, и, кроме того, он делает вам тысячу других мелких угождений; хвалит вас и вашу пьесу везде, где только явится случай (с этим сопряжена собственная его выгода); пишет к вам чрезвычайно лестные записочки: «приезжай, душенька, обедать», «будь часов в 6 у Леграна, притреснем на бильярде». Наконец пьеса готова или еще не готова, но время в цензуру – вы посылаете по листам вашу пьесу к переписчику, к вам бегают по десяти раз на день с записками; наконец дописан последний лист; через час к вам приносят красиво переписанную тетрадь в четвертку и просят, чтоб вы пересмотрели, не наврал ли переписчик; какое наслаждение исправлять ошибки переписчика в собственном своем безошибочном произведении: это стоит корректуры! Потом вы советуется с актером и друзьями, какую роль кому должно назначить; далее присутствуете на артистическом сборище, которое называется «считовкой»: опять советуется, делаете исправления, исключения, дополнения. Затем начинаются репетиции: целый ряд наслаждений, иногда, правда, возмущаемых своеволием артистов, двусмысленными взглядами и даже нередко явными насмешками, – но все-таки какое наслаждение! Актеры поочередно берут вас под руку, прохаживаются с вами по сцене и с глубокомысленным видом рассуждают с вами о погоде, примешивая, кстати и некстати, остроты из вашей пьесы; актрисы улыбаются вам так нежно, нередко подбегают к вам с вопросами, относящимися, разумеется, к вашей пьесе; режиссер подал знак: репетиция начинается; на лицах являются улыбки, ваши слова, ваши мысли говорят перед вами; вы не можете скрыть улыбки, которая то и дело выскакивает на ваши губы... Вдруг в оркестре хохот. «Верный признак успеха! – замечает один актер, думающий о себе, что он один из умнейших людей в нашем отечестве. – Уж посмотрите, когда музыкантов разобрало, разберет и почтеннейшую!» Пюют ваш куплет – актер фальшивит; режиссер приказывает повторить; вы мысленно воздаете ему благодарность и думаете о впечатлении, которое произведет куплет на публику. Все это не мешает вам, однако ж,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не красноречиво выразительно взгляды в ту сторону, где помещается дама вашего сердца. Наконец репетиция кончилась; бегут в буфет; завтрак и опять толки о вашей пиесе. На другой день то же, на третий то же; наконец на четвертый и последний – то же с маленьким прибавлением: после репетиции актер приглашает всех присутствующих в уборную, где приготовлен завтрак. В день бенефиса каждый актер делает завтрак! Какое наслаждение присутствовать на подобном завтраке! Никакой церемонности! Мужчины и женщины, – женщины в салопах, с головами, повязанными платочком, – едят и пьют вместе где попало, на столе, на стойке, на картонке! Какое наслаждение!..

Словом, если исчислить все выгоды и преимущества, доставляемые драматической деятельностью, то удивительно, как еще у нас так мало драматических сочинителей, особенно при легкости, с которою можно попасть к сочинителю этого рода.

Впрочем, бывают случаи, в которых картина поворачивается наизнанку. В числе драматических сочинителей есть такие, к которым актеры прибегают только тогда, когда им придет, что называется, до зарезу. Таковы в эпоху, которую я описываю, были водевильист-драматург и псевдоним Х.Х.Х. Пиесы их нередко таскались по театральным закоулкам по году и более, и появлению их на сцене всегда предшествовало какое-нибудь горестное событие: болезнь или смерть автора, на которого надеялся бенефициант, нарушение обещания, запрещение. Но и тогда, когда необходимость заставляла прибегать актеров к подобным сочинителям, их не убегало общее презрение, которым покрыты были их имена. Им на каждом шагу показывали, что творения их ставятся на сцену из милости, на репетициях их вовсе не слушали, смеялись им прямо в глаза, беспощадно урезывали их творения и даже не приглашали на завтрак, который обыкновенно дается артистами в день бенефиса.

<...> <обед> не делался честным; потом оба разбогатели и оба сделались подлецами; наконец оба обнищали и оба превратились в честных людей. Мораль та, что богатство делает людей подлыми, а бедность честными. Точно так!

Кстати и некстати было примешано несколько сцен сумасшествия, любви бедного к дочери богатого, тюрьма, военный марш, чувствительный танец, военная музыка, обмороки, восклицания, обнимания, поклоны в ноги (их было до сорока) и несколько громких тирад о силе русской души и русского кулака.

Но увы! Кто бы мог ожидать? Несмотря на все свои достоинства, несмотря даже на то что в предыдущих четырех актах публика нередко изъявляла свое удовольствие громкими продолжительными рукоплесканиями, – драма при конце пятого акта была ошикана. Объяснить столь странный и непредвиденный поступок публики с давнишним и лучшим своим любимцем можно только тем, что она – «публика», которая, как всеми признано, необъяснима...

– Подгуляла, крепко подгуляла! – говорил мне с довольной улыбкой издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, не могший скрыть своей радости при виде падения соперника, которому он постоянно завидовал, таща меня за руку по извилистым и дурно освещенным лестницам и коридорам в уборные, куда я еще очень дурно знал дорогу. – Конечно, каков автор, такова и драма: по Сеньке шапка, но...

Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, остановился, увидев в конце лестницы, по которой мы спускались, довольно массивную фигуру, принадлежавшую автору только что ошиканной драмы, который пробрался было на сцену, чтобы на случай вызова поскорей явиться в авторскую ложу, куда сочинители пускались не иначе как с разрешения режиссера, но, услышав шиканье, возвращался в партер с печальным и поникшим челом.

– Здравствуйте, почтеннейший, любезнейший, дорогой Дмитрий Петрович, – произнес ошиканный господин сладеньким, дрожащим голосом, подавая обе руки издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. – Публика меня совсем срезала; жду, что вы скажете?

Издатель несколько минут глубокомысленно молчал, как человек, знающий цену своим суждениям, и наконец вместо прямого ответа произнес отчаянную остроту:

– Публике ваша шапка пришлась не совсем-то по голове, – сказал он, поправляя очки и грациозно рисуясь перед ошиканным господином, который смотрел на него, по своему обыкновению, нежным, умиленно-внимательным взором...

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Я усмехнулся; ошиканый захохотал, но хохот его походил более на веселое воркованье горлиц, доносящееся из отдаления, чем на обыкновенный человеческий хохот...

– Жанен! Жанен! – сказал он, мотая головой. – Вам всё бы острить! Хорошо, мило, тонко!.. Ну да лучше скажите, что вы думаете о моей пьесе? Мне дорого ваше суждение, только ваше... Вы знаете, милый Дмитрий Иванович (он пожимал его руку), я не записной литератор – пишу не для славы, не для денег, пусть публика как хочет принимает мои произведения, пусть журналисты говорят об них что хотят; пусть ставят меня ниже всего низкого, мне ничего, ей-богу, ничего...

Ошиканый лгал. В дополнение к решительной бездарности, при которой он никогда не достиг бы той известности, которою пользовался, если бы не жалкий упадок, в каком находилась тогда русская драматургия, он обладал гигантским самолюбием и такою же жадностью к деньгам. Журнальные нападки, как камни преткновения к удовлетворению того и другого, были ему крепко не по сердцу: они доводили его до бешенства и отчаяния, заставляли бледнеть и не спать ночей. Он только прикидывался равнодушным...

Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, желая утешить ошиканного и отблагодарить за громкий титул, сказал, что «Бобровая шапка» была бы очень хорошею драмою, если б в ней было «побольше действия и движения»..

– Не то, не то! – отвечал ошиканый своим музыкальным голосом и прибавил, пробуя пальцем бархат на жилете у издателя известной газеты: – Какой миленький, изящный жилетец! с большим вкусом...

– Фельетонная статейка, – отвечал издатель, самодовольно улыбаясь. – Сорок рублей!

– Что же? – спросил я, наклоня разговор к прежнему предмету.

– Нужно выкинуть третье действие, – отвечал ошиканый драматург. – Оно холодит!

– Помилуйте, – возразил я с жаром, – третье действие – лучшее в пьесе...

– А вот увидите: выкину, и пьеса будет совсем другая...

«Точно, другая, – подумал я, – пропадет последний смысл...»

– Сцену сумасшествия, – продолжал драматург, – и танцы перенести в четвертый акт, а всё прочее выкинуть.

– Выкинуть, выкинуть! Такую штуку непременно надобно выкинуть, – подхватил издатель.

Драматург захохотал.

– Вы советуете? – сказал он. – Ну так я решился: ко второму же представлению выкину.

– Третий акт, – дополнил издатель...

Как ни деликатна была острота, подхваченная издателем на лету, однако ж драматург ее заметил и от полноты сердца захохотал.

– Не задерживаю ли я вас? – сказал он, как бы спохватившись. – С вами заговоришься, не заметишь, как время пройдет. Скоро уж, я думаю, начнут водевиль... Прощайте, милый, добрый, обязательный Дмитрий Петрович... До свидания, почтеннейший Тихон Сергеич...

Он поцеловал издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, и потом меня, несмотря на то что я имел счастье видеть его только второй раз.

На прощанье с ошиканым драматургом, с которым мы уя?е едва ли встретимся, я должен сказать, что он действительно выкинул из своей драмы третий акт, чем совершенно достиг цели; шум во второе представление был неистовый, и занавес опустился при громких единодушных криках: «Автора! Автора!», возобновлявшихся

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов четыре раза...

Мы пришли в уборную...

– Упала? Упала? – воскликнули в один голос обступившие нас актеры.

– Я того и ждал, – сказал бенефициант. – Да что делать: не то бери, что хочется, а то, что дают. Да еще деньги с меня содрал...

– Он очень жаден к деньгам, – заметил кто-то.

– А посмотришь, – присовокупил высокий, тощий, как грабли, актер, рассказывавший анекдот о лунатике, который был тут же и занимался застегиванием назади ребяческого спензера молодому актеру, – таким невинньким смотрит: точно сейчас с того света на волах по почте...

И актеры, знавшие, чем угодить издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, принялись ругать «Бобровую шапку» и ее автора. Издатель выждал время, когда шум несколько затих, и повторил остроту, сказанную уже при встрече с ошканным господином. Когда хохот, возбужденный ею, прекратился, он прибавил с комической важностью:

– Таков удел прекрасного на свете!

Вошел режиссер, молодой человек в щегольском фраке, веселый, беспечный и откровенный до дерзости.

– Ну что, брат Николаша, – сказал ему высокий актер, румянивший свои тощие и желтые щеки, – пропала твоя бутылка шампанского: «Шапка»-то шлепнулась.

– Шлепнулась! – отвечал режиссер. – Дрянь, так и шлепнулась. Ужасная дрянь!.. И ваша дрянь, – продолжал он, обращаясь ко мне, – только дрянь в другом роде, будет непременно иметь успех: вы нашпиговали ее такими шуточками-намекками. Личности, ругательство, мерзость!.. Вот ваша, несчастный (он обратился к задумчивому сотруднику газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, который сидел, потупив голову, в углу на груди шинелей), ваша еще туда и сюда: и мысль новенькая, и куплеты острые... да упадет, пожалуй, и упадет... Мало каламбуров, очень мало, нет ни на судей, ни на жен...

– Я и последние хотел выкинуть, – отвечал сотрудник...

– А где дяденька? – продолжал режиссер, осматривая глазами комнату. – Дяденька, а дяденька!.. Вот несчастная-то башка! Я не знаю, что нам и делать с его «Лекарством».

– От него все захворают, – подхватил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа.

– Ну уж вы с остротами... Не хотелось, очень не хотелось мне ставить его «Лекарство».

– Для афишки чудесно, – заметил бенефициант.

– Нечего делать, заварил кашу – надо расхлебывать. Только и каша – хотя бы на смех одна мысль, одна умная фраза в целой пьесе...

Кто-то толкнул режиссера локтем; он оглянулся и увидел нашего старого знакомого драматурга-водевилиста, который в сопровождении неразлучного друга с минуту уже стоял в дверях уборной и красный как рак внимательно слушал панегирик своей пьесе. Все смешались, кроме режиссера, который с тем же хладнокровием и с той же веселостью продолжал:

– А я сейчас, дяденька, говорил об вашей пьесе. Дрянь, <->, мерзость неслыханная; можно подумать, что вы нарочно старались, чтоб она была как можно гаже...

Драматург-водевилист умильно улыбался.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Вы вечно с шутками! – сказал он.

– Шутки, шутки, – продолжал режиссер. – Тетенька, а тетенька! (он назвал так одного актера, который примеривал шляпу), вам бы лучше выйти в шапке... вы бедный человек, учитель... О родитель мой! Родитель мой! (он обратился к молодому актеру, который наряжался стариком.) Что вы? Что вы?.. Ха! ха! ха! Задом наперед парик надеваете... ха! ха! ха!.. Вот так-то вы и на сцене... задом наперед пятитесь... а еще прибавки просите... по раковому манеру, как написал... кто, бишь, написал?..

Он искал глазами издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, но его уже не было: ему было всегда как-то неловко при насмешливом режиссере и он старался его убежать...

За «Бобровой шапкой» по порядку представления должен был последовать водевиль задумчивого сотрудника, который писал водевили за деньги всем и каждому, кто только пожелал к нему обратиться, а обращались к нему очень многие, потому что первая пьеса его имела счастье понравиться публике и заслужить одобрение почтеннейшего, который назло непримиримому врагу своему, издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, сравнил задумчивого сотрудника, который подвизался на драматическом поприще под каким-то диким псевдонимом, с Мольером и советовал издателю взять «несколько уроков в остроумии, наблюдательности, приличии и сердцеведении» у своего сотрудника, за что издатель чуть не отказал последнему от места, но удовольствовался тем, что сотрудник объявил похвалу почтеннейшего для себя унижительную и заключил статью благодарности издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, за участие, принятое им в его первом драматическом опыте, что много способствовало к успеху пьесы. Эту статью писал сам издатель. Что же понудило несчастного сотрудника к такому, конечно мелкому, но все-таки публичному оскорблению своего псевдонима?

Мы скоро ответим подробно на этот вопрос, а теперь пока скажем только, что сотрудник был очень беден...

Музыка смолкла; актеры опрометью бросились на сцену.

– Пойдемте! Сейчас начнут! – сказал я задумчивому сотруднику, который по-прежнему сидел на груди шинелей.

– Ступайте, – отвечал он. – Я не пойду.

– Как, вы не хотите посмотреть собственной пьесы?

– Да. Притом сейчас придет Петр Григорьевич (имя одного из актеров). Я обещал дождаться его. Мы пойдем в «Феникс» пить чай...

– И вы не будете смотреть своей пьесы?

– Посмотрю, если застану.

Подивившись такому странному равнодушию, я побежал в партер, где пьеса этого странного господина была уже начата...

Здесь была полная история жизни автора. Чердак пустой, неопрятный и холодный. Перед вами человек, который берет чай в лавочке золотниками, обедает только по праздникам, пишет стихи и дует в руки от холода. Он долго боролся с нуждой; он жертвовал ей всем, чем мог пожертвовать: временем, способностями, даже лучшими порывами и заветнейшими мечтами; он обливается слезами над сухим, тяжелым трудом, – словом, над книжкою о картофеле, – в то время как душа его кипит поэтическими идеалами, которые просятся на бумагу. Книгопродавец и журналист – его мучители, которые не отходят от него ни на минуту и за насущный хлеб делают его своим рабом: он пишет по их заказу. Плут книгопродавец вовлекает его в самые отчаянные непохвальные спекуляции. Глупец журналист выводит его из терпения своим умничаньем: искажает его статьи, крадет у него всё лучшее в свои собственные и заставляет его писать совершенно вопреки убеждений и личного мнения. Положение ужасное для человека с душой и здоровыми идеями, каким представлен герой, для человека гордого и честного! Но что делать? С одной стороны, унижение, нравственное рабство, с другой – нужда кровная, неотвязная! Герой, разумеется, не устоял: он делается рабом своих мучителей и на каждом шагу краснеет за собственные труды. Постоянное противоречие самому себе, борьба с



мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов некрасовой тяжелой и неумолимой действительностью наконец истощают слабые силы героя: лицо его становится бледно и мрачно, глаза засвечаются болезненным огнем, из груди по временам вылетает сухой, удушливый кашель, руки горят, и страшная бледность лица по временам заменяется странным румянцем. «У меня чахотка, чахотка! – говорит герой полупечальным, полувеселым тоном при поднятии занавеса. – Слава богу, у меня чахотка! Недолго уже мне придется скитаться на белом свете. Едва ли я успею окончить брошюру о картофеле, которую взялся написать... Картофель! Вот чем кончилось блестящее поприще литературной деятельности, о котором я мечтал!» По водевильному обычаю он принимается петь:

Как тут таланту вырасти,  
Как ум тут развернешь,  
Когда в нужде и в сырости  
И в холоде живешь!  
Когда нуждой, заботою  
Посажен ты за труд  
И думаешь, работая:  
«Ах, что-то мне дадут!»  
Меняешь убеждения  
Из медного гроша, –  
На заданные мнения  
Глупца иль торгаша.  
Преступным загасителем  
Небесною огня,  
Искусства осквернителем  
Прозвали вы меня.  
Пусть так!.. Я рад: губительно  
Стремленье ко всему,  
Что сердцу так мучительно,  
Что сладко так уму.  
Я рад, что стал похожее  
С бесчувственной толпой,  
Что гаснут искры божий  
В груди моей больной,  
Что с каждым днем недавние,  
Под гнетом суеты,  
Мне кажутся забавнее  
Порывы и мечты...  
Я рад!.. О, бремя тяжкое  
Валится с плеч...

Скорей, скорей!.. мучители,  
Готов я променять  
Завидный чин художника,  
Любимца горних стран,  
На звание сапожника,  
Который вечно пьян.  
Эта патетическая выходка отчаяния, благодаря хорошему голосу актера, была одобрена и повторена. По восторг публики достиг высшей степени, когда пропет был следующий куплет по случаю измены женщины, любовь которой доставляла поэту существенные выгоды...

Беда! Последняя беда!  
Она бранит и смотрит косо!  
За что?.. решите, господа,  
Вы мастера решать вопросы.  
А я так просто стал в тупик –  
За что Федора изменила?  
Ее курносый, старый лик  
Я обожал что было силы.  
Карман не слишком теребил,  
Не говорил ей о морщинах  
И так ревнив и страшен был  
Ужасно при чужих мужчинах.  
Я угождать старался ей,  
Утех я доставлял ей много  
И даже пред свиданьем с ней  
Читал романы Поль де Кока!

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Раздался страшно потрясающий хохот; потом рукоплескания, крики «браво!», «фора!»  
Куплет был повторен четыре раза. Успех пиесы был обеспечен...

Пиеса не оправдала моих ожиданий: в том самом месте, где на положении поэта, изложенном выше, только что начиналась глубокая внутренняя драма, явился какой-то нелепый дядя из провинции с огромным брюхом и вывел героя из положения, на котором могла бы завязаться очень интересная и глубокая драма. Впрочем, благодаря толстому дяде и приведенному куплету пиеса не совсем упала...

За водевилем последовала самая интересная часть бенефиса – патриотическая драма «Русское национальное лекарство», сделанная из анекдота, который рассказывал Х.Х.Х. Как? Что такое? Неужели из такого анекдота можно сделать драму, да еще и патриотическую?

Ничего нет легче. Чтобы показать, как искусно умели пользоваться русские драматурги малейшим событием, которое казалось им годным к возбуждению в зрителях любви к отечеству, чувствительности и восторга к дарованиям автора, привожу разбор «Русского национального лекарства», напечатанный издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вскоре после бенефиса, – разбор, из которого можно видеть содержание драмы, а также короче ознакомиться с остроумием издателя.

(Рассказ а Та Кони с каламбурами, дикими суждениями, высокопарным вздором и частыми указаниями на свои собственные труды.)

Наконец драма при громких рукоплесканиях, криках восторга и вызовах была кончена. Занавес упал, и, когда чрез четверть часа снова взвился и взорам нетерпеливой публики предстал кабинет журналиста, сердце мое сильно забилося, и я чуть устоял на ногах. Положение автора, который смотрит на свою пиесу в первый раз, необъяснимо. В ложе, куда скромность заставила меня перейти в сопровождении нескольких друзей, различно толковали об этом положении. Остроумный издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, заметил, что, когда играют вашу пиесу, вы чувствуете то же, как будто вас секут, и начал с таким жаром, с такою энергической твердостью доказывать свое положение, которая могла подать подозрение, что он говорит по опыту.

Но я ничего не слушал и не слышал. Глаза мои были прикованы к сцене...

Фарс мой имел огромный успех. Особенный хохот возбуждали нелепые и высокопарные тирады, набранные из употреблявшихся тогда в одном журнале терминов и оборотов, которых я не понимал. Человек, в уста которого были вложены такие тирады, – критик того журнала, – представлен был раздушенным франтом, ловким и пошлым любезником, беспреестанно толкующим о Европе и философии. Из других лиц более других насмешил сотрудник почтеннейшего, беспреестанно перебегавший из журнала в журнал, писавший за деньги статьи не только против чужих мнений, которые прежде разделял, но даже против самого себя. Я был с ним несколько времени в довольно дружеских отношениях, и потому мелкая, подлая и заносчивая душа его довольно верно отразилась в копии. Но того, на кого полагал я особенные надежды, кого публика хотела видеть с особенным нетерпением, в пиесе не было...

Почтеннейший употребил «сильные меры»!..

Вызов, которым почтила меня восхищенная публика, был громок и продолжителен... В смущении я бросился к дверям ложи, в которой сидел: дверь не отпирается! Я толкаю, стучу – не отпирается! Многие из партера обратились к нашей ложе – я еще больше смутился! Наконец издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вывел меня из затруднительного положения, отодвинув задвижку, которою была заперта дверь. Я выскочил, побежал, – сердце мое сильно билось, ноги дрожали, голова кружилась; я заблудился в коридорах и не знал, куда идти. По счастью, меня встретил режиссер, и я наконец благополучно явился в авторской ложе. Крик, не умолкавший во всё это время, усилился. Друзья мои делали мне знаки из партера и под шумок обращались ко мне с самыми лестными приветствиями: «Браво, душенька!»; «Чудесно, Тишенька!»; «Молодец, собаку съел!»; «Ай да Тихон Сергеевич!» Я поклонился очень неловко и спешил уйти.

За дверью ждал меня бенефициант. Он схватил меня за обе руки, обнял, поцеловал и потащил в буфет, где тотчас же была откупорена и выпита бутылка шампанского...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Это было только вступление к тому шумному пиру, который готовился в тот вечер.  
Для этого была нанята особенная комната в ближайшем трактире...

Войдя в эту комнату под руку с бенефициантом, за которым следовала огромная толпа приглашенных, мы увидели задумчивого сотрудника и толстого краснощекого актера; перед ними стоял графин водки и в стороне чайный прибор и графинчик с остатками рому. Оба они были уже достаточно навеселе...

– Ну, брат, твоя пьеса! – сказал высокий, тощий, как грабли, актер. – Твоя пьеса...

– Упала? – спросил сотрудник.

– Шшш... шшш... шш... – отвечал актер.

– Ошибали? А «Лекарство», верно, имело успех?

– Огромный, – отвечал сам автор.

– Так и должно быть, господа, тут ничего нет мудреного, господа, что дурные пьесы падают, а хорошие имеют успех...

И как бы в подтверждение своих слов сотрудник налил рюмку водки и выпил...

– Ваша пьеса имела заслуженный успех, – сказал я. – Даже вас начали вызывать...

– Она вам нравится? – спросил сотрудник.

– Мысль очень хорошая: она могла бы послужить содержанием драмы...

– Драмы, точно, драмы, – отвечал сотрудник. – Глубокой внутренней драмы... Но Андрей Васильевич сказал, что ему нужен водевиль, непременно водевиль... У него уж и так было две драмы... нельзя же всё драмы... Я начал было драму, а кончил водевилем... глупым дядей, нелепостью... Удивительно, как хорошо вышло!

– Ах, ты! – сказал актер, который играл дядю. – Да кабы не дядя-то, так бы и совсем упала... Дядя только и свае.

– Прекрасная роль! – заметил драматург-водевилист.

– Хороша, господа, очень хороша! – отвечал сотрудник и налил опять рюмку водки.

Говорили, что происшествия, выведенные в водевиле задумчивого сотрудника, напоминали его собственную жизнь. В самом деле, несмотря на искусство, с которым были обставлены главные события совершенно несходствующими чертами, в герое нельзя было не узнать некоторых черт автора, а в мучившем его журналисте – издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. Это и загадочный характер сотрудника, его равнодушие к собственным произведениям возбудили во мне желание сблизиться с ним и покороче узнать его...

Все перепились до «еле можаху». Некоторые остались ночевать в «номере», другие поехали домой, третьи... но нужно упомянуть об одном обстоятельстве, которым закончился вечер.

Сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, пригласил всех на другой день к себе на завтрак...

## Глава VII

### Необыкновенный завтрак

Поутру актер, отличавшийся необыкновенной любезностью, водевилист-драматург, псевдоним Х.Х.Х., долговязый поэт, лунатик и еще несколько молодых людей – актеров собрались ко мне с поздравлением. Потолковавши о вчерашнем успехе, мы отправились на завтрак к задумчивому сотруднику. Никто из нас не бывал у него: он жил уединенно и, как говорили, очень бедно. Только драматург-водевилист, который имел привычку навещать всех, у кого можно было выпить водки и подслушать каламбур, знал квартиру сотрудника. Он был на сей раз всеобщим проводником. На нескольких извозчиках, которые тянулись один за другим, мы подъехали к довольно большому и опрятному дому; драматург скомандовал: «Стой!», и все мы отправились

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов некролог  
вслед за ним в четвертый этаж. Мы пришли в коридор и увидели на одной из дверей фамилию сотрудника. У этой двери стояло несколько человек, из которых один был похож на отставного солдата, а другие два имели физиономии мещан, пришедших за долгом. Драматург-водевильист позвонил. Ответа не было.

– Милый! – сказал он, увидев седого отставного солдата, который заглядывал в окно квартиры сотрудника, выходящее в коридор. – Что, Ипполита Степановича дома нет, что ли?

– Никак нет-с, дома, – отвечал солдат. – Каликуры изволят читать.

Драматург-водевильист хотел было снова звонить, но в то время в окошке, выходящем в коридор, показалась голова сотрудника.

– Если вы хотите попасть в мою квартиру, господа, так прежде всего пошлите за слесарем, – сказал он. – Надобно сломать замок.

– Сломать замок?..

– Да, сломать. Я заперт снаружи... Минай!

Отставной солдат подошел к окошку. Сотрудник подал ему в форточку сверток корректурных листов.

– За оригиналом приходи завтра!

– Слушаем-с, ваше благородие! Счастливо оставаться!

– Кто же тебя, братец, запер? – спросил драматург-водевильист. – Говори откровенно, не запирайся!

Длинный поэт захохотал.

– Кто запер? – отвечал хозяин с некоторою досадою. – Человек запер!

– Как человек?

– Ну как... разумеется как – ключом!

Послышался стук сапогов, подбитых гвоздями, и в центре кружка, образовавшегося около окошка из членов нашего общества, явился рыжебородый мещанин, рябоватое лицо которого, пылавшее справедливим, по-видимому, негодованием, очень живо напоминало голландский сыр. Губы его, немножко раскрытые, выказывали ряд гнилых, черных зубов, как у большой части купцов, торгующих фруктами...

– Надуванция-с, господа! – сказал он, приветствуя каждого из нас мещанским поклоном. – Чистая надуванция!

– Вестимо, – подхватил чернобородый мещанин, протеснившийся чрез толпу к своему товарищу. – Не хочется денег платить!

– Молчите вы, свиньи! – с гневом сказал сотрудник. – Не с вами говорят. Пошли вон.

– Пойдем, как деньги получим... обещал сегодня, так сегодня и заплати... дверь заперта, ну так, в то место, через форточку заплати...

При слове «через форточку» сотрудник вздрогнул. – Сумма невелика, – продолжал рыжебородый, – пролезет! Двадцать три рубля семьдесят три копейки...

– Да мне осьмнадцать рублей.

– Итого... Мещанин стал считать...

– Ничего! – воскликнул сотрудник грозным голосом. – Сегодня решительно ничего! Завтра...

– Спасибо! Покорнейше благодарим-с. Вот, господа, – продолжал мещанин, обращаясь  
Страница 108

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов к нам, – рассудите, господское ли дело? Приятелем нашим прикинулся. Каждый день в лавку зайдет. «Куда-с идете, Павел Степаныч?» Да вот надобно деньжонок получить, говорит, пиесу новую сочинил, и пойдет рассказывать, и про Асёнку, и про театр, и про ахтеров, – заслушаешься, такой краснойбай... поневоле дашь, в то место, полфунтика сыру швейцарского в долг... либо осьмушку чайку!.. Спасибо, говорит, благодарю, отдам с благодарностию. Вот только пиесу мою сыграют: три тысячи, в то место, говорит, получу... «А что, хороша пиеса? – спросишь его. – Насчет трагедии, чувствительное, или так просто комедия?» Разное, говорит, да и ну пересказывать, а сам то и дело – отпусти того, другого, десятого. Отпусти стеариновых свеч: при сальных, видишь, не пишется! Не всё равно, бумагу переводить!.. Вот, судари мои, отпустим и свеч. Он всё сидит, вон нейдет, да и нам весело с ним: таким ведь хорошим человеком прикинулся, словно ахтер.

– Всё равно, что сочинитель, что ахтер, – заметил чернобородый.

– Пьет с нами чай, ест что придет по душе: изюмцу отведаст, черносливцу, орешков, набивает пузо, словно сроду сластей не видал, а сам, в то место, всё говорит, говорит... И камплетцы разные распевает. У меня братан, знаете, старший больно охоч до театра... вот он к нему баснями-то и подлещался...

– Замолчи ты, глупая образина, – с гневом вскричал сотрудник.

Мещанин, догадавшийся по движению рук сотрудника об опасности, угрожавшей его бороде, отскочил от форточки и, злобно улыбаясь, воскликнул:

– Небось совестно стало! Покраснел, словно чайник... Дурак... я, видишь, дурак... а брата моего... у меня, господа, брат уж точно дурак, умалишенный, и в дела никакие не входит... только слава, что старший... брата моего, в то место, умником звал: вы, говорит, имеете образованный вкус... а сам ест пастилу... мне приятно знать ваше суждение-с об моей комедии... я вам, говорит в то место, билет принесу... позвольте взять сардинок корбочку...

Сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вторично обнаружил намерение побить словоохотливого рассказчика, но оно, как и первое, было неудачно! Сотрудник пришел в бешенство и в некотором роде походил на разъяренного льва, которому решетка клетки мешает растерзать дерзких мальчишек, показывающих ему язык...

– Ради бога, господа! – воскликнул он умоляющим и вместе отчаянным голосом. – Где же слесарь?

За слесарем давно уже был откомандирован один юный артист, славившийся необыкновенною расторопностью, но он еще не возвращался. Рыжебородый продолжал ругаться и с редким красноречием пересказал еще несколько забавных ухищрений, которыми сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, погасил последние искры рассудка в голове главного хозяина лавки – его старшего брата.

– Замолчишь ли ты? – воскликнул сотрудник, которого бешенство час от часу возрастало.

– Не замолчим-с.

– Замолчи. Худо будет!

– Не замолчим-с!

– Ну так не пеняй...

Удар по голове сапожного щеткою, вылетевшею из форточки, помешал рыжебородому отвечать. Он только вскрикнул:

– У... ух!

Вслед за щеткою в рыжебородого полетели банка с ваксою, тарелка с застывшим жирным соусом и несколько корок засохшего хлеба. Мещанин зарычал, как лошадь, которую режут.

– Господа, – сказал, обращаясь к нам, торжествующий сотрудник полусерьезным,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не краснел полушутливым тоном, – я не такой человек, чтоб стыдиться сцены, которой вы были свидетелями. Признаюсь, почти всё, что вы слышали, – сущая правда. Что ж делать!.. Право бы я не стал называть дураков умными людьми, если б они без того верили мне в долг. Вы можете не скрывать от меня смеха, который, без сомнения, возбуждает в вас эта забавная сцена.

И он стал хохотать вместе с нами... Между тем мещанин пришел в себя и снова начал ругаться.

– Что! мало еще? – запальчиво воскликнул сотрудник и нагнулся, вероятно желая найти что-нибудь, чем бы можно было нанести новый удар неугомонному крикуну.

Но он опоздал.

Х.Х.Х., обладавший удивительною способностью выпроваживать кредиторов и, кроме того, находивший особенное удовольствие побить человека, которому кто-нибудь должен, схватил рыжебородого за руки и пинками проводил с лестницы, приговаривая:

– Бесчестие купечества! изломанный аршин! Смеешь ругать благородных людей. Я тебя вляпаю в водевиль!

Чернобородый ушел вслед за рыжебородым. Явился мальчик, лет тринадцати, с плутовскими глазами и связкою книг.

– Сюда, – закричал ему сотрудник. – К форточке.

– Онисим Евстифеич приказали кланяться и прислали-с книжечки, вот-с...

Узел был так велик, что не мог пролезть в форточку. Мальчик стал развязывать.

– Дрянь, дрянь, дрянь и еще дрянь! – говорил сотрудник, принимая от мальчика книгу за книгу.

– Всё издания Онисима Евстифеича-с. Приказал-с просить – похвалить-с хорошенечко-с.

– А деньги есть у хозяина?

– Есть... да... нет... не знаю... кажется, нет...

– Плут! – сказал сотрудник, грозя пальцем. – Есть?

– Не знаю-с.

– Из почтамта получил?

– Не знаю-с...

– Ой, лжешь!.. Получил?

Мальчик смутился.

– Вижу, вижу по глазам: получил!

– Не велел сказывать-с... не знаю-с... может быть, получил-с...

– Получил! получил! – воскликнул сотрудник с необычайным жаром. – Ах, боже мой! получил! Где же слесарь, господа? Где же слесарь?

Сотрудник бросился к двери и силился разломать ее: напрасно!

– Ах, черт возьми! Вот тебе и раз! Получил, а я ничего и не знаю...

Лицо сотрудника, показавшееся снова в отверстии форточки, выражало дикую злость и отчаяние.

– Он в лавке?

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Был, да ушел, – отвечал мальчик...

– Ушел? Ну, теперь его не поймаешь!.. С кем?

– С Иваном Ивановичем... да еще, не знаю, какой-то новый, седой... Пить чай пошли.

– Куда?

– Под машину.

– Под машину?.. Х.Х.Х., попробуй оттуда: не сломаешь ли как замок... Может быть, захвачу!

Мы все вместе и каждый порознь перепробовали свою силу в уничтожении преграды, отделявшей нас от сотрудника; но усилия были тщетны...

– А потом куда он пойдет?

– Куда? Вы ведь знаете, как всегда... в другое какое-нибудь заведение... Наш хозяин вина не пьет... то и дело чай... Прощайте-с.

– Постой, дам записку.

Сотрудник сбегал в кабинет и возвратился с лоскутком бумаги, свернутым в виде треугольника.

– Скажи, что, если не исполнит моей просьбы, брошу работу, разругаю все его книги... Слышишь, все разругаю, и еще слушай... он меня выведет из терпения: я ему разобью рожу, ей-богу, разобью! я ему задам... понимаешь? ей-богу, задам!! Так и скажи.

– Хорошо, – отвечал мальчик с улыбкою, которая доказывала, что ему приятно было бы, если б сотрудник исполнил свое обещание.

– Прощайте-с.

Он ушел. Вслед за ним явился другой мальчишка, в пестром пестредевом халате, с парюю новых ярко начищенных сапогов.

– А, сапоги! – сказал сотрудник. – Насилу-то! Давай сюда: я померяю.

Сотрудник выставил из форточки руку. Мальчик подал ему один сапог...

– Хорош, – сказал сотрудник. – А другой?..

Сотрудник опять высунул руку. Мальчик стоял в нерешительности, поглядывая то на оставшийся в руках его сапог, то на сотрудника.

– Хозяин приказал получить пятнадцать рублей, – сказал он.

– Знаю, братец, знаю; точно пятнадцать... Давай же другой сапог: у меня, братец, левая нога немножко больше правой, нужно померить.

Мальчик еще несколько мгновений боролся с самим собою и наконец вручил сапог сотруднику.

– Хорош! – сказал сотрудник после некоторого молчания. – Оба хороши! Каковы-то в носке будут? А про деньги скажи хозяину: завтра сам занесу.

– Нельзя-с, – сказал мальчик дрожащим голосом,

– Ну вот, нельзя! Точно в первый раз.

– Нельзя-с, – повторил мальчик. – Пожалуйте сапоги назад: завтра и возьмете-с.

– Вот еще! Я и так долго ждал. Они уж у меня на ногах.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Хозяин меня будет бранить.

– Ничего! скажи только, что я взял; ничего... не будет бранить.

– Будет!

Мальчик собирался зарыдать, но Х.Х.Х. закричал на него таким диким и пронзительным голосом, что он отскочил от окошка и бегом побежал с лестницы...

– Глупый народ! – сказал сотрудник. – Как будто не всё равно получать деньги что сегодня, что завтра!

Положение наше с каждой минутой становилось ужаснее. Дело было в начале зимы. Мороз и ветер, проникавший в разбитые стекла коридора, пробирал нас до костей. Головы некоторых трещали. Мы готовы были уйти. Но в то время как общее терпение начало истощаться, общество наше увеличилось издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, которого обычаем являться на званые обеды, завтраки и вечеринки как можно позже спас на сей раз от томительного получасового ожидания на ветру и стуже. Узнав несчастное положение своего сотрудника, он очень много смеялся и сказал в заключение, что подобный случай очень годится для водевиля и что французские водевилисты именно такого рода случаями пользуются для составления своих эфемерных произведений...

– Впрочем, – заключил он с очаровательной улыбочкой, которая на устах его обыкновенно служила предвестницей каламбура, – уж не нарочно ли вы заперлись, милейший мой: у вас, надо признаться, есть-таки привычка запираяться!

Каламбур, уже раз произнесенный, но получивший в устах издателя известной газеты новую прелесть, заслужил общее одобрение, но не согрел наших иззябших членов; Х.Х.Х. дул изо всей силы в ладони и сожалел, что отпустил свою коляску. «Я бы, – говорил он, – покуда лучше съездил к князю Зезюкину да к дяде – в палату... он там председателем...» Долговязый Кудимов выплясывал трепака, стараясь разогреть свои длинные и сухие ноги, которые имели обыкновение очень скоро зябнуть; несколько молодых актеров и сочинителей боролись и давали друг другу порядочные толчки, называя свое упражнение полированием крови; Анкудимов (драматург-водевилист) с быстротою, не свойственною его летам и почтенной наружности, бегал по коридору, напевая патриотическую песню, которой аккомпанировали его собственные зубы. Только актер, отличавшийся необыкновенной любезностью, сохранял полное присутствие духа: вытребовав от сотрудника через форточку карты, он метал банк лунатику, Хапкевичу и еще нескольким любителям сильных ощущений на верхней ступеньке лестницы.

Водевилист-драматург ударил себя в лоб и торжественно объявил, что ему пришла прекрасная мысль.

– Что-о?

– Знаешь ли, братец... Брр!.. Выдай нам в форточку водки...

– Славная мысль!

Сотрудник молчал. Лицо его страшно изменилось; казалось, на душе его лежала какая-то тяжелая тайна; казалось, он хотел в чем-то признаться; но прежде чем он решился на что-нибудь, издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, предложил на всеобщее усмотрение следующую мысль:

– Зачем, господа? Долго терпели... Немножко уж не беда потерпеть. Поверьте, счастье человеческой жизни заключается именно в обстоятельствах, предшествующих свершению наших желаний... Ну, что было бы, если б мы пришли прямо в квартиру Павла Степановича, застали бы там накрытый стол, начали пить, есть... ничего, решительно ничего! Обыкновенная история: проза, проза и проза!..

Все одобрили мысль издателя, хотя втайне многие были ею недовольны и приписывали стоическую твердость ее изобретателя не столько его особенному взгляду на удовольствия жизни, сколько тому, что издатель не успел еще хорошенько прозябнуть...

– Ну так и быть! – сказал Анкудимов, принимаясь опять бегать и петь. – Подожду.



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Зато уж, брат, твой дждин только держись. Я хвачу целый стакан.

– И я, – подхватил Кудимов, загибая угол червонной семерки. (Он понтировал в долг.) – Пять рублей мазу!

– И я.

– И я.

Сотрудник посмотрел на господ, делавших такие опустошительные предположения насчет его джина, с каким-то невыразимо болезненным состраданием и глубоко вздохнул... Вздох его нечувствительно сообщился почти всему собранию...

– О чем вы вздохнули?

– О непрочности человеческого счастья!

– А вы?

– О сардинках.

– Вы?

– Я вспомнил брата: он в прошлом году отморозил себе руки и ноги.

– Бррр!.. Руки и ноги! Бррр!..

Многие начали дуть в руки и бегать с особенным жаром.

– Берегите носы, господа. Тут недолго остаться без носа!

– Ну, небольшая беда; один нос отмерзнет, другой останется: мы ведь все с лишним носом.

– Ха! ха! ха!

– А вы что вздыхаете? У вас, кажется, очень теплая шуба!

– Давеча я забежал к Т\*\*\*: у него на столе стоит чудесный пастет, лафит, сыр. Я ни до чего не дотронулся.

– И хорошо сделали. Поедим вместе.

– О, уж как поедем!

– Мне ужасно хочется ветчины.

– И мне.

– Мне сыру.

– Мне сардинок и джину.

– Мне икорки.

– Я так голоден, что поглодал бы и корки.

– Ха! ха! ха! ха! ха! ха!

– Удивительная вещь ум: не мерзнет и на морозе! У тебя, братец, верно, есть ветчина?

– И сардинки?

– И пармезан?

– О, как же, господа! Всё есть, решительно всё...

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– И джин?

– И портер?

– И шампанское?

– Разумеется, разумеется!

Хозяин отвечал протяжным, шутливым тоном; но в голосе его в то же время было что-то до такой степени болезненное, физиономия его отражала в себе столько разнородных чувств, что нельзя было не заметить, что ему совсем не до шуток... Казалось, в душе его происходила борьба; он то высовывал голову в форточку, с видом человека на всё готового, то прятал ее с поспешностью. Наконец решительность осветила все черты лица его, он сделал знак рукою и просил, чтоб его выслушали. В голосе хозяина было столько торжественности и какой-то ужасающей таинственности, что даже многие из понтеров бросили карты и спешили стать в положение внимательных слушателей напротив форточки, которая должна была служить проводником загадочной речи.

– Господа, – сказал он нетвердым голосом, – конечно, это больше ничего, как случайность... забавная, конечно... но не менее неприятная... Сколь ни приятна мне честь, которую вы мне делаете... ожидая вот уже полчаса на холоде моего завтрака, но я должен вам сказать, что для вас гораздо выгоднее было бы не дожидаться...

– Так вот что! С церемониями! А мы думали бог знает что! Полно; что за церемонии... Мало ли чего не случается... Дождемся... Мы тебя так любим...

Когда восклицания умолкли, хозяин продолжал:

– Благодарю, благодарю, господа. Но совесть не позволяет мне долее употреблять во зло вашу благосклонность... Вы иззябли, вы хотите есть...

– И пить, братец, особенно пить!

– Но, увы!.. Я должен признаться...

– Идет! идет! – закричало несколько голосов, и взоры всех устремились на лестницу, где показался юный артист в сопровождении рослого парня, в пестром халате, с огромною связкою разнородных ключей. Клики общей радости заглушили слова хозяина, который всё еще говорил. Слесарский подмастерье в минуту был поставлен перед заветной дверью.

– Отпирай, братец, поскорей. Что вы так долго ходили?

– Был у десяти слесарей. Никто нейдет... Насилу уговорил одного.

Подмастерье попробовал один ключ, другой, третий – и наконец отпер замок...

– Ну вот! Все затруднения уничтожились сами собою. Было из чего хлопотать, говорить такую странную речь!..

С шумом и криком неистовой радости толпа бросилась в дверь.

В квартире

Квартира сотрудника состояла из прихожей, совершенно темной, гостиной, освещавшейся двумя окошками, выходившими на крышу сарая, кабинета, освещавшегося одним окошком, из которого видно было до сорока разнокалиберных труб, и кухни, заимствовавшей свой свет от коридора, в подражание планетам, заимствующим свет от солнца. В гостиной стояло три стула и березовый крашенный стол; в кабинете, длинном и узком, начинавшемся окошком и оканчивавшемся одностворчатого дверью в кухню, помещался длинный письменный стол, стул, зеленые вольтеровские кресла, этажерка, по другой стене – диван. Стол был завален книгами и рукописями в ужасающем беспорядке; под столом и на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры; на диване лежали смятая подушка и одеяло; на стуле – брюки с невынутыми сапогами – живое подобие хозяйских ног; над столом висели три портрета: Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью – картинка в рамке, обложенной золотым бордюром, изображающая красавицу, которая, ложась спать, распускает ворот сорочки. Во всем были заметны признаки бедности, беспечности и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не равнодушен к порядку и благообразию. Но ни в чем не было заметно малейших признаков завтрака...

– Давай же, братец, водки! – нетерпеливо сказал драматург.

– Водки! – вскричал Х.Х.Х. диким и страшным голосом над самым ухом хозяина.

– Водки! водки! водки! – повторили многие громко и резко.

– Водки!

И все начали кричать изо всей силы: «Водки!..» Хозяин стоял неподвижно, сложив на груди руки и осматривая по очереди каждого из присутствующих взглядом грустным и сострадательным.

– Господа, – наконец сказал он с принужденной улыбкой, – вы долго ждали, подождите немножко еще. Зато я расскажу вам чудесную повесть, в которой не пощажу даже себя. По-моему, лучше сознаться во всем чистосердечно, чем оставить необъясненными причины странного приема, который я вам сделал; тем более что между вами есть несколько лиц, которых я не имею честь знать коротко. Я должен извиниться пред ними... Итак, умоляю вас, выслушайте меня!

– Лучше бы прежде закусить.

– Ну пусть его говорит: он что-то очень расстроен! Еще несколько минут продолжался ропот неудовольствия; наконец замечание издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, что если хозяин настоятельно требует отсрочки завтрака, то, вероятно, имеет на то основательные причины, заставило всех замолчать. Сотрудник начал рассказ, который передается здесь с возможной точностью:

– Я имею, господа, привычку, когда у меня нет денег, – что случается двадцать девять раз в месяц, – прогуливаться по отдаленным петербургским улицам и заглядывать в окошки нижних этажей: это очень забавляет меня и нередко доставляет мне материалы для моих фельетонов. Не можете представить, какие иногда приходится чудеса видеть: иногда, проходя мимо какого-нибудь окошка, в одну минуту, одним мимолетным взглядом, увидишь сюжет для целой драмы, иногда – прекрасную водевильную сцену. В тот день, о котором я хочу говорить, я видел очень много забавных и странных вещей. Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются, и тогда только вы поймете всё разнообразие, всю прелесть моего наслаждения. Мастерской у станка, согнувшись, опиливает какую-нибудь мелкую принадлежность своей работы; жена, подкравшись сзади, целует его в щечку и в то же время делает глазки подмастерью, который сидит у другого окошка; цирюльник держит за нос толстого, красного господина, которому, как ребенку, под горло подвязана салфетка или целая простыня; титулярный советник целует свою кухарку, которая в знак особенной нежности колотит его по спине жирными, красными руками, засученными по локоть; чиновник в пестром халате, красной ермолке, перевернувшись на окошке вверх брюхом, старается кинуть на балкон второго этажа, где мелькает белое платье, стройная ножка и черный локон, записку, сложенную хитро и красиво; другой, также молодой человек, а иногда и довольно старый, курит трубку, посвистывает и поет на голос «чем тебя я огорчила»!

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает барабанщик...

Шум, крик, хохот, табачный дым столбом валит из раскрытых окошек, на полу ничего, на окнах бутылки и вицмундиры: пируют студенты! Четыре господина с почтенными, глубоко внимательными физиономиями сидят за зеленым столом; по углам пуншковые стаканы: один не допит на палец, другой на вершок, третий пустехонек, четвертый не тронут! Господин с крестом и лысиной шутив и весел, он мурлычет какую-то песенку; господин с крестом без лысины скучен и мрачен, он произносит проклятия... два остальные господина без крестов и без лысин ни скучны, ни веселы: они душой и телом погружены в игру, в карты, которые у них на руках, и по временам исподтишка – в соседственные. Господин с большими черными усами, в плисовом архалуке, гладит собаку и грозит кулаком жене; другой господин, с небритой бородой, стекловидными, опухшими щеками, потягивает по временам сивуху из стоящего перед ним полуштофа и после каждого глотка погружает свои вонючие губы в мягкую шерсть любимца-кота, целуя его и приговаривая: «Не хочешь ли

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов водки, дурашка?»

О, сколько милых ласк потеряно напрасно!..

Девушка с густыми черными бровями, продолговатым задумчивым лицом, подперши локтем голову, внимательно смотрит в книгу, лежащую перед ней на окошке; страницы перевертываются быстро, и не одна из них смочена слезами красавицы. Как приятно подсмотреть, что читает она!.. Мальчик перевесился через окошко и готов выпасть; грубая, неопрятная рука схватывает его за ногу и уносит в глубину комнаты; поднимается страшный вой... Старуха с огромным...

– Ну уж будет, братец, пересчитывать сцены, которыми ты любовался. Нельзя ли поскорей к делу?

– Сейчас, господа... Старуха с огромным свиным носом, черными усами и бакенбардами, с сухим, костлявым и желтым лицом, в раздранном рубище, сидит на ветхом треногом стуле и рычит, как корова, от горя и голода; девушка лет двадцати, также бедно и неопрятно одетая, но хорошенькая, очень хорошенькая, стоит перед ней на коленях, целует руки ее и нежным, дрожащим от слез и волнения голосом шепчет ей слова надежды и утешения...

Я невольно остановился перед кривым, полуразбитым окошком грязного деревянного домишка, где происходила сцена, о которой теперь говорю. Тут уже стояло несколько любопытных, привлеченных странностью зрелища. Они разговаривали между собою, смеялись, делали остроумные замечания, но никто не думал помочь несчастным... Такое равнодушие ужаснуло меня. Но я еще больше расчувствовался, когда старуха, вскочив с какою-то неестественною живостию, начала бить себя в грудь кулаками и кричать диким, нечеловеческим голосом.

– Видно, кликуша! – заметил один из зевак.

– Кликуша! кликуша!

И толпа подступила к самому окошку. Я за нею...

Старуха продолжала кричать; девушка стояла на коленях и молилась; лицо ее выражало трогательную покорность провидению; из глаз ручьем лились слезы...

Я бросился в ворота и чрез минуту очутился в комнате.

– Что здесь делается? – спросил я.

– Ах, помогите, помогите! – сказала девушка изломанным русским языком, доказывавшим нерусское происхождение. – Матушка моя умрет с голоду!

Девушка упала передо мной на колени.

– Не унижайся, дочь моя! – воскликнула старуха трагическим голосом по-немецки, – Мы бедны, но мы должны беречь свою честь: она единственное наше сокровище!

– Ах да! – воскликнула девушка и, зарывав, упала на грудь матери. – Но вы, матушка, третий день ничего не кушали!..

У меня, господа, было всех-на-все пятнадцать рублей – до первого числа оставалось еще две недели; но если б я знал, что, отдав последние деньги, я должен буду умереть с голоду, я и тогда отдал бы их. Большого труда стоило мне оказать несчастным пособие: дочь – туда и сюда, но мать – гордая и честная немка, как я мысленно называл ее, – рвала на себе волосы и называла меня оскорбителем своей чести. Я принужден был употребить хитрость и, положив деньги в карман, шепнул девушке, чтоб она последовала за мною.

– Когда вам будет нужда опять, – сказал я, отдавая ей деньги, – приходите ко мне.

– О благодетель наш! Вы спасли мою мать! – воскликнула она с чувством глубокой благодарности. – Небо заплатит вам!

Сказав адрес моей квартиры, я поспешил удалиться.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Всё это, – заметил нетерпеливый драматург-водевильист, – очень хорошо и доказывает твоё великодушие, однако ж несколько не относится к завтраку, о котором идет речь.

– О, напротив, напротив! – возразил сотрудник о большим жаром. – Совершенно напротив.

– Не мешайте ему продолжать, – сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – повесть его начинает меня интересовать.

– Если он и врет, то врет очень складно! – заметил Х.Х.Х.

– Известно, как сочинитель, – отвечал ему лунатик с громким хохотом.

Тишина восстановилась, и хозяин продолжал:

– Заметьте, господа, одно обстоятельство: когда я выходил от несчастных, так нечаянно спасенных мною, быть может, от голодной смерти, некоторые из зевак, бывших свидетелями этой сцены, громко хохотали и показывали на меня пальцами, делая на мой счет какие-то замечания; один даже сказал так громко, что я мог слышать:

– Надули голубчика!

Толпа отвечала ему хохотом.. Всё это происходило назад тому месяца два. Поверите ли, господа, с тех пор до сегодняшнего дня Амалия (так звали девушку) не выходила у меня из головы. Каждый день я ходил мимо ее бедной квартиры, но ни разу не решился зайти, опасаясь оскорбить ее гордую и благородную мать. Зато Амалия ходила ко мне довольно часто..

– У-гу!

– О-го!

– А-га!

– Э-ге!

– Ваши двусмысленные восклицания совсем неуместны: она приходила ко мне не более как на минуту, брала небольшую помощь, которую я мог уделять ей от своих скудных доходов, и уходила, оставляя в сердце моем неизгладимый след своей красоты. В одно из своих посещений она рассказала мне свою краткую и простую, но трогательную историю и тем еще более увеличила мое участие, которое – вы догадываетесь – скоро превратилось в любовь. Амалия – ревельская уроженка, год тому лишившаяся брата, который кормил ее с бедною матерью. Потеря сына заставила старуху и дочь ее переселиться в Петербург, где Амалия надеялась найти место гувернантки и в крайнем случае горничной, или, как говорится для большей важности в полицейских публикациях, камер-юнгферы. Но надежды, по обыкновению, не сбылись; мать захворала; дочь работала день и ночь, но трудов ее не доставало на удовлетворение нужд и прихотей больной, раздражительной матери; нищета постучалась в дверь бедных страдалец, за нею голод..

– А за голодом ты?

– Да, я, господа. Если бы вы слышали, с каким чувством говорила бедная девушка о своих несчастиях, как просто и красноречиво высказывалась в каждом слове ее беспредельная любовь к матери, если б вы знали, с каким терпением переносила она все капризы, все прихоти гордой и своенравной старухи, наконец, если б вы видели слезы благодарности, катившиеся из глаз несчастной девушки на мои руки, – уверяю вас, вы сделали бы то же, что сделал я: вы влюбились бы по уши! В последовавшее затем свидание мы объяснились. Не могу описать вам чувства, овладевшего мною, когда я услышал от нее робкое слово взаимности. Признаюсь, до той поры мне никто не объяснялся в любви и преданности, кроме моего вечно пьяного человека, который имеет привычку изворачиваться таким образом, когда я ловлю его в воровстве медных денег, водки и сахару. Разумеется, я обезумел от радости – не мог ни писать, ни думать, ни даже читать корректуры; целый день посвистывал, подпрыгивал в своей комнате на одной ножке и не раз очень изрядно ушиб голову,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов потому что потолок, как видите, довольно низок. Но лишняя шишка на голове, господа, тут ничего не значит: она не может уменьшить того счастья, того внутреннего довольства и мира, которые приносит любовь, – я был на седьмом небе...

– Прекрасно, но будет уж о любви. Нельзя ли подвинуться к завтраку.

– К завтраку, к завтраку!

– Сейчас, господа! С каждым посещением я, как водится, открывал в ней новые совершенства. Не поверите, как несчастная любила свою мать! Иногда прибежит ко мне со слезами: «Матушка просит рейнвейну, рейнвейну!.. Если я скажу ей, что мы уже так бедны, что не в состоянии купить бутылку рейнвейну, она умрет с отчаяния!» В другой раз явится бледная, расстроенная, в обрывках того самого платья, в котором я увидел ее в первый раз, «Что же ты не одеваешься в свое новое платье (я, господа, подарил ей прекрасное платье), которое так идет к тебе?» Она падает ко мне на грудь, плачет и признается робко и тихо, что продала его для удовлетворения какой-нибудь новой прихоти больной, выжившей из ума старухи... Какова девушка, господа?

– Это много, это очень много, – заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпитафии, – когда девушка жертвует для больной матери даже нарядами. Прекрасный пол так любит наряды!..

Нарядов нет – прекрасный пол  
Капризится, тоскует, плачет.  
Наряды есть – прекрасный пол  
Под потолок в восторге скачет.  
– Вот вам экспромт, господа!

– Ха! ха! ха!.. ха! ха! ха!..

– Bravo, Дмитрий Петрович!

«Как жаль, – подумал драматург-водевильист, смотря на издателя известной газеты с чувством глубокого удивления, – как жаль, что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. С каким удовольствием делали бы это другие!»

И он глубоко вздохнул.

Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпитафии, между тем, по требованию господ, недослышавших его выходки, повторил свое четверостишие голосом более громким и торжественным и был снова осыпан всеобщими похвалами.

– Хорошо, командир! – сказал хозяин.

Эти слова произвели такое действие, что сотрудник мог еще целый час продолжать свой рассказ без опасения потерять слушателей, потому что издатель, награжденный похвалой своего сотрудника, который редко обращал внимание на его остроты, необыкновенно развеселился.

– Не правда ли, господа, – сказал он, когда тишина восстановилась, – рассказ, которым угощает нас мой почтенный сотрудник, стоит хоть какого отличного завтрака?..

Никто не осмелился противоречить, хоть, без сомнения, многие отдали бы десять подобных рассказов за рюмку водки и бутерброд.

– Ну-с, милейший мой, продолжайте..

И сотрудник, очень хорошо понявший выгоду своего положения, продолжал:

– Я имею несчастье, господа, принадлежать к числу тех людей, которые смотрят на женщину как на поэтическое создание, как на святую..

– Весьма верный взгляд, – заметил издатель.

– Всякий, почти всякий из вас на моем месте, верно, не устоял бы против

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не крас  
искушений, которые на каждом шагу расставлял мне демон соблазна. Я думал иначе.  
Погубить столь чистое, благородное и кроткое создание у меня не достало бы ни  
духа, ни совести; я понимал также, что не могу и жениться на нищей. И, однако ж,  
несмотря ни на что, непреодолимая сила влекла меня к ней. Я желал познакомиться  
с ее матерью, войти в их дом...

– То есть в конурку, – заметил кто-то...

– Ну да, в конурку. Но девушка сказала мне, что желание мое покуда несбыточно, и умоляла не разрушать обмана, благодаря которому мать ее довольно спокойна.

Прошло два месяца. В продолжение их Амалия была у меня раз пять и всегда получала какую-нибудь помощь. Наконец она прибежала третьего дня поутру и со слезами на глазах рассказала, что матери ее гораздо хуже, что нужна непременно и скорая помощь. Поверите ли, сердце мое облилось кровью: у меня почти совсем не было денег. Отдав ей последнюю мелкую монету, я просил ее прийти послезавтра и обещал оказать тогда гораздо большую помощь. К тому же, то есть к сегодняшнему, дню я приказал прийти некоторым моим кредиторам (двух из них вы имели счастье видеть). Назначая им этот день, я имел в виду деньги, которые получу с бенефицианта за мою пьесу. И вот я их получил. Бенефициант вручил мне двухсотенную ассигнацию – цена, за которую мы уговорились. Я просил у него мелких ассигнаций или серебра, но он сказал мне, что все деньги жена увезла домой. Дальнейшие события этого вечера всем вам, господа, очень хорошо известны: мы пили вместе, но я, кажется, выпил более всех, потому что, пришедши домой, едва мог кой-как прочесть корректуру, которую приказал человеку отнести пораньше в типографию, и завалился спать. Поутру я проснулся довольно рано, и первую мыслью моею была мысль о завтраке, на который я вас пригласил. Я рассудил, что всего лучше будет послать за завтраком к хорошему ресторатёру...

– Прекрасная мысль!

– ...и с нетерпением ждал моего человека, который, отправляясь по моим поручениям и своим собственным нуждам в город до моего вставанья, имеет обыкновение запирает меня в моей собственной квартире и уносить ключ с собою...

– Мой Санхо-Панчо делает так же, – заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпитафии. – Только я приказываю ему класть ключ на всякий случай в щель, которая у нас под дверями. Можно ключ достать и с той и с другой стороны, а менаду тем посторонний никто не знает.

– А вот мы вас и обокрадем! – сказал лунатик <5 громким хохотом.

– Мой человек, – сказал один молодой актер, – также имеет обыкновение запирает меня, но он поступает так единственно из предосторожности, чтоб меня самого не украли: больше украсть нечего!..

– Здесь, господа, – продолжал сотрудник, улынувшись наивному простодушью юноши, – начинается цепь тех несчастных событий, которые были причиной продолжительного вашего дежурства на холоде и невольного пощения. Человек мой до сей поры не возвращался: вероятно, он сидит в кабаке с приятелями, которых у него тьма-тьмущая...

– Конец! конец! – воскликнули многие с радостным нетерпением. – Скажи, братец, что ж за охота была тебе мучить нас рассказом о старухе и ее дочери, которые совсем нейдут к делу...

– В том-то и дело, что не конец, – отвечал сотрудник. – Здесь только начинается...

– Что начинается? – спросили многие с ужасом.

– Развязка, – отвечал хладнокровно сотрудник. – Ужасная, роковая развязка, перед которой все рассказанные мною события покажутся совершенно ничтожными. Пропал человек – беда еще небольшая! Нельзя принести сюда завтрака – я бы мог, господа, пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну...

– Всего лучше к Леграну, – гастрономически заметил Кудимов.

– Что же мешает тебе исполнить свое прекрасное намерение? – спросил Анкудимов.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Пойдемте, – сказал Х.Х.Х., – ты доскажешь нам свою повесть дорогой.

– В самом деле: веселей будет идти.

– Увы! Господа, – отвечал сотрудник. – У меня нет; ни копейки денег!

Белолицый и беловолосый Х.Х.Х. побледнел как мертвец. Длинноногий Кудимов выронил восклицание ужаса и с разинутым ртом, с выпученными глазами; остался в том положении, в каком застала его ужасная весть: он протягивал зажженную спичку к погасшей трубке, насаженной на длинный чубук. Но всех ужаснее был водевильст-драматург: улыбка самодовольствия и льстивого внимания, постоянно украшавшая его сальные растрескавшиеся губы, не успела совершенно исчезнуть, но превратилась в какое-то странное смешение – сахара с дегтем, варенья с хреном, добродетели с желчью; зубы застучали, глаза выражали недоумение и боязнь. Страшная весть сотрудника не привела в ужас только тех, у кого были в кармане деньги, за которые, как известно, очень легко достать завтрак в любой из петербургских ресторанов...

– Ну-с, милейший мой, – сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – продолжайте!

– Чтоб кончить мой рассказ, нужно возвратиться к тому, на чем меня перебили, – сказал сотрудник с печальной улыбкой. – У всех ли достанет терпения дослушать меня?

– О, без сомнения!

– Итак, господа, я с нетерпением ожидал человека, чтоб распорядиться приготовлениями к завтраку. Прошло около часа; вдруг слышу робкий, несмелый стук в двери; вставать страх не хочется, да и что было бы пользы, если б я встал? Лежу! Постучат, думаю, и уйдут. Так нет, стук продолжается, усиливается и наконец принимает все признаки барабанного боя. Меня взорвало; вскакиваю, бегу к двери и кричу с гневом: «Пожалейте своих кулаков! Человек мой ушел и унес с собою ключ: я заперт!» Иду назад через кухню – слышу, стучат в стекло; оглядываюсь и узнаю... кого бы вы думали?..

– Амалию!

– Первым делом моим, господа, было возвратиться опрометью в кабинет и накинуть халат; затем подхожу к окошку, отпираю форточку; Амалия делает невольное движение ко мне, я к ней: уста наши встречаются...

– Водевиль, решительно водевиль!

– Нет, господа, драма. Амалия была бледна и печальна; на лице ее я не мог не заметить признаков только что высохших слез. Если б не преграда, разделявшая нас, я готов был бы броситься на колени и просить прощения в моей невольной дерзости.

– Отчего ты так печальна, Амалия?

– Ах, я несчастна, очень несчастна!

– Не новая ли беда вас постигла?

– Ах да, ужасная!

Она зарыдала.

– Говори. Я помогу тебе перенести ее. Ты знаешь, как я люблю тебя, как драгоценно мне твое счастье!

– Если б не ваша любовь (я говорю ее собственными словами, господа), если б не уверенность, что есть на земле человек, которому я что-нибудь значу...

– О миленькая!



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– О несравненный!

Я сделал к ней движение, но оно было так быстро и неосторожно, что на лбу моем и теперь еще можно ощупать шишку, которую я получил, ударившись об раму (я как-то особенно счастлив на шишки). Амалия вскрикнула от испуга; но я успокоил ее, просунул голову в форточку, и поцелуи градом посыпались на мою рану: боль, разумеется, тотчас прошла!..

– Я умерла бы, я давно уже не в состоянии была бы переносить тяжелых испытаний, которыми обременяет меня судьба, – лепетала она, продолжая прежнюю мысль. – Да если б еще не мать, не моя больная, бедная мать!

– О добрая девушка!

Робким, трепещущим голосом рассказала она, что матери ее с каждым днем становится хуже, что малейший признак нищеты приводит ее в ужас. Я благодарил судьбу, что имею средство помочь страдальце, и побежал в кабинет.

– У меня нет мелких, – сказал я, возвратившись с двухсотенной ассигнацией, кроме которой у меня действительно не было ни копейки. – Если б ты согласилась немножко подождать... Придет мой человек... я пошлю разменять...

– Моя мать, моя бедная мать! – произнесла девушка, ломая руки. – Может быть, она теперь при последнем издыхании!

Я не знал, что делать; сердце мое разрывалось; если б в ту минуту попался мне под руку мой человек, я бы растерзал его. Вдруг счастливая... счастливая!.. (сотрудник горько усмехнулся) мысль озарила мой разум...

– Добеги в лавочку, – сказал я. – Разменяй эту ассигнацию: возьми себе сколько нужно... двадцать пять, пятьдесят рублей... а остальные принеси мне...

Она пошла – и не возвращалась...

Некоторые хохотали, другие принялись утешать бедного сотрудника газеты, говорили, что, быть может, долгов отсутствие девушки произошло от каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, и пр. и пр.

– Напрасно вы тратите свое красноречие, господа, – сказал он печально и мрачно. – Припоминая все побочные обстоятельства, все декорации небольшой драмы, которую я вам теперь рассказал, я с каждым часом более и более убеждаюсь, что «она» – просто плутовка. Не старайтесь утешать меня, я очень твердо уверен, что одурачен!

Никто не посмел возражать такому сильному убеждению, которое к тому же имело вид вероятности. Водевист-драматург, долговязый друг его и некоторые другие взяли за шляпы, опасаясь прозевать скромный домашний обед, что было бы очень накладно в их положении. Я остановил всех, пригласив отобедать на мой счет в ресторации.

Мы обедали до полуночи, подтрунивая над сотрудником, который, выпив с горя всех больше, повторял беспрестанно раздирающим душу голосом:

– Я дурак, я ужасный дурак!..

#### Глава VIII

Успех моего водевиля имел пагубное влияние на всю мою жизнь. Я возмечтал, что настоящее назначение мое быть литератором, и на третий же день принялся писать драму. Страсть мараить бумагу до того мною овладела, что я не мог ничего более делать, ни об чем более думать и говорить. Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпитафий, которому я отдавал безденежно мои небольшие статьи и стихотворения, продолжал разжигать мое самолюбие словесными и нередко печатными похвалами, которые даже мне самому казались преувеличенными. Впрочем, надо заметить, что о достоинстве моего водевиля он отозвался довольно глухо и вовсе не упомянул о блистательном вызове, которым удостоила меня публика. Он сам подвизался на драматическом поприще и всякий посторонний успех почитал личною для себя обидою. Отзывы других журналов были коротки и вовсе не так злы, как я ожидал: умный и осторожный во всех щекотливых случаях журнал новой литературной

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не школы не показал даже и вида, что имеет особенную причину к неудовольствию на мой водевиль. Зато почтеннейший, как говорится со времени меткой эпиграммы Пушкина, расписался. На русском языке есть простая, но очень выразительная поговорка «шапка на воре горит», которую почтеннейший оправдал как нельзя более. Благодаря его безрассудной запальчивости, плохонький фарс мой прожил гораздо дольше, чем бы следовало: почтеннейший в продолжение нескольких лет в каждом номере своей газеты и даже во всех написанных с того времени брошюрах и книгах доказывал, что лица, выведенные в моем водевиле, неестественны и некоторые, как, например, лицо журналиста, вовсе невозможны. В одной из первых статей, в припадке необузданной злости и непреодолимого желания задеть меня побольнее, сочинил целую историю, в которой доказал ясно как день, что я цыганской породы, что отец мой торговал лошадьми, мать крада кур по деревням и пр. и пр. Так как генеалогия моя в Петербурге очень немногим была известна, то нашлись люди, которые поверили выдумке изобретательного журналиста и даже нашли в моей физиономии тип цыганского племени. Я не остался в долгу и в сотый раз в огромной статье развил темные слухи о не совсем-то блистательном происхождении почтеннейшего и о некоторых похождениях его, предшествовавших вступлению на поприще журналиста. Между нами завязалась горячая брань, которую публика следила с необыкновенным вниманием: в то время ей не наскучили еще подобные стычки. Наконец как с той, так и с другой стороны все средства к нанесению печатных ударов истощились. Почтеннейший по своему обыкновению повторил снова в одной статье всю брань, которую потчевал меня отдельно, и принял другие меры: я их не назову здесь, но они были гораздо действительнее первых, ибо были направлены на мой карман и на личную мою безопасность. Наконец одна из них взбесила меня до крайности.

– Ради бога, – говорил я, вбегая в кабинет к издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, где собралось уже довольно много народа. – Ради бога! научите, что мне делать с почтеннейшим. Я готов убить его!

– Убить? – сказал издатель с улыбкою. – Зачем так много! Будет того, милейший мой, что и побить!

– Побить! В самом деле!

Мысль издателя мне очень понравилась; я искал в голове средств к ее исполнению. Издатель как будто отгадал.

– Вот вам товарищ! – сказал он, подводя ко мне человека лет сорока в широком поношенном фраке и довольно больших сапогах, которые шибко стучали. – Герман Кристофорович Гандбух, бумажный фабрикант.

– Вы имеете причины негодовать на почтеннейшего? – спросил я фабриканта.

Он поднял кверху сжатые кулаки и заговорил по-немецки с таким жаром и с такою поспешностью, что, при моих слабых познаниях в немецком языке, я мог понять только пятую долю. Почтенный фабрикант доводил до моего сведения, что готов потерять половину своего капитала, лишиться на год употребления рук, продежурить целый месяц на морозе, только бы побить почтеннейшего. Энергия, с которою он говорил, нечувствительно сообщалась еще двум лицам, которые изъявили желание принять деятельное участие в нашем предприятии: то были сочинитель глупой до невероятности и пустой повести из времен Петра II и поэт, занимавшийся препровождением из дома в дом вестей разного рода, которого приличнее назвать сплетником.

Издатель был в восхищении и с удивительным искусством придумал план нападения.

– Почтеннейший, господа, каждый четверг бывает у одного своего приятеля, откуда возвращается в совершенном «упоеании» на извозчике. Стоит вам только подстеречь...

– Прекрасная мысль! – воскликнул сидевший до того времени в глубоком молчании беловолосый Хапкевич. – И я с вами, господа, и я с вами!

Члены опасного предприятия, подхватив, пожали руку новому товарищу...

– Bravo! – воскликнул издатель. – Когда и вы с нами, я ручаюсь за успех...

– Уж и вам бы, Дмитрий Петрович? Право, веселей было бы дожидаться! – сказал

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов поэт.

Но издатель ловко отклонил от себя предложение поэта и посоветовал нам для большего успеха в предприятии держать его как можно секретнее.

Наступил четверг. Мы ждали целую ночь на перекрестке, но ожидание было напрасно: почтеннейший не проезжал, хотя нам достоверно было известно, что он в тот день по обыкновению отправился к своему приятелю. Очевидно было, что почтеннейший был предупрежден. Кем же?

Недоумение наше разрешилось, когда на третий день почтеннейший объявил Хапкевича главным сотрудником своей газеты...

– Предатель! – сказал немец, стуча кулаками, и мы все повторили: «Предатель!..»

Все прежние планы и стремления показались мне недостойными моего дарования. Актеры ласкали меня, и каждый непременно хотел иметь в бенефис пиесу моего сочинения, уверяя, что в противном случае лишится половины сбора. В простоте сердца я верил магическому действию своего имени и усердно принялся за работу; издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, также нередко присылал ко мне дружеские записочки, нет ли какой-нибудь статейки, уверяя, что без моего участия газета его видимо делается хуже. Я и этому верил и скоро дошел до того, что вообразил себя человеком, необходимым для русской литературы и русского театра. Чем более ко мне поступало подобных требований, тем я становился надменнее; невыразимое наслаждение находил я рассказывать своим друзьям, как у меня много дела, к которому дню надо что кончить и прочая. Журналисты и в особенности актеры – такие люди, что если вы им что-нибудь пообещаете, то уж непременно исполните. Заботливость, с которою они в таких случаях стараются, чтобы сдержали свое честное слово, доходит до мер самых решительных. Были примеры, что автор, пообещавший водевиль бенефицианту, дописывал его у одра умирающей жены или матери. Поэтому можно судить, какими цепями оковал я себя, надавав необдуманно обещаний журналистам, актерам и актрисам. Беспрестанно ко мне приходили с записками, всё мое время было поглощено. При таком ходе дел лекции мои совершенно остановились. Я не только не ходил в университет на лекции, но даже перестал являться на репетиции. Дело кончилось тем, что я должен был выйти из университета. И я вышел. Итак, вот чем кончились те усилия, с которыми я добивался студенчества. Несколько времени мне было как-то совестно самого себя: я был не из тех людей, которые хлопочут о правах, доставляемых окончанием курса в высших учебных заведениях, и, однако ж, крепко задумался. Впрочем, раздумье скоро прошло. «Что делать, – говорил я сам себе, – надо ковать железо, пока горячо: неужели мне бросить всё и погрузиться опять в школьные занятия, когда литературные дела мои пошли так счастливо? Бог знает, что будет после: может быть, я уже никогда не попаду на такую хорошую дорогу, если оставлю ее. Мое назначение – литература. Покуда у меня есть чем жить, а когда деньги станут подходить, примусь за ум: стану ставить пиесы в платную и брать деньги за статьи!» Так думал я и совершенно утешился, что оставил университет; даже, наконец, нашел, что сделал очень благоразумно.

Жизнь, которую я вел и которую ведут все праздные и полупраздные петербургские холостяки, молодые и старые, не представляет ничего особенного. Члены нашей партии встречались каждый день несколько раз: в кондитерской – за завтраком, в ресторации – за обедом и у кого-нибудь из наших – за картами и ужином. Более или менее значительными отступлениями от такой жизни были те дни, когда нам приходило в голову подурачиться. Тогда мы обыкновенно с шумом врывались в какой-нибудь клуб или просто танцкласс, шатались по Невскому в те часы, когда там гуляют ночные мечтательницы.

Петербургские танцклассы – предмет, достойный изучения и наблюдения. Сюда собираются по указанным дням особы из дамских магазинов и других тому подобных мест, сам-друг, сам-третей, иногда под предводительством старой и уродливой женщины с проницательным взором.

Постоянные посетители танцклассов – чиновники губернских присутственных мест (удивительные чиновники, о которых не могут дать понятия ни провинциальные чиновники тех же присутственных мест, ни столичные высшего полета); чиновники статские и частью департаментские; молодые офицеры путей сообщения; артиллеристы и даже гвардейцы, только что вышедшие в отставку для поступления в статскую службу; записные бильярдные и отъявленные карточные (средней руки) игроки,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы, которые обыкновенно награждают себя разгульной и шумной пирушкой в буфете танцкласса за долгое терпение, которым они от навыка поджидать в кондитерских и ресторациях новичков обладают в замечательной степени; молодые довольно благообразные военные и статские люди, которые извиняют свое присутствие в танцклассах весьма похвальной целью – усовершенствовать себя в танцах, ловкости и обращении с прекрасным полом; наконец, все те, которые не имеют доступа в порядочное общество и которым нечего делать; господа, от сюртуков которых пахнет кожей; господа, одежда которых издает запах только что выглаженного платья, смешанный с табачным запахом; приказчики магазинов, гимназисты, студенты; наконец, тут же вы можете встретить в визави собственного вашего лакея, на котором узнаете свой собственный шарф, а иногда даже и сюртук или фрак; однажды в одном из танцклассов я встретил даже очень хорошо выбритого и прилично одетого господина, который накануне пришел ко мне с небритой бородой, в изорванной шинели, надетой на рубашку, с документом, который обыкновенно подают нищие так называемого «благородного происхождения». Дамы, посещающие танцклассы, суть молодые и пожилые особы, которые не простят вам самой невинной двусмысленной шутки, сказанной вслух, но очень милостиво выслушают на ушко то же самое с гораздо яснейшим дополнением. При входе в танцкласс с мужчин берется за вход от двух рублей до пяти; дети мужского пола платят половину (старинный обычай); с дам ничего не берут; очень хороший расчет: потому что если бы не было в танцклассе дам, то не было бы и мужчин. Здесь танцуют так, как нигде не танцуют: позволяют все фигуры, вышедшие из моды и вводимые в моду, скачки и прыжки. Люди более солидные, обеспечив себя касательно главной причины появления их в танцклассе, удаляются в буфет, где дымятся трубки, кипит пунш и рекой льется донское, которое здесь зовут горским или оттоманским; в антрактах танцев в буфет иногда забегают и дамы, причем аматеры тотчас спешат к ним с полными бокалами; в таких случаях иногда разыгрываются страшные драмы. Шум здесь постоянно невыносимый: кричат, бранятся, рассказывают анекдоты и хохочут тем здоровым, от полноты горла выходящим смехом, которого в порядочном обществе не услышите; бывает, что дело дойдет и до драки; в таких случаях содержательница танцкласса – ловкая и недурная особа средних лет – обыкновенно употребляет всю ловкость и пронырливость своего ума, чтобы не довести дело до надзирателя. Старания ее почти всегда увенчиваются успехом, потому что меры ее решительны: и сильны: она объявляет прекрасной особе, за которую; произошла ссора (ссоры в танцклассах большею частью, бывают за прекрасных особ), что ноги ее не будут в танцклассе, если рыцари ее не уймутся. Быть изгнанной из танцкласса – такое ужасное наказание для особ, которые составляют женскую часть публики танцкласса, что они готовы решиться на всё. Люди, которых хмель начинает одолевать, засыпают в буфете; люди, которых излишнее употребление вина доводит до тошноты и других последствий, еще ужаснейших, производят тут же всё, что может облегчить их ужасное положение. Танцклассы оканчиваются, кроме важных праздничных дней, в два часа. Разъезжаются парами. Хозяйка раскланивается и объявляет о дне следующего танцкласса. Замечательно, что содержательницы танцклассов большею частью замужние женщины, живущие розно с мужьями, тогда как содержательницы заведений другого рода с тою же целью почти всегда вдовы или старые девки, имеющие при своих квартирах особую комнату, занимаемую холостым человеком...

В дни, когда танцклассы были закрыты, страсть попоказывать и подурачиться приводила нас на Невский проспект в часы, когда мрак распространялся по улицам, фонари зажигались и проспект, словно китайскими тенями, наполнялся особами в шляпках, платках, чепчиках и шапочках.

– Куда вы идете?

– А вам на что?

– Может быть, нам по дороге?

– Разумеется, не по крыше.

– Вы очень злы!

Молчание. Разговаривавшие приближаются к фонарю. Мужчина заглядывает под шляпку своей спутницы и быстро отскакивает, воскликнув;

– Какая рожа!

Потом он подходит к другой особе и предлагает вопрос:

- Как вас зовут?
  - На что вам?
  - Так. Приятно узнать имя такой хорошенькой.
  - В самом деле!
  - Да, в сам... в самом деле...
  - Ай! что вы делаете!
  - Ищу вашей ручки.
  - Отойдите от меня!
  - Ну вот вы и рассердились... Я не ожидал: у вас лицо такое доброе, хорошенькое... Дайте же ручку: помиримтесь!
  - Вы опять. Не шалите!
  - Я тоже добрый. Я совсем не такой, как вы, может быть, думаете. Если б вы зашли ко мне, посмотрели, как я живу, узнали бы меня покороче...
  - Вот еще. Я никуда не хожу.
  - Но ко мне...
  - Ай!.. У вас воротник бобровый!
  - Бобровый. Я дал за него четыреста сорок рублей.
- Проходят мимо фонаря.
- В самом деле бобровый? А где вы живете?
  - У Владимирской. Близехонько... Пой... пой... ддд... емте...
  - Шалун! Я уже вам сказала, что никуда не хожу...
  - Ну так, может быть, вы лучше любите ездить?
  - Ха! ха! ха!
  - Извозчик!

Редкий вечер проходил, чтобы мы не были в театре. Я принадлежал к числу самых отчаянных театралов и ухаживал за актрисой, замечательной не столько по своему таланту, сколько по красоте. Она была еще воспитанницей и являлась на сцене довольно редко на выходы и в незначительных ролях гостей. Здесь довольно рассказать очень забавное похищение. Такие случаи были в то время довольно часты. По предварительному условию с актрисой, в один прекрасный день в театральную школу явилась довольно благообразная женщина и бросилась обнимать воспитанницу, называя ее своей племянницей. Племянница отпросилась на воскресенье к только что приехавшей из провинции тетушке и через час явилась в прекрасно меблированной уютной квартирке, нанятой мною для нее. С тех пор она уже не возвращалась в школу. В театре мы всех громче кричали, аплодировали плоским сальностям и, будучи почти всегда в полутрезвом состоянии, беспощадно шутили над публикою, с умыслом подавая сигнал ко всеобщим одобрениям там, где нужно было бы шикать, и наоборот. Замечательно, что наши шалости почти всегда находили отголосок если не во всей, то в большей части публики. Случалось также, что мы шикали хорошим актерам и актрисам, которых не любили, и аплодировали без ума бездарным крикунам. Впрочем, шутки наши не прошли нам даром: однажды, будучи пьяны больше обыкновенного, мы до того забылись, что начали бранить одну недоступную по своей добродетели и благородную артистку; она зарыдала и принуждена была уйти со сцены, не кончив роли, Я довольно счастливо извернулся от печальных последствий безрассудного своевольства, но некоторые из нашей

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовской компании, особенно два молодых гвардейца, значительно пострадали.

Но всего чаще проводили мы время за картами. Страсть к картам у меня развилась, если помнят, еще в детстве; впоследствии она было погасла, но, когда явились средства к удовлетворению, снова проснулась и с большею силою: иногда я забывался до того, что готов был проигратъся до гроша. Только слепое счастье спасало меня.

Прежде чем приступлю я к окончанию второго периода моей жизни, нужно упомянуть о Параше, которую мы совсем забыли.

Я не ошибся, наделив Парашу еще в первый день нашей встречи прекрасными качествами души и сердца. Это было милое, добродушное, в высшей степени наивное существо, какие довольно редки. Как она благодарила бога за встречу со своим благодетелем и как невольно в каждом слове ее высказывалась беспредельная любовь ко мне. Надобно было иметь каменное сердце, чтобы оставить в грубой коре этот чудный алмаз, эту прекрасную девушку, способную к восприятию всего прекрасного и которая притом так беспредельно меня любила. И я решился, как сам тогда сказал себе, быть спасителем духовных сокровищ, которые таились в глубине этой прекрасной и чистой души. С большим трудом удалось мне уговорить Парашу принимать от меня небольшую помощь, которая избавила бы ее от унижительных дежурств на улице и дала ей средство проводить это время у меня. Ей самой хотелось учиться, во мысль о том, что она должна обманывать отца, приводила ее в ужас. Каждое утро Параша приходила ко мне и уходила вечером; с жадностью слушала она небольшие мои сведения, которые я передавал ей, и читала книги по моему выбору. Она образовывалась с таким успехом, что к концу полугодия я заметил, что сведения, которые я мог передать ей, уже все. Но всего более любила она рисовать. Меня часто не было дома; в это время Параша рисовала. Часто я заставлял ее в слезах: она вспомнила черты своей матери и рисовала ее портрет; скольких слез, скольких напряжений памяти и рассудка стоила ей ее прекрасная работа. Она работала целый месяц и на всё это время просила меня уволить ее от уроков; Параша так была погружена в свою работу, что я испугался: лицо ее постоянно было задумчиво и, кроме того, покрылось необычайною бледностью, глаза светились странным огнем. Часто я заставлял ее в слезах, она с отчаянием щипала свою кисть, около нее лежали лоскутки изорванного портрета. «Что с тобой?» – спрашивал я. Параша падала ко мне на грудь и со слезами говорила, что портрет не похож. Это приводило ее в отчаяние. Бедная девушка совсем переменялась, стала желта, суха, задумчива до вялости. «Я думала, – говорила она, – что я уже порядочно рисую. Я очень ошиблась! Какая я рисовальщица: не могу даже нарисовать портрета своей матери!» – «Но ты ее давно не видала! Этот портрет должен быть довольно похож, – говорил <я>, складывая лоскутки, – судя по тому, что в нем есть черты, сходные с твоими!» – «Бумага, холодная бумага! – отвечала Параша рыдая. – О, я совсем не умею рисовать!»

Я не знал, что делать. Я уже передал все мои небольшие познания в живописи, я сам с ней несколько раз принимался рисовать портрет ее матери, которой никогда не видал. Но и совокупные наши труды не удовлетворили Парашу. «Хочешь ли ты учиться еще живописи?» – спросил я. «О! – отвечала она. – Учиться, целый век учиться, только бы когда-нибудь увидеть матушку!» Как ни велика была робость Парашу, однако ж она без труда <согласилась> на план, который я придумал. Через несколько дней у нее был учитель живописи, один из лучших петербургских художников. Параша была сначала рекомендована ему под именем моей двоюродной сестры, круглой сироты; но скоро почтенный старичок так полюбил Парашу, ему до того понравилось чуть не безумное, но поэтически прекрасное желание Парашу, что не было никакой надобности от него скрываться! Он употреблял все свои силы и способности. Параша училась с необыкновенным старанием и, когда уходил учитель, тотчас принималась за портрет. Она нарисовала их с десятков, но была ими недовольна.

– Научите меня теперь только делать глаза, – сказала она своему учителю через полтора месяца после начала своих уроков. – Так делать глаза, чтобы в них было как можно больше доброты – доброты, чтобы они смотрели как живые, улыбались так тихо-тихо, как у человека, когда он набожно молится...

Параша училась уже месяца три. Желание нарисовать портрет матери превратилось у нее в род болезни, которая могла быть гибельною для ее рассудка. Но попытки были неудачны.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Я пришел домой часу во втором и застал Парашу за обыкновенного ее работою: она рисовала портрет матери; во в лице ее не было на сей раз вовсе заметно тех болезненных усилий, которые обыкновенно являлись при этой утомительной работе. Оно сияло каким-то дивным спокойствием и было необыкновенно привлекательно: никогда я не видал Парашу такой хорошенькою! Глаза ее светились ярким блеском; на устах порхала ангельская улыбка. Она вовсе не заметила моего прихода. Боясь помешать ей, я тихонько подошел к ее стулу и начал внимательно следить за ее работою. Если человеческая природа действительно не чужда того, что называют вдохновением, то я видел его, видел лицом к лицу, в простой пятнадцатилетней крестьянке, которая сидела передо мною. Лицо ее с каждою минутою принимало более и более какой-то неземной ясности, рука легко и быстро скользила по бумаге; дыхание ее было сильно и торопливо, как у человека умирающего, который боится умереть, не досказав тяготящей его тайны. С час продолжалась работа Парашу, она не останавливалась ни на минуту: передо мною возникло простое лицо старушки, одушевленное добротою и набожностью; нос, лоб, губы были уже сделаны, оставалось окончить глаза, и напряжение Парашу удвоилось; дыхание стало еще чаще; лицо как-то странно засветилось; в глазах был огонь. Я стоял как окаменелый, не смея пошевелиться: мне казалось, что, если б в эту минуту скрипнула дверь, книга упала с этажерки, муха прожужжала по комнате, – Параша не могла бы кончить.

Наконец Параша тяжело вздохнула и положила кисть. Потом она закрыла глаза и с четверть часа их не открывала, даже дыхания ее не стало слышно. Мне стало страшно: я подумал, что она умерла, и сделал невольное движение. Параша открыла глаза, еще раз тяжело вздохнула; взгляд ее упал на портрет.

– Матушка! Матушка! – воскликнула она голосом, в котором отражались все чувства дочери, прижимавшей к сердцу после долгой разлуки нежно любимую мать. – Матушка! Наконец я вижу тебя!

Слезы градом хлынули из глаз восторженной девушки, которые обратились к образу. С полчаса Параша плакала и молилась...

Молитва ее была чистым благоговейным излиянием благодарности, которую была переполнена прекрасная душа ее...

Потом она опять подошла к портрету, закрыла глаза и быстро их открыла; это повторила она несколько раз, как бы испытывая впечатления, производимые на нее портретом. И с каждой минутою, лицо ее принимало отражение сильнейшей радости.

– Это ты, матушка! Твои губы, твой лоб, твой нос, твои глаза, твои добрые, прекрасные глаза... всё твое... О, теперь я опять не одна! Теперь мне будет кому поверять свое горе... Теперь я больше не буду ни плакать, ни жаловаться!

Восторженное состояние Парашу было нарушено неожиданным приходом ее рисовального учителя Ивана Францевича Буше. Параша бросилась перед ним на колени и со слезами благодарила его за спасение жизни.

– Вы спасли меня, потому что я бы умерла, непременно умерла, если б еще день не видала матушки... Я была так уверена, что не увижу ее сегодня, что совсем приготовилась умереть. Теперь другое дело: я здорова... о, я чувствую, я здорова, как никогда не бывала... И посмотрите, я теперь буду всегда весела!

Добрый учитель был тронут до слез. Он рассматривал создание Парашу с наслаждением артиста и с нежностями отца, радующегося успехам дочери. Это ли, или, в самом деле, достоинство портрета заставило его объявить мне с сурьезным и глубокомысленным видом, что из Парашу выйдет гениальная художница... Он объявил, что будет учить Парашу без всякой платы, и действительно сдержал слово: я никак не мог принудить его взять деньги, которые ему следовали за уроки.

Добрый старик! Ты так любил Парашу, ты так твердо был убежден в ее глубоко артистической натуре; помню, ты называл ее (быть может, многие засмеются) гениальной художницей. Может быть, ты был прав!.. Бедный, как все артисты, ты так велико душно отказывался от небольшой платы, которую я предлагал за ее уроки: ты называл наслаждением давать ей уроки. Ты так любил Парашу... ты убирал ее будущее такими чудными фантастическими цветами; ты хотел сделать из нее артистку. Что сказал бы ты, когда бы узнал возмутительную участь, которую готовила судьба молодой девушке? Сердце твое облилось бы кровью; благородное негодование <едва ли>, не задушило бы тебя: потому что судьба этой девушки –

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов ужасна!..

Параша переродилась. Она опять стала весела и беспечна; возвратилась к прежним своим занятиям; цвет ее лица поправился. Она училась всему, что я мог передать ей, но с особенным удовольствием предавалась живописи. Ее прекрасная душа вся была отдана одному искусству; другие были только побочными. В живописи сосредоточивались все способности ее души, – точно так, как способности многих сосредоточены на поэзии, на корысти, на честолюбии. Живопись была ее природным языком, ее сферою. «Нарисуй мне это, – говорила она, когда я силился что-нибудь объяснить ей, – и я тотчас пойму!»

На душе моей лежит несколько тяжких грехов против Парашы, которые я никогда себе не прощу: я имел глупость несколько раз профанировать вдохновенные труды Парашы, хвастливо показывая их моим приятелям. Однажды вино до того меня обезумило, что я даже хотел показать им Парашу...

Параша убежала домой и целые три дни ко мне ни ногой. Я должен был дать ей клятву, что вперед этого не будет...

Может быть, теперь есть еще люди, которые не забыли художественной выставки 18\*\* года. Здесь, между прочим, обратила внимание знатоков одна картина, о которой рассказывали, что она труд тринадцатилетней девушки простого сословия. Эта картина, в самом деле прекрасная, изображала трогательную семейную сцену: представлена была умирающая старуха с удивительно добрым и спокойным лицом; у одра ее на коленях стояла девушка удивительной красоты, с глазами как у Мадонны; в ногах стоял старик: грубое лицо его было мрачно и неподвижно; губы странно сжаты, как будто он боялся, что, раскрыв их, лишится последней искры жизни; волосы его были всклокочены; он был одет, как русский простолюдник; поодаль от этой сцены дитя играло на полу и смеялось, глядя на эту сцену. Эта картина принадлежала Параше и представляла сцену, бывшую при смерти ее матери.

Большого труда стоило нам уговорить Парашу отдать эту картину на выставку. Как все истинные артистки, Параша была робка и недоверчива к своим силам; притом она писала для себя, а не для других. Иван Францевич напугал Парашу, что будет весь век на нее сердиться, и картина явилась на выставке.

Впечатление, которое произвела она, было незначительно, только некоторые истинные знатоки находили в ней повод к прекрасным надеждам. Один величайший художник, который пользуется европейской известностью, пожелал видеть Парашу, и она была ему представлена. Кроткое, ангельское лицо девушки, ее правильные полуразвившиеся формы внушили ему желание снять ее на одной из своих картин. Параша без больших усилий согласилась взять на себя роль натурщицы. И тут ничего нет странного: известно, что на подобную роль решаются женщины или слишком преданные искусству, слишком чистые душою, которые даже не способны принимать за стыд того, что делают во имя искусства, или наоборот. Параша принадлежала к числу первых. Портрет Парашы можно видеть на одной из превосходнейших картин великого художника. Другой портрет Парашы, который великий художник подарил ей, хранится теперь у меня, как единственный памятник этой необыкновенной женщины. Это одно из величайших произведений русской кисти...

Картина Парашы на публику не произвела, как уже сказано, особенного впечатления, поговорили и забыли. Никто не принял участия в судьбе бедной девушки. Да я и не желал этого, потому что мысль, что Параша была бы обязана <кому>-нибудь, кроме меня, меня ужасала...

Я сказал, что Параша по-прежнему жила дома с своим грубым и пьяным отцом. Я умолял ее открыть всё отцу и поступить в пансион, но Параша ни за что не хотела оставить отца. Обхождение старика, с тех пор как он не терпел недостатка в вине, стало несколько лучше; впрочем, бывали дни, когда припадки бешенства в пьяном старике возобновлялись. Параша сносила всё с ангельским терпением.

– Когда, – говорила она, – батюшка начнет обходиться со мною слишком жестоко, когда побои его становятся выше сил – я взгляну на портрет матушки и мне тотчас сделается весело!..

Однажды, когда Параша засиделась у меня слишком долго, я пошел проводить ее до ее подвала и заглянул в окошко. В этой комнате сквозь небольшое окошечко, приходившееся вровень с землею, я увидел старика, сидящего у стола на скамейке;



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов он был в старом овчинном, полушубке, зачиненном новыми овчинами; седые волосы его были всклокочены, голова старика качалась. Он держал порожний полуштоф над порожним стаканом и глубокомысленно наблюдал за медленным падением нескольких капель, остававшихся в полуштофе, в порожний стакан. Полуштоф дрожал в нетвердой руке его и, сталкиваясь с стаканом, производил легкий шум; при каждом таком прикосновении старик произносил какое-нибудь ругательство, выраженное голосом грубым и сиплым. Это его так занимало, что он не заметил Парашу, которая вошла потихоньку и поспешно спряталась за перегородку.

«Слава богу, – подумал я. – Параша сегодня избавилась от его буйства...»

Я собрал сведения об отце Парашу. Отец ее принадлежал одному известному вельможе, который десятками тысяч считает своих крестьян. Этот вельможа большею частью жил в Париже. Степан Власов жил крестьянином в одной из деревень князя, был довольно зажиточен, знал грамоту, отличался трезвым и честным поведением и, по обыкновению крестьян той округи, ходил каждое лето добывать оброк на «чужую сторону» – в Петербург. В один год, когда он с несколькими товарищами уже купил было так называемую сомину для путешествия водою на родину, четверо из них было удержано в Петербурге, и в числе их Степан Власов, – для занятия мест дворников при новокупленном господском доме, том самом, в котором я жил. Степан Власов был мужик расторопный и честный; знал грамоту и умел вести дела в порядке, потому очень скоро обратил на себя внимание главного управителя и был сделан главным дворником: должность, которая налагает ответственность за правильный сбор денег с жильцов, чистоту и опрятность дома и поведение остальных дворников, которые поступали под команду Степана Глебова. Глебов был рад этому повышению, потому что оно, отняв у него последнюю надежду на скорый возврат домой, в то же время дало ему средство перевезти в Петербург свое семейство, которое состояло из жены Глебова, семилетнего сына и осмилетней дочери. Когда мальчику минуло девять лет, его отдали учиться на шесть лет по контракту к одному иконописцу, который занимался также и другого рода живописью, по с особенным искусством писал вывески и малярил. Через год после этого события жена Глебова умерла. Глебов с горя запил; дела его пришли в расстройство, счетные книги в беспорядок. Он был наказан в части за упущения и низведен снова в звание простого дворника. Здесь начинаются те события, которые мы уже слышали от Парашу.

Эти сведения сообщил мне управляющий. Целью моею было выкупить Парашу и ее отца, дать ему средства возвратиться на родину, а Парашу отдать в пансион. Но этого нелегко было достигнуть. Нет сомнения, что богатый и великодушный вельможа не постоял бы за небольшим семейством и нисколько не воспротивился бы моей пели. Но на это нужно было его личное присутствие, ибо один только он мог дать свободу бедной девушке. Я был в отчаянии. Сначала я решился было написать. Но дойдет ли мое письмо до самого вельможи, и захочет ли он вникнуть в положение девушки, и до того ли ему? Сообразив всё это, я решился ожидать приезда вельможи, который, как сказал мне управляющий, обещал воротиться скоро. Но, увы! плану моему не суждено было состояться, и я никогда не прощу себя за безумный поступок, который лишил меня возможности спасти бедную девушку!..

<Часть III>

<Глава 1>

<...> того только и требует от книги! Забвения подавляющей действительности, обмана хотите вы, но его-то, предупреждаю вас, и не найдете в моей правдивой истории. Киньте же ее поскорей, читатель деликатный и благовоспитанный!

А кто решится за мною последовать, того попрошу я через полукруглые ворота, какие бывают на постоянных дворах, войти во двор большого четырехэтажного дома, довольно старого. Тут, менаду прочим, увидит он на правой руке в самом углу двора сильно погнувшийся на сторону деревянный одноэтажный флигель, невзрачный и унылый. Окна кривые и небольшие, где стекла, где сахарная бумага, ставни были, да ветром оторвало, а иная еще и цела, но, перекосившись на ржавой петле, торчит поперечь, и покачивается, и скрипит, и скрипит, как будто жалуется, что неловко ей и что лучше бы ее уж скорей сняли, чем висеть ей на волоске и каждую минуту ждать конца себе; посередине передней стены выступ, приставленный к зданию наискось, – выступ, имеющий форму собачьей конуры и называющийся крыльцом; с крыльца по небольшой лесенке с провалами после каждой ступени добираться до сеней; сени темные с известным капустным запахом, связкой дров, чаном на воду. Весь флигель состоит из двух комнат, разгороженных на четыре; из первой составились кухня и спальня – жилище хозяев; из второй – две небольшие конурки; в одну ход через кухню, в другую через темную хозяйскую спальню. Там жильцы. Но

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы остановимся прежде в первом отделении.

На столе свеча; около стола с работой в руках три женщины: хозяйка – старуха, с чертами лица, как говорится, крупными и топорными, строгая, востроглазая, – и две ее компаньонки–постоялки: одна – девица лет тридцати пяти, лицо круглое, всё белое, как сахар, с прозрачным лоском, круглые большие голубые глаза, бровей совсем нет, на висках косички светлых волос; другая – вдова, женщина с лицом кислым, на котором прочтешь: «Господи, прости и помилуй наши великие согрешения» – и больше ничего не прочтешь. Как она попала сюда – угадать нетрудно. У вдовы умер муж – хороший ремесленник и горький пьяница. Плакав с непонятною, но нередко в русских женщинах искренностью супруга, который колотил ее каждый раз, как напивался пьян, а напивался он не менее одного раза в сутки, – оплакав супруга, она попробовала было продолжать его ремесло, для чего, оставив при себе всех бывших мастеровых, необходимо должна была войти в ближайшие сношения с главным подмастерьем – малым лет двадцати трех, видным и плотным. Но, ко всеобщему изумлению, в подмастерье, прежде работавшем и скромном, вдруг начали обнаруживаться признаки отъявленного лентяя и забулдыги: чаще и чаще неизвестно куда начал он отлучаться в рабочую пору, возвращался ночью в нетрезвом виде, кричал, коверкал всё и опрокидывал и, врываясь в спальню хозяйки, требовал вина и денег. Как ни удивительно, что хозяйка терпела его при таком поведении, но еще удивительней показалась всем кротость, с которой перенесла она пощечину, попавшую ей от дерзкого подмастерья в ответ на ее укоры и наставления. Не вскрикнула она «караул» на всю улицу, не послала за квартальным, даже за будочником, а только воскликнула из глубины души: «Друг ты мой Василий Игнатьевич (имя ее покойного мужа), на кого ты покинул меня, вдову горемычную!» – и горько заплакала, после чего всё опять пошло прежним порядком и подмастерье остался по-прежнему блажить и командовать в доме. И сколько ни повторялись потом такие истории, а они повторялись часто, всегда имели они тот же конец: то же восклицание и те же слезы, ничего больше. Есть на Руси бабы уже так созданные, что им непременно нужен человек, который бы их колотил, без чего они тотчас вянут и чахнут, как растение без дождя и полива. Как бы то ни было, но тотчас после описанного случая дела приняли дурной оборот: работники, потеряв всякое уважение к хозяйке, а следовательно и весь страх, принялись лениться и пьянствовать. Инструменты, помогавшие им в работе, помогли и теперь: с рабочего станка полетели они в ближайший питейный дом и так быстро, что, когда, протрезвившись дней через пять и почувствовав даже нечто вроде угрызения совести, – к чему русский человек с похмелья бывает особенно наклонен, – пьянчуги решились было присесть за работу, то уже не нашли к тому никаких средств. Скучно стало им, даже немножко и страшно, да и та тут же еще беда, что ни у кого ни копейки, но как выпить было необходимо, то и решились заложить не больше как на одни сутки, с тем чтоб выкупить потихоньку, старый хозяйкин капот, висевший за дверью и редко употреблявшийся. Таким образом, с инструментов перешло на вещи, и вещей уже оставалось немного, как в одну ночь главный подмастерье, совершенно спившийся с круга, сломав замок у хозяйского сундука, забрал оттуда все деньги и лучшие вещи, захватил свой паспорт и пропал. Такое неожиданное событие повергло хозяйку в крайнюю горечь и совершенно успокоило работников (ибо теперь ничего не могло быть удобнее, как свалить похищение инструментов, капота и прочих вещей на бежавшего подмастерья), – утвердив их в том убеждении, что авось всегда вывезет человека и ничего нет лучше, как жить на авось. Подмастерье благодаря распорядительности местной полиция на третий же день отыскался, но ни вещи, ни деньги не вернулись к хозяйке. Ощипанная до последнего перышка, она пустилась скитаться по углам и каморкам и была так счастлива, что очень скоро попала на жительство к Дурандихе (прозвище хозяйки), женщине достойной, с которою, как она сама говорила, надеялась уже не расставаться до конца дней своих.

История старой девы сложнее и запутаннее, но обилие действующих лиц, долженствующих появиться в нашей повести, заставляет нас пропустить ее. Довольно сказать, что она любит вспоминать и рассказывать о каком-то старом счастливом времени, о каретах, гуляньях на Крестовском, в Екатерингофе и в Павловске; о том, что в танцклассах она была всегда лучше всех одета и что танцевать с ней кавалеры почитали за честь, что она никогда не позволяла с собою тех вольностей, какие позволяют другие девицы; о флакончиках с духами, благовонных мылах и, наконец, о нем, который так любил ее, так любил, что и сказать нельзя, и всякий раз, когда приезжал, привозил ей непременно подарок, а приезжал он иногда раза три на день. Но он уехал... Она ждала, ждала, не дождалась и переехала к той же доброй хозяйке, которая берет так дешево и у которой всегда приличная такая компания. Но если вы подумаете, что надежда уже совсем покинула ее сердце, что

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов для нее нет уже ничего в жизни, вы обманетесь. Нет, она ждет еще и теперь. Жизнь ее полна. Как только проснетесь она, тотчас к зеркалу – прихорашиваться, подмалаживаться, чешет длинную-длинную косу и сама заглядывается на нее и по часам над нею задумывается... о чем? распуская пуколки, завернутые с вечера в папильотки, вытирает лицо каким-то лоскутком, похожим на лоскуток замши, и потом, надев распашной капот, из которого выглядывает белая как снег, туго накрахмаленная юбка, садится к окну и устремляет меланхолический взор на старую безобразную стену сарая, торчащую перед окнами флигеля. Ее зовут Ольгой Петровной. Она говорит протяжно, стараясь придать каждому слову нежное выражение, хотя бы дело шло о капусте, и вообще держит себя как женщина, знающая, что такое хороший тон, и сама принадлежащая к хорошему тону. Хороший тон – конек ее.

Наконец надобно сказать кстати несколько слов о хозяйке. Хотя и вдова, и старая дева, и все жильцы и жилицы, какие когда-нибудь у нее были, называли ее доброй Аксиньей Ивановной, однако ж Дурандиха (Дурандихой звали ее потому, что муж ее, отставной унтер-офицер, человек очень почтенный, который, впрочем, всё спал, так что даже и сама хозяйка забывала, что у нее есть муж, прозывался Дурандин), Дурандиха, однако ж, была <...>

Столько в течение двадцати с лишком лет казарменной жизни наслушалась она солдатских речей, перебранок и всяких выразительных междометий, на которых основалось мнение о богатстве и разнообразии русского языка, так была окурена корешками и смрадной махоркой, столько перестирала рубах и всякой солдатской рухляди и, наконец, столько залечила ран и разных глубоких проломов на висках и лбу, нанесенных ей артелью солдат, среди которой жила она, что совершенно пропала, замерла и переродилась ее женская натура и вышел из нее точь-в-точь солдат в юбке, – да еще солдат грубый, буйный и взбалмошный. Высокая ростом, широкая в плечах, она и с виду походила больше на мужчину, чем на женщину. На лице ее была вся ее жизнь – выражение доли суровой, но вынесенной с тем особого рода стоицизмом, который с отвратительной уверенностью противопоставляет палочным и всяким ударам надежную крепость спины и затылка, всевозможным нравственным унижениям – закоснелость несокрушимую. Такой стоицизм, нередко встречающийся на Руси, выражается словом «околотился». Приемы имела она резкие и неприятные, говорила громко и грубо, разгорячась, бранилась, как матрос, стучала кулаком по столу, любила пить водку. Словом, то была одна из тех фурий, которые отравляют жизнь всех привязанных к ним какими-нибудь узами, одна из тех фурий, в которых судьба посылает иногда единственную опору существам слабым и робким, когда хочет подвергнуть их тяжкому испытанию.

И у нее было такое существо. С девяти лет взяла она к себе двоюродную племянницу, съездив за нею нарочно в деревню, – сироту круглую без отца и матери, без кола и двора... Зачем взяла она ее к себе? Ужели вот уже семь лет кормит и содержит она ее, попрекая, впрочем, каждым куском, из благотворительности, из родственного участия?.. Увы! Увы!..

Грустно делается мне, когда женщина расторопная и веселая, имеющая хорошее знакомство (судя по тому, что при встрече с ней многие молодые люди, статские и военные, приятно улыбаются, подносят руку к шляпе, а иные даже, отвешивают ей почтительные поклоны), грустно делается мне, когда такая женщина великодушно предлагает квартиру и бесплатное содержание молодой девушке, рыдающей на могиле отца, в котором она лишилась единственной опоры своей. Грустно делается мне, когда я вижу мать молодой девушки, честную и добрую, но которая продала уже последний жалкий остаток имущества и с ужасом думает, что дней впереди много, а ни продать, ни заложить уже нечего; подходит зима, а у дочки ни шубы, ни теплого сапожка, у самой платье чуть держится на плечах, и хозяин то и дело грубит и грозит выгнать с квартиры<...> <са>поги продай, то, другое<...>

Из второго отделения снова раздался болезненный стон.

– Ну, уж не кончается ли! – воскликнула хозяйка изменившимся голосом. – Хрипи! Хрипи! – закричала она через минуту, овладев своим ужасом. – Слыхали уж мы от тебя такую песенку. Вот что-то ты запоешь завтра!

– У меня все кишки перевернулись от его стона, – заметила дева.

Вдова только перекрестилась.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Хоть бы расписку дал, – продолжала хозяйка, – что должен нам и что какое у него есть имение оставляет нам за долг. А то – угораздит его нелегкая умереть – не поверят!

– А что у него есть? – с беспокойством спросила дева. – Останется ли хоть на уплату вам да на похороны?

– Тише! – сорвалось опять с языка Дурандихиной племянницы. – Ведь он не спит! Дурандиха погрозила ей ножницами.

– Куда! На уплату, на похороны, – отвечала она вопрошающей деве. – Хоть бы уж что-нибудь. Что у него!.. Какая-то шинелишка старая...

– Сюртук, – подхватила вдова, – суконный, да уж куда стар, куда стар...

– Фрак, жилет и штаны, – докончила дева, в которой расчет совершенно подавил врожденную чопорность...

– Штаны-то дырявые, – заметила вдова.

– Всё тряпье, дрянь, ветошь, грошовая амуниция! – воскликнула хозяйка. – Грош заплочено, да пять раз ворочено! Вынеси на базар – четвертак дадут да полтинник сдачи попросят... Ну, шинелька-то еще туда и сюда. Шинельку я, пожалуй, сама в деньгах возьму. Верх-то на чуйку Федотычу пригодится. Ему таковская, не по гостям ходить; носит да носит.

– А подкладку мне уступите, – сказала вдова. – Что она, кажись, шелковая?

– Как же, шелковая, – отвечала хозяйка. – Ведь вот дрянь голоногая, а туда же, шелковая подкладка!

– Я сошью из нее капот. А с вами, матушка, как-нибудь уже сочтемся.

– А мне шарф, мне шарф! – кричала дева. – Он такой длинный: я буду носить его вместо хвостов!.. Вот, – продолжала она, – у него я наемдни мельком видела какую-то шкатулку. В ней ничего нет?

– И, не то! – возразила хозяйка. – Что там взять? Поди хоть вывороти, пустехонька! Да вот Федотыч знает. Он каждый день при нем. Федотыч, а Федотыч!

За перегородкой раздался густой продолжительный зевок, потом послышалось, как зевающий потянулся и крикнул, потом опять раздался зевок и наконец вопрос:

– Что, голубушка?

– Спишь, голубчик?

– Сплю, матушка, сплю.

– Проснись на минуту. Скажи-ка нам, что в шкатулке-то у него?

– У кого?

– Да вот у жильца-то; ты видел, чай?

– Как же, не раз заставал: сидит перед ней дурак дураком и плачет, а она открыта.

– Что же в ней?

– Бумажки, – отвечал впросонках хозяин.

– Бумажки! – повторили в один голос супруга, вдова и дева.

Но заблуждение было непродолжительно.

– Какие? – недоверчиво спросила хозяйка.

– Вестимо, не ассигнации, вздор – письма! Бабы так не есть бабы, – продолжал хозяин, рассуждая с самим собою. – Об чем ни толкуют, а время идет да идет. Ей-богу, ей-богу, пора спать, пора, да и пора-то уж перешла!

– Ну, спи себе с богом!

Слышно было, как счастливый хозяин перевернулся на другой бок.

– И больше ничего! – сказала дева со вздохом. – Плохо!

– Плохо! – повторила вдова.

– Ну, не совсем еще плохо, – отвечала хозяйка таинственно.

– А что?

– Видели вы образок, что лежит около него на столе?

– Тетушка! Тетушка! – воскликнула молодая девушка, привскочив несколько на стуле и вся изменившись в лице, но так грозно взглянула Дурандиха и такое сделала движение рукою, качнувшись к ней в то же время всем корпусом, что ужас отнял у нее язык. Она замерла неподвижно с открытым ртом, и в лице ее выражение страданья совершенно подавил страх.

– Видела!

– Видела!

– Как жар горит, – заключила хозяйка, давая вес каждому слову. – Должно быть, оправа-то не ме-дна-я!

У вдовы и у девы засверкали глаза; хозяйка смотрела на них с торжеством, которому глубокое удивление к ее проницательности, может быть не без умысла отразившееся на лицах двух слушательниц, доставило обильную пищу.

С минуту длилось молчание.

– А портрет видели? – наконец спросила хозяйка еще торжественней.

Старая вдова сделала вопросительную гримасу, старая дева хотела что-то отвечать – вдруг дверь из комнаты второго отделения отворилась, и на пороге появился человек... Впрочем, человеком называем мы появившегося на пороге потому только, что не верим в явление никаких сверхъестественных существ. В самом же деле он скорее походил на призрак, чем на человека. Голая шея, длинная-длинная, с жилами на виду и с провалами между жил, и на ней, как на вешалке, голова с целым лесом склокоченных черных волос, лицо бледное, тощее, глаза впалые, наконец, косматая грудь, выглядывающая из халата, плотно обхватывающего всю высокую тощую фигуру и делающего ее выше обыкновенного человеческого роста, – именно, именно таким бы должен явиться призрак, если б он кому-нибудь вздумал явиться. По крайней мере мы себе не можем его представить иначе. Итак, призрак, – пусть уж куда будет он призрак, – появившись на пороге, начал с того, что окинул всё вокруг себя взором быстрым, проницательным, затем принял позу трагическую, немножко даже натянутую, но чрезвычайно эффектную и, устремив на злых сплетниц неподвижный и полный значения взгляд, хранил молчание, может быть собираясь с силами, а может быть наслаждаясь эффектом, какой произвело его появление. А эффект был не шуточный. Как ни хорошо знали болтливые ведьмы, что призрак не кто иной, как их больной постоялец, но его совершенно неожиданное появление заставило их вздрогнуть. Вдова даже начала креститься, испустив какое-то набожное восклицание; дева ахнула. Вообще все три сильно смутились, струхнули и, уткнув голову в работу, притаили дыхание.

– Что ж вы остановились? – начал больной тихим, слегка укорительным голосом. – Продолжайте ваш аукционный осмотр! Или вы думаете, что пересмотрели, рассортировали, оценили всё мое имущество? Ошибаетесь! У меня еще есть крест на шее. Вы, верно, забыли об нем?.. Оцените уж и его, решите, кому он должен достаться, а то чтоб после моей смерти не поссориться. Долго ли: наследство такое завидное!

Заклучив речь свою горько-ироническим хохотом, больной устремил на слушательниц своих взгляд, который, казалось, говорил: «Казнитесь, казнитесь! Вы заслужили свою казнь, и я не вправе щадить вас!» Те молчали по-прежнему и, казалось, смутились сильнее. Очевидно, ободренный таким успехом, больной, протянув одну руку вперед, а на другую, локтем которой упирался в косяк, положив голову, готовился продолжать и, без сомнения, наговорил бы много прекрасных и сильных вещей, но... прошла минута: хозяйка успела овладеть своим смущением, всё лицо ее вспыхнуло, в глазах засверкала злость. Приподнявшись немного и грохнув кулаком по столу, она закричала нагло:

– А что ж, батюшка! Третий месяц даром живешь, храним и холим тебя, да уж и слова не скажи. Не по деньгам спесь. И не таких видали, да пинком с лестницы провожали... И что такое мы говорили?!

– Я всё слышал, – сказал больной.

– А хоть бы и всё! Что ж такое? Правду всегда скажу, отцу родному скажу!

– Я еще жив, – сказал больной, – а вы делите мое достояние... Но что нужды! – продолжал он с горькой усмешкой. – Вы правы: вы бедные люди.

– Так о чем же тут и толковать, коли сам согласен?

– Не за себя, не за свое имущество больно мне. Делите мое имущество, обременяйте меня вашими площадными ругательствами, грязными проклятиями, хороните меня заживо, – продолжал с возрастающим жаром больной, которому, казалось, так нравилось его положение, что он не хотел расстаться с ним, не исчерпав до конца своей роли. – Я не скажу ни слова, я всё стерплю, потому что, видно, уже такова моя участь – страдать и терпеть (прибавил больной, более относясь к самому себе, чем к слушательницам), но посягать на то, что осталось для меня драгоценнейшего в жизни, осквернять низким расчетом предметы, священные моему сердцу... или вы, бесчувственные, не знаете, что такое мать, если хотите отнять у сына единственное воспоминание об ней – образ, которым благословила она его... Нет! нет! я не отдам его вам! Не отдам за горы золота и за самую жизнь. Я хотел бы унести его с собою в могилу!

Напряжение совершенно обессилило больного, и трагический жест, которым заключил он горячую речь свою, чуть не стоил ему падения. Он зашатался и уже терял равновесие (причем Дурандихина племянница захохотала), но схватился за косяк и удержался на ногах. Постояв с минуту и собравшись с силами, больной нетвердым и медленным шагом пошел в свою комнату. Дурандихина племянница дошла за ним.

– Не засветить ли огня? – спросила она.

Не получив ответа, Агаша отыскала свечку, засветив, поставила на стул (стола не было) перед кроватью, на которой уселся больной, и остановилась, смотря на больного.

Он молча ударил себя в голову.

– Полноте, полноте, – сказала она, усмехнувшись невольно странному телодвижению больного, но с теплым участием в голосе. – Ну, что вы так нахмурились... Есть отчего горевать... Мало ли что злые бабы от скуки болтают, от всего и плакать.

– Фурии, – проворчал молодой человек.

– Тетушка зла, а те просто дуры... Ох, как я на них влилась, как они давеча вас бранили; так и хотелось в волосы вцепиться... Ну, полноте хмуриться, на вас просто страшно смотреть. И охота вам была горячиться, просто бы разбранить их хорошенько, уж если б я была мужчиной!.. Ну, развеселитесь же. Вам теперь надо радоваться... вот вы теперь, слава богу, начинаете поправляться, опомнились. Дайте-ка я вам поправлю постель, помолитесь да ложитесь-ка спать... завтра будете совсем здоровы...

– Завтра меня, может...

Он молча ударил себя в голову.

– Слава богу! от часу не легче! – сказала она. – Ну чего вы нахмурились-то? Смешно смотреть! Подумаешь, что и бог знает что случилось. Стоит думать об таких пустяках!

– Пустяки! – прошептал больной обиженным тоном, – Пустяки!.. Три старые ведьмы сговариваются уморить человека, – продолжал он, с каким-то наслаждением взвешивая каждое слово, – делят его имущество, посягают на то, что дорого ему в жизни, поют ему отходную заживо...

Тут больной с укором взглянул на Агашу, выразительно покачал головой и повторил: «Пустяки!»

– Ведьмы! Заговор! Отходная! Полноте, какие они ведьмы! просто злые дуры... Хоронить вас, отпевать – они не думали. Просто пришла охота язычок почесать, попались вы – вот и пошло и пошло... Думали, что вы спите, что вы всё еще не пришли в память... Ах, как я обрадовалась, что вы давеча вошли... ха-ха-ха! Да правду сказать, были и вы хороши... Ну, развеселитесь же... чего вам горевать?.. Вот вы, слава богу, начинаете выздоравливать...

– Выздоровливать! – повторил больной уныло. – А я надеялся умереть.

– Умереть! Вы хотите умереть? Полноте!.. Вы только так говорите, не может быть, чтобы вы хотели умереть... Вот я сирота горькая, дрова ношу, пойду поутру воды почерпнуть, бочка вся обмерзла, руки заходятся, рукав примерзнет к бочке, обольешься вся, никого у меня нет, ни матери, ни сестер, ни братьев, никого, кроме добренькой тетушки Аграфены Ивановны, да я и то не хочу умирать. Гадко умирать, страшно умирать...

– Ты еще дитя... Если б ты испытала столько несчастий...

– Как вы?.. Полноте! У вас одно несчастье – денег нет... А будут деньги – иди себе куда хочешь, делай что хочешь... Никто тебя не спросит: куда идешь, что делаешь? Увидитесь с матушкой, с сестрами... вольная птица!.. Господи! Да какого же еще счастья!

– Счастье! – повторил больной в раздумье. – Ты не знаешь, милая, что есть такие люди, которые не могут и не должны быть счастливы, которые для того и рождаются, чтобы страдать...

– Да кто же вам велит страдать?..

Тут больной несколько задумался. Подумав, он отвечал:

– Люди отравят каждый час твоей жизни, подольют горечи в каждую радость...

– Не связывайтесь с худыми людьми, найдите себе хороших.

Больной внутренне усмехнулся тому, как его поняли, и, рассудив, что бесполезно было бы продолжать подобный разговор с необразованной девочкой, не понимающей его или понимающей слишком по-детски, замолчал. Агаша перестлала ему постель.

– Ложитесь спать! – сказала она. – Да, пожалуйста, не причудничайте и не выдумывайте бог знает чего. А просто помолитесь богу и спите. Я тоже за вас помолюсь.

– Мне спать? – с глубоким вздохом сказал больной.

– Отчего же? Разве вы днем много спали?

– Да! – грубо сказал больной. – Днем много спал!

Агаша плутовски усмехнулась, посмотрела ему в глаза, покачала головой и сказала:

– Какой вы чудак!..

Вернувшись в общую комнату, она застала уже только окончание сцены, которая произошла там без нее и которую мы тотчас расскажем.

– Вот новости! – кричала разъяренная хозяйка, с размаху захлопнув дверь, куда удалился больной. – Буянить, богохульничать в моем доме! Федотыч! А Федотыч!

– Что, матушка?

– Встань, старый хрыч.

– Иду.

Несмотря на неповоротливость свою, Федотыч собрался и явился скоро. Сердце говорило ему, что минута решительная, некогда кряхтеть и потягиваться и что один миг промедления может стоить теперь порядочного клочка из бакенбард, которые были у него удивительные. Бороду он еще иногда скоблил по старой памяти, но бакенбард, с тех пор как вышел в отставку, решительно не касался, так что они разрослись напропалую и могли бы отвечать не только за бакенбарды, но за усы и за бороду, если бы не сваялись в комок на щеках, сильно опухших от неумеренного сна и походивших в таком виде не на обыкновенные человеческие щеки, но на две войлочных подушечки, наклеенные сверху обыкновенных щек. Такое устройство бакенбард, кроме естественной красоты и оригинальности, представляло еще и ту выгоду, что когда Дурандиха, женщина, как мы знаем, решительная, озлившись на мужа, прибегала к сильным мерам, то сильные меры, несмотря на резкость их, владельцу дивных бакенбард были почти нечувствительны – тайна, которую знал один он и которой, по известной ему причине, не открыл бы и лучшему своему камраду. Кроме своих непроницаемых бакенбард, Федотыч отличался еще тем, что был совершенной противоположностью жене – столько же походил на бабу, сколько она на мужчину. Муж женщины грубой и буйной, он, напротив, соединял в себе все качества, украшающие примерных жен: кротость нрава, миролюбивость наклонностей и даже глупость – качество в жене, по мнению многих мужей, драгоценное.

Впрочем, для тех читателей, которым, может быть, не понравится, что один из героев повести просто глуп, спешим привести оправдание, которое Дурандиха держала всегда наготове. «Вы, – говорила она каждому, в первый раз приходившему в их дом, тотчас, как тот снимал шапку и кланялся, – не удивляйтесь, что он глуп. Он не то чтобы от природы, – не такова я, чтоб вышла за глупого! – а просто – от чубука. Посудите сами: четыре года, можно сказать, чубук у него б головы не сходил... А еще сам, дурак, в денщики напросился! Вот и маюсь теперь». Тут следовали жалобы на горькое вдовство при живом муже. Притом Федотыч весьма и весьма не лишен был одного тонкого национального качества, которого нет в редком русском человеке и которого не выколотить из него никаким чубуком, – качества, известного у нас под названием «себе на уме». Но отличительную черту Федотыча составляла бесспорно сонливость. Не любит солдат наш, отслужив свое срочное время, пускаться ни в какие попытки устроить и обеспечить свое новое состояние, а просто заваливается на печь и совершенно удовлетворяется счастьем, которое ниспосылают человеку бездействие, апатия и сон. Бог знает, отчего так, но сонливость в отставном нашем солдате черта столь же характеристическая, как тунеядство в дворовом человеке, а в одном многочисленном и жирном сословии – жадность. Федотыч не был исключением. Нельзя сказать, чтоб и служа не любил он соснуть, но не только треуха или другой сильной возбудительной меры – одного голоса старшего унтер-офицера достаточно было, чтоб возбудить в нем бодрость и даже надлежащую живость. В глазах, которые были у него тусклы и вообще не слишком-то выразительны, являлась даже какая-то молодцеватость, и на целый день получали они способность смотреть, как следует исправному солдату: ни вверх, ни вниз, а прямо в глаза начальству, как будто в них завели какую-нибудь потайную пружинку. Но как только вышел он в чистую, тотчас и заснул и уж никогда с той поры вполне не просыпался, а лишь настолько, что мог есть да пить да время от времени починивать узкий свой армячишко, переделанный из солдатской шинели. На ворчанье и укоры жены отвечал всегда одной и той же фразой, кроме которой ничего, казалось, не могла прибрать отупевшая его голова: «Послужи-ка ты с мое!» – и вслед за тем зевал, поворачивался на другой бок и храпел. Когда же Дурандиха принималась его колотить (что случалось нередко), он тотчас после первого толчка падал и растягивался на полу, как собака, которая хочет смягчить гнев своего хозяина, и, осыпаясь ударами, забитый под стол или под лавку, повторял всё тем же апатическим тоном: «Зачем за сердитого шла! Зачем за сердитого шла!» Странны были в устах его такие слова, но ими, впрочем, и ограничивалось всякое сопротивление непреклонной жениной воле, какое он когда-либо обнаруживал.

– Слышишь, чтоб его, – закричала хозяйка тоном, предупреждавшим всякое



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
возражение, указывая на дверь, в которую скрылся больной, – чтобы его завтра же  
не было.

Федотыч сробел.

– Да помилуй, матушка... что же мне... как же я с ним... на улицу, что ли, я его...  
ходить не может!..

– Ну уж как знаешь.

– Нельзя... совсем нельзя... Вот кабы ему полегче... начал бы выходить... прогуляться,  
что ли, бы вздумал... тогда... ну тогда... сама видела, матушка... не в первый раз! Знаю  
уж я...

Он улыбнулся, как человек, уверенный в себе и надеющийся на себя.

– Болен, – сказала хозяйка, – а сегодня так горланил, что куды твой здоровый!  
Видно, выздоравливает. Смотри же ты, дубина, как только поправится...

– Ну вот еще говорить!.. Как будто не знаю... знаю уж... знаю... – Он еще  
самодовольнее улыбнулся и сказал зевая: – А уж, чай, куды как не рано!

– Час первый.

– О-го! – вскрикнул он с испугом... – Ну, ей-богу же, пора спать! Что мы за  
господа такие, чтоб засиживаться до первого!

Улеглись.

Глава II

...по часам

Он предавался безотчетным

Мечтам и снам.

Он слезы лил, добросердечно

Бранил толпу

И проклинал бесчеловечно

Свою судьбу.

Потом, с душой своей прекрасной

Не совладев,

Он стал любить любовью страстной

Всех бледных дев.

Являлся горестным страдальцем,

Писал стихи

И не дерзал коснуться пальцем

Ее руки.

Ив. Тургенев

В судорогах страданья перемог я силу пожиравшей меня болезни, и какое было  
первое слово, коснувшееся моего слуха, моего только что вернувшегося сознания?

Итак, вернувшись в свою комнату, он упал головой в подушку и зарыдал... Припадок  
слез прошел, но поэт по-прежнему лежал неподвижно, бог знает о чем думая, и  
только треск нагоревшей сальной свечи нарушал тишину, господствовавшую вокруг  
него. Может быть, он уже начинал дремать, когда вдруг услышал подле себя легкий  
шорох.

Он обернулся и увидел Дурандихину племянницу, снимающую со свечи. Видно, ее  
появление сильно удивило его, потому что он устремил на нее взор, повергший  
молодую девушку в совершенное замешательство.

– Вы, сударь, не узнаете меня... я здешняя, – сказала она робко... – У вас свеча так  
нагорела!

– Ах да! – отвечал он, как бы стыдясь, что помнит ее лицо... – Я еще должен тебя  
поблагодарить: ты, кажется, ходила за мной, когда я был болен.

– Сколько было можно, – отвечала она. – Когда тетушка заснет или уйдет со двора.  
Дядюшка ничего: он такой добрый, а тетушка злая; она еще вчера меня била!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– За что?

– Так, здорово живешь! А всего больше за вас.

– За меня?!

– То есть не за вас; у нее уж такая привычка: за всё бьет и ни за что бьет. Всё сердится, зачем я к вам беспрестанно хожу, а как мне не идти, когда я вдруг слышу, что вы охаете! Может, вам нужно воды; может, у вас свеча нагорела. Вот у вас всё нагорит свеча. А вам где снимать... Посмотрели бы вы, какие вы были вчерась!

При воспоминании своих страданий молодой человек вздохнул.

– Вам опять хуже! – сказала она с добродушным испугом, взглянув на него с искренним тоскливым участием, которое даже удивило его...

– Ну, положим, хуже, а тебе что? Разве тебе жаль меня?

– Жаль! – отвечала она, делая к нему невольное движение.

– Фи! Ты ешь лук!

– А вы не любите луку?

– Кто же любит лук? – возразил он с аристократизмом, заключавшим в себе крайнюю неделикатность.

– Э!.. Наша невестка всё трескат и мед так жрет!.. Вот у нас в полку был солдат Пахомыч, балагур страшный. Он, помню я, говорил: «Каши нет – хлеб ешь, хлеба нет – сухарь грызи, сухаря нет – и на мякину не плюй. Бог увидит, толоконца пошлёт!»

Тростников сделал кислую мину.

– Как тебя зовут? – спросил он, чтоб говорить что-нибудь.

– Агафьей.

Тростников наморщился, так сильно наморщился, как не морщится даже человек, уже поднесший к носу своему и чуть-чуть не отправивший в желудок тухлую устрицу. «Судьба! Судьба! – подумал он. – Я напрасно роптал на тебя. Ты не вовсе ко мне безжалостна! В минуту отчаяния ты посылаешь мне ангела-утешителя, ты посылаешь мне Агафью...»

И он горько усмехнулся, а потом вздохнул глубоко-глубоко...

– Чего вы вздохнули? – спросила она.

– Чего вздохнул? – ответил он тоном иронического презрения, какой употребляют с низшими себя люди, чувствующие свое превосходство. – Чего вздохнул? Поймешь ли ты меня?

И, несмотря на совершенную уверенность, что она не поймет его, он принялся в десятый раз подробно и не без увлечения описывать ей свои несчастья и заключил тем, что не имеет даже существа, которое бы сколько-нибудь сочувствовало ему, могло разделить его страдания, от которого он мог бы ожидать хоть малейшего участия, сострадания, утешения, помощи...

– Я всё, что могу, готова сделать для вас, – сказала она, выслушав его довольно серьезно.

– А что ты можешь для меня сделать?

– Скажите! Вам что-нибудь нужно?

– Полно! Мне ничего не нужно. Пора спать.

– Нет, скажите... Может быть, вы хотите клюквенного морса?.. Я сейчас, у меня еще

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
осталось немного клюквы от прошлого раза... Или не поставить ли самовар?.. Или,  
может быть...

– Усмири тоску, бушующую здесь, – о досаде возразил герой наш, указывая на  
грудь свою. – Возврати веру в судьбу, в провидение, в счастье...

Агаша расхохоталась. Взбешенный, он вмиг замолчал, лег на свою постель и  
повернулся лицом к стене.

– Вам ничего не нужно? – спросила она.

– Ничего, – отвечал он, не поднимая головы. – А за твои хлопоты обо мне я  
постараюсь заплатить тебе... после... на днях...

– Заплатить? Так вы думали, что мне надобно заплатить? – воскликнула Агаша таким  
голосом, что герой наш при<в>скочил на своей постели, как будто совсем  
неожиданно укушенный сильно проголодавшейся уважительных размеров блохой, сел и  
пристально посмотрел на Агашу. Всё лицо ее было в огне; на больших, широко  
раскрытых глазах дрожали слезы... Ему вдруг стало отчего-то ужасно неловко. Он  
хотел что-то сказать, чувствовал, что нужно что-то сказать, и не знал что! Агаша  
выручила его.

– Вот завтра я пойду на лаву стирать белье, – весело сказала она. – Вы не  
поверите, как там бывает смешно... Вот наемни одна там женщина, Матрена... Ноги у  
нее красные такие и толстые... вот она в субботу стала на самый край лавы и ну  
колотить вальком, колотила, колотила да размахнулась вдруг, выше головы занесла  
валек, покачнулась – и бух в воду... ха! ха!

Агаша засмеялась, но смех ее показался нашему герою каким-то принужденным.

– Там, – продолжала она голосом, который не совсем соответствовал веселому  
содержанию ее рассказа, – там разные смешные истории бывают... Однажды два  
господина пришли к нам, хорошо одеты... с бобровыми воротниками... один высокий-то  
такой, с палкой, и нос у него, точно собачья морда... Ха! ха! Здравствуйте,  
красавицы! – говорит. – Здравствуй, красавец! – сказала ему Матрена... и приложила  
валек к носу... ха! ха! ха!

Агаша опять засмеялась. Он тоже попробовал усмехнуться, но усмешка вышла  
какая-то неуклюжая, жалкая.

– Я тебя оскорбил, – сказал он.

– Чем это? – <спросила>она, взглянув на него, и продолжала: – Бог на помощь! –  
говорит большой господин. – Спасибо, добрый человек, – говорит Матрена. – Не  
хочешь ли сам помочь! – Пожалуй, – говорит господин... Взял валеk у Матрены,  
нагнулся, замахнулся и бух себе по носу... ха! ха! ха! Не поверите, как бывает  
смешно.

Пока она болтала, он всё думал, внимательно следя за ее голосом и выражением  
лица, и вдруг вскочил, став перед нею на колени, причем от быстроты движения  
чуть не клюнул носом в пол, и воскликнул:

– Прости! Прости меня! Я оскорбил тебя! Она странно на него посмотрела.

– Ты всё еще сердисься... Я ошибся в тебе... Я думал видеть в тебе обыкновенную  
простую девочку...

– А что же я?

Но здесь Агаша залилась опять тем звонким, весело-дребезжащим хохотом, который  
неприятно действовал на нервы нашего героя... в минуту и судорожное дрожание губ,  
и принужденность хохота, в котором слышалось ему подавленное рыдание, и грустная  
улыбка, и всё, что читал он в глазах и на лице ее, показалось ему обманом  
собственного воображения, печальной ошибкой... Недовольный и пристыженный, вскочил  
он и, опустившись на свою постель, повесил голову с замешательством актера,  
которому шикнули в том самом месте его роли, где рассчитывал он на сильнейший  
эффект...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– В чем же мне простить вас? – спросила она.

Он молчал.

– Вы опять рассердились?

Молчание.

– Вы хотите спать?

– Да.

– Ну спите. Не забудьте погасить свечу... А когда вам что-нибудь понадобится, вы только крикните меня.

– Хорошо, я не премину воспользоваться твоей помощью, – сказал он.

– Чудак вы!

– «Чудак!» – повторил Тростников, оставшись один. – Это бессмысленной черни, бессмысленно повторенное... В тебе сказалась вся она, тупоголовая чернь: кто же для тебя не чудак? Не всякий ли для тебя чудак, сумасшедший, выродок человечества, кто не о щах да не о каше твоей весь свой век думает? Кто не лепится, как муравей, вечно около своего гнезда, а смело парит к небу? Кто же для тебя не чудак? Ты называла чудачком и Шекспира; ты уморила с голоду Камознса, потому что он, по-твоему, был чудак... А я, безумец, думал еще, что нашел в среде твоей существо, которого ты еще не успела испортить, заразить тлетворным дыханием своим <...>

<...> говорил так, что подобный ему восторженный юноша (не говоря уже о пламенной и мечтательной деве), пожалуй, заслушался бы и даже расплакался... Но вы, читатель степенный и положительный, позабывший даже самую юность свою, – не только ее безотчетные порывы, безымянную тоску слаще самой радости и весь мечтательный мир, в котором так весело дремалось вам наяву, – вы, верно, смеетесь?... Смейтесь – я рад. Не считаю я моего героя человеком необыкновенным и не потому ловлю каждое его слово, чтоб оно казалось мне достойным перейти в назидание и пример человечеству, но потому, что сам-то он смеялся над многими тысячами людей, в блаженной уверенности, что нет в нем ничего смешного, – уверенности, основанной на сознании, что нет у него никакой сверхкомплектной шишки на носу или под носом; толстого живота нет; лысины тоже нет; фрак носит он хоть и не роскошный, но общепотребительного покроя и цвета, волосы причесывает аккуратно каждое утро и вовсе не употребляет никаких присловий и поговорок, которые так и хочется записать, чтобы после вклеить в комедию...

Окончив элегические завывания свои, Тростников тотчас заснул и спал так спокойно и крепко, что даже, к собственному удивлению своему, не видал во сне ни похищений, ни гробов, ни проклятий раздраженных родителей похищенной – словом, ничего, что и в здоровом состоянии снилось ему обыкновенно каждую ночь. Проснувшись часу в одиннадцатом и почувствовав себя хорошо, Тростников даже несколько огорчился и не шутя прогневался на себя. Но досадный сон уже сделал свое, и герой наш, вопреки собственному желанию, продолжал чувствовать себя не только хорошо, но и весело, и когда Агаша подавала ему умыться, он, забыв вчерашнюю размолвку, брызнул ей в лицо с пальцев несколько капель воды; а когда она с испугом отскочила и стыдливо начала закрываться, он до того расшалился, что даже не мог удержаться, чтоб на поцеловать ее, подскочив совершенно нечаянно.

Агаша вся вспыхнула и убежала.

Когда герой наш располагался бриться, к нему вошел хозяин. Федотыч был в длинном темно-зеленом сюртуке (необходимая принадлежность каждого отставного солдата) с медалями и всякими регалиями, которые красовались и побрякивали на левой стороне его груди; выражение лица имел он строгое, даже несколько угрюмое, но в то же время несколько не пугающее и не оскорбляющее – словом, такое, какое хранит на лице своем человек, чувствующий свою правоту и готовый в случае крайности за правоту своего дела на всё, но в то же время готовый и принять во внимание справедливые резоны противника; вся вообще фигура его являла вид какой-то необыкновенной важности и торжественности, предназначенной внушить уважение и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
доверенность.

– Вашему благородию с добрым утром! – сказал он, остановясь у дверей и необыкновенно вежливо кланяясь. – Каково изволили почивать?

– Хорошо.

– Вот вы вчера, батюшка, изволили поругаться с женой. Осмелюсь вам доложить: баба глупая! Ни уха ни рыла не понимает, а туда же, кричит. Напрасно изволили погорячиться с ней; вам бы просто плюнуть на нее, дуру, просто бы плюнуть! Дура безмозглая! Извините за простоту!

– Ничего, не беспокойтесь.

– Вот, слава богу, здоровье ваше поправляется. Уж как я рад, как я рад! А то, ей-ей, дело прошлое – недалеко было и до того... Лица на вас не было. Осмелюсь вам доложить, изволили выть, метаться как угорелый, даже раз песню изволили затянуть, а голос у вас такой странный, точно, осмелюсь вам доложить, порют вас или гонят сквозь строй. Уж что я принял с вами страды, спать не спал, лежу да только и думаю: «Ну, угодить ему, сердечному, к Волкову в гости». Только засну, глядь, Агаша бежит: «Дядюшка! Дядюшка! Поди к больному-то! Слышишь, как стонет? Голубчик, поди!» – «Да дура ты, легче, что ли, ему будет, что я пойду, чем я ему пособлю?» Так нет же! она всё свое: поди да поди. Ластится, целует меня, старика. А мало, так в слезы, и ревет, ревет; жаль станет дуру, пойдешь, не отстанет, пока не пойдешь... Да вот, слава богу, вам теперь хорошо. Вы, осмелюсь вам доложить, долго еще будете квартировать?

– Пока куплю свой дом, всё буду жить на квартирах.

– Так-с... отчего же?... Человеку надобно где-нибудь квартиру иметь. Человек не собака, под воротами ему нельзя лечь, да и дворник прогонит. А по улицам станет шататься, где попало на скамьях да под заборами станет ночлеги иметь – в полицию возьмут... только, осмелюсь вам доложить, у нас вашу квартиру берут.

– Пожалуй, я хоть завтра же перееду, только, вы знаете, денег у меня нет.

– Ничего-с, ничего. Помилуйте, время терпит.

– Вы честнее своей жены.

– Что она! Осмелюсь доложить, баба глупая! Только и умеет, что накричать, а смастерить дельце куда ей! Ум короток! В ней, сказать, чувства никакого нет. Когда будут, тогда и отдадите.

– Я отдам... на днях, вот как только начну выходить. А не достану денег, так оставлю вам в обеспечение долга вещи мои, мебель. Добра хоть немного, а сорока рублей ваших стоит.

– Сорок два рубля тридцать восемь копеек... Так оставите?

– Ну да.

– Безо всего-с?

– А что еще надо?

– Вы уж, пожалуйста, и записочку, что вот де я, нижеподписавшийся, должен такому-то отставному унтер-офицеру Егору Федотову Дурандиину, то есть мне-то, осмелюсь вам доложить, столько-то и в залог оставляю мебель и вещи. Да уж, ваше благородие, не поленитесь, черкните теперь же, оно, знаете, не ровен час. В животе и смерти бог волен! Ведь вот вы теперь ничего, и лицо у вас здоровеет, а вот вчерась, ну, сохрани боже, изволили бы помереть: ведь нам не поверят, ей-богу, я осмелюсь вам доложить, наверное знаю, что не поверят! Черкните, не поленитесь! Оно и бабу-то глупую успокоит, так и мне и вам лучше: не ворчит окаянная!

Тростников написал требуемую записку.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Глава III

Петербург – город великолепный и обширный! Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные дома, в которых, казалось мне, могло жить только счастье, твои красивые магазины, из окон которых металась мне в глаза дорогая ткань, серебро и сверкающие камни, твои театры, балы и всякие сборища, где встречаю я только довольные лица, твои больницы и богадельни, как дворцы роскошные и огромные!.. Столько богатства и роскоши, столько всяких удобств увидел я, что не верилось мне, чтоб нашелся здесь бесприютный. – не по доброй воле, голодный – не по расстроенности желудка, недовольный – не по сварливой причудливости характера. Беден и жалок показался мне мой родной городок, – городок серый и низменный, с деревянными домами и заборами, с унылым звоном единственной церкви, с вечным воем голодных собак на пустых и грязных улицах, сальными свечами на вечеринках и веселыми танцами под музыку нетрезвых доморощенных музыкантов. Посмеялся я над добродушiem добрых людей, довольствующихся такою жизнью, и пошлою показалась мне жизнь их. «Здесь, – думал я, – настоящая жизнь, здесь и нигде более счастье!» – и как ребенок радовался, что я в Петербурге. Но прошло несколько лет...

Я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и преступление. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливы, которым тесны целые дома...

И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету падающую и падшую, нищету, стыдливо прикрывающую лохмотья свои, и нищету, с отвратительным расчетом выносящую их напоказ. Я увидел мать, продающую честь своей дочери, чтоб поддержать жалкое существование свое, и другую мать, продавшую себя в безответное рабство, чтоб спасти честь дочери. На смертном одре увидел я бедного труженика, измученного тяжелой и неблагодарной работой, и у одра его – бессмысленных и голодных детей, которые протягивали к нему ручки и просили хлеба. И я прочел в судорожно сжатых, безмолвных и бледных губах его а в предсмертном сверкании глаз, как тяжело было ему умирать, как сильно хотелось жить, чтоб пригвоздить себя к рабочему станку и добыть детям хлеба. И я видел потом, как несли на кладбище его белый некрашенный гроб, и думал: а что-то бедные дети – всё ли еще просят хлеба или угомонились уже, и хозяин дома с проклятиями заказывает три небольшие гробика, заклинаясь вперед не пускать таких постояльцев, от которых не остается даже я на их похороны?.. И сильнее поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже запали в душу, чем блеск и богатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые здания и всё, что есть в тебе блестящего и поразительного!..

Нечего и говорить, что герой наш также любил Петербург, любил безотчетно со всем жаром провинциала и любил, разумеется, за то же, за что любит его большая часть людей, – за огромные дома, широкие улицы, газовое «освещение», но в ту ночь, на которой мы остановились, многое суждено было ему увидеть, передумать и перечувствовать и во многом должен был измениться взгляд его.

Сначала, как русский человек, герой наш расхрабрился, шел очень скоро, всё ругал плута хозяина и всё рассуждал сам с собою, как повести ему дело и какого наказания заслуживает плут хозяин.

Потом, когда гнев его поутих, ему стало весело: понравилась новость положения. «Итак, в глухую темную ночь я на улице без пристанища!» – сказал он громко, и тайное удовольствие слышалось в его голосе. С полчаса занимала его новость положения. И еще час прошел для него сносно, даже очень приятно, потому что два-три обстоятельства, которые мы сейчас расскажем, доставили ему случай подивиться добродетельной стойкости своего характера и вообще глубокости и силе натуры своей, а когда человек любит себя самим собою, с ним случается то же, что с автором, перечитывающим свое сочинение: время летит незаметно. Какие же были то обстоятельства?..

В одной улице наткнулся он на дом, от которого отскочил с ужасом, но в котором, быть может, нашел бы ночлег, потому что тут жила кухмистерша, женщина прекрасных свойств и примерного поведения, которая, входя в положение нашего героя, тонко дала ему заметить, что у нее есть подле спальни совершенно излишняя комната,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов очень удобная для одинокого человека, и что такой человек, поселившись в ней, мог бы уже получать и кушанья и чай <...>

Равнодушно, подобно многим, проходил он мимо нищего, протягивавшего к нему костлявую руку, насмешливо, чуть не презрительно выслушивал он разные истории, которыми усиливались они затронуть в нем благотворительность, ничего не видя в них, кроме хитросплетенной лжи. И ни разу не приходило ему в мысль, что если это ложь, то было же что-нибудь, что довело человека до такой лжи, до такой уже, в которой, уж конечно, ничего <...>

И вдруг лицом к лицу столкнулся он с целою сотнею людей, которых встречал поодиночке и оскорблял подозрениями в тунеядстве и добровольном бродяжничестве, успокаивая такой мыслью жесткость собственного сердца, лень руки, которая поленилась шевельнуться, чтобы достать из кармана грош.

И пришло ему на мысль, что неужто каждый из них – добровольный бродяга и тунеядец, не стоящий, лучшего участия, – подозрение, которым, может быть, каждого из них оскорбил он поодиночке и от которого теперь кинуло его в краску?

А если и так, то неужели не стоит такой человек ничего, кроме равнодушия, презрения, которого не скрываем мы, даже и подавая ему лишний грош, когда найдет на нас добрая минута?.. Не сладка жизнь нищего, как бы ни освоился он с своим ремеслом и как бы ни силен был в искусстве расшевеливать благотворительность ближнего.

Не в равнодушии ли людей, не трогаящихся простыми слезами, не поражающихся картиной скромной и робкой бедности, чаще скрывается источник тех ухищрений, наглой лжи и всяких обманов, к которым прибегает бедный, чем в его испорченности и закоснелости? И стал он думать, как может сделаться человек нищим, бродягой и шарлатаном, и ему его собственный пример пришел в голову. И думал он просто и дельно, потому что сильно был потрясен и не до фраз в мысли и слове было ему.

«Я дрожу и чувствую опять возвращение лихорадки; положим, я захворюю; тот же добрый нищий, который привел меня сюда, будет ухаживать за мной, и, может быть, я буду опять здоров...»

Куда я пойду? Есть у меня несколько бедных приятелей, которые от души меня пожалуют, – ничего более. Есть два-три человека – люди богатые и почтенные, занимающие важные должности. Я у них был с рекомендательными письмами, и один обещал мне покровительство.. Но теперь, когда уже рекомендательные письма забыты и завалены под кипой других, принесенных после меня и обреченных такой же участи, когда фрак мой истерся и гордая, самоуверенная осанка, которую я привез из провинции и которую носит всякий провинциал, пока не облетят с него надежды, спутствовавшие ему в столицу, сменилась смиренным и жалким видом просителя.. Пойду ли я к ним?.. Там встретит меня лакей, может быть, несколько лакеев, и все они улыбнутся.. А я не могу выносить улыбки, которую встречает и провожает лакей просителя и всякого бедняка, пришедшего к его барину. Я не пойду к ним.. А если б, наконец, я и решился пойти, то недоступность, которую они себя окружают, помешала бы мне всё высказать, и я унизился бы, ничего не выиграв. Я хотел бы работать, но ремесла я никакого не знаю, а чтоб найти работу сколько-нибудь по себе, надо время. А между тем мне нечего есть, платье мое доносилось, и Никита, который охотно кормил меня, когда я был болен, начинает коситься. Вот я обобрал, что можно, у приятелей, с которыми я не церемонюсь; несколько раз даже решался просить помощи у людей менее коротких, но слово мерзло на губах моих, и я убежал.. Нет, чем у них, лучше у человека, который никогда не знал, существую ли я на свете.. и потом поскорей от него, чтоб никогда уже с ним не встречаться.. И вот в один день, когда ничего не ел я до вечера, а Никита, мой благодетель, по милости которого я еще существую, – больной, стонет и мечется, я протянул руку.. Кто знает, какое наслаждение доставляют человеку первые деньги, заработанные собственным трудом (как несомненное доказательство, что общество признало его своим не бесполезным членом), тот поймет и всю горечь минуты, когда в первый раз падает на руку чужая подачка! И вот я лечу Никиту и собираю милостыню.. И в один день нападает на меня хандра невыносимая, тоска смертная, сильнее и сильнее разгорается божия искра, заглухнувшая под пеплом нужды и житейских забот, и все былые мечты и стремления и любовь – приходят мне в голову. Ненавистна становится мне жизнь, и хочу я удариться головою об стену, хочу кинуться в воду, но хладнокровно останавливает меня Никита и подает мне стакан водки, и я пью и, напившись, смеюсь над хандрой, сдавившей меня за минуту. Смелей протягивается

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
рука моя, дерзок становится взор, которым провожаю я не обратившего на меня  
внимания прохожего, и, качаясь, подхожу я к тому, чья помощь, если б я на нее  
решился тогда, спасла бы меня от гибели. И каждый раз, когда нападет на меня  
тоска, я пью и с каждым днем пью чаще и больше. Уже не на один хлеб, и на вино  
нужны мне деньги, а человеку не увечному и не старому подают мало и редко. И вот  
я нашиваю заплаты на истертое рубище, навязываю тряпицу на здоровую голову,  
привязываю к спине здоровую ногу и заменяю ее деревяшкой... А будь у меня жена,  
дети – не то ли же должен был бы я делать, чтоб поддержать их существование?...

И не здесь еще конец всему, что доводит человека до бродяжничества, до обмана и  
преступления... Я человек независимый; никто не отнимет у меня жены, не посягнет  
на честь моей дочери, и никакие лишения и злополучия, кроме ниспосылаемых свыше,  
не могут отяготеть надо мною...»

Всего кинуло в дрожь нашего героя при таких мыслях. Ужас и жгучую боль  
почувствовал он на сердце, потому что как ни мало обращал он внимания на  
действительность, но всё же он знал, что один купец, наколотивший миллион  
разными плутнями и обманами и весь век питавшийся кислой капустой и дрожавший  
над гривной, вдруг так пожелал одного почетного украшения, что прикинулся даже  
благотворительным и пожертвовал несколько тысяч в пользу какого-то богоугодного  
заведения; что один военный, оцарапнутый пулей в руку так, что и обыкновенной  
сухой горошиной легко нанести рану сильнее и опасней и легкий порез перочинным  
ножичком мог назваться смертельною ранюю в сравнении с той царапиной, не снимал  
с руки своей повязки до тех пор, пока не дали ему полицмейстерского места в  
одном изрядном городе; знал, что один чиновник, наживший на службе капитал в 300  
тысяч и попавший под суд, приехал в столицу со всем семейством своим – женой,  
слепой старой матерью и тремя малолетними детьми – и, бухнувшись в ноги всею  
гурьбою одному важному и добродетельному лицу, так растрогал его картиной  
угрожающей целому семейству нищеты и гибели, что не только получил прежнее  
место свое, но и временное значительное пособие. Таких людей особенно любят  
выводить наши драматурги и выводят их всегда без всякой иронии, добродушно  
выдавая за перлы человеческой природы, и публика еще добродушнее принимает их за  
такие перлы. Таким образом часто случается, что иной редкий гость нашего театра,  
попав туда, столько же смеется, когда дают драму, сколько трагически  
содрогается... И знал он, что все такие люди не теряют уважения и прав своих в  
обществе, а, напротив, отцы, пользующиеся уважением общества, в котором слыvät  
за честных людей, ставят их в пример детям своим, девицы видят в них выгодных  
для себя женихов; знал и то, что не пользуются такие люди презрением и  
ненавистью общества и в случае неудачи, а, напротив, по большей части об них  
сожалеют, как о жертвах неумолимого рока, сожалеют с искренностью, которой герой  
наш, русский человек, не мог и понять. Отчего же такое негодование и такое  
презрение обнаруживаем мы при виде нищего, прикидывающегося калекой или слепцом,  
чтоб шевельнуть нашу благотворительность? Больше ли он виноват <...>

– А что ты делаешь? – закричала тетушка. – А у нее и ключ. Где ты взяла ключ?

– Мне дал его жилец, – отвечала я. – Вы не отдали ему писем, которые он просил,  
и я хотела ему отдать, потому что они ему нужны, а для вас нет.

– Так ты воровать! – закричала тетушка и кинулась было ко мне и хотела меня  
ударить.

– Не подходите ко мне, тетушка. Я много от вас терпела. А сегодня я сердита – не  
вытерплю. После хуже пенять будете.

Но она все-таки кидалась ко мне. Я схватила ваш чубук (он тут стоял на окошке).

– А, так ты еще и упрямитесь, упрямитесь, ты бить меня хочешь, бить! – закричала  
она. – Федотыч!

Прибежали жильцы, прибежал и Федотыч.

– Бей ее, вяжи ее! – кричала она. – Что ж ты стоишь, старый хрыч, редька  
дряблая, насморк проклятый!

Она толкала Федотыча. Федотыч было ко мне, я вскочила на стул, потом на  
кро<вать>.



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Какова? За мою хлеб-соль, за мою доброту, – сказала она постояльцам. Потом она  
бросилась ко мне – я опять не далась.

– Так ты не дашься? – спросила тетушка,

– Не дамся, – отвечала я.

– Во дура ты, дура, дайся, – шепнул Федотыч, – покорись, дай ей отвести душу, вишь, рука чешется, ну пусть ее, что тебе спины-то убудет, что ль, до свадьбы заживет – не замуж выходить.

– Нет, дядюшка! – сказала я. – Не бойтесь за меня, подите себе на полати.

– А, так ты не дашься! Хорошо же, – закричала тетушка. – Хорошо, я с тобой сделаю, чего ты не ожидаешь... Хорошо! Вот смотрите, Марья Ивановна, и вы, Ольга Петровна, и ты, чурбан, смотрите все: она с чубуком, она хочет меня прибить. Ведь вы видите, вы не отпретесь?

– Видим.

– Видим, матушка.

– Ну, ты, чурбан, видишь?

– Матушка Аграфена Ивановна! Брось ее, дуру, захотела с ней связываться! Дура – и больше ничего и пр.

Добрый старик. У него на глазах были слезы и пр.

– Хорошо же, хорошо, – твердила хозяйка. – Я научу тебя, как не слушаться тетки. Воровать вздумала!

Тетушка взяла свечу и вышла, ужасно ругаясь, и заперла за собой дверь на замок, потом заперла ставни и долго еще не могла успокоиться.

Все наконец улеглись.

Я села на вашу постель. Сначала мне было тяжело – я всё думала. Потом мне вдруг стало смешно, и я захохотала: мне представились тетушка и Федотыч. Добрый старик!

Попутру рано Федотыч куда-то ушел, воротился с каким-то человеком в черном бархатном сюртуке и с небритой бородой и усами. Лицо у него было такое гадкое! Я опять засмеялась, мне было нехорошо, да уж я такая, что и нехорошо, а смеюсь, – ведь всё же равно не будет лучше, пожалуй плачь.

Тетушка начала с ним шептаться; из слов «воровство», «бить» и «свидетели» я заключила, что дело идет обо мне.

– Настрожим и «за рукоприкладство». А ин – «о буйстве». А вот теперь, матушка, настрожить просьбы чернил-ка.

– Есть, да перо-то плохо.

– Ничего-с.

Господин вынул из кармана нож, очинил перо и начал писать.

– А ни разу не ударила она вас?

– Только я отскочила, а то бы ударила непременно, да как она взяла чубук, я отскочила...

– Ну а не отскочи вы, ведь ударила бы?

– Да, пожалуй, что ударила бы.

– Ну, всё равно, что ударила. Вы ведь видели, как она ударила?

Обе постоялицы отвечали ему, что видели, как я замахнулась (я не замахивалась), но что т<етушка> отск<очила>, замахнулась – неловко.

– Ну пишите, как лучше, как там форма у вас требует. Мое дело правое, и кто меня любит, не только что перед судом, перед богом засвидетельствует.

– Я, матушка, готова жизнь за вас положить. <...> ушел вместе с теткой...

Вдруг слышу, ключ щелкнул в замке, вошла тетушка, за ней вошел солдат. Я вся задрожала...

– Тетушка, что вы хотите?

– Смирная собачка по вольке живет, а зубастая веревку грызет.

Солдат вынул из кармана веревку и туго завязал мне ее на руку.

– Вот так быть на вер<евке>.

– Бог вас накажет за меня, – сказала я.

– Ну, – сказал солдат, потянув меня за руку так, что я в<скрикнула>. – Да смотри у меня, иди смирно, а то как раз наживешь бескуражность и причину неприятную.

Мы вышли на улицу. Был уж час двенадцатый утра. Народу было на улице множество. Многие останавливались... Ехал извозчик и, п<оглядев> на меня, сказал: «Попалась, голубушка!» Меня такая злость взяла, что я показала ему кулак и после сама вдруг покраснела... «Экая отчаянная!» – сказал дворник... А впереди и позади всё народ, и руки у них не связаны, идут себе... Поворотили в другую улицу – идет мужик, я чуть не вскрикнула: «Дядя Терентий!» – да, слава богу, опомнилась. Он меня не узнал. Я бог знает когда его видела еще в деревне – когда было мне девять лет, а тут вдруг ведь как нарочно попался, да, слава богу, он меня не узнал, может, и встречала прежде, да не узнавала. Слезы так и просились из глаз, да не хотела я плакать (не хотела, чтоб люди видели мои слезы), – пожалуй, стали бы пуще смеяться. А тошно было мне: я хотела бы про<валиться> ск<возь> землю. Будь у меня нож, я перерезала бы веревку, убежала я бросилась <...>

Я вспомнила деревню, матушку. Где ты теперь, моя матушка? Видишь ли ты меня, матушка? Видишь ли, что они со мной делают? А бывало, ты, глядя на меня, говаривала: «Ты у меня растешь красавица, вырастешь – барин наш влюбится, будешь счастливая...» А вот я счастливая!

Обогнали меня два господина, один оглянулся и что-то сказал другому. Оба остановили<сь>.

– За что она попалась? – спросил один.

– За воровство, – отвечал солдат, приложив руку к шапке.

Сердце у меня разрывалось. Каждое слово, которое я тут слышала, врезалось в мою память.

– Воровство, – сказал один, – порок вообще отвратительный, но в женщине еще отвратительней!

– А недурна собой, – отвечал ему другой.

И они пошли прямо, а мы поворотили в другую улицу и скоро вошли в ворота одного каменного дома с каланчой; солдат привел меня в комнату, поставил у решетки, сказал: «Стой смирно!»

Комната была с решеткой, за решеткой стояли столы, и около них сидели господа во фраках и в мундирах, а перед решеткой стояли разные люди; передняя темная тоже была полна народом. Я сначала было сильно струхнула. Два пьяные – один в полосатом халате, другой в шинели – перессорились между собою <...>

Тут стоял лакей, такой задумчивый, с запечатанным письмом в руках; два каких-то

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы пьяных перекосячили между собою; старушка вздыхала; мальчик какой-то в пестрядином халатишке. Тут поставили и меня. Я прижалась в угол и стояла как неживая. Один пьяный плакал и жаловался, а другой смеялся над ним, утешал его, говорил, что, ведь они не стеклянные, что до свадьбы всё заживет, что, не они только, а ведь вот и другие... Тут он увидел меня: «Вот видишь, какая кралечка!» – и схватил меня за плечо. Я толкнула его, он пошатнулся, наткнулся, и оба они долго пресмешно переминались, пока справились и удержались на ногах. Я рассмеялась. Тут пьяный начал приставать ко мне, я не знала, как от него отделаться; он запел что-то про Итальянскую улицу. Вдруг вошел чиновник с бумагами в руке.

Он стал их бранить, что шатаются, пьянствуют, стекла бьют; они стали просить, божились, что в последний раз; чиновник приказал им молчать и спросил у лакея, зачем бон. Лакей подал ему письмо. Чиновник прочел письмо и спросил у него, знает ли он, что написано в письме. Лакей отвечал, что знает. Чиновник усмехнулся и стал говорить о старушкой. Потом он обратился к мальчику, который, уж видно, попадался не в первый раз, потому что чиновник тотчас его узнал, не хотел с ним и говорить, велел молчать и спросил меня. Я рассказала ему всё, как было, не скрывши ничего, и стала его просить... Тут вошел какой-то важный господин с крестом. Чиновник подал ему руку.

Чиновник сказал солдату, который пришел за ним, указавши на пьяных: «Сперва вот их!..» – и стал говорить с важным господином. Солдат взял пьяного в халате и сказал: «Пойдем». Тот опять кинулся было к чиновнику, заплакал, начал просить и кинулся было в ноги, но солдат оттащил его и увел. Другой крикнул ему: «Не робей, Андрюха!» – и, побледневши, прислонился к стене. У меня по телу пробежал мороз. Скоро пришли и за ним. Он только махнул рукой, сказал: «Пропадай!» – и пошел. У меня сердце ёкнуло и в глазах начинало темнеть. Я сама прислонилась к стене. Чиновник, поговоривши с толстым господином, ушел, сказавши, что нужно навестить справку. Господин сел и стал смотреть в нашу сторону. Потом пришли и за мальчишкой, который ревел на всю комн<ату>. Я не опускала глаз, прижалась к стене и крепко стиснула зубы, потому что мне не хотелось заплакать, как этот мальчишка, да вдруг, сама не знаю как, ресницы заморгали и слезы прорвались. Лакею, который теперь один со мною остался, видно, стало жаль меня, он стал меня утешать, говорил, что вот ведь и ему то же сейчас будет, да ведь он не плачет, что еще не отчего плакать, успею еще наплакаться, что, уж видно, чему быть, так тому и быть, что от спины до ног семьдесят пять дорог и что до свадьбы всё заживет. Пока он говорил, пришли за ним и увели его. Я осталась последняя, я слышала, что ноги у меня как лед; взяла себя за голову – голова у меня была мокрая от холодного поту. Я ухватилась обеими руками за решетку. Ко мне подошел солдат. Я несмело что-то вскрикнула: еще сильнее стиснула в руке <...> Голова у меня начинала кружиться, и уж только чуть-чуть, чуть-чуть понимала я, что вокруг меня происходит.

Я не знала, что делать, только изо всех сил держалась за решетку.

– погоди, – сказал чиновник солдату, когда тот подошел ко мне. И он опять начал говорить. Минут десять они говорили, взглядывая на меня, и подошли оба ко мне.

– послушай, милая! Повтори нам еще, как это вей было.

Я опять рассказала всё, как было.

– И ты тут ничего не скрываешь? – спросил он.

– Клянусь богом, – сказала я, – что хотела только достать и отдать господину Тр<остникову> письма, которые тетушка не хотела дать по упрямству...

– Хорошо, я верю тебе, – сказал он. – У тебя лицо доброе, и вот господин (тут он назвал фамилию) за тебя просит. Ступай к своей тетушке!

Тут он прибавил, что тетушка и ее муж заменили мне мать, а что родителей надобно почитать и уважать и что сам бог наказывает детей, которые не слушаются своих родителей.

Я насилу поняла, так обрадовалась, наконец поняла и чуть было не бросилась на шею толстому господину. Слезы выступили у меня на глаза.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Отри свои хорошенькие глазеночки, – сказал он, взявши меня за подбородок, и так посмотрел на меня, что мне вдруг не захотелось ни броситься ему на шею, ни плакать. Я поскорей поблагодарила и ушла. Как вдруг мне стало хорошо, как весело!

– Тетушка, тетушка! Проклятая тетушка! – говорила я сама с собой. – Как же, пойду я к тетушке, дождитесь, нашли дуру, пойду я к тетушке!..

– А куда ж ты пойдешь? – услышала я голос за собой. Я оглянулась и увидела того самого господина, что отпросил меня. Он был весь красный, пыхтел как самовар. Я сначала испугалась и побежала. Он побежал за мной. Я остановилась. Только он подбежал, я опять от него. Наконец мне стало жаль его. Я остановилась.

– Куда ты так бежишь, плутовка?<...>

Агаша шла домой, повеся голову и думая о своем беспомощном положении. Был час четвертый в начале, ни темно, ни светло, как обыкновенно осенью в четвертом часу с вечера выпавший первый снег давно стоял, и теперь валил новый, чтобы в свою очередь поволновать сердца бедных ванек, которые никак не могут отстать от привычки радоваться петербургскому осеннему снегу столько же, сколько огорчаются они всякий раз, как снег пропадает. Агаша ловила ртом снежинки. Снежинки таяли у ней на языке, и это, конечно, в другое время доставило бы ей развлечение. Но теперь она делала это машинально, по привычке проказничать, которая сжилась с ее живым нравом. В самом-то деле было ей не до того. Она чувствовала, что возвратиться к Богумиле Ивановне ей необходимо: еще с нуждой она как-нибудь справилась бы; можно бы наняться где-нибудь хоть в поломойки или другую какую-нибудь черную работу исполнять; труд был ей не новостью, и она его не боялась; но она знала, что нужно иметь какой-нибудь вид, а бродяжничая так, недолго опять попасть к надзирателю, при одной мысли о котором мороз пробежал у нее по коже. Но, не любя долго останавливаться на одной мысли, как бы она близко к сердцу ни была, она качнула головой и скоро рассеялась сценами, попадавшимися ей на пути. Прошед Кукушкин мост, она засмотрелась на извозчика, который стоял у своих дрожек, ел калач с зеленоватым изжелта отливом, приданным ему постным маслом, которым он был помазан. Извозчик был молодой видный малый лет девятнадцати, с добродушным румяным лицом, оттененным чуть пробивавшимися русыми волосами, у него были большие голубые глаза, и, усердно уписывая калач, он показывал необыкновенно ровные, белые, как слоновая кость, зубы, которыми можно было залюбоваться. Одет он был очень бедно в черноватый сильно изношенный армяк, весь осыпанный снегом, подпоясанный ремнем; дрожки, лошадь и вся запряжка также показывали, что он не принадлежал к аристократам извозничьего мира, называемым лихачами. Приглянулся ли ей извозчик или по другой причине – Агаша долго не могла свести с него глаз и наконец спросила его:

– Ты не из Богородского ли, парень?

– А тебе на что? – спросил извозчик. – Аль ты тоже аттоль?

Но голос извозчика, казалось, разрешил недоумение Агаши, и она поспешно с уверенностью прервала его:

– Тебя зовут Иваном...

– Иваном, – отвечал извозчик.

– А отца звали Ипатьем?

– Ипатьем, – отвечал извозчик, вкладывая в рот кусок калача,

– Ты не узнаешь меня, Ваня, – сказала Агаша. – Помнишь Агашку?

– Никак и есть ты! – сказал извозчик, остановив на ней на минуту большие голубые глаза свои маловыразительные, и потом снова стал жевать калач свой. – Ты где здесь, на месте, что ль? – спросил он, проглотив.

– Как ты переменялся, как вырос! – сказала Агаша, осматривая с любовью своего брата. – Ты давно здесь?

– Да вот уж четвертый год.

– А я и не знала! Ты ко мне не зашел...

– А где тебя найти-то? Как приехал, так андрес привез да всё собирался зайти, да где зайдешь – вишь, у нас хозяин такой: ни будни, ни праздники, а утром до свету: подымает.

– Ты бы заехал, – сказала Агаша. – Поди, приходится по всем улицам ездить.

– Да хотел, – отвечал извозчик, – да как заедешь-то? – от лошади не уйдешь: вишь, она у меня, жид проклятый (тут он дернул вожжу так, что пегая кляча, задрав: голову, попятилась назад), на месте не постоит; да и то; уйди – чехол стащат, а хозяин у нас такой: наемни гайка свалилась – целковый ставит на счет, а она и новая-то двугривенный... Хошь? – прибавил он, отламывая и подавая ей кусок калача.

Агаша взяла.

– А платит-то, как жид, прости господи, – продолжал извозчик. – Маишься, маишься, оброку не из чего отдать! А дома неурожай... Нынешним годом на тридцать рублей хлеба прикупили... Да вон жена пошет, высылай еще: есть нечего...

– А ты уж женат? – сказала Агаша...

– Третий год, – отвечал извозчик. – Признаться, и небольно хотелось, да староста настоял: вишь, осьмнадцать лет, тягло бери, ну а с тяглом, вестимо дело, одному не способно...

– Хорошая у тебя жена, Ваня?

– Нешто! – отвечал извозчик. – Живет!

– Как зовут ее?

– Матреной... Матреной Онисимовной, – прибавил он поправившись. – У Онисима Васильева дочку взял.

– Знаю, – сказала Агаша, – Матрену знаю... Да ведав как же, Ваня? Ведь когда я еще была девчонкой и жила в Богородском, ведь она уж тогда большая была. Ведь она стара для тебя, Ваня?

– Да я и сам думал, стара... Да староста говорит – не стара, нет другой девки... Женись, говорит, Ванюха, честью говорю тебе, женись... девка, говорит, разумная, а что в летах, тебе лучше: дома заправлять мастерица будет... Вот я и женился. А что стара, точно стара...

– Да ты бы не женился. Сказал бы, я, мол, не хочу.

– Да я было сначала и того, да он-то тоб, так я уж и ну!

– Ну как же ты живешь? – спросила Агаша.

– Нешто, – отвечал он, – известна наша жисть... Спереди запахнись, сзади проруха... Оброк-то хоть не весь, да дослал... малую толику не хватило, да и то староста пишет приказ: Ваньку Торопова, коли недоимки не дошлет к Покрову, – приставить в вотчину, а нынче, слышь ты, набор... Вот тут ты и поди!.. А хозяин такой, просил жалованья вперед, Христом богом умолял, в ногах валялся... оказался пес!.. то и говорит: у меня вон, говорит, Степан Шуба жил, парнице поздоровенней тебя, а поехал, говорит, ночью через Неву в пурганцу... морозом, что ли, прихватило, так ли час пришел – наутро мертвого нашла полица; спасибо, говорит, лошадь умница: сама домой дорогу нашла... да и то с саней фартух срезали, да сорок рублей, говорит, за Шубой пропало, – так уж теперь, говорит, нет – вперед ни гроша! Хошь живи, а не любо – не живи! Святое место не бывает пусто! Так вот он, какой хозяин. А иной раз еще седок обижает. День-деньской стоишь – ждешь, ждешь, рукавицы инда обобьешь, греючись, нет! Вот наемни всё утро стоял – никого! Идет барин; одет хорошо. «В Караванную!» Поехали; из Караванной на Пески, с Песков к Обухову мосту, от Обухова к Калининку, от Калининку на Васильевский, – да тут и пропал; стоял я, стоял, инда слезы прошибли, чтоб тебе, шаромыжнику

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов проклятому, ни дна ни покрывки! Часа три стоял, подъехал свой брат, извозчик. «Посмотри, брат, говорю, за лошадей!», а сам пошел искать барина... В одну дверь позвонил – нет, в другую – нет, а в третью как позвонил – вышел лакей с усами: а что ты, говорит, воровать, – да взашей с лестницы, а из ворот выскочил дворник с метлой да и еще прибавил... Я ему так и так – барина ищу, денег не заплатил. А он как фыркнул да и говорит: «Дурак ты, да ты посмотри: двор-то проходной; здесь вашего брата часто учат». Взаялся за бока и давай хохотать. Что станешь делать! Так и уехал. Ай барин! – продолжал извозчик в волнении, махнув рукой. – Поперхнется тебе, воровская душа, наша кровная гривна!

– Это какой-нибудь мазурик был, а не барин, – сказала Агаша.

– Чего мазурик!.. Одет таково важно... Воротник, чай, один рублей сто заплачен. «Вот ты будешь ездить со мной по часам, говорит, а там уж я тебя не обижу» – и вынул часы, и цепочка так блестит, поди, золотая... Поехал я, авось, думаю, навернется добрый человек: хоть бы не с пустыми руками к хозяину приехать, глядь – будочник остановил: вези пьяного в Литейную часть; только свез пьяного в Литейную часть, городской кричит: «Стой!» Нищую, вишь, кучер какой-то переехал да ускакал; угораздило среди улицы повалиться; лежит как колода; голосу не отдает; вези в больницу... А иной раз квартальный навернется, целый день проездит... Приедешь домой без выручки – хозяин костить примется: «Пьяница! вор! такой-сякой!» – и карманы обыщет, и сапоги снимет, и везде заглянет: вишь, думает, затаил... а в иной раз драться лезет... так с кулаками и подступает, воровская душа! Вот и поди тут.

– Неладно! – сказала Агаша.

– Ну а ты как? – спросил извозчик. – Ты у тетки живешь?

– У тетки,

– Хорошо?

– Мне от нее хоть в воду, – отвечала она, помолчав, – у кого бы ни жить; что бы ни работать, хоть с утра до вечера камни таскать, только бы не у нее жить, – вот как мне у нее!

– А что?

Тут Агаша коротко рассказала ему горемычное житье-бытье у тетки; передала, краснея и запинаясь, последний ее поступок и свои опасения за будущее житье у тетки. Извозчик с половины рассказа вдруг обнаружил горячность, какой трудно было от него ожидать, судя по прежнему его равнодушию, – горячность, вылившуюся в страшных ругательствах, которыми осыпал он ненавистную тетку, беспрестанно перерывая ими сестру.

Наконец Агаша кончила рассказ. Ванюха устал ругаться. Оба задумались.

– Да ты бы, – начала она после долгого молчания, возвращаясь снова к положению брата, – поискал другого хозяина, может быть, он дал бы тебе денег вперед...

– Да ты бы, – сказал он в то же время, – бросила ее, ведьму проклятую, на место поди!

– Куда я без паспорту пойду, а коли тетушка не напишет старосте, так паспорту не дадут. Она, вишь ты, на воспитание мне отдана, так ее и воля надо мной. Она сама говорит: «Я, говорит, тратилась на тебя, так ты мне заслужи...» Тратилась!.. Каждым куском попрекала!.. Поищи себе другого хозяина, Ваня.

– Все разбойники! – отвечал он. – Я восемь мест переменял: только кажний раз при расчете убыток!

– Неладно, – сказала сестра.

– Неладно, – повторил брат.

И оба они замолчали, потупя голову; потом глаза их, несколько влажные, встретились; они сделали друг к другу невольное движение, и взаимное сочувствие

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в эту горькую минуту выразилось невольной и короткой лаской: он положил ей на плечо свою неуклюжую тяжелую руку, она поцеловала его в лицо.

– Какая у тебя лошадь! – сказала она, подходя к лошади, чтоб скрыть свои слезы, и глядя ее по длинной и жилистой шее.

– Одер! – сказал извозчик, дернув опять изо всей силы вожжу и прихлестнув кнутом тощее животное, которое, вздрогнув, побежало из последних сил, брыкнув задом и вскидывая обе разом длинные и тощие передние ноги так высоко и странно, что Агаша, несмотря на грустное расположение свое, не могла не усмехнуться. Извозчик, упираясь и туго натянув вожжи, должен был проехать несколько шагов на своих больших сапогах, как на лыжах, пока остановил ее, и, остановив, продолжал: – Еще с утра, как выедешь, туда и сюда! А к вечеру хоть оглоблей вози, только зад вскидывает, того и гляди в зубы сноровит! Вишь, туда же, задом бить!.. Вот я тебя выучу задом бить! – Тут он забежал вперед и начал хлестать клячу по голове.

– Ну, не бей ее, – сказала Агаша. – Вишь, она у тебя и так кости да кожа.

– А что ее жалеть-то! – сказал он. – Всё одно от хозяина – бей не бей, только покажись на двор, и пойдет: «Мошенники! бога в вас нет! живота не жалеете! гоняете сломя голову...» Да, разгонишься с таким одром! Вишь, корова безрогая! Повесила морду-то!.. – И тут он снова поощрил клячу, припоровив удар свой по красной и лоснящейся ссадине, едва начинавшей заживать на холке замороженного животного.

– Хошь – прокачу, – наконец сказал он Агаше.

Оба они сели на санки рядом и поехали. Целую улицу, довольно длинную, Ванюха скакал, – для чего беспрестанно передергивал вожжами и нещадно хлестал лошадь, вымещая на тощих боках ее и то, что староста требует недоимку, а жена на хлеб, и то, что жена стара, и то, что Агаше у тетки житья нет, и многое другое, отчего ему приходилось солоно жить на свете, а может быть, впрочем, и без всякой мысли, единственно из желания показать, что и от него тоже может прийти солоно, или думая потешить сестру. Последнее всего вероятнее, потому что, почувствовав наконец боль в руке от маханья кнутом и подергиванья вожжами и поехав шагом, он спросил сестру:

– Ну что, любо?

– Ты ее очень мучишь, – отвечала она. – Ну пускай ее идет шагом. Мне еще нужно спросить тебя об матушке. Что она, как, здорова?

– Вот те на! здорова! Да ты разве не знаешь, что она вот уж третий год как умерла.

– Умерла?

Весть о смерти матери была для Агаши новостью, сколько неожиданною, столько же и страшною. Мать ее была от природы добрая женщина, и при крутом и буйном нраве отца, от которого детям часто приходилось тяжело, любовь к ним и заботливость матери еще более получали цены. Живя у чужих людей, попрекаемая каждым куском, видя кругом себя только недоброжелателей и гонителей и привыкнув считать такими людей, Агаша хорошо вспомнила мать свою, вспомнила каждую ее ласку, и печальный образ заботливой и кроткой старушки, чем более отдалялся от нее временем, тем ярче облекался в форму какого-то высшего и лучшего существа, к которому она с каждым днем сильнее привязывалась. Свидетелься с ней когда-нибудь было единственною светлою надеждою в горьком существовании сироты.

Теперь она вдруг почувствовала себя навсегда сиротою, и ее сердце болезненно дрогнуло... Долго молчала она в тяжелом страдании и совершенном упадке сил, какого с ней прежде никогда не было. Наконец она заплакала. Брат сначала повторял время от времени: «Ну, не плачь, Агафья, ну, полно, не реви, дура! Слезы не помогут. Ведь как подумаешь, какова была жисть-то ее, так, право, не об чем и плакать-то! Правду говорят, бог лучше знает, что делает!», но, видя, что слова его не помогают, по какому-то инстинктивному чувству уважил горесть сестры и замолчал.

– Как же, Ваня, она умерла? – наконец сказала она. – Расскажи, голубчик, всё, всё:..

– Да что, много-то нече и рассказывать. Еще ведь ты сама была дома, как батька пьяной, осерчавши на нее, свалил ее с ног кулаком. Кровь хлынула у нее горлом, наутро она всё жаловалась левым боком и всё уж, помнишь, была такая чахлая... Батька ушел в Питер да и пропал, тут она словно как маленечко поотдохла, да всё уж не то: мокрота душила, а лицо-то всё зеленой становилось, словно земля, в которой теперь она – царство ей небесное! – почивает! Вот перед Пасхой и совсем слегла... Стонет сердешная день и ночь, инда сердце надрывается. Есть ничего не ест; охала, охала да и попросила, чтобы сняли ее с полатей да положили на лавку под образа, вот положили, надели на нее белую чистую рубаху – сама так приказала; позвали попа, причастилась сердешная и стала потише... кашлять не кашляет... Киселька ложечку съела... Ну вот, матушка, говорю я, теперь ты получше, авось поднимешься. Нет, говорит, не жилица я, дитятко! Я, говорит, не сегодня завтра богу душу отдам. И в самом деле к вечеру стала кончаться... Собрались мы все, родные; ну, как водится, в ноги ей поклонились, прощенья просили... Все мы грешны, говорит... В избе тишина такая, думали, что она уже умерла, как вдруг пошевелилась вот она, позвала меня с Матрехой. Ну, говорит, детки, прощайте... Ты, Ванюха, не пей да не бражничай, а ты, Матрена, будь мужу послушна – ну, как водится, всё тоись по христианскому порядку. Вот у меня, говорит, отдана штука холста белить Ивану Семенычу в Гридниху, ты, Матрена, не забудь взять, оно полотенце тонкое, рублей по полтора за аршин на городу дают. Ну, говорит, живите мирно, бойтесь бога, ходите в церковь, творите заповеди божий, будьте послушны господам своим, они нам самим богом в набольшие поставлены... Будьте сами хороши, и вам будет хорошо, детки, – ну, понимаешь, и всё...

– А обо мне вспомнила? – спросила Агаша.

– Нет! – отвечал извозчик. – А вот уж перед самым-то, как кончаться, подозвала меня этак – сначала было дядя Павел подошел, да она и рукой замахала – и говорит так тихо, уж видно, кончается: «Ты, Иван...»

– Что ты глаза-то в кабаке, что ли, заложил! – закричал Ванюхе ехавший навстречу ему другой извозчик, на которого Ванюха, занятый рассказом, наехал так плотно, что лошади столкнулись лбами и сбруя спуталась.

– А ты что! – азартно возразил Ванька, умевший в нужных случаях не отставать ни от кого. – Места, что ли, мало... Своей стороны не знаешь! А туда же, называется извозчик...

– Да я-то по своей стороне еду... Нешто твоя правая сторона, – отвечал тот.

– Конокрад! – закричал ему Ванька, выпутываясь.

– Гужеед, – отвечал ему тот, и они разъехались, но долго еще продолжали перекидываться ругательствами, возвышая голос по мере удаления друг от друга.

– Ну, Ваня, – сказала Агаша, когда брат ее наконец успокоился.

– Так вот, вишь, – отвечал Ванюха, – подозвала меня и говорит: «Ты, Ваня, коли нужда придет одну корову продать (у нас, вишь ты, было две коровы), так Буренку не продавай, ни за что не продавай, а лучше Чернушку продай – Буренка хоть на вид хуже, да вдвое против Чернушки молока...» Тут уж голосу не хватило у сердешной, покатила навзничь и богу душу отдала... Зайдем сюда, Агаша, я те чайком напою.

Ванюха остановился у освещенного одноэтажного деревянного дома и слез с дрожек.

Агаша, которой было всё равно, куда бы ни идти, только бы не к тетушке, идти к которой теперь ей сделалось еще тяжелее и ненавистнее, последовала за своим братом, и они вошли в одно из тех заведений, в которых, как извещают их вывески, можно получить кушанье и чай, но где, впрочем, можно получить и всё остальное, нужное для полного человеческого услаждения: водку настоящую и ненастоянную, портер домашнего изделия, отзывающийся табаком и производящий одуряющее действие, и около которых шныряют какие-то дамы в платках ярких цветов, с открытыми головами, раскрасневшимися щеками, весьма редко, впрочем, забегающие в самое заведение. Вошед в первую комнату, Агаша увидела несколько окоороков и других разных мяс, пирогов и тому подобных съестных припасов, симметрически разложенных на прилавке; за прилавком стоял жирный буфетчик в рубахе и в



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в сюртуке, о черной окладистой бороде, тщательно округленной, а у прилавка толпились несколько человек разного рода, но приведенных сюда одинаковыми наклонностями: кучер в распахнувшемся плисовом полукафтаны, из которого выглядывало очень толстое брюхо, прикрытое красной рубахой, – брюхо, которому он, вместе с черной и густой бородой, обязан был своим благоденствием, благодаря справедливому убеждению некоторых господ, что кучер для произведения с козел надлежащего эффекта должен быть непременно толст; какой-то отчаянный усач в венгерке с брандебурами, подбитой ранжевым мериносом; франт, как видно, только что раненный в нос, который у него был залеплен хлопчатой бумагой, выдернутой из рукава венгерки и сквозь которую проступала кровь; несколько извозчиков, спрашивающих чаю; фокусник в сером нанковом сюртуке, с немецкой физиономией и тремя медными стаканами и таким же количеством шариков, которые он сначала клал все три под один стакан, и, когда открывал, под каждым оказывалось по одному; потом клал под каждый по одному – открывал, оказывались все под одним, и так далее, разнообразя свой вечный фокус до бесконечности и потешая тем почтенную публику, которая, впрочем, не очень добродушно поддавалась на его хитрости и смотрела на него каким-то взором сожаления; но когда, впрочем, он, выпив поднесенную ему кем-то рюмку водки, разжевал и проглотил хрусталь, – все вмиг проникнулось к нему глубочайшим уважением и стали просить, чтобы он повторил свой фокус, от чего пьяный немец не отказывался, прося только, чтоб ему дали вместо рюмки стакан, с которым обещал сделать то же, что с рюмкой. Вероятно, он сдержал свое слово, потому что незадолго выпил целую бутылку семигривенного портеру, приправляющегося, как известно, листовым табаком и производящего такое действие, что один весьма миролюбивый мужик, пришедший в харчевню побеседовать с земляком, выпив с бутылку такого портеру, ни с того ни с сего хватил земляка своего бутылкой в висок, отчего земляк тут же и умер. Но всех более потешал почтенную компанию наш приятель, дворовый человек Егор Харитонович Спиночка, значительно преобразовавшийся с тех пор, как мы с ним расстались: теперь на нем был черный мундир с красным кантом; шинель, небрежно накинутая на плечи, была тоже с кантом. Видно, нашел-таки он барина по себе, да еще не простого, а военного! Он и здесь, как и везде, где представлялся случай развернуться его социальной натуре, был душою общества: наигрывая на балалайке, восторженно выплясывал он трепака, выкидывал такие коленцы и пересыпал мелкую дробь своих ног такими прибаутками, что компания держалась за животы от хохота. Затем было тут и еще несколько лиц менее замечательных: несколько мужиков, прощающихся со своими бабами и земляками, лиц более или менее печальных; какой-то безногий нищий с каким-то знаком в петлице, на карачках притаившийся в заведение и вознаграждающий прыжки и балалайные трели дворового человека так, как, может быть, не был вознагражден никогда ни один великий артист в самые блестящие торжества свои: такое наслаждение было написано у него на лице, такой восторг выражался во всех его движениях, замирающих воркованьях, что, глядя на него, становилось завидно.

– Три пары чаю, – сказал извозчик, проходя в другую комнату.

Агаша молча шла за ним.

Вторая комната была несколько менее первой; в ней стояло несколько столов, приставленных к стенам и покрытых очень давно мытыми салфетками. За столами сидели так называемые у трактирных содержателей гости и пили кто чай, кто водку. Гости были большею частью с бородами. За одним только столом сидел с каким-то унылым мужиком один бритый, который, впрочем, мог при случае сойти за небритого... Черные, короткие, видимо жесткие, волосы густо покрывали его подбородок; на нем был черный, вытертый плисовый сюртук, нараспашку, с карманами наперед, в которые он беспрестанно клал свои руки, упираясь в дно их с такою силою, как будто ему смертельно хотелось прорвать их. Говоря с жаром, он высоко поднимал руки, не вынимая их из карманов, и болтал в воздухе лапами сюртука, как будто собирался лететь. Манишка, мытая немногим попрежде салфеток и украшенная двумя огромными синими запонками, колыхалась и вздувалась на его широкой груди, как мост, подпираемый прорвавшимся и бунтующим льдом. Сзади сюртука торчали концы тесемок, которыми прикреплялась она к его толстой шее, обернутой обрывками красного шарфа, и тоже болтались. Лицо у него было полное, круглое, проникнутое чувством собственного достоинства, цветом – ни бело, ни смугло, скорей пегое, за исключением носа, который начинал уже переходить из розового цвета в брусничный. Рыжий унылый мужик, в распахнутом нагольном тулупе, в синей рубахе с медным гребнем на поясе, налил ему третью рюмку и сказал:

– Ну-тко, Калина Павлыч! Без троицы и дом не строится!

– Да ты сам-то что ж?

– А я опосля, – отвечал мужик, не без волнения посмотрев на графин. – Так вот, – продолжал он, – писемко-то, Калина Павлыч, право-тко! Настрочил, да и дело с концом.

– Настрочу, уж коли сказал, так настрочу, – отвечал небритый господин и, осушив рюмку, поспешно спрятал руку в карман.

Последовало продолжительное молчание.

– Без четырех углов дом не бывает, – сказал мужик, самоотверженно наливая четвертую рюмку.

Небритый господин молча и поспешно спровадил ее в свой желудок. Мужик завистливо проводил ее туда глазами и продолжал:

– Иное дело нашему брату, безграмотному, – труда стоит, а грамотей, уж известно, грамотей... Так вот я того, вишь ты, и бумажки припас.

– Всякому свое, – отвечал глубокомысленно небритый господин, не обратив внимания на последние слова. – Грамотей пишет, ваш брат, серый армяк, дом сгромоздит... Ты по какому мастерству?

– А я по печному, – отвечал мужик.

– У, брат! Нынче, слышь, на печную работу поденно по три да по четыре рубля дают... Только работай! – И он выразительно подвинул пустую рюмку.

– От работы не будешь богат, а будешь разве горбат, – уныло отвечал мужик. – Инно дело подрядчику. Ну-тко, брат, я вот бумажки-то листик припас (тут мужик достал из-за пазухи смятый лист бумаги), чернилоц-то у буфетчика спрошаю (он человек знакомый, земляк), а сургучику-то, чай, у тебя водится...

– Есть, всё есть, – отвечал небритый господин и глубже погрузил руки в карманы.

– Вишь, у тебя глотка-то, словно бочка бездонная, – сказал совершенно неожиданно и с большим жаром вышедший из терпения мужик.

– Что, что? – начал грозно небритый господин, привстав и подняв известным способом обе полы. – Ты, кажется, ругаешься?.. А! Да ты, может быть, еще драться начнешь!..

– Нет, я не то чтобы в обиду, – кротко отвечал мужик, опуская голову, и, спеша погасить вспышку, наполнил рюмку небритого господина, после чего как-то невольно рука его, не покидая графина, направилась к другой порожней рюмке. Он, однако ж, ее не налил и, с решительностью поставив графин, прибавил: – Выпей, брат, да коли хошь сослужить службу – так не томи. Мне, брат, не до каляканья. Завтра чем свет десятский придет. Ему, вишь ты, хорошо; похаживат с палочкой, кого в зубы, кого по затылку, кого так через спину вытянет, а надоело – ушел...

– Так вашего брата и надо, – отвечал небритый господин, выпив рюмку и спрятав руки.

– Нешто! – пробормотал мужик.

– Да что ты сам-то не выпьешь?

– Было бы на что, – сердито сказал мужик и пошел в другую комнату.

– Притворяется! – сказал, рассуждая сам с собою, небритый, господин. – Притворяется мошенник. Все они такие – знаю я их! У всякого одна песня: барин дерет, а барин хорош, так управляющий дерет; становой дерет, барщина велика, урожаи плохи, лесу не отпускают – избенка развалилась – а пораскопай-ка, так у иного серого армяка побольше денег, чем у нашего брата! Да!

Он утвердительно качнул головой и махнул полой сюртука, в котором тоже

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов утвердительно откликнулись ему несколько медных грошей; затем он с поспешностью выпил одну и потом другую рюмку настойки и запел: «А настоечка тройная, а настоечка травная – удивительная!»

Мужик воротился с чернильницей.

– Да у меня, брат, чернилы-то есть, напрасно беспокоился, – сказал небритый господин. – Не поверю, честью клянусь, не поверю, – продолжал он, – чтоб у тебя нынешний год были заработки плохи... Ты, брат, видно, крепыш! Пожаров зимой было вволю, да к тому ж что ни улица – новый дом строится, машинища етажей в пять (тут он, усиливаясь представить огромные размеры домов, привел в сильное движение полы своего сюртука)... Цены важные... дни стояли теплые, без дождей... что ты мне ни говори, не поверю!..

Он налил себе рюмку и выпил...

– Для подрядчиков хорошо, – отвечал озадаченный мужик.

– А ты разве в задатке? – спросил тот, стараясь разгрызть крошечный в уголь высушенный сухарик из черного хлеба, какие подаются в наших трактирах для закуски.

– В задатке, – отвечал мужик.

Большая часть крестьян, приходящих на работу в Петербург, обыкновенно нуждаясь перед отправлением из дому в деньгах, отдают свои паспорта так называемым подрядчикам, получая от них на таком условии несколько денег вперед, что называется: пойти в задаток. Задаток простирается обыкновенно от 70 до 100 рубл. ассигнациями, и мужик, получивший его, поступает на лето в распоряжение подрядчика, который, сняв большую работу, поручает ее исполнение таким образом набранной артели, деятельно понуждая рабочих своих не лениться принятыми в таких случаях мерами и рассчитываясь с рабочими в конце лета – по своему усмотрению.

– А зачем было идти в задаток? – сказал небритый.

– Зачем! – повторил мужик. – Пяти десятков и не хватало... только пяти десятков, да, вишь ты, где взять, коли нет...

– Вот жаль, ты тогда ко мне не пришел, я бы тебе дал, – сказал небритый господин и расхохотался.

– Хотел уж корову продать, – продолжал мужик, погружаясь более и более в тяжкое раздумье, – да на грех жена забеременела. «Что ты, господь с тобою, – говорит, – уйдешь, а я что тут с ребенком без коровы стану делать, – Мне, – говорит, – ребенка-то не уморить стать, – вырастет – барину слуга будет!..» А что лето, так точно лето было важное... Эх! какое лето было! – продолжал мужик, взяв себя под бороду и покачнувшись на своем месте от волнения. – Вот наши сказывали – только выйдешь на угол[4], отъемом отнимают, – три, три с половиной, четыре, за четыре рубля переваливало!.. Сколько домов строится! Казенных строений тьма-тьмуца – на отбой берут, не стоят за деньгами... а на казенной работе, окромя денег, медали, слышь ты, дадут... Вот наемни бухаловский Прохор сказывал: «Мне, – говорит, – медаль выходит...» Вот оно как! Сто двадцать рабочих ден, сочти-тко, хоть по три рубля на круг... Ну тут оно, вестимо, хватило бы и оброк барину заплатить, и гостинцу снести, и казенну повинность справить, да себе-то осталось бы. А вот как наше-то дело, – кому рубль, а нам гривна! Вот наемни стали дуванить[5]; гуторили, гуторили... «По рублю семи гривен в день на круг, ребята, выходит», – говорит подрядчик. Вот те и на! Спорить, что ль, с ним станешь... Заспоришь, так, пожалуй, и ни с чем отпустишь. Вон у нас молодцы из другой артели пришли было к подрядчику да как гаркнут всей гурьбой: «Не хотим-ста такого дувану, давай настоящий!» – так, поди ты, что вышло. «А! вы, – говорит, – бунтовать!» – да и послал за фартальным... Да тут еще вычеты пойдут, – про должал мужик, – прогульные дни – за каждый вдвое. «Уж такое заведение, – говорит, – зачем прогуливал?» Возьмешь на лаптишки да на баню коли – а глядь, в заборе-то и невесть что... «Вот гляди, – говорит, – в книге записано», а кто у него там знает, что в книге. Вестимо, он грамотный, так и записывает. Да как задаток-то еще вычтет, что давно уж и в помине, чай, и у барина-то его нету, – и останется тебе много полсотни. Вот тут и плати барину, справляй повинность, вот тут и пей поди!..

Здесь мужик судорожно схватил графин, налил рюмку, выпил, вслед за ней налил и выпил другую и сказал:

– Вишь, какая рюмка–то крохотна!..

– Я говорил, притворяется мошенник! – воскликнул небритый господин, опьяневший уже до того, что не считал нужным скрывать своих мыслей. – Видишь, не на что выпить!

– Милый! – закричал мужик, позвеневав рюмкой об пустой графин. – Подай–ка еще графинчик да рюмку поболее!..

Они стали пить, уже не считаясь рюмками, и, когда осушили другой графинчик, мужик вдруг вспомнил о письме.

Небритый господин с сожалением достал руки из карманов, взял у мужика бумагу и приготовился писать.

– С чего начинать? – спросил он.

– Вестимо, с поклонов, – отвечал мужик.

Между тем Агаша с Ванюхой поместились за особенный стол. Скоро принесли им два белых чайника, один большой, пузатый, с длинным и загнутым носом, другой маленький, две белые чашки, относившиеся к большому пузатому чайнику, как только что оперившиеся гусята к длинношейному старому гусю, и одну потертую и очень тощую серебряную ложечку. Такой уж обычай не только в харчевнях, но и во всех русских трактирах, что, сколько бы человек ни пришло пить чай, подают одну на всех чайную ложечку. Если взять в расчет с одной стороны то, что при отсутствии малейшей брезгливости в русском человеке одной ложечкой даже десятерым очень легко обойтись, а с другой то, что при большем количестве ложечек предстояла опасность запутаться в счете, нельзя не сознаться, что обычай благоразумный. Если в наших ресторанах и кондитерских на Невском проспекте то и знай пропадают листы газет и книжки журналов, то хозяину бедной харчевни позволительно настолько любить свои ложечки, чтоб принимать к сбережению их свои меры.

Думая утешить Агашу, Ванюха сам почти не пил чаю, а беспрестанно наливал ей и просил ее пить. Себе же спросил водки. Но Агаша пила неохотно. Она продолжала расспрашивать брата о смерти матери. Малейшая подробность ее интересовала, и нередко наворачивались у нее на глазах слезы. Она подробно расспросила, в чем положили покойницу и в какой стороне кладбища похоронили ее, и есть ли крест или другой какой признак, по которому можно было бы узнать ее могилу. Ванюха рассказывал как умел, переплетая время от времени рассказ своей мыслью, что она теперь в царстве небесном и что ей теперь хорошо, – которая, казалось, его весьма утешала. Но Агаше она не казалась столько утешительною.

– Бог не попустит злодею, погубившему нашу матушку! – сказала она с какою–то торжественностию, выслушав рассказ брата и отирая слезы. – Он заступится за нее.

– Что ты, Агаша! – прервал ее брат. – Какому злодею?.. Ведь злодей–то.. ведь уж коли пошло на правду (поправился он), так погубил–то ее наш родной отец, а коли же отец да злодей! Мы, – продолжал извозчик, которому две–три рюмки водки значительно развязали язык, – мы должны молиться за родителей, – они на свет нас произвели, жисть нам даровали.. Вот оно как, Агаша!

Агаша молчала.

Ванюха выпил еще рюмку водки и сказал:

– Не хошь ли выпить маненько? Ты, чай, пивала.

– Нет.

– Будто! А вот у нас на селе девки так поди как лакомы до вина. И тоись пряника не надо, коли вино есть; Вестимо, парни приучили. Иной шестнадцати годов нету, а не хуже нашего брата. Выпей маненько, оно пользительно да и куражу придает.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Агаша выпила.

В то время из другой комнаты вышел запыхавшийся от трепака, красный и сияющий счастьем дворовый человек Егор Спиночка и, как человек, которому до всего есть дело, нагнулся к плечу писавшего небритого господина и, посмотрев с видом знатока, сказал:

– Писано, переписано, в село Борисово, из села Помела до деревни Веникова! ха! ха!

– Чего не видал? – вскричал небритый господин с каким-то неумеренным гневом, вскочив и грозно сверкая глазами...

– Ну а ты что окрысился-то, карманная выгрузка!.. Посмотреть нельзя!

– Нельзя, – величественно отвечал небритый, с яростию упираясь в карманы, куда он успел уже поместить свои руки...

– Ну ты у меня не больно – нельзя! Я, брат, как раз и в Рождественскую часть, [6] – у меня недолго! А не то в волосное правление!

– Ударь-ка! Ударь! – закричал небритый господня, подставляя лицо дворовому человеку и весь называясь на оплеуху.

– Ну, ударь!

Здесь нужно заметить, что небритый господин, кроме писанья писем и разных ябед, имел еще другой весьма важный промысел: коллежский регистратор, выгнанный из службы за пьянство и воровство, он постоянно носил при себе замаранный (и в буквальном и переносном смысле) аттестат свой; навязывался на ссору и, получив оплеуху, тотчас предъявлял свои права на благородство, крича: «Я благородный человек! Я чиновник! Как ты смел бить чиновника», – в подтверждение чего вытаскивал свой аттестат. Тут он требовал что-нибудь за оскорбление чести, а в противном случае набирал свидетелей и грозил повести дело законным порядком или формою суда, как он в таких случаях выражался. «Я последнюю рубашку продам, я голодать буду по неделе, а чести своей обижать всякому не позволю!» – кричал он обыкновенно в таких случаях, грозно размахивая руками, вложенными в карманы сюртука, задевая полами по носам собравшуюся вокруг него толпу. Знал ли, не знал ли дворовый человек такую утонченную щекотливость небритого господина насчет чести, он, однако ж, не рассудил идти до конца и отошел, ограничившись восклицанием:

– Не стоит с дрянью связываться-то!

– То-то! – сказал с неудовольствием небритый господин. – На словах-то куда горяч, а на деле... Вот уж дрянь так подлинно дрянь!

Он пустил вслед ему еще несколько крепких слов, но, потеряв надежду, чтоб дворовый человек воротился, он презрительно посмотрел вслед ему, с сожалением сел на прежнее место и раздавил пузырек с чернилами, хранившийся у него в заднем кармане.

А дворовый человек отправился к тому столу, где сидела Агаша с братом, и, увидев Агашу, подкатился к ней.

– А, сударыня! Из которого села... Давно ли изволили к нам пожаловать?.. Ишь, какая кралечка!

И он хотел прикоснуться к ее подбородку.

Но Агаша оттолкнула его без особенной деликатности и так ловко, что он вмиг очутился от нее шагах в трех, едва удержавшись на ногах.

– Молодец девка! – восторженно сказал какой-то длинный чахоточный парень в мещанской чуйке, уже давно молчаливо выглядывавший из дверей.

– Молодец! – повторило с хохотом еще несколько голосов.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Ты, брат, у меня ее не тронь, – начал Ванюха, дружески обращаясь к дворовому человеку, вновь подскочившему к Агаше, но уже не так близко. – Она у меня, вишь ты, в горях: мать умерла. А мать-то какая была, тоись добрейшая, царство ей небесное... Так вот она, видишь ты, и грустит – у нее, вишь, слезы еще не просохли... Уж как она, сердешная, плакала, как плакала! Вестимо, теперь сирота, ни отца ни матери.

– Молчи, Ваня, – шепнула ему Агаша.

– Да чего ж тут молчать? Нешто я не дело говорю, – отвечал извозчик, сделавшийся необыкновенно словоохотен, и продолжал, положив руку на плечо дворового человека: – Так вот оно, брат, что! Плохая жисть-то ее, сердешной: живет у тетки, а тетка такая, что хуже чужого. Совсем смучила девку работой, да мало того: вишь ты, осерчала наемни, да к фартальному...

– Пойдем, – сказала Агаша, судорожно дернув брата за рукав. – Мне домой пора.

– Посидим, – возразил он, не трогаясь с места и продолжая рассказывать все малейшие подробности бедствий, перенесенных сестрою, с таким жаром и чувством, что слезы несколько раз навертывались у него на глаза. По ругательствам и проклятьям, которые он посылал злой тетке каждый раз, как приходилось произносить ее имя, тоже видно было, что он любил свою сестру.

Здесь нужно заметить, что рассказ извозчика обратил в особенности внимание оборванного старика, который сидел в дальнем углу и пил одиноко, вздыхая, побрякивая и по временам разговаривая сам с собою. При первых подробностях старик соскочил и подошел ближе к рассказчику с какою-то необыкновенною живостию, но тотчас воротился на прежнее место и уже не проронил ни одного слова...

Наконец извозчик замолчал.

– Бедняжка! – сказал дворовый человек, приближаясь к Агаше. – Ни отца ни матери. Ну полно! Не тужи, красавица! Много плакать станешь – глаза опухнут, а у тебя – вишь ты, какие глаза-то!

И он обнаружил покушение прикоснуться к ней.

Но здесь длинный чахоточный парень, всё продолжавший смотреть на Агашу с своим уныло-застенчивым видом и не проронивший ни одного слова из рассказа извозчика, вдруг сделал шаг вперед и закричал:

– Говорят те, не замай!

Вмешательство его было так неожиданно и голос так строг и решителен, что глаза всех присутствующих на минуту встретились на нем; дворовый человек невольно отшатнулся, но тотчас, опомнившись, вскричал:

– Говорят, что кур доят, а я так думаю, щупают. Тебе что? – продолжал он, очень близко подскочив к длинному парню. – Аль скула чешется?

Парень нерешительно отошел на прежнее место.

Агаша опять стала звать брата домой. Но дворовый человек спросил пару пива, и Ванюха не мог никак отказаться выпить с новым своим благоприятелем.

Егор Харитоныч сел между сестрой и братом и, потешая Ванюху разными прибаутками да потчуж пивом, всё подвигался к Агаше и без церемонии положил ей руку на шею.

– Поди прочь! – сказала Агаша, оттолкнув его, и в то же время длинный чахоточный парень, выскочив вперед, схватил за ворот дворового человека и принялся колотить. Он колотил его молча и с жаром. В первую минуту никому не пришло в голову разнимать их: зрелище было слишком интересно и не могло не поглотить всего внимания; даже буфетчик забыл, что у него не далее как на прошлой неделе замертво увезли в больницу одного канцелярского сторожа, за что от недельной выручки не осталось ему ровно ни гроша, и, стоя в дверях, только одним глазом посматривал искоса на покинутый буфет, совершенно отдавшись, <подобно> другим, интересному зрелищу. Наконец два дюжие лакея, прибежавшие из другой комнаты,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы спохватились и, освободив собрата, в свою очередь накинулись на длинного парня... Агаша опять стала звать брата домой...

– А и то, – отвечал Ванюха, – уйти от беды; пожалуй, смертоубийство случится, в свидетели потянут.

И, пробравшись в другую комнату, он подошел к буфету, заворотив полу, вынул большой кожаный кошелек, из него вынул другой поменьше, достал бумажку, развернул ее и начал расплачиваться.

– Дай двугривенничек, – раздался у него жалобный голос за спиной.

Ванюха обернулся и увидел маленького оборванного и жалкого старика, того самого, который пил одиноко в темном углу. Старик, пивший одиноко в темном углу, вышел вслед за ним и тоже подошел к буфету.

– Дай двугривенничек, – сказал он, жадно смотря на несколько мелких монет, которые высыпал извозчик на руку из своего большого кожаного кошелька.

– Что? – сказал извозчик. – Двугривенничек! Вишь, у тебя губа-то не дура! Да я что за богач, что у меня двугривеннички про всякого! Было бы что хозяину отдать, вот приеду домой, выручку спросит.

– А ты хозяина-то надуй, – сказал старик, – скажи, ничего, мол, не выручил, уж такой день незадачный вышел!

– И впрямь, – отвечал Ванюха. – Он вот так и поверит – держи карман. Эх ты, старина, старина, до седых волос дожил, а ума не нажил. Ну, слыхано ли дело: пристал – дай двугривенный... Что я тебе, сват, что ли, али полоумный какой, стану я двугривенные всякому раздавать.

– Нужно, – сказал старик.

– А на что? Поди, чай, пропить? Вот вишь ты: тебе нужно, – отвечал словоохотливый извозчик, – и мне нужно, третьему нужно – всяк свою копейку про то и бережет, что, вишь ты, всякому нужно. А тебе больно нужно? – спросил он, продолжая рисоваться перед своим просителем.

– Дай, – жалобным голосом повторил старик, озаренный надеждой.

– А вот сейчас, – отвечал извозчик и, приняв сдачу, спрятал деньги в карман и пошел с Агашей вон из харчевни.

Старик пошел вслед за ними.

– Дай двугривенничек! – сказал он, когда они вышли на улицу.

– Поди ты, – отвечал раздосадованный извозчик, – вишь, пристал с ножом к горлу, нет у меня двугривенных про всякого мазурика!

– Не ругайся, – сказал старик, – ей-ей, не ругайся, Ванюха, не знаешь, кого обругаешь, а ты вот лучше двугривенничек-то дай, не жалея, право-тко, не жалея, такому человеку дашь, что не жаль... А хозяину так и скажи! день, мол, не задался. А меня одолжи: нужда, брат, я, брат, в другой раз сам пригожусь... А ты для меня не жалея... Тихому человеку дашь...

– А вот тебе! – сказал Ванюха, садясь в сани и хлестнув старика кнутом.

– Вот те раз, – воскликнул старик, хватаясь за лоб, – родного отца как смазал! Я, брат Ванюха, – продолжал он, подходя ближе к саням, – вишь, отец тебе, твой родной отец <...>

1844–1847

Сургучов\*  
<I>

Осенью часу в пятом в одну из лучших петербургских рестораций вошел чиновник (я положительно говорю – чиновник, потому что не боюсь ошибиться: из десяти

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов (некрас человек, встреченных вами на петербургских улицах, девять непременно чиновники) в бекеше с бобром, внушавшим предположение, что если владелец его не обладал пятиэтажным домом в Мещанской или в Гороховой, то уж наверно занимал одно из тех мест, которые у нас называются теплыми и которыми Русь, несмотря на географическое свое положение, говорят, очень богата. Но не то говорили глаза и вообще вся фигура вошедшего господина.

Не было в нем и следа той немножко педантической, но совершенно соответствующей чину и званию торжественности, которая постоянно присутствует на лицах крупных чиновников без всякого с их стороны усилия и даже часто без их ведома; не было в нем даже ничего такого, что могло бы внушить при первом взгляде размышление о благовоспитанности и благонамеренности, тогда как всякому известно, что при одном взгляде в лицо действительного председателя палаты или директора департамента не только исполняешь весь освежающих мыслей, но тотчас чувствуешь себя благовоспитаннее и благонамереннее.

Молодой коллежский регистратор, составивший о себе даже в двух посторонних департаментах опасную славу либерала ловким передразниванием походки некоторых значительных лиц и которому товарищи говорят частенько: «Уж смотри ты! Уж полетишь ты когда-нибудь... полетишь! Да и нас-то погубишь! С тобой просто страшно ходить!..», – этот коллежский регистратор и не подумал бы почтительно переждать, пока он пройдет мимо его, а пустил бы ему гримасу в самое лицо да и пошел бы своей обыкновенной походкой.

Голову держал он вниз, не стараясь нисколько преодолеть свойственной чиновникам сутулости, шагал нерешительно, встречному тотчас давал дорогу, не выдерживал ничьего взгляда, хотя бы то был взгляд трактирного прислужника, но тотчас опускал глаза и даже как-то странно конфузился, очевидно, чувствовал себя неловко. Еще более убедились бы вы, что господин в бекеше не принадлежал к числу крупных чиновников, взглянув ему попристальнее в глаза. Глаза у него были странно устроены: смотря в них, можно было подумать, что он не имел даже и первого чина, хотя нам достоверно известно, что он уже был представлен в коллежские секретари. Вечно смотрели они исподлобья; робость вечно боролась в них с подозрительностью.

Не говорило в пользу значительности рябоватого господина и то, что, вошед в залу, посредине которой протягивался стол, загроможденный приборами и обставленный стульями, он не окинул ее с презрительным невниманием, но осмотрелся медленно, взором, выражавшим любопытство и какое-то робкое опасение. Комната была почти пуста; только за другим концом стола сидел офицер путей сообщения, выписывавший стихи из «Репертуара русского театра» карандашом, занятым у буфетки, да у дверей в бильярдную, откуда слышался стук шаров, стояло несколько зрителей. Рябоватый господин на минуту занялся чтением небольшого объявления, висевшего на стене в черной рамке, которого он, впрочем, не дочитал, ибо имел уже случай не раз читать его и даже удивляться, почему во всех ресторациях обменено именно ни больше ни меньше как три шляпы. Потом он, мимоходом заглянув в зеркало, направил шаги свои в комнату направо.

Как скоро он вошел туда и, осмотревшись всё с тою же подозрительною боязливостью, увидел, что в комнате никого не было, лицо его просияло; он даже так улыбнулся, как будто пришло ему в мысль что-нибудь забавное и приятное; движения его сделались развязнее, походка увереннее. Полюбовавшись собой перед зеркалом и даже надев на минуту и шляпу, чтоб видеть, каков эффект в шляпе, он бережно снял бекеш и, перевесив его через стул, нежно прошел рукою по серебристой шерсти воротника; затем он принялся снимать высокие отороченные черным бархатом калоши, что исполнил не без труда и существующих на такие случаи в русском языке выразительных междометий, потому что калоши были новые и тащили вместе с собой с ног сапоги; сняв калоши, он снова подошел к зеркалу и посмотрел, каков эффект в сюртуке; эффект был небольшой, несмотря на удивительный, художественно сшитый сюртук; но так как чиновник наш уже к себе присмотрелся и не замечал ни сутулости, ни вообще угловатости своих форм, то он остался доволен не только сюртуком, но и вообще всей своей фигурой, так по крайней мере можно было заключить. Это еще более усилило в нем доброе расположение духа, и, усевшись на мягкий диван с видом человека, расположившегося хорошо пообедать, он весело и резко закричал:

– Человек!



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Но он почему-то сам испугался неумеренной живости своего восклицания, и когда вошел человек, он сказал уже голосом гораздо более умеренным, даже несколько тихим:

– Принеси карту, да затворяй, братец, двери.

Человек не затворил дверей, но опрометью бросился вон и через минуту вернулся с картой, исписанной названьями различных кушаньев на французском языке.

Рассмотрение карты повергло нашего чиновника в глубокое размышление и даже в некоторое замешательство. Может быть, его затруднил выбор обеда; или, может быть, он не знал французского языка и стыдился признаться перед слугою в своем невежестве, приказав принести карту русскую, – как бы то ни было, но он несколько минут вертел карту в руках в нерешительности и наконец, явно отдаваясь на волю божью, молча уткнул пальцем в некоторые строки карты.

– Сейчас! – сказал человек и готов был исчезнуть, – но чиновник остановил его вопросом:

– Ну что же ты мне дашь-то? – спросил он.

– Суп-с.

– Какой суп?

– Суп брюсе, – отвечал человек, стараясь счесть буквы дикого ему французского слова и вместе желая дать удовлетворительный ответ.

Потеряв охоту спрашивать далее, чиновник наш сказал коротко: «Ну давай!», и когда уже человек бросился вон, он опять приостановил его, закричав:

– Да принеси мне, братец, «Северную пчелу» и «Библиотеку для чтения»,

Отдав это приказание, рябой господин сел, вытянул свои длинные ноги, причем с явным удовольствием полюбовался на красоту своих ног (<с>казать мимоходом, не очень красивых), обтянутых в растягивающееся трико, и предался приятным мечтаньям человека, расположившегося хорошо пообедать.

Вошел слуга и подал ему огромный лист, прозванный русским «Journal de Debate».

– А «Северная пчела»? – спросил рябой господин.

– «Пчелы» нет, – отвечал слуга.

– Отчего же нет?

– Украли-с.

– А «Библиотека для чтения»?

– Тоже нет-с. Украли-с.

– Чего ни спроси – всё у вас украли. Кто же это у вас крадет?

– Господа-с...

– А какие журналы больше крадут? – спросил рябой господин.

– Да все-с... «Журнал Деба», «Северную», «Репертуар».

– А какие больше?

– «Северную пчелу», – отвечал слуга,

– А еще?

– «Библиотеку для чтения».

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Принеси мне «Репертуар».

– Занят-с.

Слуга хотел уйти, но рябой господин воротил его вопросом:

– А «Репертуар» крадут?

– Крадут-с...

Слуга ушел. Заключение из его показаний, что «Северная пчела» и «Репертуар» должны быть хорошие журналы, и пожалев, что их-то именно ему и не удалось почитать, рябой господин принялся за «Полицейскую газету». Он, как многие из посетителей петербургских трактиров, любил чтение этой газеты и на одном вечере, где был один литератор и где по этому случаю завязался разговор о преимуществе «Северной пчелы» перед «Полицейской газетой», имел даже дух довольно резко заметить, что лучше «Полицейской» он не знает русской газеты.

Продается пара отличных шведок за сходную цену; благородная девица из иностранок желает иметь место при детях или компаньонки; продается мерин сивой масти четырех лет; отпускается в услужение дворовый человек, видный собою; пропал легавый кобель и пр...

В размышлениях о сивом мерине четырех лет, о голландской карете, о кобеле, за которого дано будет 25 р. сер. награждения, о благородной девице из иностранок, знающей немецкий, французский и русский язык и желающей иметь место компаньонки или гувернантки при детях, согласной и на отъезд, о дворежном человеке, видном собою, которого предлагали в услужение, рябой господин и не видел, как промелькнул тот значительный промежуток времени, который отделяет в русских ресторациях приказание от его выполнения. Слуга снял крышку с миски, откуда тотчас распространился ароматический пар, и сказал:

– Готово-с.

Увидев густой благовонный пар, выходящий из открытой слугою миски, рябой господин сказал: «А!»

Рябой господин принялся есть. Он съел с большим аппетитом суп.

Но только что он нагнул бутылку, в двери послышался шорох, заставивший его оглянуться. Не обернувшись он, заглянувшая фигура, вероятно, воротилась бы в общую комнату, ибо обнаружила уже явное к тому намерение... Но он обернулся, и заглянувшая фигура остановилась в дверях неподвижно.

Вошедший господин с первого раза поража ловкостью, светскостью, утонченным щегольством. Но кто бы взгляделся в его одежду, тот тотчас увидел бы, что оно было щегольство поддельное, которое могло только обмануть при вечернем освещении. В этом отношении он похож был на декорацию, поразительную издалека тщательностью отделки, но вблизи ничего не представляющую, кроме ярких, грубо наляпанных красок и безжизненных, плоских фигур.

Вглядевшись в шарф, так небрежно обвитый вокруг его шеи, вы заметили бы две-три белесоватые полоски, которые дали бы вам знать, что, прежде чем этот шарф получил свою глянцеvitость, по нем, может быть, не в первый раз прошел раскаленный утюг; что шляпа, на тулье которой прочли вы карточки с надписью «Циммерман», была уже на два рубли ассигнациями в переделке в Гостином дворе у шапошного мастера Крундышова; что по воротнику сюртука, может быть, сам же его владелец прошел несколько раз зубами, прежде чем он получил способность откидываться овально с такою небрежностью; сукно сюртука... если бы дело было не вечером, не при свечах, то вы, может быть, заметили бы, что для материала, из которого сделан сюртук, нужно прибрать другое название; некоторые части его, особенно рукава, могли бы совершенно заменить транспоран; может быть, заметили бы, что и все швы, совсем побелевшие, иные пятнышки, не поддававшиеся никаким могущественным усилиям пятновыводчиков, закрашены чернилами. Таковы же были светскость и ловкость молодого человека; опытный глаз также легко отличил бы в нем человека дурного тона, претендующего на хороший тон; также мы угадали в нем франта, щеголяющего ворочаным сюртуком и переделанной шляпой.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Он был выше среднего роста, хорошо сложен и недурен собой. Он любил рисоваться, старался обнаруживать утонченную непринужденность, но всё это было натянуто, неграциозно, чиновнически. Всё это могло поразить только его собратьев – мелких чиновников.

Он пригнул голову направо и осмотрел нашего чиновника справа, потом он перегнулся налево и осмотрел его слева. Всё, казалось, возбуждало его удивление: и неловко повязанный, несколько безвкусный, но дорогой шарф, и только что с иголки сюртучок, который как-то не шел к неуклюжей фигуре своего хозяина, и его изысканная прическа (чиновник наш был завит). Он даже нагнулся и взглянул на сапоги нашего чиновника, и сапоги, казалось, довершили его удивление (они были новые и сияли как жар).

– Наследство, что ли, ты получил, братец? – наконец он спросил его с изумлением и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Хорошо, хорошо, братец. Это очень хорошо, что ты употребляешь деньги как следует. Только, братец, надо тебя немножко воспитать... Этот шарф, может, он очень хорош, только светские люди таких шарфов не носят: пестро! Как раз прослынешь, моншер, человеком дурного тона. Вот сюртук так хорош: только ты совсем не умеешь его носить, моншер, надо, чтоб во всем был шик, чтобы всё было небрежно, свободно, вот так (и он откидывал лацканы и воротник сюртука на бледном и неподвижном нашем герое). Жилет тоже хорош, только что за портной делал тебе, братец? Совсем почти белье не видать... Надо, чтоб было больше белья, моншер, больше белья! главное дело, больше белья; я, ты знаешь, знаком-таки со многими аристократами, можно сказать, да и сам умею-таки одеваться, ты уж меня послушай. Я тебя в год так поставлю... Что же ты не ешь супу, братец? Славный, должно быть, суп! Вот за то я тебя люблю, что при деньгах не пошел куда-нибудь... У тебя, братец, наклонности благородные, аристократические... А! а! и шампанское!.. браво! браво! моншер! Теперь я вижу, что ты умеешь жить!

– Это кислые щи, – сказал чиновник наш едва внятным, дрожащим голосом.

– Кислые щи! Нехорошо, моншер! Порядочные люди кислых щей не пьют! Фи! Я удивляюсь даже, как тебе дали кислых щей в такой ресторации. Стыдно, кажется, и у человека спросить... «Дай, братец, мне кислых щей!» Ха! ха! Ведь кислые щи продают у харчевен на столиках много... Пей, моншер, лимонад газов. При твоём состоянии... А много ли ты наследства-то получил?

– Я не получал никакого наследства.

– Как! а сюртук! а жилет! а шарф! а сапоги! а обед! Нет, моншер, я ведь знаю: таких вещей на семьсот рублей жалованья иметь нельзя...

– Прообедать пять рублей раз в месяц я могу и при моем жалованье, а платье я взял надеть у одного знакомого, даже почти родственника, который на днях приехал в остановился у меня...

– И сапоги? – спросил Побегушкин, которому, казалось, особенно нравились сапоги нашего чиновника, потому что он не сводил с них глаз.

– Нет, сапоги я сам заказывал.

– И много взяли с тебя?

Чиновник наш, казалось, несколько затруднился, но, подумав, он отвечал:

– Пятнадцать рублей.

– Как! Только пятнадцать рублей такие чудесные сапоги... Не может быть, моншер!

– Точно, – отвечал чиновник наш нерешительно.

– Да я за свои двадцать три рубля плачу, а всё не то; нет этого, знаешь, чтоб в ноге красота была; чтоб, знаешь, нога свободна была, как без сапога... Кто же тебе делал, моншер?

Казалось, герой наш пришел в затруднительное положение, как бы не знал, что сказать...

– Хоть убей, не помню! – наконец отвечал он.

– Вспомни, вспомни, моншер... Да я сейчас же к нему побегу... Пожалуйста! Ты должен непременно вспомнить, иначе я от тебя не отойду!

Такая решительная настойчивость, казалось, испугала нашего чиновника.

– По крайней мере не помнишь ли, где живет...

Но чиновник наш объявил, что забыл не только дом, но и улицу, где живет.

– Подумай, братец, подумай, – сказал Побегушкин жалобно-умоляющим голосом.

И чиновник наш несколько минут старался или показывал, что старается вспомнить адрес, и наконец отвечал решительно:

– Хоть убей, не вспомню!

На лице молодого человека выразилось страдание.

– Эх, братец! – воскликнул он с горечью. <...>

Как только он сходил с Невского, он тотчас бережно снимал с рук перчатки и бережно клал их в карман... Когда же, повернув в Литейную или в другую улицу, вдруг замечал карету, тотчас надевал их снова, охорашивался и бежал безумно навстречу карете.

– Ну, брат, сколько хорошеньких видел сегодня! Хоть ты век себе по Невскому ходи, таких не увидишь. Нет, брат, аристократочки-то, брат, пешком не гуляют. На то у них экипаж, четверка, братец, фореитор кричит «пади! пади!», а я, братец, знай иду себе шаг за шагом; «кричи, кричи!» – думаю, а я шагу не прибавлю, а душа-то у меня вся в глазах...

– Уж раздавят тебя когда-нибудь, – заметил дрожащим голосом Иванов.

– Как бы не так, раздавят... Да что у меня, глаз нету, что ли? А кучер-то, да попробуй-ка он меня зацепить... Да разве он не знает, что у нас полиция есть.

В нем почему-то жило убеждение, что наконец какая-нибудь аристократочка (как говорил он) заметит его, сделает ему знак рукой, что он возьмет отличного извозчика не торгуясь, велит скакать за каретой; остановится в нескольких шагах там, где остановится карета, даст ей заметить себя, когда она будет выходить из кареты, вздохнет, положит руку на сердце и долго будет молчаливо бродить мимо ее окон; наконец выйдет служанка, молча, осторожным движением заставит его идти за собою, и вот он идет, сердце у него сильно бьется; он занят мыслью, что ей сказать, а между тем вот они прошли уже великолепную лестницу, швейцар в желтой ливрее вежливо привстал перед ним, и вот они уже входят в дверь; вот они проходят комнату, другую, третью, а бронза, фарфор, великолепные зеркала так и кидаются ему в глаза, вот они вошли <в> комнату, уютную, чудно убранную и... «Подождите здесь», – говорит служанка и уходит. Он ждет, и вот является она... и проч. и пр. Он падает пред нею на колени. Таким образом он еще надеялся освободиться от чиновничества, в которое еще не втянулся и о котором не думал и не говорил с важностью, потому что получал только семьсот рублей жалованья и не имел никаких от него доходов. И он, заткнув руки в карманы своего коротенького пальто, бежал, словно возбужденный каким-нибудь сильным внутренним движением, опрометью, сам не зная куда, как бегают люди, занятые сильно какою-нибудь мыслью...

Он так был занят своею мыслью, что ему даже казалось иногда, что вот такая-то дама пристально на него взглянула... Раз ему показалось даже, что одна сделала ему ручкой (сомнительно, чтоб аристократки наши прибегали к таким способам изъявления своего внимания, но мечтатель наш имел свое понятие об аристократках)... Что с ним сделалось, странно поверить; сердце его так забилося, что он чуть не упал, коленки подогнулись; он весь замер, и только дикий, отчаянный крик: «Извозчик! извозчик!» – свидетельствовал, что он жив... И он обскакал несколько улиц, несколько магазинов, наконец карета остановилась у подъезда великолепного дома.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Чья карета? – спросил он задыхающимся голосом у кучера с толстым брюхом и черной бородой.

– Чья?.. А тебе на что.. чья?.. Господская!

– Да ты мне скажи, братец, чья?

– Проваливай, – закричал ему высокой гайдук, и карета въехала в ворота...

Он целые три часа до самого вечера ходил взад и вперед около дома; но никто не вышел позвать его... «Видно, муж дома!..» – подумал он и грустно ушел. А на другой день он уже с утра был тут, и, несмотря на то что и этот день и другие был тот же успех, он ходил, как накануне, празднично, гордо держал голову: ему всё мечталось о любви, о деньгах, которые она ему предложит, и о том, как он от них будет после отказываться, и он ел у Излера, не снимал перчаток даже и на Мещанской, которую глубоко презирал, и после, когда год проходил, принужден был закладывать последние вещи на скудный обед.

Он знал наизусть несколько стихотворений гр. Ростопчиной, читал Одоевского и Солл<sup>о</sup>губа... о прочих отзывался с презрением.

Читатели назовут его смешным и отчасти смешным, но пусть они заглянут в себя. Я знаю, что не один он. В нем только резко отразилась болезнь, общая всем петербуржцам... И вы, молодой человек <...>

И он погиб, бедная жертва хорошего тона, аристократ<sup>ки</sup> бы<sup>ли</sup> <...>

И Петербург будет равнодушно смеяться над ним за то, что резче других отразилась на нем страсть, волнующая все петербургские души, страсть невинная, но достигшая степени, на которой и самые невинные страсти становятся гибельны!

Разные бывают судьбы людские, и разные бывают несчастья. Иной глядит, как будто только что проглотил тухлую устрицу.

<II>

Странным образом приобрел он себе друга. Раз как-то, гуляя на Крестовском, он зашел в трактир. Из всего, что тут происходило, он мог только заметить, что тут били какого-то маленького человечка в коричневом фраке с металлическими пуговицами, который, совершенно растерявшись и не зная куда кинуться от сыпавшихся на него со всех сторон ударов, петушился уже из последних сил, но всё еще повторял с каким-то жалким задором: «Вы меня не смеете бить! Не смеете! Эй, говорю, худо будет... Завтра же, вот увидите, завтра же вас всех заберут... Я... я... вы не знаете, что ли, кто я!» Но высокорослые господа продолжали свое дело, не обращая внимания на жалкие угрозы маленького человечка. Приятель наш с большим любопытством и даже с некоторым увлечением, потому что редкий русский человек не отдаст должной справедливости ловко данной затрещине, даже если б оно пришлось по его собственному затылку, – приятель наш с большим любопытством смотрел на происходившую картину, и только мысль, что ему неприлично было бы вмешиваться в такую грязную сцену, удерживала его от восклицаний, которые испускаются в таких случаях. Он уже хотел уйти, подвигнутый этой мыслью, как вдруг высокорослый господин, долго не обращавший внимания на угрозы маленького человечка, закричал ему:

– Благородный человек! Много вашего брата, благородных-то, по бильярдным шары воруют!.. А ты вот деньги-то заплати... Играешь на бильярде, да не платишь денег!.. А еще называешься князь!

Откуда взялась в приятеле нашем и храбрость и сила...

– Стой! – закричал он, ворвавшись в толпу. – Что здесь происходит... Драка! Как вы смеете драться здесь... бездельники!

Может быть, сам того не зная, он употребил прекрасную меру, самую решительную, которая оказывалась действительной и в случаях более важных. Никто не спросил, кто он и имеет ли право сам ввязываться к делу, но толпа тотчас боязливо расступилась, а высокорослые господа даже подобострастно потупили глаза...

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Не ушибены ли вы, князь? – спросил он с участием, – Не нужно ли вам чего?..  
Сделайте одолжение, князь, я весь к вашим услугам.

– Ничего-с, – отвечал князь. – А ушибен ли я, знают мои бока да спина...

– Не нужно ли вам будет к доктору? Сделайте одолжение, князь, я весь к вашим услугам.

– Нет-с, к доктору не нужно-с... А вот если ваша милость будет, прикажите мне дать стакан ромашки-с!

Такое требование несколько смутило нашего приятеля.

Пора уже познакомить читателя с князем, о котором так часто говорит Побегушкин. Уже одно слово «князь» пугает читателя, предубежденного против повестей с князьями и графами теми господами сочинителями, которые любят изображать большой свет и всяких аристократов, у которых им не удавалось быть и в прихожей. Но опасение читателя напрасно: мы совсем не намерены подражать тем господам сочинителям; скажем больше: если б приятель Побегушкина принадлежал к большому свету, почему-либо мог назваться аристократом, то мы не решились бы даже сделать его действующим лицом нашей повести. У нас на то есть свои причины, смеем уверить читателя, весьма уважительные. Но приятель Побегушкина только и имел в себе особенного, что родился князем, а во всем остальном совершенно, как две капли, походил на тех мелкотравчатых господ, с которыми суждено нам еще много раз встретиться в продолжение нашей повести. Он происходил от тех родителей, которые с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание, мешавшее им посвятить себя какому-нибудь ремеслу или промыслу (ибо такие занятия почитаются у нас предосудительными для всякого принадлежащего к высшему сословию и даже для имеющего чин). Отец и шесть дядей нашего князя сносили судьбу свою довольно терпеливо (ибо, к счастью, хорошо были приготовлены к тому воспитанием), и только одного не могла переносить их княжеская гордость <<...>

Ух! Легче стало на душе, и слово ложится свободнее на бумагу. К несчастью, у нас еще так много читателей, ищущих в книге того, что они называют полезным для ума и приятным для сердца, и возмущающихся всем, что сколько-нибудь представляет жизнь действительную, нисколько не подрумяненную, что подобные оговорки необходимы. Не оговорись – иной охотник почитать схватился бы за мою статью, прочел бы несколько страниц, зачитав, не захотел бы не дочитать (по привычке многих читателей), а дочитав, приобрел бы себе полное право бранить вас. Ясно, что, оговорившись, вы избавили бы читателя от нескольких часов скуки, а себя от хулителя, может быть, беспощадного. Способ прекрасный и необходимый, и я вперед обещаю уведомлять читателя в начале каждой будущей повести <<...>

Побегушкин употребил все усилия, чтобы снискать дружеское расположение князя, что вообще не стоило большого труда, ибо князь был сам радехонек человеку, на счет которого можно было хоть изредка попить и поесть, и чему способствовало при том одно особенно счастливое обстоятельство. Надобно знать, что квартиры своей князь не нанимал, может быть, потому, что нанимать ее было не на что, а жил у своих пансионских товарищей, которые любили его за то, что он играл между ними роль шута и позволял щелкать себя по носу (слабость, к которой сильно наклонны очень многие петербургские молодые люди). Но князь имел свои слабости, и к числу их принадлежала слабость носить чужое платье. Не то чтоб он любил щеголять; нет! если б он мог иметь много собственного платья, он, быть может, надевал бы его без особенного удовольствия, но при виде хорошего жилета, сюртука или шарфа в нем тотчас возникало неотразимое желание надеть его, и он часто достигал цели особенным образом. Он никогда не выходил со двора раньше приятеля, у которого жил, но как только тот уходил, он тотчас надевал вещь, которая ему особенно нравилась или которой недоставало в его гардеробе, и пускался франтить по городу.

Приятель сначала не замечал, потом терпел, пока хватало терпения, но наконец, несмотря на всю его любезность, дело кончалось – таки тем, что приятель выгонял его с квартиры, замечая ему: «Ты, братец, свинья!»

– Ты бы давно сказал, братец, что я тебе в тягость, что тебе жаль стакана чаю... я бы давно с радостью... что мне, жить, что ли, негде?.. Я никому в тягость быть не намерен!..

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
И князь уходил с достоинством, насвистывая польку.

«А еще князь!» – кричит вслед ему с злобной радостью угрюмый лакей, питающий, как и все его собратья, какую-то безотчетную злобу к нахлебникам и всяким голодным приятелям своего барина.

Он уходил к другому, крепился, сколько хватало сил, но и здесь как-нибудь красивый жилет, коричневый фрак с стальными пуговицами (князь любил цвета яркие) или какая-нибудь голландская рубашка с кружевами на манер пены (князь не щадил даже и рубашек своих приятелей) повергали его в искушение, которому он не в состоянии был противиться. Случилось так, что именно около времени встречи с Побегушкиным он рассорился с последним своим приятелем и решительно не знал, где жить. Потому нетрудно догадаться, как рад был князь вниманию Побегушкина и готовности его на угождения. В тот же вечер он поехал к нему ночевать, а через два дня уже щеголял в его старом сюртуке (ибо эта часть одежды князя, как более других пострадавшая во время битвы в Крестовском трактире, совершенно не годилась к употреблению). Болезненно сжалось сердце Побегушкина, когда он, возвращаясь однажды из департамента, встретил князя на Невском проспекте в собственном своем жилете, который он только что сшил и на эффект которого много рассчитывал. Однако ж он ничего не сказал князю, потому что они в тот день только что начали говорить друг другу «ты» (вождевленное обстоятельство, которого робко желал Побегушкин и не смел надеяться).

Но, прежде чем я приступлю к рассказу, я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестнице, в грязные комнаты, к грязным людям. Я ставлю здесь слово «грязный» в том смысле, в каком понимают его многие читатели. Не великие страсти, не возвышенные порывы и не аристократические страдания намерен я изобразить здесь, но я хочу ввести читателя <в мир людей> обыкновенных и бедных, каких всего больше на свете и которые всегда останутся такими, если мы будем пробегать мимо них, зажав нос и отвернувши лицо; я хочу ввести их в интересы тех желтых и костлявых старух, которые целый день просиживают над десятком гнилых яблоков, чтоб взять на них грош барыша; посвятить их в тайны их сетований, их радостных ослаблений, которые даже нельзя назвать улыбками; в страдания и радости тех увечных и сгорбленных, убогих и морщинистых стариков, которых глубокие и частые вздохи наполняют воздух неблагоприятными простоями, которых радости грубы, страсти дики, но в которых также <...>; тех оборванных и отвратительных женщин, которые сначала с подавленными слезами украдкой протягивают к вам руку и краснеют, потом хохочут и пьянствуют, потом пьянствуют и воруют; тех бледных и болезненных мальчиков, которые с протянутыми ручонками дрожат на улице от холода, но боятся идти домой, потому что там ждут их побои голодной и пьяной старухи, увечного, ожесточенно-то нищетою отца. Словом, я поведу вас в мир людей, которых страдания мелки и темны, радости грубы, песни простонародны и полны подавляющей, камнем на душу налегающей грусти, стремления дики, рублища отвратительны, но которые также люди, в которых также закинута искра божественная, может быть, не совсем погасшая. Если вы принадлежите к тем, которые торжественно объявляют таких людей не стоящими внимания, такие картины грязными, возбуждающими отвращение, – бог с вами! Не для тех я пишу, кто, завидев несчастного, умирающего от смрадных ран, зажав нос, торопятся пробежать мимо, но кто спешит к нему с помощью и утешением, тот поймет мою цель. К ним <...>

1853–1855

Тонкий человек, его приключения и наблюдения\*

Часть I

Глава I,

в которой тонкий человек говорит, а друг его спит

23 марта 18\*\* года, очень рано, часу в одиннадцатом, к Тростникову пришел приятель его Грачов и сказал с своей всегдашней важностью:

– Любезный Тростников, можешь ли ты уделить мне несколько часов времени?

– Изволь, сколько угодно. Но что такое особенное случилось?

– Мне нужно поговорить с тобою. Тростников вдруг рассмеялся.

– Чему ты смеешься?

– Да как же не смеяться? Ты посмотри на себя. Так и Манфред не часто смотрел, я

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов думаю!

- Перестань шутить. Я пришел сообщить тебе намерение, которое глубоко созрело в моей душе и должно иметь влияние на всю мою жизнь.
- В чем же оно состоит?
- Прежде чем я скажу тебе, я желал бы рассказать многое – дать тебе, так сказать, ключ к моему внутреннему миру.
- Как торжественно! Извини, не могу не смеяться. Впрочем, готов слушать.
- Послушай, – таинственно сказал Грачов, нисколько не обидясь смехом своего приятеля. – Послушай, и ты перестанешь смеяться, ты, может быть, даже...
- Пролью слезу сострадания? Может быть; говори!
- Того, что я решаюсь доверить твоей дружбе (я знаю: ты умеешь уважать тайны друзей, и надеюсь, что могу назвать другом человека, с которым короток с самого детства), нельзя передать в двух словах, и потому если ты не расположен слушать теперь, то лучше скажи...
- Ничего, любезный друг, говори. Ты увидишь, что я не только уважаю тайны друзей, но даже умею выслушивать их. Итак, начинай!

Грачов начал:

- Чтоб сказать всё, я должен коснуться моего детства...

Но рассказ Грачова длился несколько часов, и как мы не принадлежим к числу друзей рассказчика, то не лучше ли нам сократить его? Благо у нас под рукой верное средство: опыт научил нас, что, как только торжественное «я» уступит место скромному «он», многие подробности, казавшиеся чрезвычайно важными, вылетают сами собою. Например: «Принужденный сам заботиться о долговечности моих сапогов, я приискал какой-то дрянной черепок, пошел на рынок, купил дегтю, увы! на последний гривенник, и, возвратясь домой, тщательно вымазал мои сапоги, не щадя рук и подвергая невыносимой пытке мое бедное обоняние». Отбросьте «я», и останется: «Он купил дегтю и вымазал свои сапоги». Если вам мало одного примера, то можете делать опыты сами: теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии. И вы увидите иногда результаты неожиданные. Эта невинная замена имеет действие лопаты, с помощью которой очищают – веют – только что вымолоченный хлеб: зерно остается на гумне, а шелуху и пыль уносит ветер... И нет ничего легче, как веять. Если вы живали в деревне осенью, то, верно, заметили, что этим делом занимаются даже малые ребяташки. Дружно предаются они своей работе; зачерпнув зерен, высоко взбрасывают они лопаты свои – и как, образовав на минуту темную бровь в воздухе, весело и хлестко падают тучные зерна на твердое, гладко укатанное гумно! Славный звук и вообще хорошая картина. Но жалкое зрелище представляет шелуха: как подбитая моль, вяло покружась в воздухе, она апатически оседает на траву или на болото и пропадает там. Но что до шелухи? О пей никто не думает. Дело в том, что очищаемый таким образом хлеб дает сытную и здоровую пищу, и да научатся «веять» все те, до кого это может относиться.

И мы попробовали веять. И опыт наш превзошел ожидания: рассказ Грачова разлетелся весь так, что уцелело только несколько отрывочных громких слов с приличным числом восклицательных знаков: «Скука, тоска, разочарование!..» Грачов жаловался на пустоту своей жизни и в подтверждение приводил свою биографию, точно не богатую ничем особенным. Итак, передавать читателю нечего, и приходится начать новую главу. Однако ж, если пересказывать нечего, то Тростникову пришлось много слушать. Как же он слушал? Сначала он брлся, пил кофей, курил сигару, а потом стал зевать, закрываясь газетой, и наконец уснул. Проснувшись на эпизоде о какой-то панне Сабине, которую Грачов почитал чудом женских совершенств и которая провела его самым грубым образом, – проснувшись, Тростников взглянул на часы и внезапно озлился, должно быть от мысли, что нашелся человек, считающий его способным выслушивать такие длинные признания, чьи бы то ни было. Одновременно с озлоблением, как это часто бывает, он почувствовал голод, позвонил человека и велел подавать обед тотчас, как будет готов.

- Вели и на мою долю, – прибавил Грачов. – Я не ел больше суток и сегодня буду



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не имеет аппетита волчий.

Окончание признаний своего приятеля Тростников дослушал так мрачно, что, будь Грачов хоть немного менее погружен в свой рассказ, он, верно, сделал бы одно не тех тонких замечаний, которые любил делать при всяком удобном случае, придавая им свою любимую форму вопросов и ответов, именно:

Вопрос: Когда человек находится в самом глупом положении?

Ответ: Когда поверяет свои душевные тайны голодному приятелю.

Или что-нибудь подобное.

Глава II,

в которой тонкий человек спит, а друг его говорит

– Итак, ты видишь теперь, – сказал Грачов, окончив свои признания, – ты видишь, что я не фразирую, отзываясь несколько желчно о жизни, о людях, о женщинах и приняв твердое намерение...

– Вижу, – перебил Тростников. – Всё вижу и всё понимаю! И ты убежден, что жизнь тяжкое бремя? Что женщины, например, уже не могут занимать ни твоего сердца, ни даже глаз?

– Убежден, – отвечал Грачов.

– Скромное общество нескольких избранных друзей, с которыми сблизиться – помнишь? – ты так добивался, также, говоришь ты, потеряло в глазах твоих всю прелесть?

– Да, – со вздохом сказал Грачов.

– Карты, в которые ты играл не столь счастливо, как охотно, карты тоже?

– Тоже.

– Театр, опера, в которой ты хоть мало понимал, но много шумел, опера тоже?

– Тоже.

– И ты говоришь, тебе осталось одно: уехать в деревню?

– И навсегда! – с эффектом сказал Грачов.

– Навсегда? Ну, едва ли! Извини, любезный друг, слишком сильно сказано! И откуда вдруг такое решение? Еще третьего дня играл ты до рассвета в карты, гулял по Невскому с полным самонаслаждением – и вдруг...

– Но ты знаешь, что часто самые скорые решения бывают и самые решительные... Они зреют в тишине, подобно... подобно...

Грачов не прибрав сравнения и продолжал:

– Я пришел вчера домой пере<о>деться, чтоб ехать обедать к С\*, как вдруг вопрос... нот, множество вопросов: что я там буду делать? и к чему еду? и к чему ездил прежде? и что я вообще делаю? и не есть ли вся моя жизнь пошлое повторение одних и тех же пошлостей? Эти вопросы сами собою пришли мне в голову. Или, может быть, их вогнал в нее порыв теплого весеннего ветерка, который ворвался в открытую форточку. И я подумал...

– Не лучше ли съездить в деревню?..

– И я подумал: не лучше ли уехать навсегда в деревню! – с ударением произнес Грачов. – Эта мысль не оставляла меня за обедом и потом целый вечер. Я с ней сегодня проснулся и нетерпеливо побежал к тебе, чтобы сообщить ее.

– Ну, видишь, как всё просто!

– Да; но дорогой мысль о пошлости моей жизни и о том, как в самом деле мало

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов занимает меня всё то, чему я предаюсь с утра до ночи...

– А иногда и по ночам...

– Дорогой эта мысль представилась моему уму с поразительной ясностью, и мне стало стыдно, я почувствовал даже отвращение к той жизни, которую вел... и мое давнее презрение, мое горьким опытом купленное знание людей, весь яд желчи и ненависти, – как огонь, таившийся под пеплом, всё вспыхнуло...

– И в таком прекрасном духе ты пришел ко мне, и, вместо того чтобы сказать просто: «Я вздумал ехать в деревню отдохнуть и поохотиться; не хочешь ли ехать со мной?», ты вот уже пять часов сряду... (как долго не дают есть!..) изливаешься перед приятелем в красноречивых и мрачных признаниях, бранишь всё и всех, словом, употребляешь отчаянные усилия вогнать и его в тоску... Очень великодушно! Прекрасная привычка: как только дрянная какая заведется на душе, тотчас бежать к приятелю. И всё под предлогом дружбы: ищу участия, совета! Изволь, я буду советовать. Только, смотри, не пенять. Теперь моя очередь, и я тоже начну издалека. Прежде всего позволь предложить тебе вопрос: не проигрался ли ты вчера?

– Сделай одолжение, говори, спрашивай сколько угодно! Ты хочешь знать, – апатически сказал Грачов, – не проигрался ли я вчера?.. Проиграл! Ну, теперь продолжай и можешь быть уверен: ты найдешь самого терпеливого слушателя, если вздумаешь говорить хоть до завтра, – чем дольше, тем лучше...

И тонкий человек зевнул, и по круглому лицу его пробежала ядовитая улыбка.

– Проиграл! Ну, вот видишь, ты проиграл вчера да и вообще в зиму попроигрался, приятели дали несколько щелчков твоему самолюбию, и дали поделом: всё твоя глупая страсть к тонкостям; вот и оказался: карты и приятели – вещь негодная. Кстати припомнил ты историю с панной Сабинной. Ну, и женщины тоже! Наконец певица, по правде сказать преплохая, которую ты один поддерживал, беснуясь и бросая ей букеты, тогда как другие шикали, любимая твоя певица окончательно срезалась. Ну, и опера никуда не годится. Таким образом и очутилось в самом конце то, с чего следовало начать и в чем всё дело: «Едем в деревню». Сознайся, ведь так?

Тростников приостановился. Но вместо ответа послышалось тихое и мерное храпение.

– Ты спишь? Так скоро? О, тонкий человек! Да не притворяешься ли ты?

Ответа не было.

– Смотри, Грачов, если ты вздумал выкинуть новую тонкость, то предупреждаю: она не удастся, ты будешь жестоко раскаиваться в ней. Лучше признайся. Молчишь? Ну смотри: я буду неумолим!

И он продолжал, наблюдая спящее лицо своего приятеля:

– Сказать просто «еду в деревню» не в твоём вкусе. Я знаю тебя: ты ничего не любишь делать просто. Каждое самое естественное желание, мимо простых и очевидных причин, ты считаешь долгом облечь флером таинственности, особенной важности или траурной торжественности. Никогда не забуду твоих разглагольствий перед отъездом за границу. Боже мой! каких глубоких, важных, возвышенных причин не насказал ты, хитрый педант! А ты ехал просто потому, что шевелились лишние денжонки в кармане и что при рассказах о парижских женщинах у тебя глаза наливались кровью, как у этого тупоумного индейца Джальмы, которым ты тогда восхищался вместе с парижскими дворниками. Спишь, Грачов? Спит – значит, я могу продолжать. А твоя глупая страсть к тонкостям? Ха-ха-ха, как ты всегда с ней срезывался! Помнишь, раз на охоте мы в поте лица месили грязь по болоту, а ты, тонкий человек, засел в куст и зло посмеивался, стреляя сгоняемых нами бекасов и уток; но только ты не рассчитал одного, что, сберегая ноги, можешь поплатиться лбом. И твой же собственный егерь, не заметив в кусте твоей важной особы, вlepил в нее ползаряда... Ха-ха-ха... Правда, лоб твой устоял против бекасиной дроби; но смотри: не все части твоего тела, может быть, так крепки, как лоб, и не всегда ружье заряжается бекасинником! Ты тонул еще в детстве, и тонкость уже тогда резала тебя. Помнишь, в пансионе у Курнана: какой славный день был и как чудесно солнце светило в раскрытые окна нашего класса! Тогда еще голубь влетел в окно и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некрас ужасно перепугал учителя. Ждали нового инспектора, всё было вымыто, вычищено; врываясь в класс... только не голубь, а пьяная фигура с просительным аттестатом. Жидкий французик затопал ногами, заскрежетал зубами, крича: «Вон, вон!» (он еще, помнишь, кричал как-то иначе, что нас невероятно тешило). Так бы и выгнали бродягу, но пузатый и длинноухий мальчик, раскормленный, как индейка, пронизательно заметил своим товарищам по задней скамейке: «А не инспектор ли, господя, сам переделся и пришел инкогнито?» Говор пронесся по классу, дошел до учителя, и глупый французик, неизвестно почему, счел догадку твою основательной и стал вежливо говорить с пьянчужкой, пока не явился настоящий инспектор в сопровождении Курнана... Какая тогда произошла сцена и какие были последствия? Раздраженные французы высекли тонкого мальчика – и как больно высекли!

Или помнишь другую школьную сцену, с книгой, в которую вписывались наши проказы; учитель арифметики, человек русский, долго и горячо допытывался: кто вырвал из нее несколько листов? Виновного не нашлось; тогда он прибегнул к старой сказочной хитрости: роздал мальчикам по ровной соломинке и сказал, что у виновного через час на вершок соломинка вырастет длиннее, – и ты ровно на вершок откусил свою соломинку, и тебя опять высекли, а виноват был не один ты, и ты даже меньше других! Так кончались твои тонкости в детстве, того же заслуживают они и теперь; да и чем твои новейшие тонкости умнее детских? (Черт возьми, как долго не дают обедать, пять часов!) Например, теперешняя твоя тонкость (если только ты не спишь действительно, а, право, я сильно подозреваю, что ты притворяешься) – что в ней умного? Ты вздумал срезать приятеля, которому пришла охота сказать тебе горькую правду, и прикинулся спящим (я так предполагаю), но приятель подметил твою тонкость и выскажет даже больше, чем хотел, может даже обругать хитреца, и ты ничего не вправе будешь сделать: ведь ты спишь. Спишь, Грачов? – возвысив голос, спросил Тростников. (Ответа не было.)

– Смотри, – продолжал Тростников, – лучше откликнись и признайся, а то хуже будет, ты рискуешь услышать неприятные вещи... Слышишь? Я теперь перестаю говорить с тобой, а буду рассуждать о тебе с самим собой; право, не лучше ли откликнуться?.. Но ты молчишь, и я начинаю: что такое Грачов? Начнем с наружности. Грачов – плотный детина двадцати семи лет. Он еще не толст, но принадлежит к людям, которые должны потолстеть неизбежно. И он будет толст, хотя и принимает дозванные меры, чтоб не потолстеть. Но характера у него поменьше, чем у Байрона, и, потерпев два-три дня, на четвертый он так наедается, что глаза его готовы выскочить. Каблуки его сапогов не выше обыкновенных, но они непременно прежде всего бросятся вам в глаза, может быть, вследствие особенности его походки: он не идет, а как будто козыряет, показывая свои маленькие ноги, ставя одну за другой с грацией и некоторой торжественностью, причем весь корпус его слегка колеблется. Вообще он не любит скрывать того, чем наделила его природа, и заказывает себе платье (у лучшего портного – он большой фант) в обтяжку; грудь его и так неумеренно высока, но он еще имеет привычку пялить ее, втягивая живот. Еще два-три года, и талия его будет переваливаться, а лет через пять он начнет ходить с солидной тростью. Он мастер повязывать галстук, и когда кланяется или танцует, то закругляет руки и нагибает голову с медленной грацией. В этом он несколько похож на Павла Иваныча Чичикова... Спишь, Грачов? Спит! (А повар тоже, видно, спать лег!) Теперь пойдем далее.

Что такое Грачов?

Грачов – добрый малый, не слишком умный и не дурак, но добрый малый, уже утративший первобытную форму и несколько испорченный новейшими примесями, и вот по какому случаю: Грачов имел счастье или несчастье, что решить довольно трудно, попасть в круг, где любят-таки поговорить о существенных вопросах науки, жизни, современности и проч. В этом кругу мужчины очень умны, а дамы очень дурны собой – это его характеристика. Этот кружок, между прочим, имеет свойство быстро развивать самолюбие каждого, кто прикоснется к нему, да иначе и не может быть там, где роль каждого определяется его личным значением, а значение – личным достоинством и заслугой. Следствия такого свойства для умных членов кружка часто бывали благодетельны: возбужденные соревнованием, эти счастливицы вырабатывали из себя всё, что могли, и делались светилами если не общества, то своего кружка. Но что делалось с остальными, с людьми обыкновенными? Бывало, что они кончали даже трагически. Оторванные от полусознательного существования, которое так весело влачит большинство добрых малых, они гибнут жертвою неумеренно развитого самолюбия. Вы тотчас их узнаете, вступив в такой круг (по преимуществу литературный); они желты и зелены, сидят, вечно надувшись, говорят мало: не

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не смеют или думают, что не найдут слушателей. Самолюбие гложет их, и постоянное напряжение придумать что-нибудь оригинальное умерщвляет в них последний остаток ума; они кажутся совершенными дураками... Кто бы подумал, что величавый друг наш Грачов хоть одну минуту мог находиться в таком положении? Правда, не совсем в таком; он богат и давал хорошие обеды; его вздор выслушивали, от него не отходили прочь при первом его слове, но всё же гордость его часто получала неизбежные щелчки: он тайно мучился, и пот скудоумия нередко капал с его высокого чела при напрасных усилиях сказать что-нибудь умное. Но не такова была его натура, чтобы запутаться и засесть в паутине, сплетаемой смертельно уязвленным самолюбием. Его самолюбие не было смертельно уязвимо. Он скоро примирился с своим положением, перестал пыхтеть и надуваться и поднял голову. И с той поры он уже не опускал ее: он понял свою роль в умном кружке, нашел еще другой круг, в котором отдыхало его самолюбие, и славно повел свои дела. В умном кружке он жаловался на пустоту своего светского общества, а в светском – на педантство и ученую скуку умного кружка, сношения с которым облакал он должную таинственностью, намекая, будто сам принимал участие в его деятельности. Он брал у кружка умников их суждения, их взгляды, их мудреные слова и фразы (всего чаще слова и фразы) и приносил их в светский круг свой, а умникам платил светскими сплетнями, до которых так падки литературные затворники. Наконец, окончательное удовлетворение своему самолюбию нашел он в том, в чем я вижу одно доказательство его тупости: если один отличается ученостью, другой написал умную книгу, третий мастер говорить, то и я также имею свое – я человек необыкновенно тонким, – думает наш друг Грачов, который теперь сладко спит или, может быть, уже проснулся. Спишь, Грачов? Спит, и я еще успею разобрать, что такое тонкий человек. (А каков повар! Я умираю с голоду.) Что такое тонкий человек? – Глупец, так много думающий о своей особе, что не хочется даже признать в нем и тех достоинств, которые он действительно имеет...

Тут Грачов шевельнулся, но почти тотчас же снова послышалось его тихое храпение.

Тростников продолжал:

– Нет, такое определение не годится, оно слишком общо и так грубо, что даже сонных коробит, надо поискать другого. Что же такое тонкий человек?

Тонкий человек – величайший энциклопедист, хоть, может быть, учился плохо и в дрянной школе. Он знаток решительно во всем: в женщинах, в музыке, в лошадях, в литературе, в астрономии, в политике. Он мог бы написать превосходную книгу о чем угодно; но не пишет, потому что... не хочет.

Тонкий человек слышит за версту, видит впотьмах, знает вас насквозь, как свои пять пальцев.

Тонкий человек узнает характер человека по его почерку. Тонкий человек расскажет вам историю приходящего, даже определит его чин, лета, рост и самую цель посещения по звонку, приводимому в движение его рукой.

Тонкий человек – знаток в медицине: если вы больны и лечитесь у известного доктора, он посоветует вам прогнать доктора, объявит его лекарства никуда не годными и предложит вам свои услуги, вызываясь вылечить вас в один день. Не верите? Попробуйте!

Никто не возьмется охотнее тонкого человека и никто не выполнит лучше так называемых деликатных и печальных необходимостей, например когда нужно приготовить мать к известию о смерти сына, жену – к известию о смерти мужа. Можете быть уверены, что при самом входе тонкого человека мать хлопнется в обморок, вообразив, что не только один сын, а все ее дети померли. Но тонкий человек все-таки будет уверять, что, не случись его, было бы хуже: и мать и жена не перенесли бы удара и, верно, лежали бы на столе, тогда как теперь, при его содействии, мать только расшибла висок, ударившись об угол кровати при падении, а жена впала в самое легонькое безумие, которое, не беспокойтесь, пройдет, непременно пройдет... уж я знаю!

Однако ж вот я и кончил, а обеда всё нет, и мой друг Грачов всё еще спит, что же я буду теперь делать? Да, я еще не сделал общего заключения! Что же какое общее заключение о Грачове? Хороший он или дурной человек? Ни то ни се! Был он хорош, когда была влюблен – не в глупую панну Сабину, о которой он так высокопарно повествовал и которая так нетонко его провела. Нет! Гораздо ранее. Ему было

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не тогда только девятнадцать лет. Как он был прост, и искренен, и тепел! (Я тогда и полюбил его.) Как он весь блистал и светился и, однако ж, нисколько не оскорблял, а веселил своим блистаньем, чего нельзя сказать о теперешнем его самодовольствии, которое иногда бесит даже посторонних. Я сам слышал, как один господин в трактире при входе Грачова закричал: «Человек, перенеси мой прибор в другую комнату!» – и потом вполголоса говорил своему приятелю: «Вот физиономия, которой я не могу видеть равнодушно! Мы не имеем ничего общего, даже не знакомы, может быть, он прекрасный человек, в чем я, однако, сомневаюсь, но при виде его желчь моя подымается и аппетит пропадает». (Слышишь, Грачов? Так отзывался о тебе господин, которого зовут... Но что пользы называть фамилию, когда ты спишь?..) Впрочем, кто же не хорош в пору любви? А кто не хорош в эту пору, от того не жди добра в другое время. О, чудное, чудное пламя любви! Зачем не вечно горишь ты в груди человека! Люди были бы лучше, и Грачов никогда бы не дошел до такого нравственного падения, как теперь. Любовь облагораживает самую грубую душу. Так точно (славное сравнение пришло мне в голову), так точно бедной и тесной лачужке выпадает иногда на долю приютить на четверть часа под соломенной кровлей своей путешественницу, богатую, красивую и причудливую. За четверть часа до приезда красавицы с лачугой совершается превращение: пол устлан коврами, потолок и стены обиты богатой материей, накурено благовониями, зажжена лампа, придающая всему ровный матовый колорит. И вот явилась чудная гостья – покушала, сделала свой туалет и уехала далее, только пыль стоит столбом по дороге, да отдаленный стук экипажей, да лениво расходящаяся толпа свидетелей, что всё происходившее за минуту не было виденьем, не сонная греза. А в избушке всё опять бедно, даже кажется беднее и хуже: потолок словно почернел пуще прежнего, огромная печь как будто еще стала неуклюжее; темно, сыро, нечисто, и, как мелкие страсти в душе человека, по закопченным стенам копошатся и бегают проворные прусаки и мухи. И жди, когда опять заглянет чудная гостья, и заглянет ли еще...

«Да! славное сравнение! (уже не говорил, а думал Тростников). Но странное дело! Нет сомнения, что оно принадлежит мне. Я его нигде не читал, ни от кого не слышал; око пришло в мою голову, оно мое. Но отчего же мне первому кажется, что я его украл... у Гоголя? Неужели сила гения так велика, что он кладет свое клеймо даже на известный род мыслей, которые могут родиться в голове другого? Или я ошибаюсь, и это просто общее место, пошлая мысль, которой я дал, благо готова, форму сравнений Гоголя... Или форма-то меня и сбивает, и в чужой форме мне и самая мысль моя кажется чужою? А своей формы я не умел дать. Кто решит мне эти вопросы? Я их не в силах решить. И вот почему я никогда не мог бы быть писателем. Хорошо или худо ли, мое или не мое – эти сомнения замучили бы меня, и при одной мысли, что меня могли бы заподозрить в краже чужого ума, бросает меня в такой жар, как если б кто сказал, что я вытащил платок из кармана...

– Кушать подано! – громко возвестил человек.

– А! ну, слава богу! – сказал Тростников. – Грачов, полно дурачиться! Пойдем есть.

Грачов медленно открыл глаза, приподнялся и спросил зевая:

– Что ты говоришь?

– Обедать подано,

– Как! Неужели уж так поздно?

– Полно хитрить, приятель! Признайся лучше: перетопил немножко?

– Что такое? Ничего не понимаю.

Грачов причесывался перед зеркалом.

– Ну, всё равно. Спал ли ты или не спал, я торжественно объявляю, что сроду не имел такого слушателя, как сегодня...

– А разве ты говорил что-нибудь? – спросил Грачов зевая.

– Всё время.

– Ну так я скажу, что ты ошибаешься: ты мог иметь еще лучшего слушателя.

– Кого же, например?

– Я думаю, человека, который умел бы спать с открытыми глазами, – кротко сказал Грачов.

– О, тонкий человек! Правда, правда!

### Глава III

Оба друга бодрствуют

Приятель перешли в столовую и сели обедать. Но хотя Грачев заявил, что будет иметь аппетит волчий, однако ж кушал мало и был, вероятно со сна, не совсем в духе. Разговор не клеился. Время от времени Тростников повторял одни и те же вопросы: «Так ты спал, Грачов? Так ты не слышал, что я говорил?», на что Грачов каждый раз пожимал плечами и отвечал сухо: «Разумеется, что ж тут удивительного?» И разговор умолкал. Наконец Тростников прекратил свои вопросы (ему показалось, что они как будто сердят приятеля) и заговорил о поездке в деревню.

– Да! – заметил он между прочим. – Твоя мысль ехать теперь же удивительно счастлива; и, если бы ты сказал мне ее без длинных и мрачных предисловий, я бы расцеловал тебя! Я сам думал ехать, но не ранее как в конце мая. Почему не теперь же? А вот спроси! Невероятно, как глубоко и незаметно рутина въедается во все наши действия. Все едут в конце мая, и я ждал конца мая! Как будто что-нибудь удерживает меня здесь! Но не истинное ли удовольствие уехать в деревню теперь же? Это будет то же, что с одного выстрела убить пару вальдшнепов: мы избежим самого дурного времени в Петербурге и захватим самое лучшее в деревне! Не дышать зловонием, когда начнут колоть грязный лед, не видать чудовищной мостовой, по которой ныряют эти бедные ваньки, и вместо того присутствовать при самом зарождении весны, приветствовать обновление природы, подстеречь первый побег молодой травы, вдохнуть полной грудью первое весеннее дуновение, – признаюсь, роскошнее ничего давно не представлялось моему воображению... да, едем теперь же! Я благословляю голову, в которую пришла эта счастливая мысль. Гордись, Грачов! Я решительно утверждаю, что это лучшая твоя тонкость с той поры, как ты пустился в тонкости!

И многое еще говорил Тростников в том же роде. Постепенно и Грачов стал разговорчивее, – должно быть, бургонское развязало ему язык. Аппетит его также усилился: едва притронувшись к первым трем блюдам, он съел всё блюдо жаркого, и к концу обеда приятели уже горячо и дружно толковали о предстоящем путешествии, выпив в ознаменование счастливой мысли Грачова бутылку шампанского.

Нет нужды долго скрывать от читателя, что Грачов и Тростников были именно такие друзья, каких в избытке производит наше время. Дружба их держалась на взаимном щекотании самолюбия, и как они были точно друзья, то это упражнение им почти всегда удавалось. В самом деле, кто лучше друга знает, в которое место должно воткнуть другу булавку так, чтобы она ушла туда и с головкой? Но зато никто лучше того же друга не знает, какая пропорция сахара нужна для приведения вас в сладчайшее состояние духа и в каком виде вам должно поднести ее. Так поглаживая друг друга то по шерсти, то против шерсти, они не скучали вместе и на этом основании думали, что любят друг друга; а в сущности... но не будем откровенны там, где догадливый читатель не нуждается в нашей откровенности. Как бы то ни было, они не сознавали настоящего источника своей дружбы, и каждый видел в другом образец дружеской преданности. Тростников думал: «Глуповат этот Грачов, да зато добрейший малый и любит меня»; а Грачов думал: «Ух какая заноза этот Тростников! Я вижу его насквозь: завистлив и зол по природе – и притом какое самолюбие! Весь свет бы заставил плясать по своей дудке!.. Да зато честный малый и готов за меня в огонь и в воду...» Итак, они толковали о предстоящей поездке. Надлежало решить вопрос: куда именно ехать? Оба они были столбовые русские дворяне, и судьба, хотя не в ровной степени, наделила их родовыми поместьями. У Грачова были имения в нескольких губерниях. Куда же ехать? Где природа живописнее? Народ характернее? А главное: где больше дичи? (Праздные друзья наши любили охоту и были данниками петербургских чухонцев, которые, протаскав их целый день по пустым болотам, показывали им под вечер до безумия настреканного бекаса или разбитый выводок куропаток.) Совещание длилось недолго, и тонкий человек остался победителем. Тростников охотно согласился предпочесть его владимирское имение своему малороссийскому, любя природу чисто русскую и, может быть, имея еще некоторые другие соображения. Грачов же твердил одно: «Там

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
сторона глухая и народ так наивен, что бьет одну утку, считая всю остальную дичь  
недостойною выстрела; какова же охота предстоит нам? Тетеревей, куропаток,  
вальдшнепов там как ворон, и какую стойку будет выдерживать девственный дупель,  
которого не тревожили, может быть, двадцать лет! (В пылу увлечения тонкий  
человек забывал, что дупель, даже самый девственный, едва ли может прожить  
двадцать лет.) Я не бывал там с детства, но помню, что мой отец привозил дичь  
корзинами. Дом стоит на возвышении, которое постепенно сливается с низменностью,  
предшествующей луговому берегу Оки; Ока видна с балкона, и перед самыми окнами  
дома чудесное озеро...», и многое другое говорил Грачов, по нам нет нужды  
исчислять краски, которыми живописал он свое поместье: мы сами будем в Грачове  
(так оно называлось). Довольно сказать, что Грачов не щадил их и что не одни  
девственные дупели, но еще более воспоминания детства, о котором он, как малый  
солидный и установившийся, редко думал, теперь, внезапно прихлынув, одушевили  
его и делали красноречивым. По рассказам тонкого человека, Грачово было рай  
земной, и друзья расстались, горя нетерпением отправиться туда скорее.

Приготовляясь к сложной роли деревенского жителя, отчаянного охотника и  
гостеприимного хозяина, Грачов сделал бесчисленные закупки, опись которых  
сохранилась в его бумагах, откуда мы извлекаем важнейшие статьи, касающиеся  
охоты.

Грачов накупил (всё в большом количестве):

- 1) непромокаемых одеяний – каучуковых для господ и клеенчатых для прислуги,  
каучуковых шапок с ушами и подзатыльниками, каучуковых тюфяков и подушек (в  
резинковом магазине у Кирштена и в магазине a la Toilette[7]).
- 2) Егерских вещей – пороховиков, дробовиков, пистонниц, ягдташей (в английском  
магазине и у Ржещицкого).
- 3) Свистков на всякую дичь (у Ржещицкого).
- 4) Болотных саногов разной длины (под колено, за колено и выше) и всякого рода:  
кожаных петербургской работы (Людвига и Гренмарка), кожаных английских, с  
негнущейся несокрушимой подошвой, убитой исполинскими гвоздями (эти богатырские  
сапоги можно иногда найти в магазине a la Toilette), каучуковых петербургских,  
каучуковых заграничных (у Кирштена).
- 5) Английских шерстяных носков и чулок мягких, плотных и во всех отношениях  
превосходных (в английском магазине).
- 6) Охотничий погребец, изумительно прочный и укладистый.
- 7) Пуд персидского порошка от насекомых.
- 8) Наконец, венцом своих охотничьих приобретений Грачов справедливо почитал  
превосходное английское ружье Пордэ (Purdey), которое смотрело так, как будто  
стоило 40 целковых, а било... нечего и говорить, как оно било! и стоило не 40  
рублей, а вдесятеро.

Приготовления и по другим частям – по съестной и питейной – были тоже недурны,  
и, кроме того, грачовскому управляющему послано приказание откормить и отпоить  
столько телят, поросят, барашков, индюшек, кур и цыплят, сколько найдется в  
вотчине.

Всё закупленное отправлено в Москву, а оттуда немедленно должно было двинуться  
далее, чтобы поспеть в Грачово до разлития Оки и других рек.

Но мы забыли самую важную статью, именно: статью о собаках. Друзья имели по  
собаке (и каждый, но обыкновенно, считал свою образцом собачьих совершенств), по  
пары собак дальновидному Грачеву в предстоящей охоте казалось мало; притом в  
течение зимы собаки их страшно разъелись: друг и фаворит топкого человека,  
черный, грудастый, коротконогий и короткошерстый Раппо, едва перебирался с своей  
подушки в обеденный час в столовую и остальную часть дня уже маялся на голом  
полу, вздыхал, как объевшийся гусь, и словно говорил проходящим: «Посмотрите,  
как неловко и жестко, – я все бока отлежал! А идти к подушке нет никакого  
расчету: скоро будет ужин, да еще и проспийшь, пожалуй!» Раппо был малый  
обдуманный.

Кстати мы должны сказать теперь же несколько слов о Раппо, без которого Грачов-охотник не полон и не понятен. Всего лучше выписать отметку самого Грачева, которую находим в его охотничьем журнале; она относится ко времени, с которого начинается наш рассказ.

«Раппо – чистый английский пойнтер, уже не первой молодости, но хорошо сохранившийся, – настоящий джентльмен как в домашней жизни, так и на охоте. Он ласков с хозяином, сухо-вежлив с его гостями, не кусает без побудительной причины и никогда ни у кого не лижет рук, чем снискал особенную мою любовь; в лучшем расположении духа он подпрыгивает и легонько стискивает зубами край вашего уха – это его величайшая ласка; в остальное время выражает он свои чувства – благодарность, довольство самим собою и другими, радость свидания – мерным, громким и полным достоинства стуком хвоста. (Хвост у него нерубленный, гладкий, несколько обившийся с конца; лежа на подушке, он обыкновенно растягивает его по полу, как крыса, и каждому идущему дает знать о своей близости троекратным постукиванием, не столько из дружелюбия, сколько из предосторожности.) Поведения примерного. Случалось, будем беспристрастны, что он даже пропадал иногда (по сердечным делишкам), но всегда являлся домой сам – и прямо к обеду. Час обеда ему отлично известен; он, к сожалению, обжора – страсть, которая его погубит. Таков Раппо дома. На охоте являет он редкое соединение сильного чутья и крепкой стойки с хорошими манерами, что даже реже хорошего чутья: никогда ни в каком случае не горячится, ищет, как долг исполняет, предоставляя остальное судьбе. Не горюет и не радуется; не волнует вас ложными стойками, когда ничего нет, яо и не падает духом, подобно тем бездарным собачонкам, которые, попрыгав полчаса по болоту, начинают поминутно останавливаться и, поставив передние ноги на высокую кочку, глядят на вас, как будто говоря: „Я ничего не мог найти, поищи теперь ты“. А как он подводил!» Но нам придется еще видеть Раппо на самом поприще охоты и потому прекращаем выписку. Собака Тростникова имела также свои хорошие качества, с которыми познакоимся впоследствии. Теперь дело шло о том, чтоб приготовить резерв, так как Раппо не без основания внушал хозяину мрачные предчувствия. И тонкий человек поручил приживавшему в его людской бездомному егерю Сидору (специальность которого состояла в сопровождении молодых охотников по болотам), приискать несколько собак. «В отъезд! – выразительно спросил Сидор и, получив утвердительный ответ, объявил: – Можно, и даже недорого будут стоить». С той норы он ежедневно приводил к Грачову мрачную собаку и не менее мрачного мужика, который именовался хозяином собаки. Но собака так на него глядела, что, спусти он только ее с веревки, она бы наверно показала ему пятки. Раз, когда он зазевался, так и случилось: огромный маркловский нес с красными веками, отвисшими подобно карманам дорожного тарантаса, вышиб двойную раму и бежал в виду торговавших его охотников и мнимого своего владельца. Мужик только икнул. Вообще и собаки, и мужик, и самый Сидор – всё имело вид несколько подозрительный, но тонкость как будто вдруг покинула Грачова: он платил деньги, брал собак и отправлял их с обозами своими, намереваясь на досуге в деревне вникнуть в их качества. Таким образом превосходно обеспеченные по всем отраслям путешествия, деревенского комфорта и охоты приятели наши двинулись в путь.

#### Глава IV

Ночлег на постоялом дворе, доставивший богатую пищу сатирическому уму тонкого человека

Первое событие, внесенное Грачевым в дневник (которым мы пользуемся), относится к ночлегу путешественников в Гороховце или, точнее, в селе Красном, чрез которое проходит шоссе, оставляя город правее в одной версте. Они прибыли в Красное поздно ночью, взяли особую комнату на постоялом дворе и тотчас же легли спать. Утром тонкий человек был пробужден разговором, происходившим за стеной, около которой помещалась его кровать. Прислушавшись, он нашел разговор столько интересным, что разбудил своего товарища. Оба они стали слушать, и вот в каком виде записано в тетради Грачова то, что они услышали.

За стеной  
(Драматическая сцена)

1

Мужской голос

Васильевна! Эй, Васильевна!

(Слышен скрип отворяющейся двери, шаги и старушечий голос.)



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Женский голос

Чего, кормилец?

Мужской голос (быстро и с беспокойством)

Ба! Что у те с лицом сделалось?

Женский голос

А разве што сделалось?

Мужской голос

Погляди.

Женский голос

Ничего не вижу, али зеркало фальшит?

Мужской голос

Не зеркало, а глаз, видно, нет. Лицо словно кровь, и нос – туша! А она не видит!

Женский голос

А у печи возилась. Твое же добро берегу, не кухарку нанимать! Сродница всё лучше чужой. Вот и опалило маненько.

Мужской голос

Эх, Васильевна, Васильевна! Ну как теперь в люди покажешься? (Молчание.) Ситчик скроила?

Женский голос (живо)

И скроить скроила, и шить поспела; спасибо, родной. Вот в Благовещенье в церковь пойду – надену.

Мужской голос

Я тоись не о Благовещенье говорю, наденешь и раньше. Да голову платком повяжи, настоящая купчиха как есть будь.

Женский голос

Так, стало, надумал, кормилец?

Мужской голос

Надумал. Нешто не такая же ты баба, как и другие.

Женский голос

Вестимо: баба всё баба, как одна, так и другая. Справлю не хуже прочих.

Мужской голос

А то еще сваху ищи? Деньги ей плати, а деньги нынче в сапогах ходят. (Молчание.) Да башмаки обуй.

Женский голос

Обую и платок повяжу: надо как есть весь парад соблюсти. Да вот что, Иван Герасимыч: как бы маху не дать.

Мужской голос

А что?

Женский голос

Сама выпить любит, а скупа.

Мужской голос

Ну?

Женский голос

А не подойти ли то есть таким манером: так и так, мол, купила по приказу Ивана Герасимыча, домой несую, да жара больно морит – отдохнуть зашла.

Мужской голос

Понимаю, вишь, у те губа не дура! Ну, вот на... мaderas купи и того... и изюмцу, что ли, фунтик, а то пастилы. Да смотри, попусту не давай... Как увидишь, что дело идет ладно – и попотчуй старуху... да и Евлампия Маркеловна, поди, пьет? Ну и ее...

Женский голос

Как, чай, не пить: кто нынче не пьет? А уж, нече сказать, красавицу подхватишь: чистая да румяная такая, кровь с молоком; только вот зубы белы...

Мужской голос

Зубов словно недостает; я ветрел их намени у праздника, смотрел всю обедню – молчит либо хихикнет таково скоро, и опять молчок... а, кажись, пары нет.

Женский голос

Это спереди будет, что ли, родимой? А и есть нет, да какой прок в зубах, кормилец? У самого зубы те больно востры. А почернеют, бог даст, так и приметы не будет, что недостает. Только уж плотная да толстенная, нечего сказать...

Мужской голос (смеется недоверчиво)

Полно языком молоть. Говорит, словно видела.

Женский голос

А известно: видно!

Мужской голос

Видно! Дура ты, Васильевна! Видать не видала, а божиться рада! Где у вас ум, у старых людей? Да я вот тоже видел Евлампия Маркеловну, и ты мне ее хоть год еще так показывай... Кругла, кругла, а не побожусь! Нет, я не дурак... Я вот постоянный двор держу, примерно, бойню в городе имею, свою коммерцию произвожу, пятый год без тятеньки остался, а дела не уронил... не токмо, даже люди одобряют лучше тятенькинова... Я теперича к тому говорю: приводят ко мне, примерно, на бойню быка – ну, я и вижу, каков он есть, и знаю доподлинно, что под кожей – всё будет мясо, каково там ни на есть, а мясо. А тут, Васильевна, ты не толкуй, тут статья особенная. Тут дело выходит деликатное...

Женский голос

Как хотите, Иван Герасимыч, а кость говорит...

Мужской голос

Кость! Чего кость! Нынче свет, вишь, каков стал: и в купечестве господские порядки пошли...

Женский голос

Нет уж, Иван Герасимыч, ты меня режь, а хоть побожиться, фунта фальши в ней нет... Евлампия Маркеловна невеста богатеющая, всегда скажу...

Мужской голос

Знаю, не толкуй. Стало, знаю, коли сватьев засылаю... Я уж и Сергей Васильича просил – они хотели братцу Евлампии Маркеловны поговорить... так они теперь, поди, уж знают, в чем, выходит, мое есть желание, и, ежели сами желают того, ты тотчас смекнешь.

Женский голос

Как не смекнуть? Смекну, кормилец, смекну... Так я пойду, Иван Герасимыч, теперь, мадерки да изюмцу куплю, а там уж оденусь да и с богом...

Мужской голос

С богом, Васильевна, да смотри! буде не того – так мадеру не откупоривай, домой тащи – проезжие выпьют; а изюм с уговором бери, коли, мол не пондравится, так обратно принять.

Женский голос

Ладно, кормилец.

(Слышен скрип дверей.)

Мужской голос

Да смотри, приберись получше – огуречным рассолом, что ли, помойся. Вишь, лицо словно огонь.

Женский голос (усмехаясь)

Э, родимой, не в лице моем дело. (Уходит.)

Мужской голос

Знаю, да, вишь, Маркел Абрамыч человек гордой, скажет: вот де какую сваху прислал, куфарку! Знаю я его – гордец! Что красным товаром торгует, так и нос поднял. Мы вот постоянный дворик держим, да у нас деньги не хуже его! По-моему, так всё равно: кто ни приди, только дело сделай. (Слышен зевок и потом молчание; потом щелканье счетов и отрывочные слова.) Приданого, выходит, тряпья разного рублей тысячи на две... жеребец карий – триста, лавка в шорном ряду – ходит сто двадцать в год... (Слышно щелканье.) Деньгами ничего. (Слышен вздох.) Выходит, взять можно, а свадьбу сыграю рублей на триста, а не то и подешевле... куда чужой народ поить да кормить даром! Я и Сергей Васильичу сказал так, и они говорят, на триста можно управиться... и обо всем обещали переговорить... и будут посаженным отцом. Кто там? Лексич, ты?

Голос старика

Я, Иван Герасимыч; гостя веду!

II

Гость (входя)

Ивану Герасимовичу.

Хозяин

Федоту Маркелычу. (Молчание.) Чем потчевать дорогого гостя? Теперича у нас всего можно, потому постоянный двор – спрашивают. Чайку? Вода горячая ночь и день не переводится – духом соберем. Лексич! собери четыре парочки – цветочного и сахарцу, понимаешь? Белого! Молво держим, первейший московский фабрикант, девяносто три копейки фунт; есть и похуже: второй сорт, семьдесят две, ну, тот маненичко посерей будет, а сладость одна.

Гость

Конечно, кому какой требуется. У вас шавель проезжая пристаёт: всё больше обозчики – черной народ, так они, конечно, пьют и посерей.

Хозяин

Позвольте, Федот Маркелыч; жирно будет семьдесят две черной народ поштвовать. Вы наших порядков не знаете! Да так и стоялый двор держать нельзя – с кошлем пойдешь. А мы, благодарение богу, наживаем... У нас черному народу подается синец.

Гость

То есть как, Иван Герасимыч, синец?

Хозяин

А сахар такой, выходит – третий сорт.

Гость

Нечего сказать, не слыхал.

Хозяин

Оно вот видите, Федот Маркелыч: в продаже его не находится, так и мудреного нет, что не слыхали, а достал я его случаем. Изволите припомнить, прошлого году Оловянишников, Стратилат Гаврилыч, в Москву ездили, ну вот они и купили там партию сахару. Дешево, что ль, обошлось, только купили они его много... и уж не знаю, сложить, что ли, места не хватило, только часть его лежала так бог знает где: у Стратилата Гаврилыча на дворе флигелечек неражий есть, так вот они и сложили голов сотню туда на чердак, а внизу красильщики нанимали. И развели они однажды большущий чан синей краски – пряжу красить сбирались, а потолок не выдержал – шутка, сто голов: тяга немалая! И посудите вы теперича, Федот Маркелыч, сорок голов как есть в самый чан так вот и угодили да почитай час в нем и кисли. Оказия!

Гость

Подлинно, оказия! (Слышно, что принесли чай.) Вот, я думаю, Оловянишников бороду расчесал!

Хозяин

Э, Федот Маркелыч, такому богачу, как Оловянишников, плевое дело и не сорок голов! А нашему брату с руки... Откушайте! (Пьют чай.)

Гость

Ну и что же, Иван Герасимыч?

Хозяин

Повытаскали да сушить поскорей. И то чудно, что ничего: просох и такой твердой стал, словно камень, кипяток его не берет, с одним куском десять чашек пей. И сладок. Одно: цвет! Ну, цветом не вышел, так ценой маненичко посходней белого: нам фунт, перед вами, как перед богом, Федот Маркелыч, копейчек по семнадцати, не больше, пришел, да-с!

Гость

Неужли? Да это, выходит, лафа, Иван Герасимыч.

Хозяин

А то как же по лафа? Всё, выходит, надо знать, как деньгу нажить. Я, поверите, Федот Маркелыч, какова есть крошка, другой год сахару не покуп... (быстро

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов (некрас поправляясь) конечно, купишь маненичко, для хороших людей; всякие случаи бывают, надо держать...

Гость

Кто говорит, как не купить? И должно купить. Дворянину такого сахару не подашь...

Хозяин

Дело известное. А и тут, открыться по-божески, Федот Маркелыч, сноровка есть, коли плохонький придет – ничего, клади смело, сойдет! Конечно, не первый слой: первый слой синь, словно вот сукно, и отзывает нехорошо. Второй посветлей: этак вот, примерно теперича, как стена. А как разрубишь голову, так в иной, поверите ли, Федот Маркелыч, фунта с три чистейшего рафинаду окажется – и бел как снег! Только так местами синяя полоска словно жилка пройдет... (Наливает чаю.) Откушайте!

Гость

Нет, Иван Герасимыч. Я чаю больше не хочу, сами кушайте.

Хозяин

Что же-с, Федот Маркелыч? Всего три чашечки, да и баста...

Гость (резко)

Да так, не хочу. А я к вам по делу.

Хозяин

Чашечку?

Гость

А у нас, по-нашему, Иван Герасимыч, слово свято; сказано, не хочу...

Хозяин

Да вы, может, подумали... Разрази гром – сахар настоящий: у Варахобина брал, хоть спросите.

Гость

Да я дома много пил.

Хозяин

Ну так водочки. Эй, Лексеич! Бальзамчику графин да рюмки большие, пятнадцатикопеечные.

Гость

К чему большие? Я много пить не буду. Много пить будешь, голову потеряешь.

Хозяин

Со мной ничего, Федот Маркелыч. Я вас так, словно брата родного, уважаю. И не то что чай или водка, всё готов с моим уважением. (Слышно, что принесли водку.) Откушайте! (Пьют и крякают.) А то подумали. Нет, Федот Маркелыч, оловяшниковский сахар у нас весь в продажу идет, верхний слой черному народу идет, второй кому почище, а средним и дворяне не брезгают.

Гость

Одно удивительно, как теперича цвет, я полагаю, спрашивают. Мужик, мужик, а всё же он видит.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Хозяин

По нашему тракту народ, слава богу, смирен. Мужик богобоязненной, и, чтоб буйство или чего, не слышать. Иной спросит случаем: что, мол, сахар словно крашеной? «Дурак ты, – скажешь ему, – мужик, так и видно, мужик: не слышал, что ли, нынче и всё такой сахар?» Ну и ничего, пьет. А иной так еще просит такого. К нам кто не заходит? При всяком его не подашь... иной раз подаем и мужику побелей; так нет, сердится: «Ты, – говорит, – синцу подай, с ним поспорей!» Так и пошло: синец да синец!.. Откушайте!

Гость

Да сами что же, Иван Герасимыч? (Пьют.)

Хозяин

А вот и мы выпьем-с. Так изволите говорить, Федот Маркелыч, дельцо есть?

Гость

А вот видите, Иван Герасимыч: вы приказывали Сергею Васильичу, чтоб поговорить мне, что вы хотите сватать мою сестру?

Хозяин

Было дело.

Гость

Ну-с, Сергей Васильич посылали меня к моим родителям сделать им предложение, что вы хотите сватать сестру... и сказал я им на имя Аркадия Васильича и на Ольгу Васильевну и на Каверина, что будто они советуют за вас отдать...

Хозяин

Тэк-с!

Гость

То родитель сказал: когда евти люди об нем заключают, что он хорошего поведенья, то намерены будут отдать...

Хозяин (в восторге)

Уж будто? Так, стало, обделалось... Я тоись, Федот Маркелыч, по гроб слугой буду как тятиньке вашему, так равно и вам. Откушайте! (Пьют.) А поведение? По всей линии иди спрашивай – малый ребенок про нас худа не молвит! Да откушайте еще, Федот Маркелыч, а не то мадерки не прикажете ли?

Гость

Позвольте, Иван Герасимыч. Но только в том дело состоит, в каком вы смысле намерены свадьбу играть; если вы думаете так свадьбу сделать, как Сергей Васильич сказали: можно, говорит, на триста рублей сыграть – это значит по-кузнецки...

Хозяин

Тоись как по-кузнецки, Иван Маркелыч?

Гость

А так: купить штоф вина, прийти распить его да прощай! Нету! Этим манером взять вам у нас не придется, да и батюшка отдать по-кузнецки ни согласится, потому у нас в радне по-кузнецки ни одной невесты ни отдавали и свадеб кузнецких ни бывала, а она у нас ни худова поведенья или ни дура, чтобы мы согласились ее так отдать; а она у нас из кожных невест нерва красавица.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Хозяин

Тэк-с!

Гость

Если нам ее тах-то отдать, то нам не то свои сродники в глаза наплюют, но даже весь город асмиет, патаму у нас на запое и на сговоре будит публика большая; люди будут хорошие, одних барышников будит штук до девяти; а угощать нечим будит, и абедов не будет!

Хозяин

Триста рублей деньги, Федот Маркельч!

Гость

Кто говорит – и гривна деньги. Только нам с гривной делать нечего. Это просто нам проходу не дадут. А если согласны вы будите свадьбу сыграть по купецкому обряду, она вам станет не мене как тысячу рублей, патаму у нас гостей будит много. Во время запою и сговору у нас займется половина хором, а у вас распорядиться некому, как только Васильевне и Лексееву; а евту сволочь родители не допустят, потому они умеют распорядиться только у табатирок, а не у етких делов...

Хозяин

Тэк-с!

Гость

А родители приказали вам поговорить, если вы надумаете: больше тысячи станет, то они согласны у вас взять на всю свадьбу тысячу рублей – на свое распоряжение, на разные вины, и на разные закуски, и на обеды, и меду сварить, и на чай, и на сахар, и за свадьбу священникам отдать, и из посуды совершенно до вас ничего не коснется...

Хозяин

Тэк-с!

Гость

А чего сверх тысячи нидостанет, то они с вас ни копейки не потребуют. А ваше дело только приехать с Федором Васильичем и с ево женою, – сесть подле невесты, – а не с евtimi людьми, с Васильевной и с Лексеевым! Тогда не стыдно будет пожаловать и Сергею Васильичу: угостим хорошими напитками!

Хозяин

Тэк-с!

(Слышно кряхтенье – он выпил, но уже не потчевал гостя.)

Гость

А и я выпью. (Пьет.) Так вот, Иван Герасимыч. Из платья с вас ничего не потребуем: снарядим сами! Постелю уберем в три перемены отличным манером, положим вас на Кобзев двор в каменные комнаты, а они у нас отделаны важно; постелю вам от нас примут наши сродники, как должно по обряду, и уберут ее. Вот если вы этким манером будете согласны, то приказали мне прийти с вами к родителям и переговорить, и посмотрите при наряде невесту. (Долгое молчание.) Так вот, Иван Герасимыч, можем сделать на Благовещенье запой, и вы не беспокойтесь сваху посылать – вот вам мои слова: если согласны будете, то я вашим буду сватом, а вы моим зятем. (Снова долгое молчание.)

Хозяин

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Тысячу рублей – капитал, Федот Маркелыч. (Пьет и крикает.)

Гость

Нетто и мне выпить? Бальзамчик отменный! (Пьет и крикает.) А то поговаривает Васильевна за вас у нас свататься; лучше не посылайте, потому как батюшка на нее посмотрит, на эткую ловасть, да спросит ее, с каково она званья, а она скажет: кухарка, то он евто выведет, и выдет дичь палявая! Подельнее ее приходили, и то носец заворачивал! Етакой ли ходить сватать...

Хозяин

Тэк-с!

Гость

И то батюшка согласится отдать собственно по моей просьбе, потому я желаю вас иметь своим зятем и вы мне известны так, как на руках мои пальцы. (Молчание.) А Васильевна эта думает так, как она усватала Гирина, – так и теперь. Нет! Наша свадьба будет особенная; а на этой свадьбе если согласится она готовить кушанье, то мы ей отрежем платье! Так вот как надумаете?

Хозяин

А думаю.

Гость

я вечерком побываю. Прощайте-с, наше почтение, Иван Герасимыч.

Хозяин (сухо)

Прощайте!

Гость

А когда не захотите и пожалеете тысячу рублей, то ищите невесту подешевле, а у нас женихи будут. Прощайте-с! (Уходит и возвращается.) А Васильевна эта думает, так, как усватала она Гирина, так и теперь! Нет! Тут свадьба будет особенная, а тут если согласится она готовить кушанье, то мы ей платье отрежем! (Уходит.)

Хозяин

Думай не думай, а всё одно: не бросать же тысячу рублей на ветер! Нет, Евлампия Маркеловна! Недоросли вы, матушка, до тысячной свадьбы. (Бросается к двери.) Эй, поштенной, поименной!

Гость (возвращаясь)

Стало, надумали, Иван Герасимыч?

Хозяин

А надумал...

Гость

Так не миновать породниться...

Хозяин (не слушая его)

Что же деньги, поштенной? Куда как прыток! Пить пил, а расплатиться догадки нет. У нас даром ничего не дают; потому – постоялый двор. Много вас, подлипал!

Гость

Какие деньги?



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Хозяин

А чай пил, а бальзам?

Гость

Так, стало, так, Иван Герасимыч?

Хозяин

А так, Федот Маркелыч. Еще Евлампия Маркеловна маненичко недоросли-с до тысячной свадьбы. А денежки отдай: чай – полтину, три рюмки бальзаму – сорок пять; всего девяносто пять копеечек.

Гость

Чай? Да с твоего чаю только горло ободрало. Хорош чай – с крашеным сахаром!

Хозяин

А нет, сахар был настоящий.

Гость

Не видал я, что ли? Что ни кусок, то синяя жила, словно синькой выкрашен, да и воняет.

Хозяин

Дудки, поштенной! Ну да чай – бог с ним. Положим, сам пошвовал! А бальзам: три рюмки – сорок пять. Твоя рука наливала...

Гость

Будет с те и гривенника, алтынная душа.

(Слышен звук брошенной монеты. Гость быстро уходит.)

Хозяин (кричит)

Васильевна!

III

Васильевна

Вот и я, кормилец, совсем при наряде, оделась; гляди: чем не купчиха?

Хозяин

Не ходила еще?

Васильевна

А нет. Только мадерки сходила купить да вот принарядилась.

Хозяин

Ну так и не ходи.

Васильевна

Что так, родимой?

Хозяин

А так, непошто! Не годишься, вишь, говорят, какая ты сваха: не знаешь порядков!

Васильевна

Что-й-то, и господи! Как не знать? И не то, так знаю... да и других поучу. И неужто он так сказал? Али, кормилец, повздорили, стало, с Федотом-то Маркелычем?

Хозяин (сам с собою)

В тысячу рублен, говорит, свадьбу справь да и денежки им в руки дай, вишь, нашли дурака. Нет, я не дурак, дай им тысячу, знаю: распорядятся – любо! Нет, жирно будет – тысячу. Деньги нынче в сапогах ходят! Нас не тому родители учили – деньги бросать.

Васильевна (всплеснув руками)

Тысячу рублей, эва! Что они, стало, с ума спятили. Невеста совсем подошлая, а свадьбу в тысячу играй! Ну, нынче народ! И получше найдем, Иван Герасимыч, и не тужи!

Хозяин

А что тужить! Дурак я тужить. Какая невеста! Только и хорошего было, что лавка шорная: доход теперича верный, да жеребчик карий – масть отменная, отлив больно хорош, словно золоченой!

Васильевна

Найдем, всё найдем, не то золоченого, настоящего золотого найдем! А уж Евлампия Маркеловна, я давеча только говорить не хотела, а правду сказать: какая она невеста такому молодцу да красавцу... Ведь не только зубов, и волос нет: коса-то дареная!

Хозяин

Как дареная?

Васильевна

А так. Вишь, с господами дружество повели, так и переняли. Слыхал, чай, про казначейшу нашу прежнюю: каков есть волос, по всей голове ни одного нет... а в люди выйдет – коса стог стогом, посмотреть любо! Ну вот она такую косу одну и подари Евлампии Маркеловне, и пошла наша купчиха туда же щеголять! Право, я доподлинно слыхала!.. Прибрать, родимой? Чайку больше не будешь пить?

Хозяин

Нет. А бальзаму не тронь. Изюм обратно снеси.

Васильевна

Ладно, снесу, только вот чайку прежде попью...

Хозяин

Мадеру сюда подай. Да платье, смотри, скинь: я, примерно, не к тому его подарил, чтоб ты в нем по товаркам таскалась, а вот, может, посватать придется...

Васильевна

Сниму, сниму, родимой. (Уходит и возвращается.) А вот и мадера. (Уходит.)

(Молчание; потом слышен звук откупоренной бутылки; опять молчание, и потом раздается протяжная песня, напеваемая не совсем трезвым голосом.)

\* \* \*

– Каков разговор? – сказал Грачов своему приятелю, убедившись, что уже не будет продолжения. – Не правда ли, чудо? Если записать, выйдет маленькая комедия; право, я так и сделаю.

– Да, разговор недурен. Но, признаюсь, я не желал бы быть автором такой комедии.

– Почему?

– Да потому, что выйдет... подражание.

– Помилуй! Каким же образом может выйти подражание?

– А бог знает каким! Память легче удерживает слышанное или читанное, а ум безотчетно дает простор чертам, которые ему уже указаны, истолкованы, – вот отчего, я думаю, списывая происходящее, мы невольно подражаем тому, что уже происходило и было списано... разумеется, если нет дарования. А есть ли оно у нас с тобой – еще вопрос не решенный. Или, может быть, уж такая среда, что два-три мастерские снимка исчерпывают ее всю, и, сколько ни списывай потом, всё будет казаться подражанием и повторением. Впрочем, печатай. Такие вещи печатать полезно. Во-первых, потому, что нельзя же считать свой приговор безапелляционным, надо оставить что-нибудь и суду публики: может быть, она и найдет в твоей комедии что-нибудь новое. Во-вторых, потому, что всякий предмет уясняется только тогда, когда перестает быть достоянием ограниченного числа специалистов, как бы получивших на него привилегию, а в-третьих, потому полезно... что никому не вредно.

Громкий и хриплый голос, раздавшийся за стеной: «Васильевна! эй, Васильевна!», прервал разговор.

Пришла Васильевна, и отвергнутый жених потребовал чего-то. Приятели стали одеваться.

<Глава V>

Наконец прибыли в Фоминку, обширное и богатое село, в котором друзей наших поразило одно обстоятельство: все строения были в нем новые; причина скоро выяснилась: месяца два тому назад всё селение выгорело, и крестьяне выстроились вновь, на что отпущено было каждому из них безвозмездно потребное количество лесу. Эти подробности приятели наши узнали от своего ямщика, который тут же объяснил им, что помещик в деревне не живет, а управляет имением один из его крестьян, живущий в Фоминке.

– А велико имение? – спросил Грачов.

– Да немалое. Во всей-то Адовщине, чай, тысяч шесть душ будет.

– Шесть тысяч душ! – воскликнул Грачов. – И мужик управляет!

– О какой ты упомянул Адовщине? – перебил его <Тростников>, обращаясь к ямщику.

– Так у вас зовут деревни, принадлежащие к одной вотчине, что ли?

– Нет, а только деревни, что принадлежат к Алексею Дементьичу, так прозываются.

– Да почему ж так? Барин, что ли, дал такое прозвание?

– А господь знает. Вишь ты, раскольников у них много. Ну и прозвали, спокон веку так: адовщина да адовщина немрущая.

– А кто такой Алексей Дементьич? – спросил Грачов.

– Да он-то и есть управляющий.

– Хороший человек?

– Уж какой человек! Мужик то есть каких в редкость; кажись, и нет другого такого; приди малый ребенок – он с малым ребенком будет говорить,

– А строг?

– Как сказать? Да вот уж, почитай, тридцать лет сидит управляющим, пальцем никого не тронул, а строг, точно строг. И-и-и, беда у него, коли мужик фальшь какую сделает, – лучше и на глаза не кажись!

– Что же?

– Да так, беда, просто беда! и не приведи бог!

– Что ж, к барину отписывает, что ли? А барин-то, видно, того?

– И, нет! куда к барину! Станет он барина беспокоить... Ему нечего к барину отписывать. Он сам то есть волен с ослушником распорядиться.

– Ну?

– Ну и распорядится... и выходит тоись плохо тому, кто порядков не соблюд, в чем ни на есть проштрафился.

– Что же то есть?

– Да так... – Ямщик остановился и долго думал. – С одного стыда сгоришь, – произнес он наконец скороговоркою и прикрикнул на лошадей, помахивая кнутом.

Как ни допытывался Грачов, расспрашивая о мерах строгости управляющего, ничего более ямщик сказать ему не мог.

– Все-таки я не понимаю, братец, – сказал он, желая заставить его выразиться определеннее. – Чем он вам так страшен: что такое за сила особенная?

– Чем страшен? Правдой страшен! – резко сказал ямщик. – Правдой страшен, правдой и силен! – прибавил он, как бы раздумывая сам с собою. – Да правдой же и люб, – заключил он вдруг, стегнув по всем по трем. – Эх, вы, соколики!

– Как так, правдой?

– Да уж так, – отвечал ямщик, обнаруживая явное нерасположение продолжать разговор с таким непонятливым слушателем.

Однако ж Грачов не оставил его в покое.

– Видно, он вас балует! – сказал он, пробуя ямщика с другой стороны. – Так вот вы его и хвалите.

– Кто, он, Алексей Дементыч, нас балует? – с жаром возразил ямщик. – Вишь, таковского нашел! Балует. Да он и самого-то себя небось не балует... Да и как ему нас баловать? Ведь он тоже человек подначальный.

– А что ж, может, и барин добрый, так вот и терпит.

– Да что терпеть, нечего терпеть! – заговорил ямщик, задетый за живое, к удовольствию Грачева и его товарищей. – У нас тоись, как он стал управляющим, с того тоись дня ни казенной, ни господской недоимки, тоись каков есть медный грош, не было. Так что тут, выходит, терпеть? А барин точно добрый. Видишь ты, прежде мы были то есть другого барина, а теперешнему достались вот с зимнего Николы тринадцатый год пойдет... Вот как стал новый барин – он было прислал управляющего – барин, что ли, какой тоже, ну, известно: не первый сорт; как его? Мудреное такое прозвание, Едуард Кондратьич, что ли... Ну и тоже добрый, нечего сказать... Да как стал он свои порядки вводить – так и пошло всё через пень колодой! Не то чтобы и строг, да господь знает отчего? Пошли недоимки, у крестьян промеж собой тоись всякие свары да перекоры... и не приведи бог! Сроду стыда такого не было, чтобы кто из Адовщины с кошлем ходил, а тут, видишь, уж как оно сталось, – гляди, иной последнюю коровушку с двора ведет: податей нечем платить. А мужики все справные, заживные... Бились так-то с год с новым управляющим, и его тож, сердечного, жаль; совсем, сердечный, голову потерял, извелся, похудел даже немец – вестимо, вотчина большая! Думали, думали, – собрали сход: и порешили идти к барину просить старого управляющего. Пошли то есть человек двадцать – всё народ на выбор богатый да толковый... Барин послушался – потребовал к себе Алексея Дементыча да как поговорил с ним, так тотчас и послал его к нам: будь же ты, говорит, у меня управляющим, мне другого не надо. Ну и пошло опять всё, что любо посмотреть. Так вот он каков у нас, Алексей Дементыч! – с гордостью заключил ямщик.

– Что ж он колдовство, что ли, какое знает, по-твоему, – простой мужик, поди и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов неграмотен, грамоте плохо учен, и получше немца управил?

– Нет, не колдовство знает, а бога боится да мужика бережет, – отвечал ямщик.

– Как солдатство у вас? Видно, солдатством он держит вас?

– У нас солдатство известно как: коли нет, кто бы охотой за вотчину шел, так очередь... В каждой теперича деревне объявит то есть через старост, так и так, дискать: набор, – собрали, бы, дискать, сход да порешили промеж себя: кому – и дали бы знать в контору – к такому-то, понимаешь, времени...

– Ну и что же?

– Ну, мир и решит кому: кого, выходит, по очереди, кого за вину какую, кто сам пожелает... а коли спор какой выйдет, так жеребей кинут. Таким-то манером порешат и дадут знать в контору... А сам Алексей Дементыч и не вступается в мирские дела. Ему лишь бы правда была. Да у нас и всякое дело мир решает. Сбор ли какой ненароком случится, перемена ли какая по земле – велит собрать мир: расскажет, в чем дело, – и как мир решит, так и он.

– А так, чтобы взять то есть с богатого мужичка да вместо него бедного поставить, не водится? – спросил Грачев.

– Коли водиться! Да мало того сам, а коли узнает только, что фальшь нам сделал другой, – не приведи бог. Да вот третьего года случай вышел; подлинно вся вотчина сокрушалась – да уж так, видно, было господа богу угодно. У него, понимаете, у самого три сына. Вот как пришел набор – ну, мужики со всех деревень и повестили, как следует, в контору, кому тоись очередь приходит, по мирскому приговору. Только вот наше-то село, фоминские, не подают повестки, сходятся каждой день, гуторят, спорят, а всё не решают – и уж Алексей Дем<ентыч> понуждение раз и другой сделал, а они всё мешкают. А дело, видишь, было такое, что выходила очередь сыну его родному. Вот мир, понимаешь, и стал в тупик; судили-судили, рядили-рядили да и порешили наконец, что пропустить тоись сына-то Ал<ексея> Дем<ентыча> и сдать, который в порядке, слышь, за ним следует: Михеева сына Силантия. Ну и подали весть в контору, а промеж себя тоись строго положили: молчок! и чтобы Силантий не ртачился да горла не драл, награду ему положили, и большую, а не то, мол, коли станешь у нас горло драть, и так уйдешь, стало, лучше молчи! Ну, и молчит парень...

Собрался, двести рублей мужики ему надавали, всё, почитай, матери отдал, и старуху уломали молчать. Ну, так бы и сошло дело, да как уж совсем собрались везти его в город сдавать, старуха-то и не выдержит; подняла вой, хлопнулась; в ноги Ал<ексею> Дем<ентычу> да всё ему и рассказала: за твоего сына, говорит, идет! Как рассердился Ал<ексей> Дем<ентыч>, мы тоись никогда его таким не видели, словно гром, голос его по миру прошел; душегубцы, говорит, криводушники! И тоись тут же пятого человека со всего миру розгами хотел наказать... Да, спасибо, уходился – покричал, покричал – и ни словечка; словно у него язык вдруг отнялся; этак с полчаса будет, я думаю, всё стоял перед всем миром, голову потупивши, да как вдруг закричит: «Гришуха (так его сына звали), полно ободья гнуть (они торгуют санями, так Гришуха ту пору на задворках гнул ободья), будет-ста, собирайся в город! Да у меня, смотри, живо!» И Силантия велел освободить... Выборный было к нему: «Кого же, мол, Ал<ексей> Дем<ентыч>, прикажешь вместо Силантия?» Молчит, не твое дело! А сам такой строгий. И хозяйка его вышла. «Гришуху, – говорит, – в город посылаешь?» – «Да, – говорит, – сам повезу», – и ничего больше и ей не сказал. Да, знать, сердце у старухи сказалося: как взвоят она да как бросится ему в ноги: «Что, мол, хочешь делать, родное детище губить!» – «Молчи, – говорит, – старуха, ты дела не понимаешь!» И всё торопит: скорей да скорей. Собрался старик, и сын собрался, старуха так вот и убивается: «Скажи-де да скажи, не видать, что ли, мне больше моего! Ясного соколика, Гришутку-то моего?» Молчит, погрозил старухе: «Я те, – говорит, – в клеть запру, коли будешь бабиться. Вынеси, – говорит, – икону, благослови да проводи с Христом да с! богом». В горницу вошли (а у него горницы важные, вот увидите: когда становой ли приезжает, проезжие ли господа, всегда у него останавливаются и уж как хвалят), и весь народ не выдержал, тоже хлынул в горницу. Взял он образ и старухе велел взять другой. «Молись!» – говорит сыну. Сын положил три земных поклона и потом в ноги отцу и матери... И тут уж как стал он его благословлять и говорить таково жалобно да складно, – так весь мир в слезы – всех прошибло – и мужики тоись многие подошли к нему, в пояс кланяются и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовы говорят: «Сами пойдем, детей служить пошлем, только не замай ты сына родного...»

Ямщик остановился: нельзя сказать, затем чтоб отереть слезу (слезы едва ли были на его глазах), но в голосе его было что-то такое, что говорило, что он тронут более чем до слез.

– Ну и что же?

– Ничего не помогло! Свез сына в город да сам и сдал в некруты, – коротко окончил ямщик.

Последовало продолжительное молчание. Теперь только поняли наши путешественники выражение ямщика «правдой страшен, правдой силен». Заинтересованные этим необыкновенным стариком, они пожелали его видеть. Грачев сказал:

– Ты говоришь, что к Ал<ексею> Дем<ентьичу> заезжают проезжие господ?

– Как же, заезжают. Намедни губернатора возили в Муром – у него же останавливался. Попытайтесь.

– Не обеспокоить бы его?

– А не знаю как. Он добрый такой. Чай, не откажет.

– Ну так вези нас к нему.

– Так его сын и ушел в солдаты? – сказал <Тростников>, возвращаясь к прежнему разговору.

– Так и ушел.

– Да что ж ему за охота была сына отдавать? Ведь, чай, у него деньги есть. Мог бы купить рекрута?

– Да уж так, видно, судьба. Сам барин, говорят, жалился, как узнал, – и ему, слышь, пенял крепко: я бы, говорит, своих денег не пожалел. Да, вишь, мужики-то пока прохладился на мирских сходках, время той порой подошло так вкруте, что уже некогда было думать покупать некрута: вези да ставь! Вот и поставили. Да бог, вишь, не оставил старика за его правоту. Вот третьего года Гришуха был в побывке: бравый такой молодец – и крест уж у него на груди. «Я, – говорит, – братцы, на свою судьбу не жалею: можно, – говорит, – и солдату жить».

Так разговаривая, приятели наши прибыли в село, сопровождаемые сотнею ребятишек, сбегавшихся со всего селения, и подъехали к дому управляющего. Ямщик остановился и, поочередно запуская пальцы в рот лошадям, дал им, как он выражался, профыркаться.

Грачев отправился к управляющему. Жилище его состояло из большого деревянного флигеля, крытого тесом и снабженного довольно большого размера светлыми окнами. Через крылечко с навесом войдя в небольшие сени, он увидел две двери – одна вела направо, другая налево. Не встречая никого, Грачев толкнулся в дверь налево, отворил ее и остановился на пороге. Глазам его представилась сельская контора, находившаяся на ту пору в полном составе своих членов вокруг большого письменного стола, покрытого полинялым зеленым сукном. Заседало несколько мужиков с бородами. На столе находились все принадлежности для письма, несколько счетных книг, господская печать. В углу, под образами, стоял огромный сундук, окованный железом; у стены шкаф, на ту пору раскрытый, в котором помещались кипы бумаг и толстые шнуровые книги. В простенке между двух окон помещался портрет государя императора. Против этого простенка на главном месте сидел человек лет шестидесяти пяти; ростом он был невелик, худощав, сед как лушь и бел лицом необыкновенно; он что-то выкладывал на счетах, и Грачев невольно заметил, что рука его, отличавшаяся такой же мучной белизной, как и лицо, мала и красива, как женская. Но правую руку его сидел высокий черноватый парень лет тридцати в коричневой свитке – это был решительно красавец; по левую руку седенького старичка помещался другой парень в синей сибирке; по ухарской манере, с которою он держал перо в руке, прислушиваясь к словам старика, тотчас видно было, что он мастер писать, и точно: то был писарь Потанина, земский, как их называют в наших сельских управлениях. Прочих лиц ассамблеи Грачев не успел рассмотреть, потому

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов что седенький старичок, привлеченный появлением его, встал и повернулся к двери. Грачов поспешил предупредить его недоумение вопросом:

– Извините. Я проезжий. Еду в свое имение, здесь неподалеку, и желал бы видеть на минуту Алексея Дементьевича, если можно...

– Отчего не можно, – отвечал старичок и, сказав что-то своему соседу справа, продолжал: – Пожалуйте.

Он вышел в сени и, указывая Грачову на противоположную дверь, обязательно повторил:

– Пожалуйте, пожалуйста, милости просим!

Жилище Потанина (читатель догадался, что седенький старичок, встретивший Грачова, был сам Потанин) напоминало) убранством своим постоянные дворы средней руки, встречаемые в уездных городах и больших селах, с одним только исключением: в нем было столько же чисто, сколько в постоянных дворах такого рода бывает грязно. Два дивана и дюжина стульев, обитых кожей, простой стол и два ломберных, образа в серебряных ризах в переднем углу, на стенах литографии – издание господина Логинова – религиозного содержания и гербовник Российской империи, занимавший весь простенок между двумя окнами, – вот убранство комнаты, в которую ввел Потанин своего гостя. Сказав старику свое имя и цель путешествия, Грачов объявил, что с ним есть два приятеля, которые также были приглашены в комнату, после чего старик исчез и не появлялся с четверть часа.

Вошел высокий парень, тот самый, которого видел Грачов в конторе, по правую руку старика, накрыл стол и поставил чашки; потом он принес самовар.

– Да вы, пожалуйста, не хлопчите сами, Ал<ексей> Дем<ентьевич>, мы, кажется, помешали вам, – сказал Грачов. – Пожалуйста, не церемоньтесь с нами. Мы люди дорожные, сами распорядимся. Вас, может быть, ждут в конторе...

– Ничего-с, ничего-с, не извольте беспокоиться. Мы уж всё покончили – только хотели запирать контору.

– Запирать! – заметил <Тростников>. – Да вы, я думаю, только сошлись. Всего седьмой час!

Потанин улыбнулся.

– Нет, мы сошлись, чуть солнышко встало, – сказал он. – Теперь пора рабочая, так иной раз и до солнышка отпираем контору: мужик но барин, ему не рука дожидаться, каждый час дорог. Коли пришел по делу по какому, – опросил его поскорей, в чем, примерно, нужду имеет, и отпуская с богом, а держать не приходится!

– Так, – сказал Грачов. – А много, я думаю, у вас хлопот: вотчина немалая, говорят: шесть тысяч душ!

– Да, шесть тысяч душ, – сказал Потанин, – шесть тысяч как есть.

– Признаться, мы подивились, когда узнали, что вы один управляете такой огромной вотчиной.

– Как один? – возразил Потанин. – Помощники есть: два выборные, два земские, старосту в каждой деревне имеем; рассыльных и почтарей при конторе держим.

– Оно так, а всё же вы всему голова.

– Как есть. До всего сам должен дойти. Ну да ведь и делать больше нечего: оброку избавлен; только и думы, чтобы управить, как поскладнее...

– И управляетесь?

– Да пока бог грехам терпит, управляемся, в добрый час молвить...

– Говорят, у вас и недоимок нет?

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Нет, батюшка. Да и с чего им быть? Оброки небольшие; нашим мужичкам нужно бога молить: господа добрые...

– В вашей стороне, как мы вот спрашивали дорогой, оброк; во многих вотчинах не больше, однако ж, как послушать, так далеко до вашей исправности...

– Господь знает, отчего так, – отвечал Потанин. – Кажись, народ всё один и угоды одни.

– Вот тут-то, Алексей Дементыч, и видна разница в управлении. Значит, управлять не умеют!

– Да чего тут не уметь? – возразил Потанин. – Нашим мужиком то есть малый ребенок управит, да он и сам-от что малой ребенок; ему только надо растолковать да вразумить его, а коли он вразумится, так вот те и всё: против своей пользы не пойдет, стало, и хорош будет.

– Всё так, да вразумлять их трудно!

– Как примешься; конечно, не знаючи да не умеючи, ничего не сделаешь. А прежь всего правда; коли он видит, что по правде требуешь, так не бойсь: в ину пору, коли нужда приведет, он и) то сделает, чего и сам не чаёт, что сделать сможет. Сказал: нельзя иначе, братцы! и примерно растолковал им, почему-де иначе нельзя, – ну, глядишь, и сделано. У нас народ богобоязный и господ почитает...

– А всё же иногда, я думаю, необходимы меры строгости, – заметил <Тростников>. – Вот что меня удивило: у вас, говорят, так и пальцем никого не трогаю<т>.

– По мирскому приговору, – отвечал Потанин, – случается не то что пальцем, и прутиками постегают, да я в мирские дела не вхожу: на то мир! Сегодня, примерно, мир мужика наказал, а завтра он то есть приходит ко мне, я и знать ничего не знаю: он у меня всё тот же, каким был и как есть другие; а уж какой он будет мужик, коли я сам его накажу и ему, как придет, – куда глаза девать, места не сыщёт; мужик, мужик, а тоже стыд иметь должен, а потерял стыд, так куды он годен, да и; мне какой уж с ним толк: будет ли слово мое силу над ним иметь, коли он, примерно, в моих глазах срам принял? С таким нечего и слов терять. Да, спасибо, таких бог миловал...

– Ну, я думаю, в семье не без урода, – заметил Грачев.

– Конечно, так, что говорить. Да я таких и не знаю. У меня вся вотчина как один человек.

Потанин замолчал; приятели наши тоже молчали, раздумывая о слышанном. В рассказе его многое показалось им невероятным, и, однако ж, факт был налицо: перед ними сидел простой русский мужичок, едва знающий грамоте, который с помощью одного здравого ума и знания среды, в которой мудрая проницательность владельца дала поприще его деятельности, управлял шестью тысячами подобных себе, действуя исключительно кротким словом и добрым толком и достигая результатов благодетельных и прекрасных: стар и мал любили его как отца и всё кругом него благоденствовало и благословляло судьбу свою. [8]

– Зато уж как ваши мужички а любят вас, – сказал Грачев.

– А за что им не любить меня? Худою я им ничего не сделал. Супротив правды с ними не поступал. Храни бог!

– Однако ж мы слышали: дорогонько вам стоит любовь их, – заметил Грачев, вспомнив рассказ ямщика о сыне Потанина. – Вы им родным сыном пожертвовали!

– То есть как пожертвовал? Жертвуется то есть, коли дается по доброй воле, а тут закон. Так следовало, и так богу угодно было. Сыновей у меня трое: один и пошел за семью царю служить... и служит, – прибавил старик, по лицу которого пробежала легкая тень задумчивости.

– А всё же, я думаю, жаль было? Старик помолчал.

– Старуха много редела, – наконец сказал он, – да их дело, известно, бабье.



– Однако ж, Алексей Дементыч, правду сказать: в вашем положении легко было избегнуть...

– Избегнуть? То есть как: очередь миновать? Чего легче! Стоило, примерно, так счесть (и старик по-ка>зал пальцами): первый, другой (тут он пропустил средний палец и, пригнув следующий, договорил), четвертый... хе-хе!

Он засмеялся тихим серебряным смехом и продолжал:

– Немудрено, да и та еще выгода: счет спорей пойдет. Хе-хе! Да только что народ скажет? Скажет: «А где же третий?» – «Да третий-от, братцы, мой, так вы' его не замайте!» Ну и не тронут, да завтра что будет? Завтра опять, глядишь, пойдет счет на ту же статью – первый, другой... четвертый – и опять: моего не замайте! Да как вся-то вотчина закричит: моего не замай! Так тут что?.. И какой ответ я тут дам? Как взыщу? Коли сам со счету всех сбил, так не спрашивай, зачем криво считают? Хе-хе! Хорош счетчик, в пяти пальцах заплутался, а еще других брался считать обучить... хе-хе! – Старик опять посмеялся и окончил: – Очередь святое дело, храни бог сбиться! Все мы равные у помещика. Последний мужик в вотчине покоряется очереди – жертвует, по-вашему, – так, стало, я был бы, выходит, хуже последнего мужика...

– Ну вы бы как-нибудь будто ненароком сбились! – сказал Грачов с сладкой улыбкой. – Ведь нельзя же не сознаться: своя рубашка к телу ближе...

– Ненароком? – возразил Потанин с жаром. – Нет, уж коли бы думно; было то есть душой покривить, так уж делай, выходит, прямо. А то ненароком! Нет, стало, не знаете, что такое мир, – мир в потемках видит, за тысячу верст слышит... Хе-хе! Обмануть мир! Не приведи бог никого обманывать, а коли одна голова да целый мир думаешь провести – так, стало, в той голове не только, выходит, правды, – в ней, значит, и разуму нет! – заключил Потанин с особенным ударением.

– Ну, наш мужичок довольно прост, – заметил Гр<ачов>, желая вызвать возражение старика.

– Прост? – с улыбкой отвечал Потанин, очевидно угадав неискренность этого замечания. – Шутите, барин! Вот бог приведет, поживете в деревне, сами увидите, как он прост!

Разговор продолжался, но с которой стороны ни заходили приятели наши к старику, они уже ничего более не могли узнать касательно главного вопроса, интересовавшего их, именно касательно его системы управления огромным имением. И не потому, чтоб старик таил что-нибудь: простота этой богатой природы сохранилась так целомудренно, что, казалось, мысль скрывать что-нибудь не могла прийти и в голову старику; он не видел в том ни пользы, ни нужды, но, в сущности, и говорить ему было больше нечего: в главном он совершенно высказался, что ж касается до частных, то он так свыкся с своим делом, постоянно пребывая в нем всей деятельностью своей души, что не видел в этих подробностях ничего особенного, ничего такого, о чем стоило бы говорить, хотя, нет сомнения, эти подробности представили бы много любопытного и уяснили бы характер самого Потанина. Приятели наши догадались, что за дальнейшими сведениями нужно адресоваться к лицам посторонним, и прекратили свои расспросы. Продолжая беседовать со стариком (он был любопытен и в свою очередь закидал их вопросами о Петербурге, преимущественно о тамошнем климате, о пароходах и железной дороге, о сравнительной ценности различных житейских потребностей, о холере), они имели много случаев дивиться его ясному уму, здравому смыслу и быстрой сметливости. Они заметили тоже, что старик был глубоко религиозен, и узнали, что он уже седьмой год не брал в рот мясной пищи, строго исполняя обет воздержания, наложенный с отдачи сына в рекруты. Вина он не брал капли в рот, но любил чай и пил его много. Жена его, появившаяся на несколько минут и ни слова не сказавшая, была простая русская баба, в сарафане и повойнике. Сыновей на ту пору не было дома. Один ловил рыбу, другой услан был в ближайшую деревню Баландино по делу, касавшемуся наших приятелей.

Надобно заметить, что еще при самом начале разговора Потанин объяснил Грачеву, что добраться ему до своей деревни сухим путем нет никакой возможности: вся та сторона была затоплена разлитием! Оки и других рек; до сорока деревень на пространстве 40 верст находились в воде, так что жители имели сообщение с

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовым гористым берегом Оки не иначе как на ботниках, садясь в них прямо с порога своей избы. Некоторые деревни были так затоплены, что мужики вовсе принуждены были оставить свои жилища и перебрались со всем имуществом и скотом на места более возвышенные. В иных деревнях вода подходила под самый пол избы, в иных на четверть и более выше пола. Приятели наши не без удивления выслушали рассказ о несчастном ребенке, который утонул в избе. Он выпал из колыбели и, пока мать, отлучившаяся доить корову, воротилась в избу, захлебнулся, барахтаясь: в луже, стоявшей на четверть выше полу.

– Неужели каждый год разлив бывает так силен? – спросил Грачов.

– Нет, не всегда. Однако ж лет в пять однажды наверно бывает вода не ниже нынешней.

– И долго это продолжается?

– Да с месяц. Вода прибывает быстро. В два дни иногда так всё кругом затопит, что не видать, где был ручей, где лес, где гора, где яма, а сбывает медленно, понемногу. Нынче, я думаю, долго продержится. Жаль бедных мужиков: совсем останутся без хлеба.

– А разве разлив и хлебу вреден?

– А как случится, – отвечал Потанин и сообщил нашим приятелям, что жители этих бедных деревень, расположенных на низменном берегу Оки, постоянно ведут жизнь, подобно азартным игрокам, ставящим на карту всё свое достояние: или пан, или пропал! Если вода не слишком высока и продержится недолго, то хлеб отродится и будет превосходный, лучше, чем родится на горной стороне, если же вода высока и сбывает медленно, то ничего не будет: зерно вымоет, или оно сопреет и не в состоянии будет дать ростков. Тогда эти самые поля, уже раз бесполезно возделанные, удобренные и засеянные, по слитии воды возделываются снова, и на них сеется ярица (неперезимовалая рожь), потому что надо же крестьянину чем-нибудь питаться. Из всех произрастаний земли на этих полях постоянно хорошо родится только лен, который не боится воды, и сметливые мужички пользуются этим. Однако ж обыкновение засеять поля льном на продажу мало распространено между помещичьими крестьянами.

– И много деревень подвержено таким неудобствам? – спросил Грачов.

– Да вот, начиная с Баландина, все деревни по луговой стороне до самого Муромы верст на пятьдесят в воде. К Гороховцу тоже место низменное и ежегодно потопляется водой; да и не к одним деревням теперь доступу нет по милости разлива. До Муромы теперь иначе не доберетесь, как водой – под самый город вода подошла и низменные улицы потопила. А по Гороховцу так иначе и езды лет, как в лодках – вот еще вчера наш почтарь воротился оттуда: письма сдавал да дельце до суда было; так, говорит, и присутствие теперь не бывает; присутственный дом по самые окна в воде, а лодка – дело понятное – не у всякого писца есть...

– Ну, забрались же мы в порядочную глушь! – заметил <Тростников> Грачову. – А ты еще мечтал, что через твою деревню шоссе пойдет.

– Шоссе! – сказал Потанин. – Какое тут шоссе. Да как матушка Ока расходится, разольется, да в, подспорье ей пойдут гулять малые реки (а их тут по луговой стороне и не перечешь), так тут хоть железное шоссе смастери, – и оно не поможет: искоробят и бог весть как раскидают! И признаку его не будет. Вот уж куда бы хорошо шоссе провести – с Муромы на Гороховец или на Вязники к Нижегородскому тракту – и хотели, видно; года с три всё пытали землю: покопают да померяют, вехи поставят, – да вот что-то и затихли: видно, Ока не свой брат – и инженеров в тупик поставила!

Итак, другой сын Потанина был послан отцом в Баландино нарядить мужиков с ботинками для доставления наших друзей в Грачово. До Баландина же стариц обещал дать им лошадей с надежным ямщиком. Когда всё это было переговорено и условлено, Потанин простился с своими гостями <и> ушел, посоветовав им подкрепиться снова, «потому, – говорил он, – хотя до вашей деревни не более девяти верст, однако ж вы вряд ли доберетесь туда ранее вечера, если выедете в полдень». Это известие озадачило наших друзей.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– По часу на версту! – воскликнул Грачов с ужасом. – Хороша должна быть дорожка!

– Но зато местечко, куда ведет такая дорожка, ведь рай, не правда ли? – спросил его <Тростников>.

– Мой дом стоит на возвышенном холме, который никогда не затопляет, – отвечал Грачов обиженным тоном.

– Большое утешение! А кругом вода, вода, вода! Чему же быть больше? Я уверен, что мы будем сидеть на этом возвышенном холме, как сидел капитан Кутль, поджав ноги на стуле, когда хозяйка мыла его комнату. Помнишь Диккенса? Только картина будет несколько величественнее, потому что хозяйка здесь – мать-природа, вздумавшая обмыть твои владения к приезду их помещика, а вместо стула мы будем сидеть, как голуби, на крыше твоего дома, до которой, надеюсь, не дойдет разлив? Жаль, забыли спросить у Потанина!

– Поди ты с своим Диккенсом! – резко отвечал Грачев. – Я нисколько не раскаиваюсь, что приехал сюда: потому что более счастливого соединения обстоятельств, благоприятных охотнику, невозможно требовать.

– Так ты полагаешь, что здешние бекасы и дупели, подобно уткам, держатся на воде... равно тетери и куропатки...

– Я такие глупости предоставляю думать другим! – сухо отвечал Грачов.

– Знаю, что ты всегда думаешь умные вещи.

– Я думаю, что теперь всего лучше лечь спать...

– И вот одна из них! – подхватил <Тростников>. – Только жаль, не твоя: ты украл ее у Потанина.

Они бы непременно поссорились, чем обыкновенно кончались их разговоры, если бы усталость, сытный завтрак и опорожненная за ним бутылка портвейну неожиданно не погрузили их на этот раз в глубокий сон.

В полдень Федор их разбудил, и они тронулись в дальнейший путь, сожалея, что им не удалось проститься с хозяином, который не показался при их отбытии, а вызвать его они не решились, думая, что он спит.

Однако ж он не спал. Проехав селение, они увидели гурьбу мальчишек и девочек, усевшихся под тенью старого великолепного вяза, стоящего тут, по уверению их ямщика, с начала света. В самом деле, этому почтенному вязу было по крайней мере триста лет: он прикрывал своею тенью юное, нарождающееся поколение всего села, а село было большое, и малолетнего населения в нем считалось не менее полутора ста душ. Любуясь этим прекрасным деревом, <Тростников> невольно подумал, что хотя народ наш обвиняют в отсутствии всякой искры поэзии, однако ж подобное обвинение едва ли справедливо: эти престарелые деревья, встречаемые почти в каждой деревне, нередко одиноко и торжественно возвышающиеся среди бесконечных полей безмолвными свидетелями трудов земледельца, – эти деревья, никому исключительно не принадлежащие и, следовательно, принадлежащие всем, а между тем хранимые, как святыня, – так что не было примера, чтоб кто-нибудь посягнул на подобное дерево, – не указывают ли одни эти деревья на присутствие поэтического чувства в народе, охраняющего их из поколения в поколение вернее всякого запрета и надзора? Впоследствии, пожив в деревне и поприсмотревшись к делу ближе, <Тростников> встретил не одно еще подтверждение своей мысли, о чем мы в своем месте скажем.

Друзья наши были немало удивлены, когда среди ребятшек и девочек, столпившихся под густыми ветвями вяза, увидели Потанина: он сидел среди их и говорил, по-видимому, с жаром, размахивая по своему обыкновению левой рукой, и; некоторые слова неожиданно вскрикивал так громко, что они доходили до наших приятелей, которые только что еще спускались с горы, от которой вяз был еще довольно далеко.

– Ба, да никак тут и сам Алексей Дементыч! – вскричал Тростников, обращаясь к ямщику.

Ямщик был видный русский парень в красной рубашке, лет девятнадцати, служивший

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов почтарем при конторе Потанина.

– Он и есть, – отвечал ямщик.

– Что ж он тут делает? – спросил Грачов.

– А говорит.

– С мальчишками?

– С мальчишками да с девочками. Он) говорит, а они слушают; вишь, как притихли, пострелята; иной раз им угомону нет, а тут молчок, словно кулак проглотили.

И он глуповато усмехнулся.

– Да о чем же он говорит?

– А кто его знает. Он часто так. Пойдет по деревне, а они гурьбой за ним да| за ним. За полы его хватают, а он ничего! Вот и начнет им говорить, усядутся вокруг него – и уж как говорит, словно пишет! Всё| бы слушал! Я сам, как мальчишкой был, так, бывало, пряником не корми, дай его послушать...

– Что ж он говорит?

– А всё, – отвечал ямщик и замолчал, поравнявшись в ту минуту с группой, в центре которой находился Потанин.

– Доброго пути! – сказал Потанин, встав и направляясь к экипажу, причем маленькие слушатели его быстро и почтительно расступились.

Ямщик остановился.

– Позвольте, Алек<сей> Дем<ентьич>, засвидетельствовать вам почтение и поблагодарить за гостеприимство! – сказал Грачов, приподнимая фуражку.

То же сделал и товарищ его.

– Не на чем, батюшка, – отвечал старик. – Дай бог благополучно добраться до места. Впредь милости просим!

– Благодарствуйте; будем теперь мы близкие соседи. К нам, Ал<ексей> Дем<ентьич>, сделайте одолжение.

– Как вода сольет? С моим удовольствием. Счастливого пути!

– Прощайте!

– А скажите-ка нам, Алек<сей> Дем<ентьич>, что вы тут поделяваете? – спросил Тростников. – Вишь, у вас какая публика собралась – и всё парод такой крупной!

Потанин усмехнулся.

– А так, ничего не делаю. Мне, старику, иной раз скучно, так я вот в досужий час с ребятишками... известное дело, и пословица говорит, что старой, что малой – всё одно! Сказочки им сказываю...

Приятели наши дружески пожали старику руку, и тарантас тронулся. Отъехав несколько шагов, они невольно оглянулись: группа под вязом пришла в прежний порядок, старик говорил, маленькая публика внимательно его слушала.

– Скажи ты мне наконец, что ж он им говорит, братец? – спросил Грачов ямщика.

– А рази я отсель слышу? – отвечал парень, потеряв, по-видимому, расположение к словоохотливости.

– Ах, братец, так ты, выходит, вахлак! – возразил Грачов. – Кабы отсель было слышно, так я те и спрашивать бы не стал, свои уши есть! А ты говоришь, сам слыхивал его речи, как мальчишкой был, а спросили – и стал в тупик! Хорошо,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не видно, слушал: спал, значит!

- Спал? Ну нет, барин: слушавши его, не уснешь, не таков человек!
- Ну так что ж он вам говорил?
- Что говорил? Говорил всё. Мне по его не сказать!
- Ну как умеешь.
- Да никак не умею. Говорил, известно: кто таков бог есть, кто таков царь, кто таков барин.
- Ну а еще?
- К чему какая вещь служит, говорил. Есть у него книжка, в ней всё, выходит, описано, как до чего люди дошли: как сеять хлеб начали, как огонь добыли, ну и разное, – возьмет ее и читает: послушать любо и занятно так, словно сказку слушаешь! Псалтырь тоже читал.
- Ну а еще что говорил?
- Да всего не припомнишь. Отца, говорит, почитай, бога бойся, старших слушайся – и всё расскажет: почему так должно выходить. Для чего царству воинство нужно, говорил; известно, он всё знает; хоть целый день его спрашивай, – всё будет говорить... Да вы, чай, сами слышали.
- Как же, братец. Умный человек ваш управляющий. И добрый такой.
- Такого человека, кажись, весь мир изойди, другого не найдешь, – отвечал ямщик, – душа божеская! Тпррр!
- Что такое?
- Да вот сами, чай, видите, – отвечал ямщик, останавливая лошадей...

## Глава VI

Заговорившись с ямщиком, приятели наши не заметили давно уже открывшегося перед их глазами целого моря воды, обрамленного с противоположной стороны грядою высоких обнаженных гор, которые обрывом, почти перпендикулярно возвышались над водой, то удаляясь в глубину материка и образуя извилистые заливы, то выступая среди воды, подобно островам и утесам; вообще же среднее расстояние до гор было, по-видимому, не менее пятнадцати верст; такова была здесь ширина разлива, которого крайних точек в длину простой глаз не мог определить: вправо и влево вода сливалась с горизонтом, который, казалось, служил ей единственной границей.

Среди этого необъятного моря местами виднелись леса, обнаженные, унылые, без малейших признаков зелени, хоть время подходило уже к половине мая и в местах возвышенных деревьев находились в полном весеннем уборе; торчали верхушки лозняка, жимолости, орешника, служившие признаком растущего тут кустарника; мелькало два-три островка; виднелись соломенные крыши до половины потопленных водой деревень. Там и сям, в разных направлениях, глаз усматривал небольшие чернеющие точки, быстро мелькавшие по гладкой поверхности воды, осторожно и ловко скользившие среди кустарников: то были ботники, служившие местным жителям единственным средством сообщения в весеннюю пору. С них слышались протяжные крики, как-то уныло и жалобно раздававшиеся над водой и придававшие картине еще более пустынный и дикий характер.

Ботник – род челнока длиною с кормы до носа не более пяти аршин, шириною в аршин – выдолбывается из цельного толстого дерева; на нем может поместиться от одного до трех человек; плавание на ботнике довольно опасно, при малейшем неловком и быстром движении он неминуемо опрокинется. Но никакое другое судно, более удобное и просторное, не будет здесь годно по весьма понятной причине: если по низменным местам в разлив свободно может пройти мачтовое судно, то, с другой стороны, места возвышенные, которых верхушки едва покрыты водой, с трудом дают возможность свободному плаванью самой малой лодочке; кустарники, пни погорелых или порубленных лесов, скрытые в разлив под водой, также служат таким препятствием, которого, пустившись в это временное море на большой лодке, и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не смог преодолеть невозможно; да, правду сказать, эти препятствия таковы, что и на ботнике только при навыке и ловкости местных обитателей проплывете благополучно, и то не всегда...

– Что за гора там видна? – спросили путешественники.

– Не гора, берег, – отвечал ямщик. – Вишь, какую воду господь дал нынешний год! Под самую Оку подошла и всё, всё даже сплошь потопила. Эва! Куда ни глянь, всё вода!

– Где же Баландино?

– А вот тут, за лесом.

Он указал вправо.

– Как! Тоже в воде?

– Ну, не совсем. У них место повыше. Они так на бугорочке приткнулись, а кругом, известно, – вода, да и которые пониже избы поставлены, чай, тоже облило.

– Как же мы до него доберемся?

– А вот не знай, что нет. Скоро, чай, будут с ботинками.

Нужно было вооружиться терпением и ждать. Часа три ждали наши путешественники, покуривая папиросы. Наконец терпение их истощилось. Тростников хранил мрачное молчание. Грачов же имел счастливую способность сокращать время, повторяя по нескольку часов одно и то же слово, лишь бы перед ним находилось живое существо, имеющее уши. Этим он наверное вгонял своего слушателя в пот, а иногда достигал и более существенных результатов. Так в настоящем случае он приставал к ямщику строго и настойчиво с вопросом: «Скоро ли?» – как будто ямщик мог дать ему удовлетворительный ответ и даже был виновником промедления.

– Скоро ли? Скоро ли? – повторял он с каждой минутой грозней и. грозней. И результат был неожиданный; сначала ямщик отвечал бойко и с уверенностью: «А вот сейчас» или: «Теперь, чай, не пройдет и десяти минут, как приедут», потом видимо начал конфузиться, издавая глухие восклицания, вроде: «А господь их знает, что они там замешкались», а наконец, как будто почувствовав окончательно угрызение совести, быстро отпряг пристяжную, сея верхом и поехал прямо в воду. Это случилось в ту самую минуту, когда поведение Грачова довело его товарища до крайней степени молчаливого озлобления и Тростников готовился прочесть своему другу ядовитый выговор, но неожиданный оборот дела сковал язык его, а Грачов обратился к ямщику с восклицанием:

– Что ты делаешь?

– А вот съезжу – узнаю!

– Да ведь тут глубоко?

– А ничего. Я горбочком. Тут горбочек есть...

– Воротись, сумасшедший! – строго крикнул Тростников. – Увидишь ты теперь под водой горбочек!

Но ямщик, казалось решивший лучше утонуть, чем вновь подвергнуться допросу Грачова, отвечал не оглядываясь:

– Ведь тут недалече. Почитай, вплоть за лесом. Где глубоко, там можно и вplash маненько, да, кажись, не надо быть глубоко; прошлый год я сколько раз ездил – больше как по брюхо лошади нигде не было.

Говоря таким образом, ямщик подвигался вперед, лошадь его шла действительно по брюхо в воде, разбрасывая кругом крупные брызги. Тростников еще раз попытался было воротить его, но ямщик, ответив ему, что он тут и ночью дорогу нахаживал, прикрикнул на лошадь и скоро скрылся в кустарнике, предшествовавшем лесу.

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Оставь его, душа моя, – сказал <Грачов>, – нам же лучше: он поторопит мужиков.

– А как он потонет?

– Ну вот, потонет!

– Или простуду схватит: теперь не лето.

– Вот еще! Да разве они когда простужаются? О чем вздумал беспокоиться! Право, ты шутник!

И он расхохотался.

Пусть не подумает читатель, что горой нага имел злое сердце; нет, он был добр, и не было щедрее его человека, когда дело шло о том, чтоб вознаградить труд мужика: доказательство – изрядные суммы, которые он постоянно давал на водку ямщикам. Но только он держался такого мнения, что мужик одарен железным здоровьем, что он не должен знать ни усталости, ни болезней и что нет такого труда, который непозволительно было бы взвалить на плечи русского мужика, нет такого поступка, который был бы не позволен с ним, если только имеешь намерение заплатить ему.

Прошло еще с час. И ямщик пропал. Приятели наши находились в довольно неприятном положении: сидя в своем экипаже у воды, которая круто пересекла им дорогу, продуваемые холодным пронзительным ветром, они сильно продрогли, что и послужило поводом к единственному утешению, которое оставалось в их положении: они откупорили бутылку хересу и приступили к остаткам провизии, которую запаслись в Вязниках. Всё это было сделано без помощи Федора, который, свернувшись на козлах, так сладко спал, что им жаль было будить его. Бутылка приходила уже к концу, когда с воды начали долетать к ним пронзительные крики.

– Ну вот, наконец, видно, едут! – сказал Грачов.

Однако ж прошло еще четверть часа, а никто не показывался из кустов, куда постоянно были направлены их глаза; только крики продолжались, и так как они, по-видимому, принадлежали одному человеку и доносились всё с одного и того же места, то приятели наши оба вдруг пришли к одному не совсем веселому заключению, что ямщик их потонул и призывает на помощь, теряя последние силы; это казалось тем вероятнее, что крики имели характер отчаянный и раздирающий. Что именно кричал неизвестный, разобрать не было возможности: это был всё один и тот же протяжный звук, начинавшийся каким-то болезненным вскрикиванием и оканчивавшийся пронзительной, бесконечно длинной-длинной и за душу хватающей нотой, медленно замиравшей в порывах ветра.

Рюмка портвейну, уже подносимая к губам, задрожала и пролилась в руках Грачова. Бледный, с остановившимся в горле куском ветчины, он быстро взглянул на Тростникова. Тростников в свою очередь молча посмотрел на бледное лицо своего товарища. В довершение ужаса Федор, спавший, как им было известно по опыту, так, что его не разбудишь и пушечным выстрелом, мгновенно пробудился, вытянулся на козлах во всю длину своего высокого роста и тоже, казалось, прислушивался, в то же время с напряжением вглядываясь вдаль.

Ничего, однако ж, не было видно. Только раздирающие крики продолжались с прежнею силою. Наконец и они смолкли.

– Видно, пошел ко дну! – с отчаянием произнес Грачов.

Здесь, по примеру господина Евгения Сю, нам бы следовало поставить точку и обратиться к «прочим действующим лицам романа», но как мы пишем не роман, а правдивые похождения! и как у нас нет покуда «других действующих лиц», кроме представленных читателю в предыдущих главах, то мы, к сожалению, не можем воспользоваться примером опытного романиста и теперь же доскажем развязку сцены.

– Едут! – вскрикнул вдруг Федор.

– Кто? – спросили в один голос приятели, вскочив в тарантасе и всматриваясь вперед.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Ничего, однако ж, они не видали.

– Ботники, – отвечал Федор.

– Да где же они?

– А в кустах. Разве не изволите слышать, как весла плещут? А вот и голоса!

В самом деле через минуту воздух наполнился криками многих голосов, которые далеко не были так унылы, как крик, встревоживший наших приятелей. Напротив, среди них слышался даже веселый хохот; дружный плеск весел также доносился до ушей путешественников, но ничего еще не было видно. Наконец из кустов показались и ботники, сперва один, потом другой, третий, а за ними ящик наших друзей – верхом на своей пристяжной. При виде его у друзей наших отлегло от сердца. Грачов, присмиривший было и как-то робко поглядывавший на своего приятеля, вдруг приобрел прежнюю самоуверенность и развязно сказал:

– Видишь, я говорил! Слыхано ли, чтоб им что-нибудь сделалось? Уж я знаю!

С ботников, быстро приближавшихся, доносились веселые голоса. На корме каждого из них находилось по здоровому и ловкому мужику; они гребли одним веслом, не глядя, потому что лица их обращены были к ехавшему за ними ящику, который, по-видимому, сильно возбуждал их веселость. В самом деле, бедный парень, весь мокрый, представлял довольно жалкую фигуру: с лица и платья его ручьями стекала вода, на голове его не было шляпы, и длинные мокрые волосы, в беспорядке прилипшие ко лбу и бледным его щекам, придавали ей вид безобразный и страшный. Промоченный до костей, он дрожал, но старался бодриться, весело принимая более или менее едкие насмешки гребцов.

– Шляпу-то, шляпу-то надень! – кричал один. – Вишь, ветер какой, да и чего снял? Али господ видишь? Больно рано, голова. Господа, чай, добрые, не взыщут.

– Да есть ли у него, братцы, шляпа-то? – заметил другой.

– Как, чай, не быть! Ведь ящик тоже называется. Есть, что ль, шляпа, а? – обратился он к мокрому парню.

Парень молчал.

– Молчит! – крикнул третий. – И шляпы не надевает. Видно, зарок такой дал: без шляпы ездит. Слышь, парень: зарок, что ль, такой дал?

– Зарок! – отвечал парень, неожиданно подскакивая к вопрошающему и поднимая лошадь в дыбы, причем гребца обдало потоком воды.

– Что ты? Что ты, шальной! – воскликнул он. – Сам вымок, словно вода, так надоть и других окатить! Перестань, говорят! С господами поедем!

Но парень не унимался.

– Эх вы, баландинские! – кричал он, врываясь в середину ботников и обдавая гребцов ручьями воды. – Не глиняные, небось, не размокнете!

Гребцы отвечали ему странными криками и, дружно ударив веслами, окатили его в свою очередь. Парень принужден был спастись бегством, и как к берегу было мельче, то лошадь его в несколько прыжков очутилась на суше.

Приятели наши закидали его вопросами.

– Продрог? – спросил его Грачов.

– А ничего.

– Пей, – сказал Тростников, подавая ему стакан портвейну.

Парень выпил.

– Да ты тонул, что ли? – спросил он.



– А нет, не тонул, – отвечал ямщик, садясь и стаскивая с пог мокрые сапоги.

– Чего же ты орал, словно зарезанный? – спросил Грачов.

– А маненечко огрыз, – отвечал парень, выливая из сапога воду.

– А как маненечко? – спросил Тростников.

– Да лошадь как ухнет вдруг.

– По уши?

– Да перво так по уши. А тут, глядь, и ушей не видно! Вся ушла.

– И ты с ней?

– Куда с ней! Я спрыг.

– В воду?

– В воду, как в воду? – чай, глыбко! А тут куст – я как прыгну, да, спасибо, елшинка крепкая попалась–удержала! Да уж и прынул же я! – продолжал парень. – Скажи другой раз – в жисть так не прыгнуть! Почитай сажени с три до куста было. Инда шляпа слетела с головы – искал, искал, не нашел! А, чай, тут, проклятая, где-нибудь близехонько, поди, к кусту прибило!

Между разговором ямщик выжал рубашку и всё остальное, снова надел, обул сапоги на выжатые онучи.

– Ну ты и пошел кричать?

– А как не кричать? Лошадь, гляжу, оказалась, да и ни с места! Будь глыбко, выплыла бы, а то, вишь, втяпалась в грязь – вот ей выскочить силы-то уж и нет! А я что один сделаю? Подплыл к ней, хватить за повод – тянул, тянул – ну, мол, сердешная, ну, жид! Одначе нет: тужилась, тужилась, а не смогла, а всего и! выскочить-то бы каких-нибудь сажени полторы. Да уж, знать, больно задом огрызла. А помочь как? Опущусь, стану, а грязь так и сосет, так и сосет, ну и бросаю повод – плыть надеть. Неча делать, воротился к кусту и ну опять кричать. Робята подъехали и пособили – лошадь выскочила, а шляпы так и не нашел. Вишь, пострел! Как потянули втроем – небось, выпрыгла, жид проклятый!

И он сердито дернул лошадь. – Да чем же лошадь виновата? – заметил Тростников.

– Сам дурак – втяпался в болото. Говорили: леротись.

– Точно, – сказал парень, – сам маненечко сплеховал, ве утрафил маненечко, раненюкo вправо вернул; держись нолевей, так бы в самый раз бугорочком и пришлось: гляди, и проехал бы!

– А еще хвастал, что дорогу знаешь, – сказал Грачов.

– Знать – как не знать? Езжал не одинова. Да, вишь, толеричка всё под водой: не видно, где бугор, где яма. Кабы в межень.

– Вот не случись народу, и потонул бы ты и с лошадейю.

– Как потонуть? – отвечал парень с недоверчивой усмешкой. – В эвтаком месте да потонуть? Тут в межень малый ребенок перебредет, скотину пущает. А то потонуть. Господи! уж и потонуть тут!

– А потонул бы и есть, да и лошадь, гляди, утопил бы! Промочил бы душеньку сквозь, выжди да брось! – гаркнули неожиданно в один голос гребцы, которые давно уже, вытянув до половины на берег свои ботники, чтоб не унесло водой, с открытыми головами окружили тарантас и прислушивались к разговору господ с ямщиком. – Вишь ты, втяпался куда – и ловко: в самую ключину угодил, а ключина глубокая да топкая такая – ив межень никогда не пересыхает!

– Толкуйте, много вы знаете! – сказал парень.

– Вестимо, ты больше знаешь, что говорить. Ты, чай, тут каждому кусту сват. А он вот, изволите видеть, сударь, – продолжал <гребец>, обращаясь к Грачову, – прошлого году всю весну, чай, ночи не проходило, чтобы не прокатил в нашу деревню. Даром дорога плоха, – ну и привык, и лошадь привыкла; так вот, знать, и нонече понадеялся: проеду, мол! Ан нет – гляди, и не проехал. Так, что ль, парень?

– Да зачем же он прошлого! году по ночам ездил? – спросил Тростников.

Парень молчал.

Гребцы переглянулись; парень потупился.

– Да известно; народ молодой: селянки! – значительно отвечал тот же мужик.

– Что такое?

– Селянки, – повторил мужик.

– Да что такое селянки?

– А примерно: живет молодлица – вдова, солдатка али так, бобылка какая гулящая; ну вот к ней и собираются по вечерам: скрипотню подымут, она им селянку сварит, пьют, песни поют!

Догадавшись, что под именем селянок должно разуместь деревенские вечера с развлечениями особенного рода, а под именем скрипотни какую-нибудь местную музыку, Тростников спросил:

– И весело бывает на таких селянках?

– А кто их знает, нам на них бывать не приходится. Стало, весело, коли по ночам, почитай, вплавь ездил!

– А вот нынче, как зазнобушки нет, вишь, она солдатка – так муж вытребовал, и келийка стоит заперта, – добавил другой, – так он и дорожку к нам забыл. Среди бела дня в омут так вот и прет, а самому невдомек! И шляпу потерял!

И гребцы разразились хохотом, все разом глянув на обнаженную голову сконфуженного парня.

– Вот как! А мы давеча и не знали, что имеем удовольствие ехать с русским Леандром, – заметил Грачов своему товарищу.

– Послушай, парень, скажи-ка по совести, – обратился он вполголоса! к ямщику, – что они врут или правду говорят?

– А знамо врут, – отвечал парень.

– Уж будто так ничего и не было?

– Чего не было, того не было, а что было, знает про то головушка буйная да ноченька темная, – отвечал парень, потупляя голову и принимаясь отвязывать чемодан. – Прикажете нести, что ли?

– Неси... Да вот возьми сначала.

Грачов дал ямщику три целковых и почувствовал, что поквитался с ним совершенно. Таким образом в случае более горестном, если б ямщик, например, утонул, он положил бы его семейству приличную пенсию и совесть его точно так же была бы спокойна.

В десять минут вещи путешественников были перенесены на ботники; разместившись в них, они поплыли в путь не без чувства некоторого страха: ботники глубоко сидели в воде, возвышаясь над нею менее вершка. При малейшем неосторожном движении – если не совершенная гибель, то купание было неизбежно.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Едва отплыли они пятьдесят сажень, как послышали за собою плеск; оглянулись и увидели ямщика, ехавшего недалеко от них на своей пристяжной.

– Ты куда? – спросил с удивлением Грачов.

– А я шляпы поискать, – отвечал парень.

Тростников вспыхнул.

– Что ты, сумасшедший! Мало одного разу, хочешь еще попробовать, не приведется ли совсем утонуть? – закричал он в негодовании. – Воротись, безумная голова!

– Воротись! – строго повторил Грачов.

Ямщик ничего не отвечал и ехал вперед.

– Говорят, воротись, а то я Алексею Дементьичу напишу! – крикнул Грачов, но и угроза его не имела никакого действия.

– А не замайте его! – сказал гребец. – Не без шляпы же ему ехать домой, парень молодой: засмеют! Да и шляпа, говорит, новая; три рубля намедни в Гороховце дал!

– Так за три рубля и тонуть?

– Ну, не потонет.

– А уж лошадь верно утопит! Вот будет в барышах!

– Не утопит! Как утопить? – отвечал гребец. – Не бросать же шляпу, – прибавил он таким голосом, который ясно говорил, что сам гребец на месте парня сделал бы то же. – Ты, – закричал он парию, оборачиваясь к нему лицом, – лошадь-то не доезжая плотины привяжи, а сам и сплавай!

– Ладно! – отвечал ему парень. – Знаю!

– Да куда ж он сплавает? – с досадой спросил Тростников. – Ведь он искал своей шляпы – не нашел.

– Как же, искал, и мы даве искали. Да, вишь, дело было вкруте – к вашей милости торопились, ну и не нашли. А поищет, найдет. Куда ей деваться? Еще кабы место гладкое, а тут и уплыть ей далее нельзя: всё кругом кусты!

Тростинкой пожал плечами.

– Уж смотри ты, упрямая башка! – закричал Грачев ямщику, почти догнавшему их. – Усядься опять на дерево – подстрелю, как тетерю, ей-богу, подстрелю!

И, довольный своею остротою, Грачев рассмеялся и прибавил, обращаясь к Тростиикову:

– Ну, который же Леандр, по-твоему, лучше – немецкий или русский?

– Оба хороши в своем роде, – отвечал Тростников.

– А желал бы я видеть русскую Геро! – сказал Грачев. – Я думаю, под одной ботник ко дну пойдет.

Но расположение к остроумным предположениям в нем вдруг прекратилось, и <он> быстро прибавил: – Осторожней, осторожней! – потому что ботник чуть не опрокинулся, наехав на какую-то корягу, едва торчавшую из воды. – Осторожней, осторожней! – закричал он.

– Ишь ты! – закричал в то же время гребец с другого Сотпика неосторожному своему товарищу. – Что ты глаза-то в кабаке, что ли, пропил? А ты гляди: ведь с господами едешь, тут долго ли до беды! Вот намедни, почитай, тут дядя Матвей опрокинулся!

– Что ж, потонул? – быстро спросил Грачов.

– Потонуть не потонул, – отвечал их гребец, – а окупался, сердечный. Тут где потонуть: глубокого места только и есть, что ключина, где даве Митюха огрыз. А то до самой деревни больше как по пояс не будет. Тут всё сухо бывает в межень! Да и лес не больно чтоб густ – всё можно ехать...

– А далеко до деревни?

– Да с версту, не больше, А вот уж там, – продолжал гребец, – как за нашу деревню выедем, ну, там всего будет!

– Что ж?

– Проехавши так с версту нашими полями, будят Ниша, река, бурлит теперь, сердечная, потом лесом поедем, – лес густой-густой, – проедем лес, там опять Мичкора-озеро, большое озеро; вот как Вишу перевалим да озеро, ну и лесом маненько трудновато, а то всё ничего, левое дело!

Лес начал редеть; показалась деревня, которой жители, по местному выражению, разделялись на облитых и необлитых; верхний конец деревни, расположенный на высоте бугра, избежал наводнения; зато нижний, ближайший к нашим путешественникам, тянувшийся по скату бугра, равно как все бани, сараи и прочие деревенские службы, разбросанные по уступам крутого оврага, – всё было затоплено и представляло довольно оригинальную и в то же время весьма плачевную картину. Таким образом приятели наши въехали водой в самую деревню и несколько времени плыли между двумя рядами изб, казавшихся как будто всплывшими; маленькие окна быстро раскрывались, и оттуда появлялись лица с выражением столь чрезвычайного удивления, о котором невозможно дать понятие, – доносились дикие и тревожные голоса, благим матом призывавшие сонных, хворых и работающих полюбоваться невиданным зрелищем:

– Митюха, брось стан-от! Брось скорей! Вишь, едут какие!

– Подь-ка, нодь-ка! глянь! глянь!

– Батюшки, господи! Что их? что их? А-а! ахти! Вот так диковина! И собака, да какая собака: словцо баран! У! у! у! съест, чай – сунься, поди!

Некоторые из облитых, недовольные глазением из окон, быстро выбежали на крылечко, бросались в ботники, привязанные, к верхним ступеням, до которых почти достигала вода, и плыли за путешественниками, перегоняясь между собою и стараясь забежать вперед их. Но не то еще ждало наших друзей впереди: приближаясь к области необлитых, они увидели такую необозримую толпу, что даже казалось невероятным, чтоб все они принадлежали к жителям одной деревни; старые и малые, здоровые и хворые – всё высыпало посмотреть господ. И вот наконец они ступили на твердую землю при громких восклицаниях толпы, и толпа шумно расступилась в разные стороны, давая им дорогу. Путешественники пересели в телеги, приготовленные для перевозки их с пожитками через бугор, за которым снова начинался разлив. Облитые и необлитые последовали за ними. Проезд медленно совершался, задерживаемый толпою, и наконец остановился среди необжитого конца деревни. Оставленные гребцами своими, которые ушли переправлять через бугор ботники, приятели наши были оставлены теперь и своими кучерами, которые, соскочив с козел, ушли в толпу, ничего им не сказав. Приятели наши, сидя на телеге, на досуге рассматривали толпу, которая с каждой минутой увеличивалась. Даже столетние старухи, по несколько лет не слезавшие с печи, выползли на свет божий, не говоря уже о разного рода деревенских уродах, которые вообще отличаются сильным любопытством. И так как народ, несмотря на видимое презрение к ним, выражающееся в беспрестанных шутках и неумолимых прозвищах, все-таки к ним жалостлив, то им уступлены были лучшие места, и друзья наши скоро увидели себя окруженными коллекцией замечательных существ: параличный мужик с трясущейся головой и безумно блуждающими глазами навывкате, мужик с ногами, вывихнутыми так, что коленки его смотрели в ту же сторону, как и его затылок, мальчишка с горбом, ходивший на карачках, мальчишка с перешибленными и высохшими руками, которые висели как плети, баба с горбом, баба с двумя горбами, мужик с бельмами, безногие, безрукие, калеки, слепцы – вот, так сказать, первый ряд той публики, которая собралась около путешественников. Правда, деревня, в которой они находились, была велика, как немногие деревни, но и количество уродов, проживавших в ней, поразило их. Расспрашивая о причинах уродства, они пришли к

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
такому заключению, что хотя употребительная в деревнях метода воспитания, состоящая в том, что ребенка почти с первых дней его рождения предоставляют на произвол судьбы, имеет свои хорошие стороны, производя богатырей, крепких, как закаленная сталь, но что она же, вероятно, причину, почему нет такой маленькой деревушки, в которой не встретили бы вы нескольких несчастных, изуродованных и изломанных самым чудовищным образом. Второй и гораздо значительнейший ряд публики составляли девчонки, мальчишки и отчасти женщины; мальчишки совсем напирала на телеги и по обыкновению своему громко передавали друг другу свои замечания касательно наружности, одежды и всего, что поражало, их в наших путешественниках. Черный лоснящийся Раппо в своем серебряном ошейнике производил сильный и всеобщий эффект.

– Словно бобер, – говорили мальчишки, – а ошейник, поди, рублей сто стоит!

Когда же Грачов по случаю дождя надел свой каучуковый пальто и такую же шапку, сделанную так, что ею можно в случае дождя закрыть и щеки, и лоб, и затылок, оставив только небольшие промежутки для глаз и дыхания, удивление публики дошло до высочайшей степени. Мальчишки пришли в такой азарт, приглашая друг друга посмотреть диковинное одеяние, что Тростников, имевший точно такой же костюм, решил лучше промокнуть до костей, чем подать повод к новому соблазну. Ему даже сделалось как-то совестно за Грачева, который, напротив, был очень доволен и видимо наслаждался эффектом, который производил. Время шло, а толпа не редела. Напротив, ободренная ласковым видом господ и их благосклонными ответами, становилась смелей. Одна женщина лет 25 с самого их приезда с напряженным вниманием всматривалась в лицо Грачова, которое, надо признаться, по своей величавости вообще производило несравненно более эффекта, чем скромная фигура Тростникова, наконец начала постепенно к нему приближаться и вдруг схватила нашего путешественника за его крупный нос, потом тотчас же его выпустила и, как бы сама испугавшись своей дерзости, быстро исчезла в толпе... По тщательным расспросам оказалось, что поводом к такому странному поступку было не что иное, как бескорыстное любопытство узнать, такой ли у барина нос, как обыкновенно бывают носы в деревнях, или сделан из чего-нибудь другого. Муяшк, объяснявший это Грачову, прибавил, что здесь сторона глухая, – в пять лет одинова проедет ли, нет ли барин какой, так вот им и в диковину. «А вот, – прибавил он, – как я жил третьего года на большой Костромской дороге, где господ ездит каждый день, словно... (не припомню сравнения, которое употребил мужик), – так там на их и глядеть не хотят!»

Наконец, третий разряд публики, собравшейся около наших приятелей, составляли мужики, которые только частью были привлечены сюда любопытством, главное же состояло в том, чтоб сорвать с господ малую толику деньжонок. И так они только сначала теснились к телегам, а потом составили от/дельную группу, в которой скоро начался оглушительный спор.

Прислушавшись, путешественники наши увидели, что спор шел именно о них, и по некоторым словам мужиков догадались, что предстоящее им плавание не совсем безопасно. Следующее обстоятельство еще более усилило их опасения. Среди группы мужиков вдруг показался старик высокого роста, с длинными склокоченными волосами трех цветов: некогда гладко выстриженная макушка его была покрыта густыми темно-русыми волосами, торчавшими как щетина, затем следовал слой волос рыжих; третий, и последний слой, беспорядочно спускавшийся к вискам, лбу и затылку мужика, был грязновато-серого цвета. Мужик имел вид исступленного: глаза его сверкали диким блеском, движения были порывисты, голос густой, неровный и невнятный, интонации прорицателя.

– И не возите! И не берите греха на душу! – кричал он, врываясь в толпу мужиков и грозно махая поднятой вверху рукой, сложенной в кулак. – Потопите, как бог свят, потоните! И господь накажет вас! Прогневил, грешные, господа. Такую воду пустило, такую воду... у! – заключил старик таким страшным голосом, что мальчишки, окружавшие телегу, вздрогнули.

Это «у!» болезненно отозвалось даже и в мужественном сердце Грачева.

– Эй! – закричал он. – Эй, что такое он говорит? Мы только время теряем; а если точно опасно, то лучше подумать...

– Ничего, провезем! Бог милостив, езжали! – в один голос отвечали мужики, окружая телегу. – Тут нам свое дело, под боком: каждый кустик знаком!

– И не пытайтесь! И сохрани бог! – скороговоркою произнес прорицатель, подбегая также к телеге и обращая к Грачову свои дикие, блуждающие глаза. – Ни-ни-ни-ни! Стар осп человек – слушайте старого человека! Великие воды! Страшенные воды создал господь, и конца им нет! Прогневался бог! Господь Оку разлил, Клязьму разлил, Волгу разлил – все великие и малые реки разлил, всем волю дал, и, пока не уймет воды, – не держай! Не держай! – повторил старик вдохновенным и мрачным голосом. – Не попустит господь!

– Постой, по мешай! Дай слово молвить! Поди прочь, старый хрыч! – кричали мужики, стараясь оттереть исступленного прорицателя от телеги, но он решительно не давал никому рта разинуть, продолжая свои прорицания.

Замечая, что он более и более путался и наконец начал нести совершенную дичь, Грачов ободрился.

– Да погоди, любезный, дай добиться толку, в чем дело! – строго сказал он ему. – Помолчи, вот мы рассудим!

Но старик не унимался:

– И не держайте! И говорю вам: не держайте ни с чем! Против воды что против огня. Сильна, матушка! у! как сильна! (Это протяжное «у!» снова отозвалось в сердце Грачева.) Великие воды! Страшенные воды! Сюда (старик указал вперед), до Мурома и за Муром, через все деревня и села, жилые и нежилые места, – туда (он указал вправо), до Гороховца, через сам Гороховец и до великих дремучих лесов... Туда...

Тут старик был прерван ударом по руке, которую он только что поднял, чтоб указать направление воды. Мужик, нанесший ему удар, строго сказал:

– Уходи честью! Не мешай, говорят, не сбивай господ. Времени, вить, и так мало – и так уж вон, гляди, солнышко высоко!

– А сядет солнышко – и взойдет, и опять сядет, и взойдет опять, – будет оно на утрии, на полдни и на вечерни, будет высоко и низко, а уж не увидать его вам, коли...

– Эй, старик! – неожиданно перебил прорицателя Тростников негромким, но повелительным голосом. – Поди сюда!

Старик подошел.

– Вот тебе, возьми! Только смотри, с уговором: уйди сейчас и не мешай нам!

Старик не без жадности схватил две мелкие монеты, предложенные ему, и выражение лица его мгновенно изменилось, – желая путешественникам счастливого плавания; о прежних зловещих прорицаниях не было уже и помину.

– В добрый час! В добрый час! – повторял он, удаляясь с низкими поклонами. – Да благословит господь десницу благодушного!

И он ушел, повторяя «в добрый час» с таким видом, как будто совершенно забыл свои недавние предсказания и был убежден, что они совершат благополучное плавание.

Мужики проводили его каким-то двусмысленным и нерешительным смехом.

Грачов да и сам Тростников, никак не ждавший, чтоб два двугривенных могли произвести такой быстрый результат, были немало удивлены; но как времени и так уже было много потеряно даром, то они отложили свои расспросы до другого времени и занялись решением ближайшего вопроса: что им делать?

Все мужики теперь единогласно утверждали, что плавание не представляет никакой опасности, ручались, что провезут благополучно. Итак, друзья наши решились ехать. Было прибавлено еще два ботника, чтоб ботники сидели мельче в воде; выбраны лучшие и опытнейшие гребцы, по уверению всей деревни.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Подъехали в телегах к разливу, переложили в ботники вещи, разместились сами и тронулись...

Картина, открывшаяся перед ними, была подобна той, которую они видели, плывя в деревню, только в большем размере: необозримое море воды, местами чистое, местами покрытое лесом или кустарником, деревни, казавшиеся как бы всплывшими, кое-где высокие обнаженные бугорки, до которых не достигла вода и которые служили пунктом отдыха бесчисленным стаям перелетных птиц, как-то: гусей, лебедей, журавлей, чибисов, рыболовов и всякого рода куликов, – таковы были предметы, окружавшие путешественников. По мере того как они подавались вперед, водная пустыня принимала более и более оживленный характер, становилась населеннее; стада уток, спугнутые приближением ботников, быстро взлетали, производя серебряный звук своими крыльями, и тут же, отлетев не более десяти сажен, снова садилась, к великому удовольствию наших путников, которые зарядили свои ружья и открыли по ним непрерывный огонь; над головами их носились хохлатые чибисы, наполняя воздух столь пискливыми, жалобными криками, что сердце надрывалось невольно; реяли красноносые рыболовы, быстро падая на воду и ловко хватая мелкую рыбешку; непрерывный их крик, столь разнообразный, столь одушевленный и выразительный, что, без преувеличения, в нем можно отличить малейшие оттенки радости, отчаяния, надежды, негодования и ужаса встревоженной птицы, достиг крайней степени болезненного неистовства, когда Грачов выстрелил и раненый рыболов упал в лодку, – тысячи рыболовов собрались над убитым, останавливались в воздухе и яростно потрясали клювом, и отчаянию их, их негодованию против убийцы, казалось, не было границ; они чуть не задевали крыльями за головы пловцов, и так провожали они путников по крайней мере целую версту, надрываясь в остервенелых криках, выражавших, очевидно, злейшие проклятия, пока наконец Грачов не выбросил на воду труп убитого их товарища. Тогда птицы сгруппировались над ним, продолжая жалобные песни свои, и оставили в покое путешественников. Журавли и дикие гуси длинными вереницами тянулись в вышине и, перекликнувшись, как будто по взаимному уговору, вдруг опускались отдохнуть на какой-нибудь бедный островок. Эти островки, с жалкими остатками едва зеленеющей озими, вызвали тяжелые вздохи и сетования гребцов, которые сообщили путешественникам, что тут всё, что осталось от их озимей! Остальное покрыто водой, которая поглотила их труды, время и семена. Грачову очень хотелось убить гуся, но едва ботник приближался к месту их отдыха, осторожные птицы с криком слетали и пропадали в воздухе. Зато он устал, стреляя по несчастным зайцам, которые разделяли участь жителей этой бедной стороны: их облило, и они, как тени, целыми сотнями бродили по обнаженным островам, тоскливо поглядывая на ближний, но недоступный лес или кустарник.

Разговаривая с своими гребцами, путники вдруг поражены были дикими криками, доносившимися с ближайшего островка.

– У-у-у! ух-ух-ууух! – и потом: – Эй! держи! лови! хорошенько его, хорошенько! береги, Ваню-хааа! у! косой черт! у-у-у! а-а-а-ря-ря-рррря!

Загадка объяснилась, когда они подъехали ближе к острову: десятка полтора мальчишек ловили зайцев – били вдогонку палками или, мгновенно падая, давили их брюхом, причём несчастная жертва испускала раздирающий крик, подобный плачу ребенка. У берега они заметили три ботника, уже до половины нагруженные зайцами. В этой стороне народ не брезгует заячьим мясом, как это бывает во многих других деревнях России, вследствие известного предрассудка. Здесь, напротив, каждое семейство, с помощью меньших членов своих, весной запасается зайчатинной и, посолив, ест ее до самого лета. В это время года заячий мех никуда не годен.

Менее печальное зрелище представлял другой промысел, которого источником был также разлив. Распространяясь быстро и часто неожиданно, разлив в своем стремлении подобно хищнику, уносит всё, что плохо лежит; он отрывает даже целые острова с кустарником и лесом, которые медленно движутся по течению до той поры, пока сольет вода, и они и остаются там, куда прибьет их течением, часто за несколько верст от своего прошлогоднего пребывания; стоги сена, скирды хлеба, бревна, жерди разрушенных заборов и мостов, гонимые ветром, медленно движутся по равнине временных вод и составляют добычу особого промышленников, которые выезжают на ловлю с баграми и запасными ботинками. Впрочем, они нередко дорого платятся за свой промысел: ботники, чересчур нагруженные, опрокидываются при внезапном порыве ветра, и несчастные тонут или претерпевают иногда страшные муки, потеряв свои судна и проводя иногда по несколько дней без огня и пищи. Много таких «ловцов» встретили наши приятели и с каждым разменялись дружным

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовым приветствием.

Таким образом, благодаря явлениям, которые мы старались описать, эта пустынная сторона даже и теперь не была вовсе лишена жизни и деятельности, но какой жизни, какой деятельности? Грачов невольно вспомнил читанные им в изобилии сцены в глубине Азии и Америки. Не то чтоб тут было что-нибудь сходное, но многое здесь казалось ему столь же в своем роде новым и едва ли еще не менее известным, чем то, о чем читывал он у Дюмон-Дюрвиля, Жакмона и других.

Всё шло хорошо, покуда плавание не представляло особенных трудностей; путешественники уже начинали забывать опасения, возбужденные в них старым прорицателем; но, приближаясь к лесу, поросшему густым кустарником, через который надлежало пробиться, добродушные мужички, очевидно старавшиеся поддержать бодрое расположение господ, невольно изменили своему желанию: они крепко заспорили о том, которой стороны держаться, и каждый поддерживал свое мнение и порицал чужое такими аргументами, что мороз пробежал по телу наших приятелей.

– Вправо-то, на красный куст? Да тут, не знаешь, что ли, голова, порубь; пень на пне; как протрешь ботинки, так тут и конец! Лучше прямо держи!

– Прямо? Прямо только вороны летают.

– Так что ж? По-твоему, на Галямин бор, что ли? Никиту Обрубка повидать охота?

– А кто такой Обрубок?

– Да мужичок был.

– Что же с ним сделалось?

– А пропал в бору...

– Так и не нашли?

– Нашли, как вода сбыла... Говорю: лево держи!

– Лево? Да подержись лево, так и угодишь против самого широкого места что ни есть во всей Више. А на стержне, поди, и так крутит-крутит – и господи упаси! А тут и ветер какой поднялся. Не справить, гляди: никак не справить!

Таким образом все направления были перебраны, опасности каждого вычислены, и путешественники увидели себя в положении сказочного царевича, встретившего на распутье столб с надписями, пророчившими, в какую сторону ни кинься, беду неминуемую.

Страннее же всего казалось им то, что, упорно споря о направлении, проводники их ни на минуту не переставали грести и гребли всё в одну сторону, как будто выбор направления был давно решен, а теперь шла речь о предмете постороннем. «Да куда же мы едем? Какой дороги держимся?» – пробовали они спрашивать. Ответом им было молчание или неопределенное: «Авось бог даст выедем», – и весла продолжали дружно работать. Таким образом вопрос, кто из спорящих одержал победу, остался тайной для путешественников, да и гребцы, по-видимому, мало думали о нем, удвоив внимание, так как чаща с каждым шагом становилась непроходимее: дело в том, что проехать как в том, так и в другом месте было одинаково трудно, что мужики, каждый про себя, очень хорошо знали, и главная задача состояла не в том, чтобы решить спор, а в том, чтоб удачно проехать. Верный глаз и верная рука были тут единственными ручательствами успеха; упираясь веслом, где нельзя было грести, в деревья или хватаясь руками за сучья и кусты, гребцы быстро сообщали желанное направление ботинкам, и ботинки невинно «выюркивали» из непроходимой чащи.

«Оттолкнись! притяни! посунь! пропёхивай!» – были единственные слова, которыми они теперь обменивались между собою. «Нагнись, барин, нагнись!» – иногда вдруг кричали гребцы, но путники наши были так счастливы, что успевали нагнуться не ранее, как доставив какому-нибудь сучку полную возможность съездить их порядочно по голове.

Через час трудной и неутомимой деятельности гребцы вдруг все разом перевели дух



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов и на секунду опустили весла. Приятели наши поняли, что опасность миновалась. Действительно, чаша начала редеть – и они скоро очутились среди чистого и необъятного пространства воды, в которой отражались небо и солнце, уже склонявшееся к закату. Зрелище было приятно и успокоительно, особенно после часовой переправы через лес, который постоянно держал их в полумраке, не давал простора их зрению и вдобавок немилосердно царапался и хлестался, как будто сердясь, что нарушили его спокойствие, к ограждению которого он принял такие надежные меры.

Однако ж спокойствие; наших приятелей было непродолжительно. Гребцы мигом прогнали его – и опять, видимо, против своего желания.

– Ну, теперь, мотри, не зевай! – сказал один.

– А ты что? Сам, голова, не зевай, – отвечал другой. – И охота говорить! – прибавил он с досадой, наставительно.

– А что такое? – быстро спросил Грачов.

– Сами, чай, видите! Вишь, волны какие.

Волны действительно были довольно свирепы. Ботники сильно качало.

– Помоги бог справиться! – полушепотом говорили гребцы.

– Что ж тут озеро, что ли, или река? – спросил Грачов.

– Река, – отвечал передовой гребец. – Виша, матушка Виша. Она у нас и в межень бойка, сердечная, а теперь, гляди, словно море!

– Вот уж я так не сказал бы, пра, не сказал бы! И чего? Только господ в сумление вводить!

– А ты тогда говори, как проедем, – заметил с упреком второй гребец и немедленно прибавил: – Тут и в межень так с ботинком ину пору нечего делать: большие лодки опрокидывает! Намедни мужичок Окой проехал – ничего, а съехал в матушку Вишу – и прощай мука!

– Подмочил всю, – шутливо прибавил передовой гребец.

– Перво подмочил, а потом и совсем утопил, да и сам-от с кулем ко дну пошел, – докончил его товарищ.

– А то намедни, – прибавил третий гребец, отличавшийся каким-то мягким, вкрадчивым голосом и употреблявший большую часть слов в уменьшительном виде, может быть вследствие мысли, что с господами нельзя говорить как с своим братом мужиком, – так двое: поехали рыбки половить; выехали на самый стержень – да так маненечко и заснули, а ботничек и перевернуло! Пошли ко дну раков ловить! А и ветру, почитай, не было: так, видно, струичка набежала. Я тут недалече тож рыбку ловил: вижу, ботник их неладно идет, всё вертится, словно никто им не правит; мне бы скричать, да сами, чай, видят, думаю; неужли заснули? – думаю, а ботник-от как вдруг перевернет! Тут уж я смекнул: никак, робятки и впрямь заснули? Поскорей к ним и веревочку было припас, да не сделаешь? Один; опять же ночь...

– Поделом дуракам! – сказал Грачов, сильно вознегодовав при мысли о такой непостижимой беспечности. – Нашли место спать!

– Власть божия! – произнес в размышлении рассказчик.

– Никто как бог! – прибавили другие мужики.

Подобных рассказов много довелось услышать нашим приятелям. Там семеро баб уселось в один плохой ботничешко, каждая с двухдневным запасом хлеба, – они отправлялись на барщину на горы, – и «господь знает как» перевернулись; известно, бабы. Там мужик весельце позабыл захватить; доеду, говорит, чай, и с колочком: смерть не хоцца домой ворочаться; поехал – и не доехал! У того ботничешко был худенький, словно решето, да думал – ничего: отольюсь, господь

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не пронесет! Ан не пронесет! Несправедливо было бы утверждать, что главную роль во всех подобных случаях играет беспечность. Как облило кругом да нечего перекусить, так поедешь и на дырвом ботнике. А бывает и то: пришли семеро к берегу, а ботник, глянь, всего один и не то чтобы ражий; вряд ли семерых поднимет, – где, чай, поднять! – не подымет! А дело вкруте, не стоять же у берегу, склавши руки! И так уж спозднились – чай, ждут! Сел один, другой, третий. «А мы-то как же, братцы? Уж ехать так ехать коли всем» – «Бог милостив! Бог милостив!» И поехали. И ведь, случается, проедут благополучно. Проехали сегодня – поедут и завтра. Из таких-то и им подобных элементов образуется то, что известно под общим именем «изумительной беспечности мужика».

По моему мнению, если уж дело зашло о беспечности, то ничего не могло быть беспечнее настоящего поведения наших приятелей, которым ничто не мешало воротиться и переждать разлив в ближайшем городе. Они и сами начинали так думать, напуганные рассказами мужиков и действительными опасностями плавания. Но теперь ворочаться было уже поздно. Да и надо признаться: если мужики были мастера пугать, то они также мастера были разрушать страх, минуя благополучно всё трудное и опасное в плавании.

Кто из тех, кому случалось в положении, подобном теперешнему положению наших приятелей, доверять свою особу русскому мужику, не сознается, что особа его была сбережена и доставлена, куда следует, если не самым безопаснейшим, то самым кратчайшим путем и притом в совершенной целостности? Случилось, что какая-то овдовевшая барыня, отправляясь, по смерти мужа своего, петербургского лекаря, на жительство в деревню в огромной шестиместной карете, нагруженной детьми, гувернантками и нянюшками и собачонками, доехав благополучно до Вязников, встретила совершенную невозможность продолжать путь и добраться до своей усадьбы, лежавшей верст пятьдесят в сторону – где именно, не знала и сама владелица.

Около почтовой гостиницы, где остановилась барыня, собрались ямщики со всего города и пригородной слободы; судили, рядили, спорили о том, в которой стороне Коромыслово? На какие села и деревни должно ехать, чтоб попасть в Коромыслово? И можно ли добраться теперь до Коромыслова, так как там места низкие и разлив еще в полном развале (барыня ехала в одну пору с нашими приятелями)?

Наконец решили, что проехать туда невозможно, и все наотрез отказались. Но выискался один, который объявил, что он Коромыслово знает, что он возил туда в 1829 году какого-то барина, который пробыл там два дня, сменил старосту и уехал (барыня вспомнила, что муж ее действительно в этом году ездил в имение); в заключение ямщик объявил, что берется доставить барыню в Коромыслово, если ему хорошо заплатят.

Хозяин гостиницы и все остальные ямщики утверждали, что не довезет, а он всё стоял на своем. Горькая вдова, лишившаяся супруга, судя по совершенной еще чистоте ее траурного платья, не больше месяца, думала, думала, что ей делать – оставаться ли на целые три недели в городе или предаться на волю судьбы, – и наконец решила ехать.

Ямщик взял славную плату, но действительно сдержал обещание, только ему пришлось работать дорогого едва ли не более, чем шести его лошадям; он переносил поодиночке членов семейства через каждое болото, которое встречалось на пути, шествуя со своей ношей иногда по пояс в воде и делая таким образом при каждой переправе по пяти концов взад и вперед, а надо сказать, что некоторые концы были иногда не менее полуверсты.

Мальчишка, правивший уносными лошадьми, мало облегчал его труды, а скоро и совсем сделался ему бесполезен, потому что барыня перестала доверять ему даже своих собачонок, после того как этот малорослый трусишка, забравшись на середину глубокого болота, так что вода подступила ему под мышки, разревелся благим матом, не смея ступить ни взад ни вперед, и выпустил из рук любимую барыню собачонку, крича во всю глотку: «Дядя Никита, тону! дядюшка! помоги... тону! тону! батюшки!» При этом зрелище отчаяние генеральши и всех остальных членов семейства выразилось раздирающими криками, соединенными с проклятиями ямщику и глупому мальчишке. Гувернантки, нянюшки, все члены семейства, малые и большие, частью уже перенесенные на другой берег, частью еще ожидавшие своей очереди у экипажей, составляя две отчаянные и живописные группы, простирали руки к погибающей фанни, маня ее к себе и призывая нежнейшими именами: «фанни, фанни, фанничка, фанни!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Сюда, Фанни! Сюда, голубушка!»

Этот концерт, составленный из детских и старческих, пискливых и грубых голосов, был такого свойства, что лошади, стоявшие на берегу, испустили громкое ржание и довольно решительно двинули экипаж. Но, к счастью, ямщик остановил их, закричав с середины болота, где он стоял по пояс в воде, держа над головой семилетнюю дочь путешественницы: «Куды, черти проклятые!.. тпрррр!..»

После этого крика лошади остановились как вкопанные и ямщик продолжал свой путь, – но... о, верх несчастий! толстая собачонка, сбитая с толку призывными криками с двух противоположных берегов, между тем чуть не утонула, бросаясь то в ту, то в другую сторону и не решаясь, куда пристать. Крики отчаяния усилились. Ямщик и тут поспел на выручку; поставив барышню на берег, он бросился в лужу и вытащил собачонку, прикрикнув мимоходом на своего фалетуря: «У, мозгляк! иди у меня, а то я те...» И мальчишка понял. Эта сцена по своему величию и оригинальной обстановке стоила бы алмазного пера самого господина Евгения Сю, напоминая мужественного Дагобера, когда неустрашимый воин выносит на руках своих из разверстой бездны трепещущих Розу и Бланку, из какой-нибудь бездны, выкопанной под ногами сироток хитрыми иезуитами.

Перетаскав на другой берег всё население кареты, ямщик, весь мокрый, сел на козлы, нещадно понукая лошадей, и кое-как переправлял экипаж.

Таким образом он ехал эти пятьдесят верст трои сутки, не просыхая ни на минуту в течение их и делая каждый день по крайней мере пятнадцать верст пешком по болоту с более или менее тяжелой ношей.

Читатель! Если французский Дагобер умилял твое чувствительное сердце своею храбростью и неутомимостью, не будь несправедлив и к русскому. Впрочем, я еще не досказал развязки, которую сам слышал, проживая в то время в Вязниках в почтовой гостинице, и которую потому мне непременно хочется рассказать.

Совершив свой поистине дагоберовский подвиг, ямщик воротился в город, вовсе не рассказывал о понесенных им трудах и даже неохотно отвечал, когда его спрашивали: «Ну что, довез?»

- А то не довезть, что ли?
- Велик разлив?
- Мал ли разлив.
- Как же ты с каретой?
- А что?
- Чай, вязнет?
- Чего вязнуть пустой?
- Пустой? А господа как?
- Чаво?
- В руках, что ль, переносил господ?
- А то как же?
- Чай, тяжело?
- Чаво?
- Нелегко, чай. Вишь, их артель какая была!
- Мала ли артель.
- Поди, намаялся?

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов Ямщик не отвечал.

– Много на водку дала?

Тоже молчание.

И только выпавшись и съев потом два обеда разом, состоявшие из щей с говядиной, каши и ситника с медом, Никита покинул вопросительную форму, в которую обыкновенно облекал свои ответы и с которою редко расставался, – и удовлетворил любопытству своих товарищей следующим дополнением: «Оно бы всё ничего – и дети и мамзели – всё такая жидень, что и говорить не стоит, – что с пером идешь! Да кабы не сама... ну, сама грузна, не приведи бог! Одинова как зашел я с ней посередь болота, а болото долгое, да топь такая, ногу так и сосет, – куда сила девалась! рученьки ломит, коленки подгибаются, ну, думаю, барынька! будет у те крику ужо, как, не приведи бог, опущу... И чуть вот одна минуточка еще – не вынести бы, прощай бы, барыня, – опустил бы на самую что ни есть глубь, точь-в-точь как постреленок Гаврюшка, что со мной фалетуром был, – испугался да как бросит барынину собачку... крик такой поднялся... и, господи упаси! Одначе понатужился и ничего, вынес, только уж так маненечко не дошел: да думал – сухо, в сапогах не слышать, – спустил, а она, вишь, башмак обмочила, как примется бранить... „Да что ж ты стал, – говорит, – не идешь за мамзель Ракуреи да за фанничкой?“ А мне уж не до фаннички, как пустил-то я ее – стою, а меня так вот и шатает и шатает. Смерть отдохнуть хочется, да, видишь, торопит: „Ну, скорей, – говорит, – надо засветло к ночлегу поспеть...“ И пошел».

– Вишь, они думают, что руки у нас железные, – заметил один из его слушателей.

– Руки-то у нас не железные, да денежки-то у них серебряные, – прибавил другой.

– А много на водку дала? – спросил третий.

– Мало ли, голова? – отвечал Никита, возвращаясь быстро к своей вопросительной форме и, следовательно, к угрюмому расположению духа (что не делалось у него одно без другого), – мало ли, целый пятиалтынный!

Затем водворилось молчание, и собеседники, потянув на плечи свои полушубки, понемногу разбрелись от ворот почтовой гостиницы, где происходил разговор.

Между тем приятели наши подвигались вперед. Они благополучно миновали Вишу и опять поплыли по разливу, затопившему поля и луга; потом они въехали снова в кусты и поехали кустами.

– А как минем кусты, останется только перевалить озеро, а уж там и дома! – говорили гребцы, успокаивая их нетерпение.

К вечеру совершенно стихло, и предполагаемой опасности при переправе через озеро теперь уже нечего было бояться. Пробираясь кустами, они вдруг услышали мерный и резкий звук топора; звук всё слышался ближе, и скоро приятели наши увидели мужичка, который сидел на крыше небольшой избушки, до половины погруженной в воду, и что-то приколачивал топором; к дверям избы привязан был ботник, в котором сидела девочка лет девяти; вокруг избы стояли ульи, выказывая из воды только верхушки свои; небольшое пространство, занимаемое избушкой и ульями, было очищено от кустарника и, по-видимому, обнесено забором, которого только некоторые тычинки торчали из воды. Таким образом, круг, обозначенный этими тычинками, представлял гладкую, окрашенную теперь лучами заходящего солнца в яркий пурпур поверхность озера, среди которого живописно разбросаны были избушка с работающим на крыше стариком, десятка два ульев, которых тупые и широкие верхушки темными пятнами отражались на воде, наконец, ботник с девочкой, которая с приближением путешественников широко раскрыла свои большие и робкие глаза, неподвижно устремив их в несколько бледноватое, но всегда величавое лицо Грачова, – картина была столько же привлекательная, сколько и оригинальная.

– Что ты тут подельываешь, старичок? – спросил Грачов.

Старик посмотрел вниз и обнажил свою седую голову.

– А крышу чиню; вишь, избенку всю расшатало, того гляди – по бревну растащит.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Ты живешь, что ли, тут?

– Коли теперь жить, а так, наезжаю – всё надо присмотреть, как бы чего не унесло.

– Где ж ты живешь?

– А покуда живу у добрых людей, там, – старик указал вправо. – У них место повыше, так вот к ним и сбился народ, в каждом доме, почитай, семей по три живет, да что станешь делать! А ваша милость куда?

– В Грачово, – сказал передовой гребец.

– Грачово всё облило, – сказал старик, – да так, что и жить нельзя, – народ весь перебрался в Боровичи.

– Да нам в барский дом, – сказал надменно Грачов. – Барский дом стоит на горе, и его никогда не потопляет.

– А не знай, – отвечал мужик. – Прошлый год точно не потопляло, а нынешний я в тех местах не бывал, не приходилось; вот в Софонове так доподлинно знаю: всё облило, а барский дом не тронуло – сух стоит! Вишь, нынешний год вода какая! Вот моя-то избушка на пригорочке стоит – всё кругом обольет, бывало, а ее не хватит, всегда сухая стоит, а вот ноне что сделал господь! Вода выгнала нас – живи, где хошь, пока не сольет!

– А дичь есть у вас? – спросил Грачов, не пропускавший ни одного случая осведомиться о предстоящей охоте.

– Уток много летает, – отвечал мужик. – А вот тут неподалеку маленькая горка есть, ее водой не хватило, так тут столько набивается белых тетерок, что я намедни испугался, как они разом спорхнули.

– Слышишь, слышишь! – радостно сказал Тростника у Грачов. – Должно быть, белые куропатки!

– Вот будет хорошо, – сказал вместо ответа Тростников, – как твой дом тоже облило. Приятная ночь нам предстоит. Да и вообще: что мы будем делать тогда?

– Не может быть! – отвечал Грачов.

– Да отчего же не может быть? Ты разве бывал там?

– Уж я знаю! – отвечал Грачов.

– Что ты знаешь о своем имении? Столько же, сколько и я! – возразил с жаром Тростников. – Ты больше зияешь о Париже, чем о своем Грачове.

И они, по обыкновению, заспорили под такт мерных ударов топора, который тотчас опять принялся постукивать, как только ботники тронулись.

Кто-нибудь заметит, что ничего не сказано о девочке, сидевшей в привязанном ботнике; о ней нечего сказать; всё время разговора наших друзей с мужиком она не спускала любопытных глаз с Раппо, которого крутая и толстая шея ярко блестела в белом серебряном ошейнике, щедро облитом солнечными лучами. Не без сожаления проводив собаку глазами, девочка сказала:

– Вишь ты, собака... черная да толстая... и ошейник белый, так и горит.

– Известно, барская, – отвечал ей отец с своего возвышения.

Последние часы путешествия наших приятелей были исполнены какой-то торжественной мрачности. Повздорив, они оба погрузились в упорное молчание. Может быть, печальные предчувствия томили их. Гребцы, видя угрюмость господ, также хранили молчание. Солнце село, когда друзья почувствовали под собой колыхание, напомнившее им, что они, должно быть, проезжают озеро!

Последняя преграда, стоявшая между ними и целью их путешествия, наконец пройдена

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– и что же они увидели?

Сначала они увидели бедные и жалкие признаки деревни, покинутой своими жителями и стоявшей так глубоко в воде, что над водой торчали одни соломенные крыши изб. Признака живого существа не примечалось ни в самой деревне, через которую друзья наши проехали в своих ботниках, ни кругом: всё было пусто, мертво, и даже грач не хотел вить гнезда в здешних деревьях, которых обнаженные ветви, нагнувшись, купались в воде.

– Эвона! вишь, куда – по самые окнахватила вода, – сказал передовой гребец. – И впрямь тут жить нельзя. В прежние годы так много, что под пол подойдет, а иные избы и вовсе не хватит, ну и пробьются как-нибудь месяц... А ныне вот все разбежались, да и как жить? Глядь: весло всё уходит!

И он попробовал веслом и удостоверился, что среди самой деревни нельзя достать веслом дна.

– Ну, коли так, – прибавил он, – так не диво, что и барский дом потопило! Оно, конечно, место повыше, да, вишь, дна нет!

И он опять ткнул веслом в воду.

– Полно врать, дурак, не может быть! – грубо сказал Грачов.

– Да вот сейчас, только лесок обогнем, и видно будет, – не обидясь, отвечал гребец.

Обогнули лесок и увидели барские службы и барский дом, правда не так глубоко стоявший в воде, как деревня (два этажа его, отлично выбеленные, резко рисовались на синеватом водяном фоне), но уже и теперь, при не совершенно погасшей вечерней заре, не оставалось сомнения, что дом плотно окружен водой. Подъехали ближе – вода; померяли веслом – глубина еще довольно велика, около полутора аршина.

– Ступай дальше! Поехали, весла начали уже задевать землю, но всё еще ботники свободно шли. И так друзья наши добрались вплоть до самого дома. Но хоть он действительно занимал самую высокую точку местности, однако ж под самым домом вода стояла на пол-аршина с лишком.

То же безмолвие, то же отсутствие жизни, как и в деревне, царствовало кругом.

Грачов приуныл и не смел взглянуть на своего приятеля. Он ожидал страшных проклятий, насмешек и упреков, но оказалось, что Тростников был великодушнее, чем думал Грачов.

– Славный дом! – сказал он, умеренно и украдкой наслаждаясь замешательством приятеля. – И не будь проклятого разлива, мы бы отлично в нем зажили!

– Еще бы! Я говорил! – воскликнул Грачев с прежней самоуверенностью, но вдруг опомнился и продолжал тоскливо: – Где же Рюкин? Что он нас не встречает? Ведь я писал ему. Эй, кто тут есть!

И много раз повторен был этот крик, и не одним Грачевым, гребцы также усердно помогали ему, но никакого ответа не было.

Грачов пришел в страшное негодование против своего управляющего.

– Прошу покорно! – говорил он. – Бросить барский дом без всякого присмотра, уехать, когда я писал, что буду! Каков?.. Это удивительно, до какого они доходят самоуправства. Я... я...

– Ты лучше всего сделаешь, – перебил его Тростников, – если успокоишься и рассудишь хладнокровно: Рюкин твой не так виноват, как кажется. Что он бросил дом без присмотра – это еще не преступление; здесь, кажется, вода лучший сторож, по крайней мере весной; а что он убрался отсюда сам, так, по-моему, он ничего не мог сделать благоразумнее: не умирать же ему было здесь с голоду! И мы отлично сделаем, если последуем его примеру, и как можно скорее, потому что уж ночь, а нам надо же где-нибудь приютиться, чтобы отдохнуть и поесть...

– Что ж мы будем делать? – говорил в отчаянии Грачов. – Я ничего не знаю! Неужели не получил он моих писем? И где мои обозы? Там найдется что и поесть и выпить. Я накупил всего соленого, копченого, маринованного, что только не портится летом... Какие там чудесные маринованные омары, сардинки, анчоусы... всякая дичь, герметически закупоренная в жестянки, чудо, пальчики оближешь! А вина? Я скупил весь годовой запас Рауля. И мне самому ужасно захотелось есть... Неужели они до сей поры не пришли? Я послал сюда четыре обоза, – продолжал он с непритворной горестию, обращаясь к гребцам. – Послал уже три недели тому назад, неужели они не успели прийти? Или они пропали? Не правда ли, Тростников, после всех наших несчастий приятно было бы теперь поесть маринованных омаров и выпить бутылочку редереру?

– Я бы желал лучше чаю, – сказал Тростников.

– Там и чаю полпуда куплено – лучший сорт, – сказал уныло Грачов. – Я хотел, чтоб у нас в деревне ни в чем не было недостатка. А вот теперь...

– Намедни, – сказал один гребец, – наш парень возил сюда какого-то, в Софонове, байт, оставил его, тот сказывал: издалуче, говорит, еду...

– Видел его кто-нибудь? – спросил Грачов.

– Такой рябоватенький, – прибавил другой гребец, – невелик ростом, с собачкой...

– Собака пестрая, Трезор, с коричневыми крапинками?

– Пестрая.

– Ну он и есть! Это Василий! – воскликнул Грачов. – Он прежде всех отправился с вещами. У него вся провизия. Где же он? И отчего он пешком?

– Да, вишь, вода не перепустила.

– Так, значит, он всё бросил где-нибудь? – воскликнул с ужасом Грачов. – Вот тебе и омары... вот тебе и дичь, герметически закупоренная!.. Несчастный Тростников... Я... я ничего! Мне поделом! Самого черти подбили ехать сюда, ну и терпи! А ты чем виноват?

– Полно отчаиваться! – сказал Тростников. – Не ты ли говорил, что жизнь, исполненная трудов, приключений и опасностей, жизнь охотника – твоя сфера. И вот при первом...

– Так ты думаешь, я отчаиваюсь? – с жаром перебил Грачов, и ссора готова была вспыхнуть, но неожиданное обстоятельство остановило ее.

В жару разговора ни гребцы, ни приятели наши не заметили, как из ближайшего флигеля, черневшего в расстоянии двадцати шагов от барского дома, выступила какая-то фигура. Фигура эта смело пошла по воде, остановилась шагах в двух от ботников и низко поклонилась. И так во все продолжение разговора наших друзей она продолжала низко кланяться, стоя по пояс в воде со сложенными на груди руками, и, по-видимому, терпеливо ожидала, пока до нее дойдет очередь говорить. Наконец один из гребцов заметил ее и указал на нее Тростникову.

– Ба, да тут есть живое существо! – воскликнул он. – Посмотри, Грачов, кажется, женщина!

Они посмотрели, причем фигура начала повторять свой низкие поклоны.

– Женщина, точно, женщина! – воскликнул Грачов. – Эй, ты кто такая? Подойди сюда!

Фигура не двигалась вперед, но Грачову показалось, что она дрожит.

– Да что ж ты стоишь в воде! – сердито закричал Грачов. – Простудишься... Сядь в ботник да расскажи нам: ты здешняя?.. Куда девался Рюмкин? Что же, садись скорей!

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Ничего, та я и постою... – проговорила старуха взволнованным и дрожащим голосом.

– Садись! Посадите ее, ребята!

Но она никак не хотела сесть и только мочила подбородок в воде, поминутно кланяясь.

– Да ты кто такая? – спросил раздосадованный Грачев. – К моему имению, что ли, принадлежишь?

– Та как же? Ваша.

– Ну так приказываю тебе садиться! – сказал Грачев с таким комически-повелительным видом, что Тростников невольно рассмеялся. – Я твой барин!

При этом известии женщина испустила глухое мычание, в котором слышался не один испуг, но, казалось, а дикая радость, однако ж она не только не поспешила исполнить приказание своего барина, напротив, с невероятной быстротой прыгнула в сторону – и, став по возможности в безопасную позицию, принялась отпускать исступленные поклоны. Окунув несколько раз не только подбородок, но и всё лицо в воде, она стремительно кинулась к флигелю, производя страшное шлепанье, и закричала: «Дедушка! Дедушка! поди сюда, та ты не поведать; та что я тебе скажу! Сам барин приехал, барин!»

Старуха исчезла уже в дверях флигеля, а крики: «Дедушка! дедушка! барин!» – раздавались всё громче в громче.

– Держи к флигелю, – сказал Грачев.

Во флигеле показался огонек; дверь отворилась, и передний ботник с господами уперся носом в порог.

Странное зрелище представилось нашим приятелям.

При тусклом огоньке они увидели внутренность простой русской избы, с огромной печью, полатями и скамейками. Вплоть до самых скамеек в избе стояла вода; между порогом и противоположной ему скамейкой положена была доска, доставлявшая возможность попасть в избу сухим путем; вероятно, такое же сообщение устроено было вплоть до самой печи, откуда светился огонек и слышался шепот, смешанный с побрякиванием. Наконец послышалось явственно: «Господи Иисусе!» – потом громкое кряхтенье; старик медленно и тяжело спускался с печи. Долго «в был невидим; наконец сгорбленная фигура его с лучиной в руке показалась в глубине избы на скамье. Он тут отдохнул, поправил лучину и побряхтел.

Затем, придерживаясь одной рукой за стену, он добрался по скамье до доски, ведущей к порогу, и тихо-тихо начал двигаться по ней к нашим приятелям, держа лучину перед собою и позволяя им хорошо рассмотреть лицо свое, носившее признаки глубокой-глубокой старости. Старик был некогда высокого роста, но так страшно со» гнут, что стаи его держался почти перпендикулярно к доске, по которой он двигался и которая дрожала под ним, грозя каждую минуту подломиться; череп его был совершенно голый, и кругом его шел ободочек совершенно белых и слабых волос, столь правильный, что он казался бахромой, пришитой к голому черепу; глаза, лишенные ресниц, столь глубоко ввалились, что рассмотреть ни цвета, ни выражения их не было возможности; на нем были обрывки овчинного полушубка и синяя рубаха с расстегнутым воротом, не закрывавшая сильно ввалившейся груди, с резко обозначенными костями и мускулами; ноги были босы, и приподнявшиеся синие портки болтались на них, как на палках, при медленных движениях старика.

– Не ходи, старик, оставайся там, – сказал Грачев. – Всё равно, а то упадешь еще!

– Ничего, батюшка, дой-ду! – пробормотал старик, и его длинное, с явным трудом произнесенное «дой-ду!» глухо отозвалось в сердцах наших приятелей: как будто они сошли в могильный склеп и голос, отвечавший им, не принадлежал живому существу.

– Ох, устал! – проговорил старик, собираясь с духом. – Аль дошел? – сказал он,  
Страница 216



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
останавливаясь вплоть перед Грачевым, который поддержал его. – Не вижу... ох,  
плохо вижу! Еще как днем – ничего! А то вот от огня-то отвык – чай, уж с неделю  
не зажигали... А вот я пообгляжусь...

Старик говорил медленно и беспрестанно отдыхал, иногда на полуслове, как будто у него вдруг не хватало дыхания.

– Скажи, пожалуйста, старик, – сказал Грачов, – куда девался Рюмкин?

– Кто? Ефим-от Евсеич?

– Да. Я писал к нему, что буду сюда, приказывал всё приготовить, приезжаю – и его нет даже самого!

– Уехал, батюшка, уехал в город, ради твоей же милости: лодку доставать; думал, в ботнике, чай, не поедешь; да и человек твой пришел, вишь, пожитки, что ли, в городу оставил, – так за пожитками поехали. Вот теперь маненечко вижу, – сказал старик после долгой паузы, переменяв лучину (у него был запас их под мышкой), и, подняв ее к лицу Грачова, пристально всматривался в него. – Вижу, вижу, – бормотал он, и едва приметная улыбка бродила на его ввалившихся губах. – Ох, устал!

И старик вдруг сел на доску и, спустив ноги в воду, тихо побрякивал, держа перед собой горящую лучину.

– И давно уехал Евсеич? – спросил Грачов.

– Да уж дней пять. Не знай, что долго нет. Видно, Ока задержала – всё, видишь, ветрено; поди, как бурлит теперь...

– Да у вас разлив, нечего сказать, удивляюсь, как вы и жить тут можете?

– А живем, – отвечал старик.

– И печки топить, кажется, нельзя, – заметил Тростников, разглядывая избу.

– Нельзя, батюшка, никак нельзя.

– Что ж вы едите?

– А испекли хлеба, пока можно было, вот и жуем. Мы и всё так, испечем побольше враз – да и полно, пока всего не сгложем, а то где часто печку топить? Оборони бог – барские хоромы спалить!

– Однако ж с твоими зубами глодать черствый хлеб, я думаю, не очень удобно?

– А ничего-с. Я привык. Бывает, Евсеич-от иной раз По господским делам на неделю либо ден на десять уедет; Матренушка тоже уйдет – милостинки попросить: дело сиротское! Уйдут, а хлеба оставят, спасибо; не забывают, нет, не забывают, спасибо, всегда оставят.

– И ты не боишься оставаться по целой неделе один?

– А чего мне бояться, – отвечал старик. – Лежу себе на печи да корочку-то и грызу и грызу, так день за днем, день за днем...

– А кто такая Матренушка живет с <тобой>? Не она ли нас встретила? – спросил Грачов. – Да вот и спряталась. Мы от нее слова не могли добиться.

– А сенная, родной, сенная... у твоей матушки служила! Барыня ее с собой с своей стороны привезла... А как барыня умерла – царство небесное! – все люди разбрелись, кто куда, по оброку, – барин уехал да и не бывал уж сюда, а она и осталась тут с той поры... Ей куда идти? До своей стороны далече, да и там у ней, слышь, никого близких сродников нет, вот и живет...

– Мать моя была полька, – пояснил Грачов Тростникову, – и умерла в молодых летах, вскоре после моего рождения.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Да, да, бобылка, безродная, – бормотал старик, – словно как и я; вот при барском дворе и живет, – щец нам сварит либо каши когда, хлебы поставит... Ну и живет.

– Да чего ж она нас испугалась? Мы не звери! – сказал Грачов.

– А кто ее знает? Знамо, дело девичье!

– Так она девица? И молода?

– А не стара еще, – отвечал старик. – Молодая.

– А каких лет, однако ж? – спросил Тростников.

– А чай не боле как ей лет шестьдесят будет!

Прятели переглянулись с невольной улыбкой, и Тростников молча показал Грачову дряблое, сморщенное лицо, украдкой выглядывавшее на них из-за печки. Старушка имела, впрочем, добрые, привлекательные черты, озаренные теперь невыразимым умилением.

– А ты, старик, давно при барском дворе живешь? – спросил Грачов.

– Давно, – отвечал старик. – Не знать, как давно. Да с той самой поры, как внук помер. А то я со внуком жил!

– А давно внук помер?

– Да уж годов пятьдесят будет. Давно! Поди, и косточки сгнили, а я вот всё живу! Были и сыновья, и внуки, и жена была – всё господь прибрал! – задумчиво прибавил старик.

– А давно жена померла?

– А годов сто с лишним, чай, будет, – отвечал старик.

Прятели наши пришли в неописанное изумление и, естественно, предложили старику вопрос: сколько же, наконец, лет ему самому? Оказалось, что старику сто сорок лет. Осененные долгим и печальным размышлением, которое неизбежно овладевает каждым, на чью голову, как гром, неожиданно падает подобное известие, приятели наши с четверть часа простояли молча, упражняя свое зрение в тщательном созерцании голого черепа, впалой груди и болтавшихся в воде ног старика.

Казалось, самое время в образе его находилось теперь перед ними, и при трепетном свете лучины Тростников уже читал на изрытом морщинами челе старика многозначительное слово: «Вопрошай!»

Однако ж он не вдавался ни в какие вопросы, может быть отложив их до другого времени, и только вздохнул, а Грачов сказал:

– Сто сорок лет! Недаром шестидесятилетняя девка кажется ему молоденькой. Я и не знал, что в моем имении водятся такие редкости! Вот не говорил ли я, что у нас воздух целительный: такая долговечность, шутка ли?..

– Нечего рассуждать о долговечности, а вот думай-ка в том, как мы ночь проведем! – таким грозным восклицанием осадил Тростников своего приятеля, заметив, что он начинает седлать своего любимого конька.

Стали думать и решили, что лучшее а даже единственное средство ехать в Софоново, где, как известно, имеется барский дом, не облитый водою и не занятый никакими жильцами, так как владелец его проживал в городе. Грачов решил наутро же писать к этому помещику и просить у него дозволения пожить в его доме, пока вода не покинет его собственных владений, И так, простившись со стариком, который ползл на печь «грызть свой хлебец», по его собственному выражению, и послав заочное «прощай» доброй молоднице, которой застенчивость простиралась до такой степени, что она так и не решилась показаться, путешественники снова двинулись в путь. Они плыли около часа среди глубокой темноты, решительно не позволявшей производить никаких наблюдений, и наконец ступили на твердую землю.

В доме господина <Стычинского>, владельца Сафонова, нашли они кой-какие постели и, напившись чаю, погрузились в глубокий сон.

#### Глава VII

Благословенный оазис, уцелевший среди всеобщего наводнения, представлял песчаную бугристую возвышенность, местами покрытую еловым строевым лесом, местами поросшую тощей травой, выжженной еще прошлым солнцем и дожигаемой нынешним; ни малейших признаков свежей растительности, хотя – напоминаем читателям – май уже подходил к половине, здесь еще не усматривалось: песок и сосна, сосна и песок! а далее вода, вода и вода – вот всё, что представилось путешественникам, когда они поутру вышли осмотреть местность. Бугор тянулся в длину довольно далеко, понижаясь постепенно и теряясь с одной стороны в бесконечных болотах, с другой – в разливе, к которому лицом стоял барский дом.

В ширину бугор имел около полуторы версты, и передняя часть его, покрытая строевым лесом, который образовывал почти правильный полукруг перед барским домом, круто понижаясь, уходила в воды разлива, простиравшегося сплошной массой до противоположного высокого берега Оки, который господствовал над всею окрестностью. Среди леса, который, так же как и всё здесь, терялся в воде, были места широкие просеки, и срубленные деревья лежали тут же, сложенные высокими грудками. С помощью одной из просек, дававших простор зрению, можно было усмотреть в версте от барского дома жалкие признаки деревни, затопленной разливом.

Эта деревня была Софоново, покинутая в настоящее время, как и другие, своими жителями, которые разбили лагерь вокруг барского дома, перегнав сюда весь свой скот и перетащив скудные пожитки.

Сюда же, на этот бугор, удалились собственные крестьяне Грачова со всем своим скотом и имуществом, так как деревню Грачово тоже облило.

Таким образом лагерь был довольно обширен и, расположенный по скату бугра, до самого разлива, представлял пестрое и оживленное зрелище. В небольших загородах, наскоро устроенных, помещался скот всякого рода – коровы, лошади, овцы; одни свиньи, неизвестно почему, пользовались свободой, расхаживая где попало и везде суя свое нечистое рыло; тут же в промежутках загород находились временные жилища самих поселян, – то были островерхие шалаши, сложенные из жердей и кое-как покрытые соломой.

По берегу разлива разложены были огоньки, и бабы сутились около них, варя скудную пищу. Некоторые крестьяне и бабы бродили с бреднем по разливу по пояс в воде и, наловив несколько рыбы, тут же опускали ее в котелок и варили уху. Ребятишки, по обыкновению, с криками сновали взад и вперед, довольные и счастливые, словно был большой праздник, – они дрались, бегали и купались целыми стаями, разом бросаясь в воду, изумительно плавая и ныряя, подобно проворным гагарятам, или затевая игры, которые кончались настоящим морским сражением; побежденные с ревом выскакивали на берег, держа руку у подбитого глаза, и, торопливо надевая рубашонку, посылали крупную брань товарищам, брызгавшим их из воды. Они кидали в них грязью, а те плескались водой.

Когда приятели наши вышли из дому, почти вся движущаяся часть лагеря находилась у разлива, разбившись на небольшие группы или занимаясь своим делом в одиночку, под теплыми лучами весеннего солнышка, которое в то утро приветно и ласково поглядывало с голубого безоблачного неба. Кто чинил старую рубаху, кто варил Кашицу, кто клепал косу, кто гнул ободья, кто укачивал ребенка – всё решительно было занято. У шалашей оставались только лишние уже силы двигаться старики, старухи да увечные. Мычание скота, крик ребятишек, плач младенцев, наконец, стук, производимый разными сельскими поделками, дополняли картину, которая издали имела вид цыганского табора в большом размере; но только издали, потому что отличительная черта цыганского табора – общее бездействие, а здесь, как уже сказано, всё было погружено в самую кипучую деятельность; даже маленькая шестилетняя Настя, укачивая грудного братишку, упрашивала его поскорей уснуть, – ей некогда: тятя ушел дрова рубить, так надо ему обед нести...

Умиленный этим живописным и оживленным зрелищем, Грачев, постреливая «для практики» на берегу разлива рыболовов и чибисов, заметил своему приятелю:

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Живя в городах, мы приучаемся страшно преувеличивать так называемые лишения сельской жизни. Вот теперь они, казалось бы, находятся в самом незавидном положении – вода выгнала их из домов, а между тем посмотри: нельзя сказать, чтоб они особенно бедствовали; весело видеть, как живо идет их работа под открытым небом, на свежем воздухе! По-моему, природа поступает даже благодетельно, выгоняя их хоть на несколько недель в году из душных и грязных жилищ и заставляя против воли пользоваться чистым воздухом и в то же время обмывая их жилища! Что, неправду я говорю? – прибавил он как бы с некоторым испугом, заметив улыбку, мелькнувшую на губах Тростникова.

– Совершенную правду! – отвечал Тростников. – Я всегда думал, что ты философ, а теперь еще более убедился в этом: философ – и еще какой дальновидный!

– Я не понимаю тебя, чему тут смеяться? Я, кажется, ничего не сказал такого... – возразил с каким-то беспокойством Грачов. – Что ж ты можешь сказать против?..

– Решительно ничего! Ты сказал великую истину, которая и останется истиной – до первого дождливого дня. А когда пойдет дождь, да, чего доброго, зарядит дня на три или на неделю, поднимется буря, и ты увидишь, как ветер разнесет эти жалкие шалаши, и на всех этих людях, от старика до грудного ребенка, не останется сухой нитки, – тогда можно будет произнести другую истину...

– Я не говорил вообще, – возразил Грачов. – Я...

– Однако ж, – перебил его Тростников, – я не вижу причины, почему здешние жители должны терпеть такие неудобства. Положим, жители твоего прекрасного Грачева – им некуда выселиться: всё место одинаково низко и подвержено наводнениям. А софоновцы? Они легко могли бы выселиться сюда.

– Мало им мест? – возразил Грачов. – Да разве их воля?

– Ну, помещику, я думаю, всё равно, тут или там будет его деревня... Эй, мужичок! Ты софоновский?

– Софоновский, – отвечал мужик с седыми выщипанными волосами, гнувший ободья.

Вступив в разговор с ним и некоторыми другими, приятели наши узнали, что прежний барин не только не противился переселению крестьян на «полону», но даже уговаривал переселиться и давал безденежно «леску». Крестьяне не согласились. Отчего? Почти общий ответ крестьян снова привел Тростникова к мысли, которую мы уже высказали, замечая патриархальное почтение крестьян к престарелым деревьям, растущим около деревень.

– Оно конечно! – сказал им высокий курчавый крестьянин, гнувший ободья. – Что говорить! Тут бы и гораздо спокойнее: николи не понимает водой, а у нас иной раз и избенку всю по бревну растащит, да, вишь, тут скучно! – прибавил он протяжно. – Бугор и есть бугор; песок да ельник, – и глаз нечем потешить...

– Уж какое тут место, – прибавила мывшая неподалеку белье баба. – Вот лето придет – ни травинки, ни кустика, словно выгорит все. Робятишки смаются, да и самим уж какое веселье!

– И вода дале, – прибавил флегматически мужик.

– Да что вода! Вода не бог знает как далеко, а как воды столько, что бежать приходится, так, я думаю, хуже, – заметил Тростников.

– Вестимо хуже, да тут, вишь, скучно! – повторил мужик.

– У нас, увидишь вот, – сказала баба, – озеро под самой деревней, а за озером – поля. И так сплошь и идут: поля, поля, поля, а там луга... Так вот словно на ладони: вышел и гляди! А это и глаз нечем потешить, – заметила баба, повторяя выражение мужика.

(«Так беден и разнообразен их словарь, когда дело коснется чего-нибудь выходящего из сферы их ежедневных забот», – подумал Тростников.)

– Наши деревенские поля! – с особенной выразительностью пояснил мужик. – Спокон

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасову отцы наши пахали. А отсель вот и не видать! – прибавил он, поглядев с любовью (как через минуту утверждал Тростников, что вызвало сильный смех Грачова), посмотрев с любовью в ту сторону, где виднелась их затопленная деревня, и затем он принялся гнуть свой обод, согнувшись сам вместе с ним вплоть до земли.

Прятели наши покинули его, горя нетерпением сообщить друг другу свои замечания, вследствие чего скоро возник между ними жаркий спор, подобный всегдашним их спорам: Грачов хохотал, горячился, часто повторял «уж я знаю», «уж ты не говори», а Тростников приводил факты, как понимал их, но они казались Грачеву несколько не убедительными.

– Полно, полно.! – говорил он со смехом. – Какое тут бессознательное поэтическое проявление! Сам ты поэт, так вот и фантазируешь! Что за сила преемства и предания, что за кровная связь между землею и руками, из поколения в поколение обрабатывающими ее... Ха! Ха! Ха!

И он разразился громким хохотом. Надо заметить, что в настоящем споре Грачов почитал себя совершенно и несокрушимо правым, а в таких случаях он был беспощаден к своему противнику, точно так же как в других случаях, заметив, например, что горячность спора завела его слишком далеко, он вдруг пасовал, делался жалок, уничтожался, прибегая к самым бессильным и неловким уверткам, в которых только больше путался и конфузился.

– И какие великолепные фразы! – продолжал он, одушевляясь более и более, – по поводу... по поводу потопления нескольких дрянных избушек...

– Ты начинаешь рассуждать, как готтентот, – резко сказал Тростников.

– Или там расписных палат, что ли? Разумеется, всё равно! – покраснев, быстро поправился Грачов, который, в сущности, был добрый малый и пуще всего боялся свалиться с высоты современных человеческих понятий, до которой добрался долгим и тяжким трудом, не без порядочной ломки над своей тяжеловатой и несколько снобской натурой. – Дело теперь не в том... Но подумал ли, что ты говоришь? Ведь уши вянут! «Крестьянин видит перед собою поля, – начал он высокопарным голосом, должно быть пародируя приятеля, – поля, облитые его потом и кровью, всосавшие в почву свою пот и кровь его дедов и прадедов, – видит и бессознательно любит их и – сам не сознавая почему – испытывает чувство отрады и успокоения, видя их перед собою... это его поэзия!» Ха! Ха! Ха! «Оно – неведомое ему самому – побеждает в нем расчет, мирит его с неудобствами...» и... что еще? Ха! Ха! Ха! Какая тут поэзия! Просто животная привычка, леность, вода дале! – протянул Грачов, передразнивая мужика. – Да вот чего лучше? Хочешь, – прибавил он, – пойдем сейчас к моим грачовским крестьянам, предложим им переселиться сюда: я скажу, что покупаю «полян», и пообещаю лесу безденежно, – увидишь, с радостью согласятся!

Пошли, предложили, но, видно, результат был не совсем по вкусу Грачова, потому что он очень скоро оставил собравшуюся около них толпу преимущественно баб, стариков и ребятишек, говоря своему приятелю:

– Что с бабами да стариками толковать, они уж почти из ума выжили; вот, жаль, нет мужиков здесь (имение Грачово было оброчное, и все мужики ушли на заработки на Волгу, тогда как имение господина <Стычинского> состояло на запашке и всё население его деревни было налицо). Уж я доказал бы тебе! Да тут, право, и доказывать нечего! – прибавил он, усмехнувшись презрительно. – Дело и так ясно как день божий! Я не узнаю тебя. Ты бог знает что такое говоришь! Да если бы тебя послушали наши петербургские приятели... Ведь Ильменев умный человек... ты сам согласишься.

– Конечно, умный, поумней нас с тобой...

– Ну и Горновский и Лодкин... ну вот ежели б им сказать, да они бы расхохотались. И я непременно скажу им, как приедем...

Это был решительный и последний аргумент Грачева, к которому он прибегал в самые критические минуты споров с своим приятелем и которым теперь думал положить его в лоск.

Надо сказать правду, истощив свои особые доказательства, добродушный и пылкий

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Грачев в критические минуты употреблял его в дело не совсем добросовестно, пуская его в ход не только как доказательство, но как некоторого рода угрозу. Но в настоящем случае он торжествовал – грозить ему было не для чего, и он только хотел показать своему приятелю бездну, в которую тот так безрассудно стремится, упорно настаивая на нелепости. Это иногда называется – танцевать над провалившимся приятелем – выражение, уже употребленное мною выше.

К удивлению Грачова, Тростников спокойно сказал:

– Ты прав: они точно расхохотались бы... но что же в том?

– Как что? Как что? – с удивлением, даже с испугом воскликнул Грачев, не допуская возможности идти против таких авторитетов. Названные им общие их приятели были, точно, люди или, вернее сказать, говоруны умные, блистательно образованные и начитанные, и Тростников сам уважал их мнение не менее Грачова, однако ж он остался при своих мыслях о предмете спора, несмотря даже на угрозу Грачова, – так, по крайней мере, можно было заключить из того, что он ни теперь, ни впоследствии не сознался приятелю в своем заблуждении, а он обладал этим достоинством, столь редким в спорщиках и в людях вообще. Спор тем и кончился, но в течение всего дня Грачев возвращался к нему, неутомимо танцуя над своим приятелем, так что Тростников наконец потерял терпение и, может быть, пожалел, что вовсе не потанцевал над грачевским помещиком по поводу благополучного распоряжения природы, промывающей сельские жилища.

– Танцуй! танцуй! – сказал он ему, сдерживая досаду. – Я сам виноват, что заговорил с тобой о том, чего тебе не втолкуешь, хоть сто лет толкуй...

– Я думаю, я в состоянии судить, по крайней мере, в такой нелепости.

– Знаешь, любезный, часто, чем вещь кажется нелепее...

– Тем она блинке к истине? – добавил Грачев. – Уж не думаешь ли ты, что громадность нелепости, которую ты утверждаешь, и есть доказательство истины твоего мнения?

– Именно так я и думал и только не сказал...

– По скромности?

– Конечно.

– Ну, я согласен, – иронически произнес Грачев. – Согласен, согласен...

И он повторял «согласен, согласен» сначала обыкновенным своим голосом, потом с легким припевом,

Тростников ушел, походил с полчаса и, возвращаясь, еще на крыльце услышал нежное и меланхолическое пение: «Согласен, согласен...»

– Ты бы хоть без меня перестал петь, а то грудь надорвешь! – сказал он, входя в комнату,

С великодушием победителя, – что, очевидно, стоило ему величайших усилий, – сдерживая торжественную улыбку, Грачев скромно посмотрел на приятеля и пропел: «Согласен, согласен!» Разбирая свои сундуки и покуривая сигару, он предавался этому невинному занятию до самого вечера и наконец так рассмешил Тростникова, что тот во всё продолжение чаю и ужина не мог видеть без хохота его притворно-смирненную и обиженную физиономию...

Таким образом, первый оседлый день прошел в осмотре местности, в разборке чемоданов и частью в спорах, которых образчик мы привели. Затем вся следующая неделя посвящена была неизбежным хозяйственным хлопотам, о которых мы представим только кратчайшее сведение:

1) Приведены были к окончанию переговоры с управляющим Стычинского, вследствие которых приятели наши допущены пользоваться его домом до личного позволения самого помещика.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

2) Прибывший из Мурома управляющий Ефим Рюмкин спрошен о цели и результате поездки его в город, причем оказалось: а) он купил большую и удобную лодку, на которой и подошел благополучно – по Оке и частью разливом – почти вплоть под самое Грачово; б) отыскал и привез вещи, посланные из Петербурга Грачевым и задержанные разливом в Муроме; в) зашел на почту и получил несколько писем на имя Грачова, из чего догадался, что барин его уже в дороге, почему и поспешил домой; г) дорогой напился мертвецки пьян и в кровь разбил левый висок, каковое несчастье приписывал неумеренному радению о «барском добре», ибо, говорил он, желая уложить как можно удобнее барские вещи, не оставил удобного места для сидения самому и, задремав, свалился с телеги.

3) Осмотрен грачовский барский дом (до которого добрались о помощью ботников, въехав на них почти в самые покои), причем оказалось, что даже и по слитии воды в нем не вдруг можно будет поселиться, так как печи в доме размыло, пол подняло, а кухню всю расшатало. Рамы в доме оказались неимоверной ветхости, ни одна дверь не затворялась, не имея ни замка, ни задвижки (то же, впрочем, было и в доме Стычинского, который заняли путешественники).

4) Отыскана, обласкана и переведена в софоновский дом Матренушка, оказавшаяся большой мастерицей мыть и гладить тонкое белье.

5) Сделано распоряжение о приобретении опытного, неумолимого и хорошо знающего местность мужика, для сопровождения путешественников на охоте, и, наконец:

6) Совершена Грачевым многотрудная поездка в Муром в сопровождении управляющего и повара, результаты которой составят остальные четыре пункта нашего перечня.

7) Произошло свидание с господином Стычинским (к счастью, не уехавшим еще в Петербург), который принял его изумительно вежливо, объявив, что не только месяц, но даже всё лето, и не только одно лето, а хоть каждый год Грачов может жить в его деревенском доме, причем с благородной интонацией в голосе отказался взять предложенную ему Грачовым плату, сказав, что здесь не Петербург: взять деньги за песок и голые (он мог бы еще прибавить – дырявые) стены бог знает в каком захолустье значило бы выстричь наряду с овцами забежавшую на двор собаку (что было совершенно справедливо).

В заключение он дал Грачову письмо к своему приказчику, в котором предписывал последнему не только оказывать Грачову всякое угождение, но даже не сметь ступить шагу без его приказания.

Это было уже слишком, но Стычинский так хотел, и Грачов не противоречил.

8) Так как дом Стычинского уподоблялся его же прекрасной конюшне, в которой зимой замерзла лошадь, а летом утонул козел, то к починке дома приглашено несколько мастеровых и куплены, по указанию их, необходимые материалы.

9) Куплены все необходимые хозяйственные мелочи, которых в доме Стычинского и признаку не было, как будто там люди не варили и не пекли и даже воды не пили, – во всем доме не оказалось ведра (многого необходимого по своей части не нашел в Муроме повар Грачова, о чем будет сказано подробнее), и, наконец, ух! Грачов потом говаривал, что во всю жизнь не сделал столько, как в эти два дни, проведенные в Муроме.

10) Приняты надежные меры к правильному и скорому движению корреспонденции наших друзей, причем случайно открыты следы остальных обозов Грачова: они находились в Гороховце, как показывал почтальон, недавно прибывший с шоссе, и радость Грачова была неописанна, когда, послав в Гороховец Евсеева, он действительно получил свои вещи, доставленные в совершенной целости! Только один ящик с вином неизвестно отчего... расшатало, что ли, в дороге – был вскрыт и в нем недоставало трех бутылок мадеры да нос Евсеева был неестественно красен... но Грачов в радости не заметил ни того, ни другого и подарил еще своему верному управляющему бутылку портвейну.

В тот день не один Евсеев лег спать в не совершенно нормальном состоянии...

Прошло еще несколько дней, и печальных развалин нельзя было узнать: грязь, вонь, лужи дождя, лившего сквозь худой потолок, скрипение ставень, хлопанье рам, сквозной ветер, клопы, тараканы – всё исчезло, уступив место чистоте,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов благообразию и даже изяществу, гнусна по-прежнему осталась только наружность дома.

Таким образом, благодаря своей щедрости и усиленной деятельности, приятели наши с небольшим в неделю устроились весьма удобно и, вздохнув наконец свободно, начали помышлять об охоте, которая составляла главную цель их путешествия...

## Часть II

### Глава II

– Говорят, в селе Холуе, верст сорок за Вязниками, ярманка; не поехать ли нам туда? – сказал Грачов своему приятелю утром 14 мая. – Я никогда не видал сельской ярманки, да и ты тоже, я думаю. Любопытно будет посмотреть. Погода стоит порядочная, и мы доедем шутя. Я полагаю ехать на своих; куда нам торопиться? Дорогой будем охотиться; сегодня доберемся до Вязников; там переночуем, отдохнем, выкормим лошадей и утром отправимся в село Мстеру – двадцать пять верст от Вязников. Мстера, на Клязьме, золотое дно красной дичи, по крайней мере по уверению нашего Жегла, который говорит, что в тамошних болотах проживает сам дупелиный атаман и всё их начальство; таковы эти болота! Мы приноруем так, чтобы попасть в Мстеру тотчас после полудня, и до вечера будем охотиться, а там, смотря по обстоятельствам, или в ту же ночь, или рано утром сделаем остальные двадцать верст до Холуя. В Холуе опять можно будет охотиться, а обратно проедем другим трактом на село Мугреево – это опять другое золотое дно дичи... Все эти подробности и самую мысль путешествия почерпнул я у нашего всезнающего Жегла и предлагаю на твое усмотрение и соображение.

– Чего тут соображать, разумеется, едем! – сказал Тростников.

И поехали. Господа с двумя собачками поместились внутри тарантаса, Ефим на заднем сиденье, Жегол на козлах, притискав между ногами свою кудластую собачонку и приладив за плечами свое нитками связанное ружьишко и походную суму.

Всем этим поездом управлял дюжий и коренастый парень Флегонт, недавно крестьянин деревни Грачева, а ныне господский кучер и отчасти егеря.

Неохотно, даже не без вою, покидал Флегонт родную избу и привычную соху. Он был так угрюм и безнадежно туп, что хоть отступись, но прошло пять дней, и он разом сбросил с себя маску непроходимой глупости и вахлацкой неповоротливости! Откуда взялись и расторопность, и понятливость, и находчивость! Полюбились ему барские щи с говядиной, всегда готовые в известный час, затрапезные беседы с столичным лакейством, а всего пуще расшевелила его в тупом унынии дремавшую душу лихая гармония повара, который вывез ее из столицы и откалывал на ней под вечерок такие фокусные коленцы, каких не отколешь без столичного образования.

Это образование начало очень скоро прививаться к Флегонту, и он даже стал стыдиться своего прежнего быта. Оно не прибавило ему ума, которого маловато отпущено было Флегонту природой, но развило в нем самоуверенность, скептицизм и склонность к иронии.

Надо сказать, что быстрому и счастливому развитию Флегонта помогло его исключительное положение. Он был дворовый и в то же время имел дом, скот, всё заведение крестьянина, быть может, небольшие деньжонки, – и вот почему столичное лакейство скоро сбросило с ним маску высокомерия и надменности, которую оно упорно и справедливо носит перед всякой деревенщиной, лишенной образования.

И повар и лакеи, что называется, дневали и ночевали в деревне, в доме Флегонта, куда собирался цвет местного прекрасного пола и где время проходило необыкновенно весело, благодаря близости питейного дома, гармонике повара, хорошо составленному компанству и дознанной снисходительности господ.

Таким образом Флегонт легко и скоро прошел ту дорогу, которая для многих усеяна непроходимым тернием и которая ведет к невозмутимой лакейской наглости, с обретением которой дворовому остается только одно: наслаждаться жизнью – барин себе хоть тресни, а уж он возьмет свое! Флегонт всё это понял и отчасти уже успел усвоить; он еще не видел определительно степени доброты своего барина, но по действиям повара и камердинера смекнул, что она, должно быть, простирается до значительной степени. И в перспективе ему предстояло испытать ее меру. Полюбив дворовую жизнь, он полюбил и все атрибуты ее – подбривание затылка, густо намащенные волосы и каждый день напоминая барина, что та или другая часть его



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов костюма требует дополнения.

– Что город, то норы, что деревня, то обычаи. Всякий образ жизни имеет свои условия, – говорил Грачов Тростникову. – В столице я держусь характера самой безукоризненной простоты... почему? Во-первых, так люблю, во-вторых, там так принято. В деревне другие требования, другие вкусы, и я не хочу ходить в чужой монастырь с своим уставом, – так говорил Грачов своему приятелю, как будто оправдываясь перед ним, почему на этом основании беспрекословно выполнил требования своего кучера, по совету которого сбруя лошадей увешалась медными бляхами, куплен колокольчик и бубенчики-воркуны, расписная дуга, а сам Флегонт по одеянию представлял смесь посланнического кучера с почтовым ямщиком: золотой кушак, позумент по плечам, полярковая шляпа, плотно утыканная павлиньими перьями, с большой серебряной пряжкой наперед. Точно так снаряжена была тройка и в настоящем случае, двинувшаяся в дальнюю дорогу.

– Я каждый раз люблюсь удовольствием этого глупого малого, которое ощущает он, видя всеобщий эффект, производимый нашим появлением в деревне, – заметил Грачов при въезде в первую лежавшую на пути их деревню.

– Не разделяешь ли и ты сам отчасти этого удовольствия? – не преминул заметить Тростников. – О, дружба, это ты, – и не потому ли так охотно исполнил требования своего Флегонта?

– Ну если и потому, что ж тут худого?

– Ничего, но к чему вечные тонкости?

– Чтобы доставить тебе удовольствие подмечать их.

– Всё боязнь быть смешным, смотри, Грачов, ты с ней сделаешься в самом деле смешным; впрочем, надо сказать правду, твой расчет верен. Ведь коляска с английской упряжью никогда бы не произвела здесь такого эффекта, как эти бубенчики и эта дуга.

– Надо знать, мой милый, кому какого пуншу подать, – отвечал смиренно Грачов, – мужику – бубенчики, пряжки, зоилу – повод к удачному сарказму...

– Ну полно, полно, посмотри лучше вперед!

Выехав из оврага, в котором, по русскому обыкновению, стояла деревня, они круто поднялись на высокий бугор, и глазам их открылась вся низменная, идущая вплоть до самой Оки, резко обозначенной гористым правым берегом, местность. Это были почти сплошь поемные луга, местами ровные, как ковер, местами кочковатые, уже зеленевшие теперь первыми побегами молодой травы. Славная картина, и какой свежий, ласкающий колорит! Молодо-зелено, куда ни кинь глазами... Только кое-где к горе перемежались они полями, подходившими вплоть до самой дороги, по которой ехали наши приятели; кусты, небольшие перелески, одинокие деревья или группы деревьев, отдельно стоящие, по обыкновению, разнообразили пейзаж, представляя оригинальное зрелище: нижняя половина их была обнажена и темна, как в глубокую осень, тогда как верхнюю распутившийся лист успел уже округлить и одеть чистым бледно-зеленым цветом, этим чудным цветом, к которому так идет слово девственный и который природа храпит только несколько первых весенних дней. Нужно стеречь и ловить эти немногие дни, когда всё в природе облечено этим младенчески ясным, прозрачным, смещающимся цветом, когда нет сил удержать душевного волнения и невольно лепечет язык в самом грациозном и нежном их смысле эти два прекрасные слова: молодо-зелено! Недаром на веки вечные породнила их поговорка.

«Молодо-зелено!» Куда рвется душа за этими словами, какой ряд картин проносят они перед ней? Не из тех ли они, которым «без волнения внимать невозможно»? Дай бог чаще и дольше слышать их хоть в насмешливом смысле поговорки! Молодо-зелено! Оглянись кругом – в этих словах вся поэтическая картина весны.

Всего поразительнее была на всем пространстве, открывшемся с горы глазам путешественников, резкость и правильность линии, разграничивавшей темную и светлую половины деревьев, – ее провела смелая и верная рука. Ее провел разлив, обозначивший на стволах деревьев крайнюю высоту свою. Как недавно еще вода убиралась с лугов, доказывали бесчисленные озера всевозможных форм, пестрившие равнину подобно зеркалам и изливавшиеся в Оку, которая широкой-широкой лентой

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некая окаямляла луг справа и прекрасно заканчивала картину с своим высоким обрывистым берегом. Неисчислимы были нежные оттенки зелени на этом берегу, прямо, почти отвесно стоявшем перед глазами путешественников. Такова была картина сверху вниз. Но вот тарантас постепенно спустился с высоты, дорога круто повернула вправо и пошла лугами. Началась картина снизу вверх. Теперь на первый план выступили поля, начинавшиеся высоко на горке и сбегавшие к подножию лугов. Эти поля хранили еще в своем цвете следы прошлогодних засевов: еще можно отличать желтеющие почти сплошной массой ржаные нивы; вот неровные полосатые покосы картофельника с почерневшей тусклой листвой, – не краше их и бедные покосы гороху. Много и мальчишек и взрослых парней перебивало на них по ночам прошлой осенью и не уходило домой без хорошей добычи, не один прохожий лакомился мимоходом их вкусными стрючками... а теперь! Припала сплошь к земле перепутанная, почерневшая листва, и нива словно оплакивает настоящее свое жалкое положение, зато разбросанные там и сям между ржаными нивами покосы гречихи резко кидаются в глаза своим красноватым цветом и, бойко выбегая на гору, как будто щеголяют яркими остатками своего осеннего урожая.

Погодите и горевать и чваниться, нивы! Скоро соха земледельца сравняет вас в доле – всем вам положит он одинакую долю, и потом его же воля решит, какой полосе в какой цвет убраться на красное лето, чему дать жизнь, цветенье и зрелость к осени. И не всё вам ли равно, золотая ли пшеница поднимет над вами свои красивые кисти, или зеленый горох опутает вас своим фантастическим, прихотливым узором? Малорослый ли, коренастый ячмень станет прямо и бойко и весь ошетинится, словно войско с поднятыми штыками, на лоне вашем, или будет тихо шуметь и склоняться высокий ржаной стебель с тучным колосом? Равно любит мужичок каждую свою полосу и за всё равно скажет вам спасибо, лишь бы господь бог осенил вас плодородием!

Вот уже начал он трудное свое дело, от которого теперь уже не оторваться ему ни на минуту вплоть до глубокой осени, и то дай поспеть и управиться! Поля усеяны работающими крестьянами – одни пахут, другие уже начали сеять яровое. И за каждым мужичком своя свита: чуть проведет сохой, как уже на свежую, только что взрытую землю садятся стаи ворон и всяких птиц, жадных до червяка. Передвинулся мужичок с своей лошадкой, и птицы подались вперед – и так целый день; птицы иногда садятся на его соху, на хребет лошади, даже ему на плечо, – и он ничего, только дружелюбно усмехается. Ему, кажется, и в голову не приходит, что, кроме своей семьи, он работает еще на всю эту вольную птицу, кружащуюся в воздухе, таящуюся в кустарниках и болотах, и на всякого видимого и невидимого зверька.

Жадная ворона ловко похищает его добро, чуть не под ногами у него склевывая лучшее зерно из бросаемых им в землю семян. Робкая куропатка осторожно выводит вечером свой многочисленный выводок на его овсяные поля; прожорливый тетерев жрет и вытаптывает гречиху, в которой иногда основывает даже свое постоянное местопребывание на всё лето и часть осени; целые летние дни проводит на овсах дупель до той поры, пока, ожирев и обленившись, не поселится в болоте или лугах, куда сначала вылетает только по вечерам жировать и где бывает ему ранний или поздний капут; в хлебе заяц стелет свою мягкую и безопасную лежку. Нечего уж и говорить о других меньшего размера зверках и пташках, живмя живущих в хлебах.

Без злобы смотрит мужичок на этих многочисленных расхитителей своего трудового добра, – он к ним жалостлив. «Бог даст урожаю – всем хватит», – говорит он и охотнее трудится в крылатом обществе, которое, перепархивая, лакомится около него вкусными червяками и зёрнами. Ему с ними поваднее.

Трудись, мужичок, бог любит труды; трудись и не верь твоему земляку, который, побывав в столицах и набравшись скептического духу, изобрел другую пословицу: «С работы не будешь богат, а будешь разве горбат».

Как только тарантас спустился на луговую дорогу, Грачова начало подмывать поохотиться. Еще с горы соблазнили его ржавые болотины, столь много говорящие сердцу охотника обширные кочкарники и мелкие, редкие кустики с маленькими промоинами и лужицами. Наконец он не вытерпел; произведена была обычная операция надевания болотных сапогов, и путешественники в сопровождении прилично вооруженных Жегла и Ефима отправились в болото. Здесь нужно бы сказать несколько слов об угодьях охоты и разных родах дичи по низменному берегу Оки, но так как этому предмету вообще будет посвящена в нашем сочинении отдельная глава, то мы теперь скажем только, что охота наших приятелей была удачна, продолжалась с лишком три часа и страшно утомила их; весенние болота не то, что летние и даже

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовские произведения: куда ни сунься, топь выше колена, и самая неутомимая собака не выбегает по ним охотно и старательно пять часов. По исключительному пристрастию своему «к утке» Жегол «ухнул» почти по самым уши, то же сделал и увлеченный его примером Ефим.

– Я предчувствовал, что так будет, – заметил Тростников, – и оттого не советовал идти в болото. Что теперь нам с ними делать? До города они просто окоченеют, а перемениться им, особенно Жеглу, верно, нечем, да если б и было чем, то их не уговоришь.

– Ты не знаешь русского человека, – возразил Грачев, снимая с себя охотничьи доспехи. – Это ему здорово!.. Сказать мне, как будем ехать мимо кабака! – прибавил он, обращаясь к Ефиму, стаскивавшему с него болотные сапоги, которые тонкий человек заменил сухими, обыкновенными.

Сев в тарантас, он погладил Раппо и, заметив, что прибитая собака дрожит, накрыл ее своим каучуковым плащом.

Неизвестно почему, дорога ли стала лучше, лошади ли поотдохнули, только тарантас покатился вперед гораздо быстрее прежнего. Еще верст пять проехали лугом, потом взъехали на гору. Начались снова картины сверху вниз и провожали путешественников верст шесть, пока дорога постепенно не забрала влево, так что ни высокого, ни лугового берега Оки наконец уж не было и в помине. И справа и слева, спереди и сзади тарантаса всё были одни поля, поля и поля, как муравьями усеянные земледельцами с их клячками и орудиями. Показалось вдали село с высокой церковью, тоже всё утонувшее в полях, и лошади пошли еще бойчее, но как будто только и стало у них прыти молодецки проскакать селом; с последним мелькнувшим домом деревни они, видимо, вдруг отупели, и путешественники скоро увидели, в чем дело: за селом, направо, саженьях в десяти красовалось одинокое серое здание с засохшей классической елкой.

Флегонт вяло прикрикнул на лошадей, но лошади нисколько не прибавили рыси, а как будто пошли даже тише, обнаруживая в поступи явную нерешительность.

Жегол крикнул на козлах и выразительно оглянулся на господ; сзади тарантаса послышался меланхолический вздох: до кабака оставалось не более десяти шагов.

– Приворачивай! – сказал Грачев, и всё встрепенулось.

Флегонт энергически свистнул, Жегол выпрямился, за тарантасом послышалось тревожное движение, а лошади вновь получили прежнюю живость, как будто и они тоже хотели водки.

Тарантас остановился у кабака. Ефим соскочил с заднего сиденья и подошел к Грачеву. Грачев раскрыл портмоне. Вдруг из кабака выбежал мужик лет сорока, рослый, белолицый, русоволосый; природная живость его, казалось, удесятирилась благодаря доброму приему водки, и здоровое, красивое лицо его пылало огненным румянцем, словно он целый день провел у кузнечного горна. Он прямо бросился к Ефиму с дружеским приветствием: «А, Ефим Олексеевич, старый друг!» – и, схватив его руку, быстро напечатлел на ней, к удивлению наших путешественников, два полновесные и звучные поцелуя. Ефим равнодушно и несколько мрачно произнес: «Здравствуй, Григорий!» – и, приняв от барина деньги, пошел в кабак. Григорий бросился к тарантасу и, поглядев на Грачева, обратился к нему с восклицанием: «Батюшка, да вы не сынок ли будете покойному Андрею Степаньчу?»

– Так точно, – отвечал Грачев.

– Ну, я вашего батюшку знал, коротко знал... Бывало, едет с собачками, как встретит, тотчас узнает... «А ты, – говорит, – опять пьянехонек, Гришка, только и знаешь пьянствовать. Смотри у меня, как почну, – говорит, – таскать тебя, пьяная ты рожа, так всю твою рыжую бороду выщиплю!» – «А и выщипли, батюшка, выщипли! Твоя воля! Чего не выщипать!»

И мужик подставлял свою бороду в тарантас к Грачеву, как будто желал сказать своими живыми глазами: всё равно, не отец, так сын, всё равно, пощипли, коли охота есть!

– Однако нет, – продолжал он, – не бивал, никогда не бивал; так, пошутит, да и

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
полно... затем что добрую

душу имел и никакого худа я ему не делал. Чего нас бить?.. Мы всё, что требуется, готовы с нашим удовольствием.

При последних словах Григорий тревожно оглянулся и быстро юркнул в кабак.

– Вот чудной мужичонка! Скажи, пожалуйста, чего он руку нашего Ефима целовал? – сказал Тростников, обращаясь к Жеглу.

– Известно чего, видно, таков местный обычай! – сказал тонкий человек и достал свою записную книжку. И уже готов был внести в нее, что в Вязниковском уезде в простонародье существует у мужчин обычай целовать друг другу руку, как Жегол сказал:

– А думает: не поднесет ли? Видит, барский человек, в кабак посылают; своих нет, а выпить хочется, вот и подольщается! Я вот намерен дичь возил в город и зашел козюшечку выпить. И тоись и не поверите. Стоит против меня, должно быть, приказный, что ли, одет чисто, только зелененек, сердечный, натурально – с перепоя. Пью, а он прямо-таки вот в глаза мне и глядит, и глядит, да так жалостно, но ни слезы показались... «И смотрю я, – говорит, – и неужели, – говорит, – ты так-таки ни капелечки мне и не оставишь?» Что станешь делать? Не допил, оставил маненечко и огурчик, как был кусочек в руке, так и отдал ему. Однако выпил. «Что, – говорю, – почтенный, видно, моченьки не стало терпеть, в горле пересохло?..» – «Жена, – говорит, – брат, ведьма, такая ведьма, что и не привидано! Оберет денежки до копейки, и ты как хочешь – хоть умирай!»

Явился Ефим с полуштофом и кабачным зеленым стаканом, Григорий сопровождал его. «Наливай», – сказал Грачов. Ямщик, Шегол и в заключение сам Ефим выпили по стакану, крякнули и поблагодарили барина. Григорий тревожно следил процесс наливанья и выпиванья и, увидав, что в третий стакан ушло всё вино и оттуда немедленно поступило целиком в желудок Ефима, вдруг приуныл: осунулся с лица, даже спал с голоса.

– Ну, брат Ефимаша, – сказал он, – обмерял, чисто обмерял жид-целовальник! Намедни я брал полштофа – три стакана с половиной вышло!

– Врешь ты, пьяница! – презрительно возразил Ефим. – Я сам мерял. Он крючок в руки дает: наливай всякий сам.

– Ну так, стало, сплеснул много, добрая ты душа! – сказал Григорий.

– Как сплеснул? Что такое сплеснул? – спросил Грачов, поднося руку к боковому карману, в котором хранилась его записная книжечка.

– Ведь кланяется, батюшка, кланяется! – с прежней живостью отвечал мужик, позабыв или подавив в душе огорчение, что не удалось промочить душу даровым винцом. – Известно, чество просит: сколько сплеснешь, то и его. А как не сплеснуть? Кланяется, мошенник, в пояс кланяется! – повторял Григорий голосом, в котором слышалось убеждение, что коли кланяется, так возможно ли не сплеснуть! – Вот и сплескивают; всякий сплеснет, – иной сам-от с наперсток пьет, а всё хоть капелечку да сплеснет, а ему, известно, капелечка к капелечке: курочка по зернышку клюет, да сыта бывает!

– Ну полно, пьяница! – сказал Ефим, отправляясь в кабак, куда следовало отдать обратно опорожненный штоф, и мазнул мимоходом Григория ладонью по лицу. – Чего растарабарился, пристал к господам!

– Деревенщина так и есть деревенщина! – заметил флегонт с высоты своих козел.

– Слышишь, Тростников, наш флегонт тоже пускается в сатиру! – заметил тонкий человек.

Это тоже было сказано так, что Тростникову невольно вспомнилось утреннее замечание касательно расписной дуги и воркунов-бубенчиков. Топкие люди долго помнят обиды, наносимые их самолюбию.

– Трогай, – сказал Грачов.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Вот тебе, – сказал Тростников, подавая четвертак Григорию, растерявшемуся в излияниях благодарности,

– Напрасно, сударь, изволите давать пьянице, – заметил Ефим, человек, которого трудно было уличить в доброжелательстве <к> кому бы то ни было.

– Эй вы, заснули! – гаркнул Флегонт, и тарантас тронулся...

– Ты как его знаешь? – кинул Флегонт с своих козел словечко Ефиму, проехав с полверсты молча.

– Я, голова, как еще мальчишкой был, так с отцом в гости к ним ездил. Дом был богатейший, первый по селу. Всё пропил!

– Дурак, – сказал Флегонт.

– Мужик, – сказал Ефим. Помолчали.

– Сколько ему барин дал? – спросил Флегонт.

– Четвертак пожаловал. Я говорю: не надо бы давать. Вот он теперь расходится да последний армяк пропьет,

– Будто?

– Право! Такая отчаянная башка.

– Дурак, – сказал Флегонт.

– Мужик, – сказал Ефим.

Они опять помолчали и потом опять принялись разбирать по косточкам бедного Григория, осуждая его поведение с такою строгостью, как будто сами не брали в рот капли вина, хоть оба были изрядные пьяницы, и с таким высокомерием, как будто сами были великие бары.

Тростников долго думал, на чем основано глубокое презрение дворового вообще и Флегонта в особенности к мужику, и не мог объяснить его иначе как дурацким кафтаном, в который одел Грачов своего кучера...

Переезд до Вязников, особенно с антрактом охоты, вовсе не был так легок и скор, как воображали наши приятели. Уже стемнело, а до города оставалось еще верст осмнадцать; лошади примерно оступели. Утомленные путешественники находились в некоторой дремоте, как вдруг послышали отдаленное гуденье не то мельницы, не то экипажей, едущих по каменной мостовой, и вскоре услышали они другой несомненный признак шоссе: рог кондуктора.

Нет возможности вообразить, какое действие производят эти признаки живой, деятельной, образованной жизни на человека, зажившегося в деревенской глуши. Приятели наши только теперь почувствовали, что деревня имела уже на них некоторое влияние, – их нервам было и больно и сладко: они чувствовали ребяческий страх, когда экипажи неслись к ним встречу, и почтовые кареты казались им так громадны, как приезжающему в первый раз в Петербург кажутся громадны его четырехэтажные дома. Проехав по шоссе не более двух верст, тарантас начал осторожно спускаться с крутой-прекрутой горы в обширный и глубокий овраг, на дне которого при свете месяца едва можно было разглядеть строения, казавшиеся игрушечными, с мелькавшими в них огоньками. Между строениями возвышались главы свои храмы божий, которые <...>

Не переночевать ли нам здесь? – сказал Грачов, когда лошади были уже заложены и ямщик взбирался на козлы.

– Что ж ты не говорил раньше? Мне всё равно; торопиться нам некуда, да уж собрались, и если ехать скорей, так мы доедем до Мстеры почти засветло...

– Всё так, только посмотри, какой ямщик нам попался, – жиденский, приземистый, смотрит, точно мокрая курица. Не люблю я таких ямщиков, особенно когда дело к

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовские ночи и дорога проселочная.

– Тебе бы всё молодцы, как ты! – заметил Тростников. – Ямщик, хорошо ли ты знаешь дорогу? – спросил он.

– Знаю, как не знать! – отвечал, приободрясь, ямщик. – Двадцать раз ездил.

И поехали.

А всё же тонкий человек в настоящем случае был едва ли не прав.

В образованном классе редко можно сделать верное заключение о качествах человека по его наружности; таи н плюгавенький иногда изловчится так, что куда твои саженные богатыри. Но в простом классе наружность надежная мерка. Коли смотрит молодцом, значит, знает свою силу, пробовал и упражнял ее, и сам уверен в ней, в добрые люди скажут: жди решительности, смелости, которая города берет, вдохновения минуты, – с таким не пропадешь, в какую беду ни попади; что ни заставь, такой сделает хорошо и в трудном случае найдется: дело бывалое! А коли мал да тщедушен, то берегись: характера у такого наверно нет, – их бойкость развивается по мере сознания силы физической. Еще хуже, если заметишь признаки меланхолического темперамента, неопределенный взгляд, рассеянность, – тут уж совсем беда! Из такого, может быть, вышел бы хороший учитель или даже самостоятельный ученый, но сохрани бог своротить с таким в темную ночь на проселок, пуститься в ветреную погоду через бурливое озеро; поехать он поедет: другие ездят, а ведь он такой же мужик, как они, – как же ему не ехать? Но доведись беда, он первый вззоет, так что вам <же> и придется его утешать. Как есть рохля, тетеря либо божевольный какой. А что такое рохля и другие сейчас употребленные слова? Народ редко выражает свои приговоры о людях с определительностью, принятой в других классах; дурак, подлец почти не употребительны в его словаре; у него свои условные определения личностей, замечательные какой-то деликатной уклончивостью, которая, впрочем, не лишена меткости, заменяющей жесткую определительность приговоров образованного класса. Тетеря, ворона, сорока, пропащий человек, вахлак, войлок, увалень, рохля – все эти названия и множество подобных беспрестанно слышатся на языке народа, и по ним он расценивает окружающие его характеры, может быть, еще вернее и точнее, чем общество, щедрое на резкие эпитеты. Не мешает заметить, что неблагозвучные слова – ерник, шильник, шаромыжник, мазурик, жулик – вовсе не принадлежат народу, а только городу и рынку. Человека недалекого и бесхарактерного, нестойкого в слове не с дурного умысла, а по слабости, народ зовет божевольным, грубого и бешеного – нравным, а о человеке щедром, правдивом, великодушном прекрасно и сильно говорит – душа божеская.

Первые двадцать верст было еще светло, и ехали сносно, хотя тарантас изрядно поталкивало и колеса вязли по ступицу; следующие восемь верст достались труднее, совсем стемнело, небо заволкло тучами, накрапывал дождь.

– Если надоело ехать, то можно переночевать здесь, – сказал Тростников, завидя впереди огоньки деревни.

– А ты как думаешь?

– Мне всё равно.

– Ямщик! – закричал Грачов. – Смотри, знаешь ли дорогу? Темно, не сбиться бы! Дальше будут деревни?

– Нет, дальше деревень не будет. Теперь прямо в Мстеры, двенадцать верст осталось.

– Да какова дорога?

– Дорога всё такая же.

– Вот люди где ночуют, – сказал Грачев, заметив перед одним домом деревни распряженную повозку.

– А вам угодно ночевать здесь? – с живостью спросил ямщик.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Да завтра довезешь ли в одну упряжку до Шуи?

– Нет, великонька будет упряжка. Доедем! И ямщик прикрикнул на лошадей,

– А всё же смотри, не лучше ли остановиться, – сказал Грачов. – Если нетвердо знаешь дорогу...

– Знаю! – сказал ямщик.

Поехали; но через четверть часа ямщик слез и пошел ощупывать кнутом и ногами дорогу.

– Ну что, сбился?

– Нет, дорога, – отвечал ямщик.

Однако ж, проехав не более полуверсты, он опять слез и опять пошел.

– Дорога, всё дорога, – сказал он, возвратись к тарантасу.

– Право, не велеть ли ему воротиться? – спросил Грачев своего спутника.

Тростников молчал. Ямщик ехал дальше. Протащив путешественников с полчаса по невероятным рытвинам, косогорам и промоинам, он в третий раз слез, отправился вперед и пропал.

Возвратись не ранее как через полчаса, он молча двинулся и тотчас же попал в такую рытвину, что тарантас чуть не повалился.

– Стой! Стой! – закричал Грачов. – Сбился, разбойник! Пошел назад, в деревню!

– Как сбиться! Одна дорога – никак не можно сбиться. Доставлю, ей-богу, доставлю! Вот только маненечко...

И ямщик, вместо того чтоб ехать назад, повернул только немного влево и ехал вперед.

Грачов молчал.

Влево точно была неизвестно какая дорога, и путешественники с час медленно ползли по ней, в чаянии скорого ночлега. Вдруг ямщик круто осадил лошадей с торопливым криком: прр!

– Опять сбился! Как же ты уверял, что знаешь дорогу?

– Знаю. Ей-богу, знаю... Да сами извольте видеть, какая темень. Кто ее разберет – всё была дорога, а вон гляди: болото! Вот те и раз, – продолжал ямщик, забежав вперед болота, – перевалено березником... У, да сколько его, березнику... у! Стало, езды тут нет... Не туда утра-фили...

– Пошел же назад, в деревню!

– Назад? Да как же назад теперь?... Да назад теперь дальше будет... и до утра не добьешься... Вот напасть так напасть... господи!

Ямщик окончательно пал духом. Всё население тарантаса отправилось искать дорогу, но поиски были напрасны.

Приятель наши поздно увидели, что ямщик их именно был то, что называется рохлей. Не то чтоб он был дурак, нет, из него, может быть, вышел бы хороший учитель или даже самостоятельный ученый, но в ямщики он, видимо, не годился. Еще когда запрягал он лошадей, какой-то мужик, натягивая за него супонь на хомуте коренной, попотчевал его этим названием, и оно теперь пришло в голову путешественникам. Они вспомнили его несколько унылое и бледноватое лицо, меланхолический, рассеянный взгляд, нерешительную походку и движения.

Таким образом случилось то, что еще весьма часто до сей поры случается у нас с путешественниками, сворачивающими ночью с большой дороги: друзья наши

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов  
заблудились. Ямщик слабым и тревожным голосом божился, что он знает дорогу, а между тем прямо перед ними было болото, по-видимому рукав Клязьмы, которая едва синела справа; слева чернели кусты, а дороги ни в которую сторону и признака! Местность была песчаная, бугристая, какая часто встречается при берегах больших русских рек, бугры да ямы! Того и гляди ухнешь, – и поминай как звали!

Дождь, ветер и страшная темнота. Грачов напрасно пялил свои крупные глаза, стараясь разглядеть, сколько часов, – ни зги не было видно; судя по времени, было еще не более десяти часов. Итак, им приходилось ждать рассвета с лишком пять часов. Тростников молча курил сигару, казалось решаясь покориться судьбе. Истощив упреки, допросы и переспросы, вероятно вогнавшие в пот бедного ямщика, Грачов также погрузился в молчание. И с час ничего не было слышно, кроме дождя, барабанившего в крышку тарантаса, воющего ветра и тихого говора бубенчиков, при частых движениях переминавшихся под дождем лошадей.

– Не любит русский мужичок ворочаться назад! – произнес наконец Грачов в виде сентенции.

– И барин тоже, можешь прибавить, – сказал Тростников.

– Почему? Разве я ему не говорил: воротись!

– Говорил? А кто мешал приказать?

– Я приказывал.

– А сам молчал, когда он ехал вперед,

– А ты почему не приказал?

– Я? – сказал Тростников. – Я хотел посмотреть, что сделает наш ямщик... и ты, – прибавил он вполголоса.

– Вот нашел время, – обидчиво воскликнул тонкий человек, – делать свои опыты... И хороши опыты... И к чему они ведут: ночь провести черт знает где, дождь, слякоть, заехали в какую-то трущобу... Ну и что ж ты увидел?..

– Увидел то, что ты уже сказал.

– Что же такое? Нельзя ли узнать?

– Ни русский мужичок, ни русский барин не любит ворочаться назад.

– Что ж, это худо, по-твоему? – спросил самолюбивый Грачов.

– Я не говорю, что худо...

– Так, значит, хорошо?

– Скажи мне, почему ты не воротился, и я дам ответ,

– Почему... почему? – начал Грачов и запнулся. – Конечно, особенной надобности не было торопиться. Мы могли переночевать в той деревне; ты помнишь, я даже предлагал ночевать прежде... Ну а выехали, ты молчишь, ямщик божится, что знает дорогу... Ну и ехали, а там уж думал – недалеко...

– Нет, ты бог <знает> чего напутал... Ты не можешь ответить на мой вопрос, спросим лучше ямщика. Не разрешит ли он загадки?.. Ямщик!

– Что прикажете? – отозвался ямщик.

– Ведь мы предлагали, даже приказывали тебе воротиться в ту деревню... Ты бы там покормил лошадей и сам бы отдохнул, вместо того чтоб дрогнуть здесь всю ночь... Не правда ли, лучше было бы?

– Как не лучше, вестимо, надо было воротиться.

– Что ж ты не воротился?



– Воротиться? – повторил ямщик раздумывая. – Да как же? Выехали, сколько проехали, и воротиться... Не годится покойника назад с погосту нести!

И ямщик замолчал. А между приятелями нашими возник продолжительный спор, который тем сильнее разгорался, чем чаще прикладывались они к бутылке портвейну, которая в настоящем бедственном положении составляла единственное их утешение. Ямщик тоже не был забыт, причем Грачов, собственноручно подавая ему стакан портвейну, не преминул заметить, что вот де «тебя бы следовало накормить зуботычинами, а мы тебя поим портвейном, который стоит два рубля серебром за бутылку и какого даже во сне не видала твоя бабушка».

Таков был он, тонкий человек, всегда и везде – в светской гостиной, в литературном салончике, в тарантасе, под ночным дождливым небом, среди незнакомой местности, сам-друг с приятелем: насмешлив, но добр, а еще более одержим желанием казаться холодным и гуманным, как человек современный и развитой, – желанием, которого он иногда достигал с таким совершенством, что мог ввести вас в заблуждение, пока наконец не прорывался каким-нибудь характерным словцом, которое сразу выказывало его заматерело сносскую натуру, как будто лопнут прочные швы английской байки и из-под модного пальто, из-под эксцентрической дорожной фуражки выглянут на минуту на свет божий пестрый халат и бритое темя урожденного продавца благовонных мыл, бритв и халатов – татарина.

Ночевать бы нашим приятелям на дороге, под проливным дождем, если б вдруг среди завываний холодного ветра не послышался в стороне лай собаки... Какое сильное магическое действие произвел он на всё население тарантаса. Встрепенулись люди, поднялись и насторожили чуткое ухо продрогшие собаки. Ямщик первый возвестил о нем радостным криком и бросился по его направлению искать дороги к близкому жилью. Грачов вышел из своей натянуто-спокойной роли и очень простодушно выразил свое удовольствие восклицанием: «Батюшки! Да ведь точно лает собака!», а Тростников импровизировал целый монолог, который, откинув сатирические вставки тонкого человека, можно перенести в книгу таким образом:

– Хорошо знаю и люблю вас, собаки! Люблю весь ваш честный род, от кровного английского пойнтера до последней жалкой дворняжки! Все вы так или иначе полезны человеку. Один лай собаки иногда отраднее голоса дружбы, встречающей нас радостным криком на пороге родного дома, даже твоей дружбы, Грачев. Ты смеешься, ты находишь мое сравнение низким и тривиальным, но те не будут смеяться, кому случилось «без дороги в путь отправиться» (не из прихоти, как мы теперь), кто уставая и дрогнув, не видя в перспективе ничего, кроме ночлега в болоте, а еще пуще, если был не один, а сопровождал в пути милых сердцу друзей.

Офени, коробейники и всякие ходячки, делающие по России пешком тысячи по четыре версты в год всё проселками, скажут тебе, какую еще роль играют в России собаки, конечно, не твой Раппо и не моя Дианка. Вообрази, если б теперь был мороз градусов в тридцать, а сколько людей бывали и еще будут именно в таком положении и кто спасал их, если они спасались? Собаки! Да, я утверждаю, что голос собаки иногда слаще голоса дружбы. Мало того, его можно сравнить только с громким, ободрительным голосом доктора, смелой поступью идущего от постели больного, после того как во всем доме в течение уже многих дней не слышалось другого звука, кроме сдержанного тревожного шепота, других шагов, кроме робких, осторожных, нерешительных, как будто окружающие больного боятся спугнуть последний остаток жизни, еще тлеющий в нем, подобно тому, как мы с тобой боимся спугнуть дичь и крадемся к ней издали с замирающим сердцем, на что, впрочем, у нас никогда недостает ни терпенья, ни уменья.

Сколько надежд пробуждает этот громкий голос! Сколько сердец заставляет отраднее биться эта твердая, уверенная походка! Разве не то же производит один лай собаки, например, в таком случае. Едет бог знает откуда издали-далека целое семейство; экипаж набит битком; есть в нем и здоровые, и больные, есть старые и малые; бедная мать исстрадалась, грея дыханием грудного младенца... Все ее помышления сосредоточены теперь не далее предстоящего ночлега, где отогреет, успокоит она своего малютку... и налюбуется им, потому что темнота целый день плотно закрытого экипажа мешает ей даже видеть его миниатюрные, вечно милые глазам матери черты. Она хорошо знает их, она изучила на его крошечном лице, на всем его маленьком тельце каждую особенность, хоть будь то родимое пятнышко меньше пылинки, но всё же видеть свое дитя было бы ей великим утешением, а она не видала его целые дни, боясь простудить. Но вот ночь, скоро ночлег – она

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов неграмотен, вознаградит себя за терпение, а тут вдруг беда: ямщик сбился с дороги, приходится ночевать среди поля... Какие опасения терзают сердце матери: дитя простудится, умрет...

– Ну и вдруг... о милые дворянчики, придите в мои объятия! – иронически перебил своего приятеля тонкий человек. – Ты, кажется, забыл, что в России существуют шоссе и даже железные дороги...

– Уж сколько раз я давал себе слово не говорить с тобой! – отвечал с досадой Тростников, как будто устыдясь своего увлечения (увы, и он не чужд был этого общего порока времени).

– Почему же?

– Потому что ты принадлежишь к людям, для которых Россия заключается только между Москвой и Петербургом и по большим трактам, идущим от них...

– Дорогу нашел, дорогу нашел! И деревня близко: огонь видел! – кричал ямщик, возвращаясь с своих поисков.

Приятель так обрадовался, что уже не думал продолжать спора, которому в противном случае, верно, не было бы конца, и, быстро вскочив в тарантас, закричал в один голос:

– Вези! Вези!

Повернули вправо и кое-как через кустарник и песчаные бугры выехали на дорогу, которая вела в деревню.

Ямщика нельзя было узнать, точно другой человек сидел на козлах: он молодецки ободрял лошадей голосом, быстро направлял их по извилинам дороги, нагибался, с расторопностью поворачивался то вправо, то влево.

– Вали валом! – закричал он торжественно, подъехав почти вплоть к деревеньке, и, приударив кнутом, ухарски подкатился к единственному освещенному зданию во всей деревеньке.

– Приехали! – сказал он громогласно, осадив лошадей перед запертыми воротами, по-видимому, барского дома.

– Да куда же приехали? Пстой еще!

– Как куда? На барский двор.

– Да ты вези нас к какому-нибудь мужику, что барина беспокоить в такую пору, да и каков еще барин – может, и не пустит.

– Как не пустить! – отвечал ямщик и начал стучать в ворота. Но лай собак уже сделал свое: у ворот показалась фигура с фонарем.

– Отпирай вороха! – сказал ямщик.

– Уж и отпирай! Погоди еще, как барин прикажет! – сказал мужик с фонарем и осмотрел запор у ворот, по-видимому желая удостовериться в его прочности. – Вы кто такие?

– Кто, известно кто, разве не видишь? Господа.

– А кто вас знает? – заметил мужик, подходя к тарантасу. – Ночью и есть ночь: ночью-то поглядишь – господин, а пришел день, так и увидишь: наши господа... господа с самого с испода!

– А ты не мели! – сказал важно Ефим, сочтя необходимым вступить за честь своих господ, и подошел к <...>

Наконец муромские деяния грачовского помещика увенчались приключением, которое в секретном его журнале (до того секретном, что он никогда не показывал его даже своему другу Тростникову) записано таким образом:

### Повесть о Суркове

Если я когда-нибудь решусь писать, то непременно сделаю повесть из следующего события, которого сегодня был свидетелем. Для этого я старался присматриваться к мельчайшим подробностям и даже приобрел покупкою драгоценный документ, за который, я уверен, не один из наших нравоописателей дал бы мне порядочную сумму.

Место действия – Ока или, вернее, небольшой островок, затерянный среди необъятного разлива. Время – весна, когда разлитие Оки и других мелких речонок, впадающих в нее, почти сплошь потопляет низменные уезды В<ладимирской> губернии. В это время года судоходство делается возможным в таких местах, где летом с трудом пробирается легкая лодка. Промышленники этим пользуются, и не только на Оке, но и в испытанных местах разлива вы видите множество мошников, расшив и разных больших судов, нагруженных хлебом. Но в это же время года здесь почти постоянно свирепствует сильный ветер, и частые бури ниспровергают корыстные надежды торгашей. Я был свидетелем одного из таких событий или, вернее, некоторых последствий его.

Возвращаясь Окою из Мурома (я ездил в большой лодке, иначе в это время года нет возможности попасть туда с луговой стороны), около половины дороги я вздумал пристать к небольшому острову, на котором расположено несколько келий и который потому называется «монастырьком». На этом острове застал я чрезвычайное волнение и большое стечение народу.

Дело в том, что у самого островка разбило накануне расшиву (весь предыдущий день выл страшный ветер, превратившийся к вечеру в совершенную бурю, что и заставило меня переждать этот день в городе), нагруженную преимущественно гречихой в крупе и муке. Я вышел на самый край песчаного берега, откуда можно было видеть остатки потонувшего судна.

На виду был только нос его, выпятившийся так, как будто хотел похвастать безграмотной надписью, намалеванной суриком по синему полю: «Мок-Шан вязникофского купца Александра Холуйского», – да пестрый флаг болтался на сломанной мачте, уподобляя бедную барку подстреленной утке, тревожно и безуспешно мотающей уцелевшим крылом. Самое же судно, сидевшее в воде, можно было только угадывать по густой цепи ботников, очертивших около него круг; в этом кругу, замкнутом ботинками, волновалась сотня человеческих голов, так что с первого раза казалось, как будто судно было нагружено ими вместо кулей. Движение голов было изумительно проворно; в то время как одни быстро исчезали, другие появлялись на смену им, как будто вырастая из воды; постепенно приглядываясь к этой пестрой картине, я стал различать между головами также плечи, мускулистые руки и другие части человеческого тела.

Деятельность, кипевшая тут, сопровождалась криками: «Ой, раз, ой, раз! еще разик!» и проч.

Я не вдруг понял, что тут происходит. Хозяин потонувшего судна распродал свой потонувший товар, и распродал его на месте, то есть на дне Оки, откуда каждый покупатель должен был, как знает, добывать его сам. Цена была, разумеется, самая ничтожная. Охотников из окольных деревень набралось множество, и с каждым часом подъезжали новые покупщики, тревожно спрашивая: «Есть, что ль, еще мучка или крупка?»

– Есть! – отвечал лоцман, стоявший на носу.

– Почем куль?

– Крупа рубль двадцать, а мука рубль (ассигнациями), – отвечал лоцман.

– А много еще осталось?

– А бог весть, тащи, что добудешь, всё твое, только деньги отдай.

И новоприбывшие приставали с ботников к потонувшему судну, один оставался в ботинке, прочие, раздевшись, бросались в воду на добычу. Кули, добываемые со дна барки, передавались на ботники, которые свозили их на берег и снова возвращались к барке. Каждая партия покупщиков складывала добытые ею кули особо, и, набрав их достаточно, делали расчет с хозяином, после чего часть кулей оставляли на

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов на берегу, под хранением надежного человека, а что можно было захватить, увозили на ботниках домой.

В этой странной лотерее выигрыш был не одинаков. Кто прибыл раньше, тому крупная досталась менее подмоченная и с меньшим трудом, так как верхние кули таскать было несравненно легче, чем сидевшие на дне. Поздно прибывшие или вовсе ничего не получили, или получили мало, и добыча стоила им невероятных трудов.

День был холодный и ветреный, не слишком удобный для продолжительной работы по шею в воде, но несмолкающий хохот, песни и прибаутки доказывали, что рабочие находятся в самом довольном расположении духа. <...>

Я бродил с ружьем по острову, давая промах по осторожным куликам, как вдруг услышал неподалеку жалобный крик: «Прощай, Марфа Алексеевна!»

Я поднялся с песчаной низменности берега на бугор, поросший высокой травой и кустарником. Несколько времени я шел по узкой тропинке, ничего не замечая, – вдруг прежнее восклицание с прибавлением всхлипывания снова поразило мой слух, и гораздо явственнее. Я пошел осторожно на голос, и в воображении моем уже рисовалась картина деревенского свидания перед разлукой во вкусе господина Тургенева.

Однако ж то, что я увидел, не совсем соответствовало моим ожиданиям. На мокром куле, которые были разбросаны по всему острову, сидел человек лет тридцати в синем купеческом сюртуке, опоясанном красным кушаком, в панталонах, заправленных в сапоги, и в щегольской, но зимней фуражке. По всему было видно: купчик. Оглядев его, я почти весь высунулся из-за куста, спрашивая себя: где же Марфа Алексеевна?

В одной руке он держал бумагу с куском паюсной икры, в другой складной нож – вот всё, что я еще заметил. Никакой Марфы Алексеевны подле него не было. Он резал икру, ел ее и плакал, горько плакал, иногда повторяя: «Прощай, Марфа Алексеевна!»

Поверишь ли, читатель, что я не только не смеялся, но был даже тронут... и почему же не так? Неужели паюсная икра, которую несчастный поливал своими слезами, как будто она не была и без того достаточно солон, могла тут изменить что-нибудь и помешать участию, которое возбудили во мне его слезы и голос, исполненный непритворного горя? Я громко кликнул собаку и подошел к нему.

Удивительна быстрота, с которою почти каждый русский человек (исключая мужика) готов поверить другим свое горе. Через полчаса мы как будто век были знакомы с несчастным купецким сыном, Иваном Герасимовичем Холуйским, хозяином или, вернее, главным распорядителем разбитого мокшана, а еще через полчаса я уже подробно знал причину его слез. Иван Герасимович был влюблен (не скрою, что, описывая свою любовь, он несколько раз упомянул и о хорошем приданом девицы), и благополучное препровождение мокшана к назначенному месту должно было решить его участь. Дело в том, что родители невесты не прочь были породниться с Ив<аном> Герасимовичем, считая его человеком хорошего поведения, но только в том деле состоит, – сказали они ему, – в каком вы смысле намерены свадьбу играть? Если вы думаете так свадьбу сделать, как Герасим Васильич (родитель наш, – понимаете, – пояснил Иван Герасимыч) сказали, – можно, говорят, на триста рублей сыграть, – это значит по-кузнецки <...>

1855–1856

«В тот же день часов в одиннадцать утра...»\*

II

В тот же день часов в одиннадцать утра Чудов, в страшных попыхах, побежал с «Каменным сердцем» к своему приятелю Мерцалову и с увлечением сказал ему:

– Григорий Александрович! Прочтите, ради бога, прочтите эту рукопись поскорее! Если я не ошибаюсь, судьба посылает нашей литературе нового блестящего деятеля! По моему мнению, это превосходнейшая вещь!

Мерцалов был человек с тонким литературным вкусом, справедливо пользовавшийся репутацией отличного критика. Он был главным сотрудником журнала, имевшего тогда громкую и почетную известность, которую, можно сказать без преувеличения,

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не доставил ему Мерцалов. Беспристрастие, не преклонявшееся ни перед какими отношениями, ни перед какими выгодами, резкий раздражительный тон, ирония, если не всегда тонкая, то всегда злая и меткая, – доставили ему множество врагов, которые распускали о нем бог знает какие слухи: в их рассказах Мерцалов являлся каким-то бичом всего даровитого и прекрасного, каким-то литературным бандитом, не дающий пощады ни встречному ни поперечному, лишь бы потешить свою молодецкую удаль. Но, в сущности, не было существа добрее, благороднее и деликатнее, и если он действительно иногда накидывался на некоторые недостойные литературы явления с большим жаром и негодованием, чем они заслуживали, то причиной этому была его горячая, страстная любовь к литературе; как нежный отец в любимом детище, он желал видеть в ней одни достоинства, и каждое бездарное, недобросовестное или почему-нибудь вопиющее явление приводило его в отчаяние, поднимало в нем всю желчь, которая и отражалась обыкновенно в отзывах его о таких произведениях.

Зато никто с такою любовью, с таким ободрительным теплым участием не встречал нового явления, обнаруживающего признаки таланта. В этом отношении увлечение его доходило до такой степени, что за одну хорошею стороною он не замечал десяти дурных и, таким образом, подавал врагам своим повод обвинять его не только в преувеличенных порицаниях, которые они называли ругательствами, но и в преувеличенных похвалах, которые они называли кумовством. Вообще крайности составляли главную черту его характера как в литературе, так и в жизни. Середины у него не было – и человек или книга, еще сегодня милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращение. Такие переходы совершались в нем всегда резко и круто, предшествуемые внутренним мучительным, тяжким процессом мысли, доводившей его до сознания ошибки. Ни печатно, ни словесно он не стыдился сознаться в ошибках и если не был упорно постоянен в своем мнении (что некоторыми почитается необходимым признаком великого ума), то можно сказать положительно, что мнения его истекали из глубокого убеждения. Надо прибавить, что судьба не обнаруживала к нему особенного расположения, он был очень несчастлив в жизни, и это, естественно, усиливало его раздражительность.

Мерцалов выслушал восторженные похвалы Чудова «Каменному сердцу» с тою кроткою улыбкою недоверия, с которою опытные критики выслушивают обыкновенно людей, решающихся произнести положительные приговоры в деле, подлежащем исключительно суду их, опытных критиков. К этому должно прибавить, что частые увлечения, за которыми следовали горькие, обидные самолюбию разочарования, научили Мерцалова быть осторожнее, и если он не мог переделать своей натуры, то по крайней мере старался показать, что теперь уже спокойнее и трезвее встречает каждое новое явление, наученный летами и опытом не поддаваться увлечению.

Мерцалову было под сорок лет, но – если сказать правду – он был моложе иного двадцатилетнего юноши благодаря богатству, восприимчивости своей натуры.

– Эх вы, молодежь, молодежь! – сказал он с усмешкой. – Чуть прочтете что-нибудь, понравится, расшевелит сердчишко, уж сейчас и превосходная, пожалуй, даже – гениальная вещь!

– Прежде прочтите – сами то же скажете,

– Прочсть? Да смотрите: стоит ли читать? Я теперь очень занят.

– Стоит, уверяю вас, стоит! – с жаром отвечал Чудов. – Вы только начните – не оторветесь!

– Будто? Вы по себе судите. Полноте! Я уже не ваших лет. Для меня нет теперь книги, от которой я не мог бы оторваться для чего угодно – хоть для пустого разговора.

– Я уж зайду, – сказал Чудов.

– Вечером? Хорошо, заходите.

– И вы мне скажете ваше мнение.

– Уже? Вы думаете, что я вот так всё брошу и примусь читать.

– Но ведь отличная вещь. Прочтите сегодня...

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
– Сегодня никак не могу. Я начал прекрасную книгу <...> надобно кончить.

– Когда же вы прочтете?

– Да вот... прочту как-нибудь, – лениво отвечал Мерцалов.

Чудов ушел. Следует заметить, что Мерцалов вовсе и не думал продолжать чтение, но тотчас же по уходе Чудова с живостью ухватил рукопись «Каменного сердца». Он прочел заглавие, пробежал эпиграф, который составляли несколько строк, выписанных из его собственной критической статьи, и стал читать. По прочтении нескольких страниц лицо его вспыхнуло, он оставил рукопись и заходил скорыми шагами по комнате. Потом он кликнул человека, приказал ему никого не принимать и стал продолжать чтение.

Около восьми часов вечера Чудов, поджигаемый нетерпением, побежал к Мерцалову.

Мерцалов лежал на диване, когда раздался звонок. Лицо его выражало сильное волнение; в руках была рукопись «Каменного сердца». Услышав звонок, он быстро вскочил с дивана и встретил Чудова следующими словами, в которых отражались досада и нетерпение:

– Где вы пропадали?

– Я? Обедал... Мы обедали с Глажиевским в Hotel de Paris.

– Я вас жду, жду; думал уж послать к вам. Что, он молодой человек?

Увидав в руках Мерцалова знакомую рукопись, Чудов догадался, о ком идет речь.

– Молодой, – отвечал он.

– А как?

– Ему, я думаю, лет двадцать пять или двадцать четыре.

– Слава богу! – о восторгом воскликнул Мерцалов и перевел дух: как будто камень свалился с его груди. – Этот вопрос меня очень занимал. Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?

– Никак не более двадцати пяти! – отвечал Чудов.

– Ну так он гениальный человек! – с эффектом произнес Мерцалов.

– Я вам говорил, – заметил обрадованный Чудов.

– Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришел, повернулся, оставил рукопись и пропал! Превосходная вещь, – мало ли что мы называем превосходною вещью. Это слово так же применяется к пустенькому водевилю, как и к) дельной вещи. Это художественное гениальное произведение! – с одушевлением продолжал Мерцалов. – Я вам скажу, Чудов, – заключил он, вспыхнув так, что лицо его покраснело, и сделав резкое движение рукой, – я не возьму за «Каменное сердце» всей русской литературы!

Потом пошли толки о достоинствах «Каменного сердца», о художественном его значении, о глубоком принципе, который лежит в его основании, о необыкновенной концепции его частей и замкнутости целого (тогда подобные слова были в большом употреблении в литературном языке); далее говорил Мерцалов (и говорил чрезвычайно умно и с большим одушевлением) отдельно о каждом лице романа и решительно не находил достаточных похвал искусству автора.

– Главное, что поражает в нем, – сказал он, между прочим, – это удивительное мастерство живьем ставить лицо перед глазами читателя, очеркнув его только двумя-тремя словами, но такими, что если бы иной писатель исписал десять страниц, то и тогда лица его не выступили бы так резко и рельефно! И потом какое глубокое, теплое сочувствие к нищете, к страданию! Скажите, что он, должно быть, бедный человек – и сам много страдал?

Тут пошли расспросы о личности Глажиевского: Чудов пересказал всё, что успел

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не узнал и не заметил о его характере и образе жизни. Мерцалов интересовался даже знать его манеры и общий очерк физиономии и делал из всего, что передавал ему Чудов, более или менее удачные применения: к «Каменному сердцу», объясняя, как тогда любили выражаться, автора его произведением и наоборот: произведение – его автором. В этих соображениях если и не было, по бедности фактов, истины, то они отличались остроумием и, умными тонкостями, в которые вдаваться Мерцалов был большой мастер и охотник. Довольно было ему самого незначительного факта, как уже воображение его создавало целую личность человека, или, если дело шло о событии, оно тотчас давало ему недостающую стройность, – Мерцалов мастерски и совершенно логически объяснял причины отклонения его с прямого пути и вероятный исход; любо было слушать, как отрывок факта, события или не вполне дошедшей еще до нас далекой газетной новости приобретал в его устах и форму и душу, превращаясь в нечто стройное и целое, подобно зерну, брошенному в землю, которое постепенно превращается в высокое и прекрасное дерево, с крепким стволом и широкими, красиво раскидывающимися листьями. И забавно было видеть потом (а подчас и досадно, потому что он развивал свои положения так остроумно, что и сам слушатель нередко увлекался ими и верил им), – забавно было видеть, когда вторая половина факта в свою очередь наконец также достигала до него и, убивая совершенно первую, уничтожала в то же время и здание, выстроенное им с такою тщательностью и такою, по-видимому, логичностью, – здание, которое он привык уже почитать не пустым фантомом.

Он был большой мастер, что называется, логически проводить мысль, восходя до самых отдаленных последствий, но не всегда разборчиво брал точку отправления своей; мысли и оттого, – весьма, по-видимому, логическим путем, – приходил иногда к чрезвычайно странным заключениям. Верность, с которою он часто уловлял таким путем истину, и общее беспредельное поклонение приятелей, слушавших его, как оракула, не позволяли ему обуздывать врожденную живость своей фантазии.

Мерцалов сказал Чудову, что, дожидаясь его в мучительной агонии (он любил выражаться сильно), составил было уже нравственный и даже внешний портрет автора «Каменного сердца», но признался, что портрет его не совсем сходен с подлинником.

– Всего белое радуется, – говорил он, – что ему только двадцать пять лет... Если бы он был уже человек зрелого возраста, тогда всего вернее, что из него ничего более не вышло бы. Тогда на «Каменное сердце» можно было бы смотреть как на результат целой и лучшей половины жизни умного и наблюдательного человека, много пережившего и пережившего. Но написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет!

Мерцалов говорил и о недостатках «Каменного сердца» (как тонкий критик, он не мог не заметить их, да и самое его звание повелевало найти их), но недостатки эти – растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность, – отнесены были к молодости и неопытности автора, конечно несколько не служащим обвинением ни ему самому, ни его произведению.

До глубокой ночи проговорили приятели о «Каменном сердце» и его авторе, и Чудов ушел, пообещав завтра же привести к Мерцалову нового гениального человека. Как ни поздно было, однако ж Чудов забежал к Глазиевскому и откровенно, с юношеским увлечением пересказал ему мнение Мерцалова о «Каменном сердце». В продолжение короткого знакомства с Глазиевским Чудов имел много случаев наблюдать выражение радости в лице нового писателя, которая тем разительнее отражалась в нем, что в обыкновенном, спокойном состоянии оно уподоблялось сероватой и мгlistой осенней туче, готовой ежеминутно разрешиться дождем пополам со снегом и слякотью. Но ни разу еще не заметил Чудов в лице Глазиевского такого счастья, каким озарилось оно при рассказе о похвалах Мерцалова. Повторилось нечто вроде обморока, приключившегося с Глазиевским ночью. Тем же дрожащим, расслабленным, неровным голосом переспрашивал он по нескольку раз, что именно говорил Мерцалов, повторял сам его отзывы, как будто вникал в них и взвешивал значительность каждого слова, поминутно усмехаясь своим дребезжащим нервным смехом и тщетно усиливаясь сообщить солидность и спокойствие своей физиономии.

Чудов не без основания подумал, что, не будь свидетелей, гениальный человек, вероятно, пустился бы вприсядку, как делают обыкновенные смертные в минуты сильной радости. В то же время Чудов заметил, что его собственные похвалы

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов «Каменному сердцу» уже не так радостно выслушиваются Глажиевским; ему как будто всё казалось их мало, и он спрашивал небрежно:

– Григорий Александрия, что ли, так говорил? – спрашивал он иногда, и при ответе Чудова, что так он сам думает, но что, вероятно, и Мерцалов согласится с его мнением, выражал в своем лице нечто вроде презрения: так, по крайней мере, казалось Чудову.

– А ведь вот Разбегаев, – заметил, между прочим, Глаж<иевский>. – Ведь вот он пустой малый, а вкус у него есть; такт есть... И добрый он; бесподобный малый: не завистливая душа! Я улыбнулся – да и вы, кажется, тоже? (тут он значительно, не без иронии, взглянул в глаза Чудову), – когда Разбегаев назвал мое «Каменное сердце» гениальной вещью, а! вот теперь Григорий Александрыч говорит то же!

В этом замечании Чудов как бы слышал упрек себе в том, что при первом знакомстве с Глаж<иевским> был осторожен в похвалах его произведению и не только ни разу не назвал «Каменного сердца» гениальным произведением, но даже не удостоил никаким замечанием мнение Разбегаева как пустое и вздорное.

Это его несколько удивило.

На другой день Чудов ждал Глажиев<ского>, чтоб отправиться вместе к Мерцалову.

Условное время уже прошло, а его не было. Зная нетерпеливый нрав Мерцалова, Чудов побежал к Глажиевскому.

Ген<иальный> чел<овек> был не одет; лицо его носило признаки долгого колебания, борьбы с самим собою и слабости.

– Что же вы? – с упреком сказал Чудов.

– Я не пойду к Мерцалову, – отвечал Глаж<иевский>.

– Как? Что такое? Отчего?

– Да так... право... Не лучше ли будет не идти? – произнес он менее решительно, потупив глаза в пол.

– Отчего же?

– Да я так думал... Я сегодня целую ночь думал... Ведь вы говорите, он спрашивал обо мне, о моем лице даже... что, если... я боюсь... если....

Тут он вдруг остановился, как будто осекся, и потом с решительностью прибавил:

– Нет, – лучше не идти!

– Какое ребячество! – воскликнул с жаром Чудов, – Неужели вы боитесь, что эффект вашего произведения разрушится, когда Мерцалов увидит вас!

– С чего вы взяли, что я так думаю? – резко возразил гениальный человек, обидясь тем, что Чудов угадал причину его раздумья, которое он и высказывал и не высказывал. – Я просто не пойду потому, что рассудил, что мне нечего там делать. Что я ему? Какую роль буду играть я у него? Что между нами общего? Он ученый человек, известный литератор, знаменитый критик, а я... что я такое?

– Осип Михайлыч! Осип Михайлыч! – с кротким упреком заметил Чудов. – Какое смирение! И перед кем? Разве я не читал «Каменного сердца», разве Мерцалов тоже не читал его?

– Так что ж такое? – сдерживая улыбку удовольствия, тихо и вкрадчиво произнес Глаж<иевский>.

– Как будто вы не знаете, как будто не говорили вам, что если не ваши личные достоинства, которых Мерцалов еще не знает, то ваше произведение...

Лицо гениального человека процвело; каждая веснушка его налилась радостью; но, стараясь скрыть ее, он перебил Чудова с притворной досадой и смирением:



– Полноте, полноте! Вы, может быть, так думаете. А он? Вот он вчера расхвалил... а теперь, может быть, поохладел и уж совсем иначе думает...

Тут опять тень действительного сомнения и страха показалась в его лице, которое имело обыкновение меняться тысячу раз в минуту, то изображая собою, как мы уже заметили, угрюмую тучу, готовую разрешиться дождем и слякотью, то вдруг, мгновенно озаряясь ярким играющим светом, каким блестит солнце к морозу.

– Мерцалов не такой человек, да и «Каменное сердце» не такая вещь, чтобы так скоро разочароваться, – отвечал Чудов (причем лицо гениального человека опять изменилось – к морозу). – Он привык обдуманно произносить суждения...

– И прекрасно, и прекрасно! – заметил Глажиевский. – Чего же ему еще? Прочел роман, сделал свое заключение о нем, – ну и пусть пишет, пусть хоть целую книгу, как говорил сам вчера, пишет...

– Так вы не пойдете?

– Нет... разве в другой раз когда... после... будет еще время...

– Ну, как хотите! – с досадой отвечал Чудов, которому надоело упрашивать его. Он также не имел охоты вторично пускаться в доказательства, почему Мерцалову интересно видеть его, к чему Глажиевский как бы вызывал его, прибавив:

– Да и что ему интересного в человеке, который... который...

– Прощайте! – вместо ответа резко сказал Чудов и ушел.

Едва сделал он десять шагов по тротуару, как услышал за собой крик:

– Тихон Васильич! Тихон Васильич!

Он обернулся и увидел Терентия, бежавшего за ним без шапки.

– Что?

– Барин вас просит. Он приказал сказать, что идет, только сейчас оденется.

Тростников воротился.

– Я подумал, – сказал ему Глажиевский, – ловко ли будет: он, может быть, ждет... всё равно, ведь беды большой нет, если и сходить, ведь нет? – спрашивал он, как будто еще сомневаясь, действительно ли нет беды.

– Какая же беда, когда он сам просит и ждет. Я уж вам сколько раз повторял.

Глажиевский оделся, и они пошли. Вся дорогу Глажиевский расспрашивал о привычках Мерцалова; говорил, что он человек несветский, не умеет ни войти, ни поклониться, ни говорить с незнакомыми людьми. Тростников отвечал ему, что с Мерцаловым нужно вести себя просто и больше ничего.

Когда они вошли на лестницу и Тростников взялся за звонок, – «Погодите!» – произнес Глажиевский таким судорожным, резким голосом, что Тростников испугался и невольно принял руку со звонка.

– Что с вами?

– Нет, ей-богу... нет... я решительно сообразил, что мне не должно идти. Я не пойду! Идите одни, – говорил Глажиевский таким голосом, как будто Тростников был посланником ада, пришедшим тащить его в царство тьмы.

И он бросился с лестницы.

– Как хотите! – отвечал взбешенный Тростников. – Мне всё равно; только смотрите: Мерцалов рассердится, он человек желчный, раздражительный...

– Рассердится?

Не успел Тростников договорить последнего слова, как Глаж<иевский> стоял уже рядом с ним и искал рукою звонок; ручка его была о другой стороны двери, чего он не видал, хотя смотрел во все глаза. Эти глаза и вообще вся физиономия Глажиевского походила на тучу, уже разрешившуюся всем тем, о чем было сказано выше; серый осенний день был в полном разгуле; вглядываясь в нее, можно было даже слышать визгливое и жалобное завывание ветра, сопровождающее осенние непогоды...

Тростников только тогда, понял долгую нерешительность Глажиев<ского>, когда увидел, до какой изумительной степени автор «Каменного сердца» оробел, представ пред грозные очи критика. В минуты сильной робости он имел привычку съеживаться, уходить в себя до такой степени, что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия. Оно могло быть только охарактеризовано им же самим изобретенным словом «стушеваться», которое и пришло теперь в голову Тростникову. Лицо его всё вдруг осовывалось, глаза исчезали под веками, голова уходила в плечи; голос, всегда удушливый, окончательно лишался ясности и свободы, звуча так, как будто гениальный человек находился в пустой бочке, недостаточно наполненной воздухом, и притом его жесты, отрывочные слова, взгляды и беспрестанные движения губ, выражающих подозрительность и опасение, имели что-то до такой степени трагическое, что смеяться не было возможности.

Однако ж простой и ласковый прием Мерцалова, а особенно похвалы, которыми он не замедлил осыпать «Каменное сердце», скоро возвратили Глажиев<скому> употребление способностей. Он даже перешел в другую крайность: вздумал щегольнуть развязностью, промурлыкал какой-то стих из песенки и рассказал анекдот о своем Терентии, который, по незнанию грамоты, съел какой-то пластырь, прописанный ему для наружного употребления. Анекдот не был забавен, а изложение его отличалось деланностью и двумя-тремя натянутыми сарказмами.

– Ну, бог с ним, с вашим Терентьем, – заметил Мерцалов. – А вот скажите мне, долго вы писали ваше «Каменное сердце»?

Глаж<иевский> несколько смешался.

– Я?.. Недолго...

– А как?

Глажиевский не вдруг отвечал:

– Да как? Начал я его в мае... а кончил, кончил... в том же году.

Тростникову такой ответ показался несколько странным: еще недавно Глаж<иевский> сказал ему, что писал свой роман четыре года и шестнадцать раз переписывал. «Неужели он, – подумал Тростников, – стыдится перед Мерц<аловым> сказать правду?»

– Скоро! – заметил Мерц<алов>. – Впрочем, в деле творчества время ничего не значит. Пушкин писал некоторые свои произведения необыкновенно скоро, другие, напротив, доставались ему, по-видимому, с огромным трудом; мне случалось видеть рукопись некоторых глав «Онегина»: исчеркано, перечеркнуто по десяти раз каждое слово, а результат один – и то, что написано скоро, и то, что писано долго и с напряженным трудом, читается одинаково легко, с одинаковым наслаждением. И то и другое одинаково гениально! Байрон вообще писал очень скоро. «Манфреда» своего написал он в двадцать два дня, а некоторые песни «Дон-Жуана» стоили ему не более одной ночи. Наш Гоголь пишет, говорят, трудно, по несколько раз переставляет одно слово, – его рукописи тарабарская грамота, а можно ли заметить, читая его плавную, певучую, картинную прозу, что она стоила автору таких усилий? Я имею автографы и целые рукописи многих замечательных писателей. Хотите видеть?

Мерцалов говорил добродушно, не думая о впечатлении, которое производят его слова, но если б он следил за лицом Глажиев<ского>, он увидел бы, что не столько его слова и автографы великих людей занимали слушателя, сколько то обстоятельство, что он, великий русский критик, по поводу его, Глажиевского, заговорил о Пушкине, Байроне и Гоголе, – лицо автора «Каменного сердца» всего красноречивее выражало чувства, возбужденные в нем таким лестным сближением: по этому лицу Тростников, уже начинавший понимать Глаж<иевского>, тотчас догадался,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в чем дело!

– Какой умный человек, – сказал он Тростникову, когда Мерцалов ушел за автографами, – и как удивительно, как тонко понимает изящное. Вот настоящий критик!

Мерцалов был действительно умный человек, но ум его, конечно, проявлялся не в таких сценах и обстоятельствах. Он очень скоро сбился с роли, которую думал выдержать, приняв твердое намерение быть умеренным в похвалах. Довольно было одной фразы Глажиевского, сказанной необыкновенно кротким тоном смирения:

– Вы, кажется, преувеличиваете достоинства моего романа.

И добродушный Мерцалов, вспыхнув, принялся доказывать, почему считает «Каменное сердце» художественным, великим, гениальным произведением. Глажиевский время от времени бросал словечко (не без умысла, как начало казаться Тростникову), которое производило действие масла, влитого на огонь: Мерцалов горячился еще более и, забывая всякую умеренность в выражениях, повторил снова и торжественно вчерашнюю фразу, что он за «Каменное сердце» не возьмет всей русской литературы!

– Да вот увидите: я буду писать; тогда только раскроется всё великое художественное значение «Каменного сердца». Это такой роман, о котором можно написать целую книгу, вдвое толще его самого!

– Полноте, Григорий Александрович! Вы, право, так ко мне добры... да что ж тут напишешь! Признаюсь, приведишь на меня, я не нашел бы, чем наполнить и коротенькую рецензию. Похвала коротка, а если растянуть ее, выйдет однообразно...

– Это только доказывает, – не без маленькой гордости отвечал Мерцалов, – что вы не критик и взялись бы не за свое дело. Разбирать подобное произведение – значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвалы: дело слишком ясно и громко говорит само за себя; но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них.

– Ну, это ваше дело, ваше дело! – отвечал Глажиевский, давая знать, что он совершенно убежден доводами критика.

Беседа в этом роде продолжалась еще часа полтора. Прощаясь с Глажиевским, Мерцалов объявил, что надеется очень скоро его увидеть опять у себя.

– На днях я соберу у себя кой-кого из моих приятелей, и мы введем вас в наш литературный круг. Люди все очень хорошие, – я готовлю им хорошее наслаждение: мы прочтем «Каменное сердце».

Через три дня Глажиевский действительно получил записку следующего содержания:

Любезный Осип Михайлович! У меня собралось сегодня несколько хороших приятелей, они все будут рады познакомиться с автором «Каменного сердца», которое вы, будьте так добры, прочтете нам и прочее, прочее.

Мерцалов.

По прочтении записки лицо Глажиевского вытянулось в длинный вопрос: идти или нет?

Весть о новом гениальном романе, о новом литературном гении с необыкновенною быстротою разнеслась в литературном кружке, центром и светилом которого был Мерцалов. Приятели, приходившие к нему, не видели его иначе как с рукописью «Каменного сердца» в руках, из которой он тотчас же начинал читать отрывки, восхищаясь ими и отдавая должную дань удивления таланту автора.

Литературный кружок, составившийся около Мерцалова, заключал в себе всё, что тогда в литературе было молодого, талантливого и благородного. Но, кроме литераторов, к нему принадлежало несколько лиц, ничего никогда не писавших и которые, вероятно, никогда ничего не напишут. Тем не; менее они, однако ж, не имели другого круга, кроме литературного, в котором и проводили всё свое время,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов некрасов свободное от служебных или других занятий. Их терпели там, да и попали они туда благодаря покровительству Мерцалова или другого литератора, имевшего авторитет; вступление их в литературный круг всегда оправдывалось какими-нибудь достоинствами, которые открывали в них меценаты, а за ними и другие. «Он хотя и не пишет стихов, но он поэт в душе, – говорили про одного. – Посмотрите, как он понимает прекрасное! Как умеет подметить каждую тончайшую черту в поэтическом произведении!» Другого именовали благородной личностью, удивляясь его широкой способности сочувствовать прекрасному, рассказывая о нем всё один и тот же анекдот в доказательство его необыкновенной нравственной силы. В третьем признавали необыкновенный юмор. Особенно много было таких, которые умели сочувствовать, почему их и можно назвать литературными сочувствителями. В самом же деле они были добрые малые, большей частью совершенно безразличные, умевшие сделаться необходимыми светилам кружка кто по своим связям, кто по богатству, а кто просто по особенной угодливости и умению льстить.

Поэт в душе был богат – и вся компания раз в неделю у него ужинала с шампанским! и трюфелями. Кроме того, в важных случаях он давал деньги займы, чем литераторы с кредитом нравственным, но не существенным, не упустили пользоваться.

Благородная личность, отличавшаяся необыкновенной склонностью ко сну, апатии и тучности, умела сделаться необходимою благодаря своей ловкости и неутомимости в исполнении поручений. Нужно ли достать книгу, заказать в долг платье, устроить дело с книгопродавцем, заставить кого-нибудь задать обед и пригласить именно тех-то и тех-то, занять денег, – Благородная личность бросала собственные дела и с жаром спешила выполнить желание поручителя, разумеется, если он был человек с весом. Если литератор уезжал куда-нибудь далеко и имел нужду в корреспонденте, никто и никогда не мог быть надежнее Благородной личности. С непостижимым жаром бралась она извещать вас обо всем, что делается в литературе в ваше отсутствие, управлять вашими крестьянами, если они имеются в Петербурге, высылать вам ваши любимые сигары. И делала она всё с такою готовностью, любезностью, так бескорыстно, так исправно, что слава Благородной личности росла с необыкновенной быстротой и, не довольствуясь литературным кругом, начала проникать уже в другие круги.

Скоро она открыла ему дорогу в более широкую сферу деятельности, где Благородная личность и не замедлила проявиться в таком блеске, что описание подвигов Благородной личности в своем месте наших записок составит несколько отдельных глав, а может быть и целый том.

Художественная натура отличалась почти тем же, чем и Поэт в душе, с тою только разницею, что ужины, которые с стесненным сердцем давала она иногда, чтоб поддержать свое достоинство, были невероятно плохи, а деньги ссужала она с большим трудом, малыми суммами и притом не иначе как под верные залогов, взимая изрядные проценты.

Практическая голова, принимавшая участие в одной акционерной компании, разошедшейся «вследствие неблагоприятного оборота дел» и приславшей своим акционерам вместо дивиденда счет, по которому приходилось приплатить порядочную сумму, – Практическая голова брала тем, что помогала литераторам, как людям трудящимся и способным приобретать, в крайних случаях извертываться их же собственными средствами и доставать денег, когда уже другим путем достать их не было возможности. Она зналась с книгопродавцами, хорошо знала моральный кредит каждого литератора и, действительно, между ними была самая практическая голова.

Элемент светскости держался тем, что приносил собранные, впрочем из третьих рук, новости и сплетни из светского круга, до которых все вообще литераторы весьма падки.

Библиотека снабжала литераторов редкими и дорогими изданиями и вообще всякими нужными книгами.

Газета дополняла Элемент светскости: это был человек, с утра до ночи шатавшийся по разным петербургским кружкам, выслушивавший и тотчас вписывавший в свою книжечку даже всё, что доводилось услышать на улице.

Наконец, Всесторонняя (она же и Восприимчивая) натура брала тем, что всё знала, всё видела, всему сочувствовала и всем наслаждалась, глубоко воспринимая в свое широкое лоно каждое явление жизни, произведение пера, резца и кисти и, подобно

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов нектаре, собирая со всего сок наслаждений. Так о нем говорили, замечая, что счастливая способность его всем наслаждаться, всё] понимать, всему сочувствовать, не отдаваясь ничему исключительно, достойна зависти. В самом же деле он приобрел вес тем, что три года пространствовал за границей, был в Париже и Лондоне, видел все замечательные картинные галереи и обладал необыкновенным нахальством говорить обо всем, – хоть о китайской грамматике, – резко, решительно, с ученым видом знатока.

Таковы были разнородные элементы, составлявшие ту часть кружка, которой мы дали название литературных сочувственников. Между ними были два–три человека ученых (к ним принадлежала всеобъемлющая натура), которые были бы у места во всяком кругу; остальные были решительно безразличны и, кроме исчисленных средств, держались в литературном кругу неистощимой и подобострастной лестью, раболепством и угодливостью, доходившей до того, что многие почитали счастьем, если литератор поручал им переписать свое сочинение, и уверяли, что, исполняя работу, чувствовали восторженный трепет и проливали слезы умиления; другие подвергались добровольному унижению, выдерживая довольно неприятные сцены, когда Мерцалов, раздражавшийся довольно скоро, находился в моменте распада; в такие минуты он не почитал неудобным объявить нектати пришедшему литературному сочувственнику: «Убирайтесь вон!» – или встретить другого таким образом:

– Куда вы к черту пропали? Мне нужен был до зарезу «Conversations Lexicon»! я посылал к вам три раза. Вечно вас нет, когда нужно, а как не до вас – вы тотчас тут как тут! И чего вы пришли, я просил не вас, а лексикон. Принесли?

– Нет, отдан Лыкошину.

– Отдан? Вечно так! И кто вас просил отдавать!

Бедный сочувствитель молчал, не осмеливаясь напомнить даже, что библиотека принадлежит ему и что он волен распоряжаться своими книгами.

Если ужин, данный сочувственником, оказывался дурен, ему тотчас же делался строжайший выговор:

– Подошвы, батюшка, подошвы! – кричал один, вздев на вилку котлету и поднося ее к носу хозяина.

– Уксус! – говорил другой, пробуя сотерн.

– Сандал! – говорил третий, выплескивая на тарелку красное вино.

И так далее.

В заключение некто Парутин, человек с строгими и непреклонными правилами, щеголявший правдивостью <...>

Иногда кончалось тем, что хозяина приводили в слезы. Но страсть к литературному кругу скоро подавляла в нем претерпенное унижение, и через неделю он снова созывает приятелей ужинать.

– Смотрите! – говорили ему в один голос приглашаемые. – Смотрите!

– Смотри! – возглашал басом Парутин, говоривший всякому без исключения «ты», выразительно грозя пальцем амфитриону.

Впрочем, страсть некоторых литературных сочувственников созывать литераторов, которые в таких случаях обыкновенно осведомлялись, будет ли ужин, доходила до такой степени, что они стоили такого обхождения.

Человек ограниченный, редко и неохотно допускаемый в лит<ературный> круг (хотя в горячих усилиях добиться такого счастья он даже ездил за границу, при совершенном незнании французского языка), желая сблизиться с литераторами, изъявляет желание дать им ужин. Он робко сообщает свое требование Парутину.

– А ужин будет? – угрюмо спрашивает Парутин.

– Будет, будет.

– С шампанским?

– Как же!

– Смотрите, чтоб шампанского было довольно.

– Будет, поверьте, будет. Только позвольте вас спросить: жена моя также желает видеть литераторов... Ну, понимаете, ей интересно: она может присутствовать?

– Жена? – восклицает Парутин. – Жена! Никогда! Чтобы духу ее не было!

– Но она потом уйдет; ей только посмотреть...

– Ни-ни-ни! – возражает Парутин, грозно поводя чубуком, который у него в зубах.

– Жены не надо, слышишь? И детей не надо... Слышишь?

И робкий сочувствователь гонит со двора жену и детей, чтоб только иметь честь потчевать ужином господ литераторов.

Юные сочувствователи, находящиеся еще под опекой папенок и маменек, иногда также поддаются желанию созвать литераторов, долго борются они с искушением; наконец всё, по-видимому, устроено хорошо; комната их, к счастью, особо, в нижнем этаже, и притом родителей нет дома. Сочувствователь спешит воспользоваться благоприятным случаем и созывает компанию.

Пир в полном разгаре; только что поужинали, шампанское льется рекою, и под его живительным влиянием разговор всё становится одушевленнее; наконец начинается горячий спор, постепенно переходящий в крик.

Вдруг посреди всеобщего одушевления тихими шагами, в туфлях, халате и колпаке, входит старик, с раздраженным, пылающим лицом, с сальным огарком в руке. Он падает, как осколок бомбы, посреди веселой компании, и всё в минуту умолкает, устремляя вопрошающий и недовольный взор к сочувствователю, как полотно бледному и трепещущему. Воцаряется глубокая тишина, посреди которой, подобно грому, раздается грозный, раздражительный голос старика:

– Мальчишка! Что ты делаешь? Мальчишка! А вы, господа...

– Папенька, честь имею представить вам моих приятелей: господин Решетиллов – автор «Каменного сердца»; Ветлугин – наш знаменитый критик, Тростников – тоже критик, Лыкошин – переводчик Кальдерона... и всего!

Несчастный! Он думает знаменитостию своих гостей смягчить гнев раздраженного родителя. Но родитель грозно прерывает его восклицанием:

– Молчать! Убирайся спать, мальчишка! Прошу покорно: вино! лампы! канделябры!

Он подходит к лампе, к канделябрам и тушит их. Комната остается в полумраке, и только свеча в руках старика тускло освещает ее...

Гости хватают шляпы и гурьбой уходят, сопровождаемые, грозным ворчаньем старика, который не соблюдает разборчивости в выражениях ни касательно их, ни касательно своего сына, которого он угрожает просто посечь.

– Да и гостям твоим надо бы то же! – кричит он так громко, что уходящие гости слышат.

Проклиная юного сочувствователя, гости расходятся с хохотом.

Юный сочувствователь долго потом не показывается в литературном кругу, пока наконец важная услуга Мерцалову или какая-нибудь чрезвычайная новость, ему одному известная, снова не раскроет ему дверей туда.

Но сильнее ужинов, мелких услуг и лести поддерживал сочувствователей в литературном кругу, даже делал необходимыми, их язык, покорный и неутомимый, которому светила кружка могли давать по собственному произволу какое угодно направление в твердой уверенности, что похвала, порицание, новость, мнение – всё

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов не будет пущено в ход с невероятной скоростью и таким же искусством. Не должно думать, чтоб такие вещи делались вследствие предварительной стачки. Избави бог! Как между литераторами, так и между сочувствителями господствовал дух правдивости, может быть, потому, что светила кружка отличались действительно честностью или, говоря литературным языком, добросовестностью; дурные поступки подвергались здесь строжайшему осуждению; неоднократно решалось такому-то не подавать руки за то, что он, как оказалось, дурно обошелся с своей женой, а такому-то<...>

Самый последний сочувствитель гнушался быть орудием кого бы то ни было; каждый хотел иметь свое мнение, всего более хлопотал о самостоятельности. Но поклонение светилам было так безусловно, что стоило одному из них пустить в ход какую угодно нелепость, чтоб через час все дилетанты повторяли ее между собой и своим приятелям, попадающим на Невском. Ревность их к славе своих патронов доходила до такой степени, что если какой-нибудь литератор, не согласный с общим мнением, резко отзывался о превозносимом произведении, то сочувствители доходили иногда до такой дерзости, что накидывались на него и обвиняли его в пристрастии, в зависти. Такие, нечастые впрочем, пассажи оканчивались обыкновенно к стыду чрез меру хвативших в своем усердии сочувствителей, ибо взбешенный их наглости литератор наконец серьезно принимался доказывать свое мнение о недостатках спорного произведения; к нему приставали другие литераторы, и часто с ним соглашался даже сам автор. Тут надо было видеть замешательство бедных сочувствителей, впрочем, оно было непродолжительно. Они круто поворачивали в противную сторону, замечали, что им самим начинало казаться, и пр.

Вскоре после посещения Решетилова к Ветлугину забежал Балаклеев. Решетилов поговорил и с ним о «Каменном сердце». От него Решетилов побежал на Невский проспект, и через полчаса все сочувствители знали о гениальной повести.

Такова была меньшая и неглавная часть кружка. Литераторы... Но пусть не думает читатель, что я намерен теперь представить глазам его ряд светлых, безукоризненных портретов в пример и назидание непишущего человечества. Человек всегда человек и будет всегда человеком, как сказано в одной глубокомысленной рецензии... Мелкие слабости, ничтожные побуждения, низкие чувства так же причастны людям, пишущим хорошие книги, как и людям, читающим их. Как и самые простые смертные, они

сплетничали и злословили,  
хвастали и завидовали.

И сплетни их были тем непрощительнее, что они прекрасно знали и здраво судили, до какой степени такое ремесло унижительно. И тем ужаснее, что под видом участия к вам, во имя справедливости, во имя новых и светлых идей они почитали своим правом вмешиваться в ваши дела; входить в анализ вашей домашней жизни; без спроса и позволения давать вам советы, сначала косвенные, а если вы недогадливы, то и прямые, поражающие и оскорбляющие вас грубой, непрошеной откровенностью и бесцеремонным прикосновением к таким сторонам вашей жизни, даже вашего сердца, которые и самой деликатной рукой не могли быть тронуты без боли и оскорбления. И боже мой! К чему приходили слабые характеры, подававшие их влиянию! Чему подвергались люди, благообразно заключившиеся в заколдованный круг, куда не допускался посторонний нескромный глаз! Ужасна была участь последних: их называли тупоголовыми, отстающими, чуть не раскольниками; не зная ничего верного о них, сплетничали вдвое более, чем о тех простодушных, которые сами подавали оружие и подставляли голову; в бессильной злобе изобретали небывалые факты, предрекали им разорение, считали в их кармане каждую копейку, им писали колкие намеки и даже выговоры отсутствующие светила и, наконец, придирались к маленькому лбу, неспособному вмещать обширного ума, отрицали в них талант, не помня собственных недавних восхвалений, не справляясь с общим мнением!

Но положение первых было поистине еще ужаснее? каждый факт, каждая мелочная черта их жизни делалась тотчас общим достоянием. Избави бог, если случалось что-нибудь с ними особенное, не ежедневное! Люди несветские, никуда не выезжающие, редко бывающие даже в театре, они радовались, как празднику, такому событию и (добросовестно) считали своим долгом принять в нем участие. Уже не одна непишущая часть кружка, но весь кружок до последнего своего члена превращался в самых жарких, бескорыстных, великодушных сочувствителей. Бедной жертве сочувствия никуда невозможно было показаться.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
При появлении его дамы с грустию, чуть не со слезами, смотрели ему в глаза и потом медленно опускали голову.

Сочувствователи поникали годовой, вздыхали, грустно пожимали плечами и были в разговорах с ним уступчивее.

Как только он уходил, тотчас проносился общий вопль сожаления, такого искреннего, такого теплого, что, случись тут посторонний зритель, он должен был неминуемо расплакаться. Потом начинались толки:

– Бедный, бедный Ветлугин, или Балаклеев, или Тростников! Какое несчастье: такой прекрасный, умный, образованный человек – и жена его бьет!

– Бьет, бьет! Я сам видел... Я пришел к ним, а он вышел ко мне с красными глазами...

– Может быть, он спал?

– Нет, нет! Какое спал! У него и щека одна немного припухла...

– Да чего тут много толковать! Я пришел к ним; в столовой никого нет; так как я вхожу без доклада, то я пошел дальше – в гостиную, в детскую. Наконец вхожу в спальню – и ужасная картина представилась моим глазам: он сидит на полу, прислонившись лицом к кровати, а Наталья Карповна страшно топает ногами и кричит: «Так ты не хочешь, так ты не хочешь?» Чего не хочешь, уж я не знаю, только волосы у ней были растрепаны и лицо пылало, как у фурии.

– Ах несчастный!

В самом деле, участь несчастного, сделавшегося жертвой сочувствия, с каждым днем становилась ужаснее. О нем говорили и Элемент светскости, и Всеобъемлющая натура, и Симпатическая натура, и Поэт в душе; о нем кричал даже Мальчишка, рассказывая, что сам видел, как Лыкошин подрался при нем с своей женой и не показывается теперь, потому что у него один глаз подбит. И Благородная личность, отводя в сторону приятеля, с грустью шептала, качая таинственно головой:

– Мы с женой сегодня целую ночь не могли уснуть.

– А что?

– Бедный, бедный Лыкошин! – и прочее.

И Симпатическая натура, испугавшись урчания в желудке и отказываясь пить шампанское, говорила:

– Не могу, друг мой, не могу! Положение Лыкошина мучит меня.

– Положение Лыкошина, положение Лыкошина! – и начинались беспокойства только о положении Лыкошина.

– Что же, однако ж? – замечал господин, любивший предавать всему таинственный громадный колорит. – Отчего он молчит? Отчего он не хочет облегчить души своей, открыв тайну своим друзьям? Надеюсь, он знает, что мы его друзья, что мы желаем ему добра и готовы сделать всё, что только можно. Помочь советом, даже самым делом. Я пойду, я непременно вызову его: пусть выскажется; на что же мы и друзья его...

И он шел к нему и после небольшой прелюдии говорил ему:

– Послушай, Лыкошин: ты знаешь, как я люблю тебя...

Лицо бедной жертвы сочувствия покрывалось смертельной бледностью; она усиливалась молчать, но пытливый и неотвязчивый приятель добивался – таки своей цели. Уверенный, что сделался теперь человеком интересным, он, не справляясь с временем, смело шел теперь к мудрецам первой величины и сочувствителям и каждому пересказывал тайну Лыкошина, начиная так:

– Ну, я был у него. Сцена была тяжела. Я плакал. Никогда еще я не выходил ниоткуда с таким тяжелым, безотрадным впечатлением.



Обнадеженные его успехом, и другие начинали заходить к несчастному. Он крепился, упорно молчал. Но сочувствие становилось всё смелее и настойчивее, сожаление делалось явным, намеки становились уже вовсе недвусмысленными. В то же время летели письма к отсутствующим мудрецам и сочувствителям с подробным описанием драки <и> бедственного положения сочувствителя.

И спустя несколько дней несчастный начинал получать письма двусмысленного, щекотливого содержания, в которых уверяли, что его любят, что он пользуется общим уважением, что никто к нему не переменялся и что, если он вздумает приехать, его ждет самый блестящий прием, и всё кончалось намеками, далеко не двусмысленными и которых целью было – утешить, успокоить его!

И о таких письмах потом с важностью говорили: «Тр<остников> писал к нему. Кажется, это его несколько утешило. Что ни говорите, а Тр<остников> чуд<ный> малый!»

Наконец сплетня разрасталась до невероятных размеров; о пей чуть не говорили явно при самой жертве сочувствия; она уже начинала делаться достоянием лакеев и горничных. Несчастный всё видел, видел, что уже поздно скрываться, что всё уже известно, приятели приставали всё настойчивее, и под конец, в заключение какого-нибудь обеда или ужина, когда любопытство, разгоряченное шампанским, становилось настойчивее, совершался последний позорный акт сочувствия. Несчастный, осажденный со всех сторон, во всеуслышание рассказывал свой позор. И роль его была бы в высшей степени тягостна, оскорбительна, если б, к счастью, замечая, что производит эффект, делается предметом общего внимания, несчастный не поддавался тщеславию и не начинал рисоваться своим положением. Пересказав всё и подстрекаемый общим вниманием, он начинает рассказывать такие вещи, о которых мог бы умолчать...

Тут уже жертва сочувствия становится достойною своих сочувствителей, и как тот, так и другие возбуждают одно чувство... чувство...

Начинался другой период, – период явного сочувствия, советов, бесцеремонного вмешательства, но не лучше ли мы сделаем, если опустим завесу, которую чуть приподняли?..

Они начали толпами забегать каждое утро, раздражаемые молвой о необыкновенном литературном явлении. И он каждому охотно рассказывал подробности как о самом авторе, так и о произведении его, скрашивая свои сведения отрывками из «Каменного сердца», которое, как он сам говорил, сделалось его настольного книгою. В самом деле, он не выпускал рукописи из рук и в разговорах своих беспрестанно цитировал выражения нового писателя, что, впрочем, и делал каждый раз по прочтении замечательной книги: так впечатлителен был его ум. В подтверждение своих похвал он читал и перечитывал перед сочувствителями места из «Каменного сердца», и многократно повторенное чтение наконец так притупило его вкус, что он стал находить превосходным даже и то, что сначала находил недостатком в «Каменном сердце».

– В этом удивительном сочинении, – говорил он, – нет недостатков. В нем всё строго обдуманно, соображено и выполнено так художественно, что то, что с первого раза кажется как будто натянутым, не идущим к делу, – взгляните пристальнее, вы увидите, что недостаток не в ослаблении таланта автора, а в вашей собственной неспособности и ограниченности объять во всей полноте и ширине художественное произведение. Такова его глубина, что только по внимательном чтении открывается оно во всей глубине и высоте широкого своего содержания... и вы видите, что тут не один роман, но пять, десять, двадцать романов; развеите любую страницу – и выйдет прекрасная вещь, которая могла бы составить славу писателю с обыкновенным талантом!

Таких отзывов было слишком достаточно, чтобы взволновать не только сочувствителей, но и литераторов, которых мнение Ветлугина не могло не расположить в пользу нового автора.

– Слышали, слышали? – говорил встречному и поперечному Балаклеев, пробегая с своей обыкновенной торопливостью по Невскому. – В нашей литературе явился новый гений. Мы с Тростниковым первые открыли его; я его знал еще в детстве. Мы с ним приятели. Удивительная вещь! Ветлугин говорит, что он не читал ничего лучше в

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов жизнь свою!

– Были у Ветлугина? – таинственно спрашивал тот, которого именовали Благородною личностью, встречая другого сочувствителя или литератора.

– Был.

– Слышали?

– Слышал, как же, интересно прочесть...

– Новая эпоха в русской литературе: такого воспроизведения действительности еще не бывало! Ветлугин говорит, что он не возьмет всей русской литературы... В самом деле, необыкновенное явление.

– Вы его знаете?

– Нет. А что?

– Жена моя очень интересуется его видеть. Мы не спали всю ночь.

– А что? Болен у вас кто-нибудь?

– Нет, слава богу, здоровы. Мы всю <ночь> говорили о «Каменном сердце». Ветлугин прочел мне одну сцену. Я рассказал жене. У ней такая впечатлительная, симпатическая натура! Не могла уснуть...

И, нагнувшись таинственно к уху сочувствителя, Благородная личность под величайшим секретом передавала сочувстителю то, что уже было известно всему ли<тературному> кругу.

– Ах, ты не поверишь, Лыкошин, что я скажу! – восклицал сладеньким, протяжным голосом Элемент светскости своему приятелю.

– Что такое?

– Ветлугин открыл гения... И проч.

И, встречаясь между собою, сочувствители и литераторы ни о чем более не говорили, как о «К<аменном> сер<дце>».

– Будете в пятницу у Ветлугина?

– Буду. А вы?

– Как же! Еще бы! – и проч. Наконец наступила и пятница.

Литературные чтения выводятся в Петербурге. Теперь в моде показывать пренебрежение к литературе и бегать с таких собраний, где пронесется шепот, что тот или другой господин прочтет свою повесть, и лучший способ разогнать гостей – пустить такой слух. Журналисты избегают чтений, отговариваясь недостатком времени, литераторы разъединены и редко сходятся; не то что прежде, когда существовало несколько таких домов, которые как будто и процветали единственно с тою целью, чтоб служить приютом литераторам, и которые потому назывались литературными отелями; литератор мог приходиться туда когда угодно, делать что угодно: если он хотел есть, ему хоть в полночь начинали варить и жарить; хотел спать – ему клали под голову мягкую подушку и ходили около него на цыпочках, разговаривали не иначе как шепотом; хотел говорить – его слушали с подобострастием, улыбались каждому его слову, и всё семейство сбивалось с ног, спеша предложить ему кто варенья, кто любимых крендельков к чаю, кто папирос.

Без голоса и без слуха ему иногда впадала мысль петь итальянские арии, и семейство слушало его с восхищением и клялось, что не пойдет уже в оперу, и рассказывало потом знакомым, что вчера у них дома была опера. Литературные сочувствители сделались редки и тоже заняли у литераторов пренебрежение к чтению. Только в мелких литературных кружках процветают еще чтения; литераторы-дилетанты тоже до них большие охотники, не совсем, впрочем, бескорыстные: заманив литераторов известием, что у них будет прочтено

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов замечательное сочинение, они действительно уступают сначала роль автору, интересующему литераторов, но потом, когда он кончит чтение (что случается иногда уже к полуночи), дилетанты скромно уведомляют, что у них тоже есть новинка, которую они желали бы прочесть, чтобы воспользоваться советами таких избранных и опытных судей. И под видом советов, которым не следуют, они начинают мучить литераторов своим собственным произведением иногда до трех и до пяти часов ночи.

Но в ту эпоху, к которой относится наш рассказ, чтения литературные процветали. Причиной тому были отчасти, что Ветлугин, дававший направление вкусам кружка, действительно любил свое дело и явление каждого нового таланта составляло для него праздник; он носился с ним, как с собственным детищем, – и не только раз, но десять раз готов был его слушать, а отчасти потому, что массу кружка составляли люди очень молодые. В пятницу часов в семь к Ветлугину сбежалось всё, что принадлежало к кружку и имело какое-нибудь право присутствовать. Даже явилось несколько таких лиц, посещением которых Ветлугин был вовсе недоволен.

Тут был, говоря слогом модных нувеллистов, и ты, литератор <...>

В восемь часов явился Решетилов в сопровождении маленького благовидного господина лет двадцати семи, с необыкновенно мягкими, плавными движениями, обличавшими сразу тихий, обязательный характер молодого человека. Этот молодой человек, не литератор и не художник, представлял собою особенный тип литературных сочувственников. Роль его состояла в сопровождении литературных и других знаменитостей, почему и называли его Спутником. Бог знает, как случилось, но лишь разносилась молва о Новой знаменитости, он уже находился неотлучно при ней; был даже с нею в коротких отношениях, которые, впрочем, имели странный, несколько подозрительный характер: не дружеские и не приятельские, они скорее напоминали умиленные отношения скромного, расторопного и понятливого подчиненного к милостивому начальнику. И действительно, было почти так.

Гениальному человеку, в пылу торжеств, славы и поклонения, конечно, не могла льстить короткость с неизвестным маленьким человеком, но спутник с первого визита умел сделаться необходимым ему обязательною и многостороннею услужливостию.

Каждое утро являясь к гениальному человеку, он передавал ему (разумеется, не без прибавлений) всё, что слышал вчера лестного о нем и нелестного о соперниках его, посвящал кстати гениального человека в сплетни и закулисные тайны еще мало знакомого ему литературного кружка.

Прибегал к нему немедленно с каждым номером журнала и листком газеты, в которых говорилось о гениальном человеке.

Вытверживал наизусть и делал общим достоянием остроты и достопримечательные изречения гениального человека, произнесенные в кругу двух-трех приятелей.

Был посредником между гениальным человеком и теми, которые желали с ним познакомиться, дать ему обед, равно и теми, у которых он желал занять, и в подобных случаях.

Если гениальный человек желал пустить в ход такую мысль о своем сочинении, которую ему самому неловко было высказать, он сообщал ее Спутнику. И догадливый Спутник понимал, что с ней делать.

Сменял слабого грудью гениального человека во время торжественных чтений, придавая своему голосу в патетических местах творения (читаемого даже в двадцатый раз) дрожание – признак потрясенного чувства.

Если читалось сочинение новое, восклицал в известных местах: «Тс, те!.. сейчас начнется превосходная сцена!..» И внимание слушателей удваивалось.

И прочее.

Как будто в вознаграждение столь бескорыстных и многосторонних услуг косвенные лучи славы, осенявшей чело гениального человека, падали на Спутника, доставляя ему своего рода выгоды.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

– Вы знаете, с кем я сейчас шел? – спрашивал он, встретив литератора.

– С кем?

– С Решетиловым!

– А, вы с ним знакомы!

– Как же, мы приятели. Хотите, я приведу его к вам?

– Сделайте одолжение!

– Непременно. Когда же?

– Да хоть завтра.

И таким образом Спутник попадал наконец к литератору, который знал его уже десять лет, но никогда не приглашал.

– Владимир Петрович! Владимир Петрович! – кричал Спутник журналисту, который, завидев его, опрометью бросался в сторону. – Владимир Петрович!

– Что? – сердито спрашивал журналист, оборачиваясь, но не останавливаясь.

– Я вчера был у Решетилова. Он пишет новую повесть...

Журналист останавливался.

– Я уговаривал его, чтоб он отдал ее в ваш журнал. Журналист быстро подходил к Спутнику и, любезно подавая ему руку, говорил:

– Здравствуйте! Что же он?

– Да не знаю еще. Хотите, я поговорю...

– Сделайте одолжение.

– С удовольствием, непременно! Да я просто скажу ему: «Если не отдашь повести Томачевскому, я больше не друг твой!»

– Очень обяжете. Когда же я могу получить ответ?

– Да когда вам угодно; хоть завтра. Только где мы встретимся?

Кончалось тем, что суровый и надменный журналист приглашал его обедать.

Встретив актера, пользующегося славой (до бесславных актеров, сочинителей, журналистов ему не было нужды; он отзывался о них презрительно, с кислой гримасой), он спрашивал:

– Скоро ваш бенефис?

– Да не знаю еще! – небрежно отвечал актер, едва удостоивая его поклоном. – А что?

– Знаете, Решетилов...

И начиналась та же история.

Словом, Спутник так мастерски пользовался знаменитостью своего друга, что оставалось жалеть, почему он лишен собственной, – как иногда жалеешь голодного бедняка, искусно трактующего о размещении и употреблении чужих капиталов. Фразы: «Мы с Решетиловым», «Я вчера работал, вдруг входит Решетилов», «Новость, важная новость: Решетилов пишет новый роман; я слышал две главы: превосходно!», «Знаете, что сказал Решетилов о вашей повести?», «Какой странный характер у Решетилова», – такие и подобные фразы не сходили с его языка, доставляя ему улыбку, внимание, ласковый прием у людей, которых общества он добивался. А пообедать у журналиста или известного литератора, пройтись с ним по Невскому или

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не проехаться в его коляске – такие события составляли светлые точки в жизни Спутника, благоразумно сознавшего, что ему не дано блистать собственным светом. К неприятным и продолжительнейшим эпохам его жизни принадлежали те, когда великий человек спивался и умирал, или надменно покидал своего преданного друга, или, наконец, нисходил в ряды обыкновенных смертных.

В таких горестных случаях Спутник мгновенно исчезал, оставляя в литературном кругу одно воспоминание, столь же смутное, как и его личность.

Как случилось, что Спутник сблизился с Решетилковым, никто не знал; но, когда они явились вместе, никто не удивился; все как будто ждали такого события и безусловно покорились ему.

#### Комментарии

В состав восьмого тома входят прозаические произведения 1841–1856 гг., в большинстве своем незавершенные и не опубликованные целиком при жизни Некрасова. К ним относятся «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Сургучов», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», «В тот же день часов в одиннадцать утра...» – повесть, известная в литературе под условным названием «Каменное сердце» или «Как я велик!». Законченной является лишь «Повесть о бедном Климе», но и над ней, судя по рукописи и по тому, что некоторые ее главы использованы в романе о Тростникове, Некрасов продолжал работать.

Лишь отдельные немногочисленные главы и отрывки из прозаического наследия, представленного в томе, были напечатаны Некрасовым как самостоятельные произведения: «Необыкновенный завтрак» (ОЗ, 1843, № 11), «Петербургские углы» (ФП, ч. 1) – из романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения» (С, 1855, № 1) – первые четыре главы. На этом основании они включены в состав предыдущего тома (см.: на ст. изд., т. VII, с. 308–354, 434–468). В настоящем томе отрывки из «Жизни и пождений Тихона Тростникова» и главы из «Тонкого человека...» публикуются как органическая часть рукописных текстов, из которых они были в свое время извлечены писателем (варианты и комментарии к ним см.: наст, изд., т. VII, с. 491–530, 573–593, 609–615).

Изучение черновых рукописей и авторизованных писарских копий «Повести о бедном Климе» и отрывка из романа о Тростникове (об Агаше и Ванюхе) позволяет высказать предположение о том, что писатель также готовил их к публикации. Однако это намеренно по ряду причин, преимущественно творческого характера, осталось неосуществленным.

По времени написания незавершенные романы и повести примыкают к ранней прозе Некрасова, его водевилям и фельетонам. Общий круг тем и персонажей, проблематика и художественные достоинства названных выше произведений свидетельствуют о новом этапе в становлении Некрасова как художника-реалиста. Одновременно с работой над незаконченной прозой возникают новые поэтические замыслы, совершенствуется мастерство, определяются основные тенденции развития таланта Некрасова и его место в русской литературе. Выходит первый сборник его «Стихотворений» (1856), в котором была опубликована поэтическая и общественно-политическая декларация Некрасова – «Поэт и гражданин»; создаются большие эпические произведения – поэмы «Белинский» в «Саша».

Представленные в томе произведения при всем их жанровом и тематическом разнообразии (повести, романы, очерки) отличаются известным единством, объясняемым не только тем, что в ранней прозе писателя значительную роль играет автобиографическая основа. Они отражают определенный период в идейно-художественном развитии Некрасова. Ко времени интенсивной работы над «Повестью о бедном Климе», романом о Тростникове Некрасов уже не был начинающим литератором: он пережил неудачу с выходом в свет сборника «Мечты и звуки», прошел трудную школу в изданиях Ф. А. Кони, работал у книгоиздателя В. П. Полякова, начал сотрудничать в «Отечественных записках», сам занялся редакционно-издательской деятельностью, подготовив вместе с Н. И. Куликовым «Статьи в стихах без картинок». К 1842–началу 1843 г. относится важнейшее событие в жизни писателя, оказавшее влияние на его творчество, – сближение с Белинским. В середине 1840-х гг. Некрасов знакомится и поддерживает дружеские отношения с Тургеневым, талантливыми литераторами кружка Белинского – Боткиным, Анненковым и др., становится организатором и издателем «физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника», а с 1847 г. редактором «Современника». Все это было

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовское творчество: прямое или косвенное преломление в его творчестве.

Скупые выдержки из автобиографических записей Некрасова 1877 г. раскрывают характер его творческих исканий и объясняют отношение к своей прозе: «Поворот к правде, явившийся отчасти от писания прозой, критических статей Белинского, Боткина, Анненкова и других» (ПСС, т. XII, с. 23–24).

Таким образом, работа над незавершенными произведениями приходится на переломные годы в литературной судьбе Некрасова, период, когда формировалась творческая индивидуальность поэта, прозаика, критика, сказывалось воздействие идей Белинского, крепло демократическое мировоззрение. Эта «переходность» проявилась в разнохарактерном стиле произведений, публикуемых в томе, в особенностях их композиции и жанровой структуры, в многообразной и пестрой тематике и даже в том, что они в большинстве своем не были доведены до конца.

Но оставшиеся на долгое время неизвестными прозаические опыты Некрасова вполне соответствовали требованиям времени и были в русле историко-литературного движения 1840–1850-х гг. В «Повести о бедном Климке», в самом названии которой звучит традиционная для литературы той эпохи тема бедного чиновника, сочетаются как элементы явной пародии на романтическую повесть, так и физиологические зарисовки. В повести «Сургучов», произведении типичном для «натуральной школы», формулируется литературно-эстетическая программа молодого Некрасова, обратившегося к изображению мира социально униженных. Творческая история романов «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» и «Тонкий человек...» раскрывает стремление писателя овладеть большими эпическими формами, что плодотворно сказалось на освоении им эпических жанров в поэзии.

Незавершенную прозу Некрасова, при всей традиционности ее тем, сюжетов и проблематики для литературы 1840–1850-х гг., отличают тенденции, ставшие затем стержневыми, ведущими в творчестве поэта-демократа. Это изображение социальных контрастов Петербурга и судеб обездоленных низших слоев общества («Повесть о бедном Климке», роман о Тростникове), сочувственное отношение к крестьянству («Тонкий человек...», отдельные страницы романа о Тростникове), воспроизведение литературно-журнальной борьбы эпохи и решение связанной с нею проблемы назначения литературы как общественного служения (роман о Тростникове, повесть «В тот же день часов в одиннадцать утра...»).

Известно, что зрелый Некрасов относился к своим прозаическим опытам весьма критически («Прозы моей надо касаться осторожно»), делая исключение лишь для опубликованных им «Петербургских углов» и начала «Тонкого человека...» (см.: ПСС, т. XII, с. 24). В то же время обилие рукописных редакций и вариантов, набросков, поправок, дополнений, интересных творческих помет, конспективных записей, в которых встречаются темы и образы, использованные позднее в поэзии Некрасова («Родина», «Огородник», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тройка» и др.), говорит о длительной, упорной и серьезной работе молодого писателя над прозой.

Ценность помещенных в томе произведений и вариантов к ним заключается в том, что они раскрывают сложный процесс становления художника, поиски им своего неповторимого пути в литературе. Изучение творческой истории публикуемых текстов зачастую проливает свет и на причины незавершенности многих из них.

\* \* \*

Первые общие сведения о неизданных прозаических произведениях Некрасова без упоминания их названий содержатся в «Архиве села Карабихи» (1916). Его издатель, племянник поэта К. Ф. Некрасов, предполагал опубликовать второй том, в который должны были войти «некоторые неизвестные произведения Н. А. Некрасова в стихах и прозе» (АСК, с. 1). Рукописи, найденные в Карабихе, лишь в 1925 г. были приобретены Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина. Среди них были обнаружены авторизованная писарская копия «Повести о бедном Климке», черновые автографы романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», отдельные разрозненные отрывки глав повести «Сургучов», рукопись неопубликованных глав незавершенного романа «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», главы повести без названия, начинающейся словами «В тот же день часов в одиннадцать утра...».

Первыми публикаторами и исследователями этих произведений явились К. И. Чуковский и В. Е. Евгеньев-Максимов. В 1917 г. Чуковский напечатал повесть «В тот же день часов в одиннадцать утра...» под заглавием «Каменное сердце» (Нива, 1917, № 34–37), позднее в периодических изданиях – отдельные фрагменты «Тонкого

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов человека...», поместив затем большую их часть в свою книгу «Некрасов. Статьи и материалы» (1926). В 1928 г. им же опубликована книга «„Тонкий человек“ и другие неизданные произведения» (в ее состав вошла и повесть «Каменное сердце»), снабженная комментарием, которому автор, по его собственному признанию, стремился придать «легкую, почти беллетристическую форму». В 1931 г. Чуковским и Евгеньевым–Максимовым изданы отдельной книгой «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» и «Повесть о бедном Климе». Рассчитанные на широкий круг читателей эти публикации не включали вариантов, набросков во всей их полноте. Отдельные неизвестные ранее фрагменты романа о Тростникове, «Тонкого человека...», «Сургучова», «В тот же день часов в одиннадцать утра...» публиковались в «Записках Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина» (вып. 6, М., 1940, с. 7–23; вып. 21, М., 1959, с. 233–234).

Впервые незавершенные произведения 1841–1856 гг. были в 1950 г. собраны в издании: ПСС, т. VI. Текстологическая подготовка и комментирование их, выполненные А. Н. Лурье, естественно, учитываются в настоящем томе, так же как и работы Г. А. Гуковского, В. Е. Евгеньова–Максимова, А. Н. Зиминой, А. Ф. Крошкина и новейших исследователей прозы Некрасова. В отличие от предшествующих изданий в настоящем томе впервые публикуется полный свод вариантов (в т. VI ПСС они давались выборочно). Изучение рукописных материалов помогает представить себе процесс создания публикуемых произведений. Это тем более важно, что о большинстве незавершенных прозаических опытов не сохранилось ни авторских свидетельств, ни каких-либо свидетельств современников. На основе исследования всех рукописных источников в публикуемые тексты внесены дополнения и исправления, уточнены датировки, обновлен историко-литературный, текстологический и реальный комментарий.

фрагменты рукописей, по которым печатаются произведения в настоящем томе, отделены друг от друга пробелами (если имеются в виду значительные пропуски в тексте). В именах персонажей отсутствует единообразие; эта особенность рукописей сохранена, за исключением случаев, особо оговоренных в комментариях.

Тексты и варианты подготовили и комментарии к ним написали: И. А. Витюгова и В. И. Коровин – текст романа «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», историко-литературный и реальный комментарий к нему; И. А. Битогова – варианты и текстологический комментарий к нему; Т. П. Голованова и В. И. Коровин – текст «Повести о бедном Климе»; Т. И. Голованова – варианты и комментарии к ней; В. И. Коровин и Н. Н. Мостовская – текст повестей «Сургучов» и «В тот же день часов в одиннадцать утра...», П. Н. Мостовская при участии В. И. Коровина – варианты и комментарии к ним; Н. И. Мостовская – текст романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». варианты и комментарии к нему.

Условные сокращения, принятые в томах 7 и 8  
Анненков – Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960.

АСК – Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916.

БдЧ – «Библиотека для чтения».

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., 1953–1959.

Богград Совр. – Богград В. Э. Журнал «Современник». 1847–1866. Указатель содержания. М.–Л., 1959.

ГБЛ – Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Герцен – Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1954–1966.

ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея (Москва).

ГМ – «Голос минувшего».

Гоголь – Гоголь И. В. Полн. собр. соч., т. I–XIV. Л., 1937–1952.

Горленко – Горленко В. И. Литературные дебюты Некрасова. – Отечественные записки, 1878, № 11.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов ГПБ – Рукописный отдел Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Григорович – Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961.

Даль – Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I–IV. М., 1955.

Добролюбов – Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. М.-Л., 1961–1964.

Достоевский – Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Л., 1972– (издание продолжается).

Евгеньев-Максимов – Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I–III. М. –Л., 1947–1952.

Зимина – Зимина А. Некрасов-беллетрист. – В кн.: Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М., 1939 (Тр. Московского ин-та истории, философии и лит., т. 3).

ИВ – «Исторический вестник».

ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).

Крошкин – Крошкин А. Ф. Ранняя юмористика Некрасова в прозе. – В кн.: Доклады седьмой научно-творческой конференции. (Секция филологических наук). Таганрог, 1963.

ЛГ – «Литературная газета».

Лермонтов – Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. М.-Л., 1954–1957.

ЛН – «Литературное наследство».

М – «Москвитянин».

М. вест. – «Московский вестник».

Миз – Мечты и звуки. Стихотворения Н. А. Некрасова. СПб., 1840.

МН – «Московский наблюдатель».

НБ – «Научный бюллетень Ленинградского государственного университета».

НВ – «Новое время».

Некр. в восп. – Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников.; М., 1971.

Некр. и его вр. – Некрасов и его время. Межвузовский сборник, вып. 1–6. Калининград, 1975–1977, 1979–1981.

Некр. сб. – Некрасовский сборник. I–III. М. –Л., 1951, 1956, 1966; IV–VIII. Л., 1967, 1973, 1978, 1980, 1983.

Некрасов. Тонкий человек – Некрасов Н. Тонкий человек и другие неизданные произведения. М., 1928.

Некрасов. Тростников – Некрасов Н. А. Жизнь и похождения Тихона Тростникова. М.-Л., 1931.

Никитенко – Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. [Л.], 1955–1959.

НМ – «Новый мир».

ОЗ – «Отечественные записки».

О Некр. – О Некрасове, вып. I–IV. Ярославль, 1958, 1968, 1971, 1975.



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

П – «Пантеон русского и всех европейских театров».

ПА – альманах «Первое апреля». СПб., 1846.

Панаев – Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.

Панаева – Панаева (Головачева) А, Я. Воспоминания. М., 1972.

ПСС – Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. I–XII. М. 1948–1953.

ПСС 1927 – Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1927.

ПСС 1934–1937 – Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений, т. I. М.-Л., 1934; т. II (кн. 1 и 2). М.-Л., 1937.

Пушкарев – Пушкарев И. И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии, т. I–IV. СПб., 1839–1842.

Пушкин – Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. I–XVII. М.-Л., 1937–1959.

РИ – «Русский инвалид».

РИП – «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров».

РЛ – «Русская литература».

РС – «Русская старина».

РСл – «Русское слово».

С – «Современник».

Салтыков-Щедрин – Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т. М., 1965–1977.

СО – «Сын отечества».

Собр. соч. 1930 – Некрасов [Н. А.] Собр. соч., т. I–V. М.-Л., 1930.

СП – «Северная пчела».

СПбВ – «Санкт-Петербургские ведомости».

Ст 1879 – Стихотворения Н. А. Некрасова, т. I–IV. Посмертное изд. СПб., 1879.

Тургенев, Письма – Тургенев П. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма в 13-ти т. М.-Л., 1961–1968.

Тургенев, Соч. – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Сочинения в 15-ти т. М.-Л., 1960–1968.

ФП – физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова, ч. 1–2. СПб., 1845.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЦГИА – Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград).

Чуковский – Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1971.

Повесть о бедном Климе\*

Печатается по авторизованной писарской копии ГБЛ.

Впервые опубликовано: Некрасов. Тростников, с. 285–344.

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI.

Известны две рукописи текста повести. Первая – автограф отрывка («В Петербурге между всякими промышленниками ~ директор департамента для писца») главы IV, который представляет собою одну из черновых редакций текста, не совпадающего с окончательным даже в последнем слое правки, но соответствующего по содержанию строкам 36–44 (с. 23) окончательного текста, – ГБЛ, ф. 195, м 5743.2, л. 1 (на обороте – денежные расчеты Некрасова). Вторая – писарская копия с многочисленными исправлениями чернилами и карандашом, дополнениями рукой Некрасова между строками и на полях, с подписью: «Н. Некрасов» на л. 1 после заглавия, с еще раз вписанными автором перед текстом главы I заглавием и эпиграфом – ГБЛ, ф. 195, м 5743. 1, л. 1–42 об. Вторая из указанных рукописей хранит следы неоднократного обращения к ней автора. Исходя из характера правки, можно выделить три этапа работы писателя над повестью. Первый – поиски лучшего варианта текста по ходу чтения писарской копии. Сюда относятся всевозможные исправления ошибок писаря, вставки и поправки стилистического характера, отработка портретных характеристик персонажей, подчеркивание их типовых черт.

Так, уже в начале главы I дано такое обобщающее определение героя, как «сердитый мечтатель», – и соответственно расширяются характеристики его поведения в столкновении с «важным лицом», нескромной хозяйкой квартиры, «генералом» и т. д. Ироническое обобщение («картофельная душа этого почтенного чиновника») с последующей углубленной характеристикой персонажа введено перед эпизодами, где действует экзекутор (см.: Другие редакции и варианты, с. 446, вариант к с. 16, строкам 24–38). Становятся более подробными характеристики генеральши, девушки «с голубыми глазами». В последнем случае особенно очевиден ход работы писателя. В писарском тексте «девушке с голубыми глазами» соответствовал вариант «девушка в голубом платье» (там же, с. 445, вариант к с. 14, строкам 19–20). На полях против этого места появилась вставка, где автор ввел новое определение – иронический штамп «вся из мечты, воздуха и поэзии» (см. там же). Первоначально этот романтический штамп, подчеркивая иронию, появлялся во вставках каждый раз при упоминании девушки «с голубыми глазами». Затем автор себя ограничил, вычеркнул его из нескольких вставок и в дальнейшем перестал к нему прибегать. Очевидно, что работа в этом случае шла одновременно по всей рукописи. Тот же ход работы обнаруживается в связи с появлением метафоры «пристанище рыцарей медной монеты». Сначала в писарской копии вместо этих слов было «дом нищеты с пьянью». Вписанное на полях исправление в последующей правке уже учтено (см. там же, с. 465, вариант к с. 47, строкам 32–33; ср. с. 50, строка 24).

Особая группа дополнений к тексту на полях рукописи отражает интерес писателя к жанровым проблемам. Он подчеркивает принадлежность своей повести к особому роду литературы, «основанной на истине», и вводит сравнение с рядом других повестей, рассказов и сцен из частного быта (см. там же, с. 446, вариант к с. 16, строкам 24–38). К той же группе относится другая вставка – оговорка автора о нежелании описывать «упоительные мечты» героя «из опасения насмешить читателей» (см. там же, вариант к с. 21, строкам 3–8). Экспрессивное поведение героя («высокая и гордая ирония», к которой он «столько был способен», – с. 36, строки 22–23) автор комментирует в дополнительном тексте словами «дико», «напыщенно», хотя замечает, что оно вызвано жизненными обстоятельствами (см. там же, с. 459–460, варианты к с. 35, строкам 39, 40–41). Он сталкивает для контраста романтически-экспрессивные речевые обороты с простыми и естественными. Так вырабатывалась отвечающая «задушевной цели» писателя, верная правде литературная позиция. Включив в повесть живую нравоописательную сценку (эпизод столкновения героя со старым солдатом), автор рекомендует ее как «небольшую комедию», предвосхитив такую характерную жанровую особенность реалистического повествования 1840–1850-х гг., как свободное сочетание новеллистических, драматургических и очерковых элементов.

Второй этап работы писателя, определяющийся особым характером правки в главах IV и V, соотносится с творческой историей романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». [9] Почти дословно (с отдельными изменениями и дополнениями) введен в главу I части третьей романа (в соответствии с авторской пометой) записанный в основном на полях рукописи «Повести о бедном Климе» текст: «...воскликнула хозяйка изменившимся голосом ~ шагом нетвердым и медленным...» (с. 26–30, строки 29–я 25), в том числе и ошибочно зачеркнутый в копии фрагмент «Старая вдова ~ хранили молчание...» (с. 29, строки 1–12); вошел в главу I части третьей романа и текст: «Вот новости! ~ Улеглись.» (с. 30–31, строки 28–16). Слова из монолога Клима: «Я судорогах страдаю ~ сознания?..» (с. 29–30, строки 43–2) – послужили эпиграфом к главе II этой же части романа. В главе II романа вошел также (с изменениями)

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасовский эпизод вымогательства Федотычем долговой записочки у героя и его изгнания с квартиры, записанный в значительной части на полях копии в виде авторских вставок.

О переделках текста, связанных с замыслом романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», свидетельствуют, кроме названных выше совпадений текста, следующие поправки: в тексте начала главы V, затем автором вычеркнутом (см.: Другие редакции и варианты, с. 462–463, вариант к с. 37, строке 19), вместо имени «Клим» было «Тростников». В тексте главы IV несколько раз появляется нарицательное имя «поэт» вместо зачеркнутого «Клим» (см. там же, с. 457, 458, варианты к с. 32, строкам 29, 42–44, и к с. 33, строкам 3–5). Между тем ранее в «Повести о бедном Климе» подчеркивалось: «...он не поэт, даже не сочинитель, – избави бог, чтоб я избрал героем своего рассказа сочинителя!» (с. 6, строка 8); «... но он, к счастью, не поэт!» (с. 20, строка 11). Еще в одном месте, где в первоначальном варианте копии герой назван Климом, во вставке на полях появляется нарицательное наименование «юноша» против пометы «NB» (см.: Другие редакции и варианты, с. 458–459, вариант к с. 33–34, строкам 31–2).

Следует отметить некоторые текстовые соответствия, касающиеся этих же глав повести, которые также ведут к роману «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Так, в авторских вставках главы V расширяется характеристика «артельной квартиры» нищих и групповые портреты (текст: «...всего чаще такой со глубоко вздыхал» – с. 37–38, строки 29–38). Текст этот не повторяется на сохранившихся страницах романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», но в части третьей (глава III) мотивы скитаний героя, оказавшегося без пристанища, по улицам Петербурга, размышлений о «нищете падающей и падшей» (с. 250), встреч с нищими занимают значительное место. То же можно сказать и о вычеркнутых страницах копии «Повести о бедном Климе». Устраненный из окончательного текста рассказ о болезни Клима, предшествовавшей его изгнанию с квартиры (см.: Другие редакции и варианты, с. 454–456, вариант к с. 31, строкам 13–16), варьируется в главе II части третьей «Жизни и пождений Тихона Тростникова» со значительными изменениями в связи с перестройкой образов Феклы (в романе – Агаши) и самого героя. Не имеет прямых текстуальных совпадений с романом, но соответствует ему по содержанию (начало главы III) и текст, открывающий главу V в писарской копии (путь Клима к дому нищих).

Третий этап – возвращение к повести с целью ее завершения, – очевидно, для издания. Правка текста на этом этапе производилась поспешно, карандашом. Ряд вычеркнутых ранее мест (части фраз, необходимых по смыслу) остался невозстановленным, сохранились прямые ошибки текста. Например, в главе VII реплика «Вы компрометируете мою жену» отнесена к экзекутору, а не к адъютанту. Ошибочно, по-видимому, сохранились в названных выше двух случаях наименование героя «поэтом» вместо первоначального «Клим». Карандашом сделаны новые купюры в главе I (см. там же, с. 442, 445, варианты к с. 7, строкам 7–8, и к с. 14, строке 34); карандашом вписано заглавие «Заключение» и произведена правка, в основном стилистическая, в этом разделе.

На всех этапах работы автор уделяет большое внимание совершенствованию стиля повествования. В речевых характеристиках он подчеркивает индивидуальную сущность и социальную принадлежность персонажей, вводит народные речения, пословицы и поговорки (разговор хозяйки квартиры с вдовой и девой, диалоги «небольшой комедийки» в главе IV, разговоры нищих в главе V), устраняет лексическое однообразие. Авторская речь значительно обогащается интонационными средствами, которые оттеняют то ироническое, то сочувственное, то негативное отношение автора к предмету повествования – и прежде всего к образу героя. В результате образ «бедного Клима» стал осмысливаться разносторонне: в русле его собственного внутреннего мира, выражаемого в суждениях, размышлениях и поступках, в русле авторской оценки, в восприятии окружающих героя лиц и, наконец, в «организованном» автором читательском восприятии (обращения к читателю).

Исследователи предположительно датируют повесть 1842–1843 гг. С одной стороны, они опираются на ее связь с предшествующими прозаическими произведениями Некрасова – «Макар Осипович Случайный» (1840) и «Карета. Предсмертные записки дурака» (1841), где намечены некоторые образы и сюжетные положения, развитые затем в «Повести о бедном Климе» (см.: ПСС, т. VI, с. 540); с другой стороны, дата: «не позднее 1843 г.» основывается на значении этой повести для творческой истории романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см. выше). Можно, однако, предположить, что повесть была начата в 1841 г. В письме Некрасова к Ф.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов А. Кони от 25 ноября 1841 г. из Ярославля сообщает: «Есть у меня готовая повесть „Антон“, но она слишком велика – листов пять печатных... разве в будущий год сгодится». Сведений об этой повести никаких не имеется. Но не исключено, что речь идет о каком-то из вариантов «Повести о Климе». На эту мысль наводит прежде всего заглавие по имени героя. Имя Антон, по-видимому, в представлении писателя соотносилось с именем Клим («Имя его самое незвучное, самое нероманическое»). В том же ряду и имя Тихон. В «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» отчество Тихона колеблется; один из вариантов – Антонович. Объем произведения, названного Некрасовым, приблизительно соответствует «Повести о бедном Климе» – особенно если учесть, что рукопись подверглась значительным сокращениям и что путаница с нумерацией глав IV и VI допускает мысль о пропуске одной главы.

Эмоциональное и нравственное (отчасти и сюжетное) содержание «Довести о бедном Климе» вполне оправдано ситуацией, которая способствовала написанию повести «Антон». Некрасов приехал из Петербурга в родные края через три дня после смерти матери в июле 1841 г., приехал без средств, с сознанием своей вины перед семьей, которой он не мог помочь (об этом свидетельствуют как все письма Некрасова к Ф. А. Кони от апреля, августа и ноября 1841 г., так и письмо к А. А. Некрасовой от 9 октября 1842 г.). В последнем письме он говорил: «В нашем тяжелом и горьком состоянии что же и осталось нам в утешение, как не сознание силы душевной в борьбе с обстоятельствами враждующими?..». Этот биографический мотив, в числе других подобных мотивов, ярко выращен в «Повести о бедном Климе». Работая в Ярославле с июля до конца 1841 г., времени возвращения в Петербург, Некрасов вполне мог описать переживаемые им настроения в повести «Антон», затем изменив название. При этом важно учесть, что автограф, легший в основу писарской копии «Повести о бедном Климе», не сохранился, кроме небольшого отрывка главы IV.

Работа над текстом – отраженный в рукописи первый ее этап – происходила скорее всего в 1842 г., когда Некрасов вернулся в Петербург, где была изготовлена писарская копия, которую он и начал столь интенсивно править. Косвенным подтверждением этого являются некоторые текстуральные совпадения в повести Некрасова и очерке Ф. В. Булгарина «Салопница», вышедшем в 1842 г. в серии «Картинки русских нравов». Отмеченные Булгариным характерные черты жизни петербургских нищих (своеобразная иерархия отношений: «своя аристократия, свое среднее состояние и своя чернь», способы «промышленничества», к которому приобщали и детей, изготовление «аттестатов», привычка посещать похороны, где «кормят, поят и обдаривают», найденный им термин «салопница»[10] – всё это не могло не произвести впечатления на писателя, знавшего эту среду по собственным наблюдениям. Кое-какие мотивы (портретная галерея «маститых» нищих, старух и детей, разделение их на «группы») сходны у Булгарина и Некрасова, который, однако, с совершенно иных социальных позиций осветил жизнь городской бедноты.

В 1843 г. работа над текстом «Повести о бедном Климе» продолжалась, как уже отмечалось, главным образом в связи с возникновением нового замысла – романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (второй этап). Следует, однако, отметить, что в напечатанном в журнале «Отечественные записки» (1843, № 11) рассказе «Необыкновенный завтрак», соответствовавшем главе VII части второй романа, нет никаких заимствований из «Повести о бедном Климе», а в опубликованных в «Физиологии Петербурга» (1845) «Петербургских углах. (Из записок одного молодого человека)», являющихся отрывком из главы V части первой романа, имеется лишь один эпизод, вариант которого встречается в «Повести о бедном Климе» (рассказ о нескромных предложениях хозяйки квартиры, которые пришлось выслушать герою). И только в часть третью романа, работа над которым продолжалась до 1848 г., вошли значительные куски текста «Повести о бедном Климе».

После отказа писателя от попыток завершить роман он мог снова обратиться к повести, готовя ее к печати (третий этап). Таким образом, временем работы над этим произведением правильнее считать весь период с 1841 по 1848 г.

На автобиографические источники многих мотивов повести (скитание по петербургским углам, болезнь Некрасова, обстоятельства изгнания с квартиры, пребывание в доме нищих и т. д.) указывали А. С. Суворин, А. М. Скабичевский, С. Н. Кривенко, П. В. Быков, ссылавшиеся на рассказы самого Некрасова (критический обзор этих материалов см. в статье: Бушканец Е. Г. У истоков мемуарной литературы о Н. А. Некрасове. – В кн.: Вопросы источниковедения русской литературы. Казань, 1973, вып. 112, с. 3–19). Среди названных фактов заслуживает

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов некрасо внимания приведенный в воспоминаниях Быкова рассказ Некрасова о сне, который он видел, когда ночевал в приюте для нищих: «Ему приснилась родная деревня Грешнево... мать поэта. Он, как наяву, увидел ее во сне в ту ночь, делился с ней мечтами, читал ей стихи...» (там же, с. 16), Этот рассказ подтверждает связь между пребыванием поэта в 1841 г. в Грешневе и творческой историей «Повести о бедном Климе».

Знание жизни городской бедноты было основано у Некрасова и на впечатлениях, рожденных некоторыми мотивами русской и европейской литературы («Нищий» (1826) М. П. Погодина; «Салопница» (1842) и «Нищий, или История богатства» (1845) Ф. В. Булгарина; «Оливер Твист» (1838, рус. пер. – 1841) Диккенса, творчество Ж. Жанена, Э. Сю, Бальзака). [11]. Но основным творческим импульсом Некрасова в прозе, как и в поэзии, было острое восприятие социальных противоречий жизни и демократическая устремленность писательского взгляда.

Историко-литературное значение повести – в ее промежуточном положении между нравоописательной и романтически-идеальной литературой 20–30-х гг. XIX в., с одной стороны, и литературой рождавшегося реализма, с ее демократическими устремлениями, – с другой.

Описание бытовых сцен, насыщенное жизненными реалиями, хранит традиционные черты сатиры XVIII в. и нравоописательной прозы начала XIX в. В них отразились литературные достижения таких современников Некрасова, как Н. Ф. Павлов, Ф. А. Кони, Е. П. Гребенка и прежде всего, конечно, Гоголь – автор «Петербургских повестей». В основном же для Некрасова-бытописателя характерны тенденции, предвосхищавшие завоевания «натуральной школы». Повесть, герой которой сталкивается в своих скитаниях с бытом высокопоставленного чиновничества, мещанской средой и жизнью общественного дна – ночлежки, последовательно описываемыми автором, близка к физиологическому очерку.

В комментируемом произведении явно сказались и традиции романтической русской прозы 1830-х гг. Об этом говорят основные повествовательные особенности его: декларация «истинности» событий, составляющих его фабульную основу, и вместе с тем сохранение сюжетной, новеллистической экспрессии – неожиданность финала, поэтика превращений и «узнаваний» (так, Клим в конце повести узнает после одиннадцатилетней разлуки свою мать, представшую перед ним в облике «благородной нищенки»). Приурочение действия к недалекому, но точно определяемому прошлому («начало второй четверти нынешнего века» в повести) также характерно для многих произведений романтической литературы 1830-х гг. (например, повестей А. А. Марлинского, М. С. Жуковой, Е. В. Аладына). Иронические и сатирические «фигуры» стиля, экспрессивность разговорного языка, звучание «живого русского наречия» также связывали повесть Некрасова с традициями романтической литературы 1830-х гг. тесными преемственными узами. [12] Героем повести у Некрасова, как и у многих других писателей-романтиков, выступает одухотворенная, нравственно-цельная личность, стремящаяся к «прекрасному и высокому» и находящаяся в разладе с окружающим ее миром пошлости, корысти и порока. [13] «Странный человека» (1822) В. Ф. Одоевского, «Чудак» (1823) и «Юродивый» (1826) О. М. Сомова – предтечи «странного и сумасшедшего» Клима (эти определения неоднократно встречаются в повести Некрасова). Но, быть может, еще большую роль, чем названные писатели, сыграл в становлении образа «странного» человека у Некрасова Грибоедов. Не случайно сцена «сумасшествия» Чацкого на балу в «Горе от ума» почти зеркально отразилась в сцене на балу у генерала в «Повести о бедном Климе».

Одновременно Некрасовым был усвоен художественный опыт Гоголя, автора «Невского проспекта». Изображение коллизии мечты и жестокой жизненной прозы стало одним из методов развенчания романтического шаблона. Именно по этому пути пошел Некрасов, широко используя в повести прием снижения и осмеивания романтических штампов в сопутствующих им авторских «ремарках». Так, являющиеся частой принадлежностью романтической тематики мотивы чести, оскорбленной гордости и возмездия – предмет размышлений Клима, для которого честь и гордость остаются категориями высокого нравственного содержания. Но изображение столкновения героя-мечтателя с пошлой действительностью (эпизода дуэли) в двух вариантах: идеальном (в представлении Клима) и реальном – показывает наивность, романтическую несостоятельность его убеждений.

«Повесть о бедном Климе» тематически отозвалась во многих поэтических произведениях Некрасова – стихотворном фельетоне «Говорун» (1843–1845), в

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в стихотворениях «Чиновник» (1844), «Пьяница» (1845), «На улице» (1850), «Застенчивость» (1852), «Филантроп» (1853), «Размышления у парадного подъезда» (1858), в цикле стихотворений «О погоде» (1858–1865), в поэмах «Несчастные» (1856), «Кому на Руси жить хорошо» (1865–1877) и в других произведениях.

«Повесть о бедном Климе» предшествовала прозе о городской бедноте Я. П. Буткова, «Бедным людям» (1845), «Униженным и оскорбленным» (1861) Ф. М. Достоевского. [14]

...на расстоянии полуторы четверти... – Имеется в виду четвертая часть аршина (соответствует 71, 12 см), устаревшей меры длины в России.

...кандидат в чиновники – В России в области гражданской службы институт кандидатуры существовал лишь в судебном ведомстве. Отсюда следует, что Клим окончил юридический факультет университета.

Не бедняешься ли ты, голубчик мой! – Бедняться – преувеличивать нужду (см.: Даль, т. I, с. 152); здесь: нуждаться вообще.

...отца-хомяка... – Хомяк – лентяй, лежебока (см.: Даль, т. IV, с. 560); здесь: грубиян (по созвучию со словом «хам»).

...в форменном фраке с пряжкой за 20 лет... – Знак отличия (в виде прорезной пряжки с римскими цифрами в дубовом венке), который выдавался чиновникам гражданского ведомства за выслугу лет (15, 20, 30, 40, 50 и т. д.); под чиновничью пряжку вкладывалась Владимирская лепта (см.: Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. Л., 1963, с. 117).

Экзекутор – чиновник, ведавший хозяйственными делами и надзором за внешним порядком в канцелярии.

Особых примет не имеется. – Элемент словесного портрета в полицейской документации.

Владимир третьей степени – российский орден четырех степеней (последняя за выслугу лет); учрежден в 1782 г. для награждения гражданских заслуг.

...читывала Поль де Кока... – Шарль Поль де Кок (1794–1871) – французский романист–бытописатель, автор романов с нарочито запутанной интригой, в которых изображались «нравы парижских мещан». См.: наст. изд., т. VII, с. 577.

...сто тридцать восемь рублей да билет... – Имеется в виду банковский кредитный билет.

...я буду носить его вместо хвостов! – Т. е. вместо хвостов белки, куницы, соболя, сшитых в виде шарфа.

Государь ты наш, государь, Сидор Карпович, – А много ли тебе от роду лет? и пр. – Эпиграф представляет собой начальные строки шуточной народной песни (см.: Чулков М. Д. Соч., т. I (Собр. разных песен, ч. 3). СПб., 1913, с. 645).

...в полном цвете бальзаковской молодости... – Это понятие получило распространение после появления романа Бальзака «Женщина тридцати лет» (1832), вошедшего в «Человеческую комедию». Ср. в романе о Тростникове (см. с. 117).

...одетая в ветхий драдедамовый салоп... – Драдедамовый – из легкого драпа.

...пойдем да пойдем на Выборгскую... – Выборгская сторона – северный район Петербурга, застроенный богатыми дачами.

...спою Лазаря... – Петь Лазаря – петь народную песню о Лазаре убогом, распространенную среди калек-нищих и слепцов, просить милостыню вообще. Песня, возможно, восходит к евангельской легенде о прокаженном и гонимом Лазаре.

Страсбургский пирог – паштет из гусиной печени. Упоминается в главе первой «Евгения Онегина» Пушкина (строфа XVI).

...жизни вечного жида... – Агасфер («вечный жид»), по легенде – сапожник из Иерусалима, был якобы осужден богом на вечные скитания за то, что не дал Христу

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не успел отдохнуть на пути к Голгофе.

...подобно дикому мавру... – Имеется в виду Отелло из одноименной трагедии Шекспира, символизированный образ мести. «Венецианский мавр» упоминается в водевиле «Феоклист Онуфрия Боб, или Муж не в своей тарелке» (1841) (наст. изд., т. VI, с. 101).

...три листка... – Такое название носила азартная карточная игра, распространенная среди простонародья.

...как было сказано и в обыске... – Обыск – запись о бракосочетании, сделанная в церковной книге.

...три роббера кряду. – Роббер – термин карточной игры, означающий законченный тур с одним партнером.

#### Жизнь и похождения Тихона Тростникова\*

Печатается по черновому автографу ГБЛ; отрывок из главы V части первой – по тексту первой публикации (с поправками по авторизованным писарским копиям).

Впервые опубликовано: глава VII («Необыкновенный завтрак») части второй («Похождения русского Жилблаза»), с другим вариантом начала и под тем же названием – ОЗ, 1843, № 11, отд. I, с. 319–341, с подписью: «Н. Некрасов»; отрывок, под названием «Петербургские углы», из главы V («О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются») части первой – ФП, ч. 1, с. 254–303, с подписью: «Н. Некрасов»; почти полностью – Некрасов. Тростников, с. 51–279.

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI.

Известны следующие автографы романа.

Черновой автограф («Итак, после долгих размышлений ~ отец тебе, твой родной отец...») – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 1, л. 1–153. Рукопись, без начала и конца, без заглавия и даты, с большим количеством исправлений и зачеркиваний, с дополнениями на полях, написанная чернилами и карандашом на двойных листах большого формата, с авторской нумерацией отдельных листов и со значительными пропусками листов, содержит текст частей первой и второй романа, а также разрозненные наброски, относящиеся, по-видимому, к части третьей. В части первой меньше исправлений и дополнений. В ней отсутствует глава I в объеме шести сдвоенных листов с авторской нумерацией. В главе II, без названия, отсутствуют в середине текста л. 9–11. За ней следует глава, логически связанная с предыдущей, под названием «О том, какое действие производят рекомендательные письма, о которых так много хлопчут провинциалы, отправляющиеся в Петербург». Обозначена вначале как «глава VII» (затем цифра зачеркнута и исправлена на «VIII»). Далее следует опять глава VIII, также связанная с предыдущей, под названием «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются»; написана на л. 21–24, 29. По-видимому, отсутствующие двойные листы 25–28 были извлечены Некрасовым при подготовке «Петербургских углов» к публикации в «Физиологии Петербурга» (см.: наст. изд., т. VII, с. 333–354). На обороте л. 29 начата глава IX без названия, включающая в себя «Историю ежовой головы». Далее следуют л. 29–40, без пропусков. На л. 34 начата еще одна глава IX под названием «История Матильды», которой завершается часть первая. На л. 40 авторская помета: «Конец первой части». В тексте, публикуемом в настоящем томе, порядок глав устанавливается по смыслу, авторская нумерация их указана в разделе «Другие редакции и варианты». Авторских помет в рукописи части первой, имеющих прямое отношение к датировке романа, немного. В конце главы «Родственница и ее постоялки» после вычеркнутого диалога Тростникова с Матильдой, оканчивающегося словами: «...начала свой рассказ», следует запись: «7 сентября». В главе IX (по нумерации Некрасова) в тексте «Истории ежовой головы» после фразы: «Тут, – говорит, – выбегает к воротам собачка небольшая...» – помета: «18 сентября».

Часть вторая, озаглавленная «Похождения русского Жилблаза», испещрена большим количеством поправок; есть в ней недописанные и отсутствующие листы. Глава I, без названия, не закончена. На этом же листе после пропуска текста набросок: «Она скрылась со поглощали всё мое внимание...» (с. 154), относящийся,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов по-видимому, к главе I. Глава II отсутствует полностью. Далее следуют глава III (без названия), глава IV («История Параша»), глава V (первоначальное название «Бенефис актера, отличавшегося необыкновенной любезностью» зачеркнуто и заменено заглавием «Почтеннейший»). Глава VI содержит пропуск, по-видимому небольшой по объему (отсутствует место, где, очевидно, излагалось содержание пьесы «Бобровая шапка»). Большинство листов части второй рукописи пронумеровано. Авторская нумерация листов начинается с главы VII под названием «Необыкновенный завтрак» (л. 5–21) (см.: наст. изд., т. VII, с. 308–332). Далее, на л. 21 об., после окончания текста главы и авторской подписи, начата глава VIII, посвященная описанию петербургской журналистики и представляющая законченной (эта часть рукописи по пронумерована и имеет сравнительно небольшое количество исправлений). О том, что это глава, завершающая часть вторую романа, свидетельствует фраза: «Прежде чем приступлю я к окончанию второго периода моей жизни, нужно упомянуть о Параше, которую мы совсем забыли» (с. 221). Далее следует продолжение «Истории Параша», начатой в главе IV. История крепостной художницы – вполне целостный эпизод, которым заключается часть вторая романа.

Следующая часть рукописи не озаглавлена, представлена несколькими черновыми разрозненными фрагментами, многие из которых написаны карандашом. По сравнению с двумя первыми изобилует множеством начатых и недописанных листов, набросков и вариантов отдельных сцен из жизни Тростникова и других новых героев. Начало главы I имеет авторскую нумерацию листов, что позволяет судить о количестве пропусков. В главе I отсутствуют, по-видимому, два начальных листа. На л. 3–6 изложена история Дурандихи и ее компаньонов, близкая по содержанию к главам IV и V «Повести о бедном Климе». Л. 7 и 8 отсутствуют. Л. 9–16 также представляют собой переработку глав IV и V «Повести о бедном Климе», на л. 18 заканчивается глава I и начата глава II, открываемая эпиграфом из стихотворения Тургенева «Человек, каких много» (1843). Далее следует написанная в строку автоцитата из «Повести о бедном Климе»: «В судорогах страданья перемог я ~ вернувшегося сознания?» (с. 243), являющаяся, по-видимому, вторым эпиграфом. Л. 16 не закончен. Логическим продолжением текста этого листа является фрагмент: «Итак, вернувшись в свою комнату ~ молодой человек вздохнул» (с. 243–244); он публикуется в настоящем томе как начало главы II части третьей (варианты этот и следующий за ним текст другие наброски, содержащиеся на отдельных разрозненных нумерованных листах, см.: Другие редакции и варианты, с. 531–538). Далее следуют л. 21–22, 25–27 (последний не закончен), содержащие большую правку, часть автографа: «...говорил так, что подобный ему восторженный юноша ~ Тростников написал требуемую записку» (с. 247–249) – представляет собой вполне законченный эпизод петербургских злоключений героя. Последующие листы рукописи не пронумерованы. На одном из них начата глава III («Петербург – город великолепный и обширный!» – с. 250), включающая в себя вставки из «Повести о бедном Климе» – размышления и переживания героя, оказавшегося без крова. Среди разрозненных листов рукописи содержится непрономерованный набросок карандашом с позднейшей правкой чернилами (рассказ Агаша о пребывании в участке). На одном из листов карандашом на тексте: «– Отри свои хорошенькие глазеночки ~ пойду я к тетушке!..» (л. 275 архивной нумерации) – помещен карандашный рисунок мужской головы. Он же воспроизводится чернилами на отдельном чистом листе рядом с шестью другими рисунками (см. об этом ниже). Наиболее целостным в последней части является набросок: «Агаша шла домой, повеса голову со смертоубийство случится, в свидетели потянут» (с. 260–279), после которого следуют специальный авторский знак карандашом и помета: «до этих пор». На л. 277 (архивной нумерации), в верхнем углу, рядом с текстом: «Агаша шла домой со думая о своем беспомощном положении», авторская помета: «Тростников, часть III».

Черновой набросок: «– Вам опять хуже! – сказала она с добродушным испугом ~ покачнулась и бух в воду... ха! ха!» (с. 244–245), являющийся продолжением фрагмента: «Итак, вернувшись в свою комнату ~ молодой человек вздохнул» – и входящий в текст главы II части третьей, с поправками, зачеркиваниями, дополнениями на полях – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/2, л. 1–2.

Черновой набросок: «– Вот завтра я пойду на лаву ~ еще не успела испортить, заразить тлетворным дыханием своим...» (с. 245–247), входящий, судя по логике повествования, в текст главы II части третьей, – ГБЛ, ф. 195, карт. I, № 1, л. 1–2 (на обороте л. 2 автограф стихотворения «И так за годом год... Конечно, не совсем...», <1843–1844>).

В других единицах хранения находятся несколько черновых набросков, которые по смыслу могут быть отнесены к ряду мест основной рукописи: 1) набросок:



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
«...<самолю>бив, но вы понимаете? ~ Я всё забыл, всё простил им и называл их в  
душе добрыми мальми... вдруг...», с пометой на полях: «150 р<ублей> ас<сигнациями>»  
– ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/5, л. 1 (условно относится к главе III части второй,  
хотя можно высказать предположение и о связи этого наброска с незавершенной  
повестью «В тот же день часов в одиннадцать утра...», публикуемой в настоящем  
томе; см.: Другие редакции и варианты, с. 503–504, вариант к с. 160–161, строкам  
3–5); 2) набросок: «Оплакав с непритворною горестью ~ произнося слово он,  
которое потому и печатается здесь курсивом», с большим количеством поправок,  
зачеркиваний, с дополнениями на полях – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/8, л. 1–2 (на  
обороте л. 2 автограф стихотворения «И он их не чуждался в годы оны...»,  
<1843–1844>) (относится к главе I части третьей; см. там же, с. 521–524, вариант  
к с. 230–232, строкам 8–19); 3) набросок: «Грустно делается мне со Муж был  
глубоко тронут», с большим количеством поправок, густо зачеркнутых мест, с  
дополнениями на полях – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/6, л. 1 (на обороте листа начата  
и зачеркнута глава I («Осенью часу в пятом со без всякого с их стороны усилия и  
даже без их видимого...») повести «Сургучов») (относится к главе I части третьей;  
см. там же, с. 525–527, вариант к с. 233, строкам 19–35); 4) набросок: «В  
шестнадцать лет он уже почувствовал со была искренность, искренность лжи,  
принимаемой за истину», с дополнениями и поправками – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/1,  
л. 1 (условно относится к главе II части третьей, хотя не исключено, что, наряду  
с несколькими другими фрагментами биографического содержания (см. там же, с.  
531, вариант к с. 243–247, строкам 23–12), он мог быть связан с отсутствующей в  
рукописи главой I части первой, в которой, по-видимому, речь шла о детстве  
героя); 5) набросок: «...нет! сердце у него билось ускоренным неровным биением со  
Агаша вывела его из затруднения...», с дополнениями и поправками, написан на л.  
21–22 авторской нумерации – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/3, л. 1–2 (относится к главе  
II части третьей; см. там же, с. 534–537, вариант к с. 243–247, строкам 23–12);  
6) набросок: «Да что и говорить, весело! ~ Вы любите голубой цвет?», карандашом  
и чернилами, с исправлениями и зачеркиваниями – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/4, л. 1–2  
(относится к главе II части третьей; см. там же, с. 543–545, вариант к с. 248,  
строке 5); 7) набросок: «Единодушный восторг, встретивший новопришедшего ~ Он  
меня не напоит, не накормит со своей женой...», с поправками – ГБЛ, ф. 195, м  
5758. 2/7, л. 1 (относится к главе III части третьей; см. там же, с. 554,  
вариант к с. 269–270, строкам 35–3; впервые опубликован: Записки Отдела  
рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 10).

Кроме того, в составе писарской авторизованной копии фрагмента: «Агаша шла  
домой, повеся голову со смертоубийство случится, в свидетели потянут» (на ее  
последнем листе) – ГБЛ, ф. 195, карт. I, № 2, л. 1–30 – сохранился вариант  
окончания («Они опять сели со скрылась в калинку») этого эпизода главы III части  
третьей, написанный рукой Некрасова (см. там же, с. 561–562, вариант к с. 279,  
строке 17). По-видимому, этот текст был написан позднее, более светлыми  
чернилами (при подготовке отрывка к печати) вместо имеющегося в основной  
черновой рукописи; [15] впервые опубликован: Записки Отдела рукописей Гос.  
библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 21. М., 1959, с. 233–234, Писарская  
авторизованная копия переплетена в отдельную сброшюрованную тетрадь, содержит  
авторскую правку в тексте и на полях. На первом листе слева заглавие рукой  
Некрасова: «Похождения Тростникова». Писарская копия заканчивается у пометы: «до  
этих пор»; она есть и в черновом автографе (ср. выше).

Первая авторизованная писарская копия «Петербургских углов», с цензурными и  
автоцензурными исключениями и пометами – ГИМ, ф. 37, ед. хр. 510, л. 1–46.

Вторая авторизованная писарская копия «Петербургских углов», с поправками –  
ЦГАЛИ, ф. 338, ед. хр. 36, л. 1–23 (описание копий см.: наст. изд., т. VII, с.  
580–582).

Среди названных автографов выделяется первый, включающий в свой состав почти  
весь сохранившийся текст романа и потому являющийся основным. Анализ его дает  
возможность судить как о названии, содержании, композиции романа, так и о  
характере творческой работы молодого Некрасова.

Заглавие находилось, очевидно, на отсутствующих начальных листах главы I.  
Возможно, оно могло быть двойным, типа: «Русский Жиль Блаз, или Похождения  
Тростникова». Это предположение подтверждается имеющейся в писарской копии  
«Петербургских углов» (ГИМ) авторской пометой: «(Из рукописи „Русский Жиль  
Блас“)» (см.: наст. изд., т. VII, с. 580) – и аналогией с традиционными  
названиями романов В. Т. Нарезного («Российский Жиль Блаз, или Похождения князя

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов («Гаврилы Симоновича Чистякова», 1814), Г. Симоновского («Русский Жиль Блаз, походжение Александра Сибирякова, или Школа жизни», 1832), Ф. В. Булгарина («Русский Жиль Блаз, или Походжения Ивана Выжигина», 1829) и др. В настоящем томе роман печатается под названием, объявленным в сентябрьском номере «Современника» за 1847 г.: «Жизнь и походжения Тихона Тростникова, роман Некрасова».

Вопрос о композиции романа является дискуссионным. Первые его публикаторы В. Е. Евгеньев-Максимов и К. И. Чуковский справедливо печатали рукопись как единое произведение на основании авторских помет в ней: «Конец первой части», «Походжения русского Жилблаза» (название части второй), «Тростников, часть III» (см.: Некрасов. Тростников, с. 6). Однако при этом отсутствие листов рукописи восполнялось пересказом предполагаемых эпизодов, текст которых давался курсивом (см. там же, с. 230, 231, 249, 255). Редакция ПСС и комментатор VI этого издания А. Н. Лурье условно установили два варианта романа, основываясь на его содержании и степени законченности каждой из его частей. Две первые части были отнесены к основному тексту романа, все фрагменты, завершённые и незавершённые, – к варианту «Б» (см.: ПСС, т. VI, с. 542–546). Не претендуя на окончательное решение вопроса, редакция настоящего издания полагает возможным отказаться от такого деления, основываясь на текстологическом анализе рукописи и всех вариантов к ней. О том, что Некрасов собирался продолжить роман и работать над третьей его частью, свидетельствует прежде всего авторская помета: «Тростников, часть III» – на полях той части чернового автографа, где начинается повествование о встрече крестьянской девушки Агаши и ее брата извозчика Ванюхи с отцом. Заглавие «Походжения Тростникова», написанное рукой Некрасова на писарской копии этого фрагмента, также подтверждает предположение о том, что все части (в том числе и третья) были, очевидно, задуманы как единое целое. Несмотря на то что часть третья не завершена, ее содержание в известной мере позволяет судить о связи с предшествующими частями. История больного Тростникова переключается с главой «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются». На протяжении всей черновой рукописи (в разных ее частях) Тростников то начинающий литератор, поэт (в части первой), то автор раскритикованной журналистами книжки стихов и удачливый драматург-водевильщик (в части второй), то идеальный юноша, романтик, поэт (в заключительной части и вариантах к ней). Неубедителен и аргумент в пользу «варианта Б», основанный на характере повествования от третьего лица в последней части романа в отличие от повествования от первого лица в предыдущих частях (см.: ПСС, т. VI, с. 546). Роман остался незавершённым, и не исключена возможность, что в отсутствующих листах начала части третья повествование велось от первого лица. Это предположение подтверждается содержанием сохранившегося отрывка: «...того только и требует от книги! ~ но его-то, предупреждаю вас, и не найдете в моей правдивой истории» (с. 229) – и вариантом «Агаша вывела меня из затруднения» в одном из перечисленных выше набросков (см.: Другие редакции и варианты, с. 537, вариант к с. 243–247, строкам 23–12).

Публикация в составе романа отрывка из главы «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются» («Дом, на двор которого я вошел ~ на хвосте черное пятнышко?»), т. е. текста «Петербургских углов», по «физиологии Петербурга» (с поправками по авторизованным копиям) объясняется тем, что соответствующие листы рукописи не сохранились (см. выше). В то же время «Петербургские углы» являются естественной, органической частью указанной главы. В данном случае контаминация текста неизбежна и допустима.

Полный свод вариантов к роману, обильных и разнообразных, позволяет судить об особенностях творческой лаборатории молодого писателя, о характере его интенсивной работы над комментируемым произведением.

Многочисленные наброски на отдельных листах чернового автографа, относящиеся к началу части третьей романа, и варианты к ним, по-видимому, свидетельствуют о раздумьях писателя над развитием сюжета и стремлении создать повествование, связывающее воедино все три части. Так, в черновом автографе содержится несколько вариантов начала главы II. В одном из них Некрасов отказывается от биографического повествования: «Не скажем здесь ни слова, ни об отце его, ни об матери...», рассказывая далее о том, как герой «от детских игрушек перешел <...> к романтическим прогулкам при луне, стишкам, книгам, безотчетным стремлениям и вечному фантазерству». В конце этого же листа начато и не зачеркнуто: «К нашей истории не идет история детства нашего героя...». На отдельном листе сделан еще один набросок биографического содержания: «В шестнадцать лет он уже

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов почувствовал, что ему тесно не только в деревне, но даже в губернском городе...», затем излагается история юноши, отправившегося в Петербург и обманувшегося в своих надеждах. В следующем наброске Некрасов пишет о больном Тростникове, не сомневающимся в своем поэтическом даре: «...он слепо верил ему <своему призванию> и добродушно считал себя поэтом...»; «Тростников принялся жаловаться на судьбу и записывать <в стихотворные строфы> свои жалобы», потом он «долго лежал неподвижно, бог знает о чем думая», пока появление Агаши не вернуло его к действительности (см.: Другие редакции и варианты, с. 531, 534).

Процесс работы над романом нашел отражение и в пометах, сделанных на полях или в тексте рукописи. Особый интерес представляют пометы, в которых Некрасов фиксирует мысли или обозначает темы, требующие дальнейшего сюжетного развития. Например, в главе III части второй романа, озаглавленной «Похождения русского Жилблаза», рядом с описанием времяпровождения литературных и окололитературных «петербургских холостяков» помечено на полях: «Подозрительный господин, воровство». В главе VI части второй, где рассказывается содержание пьесы «задумчивого сотрудника», на полях имеется незаконченная помета: «Замечать комические черты в самом себе свойство уже по крайней мере недюжинных» (см. там же, с. 505, 513). Конспективно выглядит запись в этой же главе по поводу разбора пьесы «Русское национальное лекарство»: «(Рассказ а Та Кони с каламбурами, дикими суждениями, высокопарным вздором и частыми указаниями на свои собственные труды)» (с. 189). Эта фраза написана в самом тексте рукописи в скобках, после нее оставлено свободное место. Очевидно, Некрасов набросал ее для памяти, предполагая вернуться к этому эпизоду. В главе III части второй романа после слов: «...страшное предсказание Иоанна Златоуста: люди будут» (с. 157) (фраза недописана) в автографе многоточие в полторы–две строки, свидетельствующее о том, что автор, возможно, намеревался дописать необходимую цитату позднее. В главе VIII этой же части пометой на полях: «Кондитерская ~ танцкласс, карты» (л. 218 архивной нумерации) – зафиксирован план повествования, реализованный Некрасовым в дальнейшем.

Встречаются на полях автографа записи отдельных фраз, мыслей, представляющие интерес для творческой истории романа о Тростникове. Таковы, например, пометы в главе III части третьей романа, где рассказывается о злоключениях героя, оставшегося на улице без пристанища: «Ид<еальный> юн<оша> не знает действительности» (л. 264); «Прочеть. Страдания Вертера» (л. 265) – последняя слева на полях рядом с незаконченной фразой: «...что довело человека до такой лжи, до такой уже, в которой, уж конечно, ничего...» (см.: Другие редакции и варианты, с. 546). Далее на листе автографа оставлено место в две–три строки и ниже начата новая мысль: «И вдруг лицом к лицу столкнулся он с целой сотней людей, которых встречал поодиночке и оскорблял подозрениями в тунеядстве...» (с. 252).

Несколько помет в черновом автографе непосредственно связаны с размышлениями Некрасова над композицией романа. Например, в главе VI части первой романа рядом с текстом: «...ты уже теперь не такой мальчик, как был оо обманывать не хочу» (с. 133) – приписка: «с 20 листа», являющаяся отсылкой к «Истории Матильды» – логическому продолжению предыдущей главы. Аналогична по смыслу приписка в конце главы VIII части второй романа после слов: «...я пошел проводить ее до ее подвала и заглянул в окошко» (с. 226) – «Здесь сцену, которая на 14-м листе». «Сцена», о которой пишет Некрасов, посвящена отцу Параша и является частью главы IV «История Параша» от слов: «В этой комнате сквозь небольшое окошечко...» – до слов: «...Параша сегодня избавилась от его буйства...» (с. 226–227).

Судя по многообразным исправлениям в черновом автографе, отдельным многочисленным наброскам к нему, одновременно с романом о Тростникове Некрасов работал и над другими произведениями разных жанров. В частности, на одном из набросков к роману начато и зачеркнуто начало главы I повести «Сургучов» (см. выше). Содержание рукописи части третьей романа подтверждает предположение о том, что почти в одни и те же годы, незадолго до «Тростникова», Некрасов писал «Повесть о бедном Климе».

Обращают на себя внимание текстуальные совпадения некоторых мест чернового автографа части третьей романа с рецензиями «„Москва“ Н. В. Сушкова, „Слава о вещем Олеге“ Д. Минаева, „Страшный гость“» и «„Музей современной иностранной литературы“, вып. 1 и 2» (с. 1847, № 4), с фельетоном «„Теория бильярдной игры“ и Новый Поэт» (с. 1847, № 11).

Смысловую и стилистическую параллель между началом главы II части третьей романа

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов и рецензией Некрасова на поэму Н. В. Сушкова «Москва» впервые обнаружил А. Ф. Крошкин. По мнению исследователя, отрывок из романа: «„Чудак!“ – повторил Тростников, оставшись один. – Эхо бессмысленной черни, бессмысленно повторенное... ~ Ты называла чудяком и Шекспира; ты уморила с голоду Камознса, потому что он, по-твоему, был чудяк...» (с. 246–247) – вошел в несколько переработанном виде в текст рецензии (см.: Некр. сб., вып. III, с. 40). Между тем анализ чернового автографа противоречит этому выводу. Указанный выше отрывок вписан на л. 23 рукописи романа позднее более светлыми чернилами мелким почерком. Этот текст повторяется почти дословно в рецензии Некрасова в качестве примера прозы, которой «писывали» «идеальные юноши», «романтики»: «Меня зовут чудяком... Чудяк! Приговор бессмысленный, бессмысленно повторяемый. В нем сказалась ты вся, тупая, близорукая чернь! Кто же чудяк для тебя: кто не о щах да о кате твоей весь свой век думает? Ведь и Шекспир для тебя пьяный дикарь, а Байрон – безумец, и Камозн, которого ты уморила с голоду, – все чудяки, сумасброды!» (С, 1847, № 4, отд. III, с. 103). На основании изучения чернового автографа, сопоставления почерка, цвета чернил можно утверждать, что в данном случае Некрасов заимствовал этот отрывок из своей рецензии и перенес его в текст романа.

Текстуальные совпадения с некоторыми местами рукописи романа содержатся и в рецензии Некрасова «„Музей современной иностранной литературы“», вып. 1 и 2». Характеризуя читательскую публику, Некрасов писал в ней; «...забвения подавляющей действительности – обмана хотят они, но его-то и не дает она им; напротив, она как бы нарочно взялась возмущать их спокойствие...» (С, 1847, № 4, отд. III, с. 127–128). Глава I части третьей романа о Тростникове начинается с обрывочной фразы: «...того только и требуете от книги! Забвения подавляющей действительности, обмана хотите вы, но его-то, предупреждаю вас, и не найдете в моей правдивой истории». Атрибутируя принадлежность Некрасову этой рецензии, М. М. Гин высказал справедливое предположение об использовании в ней отрывка из романа о Тростникове. Эта гипотеза подтверждается отсутствием в черновом автографе начальных листов главы I (см.: Гин М. М. Новонайденные рецензии Некрасова. – НБ, 1947, № 16–17, с. 19–23). В литературе отмечалась также тематическая близость стихов в фельетоне Некрасова «„Теория бильярдной игры“ и Новый Поэт» и некоторых мотивов последней части романа (см.: Крошкин А. Ф. Неизвестный фельетон Некрасова «„Теория бильярдной игры“ и Новый Поэт». – Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., 1957, вып. 1, с. 60–66).

В процессе создания романа сказался и опыт Некрасова-водевиллиста. Значительные по количеству и смысловым оттенкам исправления, внесенные в диалоги, объясняются его увлечением драматургией в период, предшествовавший работе над «Жизнью и похождениями Тихона Тростникова».

Рукопись романа представляет собой ценный материал для исследования поэтического творчества Некрасова. В ее текст вошло несколько стихотворений, связанных сюжетно и композиционно с романом о Тростникове. К ним относятся оригинальные стихотворные строки, написанные на фольклорной основе, в главе «О петербургских углах и о почтенных постояльцах...»: «В понедельник Савка мельник...» (с. 108–109). Эти стихи распевает под балалайку дворовый человек. В главе VI части второй романа в водевиль «задумчивого сотрудника», эксплуатируемого книгопродавцем и редактором журнала, включены стихи автобиографического характера «Как тут таланту вырасти...» (с. 187–188). Здесь же Некрасов помещает стихи, написанные в стиле водевильных куплетов. По сюжету романа они также принадлежат «задумчивому сотруднику»: «Беда! Последняя беда! Она бранит и смотрит косо!» (с. 188–189). Две последние строки использованы Некрасовым в фельетоне «Выдержка из записок старого театрала» (1845). В главу «Необыкновенный завтрак» вошли стихи, принадлежащие «издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа»: «Нарядов нет – прекрасный пол...» (с. 208). Они представляют собой пародию на каламбуры Ф. А. Кони. Кроме того, на листах чернового автографа начаты стихотворения, не имеющие прямого отношения к роману: «И он их не чуждался в годы оны...»; «И так за годом год... Конечно, не совсем...» (см. выше). Возможно, что первое из них Некрасов предполагал использовать в дальнейшем для характеристики круга чтения Тростникова.

В набросках к роману содержится текст фольклорного происхождения «Ванюха, давай-ка табаку понохам...». Написанный на отдельном листе прозой, он, по-видимому, предназначался для эпизода, связанного с появлением дворового человека Егора Харитоныча Спиночки в тракторе (см.: Другие редакции и варианты, с. 554). Позднее Некрасов использовал отрывки этой фольклорной записи в поэме «Кому на Руси жить хорошо» в солдатской песне (см.: наст. изд., т. V, с. 221).

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Черновой автограф примечателен еще одной особенностью. На одном из его листов в тексте помещен карандашный рисунок мужской головы (см. выше). Судя по содержанию текста, рисунок представляет собой портрет «толстого господина», преследующего Агашу. На отдельном чистом листе этот рисунок воспроизведен теми же черными чернилами, какими написана вся рукопись. Здесь же помещены еще шесть рисунков, выполненных, очевидно, одновременно: два одинаковых профильных мужских портрета (один из них карандашом); два женских портрета, возможно изображающих Агашу (один не закончен), и два одинаковых рисунка, выполненных в виде античных масок ужаса. Рисунки эти опубликованы (см.: Маторина Р. П. Рукописи Н. А. Некрасова. Каталог. М., 1939, с. 56–57). Хотя рисунки на рукописи в известной мере связаны с содержанием романа, о принадлежности их Некрасову с уверенностью говорить трудно, так как сведения о Некрасове-иллюстраторе отсутствуют. Возможным автором рисунков мог быть М. А. Гамзатов, [16] хороший рисовальщик, родственник и приятель И. И. Панаева, знакомый с Некрасовым с начала 1840-х гг.

Черновой автограф не датирован. Датируется предположительно 1843–1848 гг. на основании следующих фактов. Опубликованные при жизни Некрасова два отрывка из рукописи: «Необыкновенный завтрак» (1843) и «Петербургские углы» (1845) – дают возможность отнести начало работы над романом о Тростникове ко второй половине 1843 г. Этим временем датируют части первую и вторую романа и его первые публикаторы В. Б. Евгеньев-Максимов и К. И. Чуковский (см.: Некрасов. Тростников, с. 8; ПСС, т. VI, с. 547). Косвенным подтверждением этой датировки начала работы над романом, по справедливому мнению В. Е. Евгеньева-Максимова, является то обстоятельство, что именно в 1843 г. Некрасов не напечатал ни одного прозаического произведения, кроме рассказов «Помещик двадцати трех душ» и «Необыкновенный завтрак», в это время Некрасов не работал и над водевилями (см.: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 360–361).

Авторские пометы: «7 сентября», в конце главы «Родственница и ее постоялки», предшествующей главе «О петербургских углах и о почтенных постояльцах...», из которой извлечен текст «Петербургских углов», и «18 сентября», на рукописи с текстом «История ежовой головы», связанным по содержанию с «Петербургскими углами», могут быть отнесены лишь к 1843 г., так как «Петербургские углы» были запрещены Цензурным комитетом 4 апреля 1844 г. (см. об этом: наст. изд., т. VII, с. 582).

Последней датой творческой работы над романом, особенно над частью третьей, можно предположительно считать 1847 г. Некрасов мог писать ее и раньше, так как эпиграф к главе II этой части был извлечен из стихотворения Тургенева «Человек, каких много», опубликованного в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1843 г., где был напечатан и «Необыкновенный завтрак». Но в 1847 г. Некрасов вносил в рукопись отдельные дополнения, а мысли о публикации своего произведения не оставлял, по-видимому, и в 1847, и в 1848 г., что подтверждается текстуальными совпадениями в его рецензиях 1847 г. и в романе (см. выше), а также объявлениями об издании «Современника».

Так, в 1847 г. в этих объявлениях роман Некрасова упоминался несколько раз, причем в «Московских ведомостях» раньше, чем в «Современнике». В «Московских ведомостях» (1847, 8 февр., № 17; 11 марта, № 30) было напечатано объявление о выходе № 2 и 3 «Современника», в котором указывалось, что в последних номерах журнала будет опубликован роман Некрасова. Аналогичное объявление об издании «Современника» в 1848 г. содержалось в сентябрьском, октябрьском и ноябрьском номерах журнала: «Из обещанных статей остались донныне ненапечатанными „Сорока-воровка“, повесть Искандера, „Жизнь и похождения Тихона Тростникова“, роман Н. А. Некрасова <...> Некоторые из этих статей будут помещены, между прочим, в остальных книжках на нынешний год; те же, которые не войдут, явятся в следующем» (С, 1847, № 9–11, отд. паг., с. 7–8).

Однако в «Современных заметках», принадлежавших И. И. Панаеву, по поводу журнальных обещаний сообщалось следующее: «Не напечатаны повесть г. Панаева и роман г. Некрасова, по издтели „Современника“ долгом считают уступить место в своем журнале трудам других литераторов скорей, чем своим» (С, 1847, № 12 отд. IV, «Смесь», с. 207).

Больше в «Современнике» не появлялось упоминаний о романе Некрасова. Между тем в объявлениях «Об издании „Современника“ в 1848 г.», «Продолжается подписка на „Современник“ 1848 года» напечатанных в «Московских ведомостях» (1847, 23 дек.,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов (№ 153; 25 дек., № 154; 1848, 26 февр., № 26), роман Некрасова назывался; причем с несколько измененным заглавием – «Похождения Тихона Тростникова». Именно так был озаглавлен самим Некрасовым да рывок, подготовленный для публикации (см. об этом выше).

Никаких свидетельств ни самого Некрасова, ни его современников о замысле и творческой истории романа о Тростникове не сохранилось. В мемуарных и эпистолярных материалах также отсутствуют какие-либо упоминания о нем. Историю создания романа возможно реконструировать лишь условно на основе всестороннего анализа незавершенной рукописи, устанавливая связи с биографией писателя, со всем его предшествующим творчеством на широком историко-литературном фоне эпохи 1840–х гг.

Хронологически работа над текстом рукописи приходится на переломные в творчестве Некрасова годы, когда заканчивалось время «литературной поденщины» и формировался большой художник. Эта «переходность» проявилась в пестрой тематике романа, в его многослойном стиле, в композиции и жанровой структуре и, наконец, в самой его литературной судьбе: роман остался незавершенным и не дошел до читателя.

Рукопись романа о Тростникове позволяет с достаточной определенностью говорить о связи этого произведения с рассказами и повестями Некрасова, написанными в духе «натуральной школы» («Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Двадцать пять рублей» и др.), с некоторыми его водевилями, в которых были намечены мотивы, темы, образы, нашедшие свое дальнейшее развитие в романе, и с литературно-критическими статьями.

Многие автобиографические моменты рассказа «Без вести пропавший пиита» (1840) полностью вошли в роман о Тростникове: стул на трех ножках; разостланный на полу ковер, на котором герой-литератор пишет лежа, и прочее бедное убранство комнаты; способ добытия чернил из ваксы; слуга Иван, кормящий барина кусочками ситника, которыми «намедни карандаш вытирали»; рекомендательное письмо; рассуждения героя о литературе; сравнение участи бедного поэта с судьбой Камознса.

К злободневной в 1840–е гг. теме литературной жизни Некрасов обращался в водевиле «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни» (1841), основанном на автобиографическом материале. Театральной среде, которую он хорошо знал, посвящен водевиль «Актер» (1841).

Критический пафос и проблематика многих рецензий Некрасова 1840–х гг. («Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого», «„Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода“. Сочинение Фаддея Булгарина», «Аристократка, былъ недавних времен, рассказанная Л. Брантом» и др.), направленных против Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, В. С. Межевича, Л. В. Бранта и др., также перекликались с центральными главами романа о Тростникове. Литературный портрет Булгарина, созданный в названной выше рецензии, сблизился с памфлетным изображением редактора-издателя «Северной пчелы» в образе «почтеннейшего», а возможно, и предвосхищал его. Литературно-эстетическая позиция Некрасова, сформулированная в ряде его статей, в том числе в отзыве на часть первую сборника «Физиология Петербурга», в котором отмечалось как «весьма важное и даже главное достоинство», «достоинство правды» (ЛГ, 1845, 5 апр., № 13), нашла свое отражение в суждениях писателя о современной литературе и журналистике, включенных в роман.

Исследователи (К. И. Чуковский (Некрасов, Тростников, с. 29–47), В. Е. Евгеньев-Максимов (там же, с. 11–28), А. Н. Лурье (ПСС, т. VI, с. 548–549) и др.) давно обратили внимание на совпадение фактов жизни Некрасова с рядом эпизодов биографии Тихона Тростникова. Действительно, многие события жизни Некрасова после приезда из Ярославля в Петербург нашли отражение в романе: хождение с рекомендательными письмами, встреча с учителем Григорием Андреевичем Огуловым, неудачная попытка поступить в университет, печальная история публикации первой книги стихов, поиски случайного заработка, скитания по «петербургским углам», знакомство с инженерным офицером, с книгопродавцами, журналистами, общение и сотрудничество с актерами и драматургами.

Однако представляется явно преувеличенной концепция К. И. Чуковского, согласно которой роман и биография Некрасова полностью отождествлялись. Исследователь безусловно сужал значение произведения Некрасова, называя его «биографией в

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в форме беллетристической повести» (см.: Чуковский К. Тростников – Некрасов (черты автобиографии в найденных произведениях Некрасова). – Некрасов. Тростников, с. 29).

В начале 1840–х гг. автобиографизм еще не стал приметной особенностью русской прозы. «Записки молодого человека» Герцена, опубликованные в «Современнике» (1840–1841), являлись почти единичным примером автобиографической повести, в которой раскрывались духовные искания русской интеллигенции. Расцвет художественной мемуарной автобиографической повести и романа падает на более позднее время – 1850–1860–е гг., когда появятся «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, автобиографическая трилогия Л. Н. Толстого, «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, повести Ф. М. Решетникова и произведения других авторов.

Истоки замысла романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» связаны с первыми годами петербургской жизни Некрасова, с его впечатлениями от знакомства с общественно-литературной средой 1840–х гг., с его деятельностью драматурга, критика и журналиста. О том, что Некрасов лишь отталкивался от автобиографического материала, пытаясь создать большой социальный роман, о полном основании свидетельствует незавершенная рукопись.

В сохранившихся главах намечены мотивы и темы, характерные для литературы «натуральной школы»: поиски молодым человеком из провинции «места» в Петербурге («нет вакансии»), судьба литератора-разночинца, связанная с нею тема литературно-журнальной борьбы, развенчание эпигонского романтизма, тема народа.

Первая из названных тем была очень распространенной в прозе начала 1840–х гг.; ей посвящены рассказы «Искатель места» (1843) Е. П. Гребенки, «Сто рублей» (1845) Я. П. Буткова, «Повесть о бедном Климе» Некрасова и др.

Тема становления литератора-разночинца проходит через всю рукопись. В незавершенном романе, распадающемся на несколько сюжетных линий, явно ощутимо стремление автора именно этой темой скрепить сюжет, объединить различные планы повествования. «Исповедью раннего разночинца» назвал незаконченный роман Некрасова В. Е. Евгеньев-Максимов (см.: Некрасов. Тростников, с. 11–28). Под этим углом зрения роман интерпретировался и другими литературоведами. [17]

Некрасов делает попытку художественно запечатлеть новый общественный тип разночинца, во многом противоположный традиционному для прозы 1840–х гг. герою – маленькому человеку (Акакию Акакиевичу Башмачкину, Макару Девушкину). Всё происходящее с Тростниковым от первой до последней части романа отнюдь не воспринимается в трагическом ключе. Отсутствуют драматические интонации в сценах хождений героя по петербургским передним, в картинах скитаний по «петербургским углам». Мотив случайного обогащения Тихона (тема денег) ни в коей мере не изменяет иронической фельетонной манеры повествования, отчетливо звучащей и в части третьей рукописи, в которой герой, разорившись, вновь оказывается на дне. Примечательно, что, обращаясь к шаблонным ситуациям в раскрытии судьбы Тростникова (поиски «казенного места», петербургские злоключения и т. д.), Некрасов полностью избегает элементов дидактизма, присущих нравоописательной повести.

Созданный писателем герой в известной мере отличается также и от традиционного персонажа авантюрно-приключенческого романа, и от романтического мечтателя и страдальца.

В начале рукописи (часть первая, глава II) Тихон Тростников говорит о себе: «...я не сделался <...> безотчетным мечтателем <...>. Я не сделался пламенным идеалистом <...> я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель» (с. 60–61). Некрасовская характеристика переплетается с автохарактеристикой героя и в главе I части второй: «Я не принадлежал к числу людей, удовлетворяющихся положительными житейскими целями. <...> Всеми помыслами души стремился я к литературной славе,» (с. 152–153). В части третьей рукописи характерна авторская оценка героя, созвучная приведенным выше; «Не считаю я моего героя человеком необыкновенным...» (с. 247).

В сознательной установке на обыкновенность героя (которая подчеркнута и простонародным именем Тихон), выдержанной на протяжении почти всей рукописи, ощущается ориентация молодого Некрасова на традицию Гоголя, защищавшего

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов «обыкновенное» как предмет изображения,

Некрасов проводит своего героя по пути жизненных и интеллектуальных исканий (стремление стать студентом, мечта о литературной славе), выделяя при этом его способность применяться к любым житейским обстоятельствам, живучесть, в отличие от традиционных мечтателей, романтических героев, заранее обреченных на гибель. В этом полная противоположность Тихона Тростникова Некрасовскому бедному климу. В конце романа Тихон Тростников оказывается в той же ситуации, что и герой «Повести о бедном Климе» (тяжело больного, его изгоняют на улицу). Но это сходство дано в романе в пародийном ключе. Неслучайно в качестве эпиграфов к главе II Некрасов использует иронические строки из стихотворения Тургенева «Человек, каких много» и автоцитату из «Повести о бедном Климе», после которых следуют прозаические рассуждения героя о луке: «Фи, ты ешь лук!» (с. 244). [18]

Герой Некрасова нетрадиционен. Своеобразие судьбы Тростникова состоит главным образом в том, что автор приводит его к «писательству», к литературной «карьере». [19]

Тема литературно-журнальной борьбы раскрывается наиболее полно и законченно в части второй, озаглавленной «Похождения русского Жилблаза». Примечательно, что само название Некрасов использовал явно в пародийных целях, так как именно эта часть\* по своему содержанию лишена каких-либо жанровых признаков авантюрно-приключенческого романа. В сфере внимания Некрасова противоборствующие идейные лагеря русской журналистике 1840-х гг., в существо которых писатель хорошо ориентировался. Содержание глав III, V («Почтеннейший»), VI части второй, посвященных событиям литературной, театральной жизни 1840-х гг., отражает борьбу Белинского с журнальными органами официальной народности, полемику между западниками и славянофилами о судьбах России, о роли и назначении передовой литературы. В остро памфлетной характеристике петербургской и московской журналистики («Журналистика русская представляла странное и горестное зрелище» – с. 156), за которой угадывались «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, «Сын отечества» Н. А. Полевого, «Москвитянин» М. П. Погодина и С. П. Шевырева, «Северная пчела» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, проявилась сатирическая направленность дарования Некрасова. В романе дана оценка «состояния литературы и журналистики русской» с позиций передового современника. Позднее Некрасов повторит эту характеристику в поэме «Белинский» (см. об. этом: Евгеньев-Максимов, т. V с. 368–372).

Лагерю «литературных барышников» в главе III «Похождение русского Жилблаза» противопоставлен журнал, «в котором участвовали люди, недовольные настоящим порядком вещей и стремившиеся к идеалу какой-то другой более истинной и плодотворной литературы» (с. 159), – «Отечественные записки»; в них сотрудничал Белинский и сам Некрасов.

Факт основательного знакомства Некрасова в начале 1840-х гг. с литературно-критической деятельностью Белинского не вызывает сомнений. Рукопись части второй романа изобилует многочисленными вкраплениями, реминисценциями из текстов статей критика, демократа. Обращаясь к литературно-критическим суждениям Белинского и системе его литературно-эстетических воззрений, молодой писатель использует все наиболее близкое и созвучное своим; представлениям о назначении передовой литературы.

Многие параллели в романе Некрасова с важнейшими тезисами статей Белинского отмечались К. И. Чуковским (см.: Некрасов, Тростников, с. 37); В. Е. Евгеньевым-Максимовым (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 370); А. Н. Лурье (ПСС, т. VI, с. 547–548). Перечень таких совпадений можно продолжить. Например, оценка журналистики, данная Некрасовым в главе III «Похождение русского Жилблаза», соответствует мыслям Белинского в его «Литературных и журнальных заметках» 1843 г. Изложение критического отзыва журнала («Но всех более огорчила и оскорбила меня критика журнала, в котором участвовали люди, недовольные настоящим порядком вещей...» – с. 159) представляет собой в известной мере контаминацию выдержек из статей «Русская литература в 1840 году» и «Стихотворения Лермонтова» (см. ниже, с. 741). Оценка Некрасовым «старой литературы» (с. 122) совпадает с мнением Белинского о Державине, Сумарокове, Петрове, Хераскове, высказанным в его рецензии на полное собрание сочинений А. Марлинского (1840): «Эти люди пользовались удивлением, восторгом и поклонением от своих современников и, хотя недолго, даже и потомства» (Белинский, т. IV, с. 27). Суждения в рукописи романа о Вольтере и Руссо (с. 123) аналогичны высказываниям Белинского о французских



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов просветителях (см. ниже, с. 734). В главе VI части второй ошканный автор «Бобровой шапки» приносит по адресу «издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа»: «Жанен! Жанен! <...> Вам всё бы острить» (с. 182). В статье Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» содержатся такое же ироническое сравнение Сенковского с Жаненом: «В иных местах хоть и вздор, но зато какое во всем остроумие <...> Жанен! Решительный Жанен!» (Белинский, т. VI, с. 352). Выпад Некрасова против славянофильских убеждений Шевырева, автора статьи «Взгляд русского на образование Европы» (М, 1841, № 1) и критического разбора «Полной русской хрестоматии...», составленной А. Галаховым (М, 1843, № 6), полностью совпадает с критикой славянофильства во многих работах Белинского (см. об этом ниже, с. 739–740).

В поле зрения Некрасова в период работы над рукописью находились литературно-критические выступления и других его современников (П. А. Плетнева, А. В. Никитенко, А. Д. Галахова), а также критика и публицистика «Литературной газеты» и «Северной пчелы». Об этом свидетельствуют цитаты из «Похвального слова Петру Великому» А. В. Никитенко в связи с критикой славянофильской позиции Шевырева, упоминания выпадов Булгарина на страницах «Северной пчелы», направленных против Белинского, выдержки из статей Ф. А. Кони в «Литературной газете» с рассуждениями о журналистике, совпадающими с некрасовскими.

Роман насыщен реалиями литературно-общественной жизни эпохи, намеками (часто отнюдь не завуалированными) на отдельные ее события, изучение которых позволило выявить прототипы писателей, редакторов, журналистов, издателей, театральных деятелей и других персонажей «Похождений русского Жилблаза». В «почтеннейшем» легко угадывается Ф. В. Булгарин, которому посвящена одна из ярких сатирических глав; в «журналисте, человеке среднего роста, в зеленом халате, зелено-серых чулках и старых калошах» (с. 93), – Н. А. Полевой; в облике издателя-гостинодворца можно обнаружить некоторые приметы В. П. Полякова; образ «сотрудника почтеннейшего, беспрестанно перебежавшего из журнала в журнал» (с. 190), заставляет вспомнить о характерных особенностях биографии В. С. Межевича; прототипом «веселого, беспечного и откровенного до дерзости» (с. 184) режиссера послужил Н. И. Куликов, ставивший ранние водевили Некрасова (см.: Некрасов. Тростников, с. 20–21, 32–41). К числу реальных лиц, изображенных в романе о Тростникове, принадлежал и редактор «Литературной газеты», «Репертуара и Пантеона» Ф. А. Кони, сыгравший положительную роль в жизни Некрасова. Он выведен здесь в образе «издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа». В исследовательской литературе установилась точка зрения, высказанная К. И. Чуковским, о резко критическом отношении Некрасова к Ф. А. Кони (см.: Некрасов. Тростников, с. 36). Между тем рукопись свидетельствует о том, что в сознании Некрасова редактор «Литературной газеты» вовсе не ассоциировался с лагерем Булгарина, Сенковского, Межевича, а отношение к нему молодого писателя было значительно сложнее. Часто повторяемый иронический эпитет «издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», так же как и намеки на водевильные каламбуры Ф. А. Кони, – пример использования в романе многочисленной и постоянной критики «Северной пчелы» по поводу эпиграфа «Литературной газеты» и литературной деятельности ее редактора (см. ниже, с. 737). Помета «Рассказ, а Та Кони ~ на свои собственные труды» в тексте главы VI части второй представляет интерес как заявка на художественную полемику с творчеством Кони-водевильста. Таким образом, известная доля иронии по адресу Кони-журналиста не мешает Некрасову опираться на опыт Кони-повествователя.

Содержание и проблематика части второй романа, преимущественно главы V («Почтеннейший»), позволяет с достаточной определенностью говорить об ориентации Некрасова на широко распространенные в литературе 1840-х гг. жанры литературного памфлета, литературной пародии. Г. А. Гуковский, подобравший почти к каждому мотиву романа интересные параллели в современной и предшествующей ему французской и русской литературе, [20] в особенности убедительно сопоставил «Похождения русского Жилблаза» с двумя произведениями И. И. Панаева – очерком «Петербургский фельетонист» (впервые появился под названием «Русский фельетонист. Зоологический очерк») (ОЗ, 1841, № 3) и повестью «Тля. (Не повесть)» (ОЗ, 1843, № 2). [21] Основываясь на сюжетных, фразеологических аналогиях, исследователь возводит существенную особенность «Пождений русского Жилблаза» – портреты живых лиц – к названным очерку и повести И. И. Панаева.

Действительно, некрасовские памфлетные зарисовки беспринципных журналистов Булгарина («Почтеннейшего») и Межевича (Халкевича) по чертам внешности, речи, бытовым деталям, использованным в романе, совпадают с сатирическими образами

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов Фетюкова (Булгарина) и «петербургского фельетониста» (Межевича). [22]

Однако литературное творчество И. И. Панаева не было единственным источником, к которому обращался Некрасов, создавая меткие литературные портреты целого ряда современных ему деятелей журналистики и театра. «Петербургский фельетонист» И. И. Панаева восходил к памфлету Белинского «Педант» (ОЗ, 1842, № 3), направленному против Шевырева. В сфере внимания автора романа о Тростникове были и приемы памфлетного мастерства, благодаря которым современники безошибочно узнавали идеологического противника Белинского, и сама история создания «Педанта».

Характеризуя славянофила Шевырева в главе III части второй, обильно цитируя его статьи, Некрасов безусловно опирался на Белинского. К Шевыреву в романе отнесится такой штрих: «вопит пискливым педантически-напыщенным голосом...» (с. 157; курсив наш, – Ред.). фраза эта содержит прямой намек на название памфлета Белинского и представляет собой перефразированную цитату из него: «Педант мой говорит голосом важным, протяжным и тихим, несколько переходящим в фистулу, как будто от изнурительной полноты ощущений в пустой груди» (Белинский, т. VI, с. 73; курсив наш, – Ред.).

В образе «ловкого промышленника», «ученого-литератора», «спекулянта» в «Педанте» был выведен редактор «Москвитянина» М. П. Погодин, которому в романе Некрасова также была дана негативная оценка. Критическое изображение Погодина в романе совпадало с другой его памфлетной характеристикой, принадлежавшей Герцену – автору «Путевых записок г. Вёдрина» (ОЗ, 1843, № 11). Некрасову безусловно была известна блестящая пародия Герцена на дневник Погодина «Год в чужих краях. 1839». В 1843 г., рецензируя сборник «Молодик на 1843 г.» (ЛГ, 1843, 24 окт., № 42), писатель иронически отозвался о записках Погодина. Славянофильские взгляды редактора «Москвитянина» и его путевые записки подверглись осмеянию и в «Очерках литературной жизни» (1845) (см.: наст. изд., т. VII, с. 366–368, 598–600), и в, по-видимому, принадлежащем Некрасову анекдоте «как один господин приобрел себе ра бесценно дом в полтора тысяча», в котором автор путевого дневника фигурировал под именем Бедрина – намек на памфлет Герцена (НА, с. 23–26). Так же как и Герцен, Некрасов критикует общественную позицию Погодина, идеализировавшего русскую старину и видевшего угрозу со стороны европейской цивилизации. Герцен иронизирует по этому поводу, пародируя автора путевого дневника: «Нельзя не отдать справедливости цивилизации, когда дело идет об удобствах, – как бы не вред нравам! <...> Мужички работают так усердно <...> не они нам, мы им должны завидовать; в простоте душевной они работают, не зная бурь и тревог, напиханных в нашу душу...» (Герцен, т. II, с. 108–109). В романе Некрасова читаем: «Наши нововводители, либералы развращают поколение молодых людей толками о стремлении к какому-то совершенству, о старании достигать той степени образования, которой достигли наши западные соседи! <...> Не верьте этим врагам отечества, которые унижают всё русское» (с. 157).

Воссоздавая картину литературного быта эпохи, Некрасов учитывал, по-видимому, и незначительные произведения, лишенные какой-либо художественной ценности, но содержащие злободневный фактический материал, в частности роман Л. В. Бранта «Жизнь как она есть». Записки неизвестного» (1843). Возможно, Некрасов был знаком с Брантом лично. Из благожелательной рецензии последнего на сборник «Мечты и звуки» (РИ, 1840, 13 июня, № 130) явствует, что критику «Северной пчелы» были известны подробности биографии молодого Некрасова.

В свою очередь Некрасов в период работы над романом о Тростникове был хорошо осведомлен о литературной продукции Бранта, к которой, так же как и Белинский, относился крайне отрицательно. Сотрудник «Северной пчелы» был известен в 1840–е гг. своими претенциозными статьями и брошюрами типа «Петербургские критики и русские писатели,» (СПб., 1840), систематическими выступлениями против «Отечественных записок», постоянными нападками на Белинского и писателей «натуральной школы». Так же как и Белинский, Некрасов неоднократно иронизировал по поводу его «аристократических» повествований и «опытов библиографических обозрений» (см. об этом в рецензиях Некрасова: «„Аристократка, быть недавних времен, рассказанная Л. Брантом“. СПб 1843» (ЛГ, 1843, 17 янв., № 3), «„Наполеон, сам себя изображающий“, с франц. СПб., 1843» (ЛГ, 1843, 2 мая, № 17)).

В романе «Жизнь как она есть» в карикатурном, пасквильном виде были изображены многие писатели, критики и прежде всего сотрудники «Отечественных записок»:

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов, Краевский, Белинский, Панаев, Некрасов и др. Современники, принадлежавшие к разным различным идеологическим лагерям, угадывали их поименно. В частности, П. А. Плетнев, отнюдь не сочувствовавший направлению «Отечественных записок», писал Я. К. Гроту 2 февраля и 18 октября 1844 г.: «Этот романист в лице парижских журналистов отхлестал Сенковского, Краевского, Белинского и Панаева <...> тот Брант, над романами и критическими статьями которого глумятся все журналисты» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II. СПб., 1896, с. 177, 333–334). Белинский откликнулся на пасквиль Бранта рецензией, в которой в образе писаки-шута вывел самого автора «Жизни как она есть», а о его романе отозвался так: «Мертво, вяло, скучно, пошло» (Белинский, т. VIII, с. 138). В объяснительном письме к А. В. Никитенко по поводу рецензии Белинского, вызвавшей недовольство цензора, А. А. Краевский писал с возмущением: «Кто же может пожаловаться на статью? Уж верно не Брант же, который сам гораздо резче и ближе дает чувствовать, что под портретами мошенников-литераторов он выставил меня, Сенковского, Кони, Белинского и Некрасова».[23] Позднее, в 1849 г., Некрасов откровенно говорил о бездарности произведений Бранта и их печальной славе: «Эти романы подали при своем выходе повод к нескольким забавным журнальным рецензиям, но с тем и кончилась их известность» (С, 1849, № 9; ПСС, т. XII, с. 255).

Однако, критикуя Бранта, Некрасов вместе с тем воспользовался несколькими эпизодами из «Жизни как она есть» в части второй своего романа.

О Сенковском в главе II части второй читаем: «Один, высуня язык и надев шутовской колпак, кривлялся перед публикою скоморохом...» (с. 156; курсив наш, – Ред.). В романе Бранта содержится выпад против Сенковского почти в тех же выражениях: «...она <публика> <...> заклемила его прозвищем уличного шута, каким прозвищем он, впрочем, гордится, по-видимому <...> он лезет из кожи <...> ломается, кривляется, высовывает язык, пляшет и скачет, марает лицо свое, и без того некрасивое, сажею, углем <...> рядится в самые уродливые маскарадные костюмы, надевает колпак с бубенчиками и всякими погремушками, строит гримасы, кувиркается, ходит на голове – всё это, разумеется, шутовским пером своим» (Брант Л. Жизнь как она есть. СПб., 1843, с. 115–116).[24]

Угроза «почтеннейшего» – «...сильные меры приму...» (с. 179), упомянута в романе Бранта как предлагаемая полицейская форма борьбы против передовой журналистики, главным образом против «Отечественных записок», «проповедующих нелепые теории и вредные воззрения». «Ограничить злоупотребления периодических изданий и повести их по пути истинному, – пишет Брант, – дело очень возможное: следует только <...> взяться за него твердою рукою <...> принять сильные меры, привесив некоторого рода нравственные гири к головам людей неблагонамеренных» (Брант Л. Жизнь как она есть, с. 127–129).

Возможно, название водевиля «Закулисные журнальные тайны», обещанного Тростниковым для «бенефиса актера, отличавшегося необыкновенной любезностью» (с. 174), также навеяно пасквилем Бранта. В романе Бранта находим близкую по смыслу и стилю фразу, относящуюся к герцогине, на вечере у которой собираются журналисты: «...она знала все закулисные литературные сплетни, все тайные пружины печатных действий журналистов» (Брант Л. Жизнь как она есть, с. 114).

Не случайно Тростников опасается, что, если он откажется написать такого рода водевиль, «одна из жалких и смешных ролей», которые он «назначал своим врагам», придется на его долю. Здесь содержится намек на известный современникам факт: в романе Бранта Некрасов был выведен в образе сотрудника «энциклопедического журнала» («Отечественных записок») с «умишком полуобразованным, вертящимся около того, чего сам порядочно не понимает» (Брант Л. Жизнь как она есть, с. 117). Выражение «около того» обыгрывалось в водевиле Некрасова «Шила в мешке не утаишь – девушки под замком не удержишь» (1841) (см.: наст. изд., т. VI, с. 217–250), по поводу которого рецензент «Отечественных записок» заметил, что автор «часто прибегает к пустым эффектам, основанным на беспрепятственно, к стати и некстати, повторяемой бриллиантщиком поговорке „около того“» (ОЗ, 1841, № 6, «Театральная летопись», с. 120).

Однако свободное владение злободневным литературным материалом отнюдь не исключало самостоятельных жизненных наблюдений писателя, глубоко понимавшего суть общественно-литературной полемики 1840-х гг. Меткие художественные обобщения в раскрытии темы петербургской литературной жизни несомненно связаны с личными впечатлениями Некрасова от знакомства как с крупными литературными деятелями (Белинский, Герцен), так и с петербургскими журналистами второго и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов третьего ряда, именуемыми И. И. Панаевым «литературной тлей». И. В. Павлов, студент Московского университета, в 1840–е гг. близкий с Т. Н. Грановским, Герценом, писал о Некрасове в период его приезда в Москву и в Соколово к Герцену летом 1845 г.: «... переселился к нам на квартиру Некрасов. Он чудный малый! <...> Я с ним очень сошелся. Он каждый вечер является навеселе и рассказывает Тьму забавнейших анекдотов о петербургской литературе» (см. недатированное письмо И. В. Павлова к А. И. Малышеву – ГБЛ, ф. 135, карт. 60, ед. хр. 66, л. 3).

Не меньшее место в романе уделено теме народа, характерной для литературы «натуральной школы» и ставшей вскоре центральной для всего поэтического творчества Некрасова. Судя по многим сюжетно законченным главам («О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются», «История Параши» и др.) и в особенности по последней, незавершенной части, Некрасов предполагал развитие ее основательно. Как подступы к ее решению можно рассматривать отдельные зарисовки характерных типов (обитатели «петербургских углов», посетители трактира, рыжий печник и др.). Часть третья содержит ряд эпизодов посвященных изображению крестьян, которые приехали на заработки в Петербург. В одном из них рассказывается о знакомстве Тростникова с крестьянской девушкой Агашей (по существу этот сюжет представляет собой «историю Агаши»). Особое внимание Некрасов придавал рассказу о встрече Агаши с ее братом извозчиком Ванюхой. Именно этот отрывок готовился для публикации под названием «Похождения Тростникова». Последняя часть, несмотря на ее фрагментарность и незавершенность, представляется в известной мере итоговой: в ней отчетливо прослеживаются демократические симпатии Некрасова, устойчивый интерес к теме городской бедноты, с которой ассоциировалась в сознании молодого писателя проблема судеб народа. Не случайно одновременно с работой над романом в 1845–1847 гг. Некрасов создает ряд выдающихся произведений: «В дороге», «Родина», «Огородник» и др., высоко оцененных Белинским не только за их художественную зрелость, но и за антикрепостническую направленность. Именно в последней части намечаются эстетические принципы осмысления проблемы народа, основанные на социальном противопоставлении «несчастливцев, которым нет места даже на чердаках и подвалах», «счастливым, которым тесны целые дома» (с. 250). Эти принципы изображения народной жизни легли в основу издания «Стихотворений» (1856) Некрасова и всего его поэтического творчества.

Отдельные эпизоды части третьей (знакомство Тростникова с историей Агаши, перекликающейся с аналогичным сюжетом («История Параши») в «Похождениях русского Жилблаза») позволяют сделать вывод о том, что в процессе работы над романом Некрасов занимал вопрос взаимоотношений народа и сочувствующего ему литератора–разночинца.

Идейной и тематической насыщенностью «Жизни и походов Тихона Тростникова» объясняется место романа в творчестве Некрасова. Произведение это вообрало в себя множество мотивов, проблем и образов, полно раскрывшихся затем в поэзии зрелого художника. Так, тема социальных контрастов Петербурга, впервые поставленная в романе, пройдет через всю поэзию Некрасова, найдя отражение в стихотворном фельетоне «Говорун» (1843–1845), в поэме «Несчастные» (1856), в циклах стихотворений «На улице» (1850) и «О погоде» (1858–1865). Может быть отмечено сходство сюжета стихотворения «Вино» (1848) с историей Кирьяныча в части первой романа. «Петербургские танцклассы» будут упомянуты в стихотворениях «Новости» (1845) и «Прекрасная партия» (1852), в романе «Три страны света» (1848–1849). В том же духе, что и в романе, дается характеристика литературной и театральной жизни в «Трех странах света» и «Мертвом озере» (1851).

Многие строки романа, в том числе сохранившиеся в вариантах и набросках, почти дословно повторяются в поэтическом наследии писателя. Например, строка «Отцветешь, не успевши расцвести» из стихотворения «Тройка» (1846) полностью соотносится с одним из черновых вариантов романа (см.: Другие редакции и варианты, с. 527). Диалог на Невском проспекте в главе VIII «Похождений русского Жилблаза» («Куда вы идете? ~ Ну так, может быть, вы лучше любите ездить?» – с. 219–220) совпадает со следующими строками из стихотворения «Говорун»: «Куда идти изволите, Куда вы, ангел мой? Что пальцы вы мозолите, Поедемте со мной!» (наст. изд., т. I, с. 471). Строки из части третьей «Жизни и походов Тихона Тростникова»: «...хозяин дома с проклятиями заказывает три небольшие гробика...» (с. 251) – повторяются в стихотворении «Еду ли ночью по улице темной...» (1847).

Судя по длительной работе, обилию вариантов и поправок в рукописи, писатель дорожил своим замыслом. О том, почему роман о Тихоне Тростникове не был в свое

мнений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
время завершен и не появился в печати, можно судить предположительно.

По мнению В. Е. Евгеньева–Максимова и других исследователей, это объясняется прежде всего цензурными причинами (см.: Евгеньев–Максимов, т. I, с. 410; Некр. сб., вып. III, с. 37). Однако текст романа не дает оснований считать такое объяснение единственным, тем более что отрывок из романа, вызвавший серьезные цензурные затруднения («Петербургские углы»), был все-таки опубликован. Возможно, Некрасов отказался от завершения романа потому, что избранная им форма авантюрно–приключенческого романа жильбазовского типа к концу 1840-х гг., когда уже вышли в свет «Обыкновенная история» Гончарова, «Кто виноват?» Герцена, «Бедные люди» Достоевского, «Запутанное дело» Щедрина, явно устаревала (см.: Вердеревская Н. А. Становление типа разночинца в русской литературе 40–60-х годов XIX века, с. 39), хотя в процессе работы над «Жизнью и похождениями Тихона Тростникова» авторские усилия были направлены на пересоздание традиционного жанра (см. об этом; Карамышлова О. В. Художественное своеобразие романов Н. А. Некрасова. Автореф. канд. дис. Киев, 1982, с. 5–10).

Роман о Тростникове не был закончен, по-видимому, еще и потому, что он не состоялся как роман. В нем преобладают слабо связанные между собой физиологический очерк («О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются», «История ежовой головы» и др.), с одной стороны, авантурные и пародийно–авантурные эпизоды («История Матильды») – с другой. Содержание «Жизни и пождений Тихона Тростникова» (проблема становления разночинца, его взаимоотношений с народом) явно опережало избранную форму. Писателю не удавалась целостная композиция; роман распадался на несколько сюжетных линий, хотя по замыслу их должен был объединять образ центрального героя.

На судьбе романа сказались, очевидно, и занятость Некрасова – его напряженная организаторская работа по созданию программных сборников («Физиология Петербурга», «Петербургский сборник»), а также деятельность в качестве соредактора «Современника» с 1847 г.

Не исключено, что писатель не довел роман до конца, не публиковал даже отрывков из него после 1845 г. и по тактическим соображениям. Многие наиболее интересные и злободневные по содержанию главы (в особенности глава «Почтеннейший») отличались полемичностью и были насыщены острыми выпадами по адресу живых современников.

Однако незавершенный роман о Тростникове знаменовал собой определенный этап в творческом развитии Некрасова. Работа над рукописью первого большого самостоятельного произведения явилась для молодого художника своеобразной литературной школой; этот опыт плодотворно сказался в его поэтическом творчестве.

...я не сделался ни безотчетным мечтателем ~ фантазировать натошак мне казалось делом до крайности неблагоприятным. – Ср. с рассуждением о петербургских мечтателях в «Сургучове» (с. 289–290).

На что я ни жаловался не напечатано! – Автобиографический эпизод. Некрасов иронизирует по поводу содержания сборника «Мечты и звуки» (СПб., 1840). Ср. с оценкой Белинского подобной поэзии в статье «Русская литература в 1843 году» (ОЗ, 1844, № 1): «О грусти, разочаровании, идеалах, неземных девах, луне, сладостной лени, разгульных пирах, шипучем вине, отчаянии, ненависти к людям, погибшей юности, измене, кинжалах, ядах – обо всем этом уже было сказано и пересказано тысячу раз...» (Белинский, т. VIII, с. 61).

Прийти под сень развесистых дубов – перефразированная строка из стихотворения «Красавице» (Миз): «Слетя ко мне под сень развесистого древа» (см.: наст. изд., т. I, с. 255).

Где, заковав в горячие объятия, Тебя, о дева неги, буду лобызать я... – Ср. со строками «Песни» (Мяз):

Девы! ведь чувства во мне не затворены,  
Я не бездушный гранит.  
Дайте любви мне – радость безумная  
Вспыхнет, как пламя, в крови;

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Прочь, неотвязная грусть многодумная,  
Всё утоплю я в любви!  
(см.: наст. изд., т. I, е. 226),

О юноши! О вы, недавние гости мира, принимающие необузданное кипение крови в молодых жилах ваших за вдохновение ~ из вечно живого источника утешений, которые почерпают в искусстве люди, подходящие к нему с трепетом и благоговением! – Лирическое отступление, ассоциативно связанное с лирическими отступлениями в «Мертвых душах» (в частности, обращением к юношеству в главе VI – Гоголь, т. VI, с. 127), с рассуждением Гоголя о высоком назначении поэта-художника, о его подвижническом служении искусству в повести «Портрет» (см. там же, т. III, с. 126–137). ...необузданное кипение крови ~ за вдохновение... – реминисценция из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839). Ср. также заключительную строфу стихотворения Некрасова «Тот не поэт» (МЗ) (см.: наст. изд., т. I, с. 256).

Тут было всё, что воспевали наши поэты. И «Тройка», и «Колокольчик», и «Она», и «Водопад», и «Пляска», и «Луна», и «Мечты», и «Горе». – Некоторые из перечисленных тем и образов, ставших общими местами в псевдоромантической поэзии 1830–1840-х гг., нашли отражение в стихотворениях Некрасова «Изгнанник», «Встреча душ», «Незабвенная», «Сомнение» (МЗ) (см.: наст. изд., т. I, с. 196, 207, 219, 224). Ср. также рецензию Некрасова «„Были и небылицы“ Ивана Балакирева» (1843): «...были бы слова да рифмы, а предмета как не найти, начиная с луны и девы до могилы и завядшего цветка» (ПСС, т. IX, с. 75). Аналогичный перечень тем содержится в анонимной рецензии «„Цветы и музы“». Стихотворения А. Градцева. СПб., 1842»: «И какое было тогда блаженное житье поэтам! Поэт мог воспевать „мечту“, „деву“, „луну“, „нездешнего гостя“, „родину“, „музу“, „очи“, не опасаясь имени подражателя, компилятора подержанных мыслей и выражений» (ЛГ, 1842, 18 янв., № 3, с. 52–54). Об атрибуции рецензии Некрасову см.: Егоров В. А. Неизвестные рецензии Н. А. Некрасова в «Литературной газете». – Некр. и его вр., вып. 3, с. 142–150.

...приобрел в нем, подобно Горацию со своего мецената... – Квинт Гораций Флакк (65 до н. э. – 8 до н. э.), римский поэт. В 33 г. до н. э. был представлен римскому государственному и литературному деятелю Гаю Цильнию Меценату и пользовался его покровительством; имя последнего как покровителя искусств стало нарицательным.

Он сказал моему отцу, что даст мне такое рекомендательное письмо спо его превосходительству Игнатию Степановичу Закобьякину. – В 1872 г. Некрасов писал в автобиографии: «Прокурор Полозов дал рекомендательное письмо жандармскому генералу Полозову об определении в Дворянский полк» (см.: ПСС, т. XII, с. 11). Ср. также записи А. С. Суворина о встрече с Некрасовым 16 января 1875 г.: «Некрасов приехал в Петербург, когда ему не было еще 16 лет, с письмом отца к жандармскому генералу Полозову, соседу по имени. В письме была просьба определить Н<екрасова> в Дворянский полк. Полозов отправил его к Ростовцеву, который сказал, что это можно. Но Н<екрасову> не хотелось этого, и он пришел к Полозову просить его, чтобы он не беспокоился насчет определения его: „Я хочу поступить в университет“» (см.: Краснов Г. В. Из записок А. С. Суворина о Некрасове. – Прометей, т. 7. М., 1969, с. 287; см. также: Скабичевский А. М. А. Н. Некрасов. Ст 1879, т. I, с. XXIII–XXIV).

...на совести моей нет ни одной патриотической драмы ее очень хорошо известными господам, упражняющимся в изделиях такого рода. – Намек на патриотические драмы Н. А. Полевого, П. Г. Ободовского и др. Ироническое отношение Некрасова к патриотическим драмам 1840-х гг. выражено в его пародии «Федотыч, трагедия в 5 действиях, в 16 картинах...» (рассказ «Без вести пропавший пиита», 1840).

...обмокнутую в лагунку... – Лагунка – дегтярная бочка.

...темно-серой шинелью на гроденапле... – Гроденаплъ – плотная шелковая подкладочная ткань.

...«обратный» ямщик... – ямщик, возвращающийся домой порожняком.

Другой генерал принял меня очень ласково ~ то какой же пример подадим подчиненным? – Эпизод сюжетно восходит к описанию хождений героя по департаментам в поисках «вакации» («Повесть о бедном Климе»).

...я пошел к графине, у которой сын командовал уланским полком... – Этот эпизод

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов основан на автобиографическом факте. По воспоминаниям В. А. Панаева, Некрасов, приехав в Петербург, обратился с рекомендательным письмом к дальней родственнице Марковой. Ее сын был в то время командиром лейб-гвардии уланского полка, который стоял в Новгородских поселениях. О визите Некрасова к Марковой В. А. Панаев вспоминал со слов Некрасова: «Прихожу, вижу древнюю старуху, сидящую у окна и вяжущую чулок; подал я ей письмо от отца, она позвала приживалку прочесть, – А, так ты из Ярославля? – спросила она. – Из Ярославля, бабушка. – Сюда в Петербург приехал? – Сюда, бабушка. – Учиться? – Учиться, бабушка. – Хорошо, учись, учись! – Сиж и жду, что будет дальше. – Так отец твой жив? – спросила она опять. – Жив, бабушка. – Ведь ты из Ярославля? – Из Ярославля, бабушка. И затем пошли одни и те же вопросы несколько раз. Вижу, что толку нет никакого, и ушел» (Панаев В. А. Воспоминания. – РС, 1901, № 9, с. 493).

...за полуштофом простого вина... – Полуштоф – четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, вмещающий полштофа. Штоф – старая русская мера жидкости (обычно вина, водки), равная 1/8 или 1/10 ведра.

...стакан ерофеичу... – Ерофеич – водка, настоянная на разных пахучих травах.

Спенсер – корсаж со шнуровкой или короткая облегающая куртка.

Всё тот же прах, суета; из одной земли сделаны и в землю все возвратимся. – Перефразированная библейская цитата: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Книга бытия, гл. 3, ст. 19).

Иное дело засечка со сап... – Засечка – от слова «засечься», т. е. зашибиться, задев на ходу одной ногой за другую (о лошади); сап – неизлечимая заразная болезнь у лошадей и других животных.

...антимонии, да сера горючей, да девясила корня... – Антимоний – сурьма, употребляется в медицине как рвотное; сера – легковоспламеняющееся вещество, применяемое в медицине и технике; девясил – многолетнее травянистое растение, но своим лечебным свойствам являющееся отхаркивающим и дезинфицирующим средством.

В бедной низкой комнате ~ да испещренную мухами рюмку с выбитым краем... – Описание убогой обстановки комнаты выдержано в стиле физиологического очерка; ср. также предметное изображение комнаты на картине П. А. Федотова «Свежий кавалер» (1846). Некрасов привлекал П. А. Федотова для участия в «Иллюстрированном альманахе» (см.: ПСС, т. X, с. 110; т. XII, с. 119, а также: Загянская Г. А. Федотов. М., 1977, с. 7, 23).

Около ковра – единственный предмет роскоши – стоял деревянный трехногий стул, обтянутый кожей... – Ср. автобиографический рассказ «Без вести пропавший пиита»: «Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре <...> мебель моя состояла из одного трехногого стула...» (наст. изд., т. VII, с. 42).

Целый день лежал я среди полу на ковре ~ лежал человек. – Автобиографический эпизод, о котором вспоминали многие мемуаристы. Н. В. Успенский передавал рассказ Некрасова об этом периоде его жизни так: «Жил я тогда на Васильевском острове, в самом нижнем этаже, так что окна моей комнаты приходились как раз в уровень с панелью, по которой бродил народ, постоянно заглядывая в мою конуру, лишённую всякой мебели. По целым дням я лежал в старой своей шинели на полу. Толпы любопытных не отходили от моих окон. Выведенный из терпения непрошеными зрителями, я наконец вышел на улицу и затворил ставни» (Иллюстрированная газета, 1878, 5 февр., № 6). Ср. рассказ Некрасова В. А. Панаеву: «Некоторое время я кое-как перебивался, по наконец пришлось продать все скудное мое имущество, даже кровать, тюфяк и шинель, и остались у меня только две вещи: коврик и кожаная подушка. Жил я тогда на Васильевском острове, в полуподвальной комнате, с окном на улицу. Писал я, лежа на полу; проходящие по тротуару часто останавливались перед окном и глядели на меня. Это меня сердило, и я стал притворять внутренние ставни, так, однако, чтобы оставался свет для писания» (РС, 1893, № 9, с. 500–501).

...я вспомнил все прежние мечты мои ~ и снова предался им безотчетно. – Некрасов перефразирует строки тургеневского стихотворения «Человек, каких много»: «И по часам стал предаваться безотчетным „Мечтам и снам“» (Тургенев, Соч., т. I, с. 45), использованные им в качестве эпиграфа к главе II части третьей «Жизни и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов похождения Тихона Тростникова». См. также ниже, комментарий к с. 243.

...потом я закрасил белые нитки шва чернилами ~ ваксы у меня не было... – Ср. аналогичный эпизод в рассказе «Без вести пропавший пиита»: герой добывает чернила из ваксы, поливая водой свои худые сапоги (см.: наст. изд., т. VII, с. 45–46).

Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения... – Косвенно воспроизводится история издания сборника «Мечты и звуки. Стихотворения Н. Н.», напечатанного в 1840 г. в Петербурге в типографии Е. Алипанова. В автобиографических заметках 1872 г. Некрасов писал по этому поводу: «Со мной была тетрадка стихотворений, на нее возлагал я большие надежды. <...> В начале 1840 года я приступил к изданию привезенных стихов отдельной книжечкой» (ПСС, т. XII, с. 11). В начале 1840-х гг. на Невском проспекте, в доме, где помещалась Публичная библиотека, и близ нее, в Гостином дворе, на Садовой улице, было сосредоточено большинство книготорговых лавок. Среди них наиболее известными являлись книжные лавки Ильи Ив. Глазунова и его братьев, И. И. Заикина и его сыновей, Я. А. Исакова, М. Д. Ольхина, Ф. В. Базунова, А. Ф. Смирдина, В. П. Полякова, И. Т. Лисепкова и др. (см.: Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879, с. 1–60; Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782–1882. СПб., 1883, с. 5, 50, 54–55, 62–69).

Наконец я пришел в один великолепный магазин со на лучшем месте Невского проспекта. – Имеется в виду магазин книгоиздателя А. Ф. Смирдина (1795–1857), с 19 февраля 1832 г. помещавшийся на Невском проспекте в доме Петропавловской церкви (в настоящее время д. 22). Книжная лавка Смирдина с находившаяся при ней «библиотека для чтения» являлись в 1830-е гг. своеобразным литературным салоном. «Северная пчела» писала о книгоиздателе: «Смирдин ведет самую обширную книжную торговлю в России, и магазин его, обширнейший из всех европейских книжных магазинов, есть только малая частица того, что хранится в его кладовых. <...> Мелкие книгопродавцы только живут тем, что покупают у него на сроки. Словом, А. Ф. Смирдин есть настоящий двигатель нашей литературы» (СП, 1840, 4 ноября. № 250, с. 999). См. также: Смирнов-Сокольский Н. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957.

Только один книгопродавец, торговавший в Гостином дворе ее Рубликов-с пятнадцать можно бы дать-с... – Возможно, в описываемом Некрасовым книгопродавце есть черты В. П. Полякова, владельца книжных лавок «на Невском пр., на углу Михайловской ул., в доме гр. Строгановой, и в Гостином дворе, по Суконной линии, в доме № 17» (СП, 1840, 14 мая, № 105, с. 420), В. П. Поляков также издавал журналы «Пантеон русского и всех европейских театров» (под редакцией Ф. А. Кони), «Магазин детского чтения» (под редакцией А. П. Башуцкого), «Маяк» (под редакцией С. А. Бурачка). Некрасов познакомился с В. П. Поляковым через Ф. А. Копи в 1840 г. В октябре 1840 г. он продал В. П. Полякову две сказки («Баба-яга» и «Сказка о царевне Ясносвете»), два детских водевиля и драматическую фантазию «Юность Ломоносова». В книжных магазинах В. П. Полякова продавался сборная «Мечты и звуки». Современники неоднократно отмечали «предприимчивость» В. П. Полякова, готового ради успеха своей торговлей и на мошенничество (см.: Панаев, с. 236–237; Воспоминания Ю. Арнольда, вып. II. М., 1892, с. 175). Еще один возможный прототип «книготорговца» – И. Т. Лисенков, книжный магазин которого, широко посещавшийся литераторами, находился в Гостином дворе (см.: Ивана Тимофеевича Лисенкова воспоминания в прошедшем времени о книгопродавцах и авторах. – В кн.: Материалы для истории русской книжной торговли, с. 65–70).

Это был человек ~ не слишком тонкий и не слишком толстый. – Эти строки могли быть навеяны описанием внешности Чичикова в главе I поэмы Гоголя «Мертвые души»: «В бричке сидел господин ~ ни слишком толст, ни слишком тонк» (Гоголь, т. VI, с. 7).

Стихов нынче никто-с не читает... – Анонимная рецензия на сборник стихотворений Владимира Бенедиктова (СПб., 1842) начиналась словами: «Стихи! Стихи! Кто их нынче читает?» (ЛГ, 1842, 22 ноября, № 46, с. 940).

Возьмите-с – Ежов... Вот недавно вышла маленькая книжоночка «Стихотворения Ершова». – В эпизоде с псевдонимом «Ежов», напоминающим фамилию известного в 1840-е гг. поэта П. П. Ершова, автора сказки в стихах «Конек-горбунок» (1-е изд. – СПб., 1834, 2-е – М., 1840, 3-е – М., 1843), Некрасов мог использовать



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некрасов нашумевшее в 1840–х гг. литературное мошенничество с псевдонимами «барон Бrameус» и «барон Брамбеус». В 1840 г. в Петербурге вышли три книжки «фантастических повестей и рассказов барона Бrameуса». Автор рассчитывал на то, что читатели раскупят эти книжки, приняв их за сочинение О. И. Сенковского. Журнал Сенковского «Библиотека для чтения» в специальной статье разоблачил подделку, указав на то, что «фантастические повести в рассказы» выходили в 1839 г. под названием «Вечерние рассказы» и за подписью В. Невского (Бдч, 1840, т. 39, «Литературная летопись», с. 2–5). См. об этом: Гаркави А. М. Из разысканий о Некрасове. – О Некр., вып. II, с. 301–302.

Я решил последовать совету невысокого книгопродавца и отправился к журналисту, ~ Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений. – Автобиографический эпизод. По приезде в Петербург Некрасов познакомился в октябре 1838 г. с Н. А. Полевым (прототип журналиста) и часто посещал его (см.: ИВ, 1883, № 3, с. 669–670, 672). По договору с А. Ф. Смирдиным Н. А. Полевой с 1838 г. негласно редактировал «Сын отечества», издававшийся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем, принимал участие в «Северной пчеле», с 1841 по 1842 г. редактировал «Русский вестник». В «Сыне отечества» по рекомендации Н. А. Полевого было опубликовано стихотворение Некрасова «Мысль» с примечанием от редакции: «Первый опыт юного, 16-тилетнего поэта» (СО, 1838, № 10, с. 100). В автобиографических заметках 1872 г. Некрасов писал по этому поводу: «Н. Полевой издавал „Сын отечества“. Он поместил одно стихотворение» (ПСС, т. XII, с. 12). Описание журналиста в романе Некрасова полностью совпадает с рассказом И. И. Панаева о том, какое впечатление производил Н. А. Полевой вскоре после его приезда в Петербург: «Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения – и увидел в нем какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, как будто не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося передо всем. <...> Он жил тогда на Песках, в доме, принадлежавшем некогда Д. М. Княжевичу» (Панаев, с. 77). См. также: Некрасов. Тростников, с. 33.

...обтянутый зеленым талоном... – т. е. скроенным куском ткани.

Разговор, сколько я мог понять, касался какого-то журналиста ~ померанцы на кухне, квартира в шесть тысяч, лошади, люди, балы беспрестанно – а всё из чего?.. Обманом, проискам, надувательством... – Под журналистом подразумевался О. И. Сенковский, редактор «Библиотеки для чтения», издаваемая А. Ф. Смирдиным. И. И. Панаев писал о нем: «О роскоши, с которою жил редактор „Библиотеки“, носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи... Литераторы с завистливым удивлением рассказывали о великолепном кабинете Сенковского, о его лестнице, установленной цветами и тропическими растениями... н всем этим остроумный профессор восточных языков, пожаловавший сам себя в бароны, был обязан журналу. <...> Многие приписывали успех „Библиотеки“ талантливому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвшегося под различными псевдонимами» (Панаев, с. 124–125).

Вот погодите, и Стуколкин скоро будет банкротом! ~ Лупит с него по 15 тысяч за редакцию. – А. В. Никитенко, исполнивший обязанности цензора «Библиотеки для чтения», писал 8 января 1834 г.: «С этим журналом мне много забот <...> наши почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит Сенковскому 15 тысяч рублей в год. Каждому из них хочется свернуть шею Сенковскому» (Никитенко, т. I, с. 133).

...выправит чужую статью, подпишет свое имя и сдерет вдесятеро! – О редакторском самоуправстве О. И. Сенковского Гоголь с возмущением писал М. П. Погодину 1 января 1834 г.: «Сенковский уполномочил сам себя властью решать и вязать: марает, переделывает, отрезает концы и пришивает другие к поступающим пьесам <...> Мы все в дураках» (Гоголь, т. X, с. 293). Этот факт отмечался и в «Дневнике» А. В. Никитенко (запись 10 января 1834 г.): «На Сенковского поднялся страшный шум. Все участники в „Библиотеке“ пришли в ужасное волнение. Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступающие к нему в редакцию, переделывать по-своему. Судя по его опрометчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно. У меня сегодня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании» (Никитенко, т. I, с. 133). Негодовал на О. И. Сенковского и Н. А. Полевой: «Редактор наложил право нестерпимого цензорства на все мои статьи, переделывая в них язык по своей методе, переправляя их, прибавляя к ним, убавляя из них, и многое явилось в таком извращенном виде, что, читая „Библиотеку для чтения“,

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов иногда вообще не мог отличить, что такое хотел я сказать в той или иной статье <...> До какой степени мысли мои были изменены – поверить трудно!» (Полевой Н. Очерки русской литературы. СПб., 1839, с. XVI–XIX). В. Г. Белинский писал в 1839 г., что «Библиотека для чтения» «никогда не стесняла себя законами собственности, когда дело шло о чужих статьях» (Белинский, т. IV, с. 123). О Сенковском как о журналисте, который не считался с волей авторов, печатавшихся в его журнале, говорил, ссылаясь на общее мнение современников, и И. И. Панаев: «Большая часть известных русских литераторов начинала отзываться с неудовольствием о деспотическом обращении редактора „Библиотеки“ с их произведениями, которые появлялись в совершенно изуродованном виде, с сокращениями, переделками или прибавлениями самого редактора, навязывавшего авторам такие воззрения и мысли, которые они не могли разделять» (Панаев, с. 129). См. также: Каверин В. А. Барон Брамбеус. М., 1966, с. 66–69.

Шут, гаер, скоморох, а не литератор!.. – «Московский наблюдатель» обвинял «Библиотеку для чтения» в «балагурстве, зубоскальстве», а ее редактора О. И. Сенковского называл «потешным сочинителем», «Вольтером толкучего рынка» (МН, 1836, т. 38, с. 137).

...сам себя пожаловал в русские Бальзаки, Жюль Жалены, Дюма!.. – Жюль Жанен (1804–1874) – французский писатель, критик, фельетонист, журналист. Его творчество было популярно в России в 1830–1840-е гг. Александр Дюма (отец) (1802–1870) – французский писатель, автор исторических приключенческих романов, пьес, очерков, хорошо известных в России в 1830–1840-е гг. Об ироническом сравнении О. И. Сенковского с Жаненом у Белинского см. выше, с. 719.

Проповедует ~ превратные правила, развивает ложное направление, коверкает русский язык... – Намек на О. И. Сенковского, выступавшего против употребления архаических прилагательных, местоимений, предлогов. В полемику с Сенковским вступил И. И. Греч в брошюре «Литературные пояснения» (1838). См. об этом в рецензии Белинского на «Литературные пояснения» (Белянский, т. II, с. 544–545). В статье «Русская литература в 1841 г.» Белинский иронизировал по поводу «личного самолюбия» Сенковского, «полагающего войну против „сих“ и „оних“ великим подвигом» (там же, т. V, с. 574). Более резкая критика Сенковского содержится в статье Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (1842): «...знание других языков не прислужило рецензенту облегчением в знании русского, и он с горя вздумал перекраивать русский язык на свой лад и, не зная его, принялся учить ему русских <...> Вот его <Сенковского> так можно обвинять в дурном тоне, в плоскостях, в сальностях, в явном незнании русского языка и грамматики, при таланте, которого силу составляет смелость да иногда блески внешнего поверхностного ума» (там же, т. VI, с. 354, 361).

Это человек очень хороший, известный наш сочинитель, автор «Красной ермолки»... – Возможно, имеется в виду писатель Р. М. Зотов, автор популярного в конце 1830–начале 1840-х гг. романа «Шапка юродивого, или Трилиственник» (М., 1839), по поводу которого Белинский иронически писал: «...какое заманчивое и таинственное название» (Белинский, т. III, с. 302–303). Р. М. Зотову принадлежали исторические и нравоучительные романы «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1832), «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I» (1836) и др.

Содержательница стола, к которой я заходил обедать с самого приезда в Петербург ~ заключила свое приглашение таким взором, что я не мог не понять его. – Аналогичный эпизод содержится в «Повести о бедном Климе» (см. с. 10–11). [25]

Я решился во что бы то ни стало поступить ~ в университет... – Автобиографический эпизод. Первая попытка Некрасова поступить в С.-Петербургский университет относится к 1839 г. Его заявление на имя ректора университета И. П. Шульгина датировано 14 июля 1839 г. (см.: Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов и Петербургский – Ленинградский университет. – Вести. Ленингр. гос. ун-та, 1946, № 4–5, с. 191–192; Рейсер С. Некрасов в Петербургском университете. – ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 354; ср. также: ПСС, т. XII, с. 12–13).

...когда я был в губернском учебном заведении. – Имеются в виду годы учения (1832–1836) Некрасова в ярославской гимназии (см.: Горшков М. И. Гимназические годы, – ГМ, 1914, № 7, с. 58–63; Некр. в восп., с. 33–38).

Двадцать пять лет он занимал место учителя в одном из петербургских духовных

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не знал училищ ~ он знал довольно хорошо латинский язык и заменял мне лексикон... – Ср. автобиографический эпизод встречи Некрасова с учителем петербургской семинарии Д. И. Успенским (см.: ПСС, т. XII, с. 12). По воспоминаниям В. А. Панаева, Некрасов с конца 1838 г. жил у Д. И. Успенского и готовился с его помощью в университет (Некр. в восп., с. 42). Ср. рассказ А. Н. Пыпина об этом периоде петербургской жизни Некрасова: «Он <Некрасов> не стеснялся своих бедственных воспоминаний и рассказывал, например, как он с грехом пополам учился латыни <...> у какого-то учителя из семинаристов, который принимал его в халате, подпоясанный полотенцем, и урок шел за штофом водки; этого учителя он, впрочем, хвалил, это был человек неглупый и учил хорошо» (Пыпин А. Н. А. Некрасов. СПб., 1905, с. 7; см. также: Некр. в восп., с. 114).

...Сумарокова называл первым драматургом ~ знал наизусть большую часть не только Державина и Кантемира, но даже Сумарокова, Петрова и других темных стихоплетов старого времени... – О некрасовской оценке «старой литературы» см. выше, с. 719. В. П. Петров (1736–1799) – поэт, автор хвалебных од и посланий, посвященных Екатерине II, его стихи вызывали насмешки современников – Н. И. Новикова, И. И. Хемницера и др. См. также пародию И. И. Панаева «Лирик Петров, или Поэт и люди, драматическая повесть в трех действиях» (ОЗ, 1843, «Смесь», с. 122–129).

Павлушка, медный лоб, и пр. – начальные строки басни А. Е. Измайлова «Лгун» (см.: Басни и сказки А. Измайлова в трех частях, ч. 2. 5-е изд. СПб., 1826, с. 56).

Вольтера и Руссо называл он чертями со соединились по смерти в системе разрушения. – Ср. высказывания Белинского и Герцена о Вольтере и Руссо в 1840-е гг.: «Теперь настал другой век: Вольтер и Руссо забыты, энциклопедисты уже не почитаются извергами человеческого рода, хотя – надо сказать правду – за покойниками и много водилось грешков» (Белинский, т. IV, с. 420); «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо» (Герцен, т. V, с. 89).

...помнил значение всех слов, встречающих в Корнелии Непоте и Саллюстии... – Корнелий Непот (ок. 100 до н. э. – после 32 до н. э.), римский историк, автор трудов «О выдающихся полководцах иноземных народов», «О латинских историках». Саллюстий Гай Крип (86–35 до я. э.), римский историк, автор сочинений «Заговор Катилины», «Война с Югуртой». Возможно, имеются в виду книги: Корнелий Непот. О жизни славнейших полководцев. С замечаниями, хронологической таблицей и двумя словарями. 3-е изд., учебное, очищенное, Н. Кошанского. СПб., 1840; Латинская хрестоматия. М., 1834.

...отыскал газету, в которой со точное и подробное описание того пуделя... – Объявления о пропажах публиковались в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции». Сходный перечень объявлений, в частности о пропаже «пуделя черной шерсти», содержится в повести Гоголя «Нос» (сцена в газетной экспедиции) (см.: Гоголь, т. III, с. 59–61). Ср. также с. 284–285 («Сургучов»).

...я решился пожертвовать, как тогда сам сказал себе, «выгодами тела выгодам духа»... – Этот оборот ассоциируется с названием стихотворения Ивана Ивановича Грибовникова «Величи души и ничтожность тела» из рассказа «Без вести пропавший пиита».

...я начал посещать университет в качестве вольного слушателя... – Вольнослушателем (по философскому факультету) Некрасов стал в 1839 г. после неудачи с первым поступлением в университет (см.: Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1946, № 4–5, с. 198; ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 358) и числился им с июля 1839 г. по 24 июля 1841 г. (см.: ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 358–360). Этот автобиографический эпизод использован в рассказе «Двадцать пять рублей» (1841).

...(я жил близ Малоохтинского перевоза). – Ср. адрес Некрасова этого времени, указанный в его заявлении на имя ректора С.-Петербургского университета от 14 июля 1839 г.: «Рождественской части, 6 квартала, у Малоохтинского перевоза, в доме купца Трофимова» (Вести. Ленингр. гос. ун-та, 1946, № 4–5, с. 192; ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 354).

Я очень плохо отвечал из физики и математики и получил из этих предметов по единице. – В «Деле совета С.-Петербургского университета о приемном экзамене в студенты в 1839 г.» от 25 (или 27) июля 1839 г. значатся результаты экзаменов Некрасова: «По закону божиему, церковной истории я катехизису – 1; по географии

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов и статистике – 1; по всемирной истории – 1; по русской истории – 1; по русской словесности – 3». Экзамена по физике Некрасов не сдавал, на экзамене по математике в 1840 г. получил единицу (ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 355; ср.: Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1946, № 4–5, с. 190–193; ПСС, т. XII, с. 12–13).

...у меня не было другого наставника, кроме толкучего рынка ~ всё это я некоторым из вас говорил... – Отступление автобиографического характера. Возможно, Некрасов имел в виду В. А. Панаева, К. А. Данненберга, Ф. А. Кони, Г. Ф. Бенецкого, Д. В. Григоровича и др., которым были хорошо известны его петербургские мытарства (см.: Некр. в восп., с. 48–50, 55).

...говоря слогом наших романистов, «двери дома г-жи Эльметри для него затворились». – Намек на ложнопатетический, аффектированный стиль, характерный для многих романов М. И. Воскресенского («Он и она», 1836; «Проклятое место», 1838; «Мечтатель», 1841; «Сердце женщины», 1842) и Л. В. Бранта («Аристократка», 1843; «Жизнь как она есть», 1843).

...дико и робко посматривая на дверь таинственной комнаты. ~ Мертвая женщина... – Аналогичная ситуация встречается в авантюрно-приключенческом романе Э. Сю «Матильда» (1841; рус. пер. – 1846).

...стакан портеру... – Портер – сорт крепкого, горьковатого черного пива.

...старика курили кнастер... – Кнастер – крепкий курительный табак.

...я принуждена была переехать к одной старой немке, содержательнице женского магазина... – История, подобная рассказанной Матильдой, положена в основу стихотворений Некрасова «Убогая и нарядная» (1857) и «Кому холодно, кому жарко» из цикла «О погоде» (1858–1865). Одну из «вновь прибывших два из Риги» звали Матильдой (см.: наст. изд., т. II, с. 39, 193).

...ключа не было в замке ~ обманутою и лишенною свободы самым бесчестным образом. – Ср. аналогичный эпизод в рассказе М. И. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони»: «Бедная девушка! Неужели тебе суждено быть жертвою низких расчетов и подлых замыслов! <...> Вдруг Клавдивма слышит, что кто-то пробует снаружи замок ее спальни; ручка вертится туда и сюда, к счастью, ключ внутри...» (ЛГ, 1843, 21 февр. № 8, с. 150).

...считал меня, как пишешь в своих стихах, какую-то неземною, чудною девою! – Ср. строки стихотворения «Незабвенная» (Миз): «Явилась дева предо мной, Одета радужною дымкой Туманной утренней зари» (см.: наст. изд., т. I, с. 219).

...грамота, выданная хозяину из В \*\*\* депутатского Собрания, в том, что род его действительно значится в дворянской шнуровой книге того собрания... – Изданной Екатериной II 25 апреля 1875 г. «Жалованной грамотой дворянству» утверждались личные права и преимущества дворянства как высшего сословия в России. Для доказательства дворянских прав были введены дворянские родословные (прошнурованные, чтобы не вынимались листы) книги для каждой губернии. Ими ведало губернское дворянское собрание, обсуждавшее все сословные дела. Грамота – официальный документ о дворянском происхождении.

...свидетельство о дворянстве со в ином случае предостеречь даже от пощечины... – Свидетельство о дворянском происхождении гарантировало свободу от телесных наказаний. За нарушение этой дворянской привилегии виновный привлекался к суду или денежному штрафу. Ср. куплеты Некрасова о пощечине из водевиля «Петербургский ростовщик» (1844) (см.: т. VI, с. 162) и фельетон «Пощечина» (1846) (НА, с. 34–37).

...с пряжкой за двадцать лет в петлице... – См. комментарий на с. 703.

...попал я к одному инженерному офицеру, занимавшемуся приготовлением юношей в военно-учебные заведения. – Ср. автобиографический эпизод: «Я готовился в университет, приготовлял в военно-учебные заведения девять мальчиков по всем русским предметам. Это место доставил мне Григорий Францевич Бенецкий, он тогда был наставник и наблюдатель в Пажеском корпусе и чем-то в Дворянском полку» (ПСС, т. XII, с. 22). С Бенецким, штабс-капитаном, преподавателем Павловского кадетского корпуса, Некрасов познакомился в 1840 г. См. также воспоминания А. С. Суворина, в которых рассказывается о репетиторской деятельности Некрасова в

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов в пансионе Г. Ф. Бенецкого (Прометей, т. 7. М., 1969, с. 288).

...я попал в общество порядочных людей... – Возможно, имеется в виду знакомство Некрасова с Н. А. Полевым, Г. Ф. Бенецким, К. А. Данненбергом (см.: Вацуро В. Э. Некрасов и К. А. Дашгенберг. – РЛ, 1976, № 1, с. 131–144), В. А. Панаевым (см.: Панаев В. А. Воспоминания. – РС, 1893, № 9, с. 497–499) и И. И. Панаевым (см.: ИВ, 1889, № 4, с. 255–256).

...осьмнадцатилетний долговязый детина, армянского происхождения ~ понадобились стихи бее малейшего промедления. – По утверждению К. И. Чуковского, этот эпизод основан на автобиографическом факте: «...некий купец Адельханов был влюблен в петербургскую немку Курт, которая потребовала у него стихов. Адельханов рассказал об этом Некрасову, и поэт вызвался написать для немки стихи, если Адельханов напоит его кофеем» (ПССТ 1927, с. 526). Возможно, имеются в виду стихи типа «Внизу серебряник чекалин...» (1842).

Мы купили «Руководство к пиитике» господина Греча... – Имеются в виду «Краткие правила пиитики» Н. И. Греча. Так называлась третья часть издания: Греч У. И. Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики, и обозрение истории русской литературы. 3-е изд., испр. и доп. Ч. 1–4. СПб., 1844 (изд. 1-е. СПб., 1822; изд. 2-е. СПб., 1830).

Я выдержал экзамен благополучно ~ Я не был принят на «казенный счет»... – Ср. выше, комментарий к с. 129.

...скитаться в «непочатом углу дураков»... – Непочатый угол (край) дураков – ходовое выражение в литературе 1840-х гг., встречается у В. И. Даля («Хлебное дельце», 1857).

...в Воспитательном доме. – В дореволюционной России учреждение для воспитания внебрачных детей, подкидышей.

...не пробовал коку с соком... – Кока с соком – гостинец, яйцо; здесь в значении: неприятная неожиданность, беда. Это выражение встречается в «Двойнике» (1846) Достоевского.

...через месяц маневры ~ парад да маневры да смотр какой: здесь часто. – В Петербурге на Царицыном лугу или Марсовом поле устраивались частые военные парады и смотры.

На Козьем болоте. – Козье болото входило в 4-ю Адмиралтейскую часть Петербурга. Здесь жили «люди небогатые, обыкновенно чиновники, которые не имеют средств к содержанию себя, кроме жалованья, не достигнувшие известности ремесленники и временно прибывшие из губернии дворяне» (Пушкарев И. Путеводитель по С.-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843, с. 74; Цылов Н. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга. [СПб.], 1849, л. 68).

...несколько бледных и жалких стихотворений, которые я писал тогда ~ Таков характер стихотворений, о которых я говорю. – См. выше, комментарии к с. 61, 62.

...я прохаживался в франтовском утреннем халате ~ подходил я к зеркалу и долго, внимательно любовался игрою своей физиономии... – Ср. подобный эпизод в «Очерках литературной жизни» (наст. изд., т. VII, с. 356–357). В повести Гоголя «Портрет» так же ведет себя художник Чартков, неожиданно ставший обладателем тысячи червонцев: «Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и как ребенок стал обсматривать себя беспрестанно; купил духов, помад, нашел, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно купил тоже бездну всяких галстуков <...> Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала» (Гоголь, т. III, с. 97–98).

...недоконченное стихотворение «Праздник жизни»... – Ср. начальные строки стихотворения «Праздник жизни – молодости годы...» (1855) (наст. изд., т. I, с. 162).

...издание моих стихотворений. – Ср. историю издания сборника «Мечты и звуки»,  
Страница 285

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
рассказанную Некрасовым в автобиографической записи 1877 г. (см.: ПСС, т. XII,  
с. 22).

...издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. ~ я считал его одним из  
умнейших и остроумнейших людей XIX столетия... – Имеется в виду Ф. А. Кони  
(1809–1879), писатель, критик, водевилист, театральный деятель, с 1840 г.  
редактор одного из лучших театральных журналов «Пантеон русского и всех  
европейских театров» (издатель В. П. Поляков), положительно оцененного  
Белинским, с 1841 г. – «Литературной газеты». С Некрасовым познакомился в 1838  
г. и привлек его к сотрудничеству в журнале и газете. Некрасов очень ценил  
поддержку, оказанную ему Кони в годы петербургских мытарств. В письме от 16  
августа 1841 г. он писал, обращаясь к редактору «Литературной газеты»: «...я  
понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи Вашей... Я не  
стыжусь признаться, что всем обязан Вам». См.: наст. изд., т. VII, с. 576–577,  
594–595, 600–601. Об эпиграфе «Литературной газеты» см. там же, с. 575.

...объявление, в котором книгопродавец, которому поручена была исключительная  
продажа стихотворений... – Имеется в виду объявление о том, что «в магазин Ильи  
Ивановича Глазунова поступили новые книги, в том числе „Мечты и звуки“,  
стихотворения Н. Н. СПб., 1840. Ц. 1 р. 50 н. сер.» (Ведомости  
Санкт-Петербургской городской полиции, 1840, 14 февр., № 13, с. 45). Ср. также  
объявление: «В книжных магазинах В. П. Полякова продается книга „Мечты и звуки“.  
Стихотворения Н. Н. СПб., 1840. Ц. 5 р. асе.» (СП, 1840, 10 мая, № 104, с.  
416). См. также выше комментарии к с. 90–92.

...ни одного экземпляра моей книги не было продано, а уж прошло две недели. – Ср.  
автобиографическую записку от 2 июня 1872 г.: «Роздал книгу на комиссию; прихожу  
в магазин через неделю – ни одного экземпляра не продано, через другую – то же,  
через два месяца – то же» (ПСС, т. XII, с. 12).

Журналистика русская представляла странное и горестное зрелище, ~ отбить друг у  
друга подписчиков! – Ср. характеристику журналистики на страницах «Литературной  
газеты»: «Лишь только наступит время подписки на журналы, лишь только сама  
„Северная пчела“ объявит, что и она будет издаваться в следующем году, тотчас  
начинается ряд самых беспристрастных и чрезвычайно остроумных статей и статей,  
имеющих одну общую тому: „К нам, к нам, пожалуйста, у них не покупайте!“» (ЛГ,  
1840, 16 окт., № 83, с. 1890–1895).

...русский журнал той эпохи можно было сравнить с лавочкою толкучего рынка ~зазывы  
производились на разные тоны... – Ср. в «Петербургском фельетонисте» И. И.  
Панаева: «...он <фельетонист> на литературной площади бессменно стоит у дверей  
балагана своего хозяина и кричит: „К нам, к нам, пожалуйста-с! у нас все лучшие  
товары-с и беспристрастие самое отличное-с; нас и публика любит; мы умнее и  
ученее всех; у нас все работники с хорошими аттестатами, – а в той лавочке, что  
напротив нас, ей-богу, все невежды, без аттестатов; поверьте этому-с, там  
проповедуют разные пустые идеи... пожалуйста к нам-с; раскаиваться не будете-с!“»  
(ФП, ч. 2, с. 270–271).

Один, высуня язык и надев шутовской колпак, кривлялся пред публикою скоморохом  
~Хохочите над тем, что смешно, браните то, что вам кажется глупо... – Некрасов  
имеет в виду редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского (1800–1858),  
печатавшегося под псевдонимами «Барон Брамбеус», «Тютгонджу-Стлу» и др. Н. А.  
Полевой в письме к Булгарину от 2 апреля 1838 г. писал о «вредном влиянии»  
Сенковского на русскую литературу: «1. Он ввел у нас отвратительно литературную  
симию (кошунство) и сделал из литературы куплю. 2. Он портит русский язык  
своими нововведениями... 3. Он ввел в моду грубую насмешку в критике и обратил ее  
без пощады на все, даже на самые святые для человека предметы, развращая притом  
нравы скарроновскими повестями и ругательными статьями. 4. Он вводит в науки  
грубый эмпиризм и скептицизм, отвергает философию и всякое достоинство ума  
человеческого. 5. Он берет на себя всезнание, ошибается, отпирается, утверждает  
небылицы и все это прикрывает гордым самоуверением. 6. Он до того забылся, что  
считает себя вправе указывать всем другим ученым и литераторам, берет за все  
и, не имея ни достаточных познаний, ни способов, заменяет все это дерзостью,  
самохвальством и тем портит ваше юное поколение, приводя в замешательство умных  
и почтенных людей» (РС, 1896, № 6, с. 508). Об «отсутствии всякого мнения» в  
критиках Сенковского, о «насмешках» как критических приемах его статей, о  
недопустимости того, что в одной из статей Сенковского (1834) «Вальтер Скотт  
назван шарлатаном», писал Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов 1834 и 1835 году» (Гоголь, т. VIII, с. 160).

Другой, положа руку на сердце, с кротким и смиренным видом ~ Что нам заимствовать у иностранцев? – Подразумевается М. П. Погодин (1800–1875), писатель, историк, журналист. С 1841 по 1856 г. редактировал «Москвитянин» совместно с С. П. Шевыревым. Возможно, выпад против него Некрасова был связан с публикацией книги М. П. Погодина «Год в чужих краях, 1839. Дорожный дневник» (ч. 1–4. М., 1844) (см. об этом выше, с. 721). Ироническая характеристика М. П. Погодина содержится и в фельетоне Некрасова «Отчеты по поводу нового года» (1845). Ср. оценку Белинским (в статье «Петербург и Москва», 1845) «Москвитянина», который, по его словам, отличался «запоздалыми суждениями о литературе, исполненными враждою к Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащих к приходу этого журнала» (Белинский, т. VIII, с. 406).

Третий, наконец, ненавидя, по причине столь же гнилой и стоячей природы своей со сей гнилой и омраченной буйством знания Запад... – Намек на С. П. Шевырева и его статьи, направленные против Белинского и «Отечественных записок». В статье С. П. Шевырева «Взгляд на современное направление русской литературы. Сторона черная» Белинский назывался «бобылем литературным», «недоучившимся студентом» (М, 1842, № 1, с. XXVIII). Выпады против Белинского и «Отечественных записок» содержались и в его статье, посвященной критическому разбору составленной А. Галаховым «Полной русской хрестоматии, или Образцов красноречия и поэзии, заимствованных из лучших отечественных писателей» (1843): «Некоторые неистовые и запоздалые хулители прежних образцов нашей словесности, бросая снизу бессильными руками грязь на высший пьедестал нашего Ломоносова, любят прикрывать свои выходки статью Пушкина о Ломоносове и ссылаться на его некоторые возражения» (М, 1843, № 5, с. 234–235; ср.: Белинский В. Г. Русская литература в 1841 году. – Белинский, т. V, с. 523–535). Здесь же Шевырев цитировал отрывок из речи А. В. Никитенко «Похвальное слово Петру Великому» (раздел «Петр как творец добра общего»): «Но если бы и самый утонченный расчетливый эгоизм вздумал спросить, что каждый из нас почерпнул на свою долю в новом порядке вещей? Мы отвечали бы: честь существовать по-человечески...» – и возражал: «Неужели же русский народ до Петра Великого не имел чести существовать по-человечески? Что подумают ученики гимназии о всей древней жизни русского народа <...> будто бы в ней до Петра не было ничего человеческого! Это и неприлично, и безнравственно!» (М, 1843, № 6, с. 526). О «гниющем Западе» Шевырев писал в статье «Взгляд русского на образование Европы» (М, 1841, № 1).

К Шевыреву–славянофилу относились слова Белинского в рецензии «Сочинения князя В. Ф. Одоевского. Три части. СПб., 1844»: «Так называемые славянолюбцы и „квасные патриоты“, которые во всякой живой современной человеческой мысли видят вторжение лукавого гниющего Запада» (Белинский, т. VIII, с. 320); ср. запись в дневнике А. В. Никитенко от 28 июля 1841 г.: «Читал, между прочим, „Москвитянин“. Чудаки эти москвичи (даже Шевырев). Ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь» (Никитенко, т. I, с. 234). Хорошо осведомленный в журнальной полемике Белинского с Шевыревым, Некрасов почти дословно цитирует в романе отрывки из их статей. См. также: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 370–371.

Наконец, четвертый не старается даже прикрыть своего шарлатанства ~ Он просто держится сплетнями и потворством вкусу публики. – Намек на Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, редактировавших с 1831 г. «Северную пчелу».

Публика понимала литературу как средство убить время ~ основать здание новой литературы, литературы сознательной и благородной в своих стремлениях... – Некрасов имеет в виду «Отечественные записки» и излагает взгляд на литературу, близкий к литературно-эстетической позиции Белинского. Ср., в частности, статью критика «Русская литература в 1840 году» (ОЗ, 1841, № 1), в которой он говорил: «Для публики занятие литературою не есть отдохновение от забот жизни <...> Литература должна быть выражением жизни общества». Далее Белинский пишет о значении «Отечественных записок», выступавших против «литературных торгашей»: «„Отечественные записки“ были центром современной журналистики <...> в них слышен был свежий голос живой современности <...> в них принимали деятельное участие и люди, уже давно стяжавшие себе славные имена, и люди молодых поколений, еще только выходявшие на поприще литературы» (Белинский, т. IV, с. 427, 435, 440).

В одном журнале упрекают меня в незнании грамматики, орфографии и стихотворного

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов ритма... – Имеется в виду в целом сочувственная рецензия на сборник «Мечты и звуки», принадлежавшая П. А. Плетневу. В критической части Плетнев писал: «У г. Н. Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихов: есть неточность в выражениях, неправильные ударения и другие мелочи...» (С, 1840, № 2, с. 133–134).

...обвиняют в подражании неистовой французской школе... – Под «неистовой французской школой» подразумеваются французские писатели-романтики 1830 – начала 1840-х гг., произведения которых отличались «преувеличением», мелодраматизмом, «трескучими эффектами» (см.: Белинский, т. X, с. 313). В рецензиях на «Мечты и звуки» подобных обвинений не содержалось. За пристрастие к «прежней школе» и подражание известным образцам Некрасов порицался рецензентом «Северной пчелы» (1840, 14 марта, № 59).

...в четвертом – доказывают мне ~что я урод, невежда и дурак первой руки. – Возможно, имеется в виду отрицательный отзыв В. С. Межевича в «Литературной газете», который писал по поводу стихотворений Некрасова, что, собранные в книгу, они создают ощущение «пустоты, безотчетности, неопределенности впечатлений» (ЛГ, 1840, 24 февр., № 16, с. 373–378). Ср. начальные строки стихотворения «Чуть-чуть не говоря: „Ты сушая ничтожность!..“» (наст. изд., т. I, с. 156).

...разбранившие меня журналы... – Критические отклики на сборник «Мечты и звуки» были опубликованы в «Библиотеке для чтения» (1840, т. 38, № 3), «Современнике» (1840, № 2), «Северной пчеле» (1840, 14 марта, № 59; 1841, 3 ноября, № 246), «Русском инвалиде» (1840, 13 июня, № 130), «Сыне отечества» (1840, т. I, № 2), «Журнале Министерства народного просвещения» (1840, № 3; 1841, № 10–12), «Отечественных записках» (1840, № 3), «Литературной газете» (1840, 24 февр., № 16). См. об этом: наст. изд., т. I, с. 641–644.

Но всех более огорчила и оскорбила меня критика журнала, в котором участвовали люди, недовольные настоящим порядком вещей ~действительность должна быть почвою его поэзии... – Некрасов обращается здесь не только к отрицательной рецензии Белинского на сборник «Мечты и звуки», опубликованной в «Отечественных записках» (1840, № 3), но и к ряду статей критика, в которых излагались его литературно-эстетические взгляды и формулировалось направление «Отечественных записок». Ср., например, статью «Русская литература в 1840 году», в которой Белинский писал: «...занятие литературою дело общественное, великое, источник высокого нравственного наслаждения, живых восторгов. <...> Литература должна быть выражением жизни общества <...> „Отечественные записки“ были центром современной журналистики еще и потому, что только в них слышен был свежий голос современности» (Белинский, т. IV, с. 427, 435, 440), – и статью «Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840», где говорилось: «поэзия есть выражение жизни, или, лучше сказать, сама жизнь <...> в поэзии жизнь более является жизнью, нежели в самой действительности» (Белинский, т. IV, с. 489).

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник! – цитата из басни И. А. Крылова «Щука и кот» (1813).

Поэт, не дорожи любовью народной ~ Услышишь суд глупца... – начальные строки стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).

...брань этих недоучившихся выскочек ~ в их нормальностях и абстрактностях просто ничего больше как бессмыслица... – Здесь Некрасов почти дословно цитирует многочисленные ругательные статьи С. Н. Навроцкого, Н. И. Греча, С. П. Шевырева, Ф. В. Булгарина и др., направленные против Белинского и «Отечественных записок» (ср., например: СП, 1840, 20, 24 янв., 6 февр., 28 сент., 29, 30 окт., 14 ноября, № 16, 19, 30, 219, 245, 246, 259; М, 1842, № 1; 1843, № 5 и др.).

...Гегель да Шлегель. Примутся критиковать Грибоедова, а заговорят о сотворении мира... – Имеется в виду статья Белинского о «Горе от ума» (ОЗ, 1840, № 1). Г. – В. – Ф. Гегель (1770–1831) – немецкий философ. А. – В. Шлегель (1767–1845) и Ф. Шлегель (1772–1829) – немецкие философы, критики, историки литературы, теоретики романтизма. Эти имена неоднократно встречаются в статьях Белинского. Ср. также статью Н. И. Греча «Литературные пояснения», направленную против статьи Белинского о «Горе от ума» (СП, 1840, 24 янв., № 19, с. 74–75).

Их бы пора на седьмую версту. – Здесь в значении: выслать за черту города.



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов не кра...  
...напиши, братец, водевиль: выведи всех этих философов, отдели их хорошенько, ~ я скопирую этого Буку! – Намек на широко распространенный в литературе 1840-х гг. прием антикритики, выразившийся в комедийных, сатирических и даже пасквильных формах. Им воспользовался, в частности, В. А. Каратыгин, автор водевиля «Семейный суд, или Свои собаки грызутся – чужая не приставай» (1838), направленного против Белинского, Ф. А. Кони писал по этому поводу: одно из действующих лиц пьесы, «лицо весьма забавное, Виссарион Григорьевич Глупинский, который, точно журнал, беспрестанно толкует о Гегелевой философии, о прекраснотушии, об объективной индивидуальности, о просветлении, любезномудрии – и морит этим всю публику со смеху» (СП, 1839, 1 февр., № 26). Пасквиль на Белинского представляла собой пьеса С. Н. Навроцкого «Новый недоросль» (1840). Памфлетная характеристика В. С. Межевича была дана в очерке И. И. Панаева «Петербургский фельетонист» (ФП, ч. 2). Булгарин высмеивался в водевиле Ф. А. Кони «Петербургские квартиры» (1840). Этой же теме был посвящен водевиль Некрасова «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни». «Бука» – намек на Белинского.

...рюмку «швейцарского абсента»... – Абсент – спиртной напиток, настоящий на полыни.

...на голос «Чем тебя я огорчила»... – См. об этом: наст. изд., т. VII, с. 578.

В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик... – начальные строки стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836).

Батюшке мясчина идет... – Мясчина – продовольственный паек, который получали ежемесячно крепостные крестьяне, лишенные наделов.

...купила «косушку»... – Косушка – четверть штофа, сороковая часть ведра.

...опытные драматические писатели творят ~ как искусные кухарки пекут блины. – Намек на литературную плодовитость И. А. Полевого (см. ниже, комментарий к с. 181).

...будут в бенефис «Закулисные журнальные тайны»... – Возможно, имеется в виду водевиль Некрасова «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни».

...побегу к Межевичу, к Строеву, к Булгарину... – В. С. Межевич (1814–1849) – писатель. С 1839 г. был редактором «Ведомостей Санкт-Петербургской городской полиции», участвовал в «Северной пчеле», «Литературной газете»; с 1839 по 1841 г. редактировал «Репертуар русского театра», с 1843 по 1846 г. – «Репертуар и Пантеон». В. М. Строев (1812–1862) – писатель, критик. В 1840-х гг. сотрудничал в «Репертуаре русского театра», «Репертуаре и Пантеоне», «Иллюстрации», автор «Сцен из петербургской жизни» (1835–1837).

Почтеннейший, который стоял передо мною, был среднего роста, имел красноватую физиономию ~ Разругали ваши стихотворения... – Прототипом «почтеннейшего» явился Ф. В. Булгарин, редактор официозной «Северной пчелы», в № 59 которой за 1840 г. была опубликована критическая рецензия на «Мечты и звуки», подписанная инициалами «Н. С».

...мошенник Хапкевич пишет у меня критику... – Подразумевается В. С. Межевич, совмещавший с 1840 г. сотрудничество в «Литературной газете» с участием в «Северной пчеле», в которую он перешел вначале негласно (см.: Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах. – ИВ, 1890, № 2, с. 335–336). Белинский, неоднократно критиковавший Межевича, писал по этому поводу В. П. Боткину 31 октября 1840 г.: «в самом деле, он подозревается в таких поступках, которым позавидовали бы и Греч с Булгариным» (Белинский, т. XI, с. 568). Ср. памфлетную характеристику В. С. Межевича в очерке И. И. Панаева «Русский фельетонист» (ОЗ, 1841, № 1; ФП, ч. 2). Подробнее о В. С. Межевиче см.: Ямпольский И. Г. Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева), с. 145–148.

...завтра же будет статейка ~ с Мольером вас сравнил, ей-богу, с Мольером! – Намек на хвалебный отклик В. С. Межевича («Л. Л.») на водевиль Некрасова «Шила в мешке не утаишь – девушки под замком не удержишь». В рецензии, направленной против «Литературной газеты» и ее редактора Ф. А. Кони, В. С. Межевич отмечал в Некрасове «дарование неподдельное» а сравнивал его с Мольером (СП, 1841, 20 мая,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов № 108, с. 450). Ср. отрывок из статьи Некрасова «Обзор прошедшего театрального года и новости наступающего» (ЛГ, 1842, 26 апр., № 16): «В одной почтенной газете поставили автора <Н. А. Перепельского> чуть не наравне с Мольером и вслед за этим развенчали его до звания переписчика, сказав, что будто бы вся пьеса слово в слово списана с повести нарежного» (ПСС, т. XII, с. 217).

...я служил...провел пятнадцать лет на коне... – Некрасов использует известный современникам факт биографии Булгарина, который служил в уланском полку цесаревича Константина Павловича и, не проявив ни малейшей храбрости, участвовал в походах 1805, 1806, 1807 гг. Вступив в Варшаву в 1811 г. в сформированный французами уланский полк, Булгарин во время войны 1812 г. воевал на стороне французов (см.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. СПб., 1886, с. 436–446; Воейков А. Ф. Дом сумасшедших. М., 1911, с. 21).

В водевиле моем выведен страшный негодяй ~ пишет за деньги похвалы кондитерам и сигарочным фабрикантам... – Речь идет о четвертом акте («Квартира журналиста на Козьем болоте») водевиля Ф. А. Кони «Петербургские квартиры», по поводу содержания которого Белинский, имея в виду Задарина – Булгарина, писал: в нем «...изображен взяточник, но не подъячий-взяточник, а... журналист-взяточник (III), который приходит к портному, заставляет шить себе платье не за деньги, а за статью в его газете, – платье возьмет, а статью напишет о другом портном, который даст ему больше. Один хозяин табачной фабрики, Добров, целый Год поставлял ему сигары, в чайнии статьи» (Белинский, т. IV, с. 401). «Литературная газета» также отмечала, «как неприлично в газете политической и литературной, каковую именует себя „Северная пчела“, издаваемая г. Булгариным, печатать объявления о мелочных лавках, табачных магазинах, капусте, мучных лабазах и свечных лавках» (ЛГ, 1843, 14 февр., № 7).

Нашу газету вся знать читает ~ Не то что какого-нибудь Краевского... – Имеются в виду «Северная пчела», издававшаяся Булгариным и Гречем, и «Литературная газета», издававшаяся и редактировавшаяся в 1840, 1844–1845 гг. А. А. Краевским. Ср. воспоминания В. П. Бурнашева, в которых приводится высказывание Булгарина: «Можете себе представить: из всех газет государь одну только „Пчелку“ читать изволит (я это положительно знаю) и отзывается обо мне, что я король Гостиного двора» (В. Б. <Бурнашев В. П.> Из воспоминаний петербургского старожилы. Четверги у Греча. – Заря, 1871, № 4, с. 19).

...сильные меры приму ~ Он пойдет жаловаться в полицию! – Намек на связь Булгарина с III Отделением и его доносы. О выражении «принять сильные меры», возможно восходящем к книге Л. В. Бранта «Жизнь как она есть. Записки неизвестного» (СПб., 1843, с. 128), см. выше, с. 723. Цитируется также в рецензии Белинского на эту книгу (Белинский, т. VIII, с. 135).

...я знал людей, которые ~ заказывали на свое имя пьесы другим, более расчетливым и опытным сочинителям. – Ср. водевиль Некрасова «Утро в редакции», в котором Пельский говорит: «...к чужому водевилю куплеты приделываю» (наст. изд., т. VI, с. 56). По наблюдениям А. М. Гаркави, Некрасов был автором куплетов о проигранных «полтинничках» в водевиле П. И. Григорьева «Герои преферанса, или Душа общества» (см.: Учен. зап. Калуж. гос. пед. ин-та, 1961, вып. IX, с. 51; см. также: наст. изд., т. VI, с. 170, 682–683).

...будь часов в 6 у Лиграна... – Имеется в виду петербургский ресторан, названный здесь по имени владельца.

...и сделался честным; потом оба разбогатели ~ военная музыка, обмороки, восклицания, обнимания, поклоны в ноги (их было до сорока) и несколько громких тирад о силе русской души и русского кулака. – Излагая содержание пьесы «Бобровая шапка», Некрасов иронизирует по поводу псевдопатриотической драматургии И. А. Полевого, П. Г. Ободовского («Боярское слово», 1841; «Русская боярыня XVII столетия», 1843), А. Чернова («Бескорыстие, или Добрые дела не остаются без награды», 1842) и др. Ср. критический обзор Некрасова «Летопись русского театра. Апрель, май»: «Пусть на сцене стреляют, проклинают, бросаются в объятия <...> падают на колена, молятся... Чудесно! Любо русскому сердцу <...> Так и надобно! Мы – русские люди: на руку охулки не положим» (П, 1841, № 3). Об этом же Некрасов писал в рецензии на «Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Две части. СПб., 1842» (ЛГ, 1842, 1 ноября, № 43): «...одна <его пьеса> трактует о том, что русский человек добро помнит, другая о том, что русская рука охулки на себя не положит, третья о том, что русский кулак уберет десять

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некрасов заморских богатырей, четвертая о том, что русский нос чихнет, так и довольно, чтоб напугать сотню самых храбрых китайцев, и так далее» (ПСС, т. IX, с. 64, 464), Ср. аналогичные оценки пьес Н. А. Полевого и П. Г. Ободовского в статье Белинского «Русский театр в Петербурге. „Ломоносов, или жизнь в поэзии“» (1843): «Там, где у Полевого не хватает гения или оказывается недостаток в сердцеведении, он обыкновенно прибегает к балетным сценам и под звуки жалобно-протяжной музыки устраивает патетические сцены расставания нежных детей с дражайшими родителями или верного супруга с обожаемой супругою. Там, где у г. Ободовского иссякает на минуту самородный источник бурнопламенного чувства, он прибегает к пляске, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патриотической драмы отхватывать вприсядку какой-нибудь национальный танец» (Белинский, т. VII, с. 11–12). Ср. упоминание исторической драмы «Боярская шапка» в «Трех странах света» (ч. II, гл. 5).

Таков удел прекрасного на свете! – цитата из элегии В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819): «Прекрасное погибло в пышном цвете... Таков удел прекрасного на свете!».

Вошел режиссер, молодой человек в щегольском фраке, веселый, беспечный и откровенный до дерзости. – Прототипом «режиссера» был Н. И. Куликов, режиссер Александрийского театра, актер, драматург-водевилист. Знакомство Некрасова с Н. И. Куликовым относится к 1839–1840 гг. (см.: Воспоминания актера А. А. Алексеева. М., 1894, с. 28–38). Он ставил несколько некрасовских пьес; вместе с Некрасовым принимал участие в издании «Статеек в стихах без картинок» (1843). См. о нем также: наст. изд., т. VI, с. 600, 672–673.

Я не знаю, что нам и делать с его «Лекарством», ~Для афишки чудесно... – Ср. название «Дешевое лекарство» (музыка К. Н. Лядова, слова Н. А. Перепельского), объявленное в содержании музыкального альбома «Театральное воспоминание», который Бернар в 1842 г. намеревался издать в Петербурге (см.: ЛГ, 1842, 3 янв., № 1, с. 19). По-видимому, так могли быть озаглавлены куплеты («Доктора свои находки сыплют щедрою рукой: Лечат солью от чахотки и водой от водяной») из водевиля «Шила в мешке не утаишь – девушки под замком не удержишь». Названные куплеты текстуально совпадают с соответствующими строками стихотворения «Наш век» (1840) (см. об этом: наст. изд., т. I, с. 278, 665; т. VI, с. 236, 688; Царькова Т. С. Из литературной жизни ранних произведений Н. А. Некрасова. – РЛ, 1977, № 3, с. 91).

...первая пьеса его имела счастье понравиться публике и заслужить одобрение почтеннейшего ~ Эту статью писал сам издатель. – Использован автобиографический эпизод, связанный с хвалебной рецензией В. С. Межевича (псевдоним: «Л. Л.») на водевиль Некрасова «Шила в мешке не утаишь – девушки под замком не удержишь», подписанный псевдонимом: «Н. А. Перепельский». Межевич раскрыл псевдоним Некрасова и посоветовал ему избавиться от покровительства Ф. А. Кони. «Смелее, г. Некрасов, – писал он. – Идите своей дорогой; зачем вам покровительство людей, которые едва ли сами но нуждаются в вашем покровительстве, в вашем талапте, ведь это знают все, читавшие „Пантеон“ и „Литературную газету“» (СП, 1841, 20 мая, № 108, с. 450). Некрасов ответил Межевичу открытым письмом к редактору «Литературной газеты» (ЛГ, 1841, 17 июня, № 66, с. 261–263). Из письма Некрасова по этому поводу к Ф. А. Кони (от 16 августа 1841 г.) явствует, что открытое письмо создавалось не без участия самого Кони.

Мы пойдем в «Феникс» пить чай... – «Феникс» – трактир, помещавшийся напротив Александрийского театра. Среди его посетителей были Некрасов, актеры А. А. Алексеев, Д. Т. Ленский, Н. И. Куликов. «По невозможности иметь дома стол, – вспоминает А. А. Алексеев, – мы обедали в трактире „Феникс“, помещавшемся против Александринского театра, почти рядом с подъездом дирекции. Там же мы пили и утренний чай. В то время трактир этот процветал. Контингент посетителей его состоял почти исключительно из актеров и театралов. Это было нечто вроде артистического клуба» (Воспоминания актера А. А. Алексеева, с. 31–32).

...он обливается слезами над сухим, тяжелым трудом, – словом, над книжкою о картофеле... – Возможно, автоирония – намек на участие Некрасова в отделе «Записки для хозяев» «Литературной газеты», где были опубликованы его фельетоны «Крапива» (1844, 13 апр., № 14) и «Письмо \*\*\*ского помещика о пользе чтения книг...» (1844, 20 апр., № 15). В последнем была помещена пародия («Крапива, драгоценная трава...») на стихи из «Воскресных посиделок» В. П. Бурнашева («Картофель, харч благословенный...»).

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Плут книгопродавец вовлекает его в самые отчаянные непохвальные спекуляции – См. выше, комментарий к с. 90–92.

Беда! Последняя беда! ~ Читал романы Поль де Кока! – Ср. водевильные куплеты в фельетоне Некрасова «Выдержка из записок старого театрала» (ЛГ, 1845, 4 янв., № 1, с. 12):

Ужели должен я страдать?  
Ужели мой удел – могила?  
Как догадаться, как понять,  
За что она мне изменила?..  
Я угождать старался ей,  
Любил так страстно, так глубоко..  
И даже пред свиданьем с ней  
Читал романы Поль де Кока!  
(ПСС. т. V, с. 508).

...патриотическая драма «Русское национальное лекарство», сделанная из анекдота... – См. выше, комментарий к с. 181. Ср. также анекдот о кулаке в «Очерках литературной жизни» (наст. изд., т. VII, с. 361–362).

...нелепые и высокопарные тирады, набранные из употреблявшихся тогда в одном журнале терминов и оборотов... – Намек на стиль «Отечественных записок» и статей Белинского, высмеивавшихся «Северной пчелой» (см.: Навроцкий С. Литературное объяснение. – СП, 1840, 29 окт., № 245, с. 978). См. также выше, комментарий к с. 160.

...сотрудник почтеннейшего, беспрестанно перебежавший из журнала в журнал... – Речь идет о В. С. Межевиче (см. комментарии к с. 175, 215–216).

Почтеннейший употребил «сильные меры»... – Намек на исключение театральной цензурой из сценического варианта комедии Ф. А. Кони «Петербургские квартиры» самого интересного четвертого акта (см. выше, комментарий к с. 177). Полный текст водевиля Ф. А. Кони был опубликован в «Пантеоне русского и всех европейских театров» (1840, кн. 10, октябрь).[26]

...почтеннейший ~со времени меткой эпиграммы Пушкина, расписался. – Имеется в виду эпиграмма Пушкина на Булгарина «Не то беда, что ты поляк...» (1830).

...в огромной статье ~ и о некоторых похождениях его, предшествовавших вступлению на поприще журналиста. – Ср. критическую статью Некрасова «„Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода“». Сочинение Фаддея Булгарина» (ОЗ, 1843, № 3, 5).

...научите, что мне делать с почтеннейшим, ~ Побить! В самом деле! – В литературных кругах в 1830–1840-х гг. широко бытовали слухи о том, что Булгарин за свое неблагоприятное поведение часто бывал бит. Н. И. Греч писал по атому поводу: «На другой день явился ко мне Булгарин в синих очках, которые носил после всякого подобного побоища» (Греч Н. П. Записки о моей жизни. СПб., 1886, с. 468). Ср. эпизод из жизни Н. А. Полевого, связанный с его критической статьей в «Московском телеграфе» о романе М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году»: «Загоскин пробежал статью о своем романе, покраснел, задрожал и, беснуясь на все манеры, стал бранить моего брата <...> Вы видите эту трость? Я сейчас иду к Полевому и прибую его вот этою самою тростью» (Полевой К. А. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого. СПб., 1888, с. 259).

...сочинитель глупой до невероятности и пустой повести из времен Петра II... – Речь идет о П. Р. Фурмане (1809–1856), третьестепенном писателе, переводчике, авторе многочисленных исторических романов, предназначенных для детского чтения. В середине 1840-х гг. он сотрудничал в «Сыне отечества», «Иллюстрации», «Репертуаре и Пантеоне», «Литературной газете», «Отечественных записках». Белинский отзывался критически о Фурмане, «в сравнении с которым, – писал он А. И. Герцену 2 января 1846 г., – гг. Кони, Межевич имеют полное право считать себя литераторами первого разряда» (Белинский, т. VII, с. 253). Повесть П. Р. Фурмана «из времен Петра II» – исторический рассказ «Гонец», опубликованный в «Иллюстрации» (1846, № 14, 15).

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов Почтеннейший, господа, каждый четверг бывает у одного своего приятеля... – Имеется в виду Н. И. Греч, «четверги» которого посещал Булгарин (см.: В. В. <Бурнашев В. П.>. Из воспоминаний петербургского старожилы. Четверги у Греча, с. 4, 19).

...сидевший до того времени в глубоком молчании беловолосый Хапкевич. ~ почтеннейший объявил Хапкевича главным сотрудником своей газеты... – И. И. Панаев вспоминал о В. С. Межевиче: «...небольшого роста, белокур, с незначительными чертами, с мутными подслеповатыми глазами и в очках, которые он поправлял беспрестанно. В манерах его было что-то нерешительное и даже робкое <...> почти тайком ускользнул из редакции „Отечественных записок“, сошелся с Булгариным, начал писать в „Пчелу“, вдался в мелкую литературу...» (Панаев, с. 139).

Я не только не ходил в университет ~ я должен был выйти из университета. – Автобиографический эпизод: Некрасов оставил университет 24 июля 1841 г. (см.: ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 360).

...аматеры... – Амагер (франц. amateur) – любитель; здесь в значении: обожатель.

У Владимирской. – Имеется в виду церковь Владимирской божьей матери, расположенная на Литейном проспекте между Басманною улицей и Кузнечным переулком (см.: Пушкарев И. Путеводитель по С.-Петербургу и окрестностям его, с. 265). Современный адрес: Владимирский проспект, д. 20.

Но всего более любила она рисовать, ~желание нарисовать портрет матери превратилось у нее в род болезни... – История Параши восходит к распространенной в литературе 1830–1840-х гг. теме крепостного художника, музыканта. Ср. повести Н. А. Полевого «Живописец» (1833), А. В. Тимофеева «Художник» (1834), Н. Ф. Павлова «Именины» (1835) и др.

...уже купил было так называемую сомину для путешествия водою... – Сомина, соминка – речное судно, управляемое шестью.

...того только и требует от книги! Забвения подавляющей действительности ~ Киньте же ее поскорей, читатель деликатный и благовоспитанный! – О текстуальном совпадении этого абзаца с рецензией Некрасова «„Музей современной иностранной литературы“, вып. 1 и 2», в которой речь идет о «деликатных и благовоспитанных порицателях» «натуральной школы», см. выше, с. 712. Вариант этого текста повторяется в повести «Сургучов» (см. с. 292). Ср. также статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», посвященную характеристике «натуральной школы» и отношения к ней читателей, которые, «но чувству аристократизма, но любят встречаться даже в книгах с людьми низших классов» (Белинский, т. X, с. 299). «Представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого, – писал Белинский, – он сейчас пообедал сладко, со вкусом <...> и вот берет он книгу <...> Книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое.: семейство, может быть недавно еще знавшее довольство, что есть, на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния <...> И нашему счастливцу неловко <...> А все виновата скверная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку <...> Прочь ее! „Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!“ – восклицает он» (Белинский, т. X, с. 298).

...ставни были, да ветром оторвало, а иная еще и цела ~ лучше бы ее уж скорей сняли, чем висеть ей на волоске и каждую минуту ждать конца себе... – фраза, возможно восходящая к описанию поющих на «свой особенный голос» дверей в «Старосветских помещиках» Гоголя: «...та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: батюшки, я зябну!» (Гоголь, т. II, с. 17–18).

История старой девы сложнее и запутаннее ~ о флакончиках с духами, благовонных мылах и, наконец, о нем, который так любил ее... – Ср. рецензию Белинского на роман Ф. Бремер «Семейство, или Домашние радости и огорчения» (ОЗ, 1844, № 1): «...если они остаются на всю жизнь девицами, то и до гробовой доски верят счастью, мечтают о нем. Это исключительная привилегия старых дев <...> бедняжки сейчас ударяются в розовые мечты о счастье и о нем – и каково же будет их разочарование, когда ни один он ни в грош не оцепит их прекрасной души, которая как ни хороша, а все-таки совсем не то, что души» (Белинский, т. VIII, с. 103).

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Такой стоицизм ~ выражается словом «околотился». – Околотиться – привыкать к побоям, к дурному житью (Даль, т. II, с. 607).

...не только треуха или другой сильной возбуждательной меры... – Треух – здесь в значении: оплеуха, пощечина.

...по часам Он предавался безотчетным Мечтам и снам ~ И не дерзал коснуться пальцем Ее руки. – Отрывок из стихотворения Тургенева «Человек, каких много». Первые строки процитированы Некрасовым неточно. У Тургенева: «И по часам Стал предаваться безотчетным „Мечтам и снам“» (Тургенев, Соч., т. I, с. 45). Возможно, здесь содержится намек на «Мечты и звуки» Некрасова. См. также стихотворение «Женщина, каких много» (1846), явившееся творческим откликом поэта на стихотворение Тургенева.

– Фи! Ты ешь лук! ~ – Кто же любит лук? – возразил он с аристократизмом... – В фельетоне Некрасова «Хроника петербургского жителя» (ЛГ, 1844, 27 апр., № 16) этот мотив повторяется в несколько измененном виде: «Матрена Ивановна удивительно любит лук. Вот оттого она дома всегда сидит и в хорошее общество ни ногой» (ПСС, т. V, с. 421).

– «Чудак!» – повторил Тростников, оставшись один. – Эхо бессмысленной черни, бессмысленно повторенное ~ существо, которого ты еще не успела испортить, заразить тлетворным дыханием своим... – Вариант этого рассуждения содержится в рецензии Некрасова на поэму Н. В. Сушкова «Москва» (С, 1847, № 4) (см. выше, с. 711–712). Ср. также начало статьи Белинского «Русская литература в 1845 году» (ОЗ, 1846, № 1): «Недовольство судьбою, брань на толпу, вечное страдание, почти всегда кропанье стишков и идеальное обожание неземной девы – вот родные признаки этих „романтиков“ жизни <...> Их призвание – страдать, и они горды своим призванием» (Белинский, т. IX, с. 380).

...ты уморила с голоду Камозэнса... – Камозэнс (Камоинш) Луиш ди (1524 или 1525–1580), португальский поэт, представитель литературы Возрождения, автор эпической поэмы «Лузиада». Некрасов мог знать о нем из драматической поэмы «Камозэнс» немецкого писателя Франца Мюиха-Веллингаузена, писавшего под псевдонимом: «Фр. Гальм». Эта поэма в переводе В. А. Жуковского была опубликована в «Сыне отечества» (1839, т. VI). Камозэнс упоминается в рассказе «Без вести пропавший пиита» (см.: наст. изд., т. VII, с. 62).

...к Волкову в гости. – Имеется в виду Волково кладбище в Петербурге.

Петербург – город великолепный и обширный! ~ И не веселят уже меня твои гордые здания и всё, что есть в тебе блестящего и поразительного!.. – О теме социальных контрастов Петербурга у Некрасова см. выше, с. 724–725. Начало главы III перекликается с описанием Петербурга в «Бедных людях» Ф. М. Достоевского: «...встает, дымится, кипит, гремит – тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу!» (Достоевский, т. I, с. 88). Выражение «обманчивый Петербург» восходит к «Невскому проспекту»: «...кроме фонаря все дышит обманом» (Гоголь, т. III, с. 46).

Где ты теперь, моя матушка? ~ Видишь ли, что они со мной делают? – Лирическое отступление, ассоциативно связанное с «Записками сумасшедшего»: «Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку за его больную головушку, посмотри, как мучат они его! <...> Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..» (Гоголь, т. III, с. 214).

...бедных ванек... – Ванька – городской извозчик. Ср. стихотворение «До сумерек» из цикла «О погоде».

...нужно иметь какой-нибудь вид... – Имеется в виду паспорт

...коли недоимку не дошлет к Покрову... – Покров божьей матери – церковный праздник, отмечающийся 1 октября по ст. ст.

Литейная часть – одна из центральных частей Петербурга.

Одер! – сказал извозчик, дернув опять изо всей силы вожжу и прихлестнув кнутом тощее животное ~ Тут он забежал вперед и начал хлестать клячу по голове. –

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Сходный эпизод использован Некрасовым в стихотворении «До сумерек» из цикла «О погоде».

Вошел в первую комнату, Агаша увидела несколько окороков и других разных мяс ~ чтобы он повторил свой фокус, от чего пьяный немец не отказывался... – В фельетон Некрасова «„Теория бильярдной игры“ и Новый Поэт» (С, 1847, № 11) вошли являющиеся вариацией темы комментируемого фрагмента стихи «о чернобородом и тучном буфетчике», о посетителях трактира, о «фокуснике голодном», который, «выпив содержимое до капли, с поклоном содержащее съедал» (см. выше, с. 712). Ср. также очерк Е. П. Гребенки «Петербургская сторона» (1845): «я знал одного храброго человека, который, выпив рюмку водки, съедал самую рюмку, т. е. стекло, иначе, говоря риторическим слогом, выпив содержимое, съедал содержащее и оставался невредим» (ФП, ч. 1, с. 222).

«А настоечка тройная, а настоечка травная – удивительная!» – усеченная цитата из стихотворения И. П. Мятлева «Восторг»: «Настоечка тройная, настоечка травная, из зелья составная, удивительная» (Мятлев И. П. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1857, с. 101).

...коллежский регистратор, выгнанный из службы за пьянство и воровство ~ Как ты смел бить чиновника, – в подтверждение чего вытаскивал свой аттестат. – Коллежский регистратор – гражданский чин четырнадцатого класса. Согласно петровской «Табели о рангах» в гражданской службе даже самые низшие чины (вплоть до 1845 г.) давали право на личное дворянство (см.: Шепелев Л. Е. Отмененные историей чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977, с. 15). Ср. также эпизод об аттестате, «свидетельстве бедности и несчастья», в «Повести о бедном Климе» (с. 52–53).

– Дай двугривенничек! – сказал он ~ вишь, отец тебе, твой родной отец... – Сходный мотив неузнавания содержится в «Повести о бедном Климе» и романе «Три страны света».

Сургучов\*

Печатается по черновому автографу ГБЛ.

Впервые опубликовано: начало главы I и два отрывка из главы II, с пометами: «для II-ой главы», «(Сургучов) для II главы» – Записки Отдела Рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 10–20; полностью – ПСС, т. VI, с. 318–332.

В собрание сочинений впервые включено в последнем из названных изданий.

Автографы повести представляют собой разрозненные наброски, которые условно делятся на две группы: три незавершенные редакции главы I и наброски, относимые, на основании авторских помет, к главе II.

Первая черновая редакция главы I представлена наброском (ГБЛ А), содержащим перечеркнутый текст начала главы I: «Глава первая. Осенью часу в пятом оо без всякого с их стороны усилия и даже без их видимого...», – ГБЛ, ф. 195, м 5758. 2/6, л. 1 (на обороте одного из листов рукописи романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»).

Вторая черновая редакция главы I представлена двумя рукописями: 1) автографом (ГБЛ Б), содержащим текст начала главы I: «Глава первая. Осенью часу в пятом ~ Эх, братец! – воскликнул он с горечью. Вся», – ГБЛ, ф. 195, м 5757. 2/3, л. 1–в; 2) наброском (ГБЛ В): «Как скоро герой наш ~ один листок объявлений без зубов и зубных дергачей» – ГБЛ, ф. 195, м 5757. 2/4, л. 1–2.

Третья полубеловая редакция главы I представлена тремя рукописями: 1) наброском (ГБЛ Г), содержащим текст начала главы I: «Осенью часу в пятом ~ молча уткнул пальцем в некоторые строки карты», – ГБЛ, ф. 195. м 5757. 2/5, л. 1–2 об.; 2) находящимся во второй из названных выше единиц хранения черновым наброском (ГБЛ Б): «Чиновник, так озадачивший то сказал наконец молодой чиновник» (на полях л. 4 пометы, по-видимому не относящиеся к тексту: «Велик; Ты, которая вливая; За чайным столом; Ком<ната>») – и 3) черновым наброском (ГБЛ Д): «Как только он сходил с Невского ~ как будто только что проглотил тухлую устрицу» – ГБЛ, ф.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов, М 195, М 5757. 2/1, л. 1–1 об.

Глава II представлена находящимся в последней из указанных единиц хранения черновым наброском (ГБЛ Д): «Станным образом приобрел он себе друга, со Такое требование несколько смутило нашего приятеля. Однако ж он...» (на полях, рядом с первой фразой, помета: «для II-ой главы»), – и четырьмя черновыми набросками (ГБЛ Е): «Пора уже познакомить читателя с князем ~ и только одного не могла переносить их княжеская гордость» (на полях л. 1 рядом с фразой: «Пора уже познакомить читателя с князем, о котором так часто говорит Побегушкин» – помета: «(Сургучов) для II-ой главы»); «Ух! Легче стало на душе ~ в начале каждой будущей повести»; «Побегушкин употребил все усилия кит смел надеяться»); «Но, прежде чем я приступлю к рассказу ~ тот поймет мою цель. К ним...» – ГБЛ, ф. 195, М 5757. 2/2, л. 1–2 об.

Перечисленные фрагменты написаны чернилами, со множеством исправлений, густо зачеркнутых строк и слов, с обильными вставками на полях.

Последовательность редакций главы I устанавливается по смыслу, характеру и количеству авторской правки, по почерку. В первой редакции социальной принадлежности героя к чиновничьей среде не уточнена: «...в одну из лучших петербургских рестораций вошел господин довольно высокого роста...» (см.: Другие редакции и варианты, с. 564, вариант к с. 281, строке 7). Во второй редакции слово «господин» зачеркнуто, вместо него вписано на полях: «чиновник (я положительно говорю чиновник, потому что не боюсь ошибиться: из десяти человек, встреченных вами на петербургских улицах, девять непременно чиновники)» (там же, с. 564, варианты к с. 281, строкам 4–7, 5). В третьей полубеловой редакции, положенной в основу текста, эта вставка включена в повествование без изменений.

О том, что в процессе работы над рукописью у Некрасова, очевидно, формировался замысел повести, посвященной традиционной для литературы 1840–х гг. теме «бедного чиновника» («мелкого чиновника», говоря словами Некрасова), свидетельствует и черновой набросок ГБЛ В к главе I, в котором также акцентируется социальная характеристика героя. После слов: «Как скоро герой наш (или наш чиновник» – на полях вписано авторское отступление: «я полагаю, что даже было бы гораздо благоразумнее г<осподам> сочинителям оставить старую обветшалую форму и вместо наш герой говорить наш чиновник)» (см.: Другие редакции и варианты, с. 569, вариант к с. 282, строке 34).

Название повести определяется на основании пометы Некрасова, содержащейся на листе последнего из перечисленных автографов: «(Сургучов) для II-й главы». Герой повести, именуемый чаще «наш чиновник», «рлябой господин», назван Сургучовым и в вариантах третьей редакции главы I (см. там же, с. 575, вариант к с. 285–286, строкам 26–30).

«Сургучов» сюжетно не оформлен. Сохранившиеся рукописи не датированы. Отсутствуют и какие-либо документальные сведения о времени работы Некрасова над этим произведением. Датируется предположительно 1844–1847 гг. по следующим соображениям. Первая черновая редакция главы I повести начата и зачеркнута на листах рукописи части третьей романа о Тростникове, над которой Некрасов работал, по-видимому, в 1844–1848 гг. В рукописи главы VIII части второй этого романа содержится помета на полях: «Кондитерская, ресторация, театр, путешествия по Невскому, танцкласс, карты» (см. там же, с. 517), в которой зафиксированы как характерные для «натуральной школы» темы, так и план повествования, затем реализованный Некрасовым в романе. Возможно, с этой пометой связан и замысел «Сургучова», так как в сохранившихся отрывках действие происходит в ресторане, трактире, бильярдной, на Невском проспекте. Подтверждением того, что Некрасов работал над этими произведениями одновременно (возможно, над «Сургучовым» несколько позже) служат и отдельные текстуальные совпадения в них. Объявления о продаже «пары отличных шведок за сходную цену», о «благородной девице из иностранок», о пропаже «легавого кобеля» по стилю аналогичны вывескам в главе «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются». В исследовательской литературе отмечался и ряд других текстуальных совпадений в «Сургучове» и в романе о Тростникове, в частности авторское отступление в романе: «Ух! Словно гора с плеч свалилась! Легче дышится и слово ложится на бумагу свободнее!» (см. там же, с. 520, вариант к с. 229, строкам 8–9) – и почти дословное повторение в «Сургучове»: «Ух! Легче стало на душе и слово ложится свободнее на бумагу...» (с. 292). Кроме того, обращалось внимание и на связь «Сургучова» с рецензией Некрасова «„Музей современной иностранной литературы“»,



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов вып. 1 и 2» (С, 1847, № 4), в которой использовались отрывки из романа о Тростникове (см. выше, с. 712, 747–748) и текст из «Сургучова»: «Не великие страсти, не возвышенные порывы и не аристократические страдания намерен я изобразить здесь ~ но кто спешит к нему с помощью и утешением, тот поймет мою цель» (с. 294; см. также: ПСС, т. VI, с. 566). Таким образом, в 1847 г. Некрасов еще мог обращаться к «Сургучову» как к материалу для своей рецензии.

Последней датой творческой работы над «Сургучовым» можно считать 1847 г. и на основании еще одного наблюдения. В одном из набросков повести неожиданно появляется фигура мечтателя и авторское рассуждение о петербургских мечтателях («Читатели назовут его смешным и отчасти смешным, но пусть они заглянут в себя. Я знаю, что не один он. В нем только резко отразилась болезнь, общая всем петербуржцам» – с. 290), аналогичное размышлениям Достоевского на эту же тему в «Петербургской летописи» от 15 июня 1847 г. (СПбВ, 1847, 15 июня, № 133). Здесь Достоевский пишет о мечтателе как о «кошмаре петербургском» (Достоевский, т. XVIII, с. 32–34).

Анализ черновых рукописей «Сургучова» позволяет высказать предположение о том, что Некрасов работал над этим произведением недолго и особенно интенсивно в 1844–1845 гг., в период подготовки «Физиологии Петербурга», программного сборника «натуральной школы». Возможно, замысел «Сургучова» соотносился с фельетоном «Черты из характеристики петербургского народонаселения» (ЛГ, 1844, 10 авг., № 31), в котором речь шла о «типе чиновника», со стихотворением «Чиновник» (1844), написанным специально для второй части «Физиологии Петербурга», и был связан со статьей Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в первой части. «...Слово „чиновник“ в Петербурге такое же типическое, как в Москве „барин“, „барыня“ и т. д., – писал критик. – Чиновник – это туземец, истый гражданин Петербурга» (Белинский, т. VIII, с. 408).

Характеристики героев в «Сургучове» и в «Чиновнике» отличаются некоторыми текстуальными совпадениями. Так, в начале повествования в «Сургучове» перечисляются черты, присущие собирательному образу «мелкого» петербургского чиновника: «робость вечно боролась <...> с подозрительностью», «подозрительная боязливость» (с. 282), ср. в «Чиновнике»: «...держал себя сутуло ~ И в робость безотчетную впадал...» (см.: наст. изд., т. I, с. 413).

Соотнесенность «Сургучова» с литературной традицией отмечалась самим Некрасовым в начале главы I (см.: Другие редакции и варианты, с. 569, вариант к с. 282, строке 34). «Чиновничья» тема была одной из распространенных в литературе 1830–1840-х гг. Кроме стихотворений Некрасова «Чиновник», «Говорун» и водевиля «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» ей посвящены многие произведения Ф. В. Булгарина (повести «Три листка из дома сумасшедших» (1834), «Посмертные записки титулярного советника Чухина» (1835), «Победа от обеда» (1840), где обрисовывается быт «человечества 14-го класса», и очерк «Чиновник» (1842)), повести Е. П. Гребенки («Лука Прохорович», 1838), И. И. Панаева («Дочь чиновного человека», 1839), Н. Ф. Павлова («Демон», 1840), водевили Ф. А. Кони «Титулярные советники в домашнем быту» (шел на сцене Александрийского театра в сезон 1839/40 г.) и В. А. Соллогуба «Букеты, или Петербургское цветобесие» (1845) (см. также: Цейтлин А. Повести о бедном чиновнике Достоевского. (К истории одного сюжета). М., 1923). По словам Гоголя, над титулярным советником «натрунились и наостились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться» (Гоголь, т. III, с. 141–142).

Некрасов обратился к «Сургучову» после выхода в свет «Шинели» (1842) Гоголя и в период публикации «Бедных людей» (1846), «Двойника» (1846), «Господина Прохарчина» (1846) Достоевского, – произведений, в которых «чиновничья» тема приобрела качественно новое гуманистическое звучание, что не могло не отразиться на творческой истории комментируемой повести. По-видимому, писатель предполагал создать повесть в стиле русских физиологии, населенную множеством «мелкотравчатых господ» (чиновник, петербургский мечтатель, приятель Побегушкина, «происходивший от тех родителей, которые с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание, мешавшее им посвятить себя какому-нибудь ремеслу» и др.), ориентируясь при этом на гоголевскую традицию. Генетическая связь с поэтикой гоголевских петербургских повестей прослеживается, в частности, в стиле повествования, в детализированных описаниях героев, в характере авторских отступлений. Внешность Сургучова («рябый господин», «мелкого чиновника»): «Голову держал он вниз, не стараясь нисколько преодолеть

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов некрасовской свойственной чиновникам сутулости, шагая нерешительно, встречному тотчас давал дорогу, не выдерживая ничего взгляда...» (с. 282); «Не было в нем и следа той немножко педантической <...> торжественности, которая постоянно присутствует на лицах крупных чиновников...» (с. 281) – ассоциируется в обликом Акакия Акакиевича в «Шинели»: «...нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват...» (ср. также контрастное описание чиновничества в «Невском проспекте»: «Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову...» – Гоголь, т. III, с. 141, 14). Эпизодическая фигура молодого коллежского регистратора, составившего себе славу либерала «ловким передразниванием походки некоторых значительных лиц» (с. 281), напоминает поведение молодых чиновников в «Шинели», с «канцелярским остроумием» потешавшихся над Акакием Акакиевичем, и «вольнодумство» судьи в «Ревизоре». Само упоминание Некрасовым «некоторых значительных лиц» восходит к повести Гоголя «Шинель».

Воздействие Гоголя ощутимо не только в стиле, незавершенной повести, но прежде всего в сознательной ориентации Некрасова на изображение мира социально униженных («...я поведу вас в мир людей, которых страдания мелки и темны, радости грубы, песня простонародны...» – с. 294), художественно реализованной в его поэтическом творчестве.

...выписывавший стихи из «Репертуара русского театра» – «Репертуар русского театра» – журнал, издававшийся И. П. Песоцким в 1839–1841 гг. В 1842 г. объединился с «Пантеоном русского и всех европейских театров» и стал выходить под названием «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров»; редактором его с 1842 г. был Ф. В. Булгарин, а с 1843 г. по 1846 г. – В. С. Межевич. Этот журнал Некрасов ставит в один ряд с «Северной пчелой» и «Библиотекой для чтения», входившими в круг чтения мелкого чиновничества.

...огромный лист, прозванный русским «Journal de Debats» ~ не знает русской газеты. – Речь идет о «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» (1839–1917), называемой в быту «Полицейской газетой» и помещавшей объявления а известия о различных происшествиях в Петербурге. С 1839 г. редактором газеты был В. С. Межевич. О популярности среди мелкого чиновничества «Северной пчелы», «Библиотеки для чтения», «Полицейской газеты» писал в «Записках сумасшедшего» Гоголь, о чтении «Северной пчелы» – в «Бедных людях» Достоевский. Ср. также в рассказе Я. П. Буткова «Горю» (1847): «„Пчелку“ бы мне или „Полицейскую“». «Journal de Debats» – ежедневная парижская политическая газета, основанная в 1789 г.; в 1840-е гг. – орган, близкий к правительству.

Продается пара отличных шведок... – Шведка – небольшая лошадь крепкой породы. В первоначальном варианте это объявление имело двусмысленный оттенок, вызвавший улыбку чиновника: «...продается за сходную цену пара молодых шведок, годных и под верховую езду» (см.: Другие редакции и варианты, с. 572, вариант к с. 284–285, строкам 32–9).

...транспоран... – Транспорант – натянутая на раму просвечивающая ткань с какими-нибудь изображениями, освещаемая сзади.

...иные пятнышки ~ Закрашены чернилами. – Ср. похожий эпизод в «Без вести пропавшем пиите» (1840) (наст. изд.: т. VII, с. 45–46) и в романе о Тростникове (см. с. 90).

А! а! и шампанское!.. ~ Это кислые щи... – Кислыми щами назывался шипучий напиток, особого рода квас, приготавливавшийся обычно из пшеничной муки и закупоривавшийся так же, как шампанское.

...бежал безумно навстречу карете. – Ср. традиционный для «натуральной школы» мотив кареты, используемый Некрасовым в одноименной повести (1841).

В нем почему-то жило убеждение ~ закладывать последние вещи на скудный обед. – Ср. тему мечтателя, раскрытую Достоевским в «Хозяйке» (1847), «Петербургской летописи» (1847), «Слабом сердце» (1848), «Белых ночах» (1848). См. также роман

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов о Тростникове, с. 97.

...высокой гайдук... – Гайдук – выездной лакей.

...ел у Излера... – ресторан И. И. Излера в Петербурге. См. также стихотворение «Прихожу на праздник к чародею» и комментарий к нему (наст. изд., т. I, с. 70, 598).

...знал наизусть несколько стихотворений гр. Ростопчиной, читал Одоевского и Соллогуба... – Е. П. Ростопчина (1811–1858), известная в 1840–1850-е гг. писательница, автор сборника «Стихотворений» (1841). Признание современников получила ее любовная лирика. В. Ф. Одоевский (1803 или 1804–1869), автор фантастических и светских повестей. В 1840-е гг. были известны его «Русские ночи» (1844), «Княжна Мими» (1834), «Княжна Зизи» (1839), «Пестрые сказки с красным словом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою» (1833), «Сказки и повести для детей бабушки Ирины» (1838) и др. В 1844 г. вышло собрание сочинений Одоевского в трех томах. В. А. Соллогуб (1813–1882) в 1840-е гг. выступал как автор светских повестей («Лев», «Медведь», «Большой свет» и др.), водевилей («Букеты, или Петербургское цветобесие») и повестей («Собачка», 1845) из чиповичьей жизни, повести «Таранас» (1845).

Иной глядит, как будто только что проглотил тухлую устрицу. – Это сравнение встречается в романе о Тростникове (см. с. 244).

...гуляя на Крестовском... – Крестовский остров в 1840-е гг. был в основном весь занят парком, переходившим в лес; принадлежал к неаристократическим районам Петербурга (см.: Курбатов В. Я. Петербург. СПб., 1913, с. 585–588).

Уже одно слово «князь» пугает читателя ~ у которых им не удавалось быть и в прихожей. – Говоря о сочинителях «повестей с князьями и графами», Некрасов, возможно, имел в виду Л. В. Бранта (автора романа «Жизнь как она есть. Записки неизвестного», 1843). По поводу последнего Белинский писал в статье «Петербургская литература» (ФП, ч. 2) в аналогичных выражениях: «Петербургский писака, никогда не выдавший даже прихожей порядочного дома, изображает в своих романах и повестях высший свет и хороший тон, аристократов и жизнь как она есть» (Белинский, т. VIII, с. 562). Ср. с выпадами Некрасова против «аристократических повествований» в рецензиях «„Аристократка, быть недавних времен, рассказанная Л. Брантом“. СПб., 1843» и «„Наполеон, сам себя изображающий“, с франц. СПб., 1843».

...с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание... – Однодворцы – представители особой группы государственных крестьян, свободных от крепостной зависимости, владевшие небольшим наделом земли (в один двор). Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами, имели право владеть крепостными и земельными участками, но облагались подушной податью. Фигура деклассированного князя из однодворцев, принадлежащего к породе «мелкотравчатых господ», контрастна по социальной характеристике герою рассказа Тургенева «Однодворец Овсяников» (1847).

...я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестнице со я ставлю здесь слово «грязный» в том смысле, в каком понимают его многие читатели. – Намек на отклики Ф. В. Булгарина и Л. В. Бранта по поводу «физиологии Петербурга», в которых «Петербургские углы» обвинялись в «грязности»: «Писатель с дарованием, с умом и сердцем, сойдя воображением в это убогое жилище, в этот мрачный нищенский угол, мог бы нарисовать картину грустную, возбуждающую участие, сострадание, – писал Л. В. Брант, – г. Некрасов, питомец новейшей школы, образованной г. Гоголем, школы, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные <...> Не спорим, что они существуют как неизбежные исключения в низшем слое человеческого общества; но должно ли рисовать их жалкую жизнь, и особенно рисовать так, как рисует г. Некрасов, поставляющий, по-видимому, торжество искусства в картинах грязных и отвратительных...» (СП, 1845, 19 окт., № 236; см. также: 7 апр., № 79).

Тонкий человек, его приключения и наблюдения\*

Печатается по тексту первой публикации (главы I–IV) и по черновому автографу ГЛ (главы V–VII части первой, глава II части второй).

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

Впервые опубликовано: главы I–IV – С, 1855, № 1, с. 171–204, с подписью: «Н. Некрасов»; отрывки из глав V–VII части первой и главы II части второй, под названиями, принадлежащими публикатору К. И. Чуковскому, – Охотничье сердце. Лит. – худ. альманах. М., 1927, с. 43–69 («Разлив»), Красная нива, 1928, 1 янв., № 1, с. 3–5 («Ямщик»), Правда, 1928, 8 янв., № 7 («В шалашах», «На воде»), Огонек, 1928, № 2 («Ой, жажда!», «Старик», «Ямщик и барыня»), Красная панорама, 1928, № 2, с. 4 («Потонувшая баржа»), НМ, 1928, № 2, с. 205–219 («Потанин»); почти полностью – Некрасов. Тонкий человек, с. 23–186; найденный в карабахском архиве единственный оставшийся неопубликованным отрывок: «небом, среди незнакомой местности со мало того» (с. 404–405, строки 13–16) – Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 21–22.

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI.

Рукописный фонд романа довольно обширен.

Черновой набросок – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 5, л. 1–2. Этот набросок (с пометой Чуковского: «Отрывок из первой части») представляет собой жанровую сценку отхода ко сну помещика Ивана Андреича, у ног которого приютился пест Раппо, а затем утреннего пробуждения и препирательств его со слугою Матвеем, не разбудившим его, как он просил, с восходом солнца на охоту, и был сделан еще до публикации начала романа в «Современнике». Но характерно, что образ барина здесь уже трактовался иронически и что был намечен эпизод бессмысленного убийства им спешащей с кормом к своим птенцам галки, позднее (в главе VI части первой) преобразованный в эпизод столь же нелепого выстрела Грачова во время разлива в птицу-рыболова, которую он был вынужден выбросить за борт из-за преследования лодки собратями жертвы. Опубликован К. И. Чуковским: Огонек, 1928, № 1 (под заглавием: «День Ивана Андреича»).

Черновой автограф (ГБЛ Л) отрывка («Всего лучше выписать отметку самого Грачова со двинулись в Москву») главы III и начала главы IV, с заглавием: «Тонкий человек. Его путевые, охотничьи и сердечные приключения [в 1853 году]. Часть 1-ая» – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 3, л. 2–3 и обложка. На внутренней стороне обложки помещены несколько отрывочных фраз диалоги которые ведут к окончательной редакции главы IV, сцене «За стеной».

Черновые автографы (ГБЛ Б, ГБЛ В, ГБЛ Г) глав, являющихся продолжением печатного текста (отсутствуют глава I и окончание главы II части второй), – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 4 л. 1–43 об., ед. хр. 6, л. 1–7 об., ед. хр. 7, л. 1–6 об., причем от автографа ГБЛ Г Некрасов перешел снова к ГБЛ Б, набрасывая на свободных листах продолжение романа.

Один лист, относящийся к автографу ГБЛ Г и имеющий знак вставки, был обнаружен в Карабахском архиве в 1940 г. уже после первой публикации романа К. И. Чуковским, который, почувствовав пробел в данном месте текста, пошел на контаминацию зачеркнутых и незачеркнутых строк. При включении романа в ПСС в 1950 г. (т. VI) эта же компромиссная редакция соответствующих строк была повторена. В настоящем издании по смыслу и на основании знака вставки, которому соответствует такой же знак в автографе ГБЛ Г, этот лист (ГБЛ, ф. 195, М 5757.3) положен I основу окончательного текста, а зачеркнутые строки перенесены в раздел «Другие редакции и варианты» (с. 661–662).

Глава, непосредственно следующая за печатным текстом, ошибочно мыслилась поэтом как глава IV; соответственно ей были пронумерованы и остальные главы. Отдельные места повествования, представленные сначала в черновом виде, иногда переписаны повторно (так, например, существует незачеркнутый вариант отрывка главы VII, имеющий самостоятельное значение). Незавершенность романа, особенно неопубликованных глав, сказалась в том, что из текста не устранены следы первоначального замысла, по которому Грачов путешествует с двумя приятелями – Тростниковым и Кротовым. Упоминания о Кротове встречаются, в частности, в главе V. Поскольку функции Кротова затем целиком переданы Тростникову и уже в середине этой главы автор сам начал исправлять фамилию Кротов на Тростников, редколлегия издания сочла возможным унифицировать текст, оставив лишь одного антипода Грачева – Тростникова.

Как свидетельствуют варианты к роману, работа над ним была подчинена основной творческой задаче – показать соприкосновение путешественников, «тонкого человека

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов «Грачи» и его «приятеля»-оппонента Тростникова, с народной жизнью. Поэту уделялось большое внимание описанием порывов весеннего разлива, населения «облительных» и «необлительных» деревень и их быта, воспроизведению облика и поведения ямщиков и гребцов. Так, например, при описании молодого возчика, поведавшего седокам об Адовщине и ее управляющем, особо детализировался эпизод ухода парня по воде в разведку, когда он чуть не утонул и потерял шляпу, юмористически оттенялась ссора его из-за этой шляпы со своими спасителями, рассказавшими об его прошлогодних любовных вояжах по воде, что оживляло образ «русского Леандра» (см.: Другие редакции и варианты, с. 600–604, варианты к с. 349–353, и реальный комментарий, с. 764). Стремясь ярче и убедительнее проиллюстрировать свой обобщающий вывод о надежности «слова» мужика, взявшего на себя обязанность доставить чью-либо «особу» (см. там же, с. 621–622, варианты к с. 366, строкам 7–12), Некрасов подчеркивал как мужество гребцов, борющихся с водной стихией, так и выносливость, спокойствие и скромность ямщика Никиты, который, подрядившись доставить через разлив барыню с семейством, многократно переносил на руках карету и пассажиров и потом совсем не кичился, даже не желал рассказывать о своем подвиге (см. там же, с. 616–619, 622–625, варианты к с. 363–364 и к с. 366–369). Следует отметить также представляющий интерес для объяснения подобных поступков, зачастую совершаемых без особых раздумий, зачеркнутый фрагмент рукописи, который повествовал о вере крестьян в коллективный опыт и был заменен в окончательном тексте одной фразой. Главная мысль этого отрывка: «„Люди ездят, люда делают, люди бают“ – великое слово в деревне» (там же, с. 620–621, вариант к с. 365, строкам 37–38). Раскрывая причины успеха «мирского» деятеля из крестьян Алексея Дементьевича Потанина, о котором ямщик говорит: «Правдой страшен, правдой и силен», Некрасов отмечал его нетерпимость к «фальши» (там 587, вариант к с. 329, строкам 13–14); описывая его жилище, образ жизни, обращение с подчиненными, старался показать, насколько просто и мудро его правление (см. там же, с. 589–593, варианты к с. 334–339). Изображение деревенской толпы, отношения крестьян к барину сопровождалось тщательной разработкой таких, например, сцен, как неожиданное появление в этих краях ботника в «господами» (см. там же, с. 606–609, варианты к с. 355–357). Одновременно, рисуя другие картины – освещенную заходящим солнцем полузатопленную избушку с работающим на крыше старшим и плавающей рядом в ботнике девочкой или «лагерь» переселенцев на бугре, каждый из которых занят каким-либо делом, Некрасов подчеркивал, что в этих необычных условиях сохраняются трудовой ритм жизни крестьян, ее значительность (см. там же, с. 625–626, 631–633, варианты к с. 370–371 икс. 380–381). С этой же целью велась работа над монологом Тростникова (в насмешливой интерпретации Грачова) о поэтическом чувстве крестьян, верных своим заливаемым полям, на которых пахали еще их предки (см. там же, с. 635–636, вариант к с. 383–384, строкам 30–21); уточнялись рассуждения о мудрости и тонкости народных определений сущности человека, выразительности народного языка, в частности наименования «рохля», отнесенного к типу последнего неудачливого ямщика (см. там же, с. 656–658, вариант к с. 399–400, строкам 35–33 – черновая и беловая редакции).

Иные штрихи вносил Некрасов в характеристику Грачова, всё более заостряя ее иронический подтекст. Так, например, после описания происшествия с едва не погибшим молодым ямщиком на полях было вписано замечание о том, что Грачов почувствовал себя совершенно расквитавшимся, дав тому три целковых, и рассуждение о спокойствии его совести в случае денежного обеспечения жертвы, а также подчеркнуто убеждение Грачова в «железном здоровье» русского мужика (см. там же, с. 604, вариант к с. 353, строкам 16–20, и с. 599–600, варианты к с. 347–348, строкам 42–2). Был также отшлифован диалог его с другим промокшим ямщиком, потчующего которого портвейном, Грачов не преминул упомянуть, что его следовало бы угостить «зуботычинами» (см. там же, с. 661, вариант к с. 404, строке 8). Дважды обращаясь в рукописи к итоговому анализу личности «тонкого человека», Некрасов особо остановился на его так называемом «гуманизме» и боязни упасть в глазах своих авторитетов – членов петербургского кружка (см. там же, с. 637, варианты к с. 385, строкам 23–26, и с. 661, варианты к с. 404, строкам 11–20).

Неиспользованными остались два любопытных фрагмента. Об одном, черновом наброске ранней редакции, уже говорилось выше (см. с. 757). Второй – вставной незачеркнутый отрывок из главы VII – был заменен при переписывании более лаконичным текстом. В отрывке рассказывалось о поездках гурмана Грачова с поваром для закупки различных хозяйственных принадлежностей, снеди и вина в Муром, Гороховец и Вязники. Этот отрывок контрастно оттенял в предшествующей главе VI эпизод со стосорокалетним стариком, который по неделям лежал на печи и

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов негрыз хлебную корочку, пока не приходила присматривавшая за ним шестидесятилетняя «молодица» Матренушка.

Роман датируется приблизительно 1853–1855 гг. Он не мог быть начат ранее 1853 г., так как только в апреле–августе этого года Некрасов совершил поездку в село Алешунино Владимирской губернии, впечатления от которой отразились в романе: Грачов и Тростников выезжают весной из Петербурга и путешествуют по тем же местам, что и Некрасов; без изменения оставлены названия окрестных деревень, рек, озер; описание имени Грачова совпадает с описанием дома Некрасова в Алешунине (см. письмо к Тургеневу от 9 июля 1853 г.); собаки Раппо и Дианка, а также ружье системы Пордэ принадлежали Некрасову. С этой точки зрения следует отвергнуть мнение С. Г. Лазутина в статье «К истории создания романа „Тонкий человек“ и поэмы „Саша“ Н. А. Некрасова» о том, что «начать работу над романом „Тонкий человек“ Некрасов мог не в 1853 году <...> а значительно раньше» (Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972, с. 30).

Преращение работы над романом относится к 1855 г. Основной причиной этого К. И. Чуковский считал события 1854–1855 гг. (см.: Некрасов. Тонкий человек, с. 11). После поражения России в Крымской войне и смерти Николая I русская печать заговорила о крестьянском вопросе свободнее. Изображение процветающей, умиротворенной крестьянской общины во главе с Потаниным могло в новых условиях показаться нетипичным (см. также: Евгеньев–Максимов, т. II, с. 173–174; Соколов В. В. От крестьянской утопии к образу пореформенной России. (Алексей Потанин и Ермил Гирин). – Учен. зап. Калнингр. гос. ун-та, кафедра русской и зарубежной лит., 1970, вып. 5, с. 97–98).

Изменившаяся социально–политическая обстановка, когда крестьянский вопрос требовал своего революционного разрешения, а либералы из союзников превратились в противников демократического («снизу») освобождения крестьян, исключала идеализацию крестьянской общины и делала ироническое отношение к либерализму явно недостаточным. В условиях складывающейся революционной ситуации это означало бы защиту эволюционного пути развития, что не соответствовало ни позиции «Современника», ни взглядам Некрасова. Причиной отказа от публикации последующих глав и от продолжения работы над романом была отчасти и болезнь Некрасова, потребовавшая длительного лечения.

Роман Некрасова во многом автобиографичен. В нем отразились личные впечатления Некрасова, в образах героев – черты его характера и черты реальных лиц, его близких знакомых. Так, Стычипский, в доме которого остановились Грачов и Тростников, – муромский помещик С. С. Рачинский. В деревне Софонове у него был дом. Алексей Дементьевич Потанин – крепостной крестьянин, управляющий вотчиной А. Ф. Орлова. Правда, у него не было детей, в семье, кроме него и жены, Ирины Марковны, жил двоюродный брат Потанина Андрей Иванович (см.: Васильев С. Н. А. Некрасов во Владимирском крае. – В кн.: Владимир. Альманах, кн. 2. Владимир, 1952, с. 188–200). К. И. Чуковский высказал предположение, что петербургские литературные знакомые Грачева и Тростникова также имеют свои прототипы: Ильменев – Тургенев, Горновский – Грановский, Лодкин – В. П. Боткин (см.: Некрасов. Тонкий человек, с. 13).

Однако автобиографизм повести при всей его несомненности не мешал Некрасову создавать собирательные характеры. Как указал К. И. Чуковский, в Тростникове можно найти черты самого Некрасова: «щедрость», «наклонность к унынию», «трезвый и насмешливый ум». Необходимо отметить, что Тростников вообще является проходящим через ряд произведений автобиографическим образом, в котором воплощен взгляд на жизнь поэта–разночинца (кроме «Жизни и походов Тихона Тростникова», «Тонкого человека...» он фигурирует и в незавершенной повести «В тот же день часов в одиннадцать утра...», в которой изображены литературные деятели и события середины 1840–х и, возможно, 1850–х гг., непосредственным участником которых был Некрасов). Но было бы ошибкой, по словам В. Е. Евгеньева–Максимова (т. II, с. 177), отождествить Некрасова и Тростникова. То же касается и Грачева, в котором в несколько гротескном виде обобщены отличительные особенности либеральной дворянской интеллигенции. С. Г. Лазутин (указ. соч., с. 19–31) полагает, что образ Грачова полемичен по отношению к Константину Сергеевичу Левину – герою повести А. В. Станкевича «Идеалист», прообразом которого послужил брат писателя – Н. В. Станкевич. Но это доказывает только, что образ либерала занимал Некрасова. Грачов – типический портрет либерала, поскольку в нем собраны индивидуальные черты разных характеров – П. В. Анненкова, Н. В. Станкевича, А. В. Дружинина, В. П. Боткина, хотя он не сводим ни к одному из них в отдельности.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Объединяя в Грачеве психологические свойства либерала как социального типа, Некрасов одновременно упрощает их, ибо Грачов – натура заурядная, мелкая, бездарная. А под такую характеристику не подпадают ни Анненков, ни Боткин, ни Станкевич, ни Дружинин.

Уезжая в Алешунино, Некрасов отправил 10 апреля 1853 г. письмо Д. В. Григоровичу, в котором, выразив самое положительное отношение к роману последнего «Рыбаки» («Ваш роман без преувеличения удивительно хорош»), писал: «Я еду на самое место действия Вашего романа – в деревню, лежащую при Оке, и мне любопытно будет посмотреть, насколько верны Ваши описания». В романе Григоровича «Рыбаки», печатавшемся в «Современнике» 1853, № 3, 5–6, 9), действие происходит в период столь же буйного весеннего половодья, развивается тема крушения патриархальных нравов и проникновения в деревню новых буржуазных отношений, изображаются различные типы крестьян. Таким образом, замысел «Тонкого человека...» созрел на фоне этого «романа народной жизни» Григоровича. В то же время роман Некрасова «Тонкий человек...» включается в традицию записок путешественника – Свифта, Рабле, Радищева, Пушкина, Гоголя и в основном Тургенева (см. об этом: Карамышев О. В. О жанре романа Н. А. Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения». – Некр. и его вр., вып. 5, с. 45–52). Некрасов продолжает традицию «Записок охотника» Тургенева, создавая свою галерею крестьянских образов, повстречавшихся «приятелям-охотникам». Он прямо упоминает о рассказе «Свидание», воспроизведя в ироническом плане вместо лирической ситуации Тургенева рыдания молодого купчика, оплакивающего потонувшую расшиву с крупой и мукой и свои надежды на выгодную женитьбу.

Отмечено также (Н. С. Ашукин, К. И. Чуковский), что в романе отразилось увлечение Некрасова Теккереем, сказавшееся в названиях опубликованных глав (см.: Ашукин Н. Некрасов и охота. – В кн.: Охотничье сердце, с. 44–45; Некрасов. Тонкий человек, с. 14–15).

Комментируемый незавершенный роман обнаруживает связи и с рядом предшествующих и последующих произведений самого Некрасова. Так, драматическая сцена «За стеной» выросла из «Письма от купца к купцу», которое появилось в «Литературной газете» в 1845 г. (см.: ПСС, т. V, с. 543–546). Отрывок из «Повести о Суркове», в котором рассказывается о продаже купцом затонувшего товара, имеет некоторое сходство с тем местом из романа «Три страны света», где повествуется о крушении барок на Боровицких порогах. А. Н. Зимина в статье «Проблема лишнего человека в творчестве Некрасова 50-х годов...» (см.: Учен. зап. Удмуртск. гос. пед. ин-та, 1956, вып. 10, с. 99–118) и С. Г. Лазутин (указ. соч., с. 19–31) обратили внимание на внутреннее соответствие образов дворян-либералов Грачова и Агарина в поэме «Саша» (известно, что Некрасов предполагал описать и «сердечные приключения тонкого человека»). В какой-то мере образ Грачова стоит в одном ряду и с героем некрасовского стихотворения «Филантроп» (1853). Характеристика петербургских литераторов дана в том же ключе, что и в повести «В тот же день часов в одиннадцать утра...». Некоторые образы и мотивы романа получили развитие в последующих произведениях поэта. Спор-диспут о современной жизни между сторонниками разных убеждений станет формообразующим центром в «Сценах из лирической комедии „Медвежья охота“» (1866–1867). Картины весеннего разлива в романе напоминают описание половодья в стихотворениях «Дедушка Мазай и зайцы» (1870), «Пчелы» (1867); сцены с детьми, дивящимися фигурам охотников и их огромной охотничьей собаке, варьируются в стихотворении «Крестьянские дети» (1861). Раскрытие Некрасовым народной поговорки «молодо-зелено» (см. с. 391–392) как бы предварило шедевр его лирики «Зеленый шум» (1862–1863) (см. об этом: Жданов В. Заметки о Некрасове. – НМ, 1971, № 9, с. 241). А в жанре «путешествия», странствования по Руси, включающего в некоторых случаях эпизод посещения родового имения, кроме ранних стихотворений «Родина» (1846) и «Псовая охота» (1846) будут написаны потом такие крупные эпические произведения, как «Коробейники» (1861) и «Кому на Руси жить хорошо» (1865–1877). Преемником справедливого крестьянина Потанина станет Ермил Гирич из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», образ которого освобожден от мотивов покорности и религиозности (отмечено В. Б. Соколовым (указ. соч., с. 92–107) и М. М. Гином в статье «Социалистические мотивы в наследии Н. А. Некрасова» (см.: О Некр., вып. III, с. 7–32)). Но если Ермил Гирич, ставший участником народного бунта, превосходил Потанина с точки зрения социальной активности, то Потанин был выше своего последователя в нравственном отношении (Ермил Гирич оступился и выгородил своего младшего брата от рекрутчины, Потанин же сам сдает своего сына в рекруты, осуждая сговор крестьян, пытавшихся заменить его другим юношей). Рассказ о Потанине выдержан «в духе бытовавших в крестьянской среде социально-утопических

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов легенд о „далеких землях“»; выбор тона повествования, как и выбор средств внешней и внутренней характеристики персонажа, с его благообразием, религиозностью, любовью к общению с детьми, определяется тем, что сведения о Потанине и его мудром правлении повествователь получает в основном от крестьян (см.: Мельгунов Б. В. Некрасов и крестьянская утопия. – РЛ, 1980, № 1, с. 77).

Роман – одно из самых крупных прозаических произведений Некрасова, в котором отчетливо прослеживаются две сопряженные темы – тема дворянского либерализма и тема крестьянства. Особенность романа в том, что либерал Грачев сопоставлен, с одной стороны, с крестьянством, с народной массой, а с другой – с подлинным демократом Тростниковым.

Центральный конфликт романа – столкновение отчетливо демократических воззрений и симпатий Тростникова со взглядами помещика Грачева, отличающимися поверхностным либерализмом. Тростников, в противовес Грачеву, усматривает в крестьянстве здоровые нравственные силы, видит в труде, быте, в рассуждениях и чувствах крестьян поэтическое начало. Более того, рассказом о Потанине Некрасов намекает на необходимость преодоления социальных противоречий в духе идеалов крестьянства, жаждущего справедливости. Чувство справедливости возникает у крестьян из их отношения к труду, к окружающей их природе и друг к другу. Демократизм Тростникова чужд Грачеву, который отказывает крестьянам в поэтических чувствах и ссылается при этом на авторитет петербургских друзей. Понимая, что умеренные либералы, несмотря на их образованность и ум, примут сторону Грачева, Тростников, однако, остается верен своим убеждениям. Так, уже в середине 1850-х гг. утверждаются демократические позиции самого Некрасова, формулирующего принципиальное различие между ним, будущим поэтом революционной демократии, и дворянскими либералами. Критика непоследовательности демократических устремлений либералов не перерастает еще в романе в суровое обличение, но она уже отчетливо присутствует в нем.

Название романа («Тонкий человек...») иронично. В. Е. Евгеньев-Максимов, С. Г. Лазутин, А. Н. Зимина и другие исследователи выяснили содержание понятия «тонкий человек» (мнимая «тонкость» чувств, показная галантность обхождения, якобы энциклопедическая образованность, неоправданные притязания на значительность, исключительная самовлюбленность, праздность и полная неспособность к труду и какому-либо общественному действию). В результате неоднократного соотнесения Грачева с крестьянским миром обнаруживается совершенная чуждость «тонкого человека» народной жизни, полное незнание ее. Картины путешествия оттеняют барскую природу либерала.

Крестьянская тема раскрывается в романе в разных планах. Нищая крепостная деревня, сметливый народ и живущая в нем жажда лучшей доли – вот проблема, волнующая Некрасова. В «Тонком человеке...», пожалуй, впервые затронута также тема крестьянского счастья. С этой точки зрения значительно изображение идеальной крестьянской общины и управляющего ею мужика – Алексея Потанина. Крестьянский мир держится «правдой». Потанину доверена власть исполнительная. Он опирается на общину, как верно писал М. М. Гин (указ. соч., с. 18), которая осуществляет высшую, законодательную власть. При этом Потанин глубоко религиозен и верен помещику. Следовательно, Некрасов в начале 1850-х гг. в какой-то мере разделял утопические иллюзии. Важно, однако, что он верит в нравственное чувство народа, в его способность к самоуправлению. Но народнические утопии, вера в возможность мирного, через «общину», решения крестьянского вопроса, отразившиеся только в данном романе, вскоре разочаровывают Некрасова. Однако поэт навсегда сохраняет веру в силу «мира», в разумное решение народного коллектива.

Наряду с темами дворянского либерализма и крестьянства, существенна намеченная в романе тема буржуазных отношений («За стеной»). К. К. Бухмейер отметила драматическую напряженность сцены, ее реализм и великолепный язык, и это позволило ей сделать вывод о том, что сцена «За стеной» – новый этап в развитии Некрасова-драматурга (см.: Некрасов и театр. Л.–М., 1948, с. 199–206 (глава XII принадлежит К. К. Бухмейер)). [27]

...на степах литографии – издание господина Логинова... – В. В. Логинов – московский издатель лубочных картин и книг; книгопродавец.

...как сидел капитан Кутль... – Кутль – персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).



инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов – Ах, братец, так ты, выходит, вахлак!.. – Кроме наиболее частого значения слова «вахлак»: «неуклюжий, грубый, неотесанный» – имеется и другое: «ленивый», «неповоротливый».

...по примеру господина Евгения Сю, нам бы следовало поставить точку и обратиться к «прочим действующим лицам романа»... – Эжен Сю (1804–1857) – французский писатель, автор популярных в 1840–е гг. романов с запутанными сюжетами и большим числом действующих лиц.

Межень – средний уровень воды, который устанавливается в июне после половодья до начала засухи.

...имеем удовольствие ехать с русским Леандром... – Герой греческого мифа Леандр – юноша, влюбленный в Геро, жрицу храма богини любви и красоты Афродиты, и ради свидания с ней каждую ночь переплывавший Геллеспонт.

...о чем читывал он у Дюмон-Дюрвиля, Жакмона... – Жюль Себастьян Дюмон-Дюрвиль (1790–1842) – французский мореплаватель; совершил два кругосветных путешествия, исследовал и описал берега Новой Гвинеи и Новой Зеландии; Виктор Жакмон (1801–1832) – французский путешественник; изучал горные районы Европы и Индию.

Мальчишка, правивший уносными лошадьми... – Имеется в виду первая пара лошадей в упряжке четверкой.

...прикрикнув мимоходом на своего фалетурь... – Фале-тур – искаженное «фореитор», т. е. кучер, сидящий верхом на передней лошади, при запряжке цугом (гуськом), и правящий первой парой лошадей.

...напоминая мужественного Дагобера, когда, неустрашимый воин выносит на своих руках из разверстой бездны трепещущих Розу и Бланку... – Речь идет о персонажах романа Э. Сю «Вечный жид» (1844–1845).

...не противился переселению крестьян на «полону»... – «Полона» – по всей вероятности, диалектное слово, проникшее в район Оки из украинских и белорусских говоров и обозначающее возвышенную незаливную часть левого берега реки. В Поочье зафиксировано несколько словообразований с этим корнем: «левый верх Полочной, р. Полоница, р. Полонец, р. Полоненка» (см.: Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М., 1983, с. 138–139). О происхождении этого названия и эволюции его семантики в других славянских языках и диалектах см.: Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. М., 1969, с. 74–88.

– Ты начинаешь рассуждать, как готтентот... – Слово «готтентоты» в XIX в. служило общим наименованием целого ряда племен Юго-Западной и Южной Африки.

...думал положить его в лоск. – Лоск – плоская низменность; положить в лоск – сразить наповал (Даль, т. II, с. 268). С. 391. ...позумент по плечам, поярковая шляпа... – Позумент – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма, обшивка; поярковая шляпа – сотканная или сваленная из поярка (шерсти ярки – овцы).

О, дружба, это ты... – концовка стихотворения (четверостишия) В. А. Жуковского «Дружба» (1805).

...зоилу – повод к удачному сарказму... – Зоил – греческий ритор, живший за 250 лет до н. э. и рьяно порицавший Гомера; имя его сделалось нарицательным обозначением всякого озлобленного, желчного критика.

Не из тех ли они, которым «без волнения внимать невозможно»? – цитата из стихотворения Лермонтова «Есть речи – значенье...» (1840).

...неблагозвучные слова – ерник, шильник, шаромыжник, мазурик... – Ерник – беспутный человек, бездельник; шильник – мелкий плут, надувала; шаромыжник – плут, обманщик, любитель пожить на чужой счет; мазурик – мелкий воришка, промышляющий на ярмарках и торгах, а также наглец, нахал, зубоскал.

...колеса вязли по ступицу... – Ступица – центральная часть колеса, металлическая или деревянная болванка, на которой укрепляются спицы и в середине которой находится отверстие для насаживания колеса на ось.

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

...господа с самого с испода! – Это же выражение см. в романе о Тростникове (с. 106).

...множество мошников, расшив... – Мошник – мелкое речное судно; расшива – деревянное плоскодонное парусное судно, предназначенное для перевозки различных грузов в бассейне Волги.

...безграмотной надписью, намалеванной суриком по синему полю... – Сурик – красно-оранжевая (свинцовый сурик, окисел свинца) или красно-коричневая (железный сурик, окись железа) краска.

Мокшан... – Мокшан – речное несамоходное деревянное судно. Название получило от реки Мокша (притока Оки), где строились суда подобного типа. В. И. Даль отмечает такую особенность этого судна, как «крыша конем» (Даль, т. II, с. 340). Употреблялось для перевозки хлеба, железа, смолы, глиняной посуды и т. п.

...рисовалась картина деревенского свидания перед разлукой во вкусе господина Тургенева. – Имеется в виду входящий в состав «Записок охотника» рассказ «Свидание» (с. 1850, № 11).

«В тот же день часов в одиннадцать утра...»\*

Печатается по черновым автографам ИРЛИ и ГБЛ.

Впервые опубликовано: Нива, 1917, № 34–37, под заглавием: «Каменное сердце», данным К. И. Чуковским (перепечатано в кн.: Некрасов. Тонкий человек, с. 231–268).

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI, с. 454–483, под названием: «Как я велик!».

Черновой автограф, без начала и конца, без заглавия и даты, помеченный цифрой «II», с большим количеством исправлений и зачеркиваний, с дополнениями на полях, написанный чернилами на двойных листах большого формата, причем отдельные листы имеют авторскую нумерацию («12 (исправлено на „14“) – 23»), – ИРЛИ, ф. 203, ед. хр. 9, л. 1–20.

Черновой автограф отрывка: «Но сильнее ужинов, мелких услуг и лести со все сочувствователи знали о гениальной повести», без даты, с основательными исправлениями, вставками на полях, с авторской нумерацией: «24» – ГБЛ, ф. 195, м 5757. 1, л. 1; опубликован: Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 20–21.

Черновой автограф четырех набросков – ГБЛ, ф. 195, м5764, л. 87 об. – 88; опубликован: ПСС, т. XII, с. 102.

Найденная К. И. Чуковским черновая рукопись (ИРЛИ) представляет собой фрагменты незавершенной повести Некрасова, относящиеся, судя по помете: «II», к главе II. По-видимому, рукопись является первоначальной редакцией главы II: не все имена действующих лиц установлены в ней окончательно и поэтому не могут быть унифицированы. Один из них, Чудов, в середине повествования именуется Тихоном Васильевичем Тростниковым, Мерцалов – Ветлугиным, далее Мерцалов – Ветлугин превращается в Лыкошина; фамилия Решетилов дана несколькими разным персонажам. В рукописи есть недонисанные фразы и пропуски. Например, в середине фразы, начинающейся словами: «Я начал прекрасную книгу» (с. 413), – название книги не обозначено, но для него оставлено место. Местоположение отдельных фрагментов рукописи устанавливается по смыслу.

Заглавие «Каменное сердце» было дано К. И. Чуковским в связи с тем, что именно об этом произведении идет речь в автографе. Название «Как я велик!» возникло после сообщения М. К. Лейке (в рецензии на книгу К. И. Чуковского «Неизданные произведения Н. А. Некрасова». Пб., 1918) о существовании литографированной в 16-ю долю листа книжки с титулом: «Н. А. Н. „Как я велик!“. Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продается», состоящей, по утверждению рецензента, из пяти глав, одной из которых является глава, опубликованная К. И. Чуковским (Книга и революция, 1920, № 1, с. 34–36,

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов (подпись: «М. Маврин» – псевдоним М. К. Лемке). Свидетельство М. К. Лемке оставалось единственным источником сведений о «пермском издании». Предпринятая В. Е. Евгеньевым–Максимовым и другими исследователями попытка разыскать издание «Как я велик!» не увенчалась успехом (см.: Шестериков С. Ненайденная повесть Некрасова «Как я велик!». Библиографическая загадка, – ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 611–613; Евгеньев–Максимов В. Е. Все еще не разысканная повесть Н. А. Некрасова «Как я велик!» (Некрасов в борьбе против Достоевского и дворянских либералов). – Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1949, № 8, с. 63–64). Сообщение в 1949 г. пермского краеведа А. К. Шарца о том, что книга Н. А. Н. «Как я велик!» находилась в 1932–1937 гг. в его библиотеке и затем оказалась утраченной (см.: ЛН, т. 53–54, с. 587), также не подтвердилось дальнейшими поисками исследователей.

Сомнение в существовании «пермского издания» высказывали неоднократно многие литературоведы: А. Н. Лурье (см.: ПСС, т. VI, с. 573); С. А. Рейсер (см.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 3. Саратов, 1962, с. 249); М. М. Гин (см.: Гин М. М. Достоевский и Некрасов. (Два мировосприятия). – Север, 1971, № 11, с. 107–108); К. И. Чуковский (см.: Чуковский К. И. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974, с. 81–82); А. М. Гаркави (см. там же, с. 94–95). Наиболее полно литература вопроса на эту тему представлена в статье М, Д. Эльзона «Существовала ли книга Н. А. Некрасова „Как я велик!“?», в которой отмечены как внушающие недоверие особенности полемической манеры М. К. Лемке (ср. также: Бессонов В. Л. Об утраченной переписке А. Я. Панаевой и Некрасова. – Некр. сб., VII, с. 56–57), так и противоречия в многочисленных выступлениях А. К. Шарца (в центральной и местной печати), позволяющие «ответить отрицательно на вопрос о том, существовала ли книга „Как я велик!“» (см.: Альманах библиофила, вып. 7. М., 1979, с. 179–183).

Таким образом, оба заглавия: «Каменное сердце» и «Как я велик!» – представляются в известной мере произвольными. До нахождения новых дополнительных данных комментируемое иро-иЗведение (условно именуемое далее повестью) обозначается в настоящем издании по начальным строкам сохранившегося текста рукописи: «В тот же день часов в одиннадцать утра...».

Вопрос о датировке повести является также дискуссионным. В исследовательской литературе о Некрасове по этому поводу существуют несколько точек зрения. К 1846–1847 гг. относят ее М. П. Гроссман (Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Л., 1935, с. 46) в Р. П. Маторина (Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6, с. 20–21) на основании сходства некоторых эпизодов с содержанием эпиграммы «Послание Белинского к Достоевскому» («Витязь горестной фигуры...») 1846 г., написанной Некрасовым и Тургеневым. К. И. Чуковский первоначально датировал рукопись временем не ранее 1861 г, исходя главным образом из интерпретации ее идейного содержания. По его мнению, «лишь к этому времени определилось вполне, что люди сороковых годов – враги нового поколения, между ними произошел открытый разрыв <...> Можно себе представить, как эта обличительная повесть была бы кстати в ту пору на страницах некрасовского „Современника“» (Чуковский К. Плеяда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»). – Некрасов. Тонкий человек, с. 223). Впоследствии К. И. Чуковский отказался от этой даты и изменил ее на 1855 г., утверждая, что Некрасов работал над рукописью «не в 1860-х годах, как полагали исследователи <т. е. он сам>, а в 1855 г., за несколько месяцев до того как была задумана поэма „Несчастные“» (ПСС, т. II, с. 632). 1855–1856 гг. датирует повесть и А. Н. Лурье (см.: ПСС, т. VI, с. 576–578), хотя некоторые аргументы комментатора представляются спорными. Нельзя, в частности, согласиться с тем, что одним из основных доводов в пользу датировки 1855 г. являются написанные Достоевским в Семипалатинске стихотворения «На европейские события в 1854 году» (1854), «На первое июля 1855 года» (1855) и «<На коронацию и заключение мира>» (1856) (Достоевский, т. II, с. 403–410, 519–523). Даже если они стали известны Некрасову через сотрудничавших в «Современнике» А. Н. Майкова и М. М. Достоевского (слухи о «верноподданнических» стихотворениях Достоевского распространялись среди петербургских литераторов), едва ли только эти стихотворения послужили поводом для создания произведения, направленного против Достоевского, тем более что в мартовском номере «Современника» было опубликовано не менее «верноподданническое» стихотворение А. Н. Майкова «18 февраля 1855 года» (на смерть Николая I), с которым Некрасов был знаком до публикации (см. его письмо к А. Н. Майкову от конца февраля 1855 г.). Ранее, в первом номере «Современника», было напечатано стихотворение А. Н. Майкова «Арлекин» такого же содержания.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов По мнению Ф. И. Евнина, и время и мотивы написания памфлета Некрасова до сих пор остаются историко-литературной загадкой. Не соглашаясь ни с одной из приведенных выше датировок и оставляя открытым вопрос о том, что могло побудить Некрасова вернуться к событиям 1840-х гг. «и с такой сатирической „злостью“ изобразить молодого Достоевского в пору его первого знакомства с Белинским и его кружком», исследователь полагает, что Некрасов мог обратиться к повести не ранее 1863 г., так как в 1860–1862 гг. он «поддерживал с Достоевским вполне дружественные отношения» (Евнин Ф. И. Достоевский и Некрасов. – РЛ, 1971, № 3, с. 30).

«В тот же день часов в одиннадцать утра...» датируется предположительно 1855–1856 гг. на основании следующих данных. Как уже отмечалось, это произведение рассматривается большинством исследователей прежде всего как памфлет против Достоевского (см.: Евгеньев-Максимов В. Е. Все еще не разысканная повесть Н. А. Некрасова «Как я велик!» (Некрасов в борьбе против Достоевского и дворянских либералов), с. 66–67; Чуковский К. Пляда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»), с. 225–230). Между тем, несмотря на фрагментарность сохранившейся рукописи, ее содержание значительно шире. В сюжете отрывков отражены как события из истории литературного дебюта Достоевского (знакомство Белинского, Некрасова, Д. В. Григоровича и других современников с «Бедными людьми»), так и многие факты литературной жизни 1840-х гг., которыми Некрасов уже воспользовался в ряде своих прозаических произведений (см. роман о Тростникове (1843–1848), «Необыкновенный завтрак» (1843), «Очерки литературной жизни» (1845), «Тонкий человек...» (1853–1855)).

В повести речь идет не только о Глазиевском. – Достоевском, но и о Мерцалове – Белинском, о его личности, характере, литературных вкусах и взглядах, о его литературно-критической деятельности и о его кружке. По мнению М. М. Гина, «единственная положительная фигура здесь – Мерцалов – Белинский» (Гин М. М. Достоевский и Некрасов. (Два мировосприятия), с. 108). Это обстоятельство дает основание отнести начало работы над рукописью к 1855 г.

Напомним, что лишь в 1856 г. был снят запрет с имени Белинского. В 1855 г., следовательно, появилась возможность писать о критике, не называя его имени. В мартовском номере «Современника» за 1855 г. Некрасов публикует стихотворение «Памяти приятеля», посвященное Белинскому («Памяти Белинского» – см.: наст. изд., т. I, с. 121), начальные строки которого («Наивная и страстная душа, В ком помыслы прекрасные кипели, Упорствуя, волнуясь и спеша, Ты честно шел к одной высокой цели; Кипел, горел – и быстро ты угас!») близки по смыслу и текстуально к характеристике Белинского, данной Некрасовым в прозе (пылкий, страстный, самоотверженный, «Моложе иного двадцатилетнего юноши благодаря богатству и восприимчивости своей натуры», отличавшийся «горячей и страстной любовью к литературе»).

Несомненна генетическая связь повести с поэмами «В. Г. Белинский» и «Несчастные», над которыми Некрасов работал в 1855–1856 гг. Образ Белинского в ней наделен теми же чертами, что и образ «плебея безвестного» в поэме «В. Г. Белинский». Строки, написанные (в Зап. тетр. № 3) под набросками поэмы «В. Г. Белинский» («Пусть речь его была сурова и не блистала красотой, Но обладал он тайной слова, Доступного душе живой») и вошедшие в поэму «Несчастные» (см.: наст. изд., т. IV, с. 527, 540), по сути, перекликаются с высказанными в повести суждениями, в которых Некрасов особо подчеркивал умение Белинского «логически проводить мысль», «улавливать истину», говорить «чрезвычайно умно и с большим воодушевлением».

Известно также стремление Некрасова не только напомнить о личности Белинского и его заветах (см. об этом в романе о Тростникове – часть вторая, глава III, с. 158–160), но и преодолеть цензурные запреты его имени. 29 марта 1856 г. он писал цензору В. Н. Бекетову по поводу одной из глав «Очерков гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, публиковавшихся в «Современнике» в 1855–1856 гг.: «Бога ради, восстановите вымаранные Вами страницы о Белинском. <...> Нет и не было прямого распоряжения, чтобы о Белинском не пропускать доброго слова, равно не было велено и ругать его. Отчего же ругать его могли и ругали, а похвалить считаете опасным? <...> Будьте друг, лучше запретите мою „Княгиню“, запретите десять моих стихотворений кряду, даю честное слово: жаловаться не стану даже про себя».

В других письмах Некрасова 1855–1856 гг. (к И. С. Тургеневу, В. П. Боткину) часто упоминается имя Белинского и дается высокая оценка его деятельности.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевский в той или иной форме не один раз напоминает читателям о Белинском: «автор статей о Пушкине», «главный деятель „Отечественных записок“». Некрасов в повести пишет о Белинском почти в тех же выражениях: «Он был главным сотрудником журнала, имевшего тогда громкую и почетную известность, которую, можно сказать без преувеличения, доставил ему Мерцалов» (с. 411). Кроме того, в «Полярной звезде» на 1855 г. (кн. 1) печатались главы четвертой части «Былого и дум» А. И. Герцена (их содержание, очевидно, было известно Некрасову), в которых глубоко и полно раскрывалась «мощная гладиаторская натура» Белинского. В апрельском номере «Отечественных записок» за 1855 г. И. С. Тургенев опубликовал рассказ «Яков Пасынков», наделив главного героя чертами, присущими личности Белинского (см. об этом в комментарии Е. И. Кийко (Тургенев, Соч., т. VI, с. 537–539)). Рассказ вызвал одобрение Некрасова («...мне понравился весь „Яков Пасынков“» – см. письмо Некрасова к Тургеневу от 26 марта (7 апреля) 1857 г.).

Возможно, и повесть Некрасова задумывалась как произведение, посвященное Белинскому и его окружению, в которое входил и молодой Достоевский. Об этом свидетельствует кроме всего сказанного и обильное использование в сохранившихся фрагментах статей Белинского в виде реминисценций и прямых цитат (см. ниже, с. 777–780).

История знакомства Белинского с автором «Бедных людей»: воспроизведена Некрасовым достоверно. Впечатление же пародийности достигается с помощью комических сюжетных и стилистических аналогий с повестью Достоевского «Двойник» (1846). Так, рассказ о переживаниях Глазиевского, связанных с посещением Мерцалова, заставляет вспомнить описание состояния Голядкина накануне визита к доктору Крестьяну Ивановичу (Достоевский, т. I, с. 113, 114); сравнение физиономии Глазиевского с «серовой и мгlistой осенней тучей, готовой ежеминутно разрешиться дождем пополам со снегом и слякотью», подобно картине ужасной петербургской ноябрьской ночи, на фоне которой происходит бегство героя Достоевского (там же, с. 138). Глазиевский в сцене у Мерцалова вызывает известные ассоциации с фигурой Голядкина, отличавшегося робостью, привычкой съезживаться, стремление «стушеваться» (см. ниже, с. 778). [28]

В основе пародийного изображения Глазиевского лежало критическое отношение Некрасова к некоторым тенденциям в творчестве Достоевского, столь же неприемлемым для него, как и для Белинского. В статье 1849 г. «Журналистика» (других отзывов Некрасова о произведениях Достоевского, написанных в 1840–е гг. после «Бедных людей», не сохранилось) он писал, что до «так называемых психологических повестей г-на Ф. Достоевского <...> мы, признаемся, небольшие охотники» (ПСС, т. XII, с. 260).

Не меньшее место в повести уделено изображению литературной кружковой жизни эпохи 1840–х гг. (возможно, в процессе работы в ней нашли преломление и литературные события 1850–х гг.). К иронической, пародийной трактовке этой темы Некрасов обращался в «Очерках литературной жизни» и «Тонком человеке...» (перекликаясь в освещении ее с Тургеневым – см. об этом: наст. изд., т. VII, с. 610), косвенно – в «Поэте и гражданине» (1855–1856) («А третьи... третьи – мудрецы: Их назначение – разговоры» – наст. изд., т. II, с. 8) и стихотворении «Самодовольных болтунов...» (1856). Критическое отношение Некрасова к атмосфере замкнутых литературных и нелитературных кружков, к фразерству отмечалось в современниками. А. С. Суворин вспоминал о «столкновении» Некрасова с «идеалистами», представителями окружения Белинского (см.: Незнакомец. Недельные очерки и картинки. – НВ, 1878, 1 янв., № 682). По свидетельству С. Н. Кривенко, на Некрасова производило тяжелое впечатление преобладание фраз, общих мест, риторики в речах членов кружков, участником которых он был в молодости (см.: ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 209). 31 марта (10 апреля) 1857 г., Некрасов писал Л. Н. Толстому о губительных «рутине лицемерия и рутине иронии», «фразе», иногда безотчетно присутствующих и в литературном кружке «Современника». Таким образом, пародийное раскрытие этой темы (отношение Белинского и его кружка к «Бедным людям» Достоевского – лишь один из аспектов, намеченных Некрасовым) является неслучайным.

Ко времени работы над повестью у Некрасова уже был опыт пародиста, памфлетиста (см. сатирические и пародийные характеристики Ф. В. Булгарина, В. С. Межевича, Л. В. Бранта, Ф. А. Кони и других литераторов в романе о Тростникове, в «Очерках литературной жизни»; коллективные произведения – эпиграммы на Достоевского

сочинений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов («Витязь горестной фигуры...»), на П. В. Анненкова («За то, что ходит он в фуражке...», 1856), стихотворение, посвященное В. П. Боткину («Песнь Васеньке», 1854), «Послание к Лонгинову» (1854) и др.).

Повесть соотносилась и с литературной традицией. В 1840–1850-е гг. пользовались широкой известностью стихотворные памфлеты А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (первая редакция 1814 г., дополнялась до 1838 г.) и «Парнасский адрес-календарь» (1818–1820), содержавшие меткие сатирические характеристики литературных деятелей 18100–1830-х гг. В литературных кругах обсуждался написанный В. П. Боткиным, Д. В. Григоровичем и А. В. Дружининым фарс «Школа гостеприимства» (1855), разыгранный в качестве домашнего спектакля у Тургенева в Спасском 26 мая 1855 г. и у Е. А. Штакеншнейдер 7 февраля 1856 г. «Пьеса, которую вы сочинили и сыграли, мне пересказана», – писал Некрасов Тургеневу 30 июня – 1 июля 1855 г., оценивая ее как «веселый вздор», свидетельствующий об «отличном состоянии духа». Некрасова заинтересовала и написанная на основе этой пьесы повесть Д. В. Григоровича «Школа гостеприимства» (БдЧ, 1855, № 9), в которой Чернышевский был изображен в образе желчного критика Чернушкина. Судя по в целом положительной оценке, высказанной в письме к Д. В. Григоровичу от 4 октября 1855 г. («нельзя читать без смеху этого живого и веселого рассказа. Легкость его удивительна. Я пожалел, что он не попал в „Современник“, это, в сущности, самый трудный род...») и в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» (С, 1855, № 10), его внимание привлекла проблема соотношения реальной действительности и карикатуры в художественном произведении, а также «вопрос о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения» (ПСС, т. IX, с. 308). Все это, по-видимому, занимало Некрасова в связи с работой над повестью.

В ней прослеживаются тематические и текстуальные соответствия с фельетоном И. И. Панаева «Заметки Нового Поэта о петербургской жизни», содержащим выпад против Достоевского и известным в литературе главным образом в этой связи. Прочитав часть эпиграммы «Витязь горестной фигуры...», его автор высмеял Достоевского как «кумирчик», о котором «протрубили везде, и на площадях и в салонах», и который «стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт» (С, 1855, № 12, с. 238, 240).

История знакомства автора «Каменного сердца» с Мерцаловым подобна истории с «кумирчиком» в фельетоне Панаева. У Некрасова Мерцалов часто повторяет, что он «за „Каменное сердце“ не возьмет всей русской литературы» (с. 422). У Панаева близкую по смыслу тираду приносят поклонники «кумирчика»: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет всю нашу настоящую и прошедшую литературу» (С, 1855, № 12, с. 238). Некрасов упоминает обморок, повторившийся с Глажиевским во время рассказа о похвалах Мерцалова «Каменному сердцу». У Панаева «маленький гений» «побледнел и зашатался» при встрече со светской красавицей. По-видимому, часть фельетона Панаева («Литературные кумиры и кумирчики»), посвященная Достоевскому, представляет собой своеобразный сатирический комментарий к коллективной эпиграмме «Послание Белинского к Достоевскому». Но в фельетоне намечены и другие темы и характеристики: «Люди с заблуждениями и люди никогда не заблуждавшиеся. – Светские литературные дилетанты, литературные новички и известные литераторы во время чтения своих сочинений» (С, 1855, № 12, с. 235), аналогичные имеющимся в повести Некрасова: известные литераторы, литераторы-дилетанты и «литературные сочувствователи», участники литературных чтений и литературных кружков.

Отдельные сюжетные и тематические переключки прослеживаются и с памфлетом-пародией анонимного автора «Кандидат в романисты и его роман» (БдЧ, 1855, № 7–8). Этот памфлет, направленный против писателей «натуральной школы», высмеивал литературные чтения, организованные «крошечным великим человеком», и современных литераторов – «толпу полударований, полупосредственностей», которые «бросились на мужчину в надежде быть Тургеневыми» (БдЧ, 1855, № 7, с. 48, 57). Некрасов откликнулся на эту повесть в «Заметках о журналах за июль месяц 1855 года» (С, 1855, № 8), отметив в ней «странный и жалкий юмор, без разборки направленный как на то, что действительно смешно, так и на то, что составляет самую живую и светлую сторону русской; литературы» (ПСС, т. IX, с. 291–292).

Приведенные наблюдения являются также косвенным аргументом для датировки повести.

На основе сопоставления сохранившихся фрагментов с многочисленными мемуарами и эпистолярными источниками К. И. Чуковский установил ее прототипы (см.: Чуковский

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов К. Пляда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»), с. 189–230). Кроме Мерцалова – Белинского, Осипа Михайловича Глазиевского – Достоевского здесь бегло очерчены другие персонажи, в которых пародийно отражены черты участников кружка Белинского и «Современника» 1850-х гг. Образ Чудова – Тростникова, так же как и в других прозаических произведениях, автобиографичен. В черновых набросках он характеризуется как «недавно выбившийся из подземных литературных сфер» (см.: Другие редакции и варианты, с. 669, вариант к с. 412, строке 28). В Разбегаеве, «пустом малом», угадываются черты, свойственные, судя по свидетельствам современников, И. И. Панаеву, о котором Некрасов неоднократно отзывался иронически в письмах 1850-х гг. («Этот господин хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение» – см. письмо к И. С. Тургеневу от 18 (30) декабря 1856 г.; ср. оценки И. И. Панаева, данные Тургеневым: «Этакий неисправимый свистун!» – Тургенев, Письма, т. II, с. 51, и П. В. Анненковым: «Панаев был большой враль» – Анненков, с. 535). В Балаклееве, который говорит о себе как о приятеле Глазиевского, отражены особенности характера Д. В. Григоровича, товарища Достоевского по Инженерному училищу (в 1844 г. жил с ним на одной квартире и первый познакомил Некрасова, а затем и Белинского, с рукописью «Бедных людей» – см.: Григорович, с. 89–91).

Другие литераторы и «литературные сочувствователи» обрисованы меткими комическими и ироническими формулами: «Поэт в душе», «Благородная личность», «Художественная натура», «Всесторонняя (она же и Восприимчивая) натура», «Спутник», «Мальчишка», «Элемент светскости», «Библиотека», «Газета», близкими по своей смысловой наполненности и стилю к эпиграммам на современников Некрасова и Тургенева (ср. также шуточные выражения в письмах Некрасова к И. С. Тургеневу (22 октября 1854 г., 10 сентября 1857 г.), В. П. Боткину (7 февраля 1856 г.), А. А. Фету (31 июля 1856 г.) по поводу П. В. Анненкова («наш добрый») и Тургенева («наш седой Митрофан», «седой гусь»)).

Некоторые черты личности и биографии друга Тургенева П. В. Анненкова – его близкое знакомство со многими известными литераторами, хорошая осведомленность в событиях литературной жизни, образованность, частые поездки за границу и т. д. – карикатурно обыграны в «Спутнике» и «Всесторонней натуре». Характерные приметы В. П. Боткина, А. В. Дружинина, пользовавшихся репутацией эстетических критиков, пародийно отражены в «Художественной натуре»; Н. Х. Кетчера, переводчика Шекспира, – в Парутине, «щеголявшем правдивостью» и требовавшем на литературных собраниях шампанского (с. 426; ср. строку «Кетчер, друг шипучих вин» из эпиграммы Тургенева, относящейся к концу 1840 – началу 1850-х гг.: Тургенев И. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1970, с. 126).

Возможно, появление на последних страницах такой фигуры, как Решетиллов, в сопровождении «Спутника» («Новость, важная новость: Решетиллов пишет новый роман; я слышал две главы: превосходно!» – эту фразу произносит «Спутник» (с. 438)), можно объяснить, если обратиться к некоторым подробностям литературной биографии Тургенева, работавшего в 1850-е гг. над романом «Два поколения». Это событие вызвало живой интерес современников, в том числе и Некрасова, который одобрил первые четыре главы и, возможно, намеревался опубликовать роман по окончании в «Современнике» (см. письма к И. С. Тургеневу от 26 сентября 1853 г. и 12 августа 1855 г.). П. В. Анненков был в числе первых читателей начальных глав «Двух поколений» (см.: Рус. обозр., 1894, № 10, с. 497; Назарова Л. Н. О романе «Два поколения». – ЛН, т. 73, кн. 1, с. 54–55).

В характеристике «Практической головы», «принимавшей участие в одной акционерной компании», которая разорилась «вследствие неблагоприятного оборота дел» (с. 424), воспроизведена история организации в 1846 г. Н. Н. Тютчевым и М. А. Языковым (чиновниками Министерства уделов, близкими к литературным кругам) «конторы агенства и комиссионерства». Контора была учреждена на средства М. А. Языкова и к концу 1850-х гг. прекратила существование. Это событие обыгрывается в «Послании к Лонгинову» (см.: наст. изд., т. I, с. 430; ср.: Панаева, с. 207–209).

«Великолепные обеды» И. И. Маслова (см. письмо Некрасова к П. В. Анненкову от 16 ноября 1850 г.), секретаря коменданта Петропавловской крепости генерала М. Д. Скобелева, в его открытом для литераторов доме, где подолгу жил Тургенев и неоднократно гостил Некрасов, приемы у М. А. Языкова, о которых вспоминали современники (см.: Фет А. А. Мои воспоминания, ч. I. М., 1899, с. 133), косвенно отразились в комическом описании поведения «литературных сочувствователей», спешащих воспользоваться благоприятным случаем, чтобы созвать литераторов.

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

В характеристике «Библиотеки», снабжающей литератора «редкими и дорогими изданиями», преломились штрихи биография инженера путей сообщения А. С. Комарова, близкого в 1840–е гг. к кругу Белинского (см.: Панаев, с. 260–262).

Прототипом «надменного журналиста» Томачевского послужил, по-видимому, издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский. Ср. эпиграмму А. И. Кронеберга на А. А. Краевского «К портрету Краевского» (вторая половина 1840–х гг.):

Вот он – тоже сочинитель!  
Вот он – наглый мародер!

С виду важен как писака,  
Тиснувший стихов тетрадь

(Лернер Н. На старинной летучей литературы. III, – Звенья, вып. 6., М.–Л., 1936, с. 792–795).

Таким образом, воспроизведенная в пародийных тонах история литературного дебюта Достоевского вполне уравнивается галереей сатирических и комических зарисовок современных литераторов и «литературных сочувственников». Судя по обилию исправлений и переписанных мест во фрагментах, посвященных литературным чтениям «прежде» и «теперь», литераторам-дилетантам, взаимоотношениям «Спутника» и гениального человека (на последних страницах повести это определение относится к Решетилову, в котором, как уже отмечалось, угадываются черты Тургенева), Некрасов, по-видимому, предполагал развить эту сюжетную линию.

О том, почему повесть не была завершена, можно судить предположительно. Возможно, одной из причин была занятость Некрасова редакторской деятельностью в «Современнике» («...нынешний годик достался мне очень солон по причине боязни за судьбу „Современника“», – писал он Т. Н. Грановскому 9 сентября 1855 г.), подготовкой сборника «Стихотворений» (1856), работой над поэмами «В. Г. Белинский», «Несчастные». Не исключено, что обилие намеков на живых современников, делавшее невозможным публикацию повести, тоже помешало ее завершению. По-видимому, для Некрасова в 1850–е гг. был немислим и публичный выпад против ссыльного Достоевского. Его положение пострадавшего вместе с другими петрашевцами могло вызывать только сочувствие (см. письмо Некрасова к И. С. Тургеневу от 7 июня 1857 г., а также: Гин М. М. Достоевский и Некрасов. (Два мировосприятия), с. 108–109). Несмотря на сложность творческих отношений с Достоевским (см.: Туниманов В. А. Достоевский и Некрасов. – В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 33–66), позиция Некрасова по отношению к Достоевскому не может быть отождествлена со взглядами И. И. Панаева, автора фельетона «Заметки Нового Поэта о петербургской жизни».

«В моих бумагах можно найти целую серию недоконченных пьес», – писал Некрасов Л. Н. Толстому 31 марта (12 апреля) 1867 г. Возможно, в их числе была и повесть, представляющая собой этап в становлении сатирического дарования Некрасова. Ее пародийно заостренные образы по своему идейно-художественному заданию предвосхищают сатирическое обозрение литературно-общественной жизни – «Дружеская переписка Москвы с Петербургом» (1859), и перекликаются с некоторыми картинами сатирического цикла «Песни о свободном слове» («Журналист-руководитель», «Журналист-рутинер», «Свободная пресса», «фельетонная букашка») (1865–1866), сатиры «Балет» (1866), поэмы «Современники» (1875).

Никаких отзывов о работе Некрасова над этим замыслом не сохранилось. По наблюдению К. И. Чуковского, с ним могла быть знакома А. Я. Панаева. Вывод основан на текстуальном сходстве отдельных мест фрагментов и воспоминаний А. Я. Панаевой, в частности характеристик «Спутника» и П. В. Анненкова (см.: Чуковский К. Пляда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»), с. 208).

...Чудов, в страшных попыхах, побежал с «Каменным сердцем» к своему, приятелю Мерцалову ~ судьба посылает нашей литературе нового блестящего деятеля! – Название повести «Каменное сердце» соотносится с заглавием повести Достоевского «Слабое сердце» (1848), хотя далее воспроизводится эпизод знакомства Некрасова, Д. В. Григоровича и В. Г. Белинского с автором «Бедных людей» (1846). См. об этом: Григорович, с. 88–92; Панаев, с. 308–309; Анненков, с. 447–450;



нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Достоевский, т. XXV, с. 28–31.

Он был главным сотрудником журнала, имевшего тогда громкую и почетную известность ~ доставил ему Мерцалов. – Речь идет об «Отечественных записках», в которых Белинский вел отделы критики и библиографии (1839–1846), способствуя своей деятельностью авторитету журнала как передового органа печати этого времени. Ср. аналогичный отзыв об «Отечественных записках» в романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (с. 158–159).

...доставили ему множество врагов ~ каким-то литературным бандитом... – Здесь, как и в романе о Тростникове (см. выше, комментарий на с. 741), почти дословно цитируются выдержки из ругательных статей С. Н. Навроцкого, Н. И. Греча, С. П. Шевырева, Ф. В. Булгарина, направленных против Белинского. Ср. в воспоминаниях И. И. Панаева эпизод о Булгарине, назвавшем Белинского «бульдогом, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас»: «Я передал эти слова Белинскому. Это очень забавляло его, и он потом часто повторял, что Булгарин называет его бульдогом» (Панаев, с. 293). Белинский упоминает об этом в письме к В. П. Боткину от 22 ноября 1839 г. (Белинский, т. XI, с. 420; ср. также: Анненков, с. 136; Тургенев, Соч., т. XIV, с. 22).

Середины у него не было ~ Ни печатно, ни словесно он не стыдился сознаваться в ошибках... – Речь идет о широко известных современникам статьях Белинского «Бородинская годовщина» (1839), «Очерки бородинского сражения. (Воспоминания о 1812 году). Сочинение Ф. Глинки» (1839), «Менцель, критик Гете» (1840), в которых получила выражение идея временного «примирения с действительностью». По воспоминаниям Тургенева, Белинский в кругу друзей горячо порицал себя за «гадкую» статью о Менцеле, которую «он себе простить не мог» (Тургенев, Соч., т. XIV, с. 47). Ср. об этом же в воспоминаниях И. И. Панаева (Панаев, с. 300–301). 3 февраля 1840 г. Белинский писал В. П. Боткину, что готов «истребить» начало статьи о «Бородинской годовщине»; в письме к нему же от 10–11 декабря 1840 г. высказывался критически по поводу «насильственного примирения с гнусной расейской действительностью» (Белинский, т. XI, с. 438, 577). Все это могло быть известно Некрасову, так же как и переоценка Белинским основных положений статьи о «Горе от ума» (1840), предпринятая им в статьях «Разделение поэзии на роды и виды» (1841), «Русская литература в 1841 году» (1842), «Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая» (1844), в письме к В. П. Боткину от 10–11 декабря 1840 г. (см.: Белинский, т. XI, с. 576). Ср. также высказывание Белинского по поводу «невежества» Державина в «Литературных мечтаниях» (1834) («его невежество было причиной его народности») и отказ от этого мнения как «совершенно ложного» в статье «Ничто о ничем, или Отчет г-ну издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» (1836) (Белинский, т. I, с. 50; т. II, с. 9; см. об этом: Прийма Ф. Я. Введение. – В кн.: Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976, с. 23).

Мерцалову было под сорок лет ~ благодаря богатству, восприимчивости своей натуры. – Ко времени первого знакомства с автором «Бедных людей» около 1 июня 1845 г. (см.: Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества Белинского. М., 1958, с. 407) Белинскому было 35 лет.

...Мерцалов вовсе и не думал продолжать чтение ~ по уходе Чудова с живостью ухватил рукопись «Каменного сердца». – История знакомства Белинского с «Бедными людьми» воспроизводится Некрасовым с достоверностью и во многих подробностях совпадает с рассказом Достоевского об этом в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (см.: Достоевский, т. XXV, с. 28–31), с мемуарными свидетельствами Д. В. Григоровича, И. И. Панаева, П. В. Анненкова, И. С. Тургенева (см.: Григорович, с. 88–92; Панаев, с. 308–309; Анненков, с. 282–284; Тургенев, Соч.: т. XIV, с. 52).

...пробежал эпиграф, который составляли несколько строк, выписанных из его собственной критической статьи... – Эпиграф к «Бедным людям» («Ох уж эти мне сказочники! Нет, чтобы нависать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать!») извлечен из рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1839) со ссылкой на автора (Достоевский, т. I, с. 13). Изменением источника эпиграфа Некрасов, возможно, стремился подчеркнуть воздействие эстетических идей Белинского, проявившееся в «Бедных людях». По призыванию Достоевского, статьи Белинского он «читал уже несколько лет с увлечением» (Достоевский, т. XXV, с. 28).

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
Мы обедали с Глазиевским в Hotel de Paris. – Имеется в виду ресторан в Петербурге на Малой Морской (ныне ул. Гоголя); упоминается в «Записках из подполья» (1864) Достоевского (Достоевский, т. V, с. 137, 141).

Так ему только двадцать четыре года? – Возраст Глазиевского тождествен возрасту Достоевского в 1845 г.

Это художественное гениальное произведение! ~ я не возьму за «Каменное сердце» всей русской литературы! – Ср. свидетельства И. И. Панаева в воспоминаниях: Белинский «говорил, что „Бедные люди“ обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя» (Панаев, с. 309), и в фельетоне «Заметки Нового Поэта о петербургской жизни»: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу» (С, 1855, № 12, с. 238). Некрасов в письме к А. В. Никитенко от 7 июня 1845 г. отозвался о «Бедных людях» так: «...роман – чрезвычайно замечательный».

Потом пошли толки о достоинствах «Каменного сердца» ~ И потом какое глубокое, теплое сочувствие к нищете, к страданию! – Здесь Некрасов излагает содержание развернутых высказываний Белинского о «Бедных людях» в статье «Петербургский сборник» (1846), в которой давался анализ характеров действующих лиц, «частностей» и «концепции целого произведения». О художественном воспроизведении «трагической стороны жизни» («В „Бедных людях“ много картин, глубоко потрясающих душу») Белинский писал в рецензии (1846) на отдельное издание романа (см.: Белинский, т. IX, с. 549–563; т. X, с. 363–364). По свидетельству Анненкова, Белинский, рекомендуя ему «Бедных людей», сказал: «...роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит» (Анненков, с. 282).

...умными тонкостями... – Подобное выражение встречается в «Тонком человеке...» (см.: наст. изд., т. VII, с. 610, 612, 613).

...уклонения его с прямого пути... – Ср. у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847): «...против уклоненья всего общества от прямой дороги» (Гоголь, т. VIII, с. 400).

Но написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений ~ для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет! – Ср. незавершенную фразу на полях рукописи: «кто так начинает...» (см.: Другие редакции и варианты, с. 670). Некрасов почти дословно воспроизводит некоторые высказывания Белинского о «Бедных людях» и «Двойнике» из его статей и рецензии 1846 г. («Петербургский сборник», «Новый критикан»): «...такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща»; «...так еще никто не начинал из русских писателей»; «Мы, говорим о г. Достоевском, который рекомендуется публике „Бедными людьми“ и „Двойником“, – произведениями, которыми для, многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но так начать – это в добрый час молвить! что-то уж слишком необыкновенное» (Белинский, т. IX, с. 476, 493).

Мерцалов говорил и о недостатках «Каменного сердца» ~ растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность... – Ср. статью Белинского о «Петербургском сборнике» (1846), в которой приводится высказывание Л. В. Бранта по поводу «несносной растянутости» «Двойника». Считая такой упрек несправедливым, Белинский писал: «Если что можно счесть в „Двойнике“ растянутостью, так это частое и, местами, вовсе не нужное повторение одних и тех же фраз <...> Очевидно, что автор „Двойника“ еще не приобрел себе такта меры и гармонии, и оттого не совсем безосновательно многие упрекают в растянутости даже и „Бедных людей“, хотя этот упрек и идет к ним меньше, нежели к „Двойнику“ <...> в этом отношении суд толпы справедлив; но он ложен в выводе о таланте г. Достоевского. Самая эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант» (Белинский, т. IX, с. 549, 564). В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский писал: «Почти все единогласно нашли в „Бедных людях“ г. Достоевского способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни – растянутости, другие – неумеренной плодовитости. Действительно, нельзя по согласиться, что, если бы „Бедные люди“ явились хотя десятою долею в меньшем объеме и автор имел бы предусмотрительность поочистить свой роман от излишних

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов повторений одних и тех же фраз и слов, это произведение явилось бы более художественным» (Белинский, т. X, с. 40).

До глубокой ночи проговорили приятели о «Каменном сердце» и его авторе ~ Повторилось нечто вроде обморока, приключившегося с Глазиевским ночью, – Намек на припадки, которыми страдал Достоевский. Этот эпизод с разными оттенками излагается мемуаристами (Д. В. Григоровичем, И. И. Панаевым, П. В. Анненковым). Ср. также в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевского (Достоевский, т. XXV, с. 28–31).

Тростников воротился. – С этого места повести Чудов становится Тростниковым. Возможно, замена связана с именем героя – Тихон Васильевич, аналогичным имени героя романа Некрасова.

...им же самим изобретенным словом «стушеваться»... – Слово «стушеваться» впервые употреблено Достоевским в повести «Двойник» (1846). В записных тетрадях 1872–1875 г. Достоевский писал: «Я изобрел или, лучше сказать, ввел одно только слово в русский язык, и оно прижилось, все употребляют: глагол „стушевался“ (в „Голядкине“. У Белинского, в восторге слишком известные литераторы – мой главнейший подпольный тип...)» (Достоевский, т. XXI, с. 264). Об истории слова «стушеваться» и о чтении первых глав «Двойника» в начале декабря 1845 г. у Белинского в присутствии Тургенева я других членов кружка Белинского Достоевский рассказал в ноябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (Достоевский, т. XXVI, с. 65–67).

...долго вы писали ваше «Каменное сердце»? ~ писал свой роман четыре года и шестнадцать раз переписывал. – Достоевский работал над «Бедными людьми» с зимы 1844 г. по май 1845 г.; он также обращался к роману в 1847, 1860, 1865 гг. О творческой истории «Бедных людей» см. в комментарии Г. М. Фридендера: Достоевский, т. I, с. 464–466.

Наш Гоголь пишет, говорят, трудно ~ читая его плавную, певучую, картинную прозу... – О поэтичности и лиризме гоголевской прозы говорится в статье Некрасова «Заметки о журналах за октябрь 1855 года» (1855) (ПСС, т. IX, с. 340–345).

Разбирать подобное произведение ~ в рецензии нельзя только намекнуть на них. – Цитата из рецензии Белинского на «Петербургский сборник» (1846): «Разбирать подобное произведение искусства – значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвал, ибо дело слишком ясно и громко говорит за себя; но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них» (Белинский, т. IX, с. 476).

Через три дня Глазиевский действительно получил записку ~ вы, будьте так добры, прочтете нам и прочее, прочее». – Ср. записку Белинского к Достоевскому около 15 ноября – первой половины декабря 1845 г., написанную в период тесного контакта Достоевского с кружком Белинского и содержащую приглашение посетить, по-видимому, В. Ф. Одоевского (возможно также И. И. Панаева или В. А. Соллогуба) и увидеть «всех наших» (Белинский, т. XII, с. 251). Датировка записки уточняется в статье: Немзер А. С. Ошоват А. Л. Две заметки о В. Г. Белинском... – Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз., 1982, № 1, с. 65–68. 8 октября 1845 г. Достоевский сообщал брату Михаилу: «Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен» (Достоевский Ф. М. Письма, т. I. М. –Л., 1928, с. 82).

Весть о новом гениальном романе ~ с необыкновенною быстротою разнеслась в литературном кружке... – 8 октября 1845 г. Достоевский писал брату Михаилу: «...о „Бедных людях“ говорит уже пол-Петербурга» (Достоевский Ф. М. Письма, т. I, с. 82). По свидетельству В. Н. Майкова, «еще в ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта» (ОЗ, 1847, № 1, отд. V, с. 2).

...вместо дивиденда счет... – Дивиденд – часть прибыли, полученной акционером за определенный период.

...с ученым видом знатока. – Некрасов цитирует «Евгения Онегина» Пушкина (глава первая, строфа V).

...литератор поручал им переписать свое сочинение... – Возможно, имеется в виду

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
известный современникам факт о переписке П. В. Анненковым «Мертвых душ» (см.:  
Анненков, с. 85).

...«Conversations Lexicon»... – Имеется в виду немецкая энциклопедия  
(«Энциклопедический словарь»), изданная Ф.-А. Брокгаузом в 1808–1811 г.;  
впоследствии неоднократно переиздавалась.

Сотерн – сорт виноградного белого вина.

...грозя пальцем амфитриону. – Амфитрион – герой греческих мифов, его имя  
употреблялось впоследствии как синоним хлебосольного, гостеприимного хозяина.

...господин Решетиллов – автор «Каменного сердца»... – Решетиллов назван здесь вместо  
Глазиевского. По наблюдениям К. И. Чуковского, фамилия «Решетиллов», упомянутая и  
в стихотворении «Самодовольных болтунов...», заимствована Некрасовым из очерка  
Тургенева «Одноворец Овсяников» (1847) (см.: ПССТ 1934–1937, т. I, с. 734).

Человек всегда человек ~ как сказано в одной глубокомысленной рецензии... –  
Возможно, автоирония. Ср. в статье «Русские второстепенные поэты» (1849): «Поэт,  
как и всякий из нас, прежде всего человек. Тревоги и волнения житейские касаются  
также и его, и часто более, чем всякого другого» (ПСС, т. IX, с. 217).

– В этом удивительном сочинении, – говорил он, – нет недостатков. ~ а в вашей  
собственной неспособности и ограниченности обнять во всей полноте и ширине  
художественное произведение. – Ср. суждение Белинского о художественности в  
статье «Герой нашего времени» (1840): «Истинно художественные произведения не  
имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится одна  
красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять  
целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть  
красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность»  
(Белинский, т. IV, с. 201), а также его высказывания о тайне художественности (в  
связи с оценкой «Бедных людей»), изложенные Достоевским в январском выпуске  
«Дневника писателя» за 1877 г. (Достоевский, т. XXV, с. 30–31). Некрасов  
использует в повести лишь положительные отзывы Белинского о «Бедных людях».  
После появления «Двойника», «Господина Прохарчина» (1846), «Романа в девяти  
письмах» (1847), усиливших идейно-художественные расхождения с Достоевским,  
Белинский оценивал роман сдержаннее. См. также: Кирпотин В. Достоевский и  
Белинский. 2-е изд., доп. М., 1976, с. 24–46.

Примечания

1  
На Волково кладбище.

2  
Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь.

3  
Мой дорогой Августин,  
Всё проходит!  
(нем.).

4  
Углом называется место на Садовой, куда собираются рабочие, желающие иметь  
работу.

5  
Дуванить – делить общую зарплатку, или, вернее, ту часть зарплатки, которую  
подрядчик, не обделив себя, предоставит в пользу рабочих.

6  
Так в сильных случаях называют у нас лицо, которое имеет у русского народа еще  
название Харьковской губернии. Волосной правление – волосы.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

7

Всё для нарядов (франц.).

8

Факт этот не сочинен и в главных чертах совершенно верен действительности, желающий может при случае удостовериться в нем. Имение, о котором здесь говорится, находится во Владимирско-й губернии в Гороховско-м и смежных уездах и принадлежит одному из русских вельмож. До какой степени помещик умел оценить этого замечательного крестьянина, видно из той постоянной доверенности, которую он удостоивает его. В последнее время П-нин, по старости и болезни, просил увольнения от своей должности; помещик прислал ему отпускную и некоторые награды, но на просьбу его согласился только вполнину: дозволив ему сдать управление старшему по нем, он оставил П-ну главный надзор за управлением, облегчив таким образом труды старика.

9

Глава V «Повести о бедном климе» обозначена в рукописи первоначально цифрой «VI», а затем ошибочно – цифрой «IV». Изменения в нумерации глав также говорят о возможной связи с текстом другого произведения.

10

По свидетельству Д. В. Григоровича, Булгарин гордился тем, что внес в русский лексикон новый термин; термин «салопница» действительно сохранился (см.: Григорович, с. 8).

11

См. об этом: Гуковский Г. А. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы. – Некрасов. Тростников, с. 352–354.

12

См.: Иезуитова Р. В. Пути развития романтической повести. – В кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 77–107.

13

См.: Кийко Е. И. Сюжеты и герои повестей «натуральной школы». – Там же, с. 262.

14

См. Русская повесть XIX века, с. 305–315.

15

О намерении Некрасова опубликовать этот фрагмент можно судить и по пометам, предназначенным для переписчика: «NB Зачеркнутое чисто», «С новой строки».

16

В одном из неопубликованных писем М. А. Гамазова к родным от 3 (15) апреля 1840 г., написанном на такой же бумаге (сдвоенные тонкие листы большого формата), на какой писался роман Некрасова, содержится рисунок Гамазова черными чернилами: профиль Макара Каспаровича Мурачева, приятеля семьи Гамазовых (см.: ИР ЛИ, ф. 68, он. I, ед. хр. 13, л. 47). По манере исполнения рисунок похож на профили, изображенные на рукописи Некрасова.

17

См.: Крошкин А. Ф. Роман Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». – Некр. сб., вып. III, с. 36–58; Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965, с. 200–201; Вердеревская Н. А. Становление типа разночинца в русской литературе 40–60-х годов XIX века. Казань, 1975, с. 19–40.

нений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841–1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов

18

В процессе переработки этого диалога большого Тростникова с Агашей авторские усилия были направлены на поиски нужного пародийного тона, который достигался сочетанием просторечной (речь Агаши) и приподнято патетического (речь Тростникова) стилей.

19

Мотив «писательства» как одного из способов самоутверждения героя или хотя бы получения средств к существованию (равноценного «казенному месту») был лишь намечен в «Бедных людях» (1846) Достоевского, в «Обыкновенной истории» (1847) Гончарова в «Запутанном деле» (1848) Щедрина.

20

См.: Гуковский Г. А. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы сороковых годов. – Некрасов. Тростников, с. 366–373.

21

Название «Литературная тля» было дано Панаевым в 1860 г. при включении повести в первый том своих сочинений (см. об этом: Ямпольский И. Г. Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева). – Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1954, вып. 20, сер. филол. паук, № 173, с. 149).

22

О прототипах «Петербургского фельетониста» см. в названной выше статье И. Г. Ямпольского, с. 143–159.

23

См. письмо А. А. Краевского к А. В. Никитенко от 31 января 1844 г. (Ирли, 18.566. СХХIII б. 1; отрывки опубликованы в кн.: Белинский, т. VIII, с. 663).

24

Здесь и далее все курсивы в цитатах из произведения Л. В. Бранта принадлежат нам (Ред.).

25

Реальный комментарий к «Петербургским углам» см.: наст. изд., т. VII, с. 588–593.

26

Реальный комментарий к «Необыкновенному завтраку» см.: наст. изд., т. VII, с. 575–579.

27

Реальный комментарий к главам I–IV части первой романа см.: наст. изд., т. VII, с. 612–615.

28 Ср. высказывание Белинского по поводу услышанного имоднажды анекдота о поведении Достоевского: «Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из „Двойника“» (Белинский, т. XII, с. 336).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nekrasovnikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

инений в пятнадцати томах. Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856. Николай Алексеевич Некрасов Некрасов  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!